ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ

Столетие
1859—1959
со дня рождения

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в шести томах

Редакционная коллегия
М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, С. З. ГАЛКИН, В. В. ИВАНОВ,
Н. Г. ЛУРЬЕ и Л. С. СОБОЛЕВ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Роман

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Перевод с еврейского
Я. СЛОНИМА

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА

Настоящим произведением приношу благодарность всем лицам, организовавшим юбилей в честь 25-летия моей литературной деятельности.

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Часть первая

АКТЕРЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Упорхнула пташка

В воскресенье на заре — это было в конце лета — жена кантора * Лея проснулась раньше всех в доме и вспомнила, что сегодня базарный день. Взглянув в окно и убедившись, что уже окончательно рассвело, она проворчала про себя: «Ой, горе мне!» — наскоро оделась, помыла руки, проглотила на ходу утреннюю молитву и, схватив корзинку, выбежала из дому так стремительно, как будто ее ожидали на базаре бог весть какие важные дела.

Утро было чудесное. Солнце щедро поливало Голенешти золотом своих лучей. На базаре Лея сразу почувствовала себя, точно рыба в воде. А базар выдался на славу. Молдаване навезли видимо-невидимо молока и масла, овощей и плодов. Папешуи (кукуруза), зеленые огурцы, лук, чеснок и прочая зелень — все продавалось чуть не даром. Лея накупила полную кошелку — всего понемножку. А рыбу бог послал ей прямо за бесценок. Она и не думала покупать рыбу, но та подвернулась ей под руку. И то сказать, рыба! Одно название! Мелкая рыбешка, плотва, костлявая мелюзга, жуй да плюй. Но зато дешево, так дешево, что и рассказывать совестно: все равно не поверят... Да, счастливый выдался базар для Леи.

Вышла с одним-единственным целковым, да еще сдачу домой принесет. А раз так, то можно, пожалуй, разрешить себе роскошь — купить для кантора десяток свежих яиц. «Исроел будет очень доволен, — ему хватит на десяток гоголь-моголей. Приближаются ведь праздники, слыханное ли дело! А дочке надо купить конфет. Рейзл любит сладости, особенно конфеты, она у меня отчаянная лакомка, дитятко мое ненаглядное! Эх, кабы можно было еще купить ей новые ботинки, — старые вконец изодрались, никуда не годятся!»

С такими мыслями Лея еще некоторое время слонялась вдоль рядов. И лишь тогда, когда ее единственный рубль весь растаял, как тает снег между пальцами, она успокоилась и пошла домой.

Подходя к дому, она еще издали услыхала заливистое пение мужа: «Кому-у-у от огня-я-я, а кому от воды-ы-ы погибнуть...» * Знакомый, милый голос! Давно он звучит в ее ушах и никогда не наскучит. Кантор Исроел готовит новые вариации новогодних песнопений... Он не из видных канторов, не мировая знаменитость, но у себя в Голенешти он достаточно известен. Местечко не променяет его на лучшего «хорального» кантора *, не уступит никому за миллион... Все это так. Но если бы Исроел вдобавок не учительствовал понемногу, то пришлось бы ему, чего доброго, класть зубы на полку. К счастью, он большой знаток древнееврейского языка и библии, к тому же господь наградил его прекрасным почерком. Вот он и набрал с десяток учеников. Самые богатые родители, в том числе местный богач Беня Рафалович, доверяют ему обучение своих детей. Две профессии — не шуточное дело! Правда, и при двух профессиях нередко случается, что у кантора Исроела нет ни гроша на субботу. Но с голоду уже не помрешь, маешься кое-как.

Лея пришла домой вся в поту, с корзинкой, полной всякой всячины. Она никак не могла понять, почему не встречает ее дочка, отчего не раздается ее голосок. Обычно, приходя домой с рынка, она заставала дочь одетой, умытой и причесанной. Девушка бежала

ей навстречу, переворачивала все в корзинке, искала и допытывалась:

— Мама, что ты мне принесла?

— Не торопись, река еще не горит! Дай раньше приготовить отцу стакан цикория, слыханное ли дело!

Так бывало всегда. Но сегодня в доме тишина, странная тишина. Рейзл не видно и не слышно, хотя дверь и открыта. Спит еще, что ли? А кантор все заливается надрывно, на высокой октаве: «О-о-о, кому от огня-я-я, а кому-у-у от воды-ы-ы...» И снова: «Кому-у-у от воды-ы-ы...»

Неслышно, на цыпочках, входит Лея в дом, ставит корзинку в угол; тихо, чтобы не мешать мужу, подходит к печке и едва внятно начинает шептать про себя:

— Горе мне, неужели она еще спит? Экая девчонка! Сейчас соберутся ученики в хедер *, а она будет вертеться тут неодетая у мальчиков на глазах... Ей все еще кажется, что она ребенок... Исроел! Исроел!.. не слышит! Ну и расходился же он с «огнем и водой», боже праведный! Со стороны можно подумать, что золотом его осыпают за пение. А Рейзл ходит в стоптанных, искривившихся ботинках, бедная моя девочка! Однако до каких пор она будет спать! Надо разбудить дочку. Слыханное ли дело?

С этими словами Лея быстро подходит к занавеске из белой простыни, которой отгорожен уголок для дочери, с минуту прислушивается, затем тихонько, двумя пальцами, поднимает простыню, пристально осматривает кровать и, бросив взгляд на открытое окно, несколько мгновений стоит безмолвно и недвижно, будто окаменелая. Потом, словно ее что-то неожиданно кольнуло в сердце, она вздрагивает и поворачивает голову к мужу:

— Исроел!

Это произносится таким тоном, что кантор тут же обрывает свое пение и, повернув голову к жене, спрашивает.

— Что, Лея?

— Где Рейзл?

— Как где? Разве она не спит?..

. . . .

Не прошло и получаса, как все местечко уже знало о несчастье в семье кантора. Один за другим повалили в его дом люди, тревожно справлялись:

— Ну, что слышно?.. Нет ее? Быть не может! Как могло случиться?

Все утро местечко волновалось, кипело, гудело, как потревоженный улей:

— Слыхали? Исчезла дочь кантора.

— Что вы! Исчезла? Куда? Где же она?

— Пропала, как в воду канула.

А сам кантор — что с ним? Не плачет, ни слова не говорит. Стоит посреди комнаты неподвижно как истукан и заглядывает всем в глаза. Видать, от горя лишился и речи и рассудка... А канторша между тем не дремлет: будто ошалелая, носится она по местечку, ломает руки, бьет себя по голове и неистово вопит.

— Доченька моя! Дитятко мое! Зеница ока моего!

За ней следом идет толпа мужчин и женщин, помогающих канторше в розысках. Где только они не были! И по ту сторону моста, и на кладбище, и у всех валахских садовников, и у речки, — нет как нет!

Полумертвую канторшу под руки привели домой. Там было полно народу. Все только и говорили что о горе, постигшем кантора и его жену. Кто-то поднял занавеску, взглянул на кровать и на раскрытое окно и сказал как бы про себя.

— Вот отсюда и выпорхнула птичка.

Чувство юмора не покидает голенештинского обывателя даже перед лицом чужого горя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обморок

В каждом еврейском местечке, как бы оно ни было бедно и убого, есть свой Ротшильд.

Голенештинский Ротшильд — Беня Рафалович.

Расписывать вам этого человека во всем его богатстве и величии нет надобности — достаточно будет

нарисовать вам картину обеда у Бени. У него ежедневно садится за стол человек двадцать с лишком: сыновья и дочери, зятья и снохи — все красивые, здоровые, упитанные, кровь с молоком; затем старая мать хозяина, непрестанно мотающая головой «нет-нет»; кормилица, белая, как сдобная булка, с румянцем во всю щеку, да кассир, свой человек, родственничек Бени Рафаловича. Имя кассира — Симхе[1], но все его называют «Сосн-Весимхе»[2]. Прозвали его так вовсе не потому, что он веселое создание, — наоборот, именно потому, что это — существо мрачное, безжизненное, сонливое. Сам он чернявый, с лоснящимся лицом, с выпученными глазами, с толстой верхней губой, покрытой густой растительностью. Нос его почти всегда заложен, а потому он гнусавит, произносит «м» и «н» в нос.

С остальными членами семьи мы еще будем иметь случай познакомиться. Но вообще следует сказать, что это — богатая, веселая, жизнерадостная семья. Здесь любят хорошо поесть. Когда приближается час обеда или ужина, в доме подымается такой шум и гам, такой оглушительный перезвон тарелок, ложек и вилок, что оглохнуть можно. На самом почетном месте за столом сидит в царственной позе хозяин, бессарабский купец с солидным брюшком. На матово-темном лице — густая борода, широко разросшаяся вправо и влево и совершенно непокорная гребешку: разметалась в беспорядке в обе стороны и ничего с ней не поделаешь, — хоть чеши, хоть не чеши!

Такая уж натура у Бени Рафаловича: когда он ест, он ничего другого знать не желает. Что творится кругом, его совершенно не касается. Делать два дела одновременно он не любит. Сам он скуп на слова, но другим разговаривать не мешает. Лишь изредка, когда за столом становится слишком уж шумно, он разражается криком:

— Тише, щенята! Лучше заглядывайте в молитвенник и вникайте в суть.

---

[1] Симхе — веселье.

[2] Сосн-Весимхе — радость и веселье.

Это означает: «Заглядывайте в тарелку и знайте, что вы едите».

Такая уж у Бени Рафаловича привычка — говорить иносказательно. Лошадь, например, он называет «парнем», деньги — «черепками», жену —«несчастьем», сына — «наследником», дочь — «нарывом», хлеб — «нитками», дом — «чердаком», комнату — «дырой» и т. п. У него собственный лексикон, из которого можно было бы составить целый словарь.

Последнее место за столом занимает жена Бени — Бейлка, маленькая, слабенькая, тихонькая женщина. Ее не видно и не слышно. Взглянешь на нее и невольно спросишь себя: неужели этакая вот женщина произвела на свет всю эту ораву? И все же будьте спокойны за нее: это маленькое, слабенькое существо несет на своих плечах все тяготы домашних забот, вникает во все мелочи. Думает она обо всем, и за всех у нее душа болит. Ей самой ничего не нужно, — вся жизнь ее в детях. Свое почетное место за столом она уступила старой свекрови, которая непрестанно мотает головой «нет-нет». Эта старуха как будто для того только и существует, чтобы служить живым напоминанием о бренности человеческого существования и неизбежности конца. Почти все чувства давно в ней притупились, сохранилось в полной мере одно только зрение. Да, глаз у нее зоркий — она все замечает раньше всех. И на этот раз никто, кроме нее, не приметил, что за столом, среди бесчисленной оравы детей, зятьев, невесток и снох, не хватает самого младшего сына Бени — Лейбла. Обшарив острым взглядом стол, старуха замотала головой:

— Где Лейбл?

Тут только все спохватились, что Лейбла действительно нет, и начали искать его по всем углам.

— Куда девался Лейбл?

Как ни многочисленна семья Бени, все же ни разу еще не случалось, чтобы кто-либо из детей не являлся к обеду. Поэтому отец рассвирепел и коротко приказал:

— Привести подсвинка из стада.

Это означало: привести младшего сына из хедера.

Тотчас же был послан человек в хедер к кантору Исроелу с поручением привести Лейбла домой к обеду.

К последнему блюду — свежим папешуям — посланный человек вернулся с известием, что Лейбл сегодня в хедере даже не показывался и что у кантора с канторшей такая беда приключилась, что не приведи господь: их дочь, их единственная доченька этой ночью исчезла, и никто не знает, куда она девалась.

Точно бомба взорвалась в доме Рафаловичей, — до того ошеломило всех принесенное посланцем известие. Сидевшие за столом, казалось, обомлели и стали с недоумением переглядываться. Что каждый из них думал в эту минуту, трудно сказать: никто не решался произнести вслух то, что у него было на уме. Только старуха, привыкшая говорить напрямик все, что думала, промолвила громко, мотая при этом головой:

— Загляни-ка в ящик письменного стола. Я готова поклясться, что сегодня в полночь, покуда этот детина, — она указала рукой на Симхе, — храпел так, что мог бы разбудить покойника, кто-то впотьмах копошился у кассы.

Чудовищные мысли приходят в голову старым людям! Как так Симхе храпел? А если муха пролетит, разве он не услышит? У него сон чуткий. И все же заспанный кассир принужден был потрудиться и подняться с места. Он медленно вытер толстую, густо поросшую растительностью верхнюю губу, затем черные лоснящиеся руки, нехотя вынул из кармана брюк связку ключей, тихонько, не спеша, открыл средний ящик дубового письменного стола и, взглянув внутрь, оторопел. Его сонные выпученные глаза остекленели. Он не мог вымолвить ни единого слова.

На помощь обомлевшему кассиру пришел хозяин:

— А ну-ка, шевельни языком! — загремел Беня.

Симхе вздрогнул. Дар слова вернулся к нему, но язык заплетался, и он едва прогнусавил:

— Вот здесь у меня были ключи всю ночь, слышите?.. Вот тут в кармане... Глаз не смыкал, вы понимаете?.. Малейший шорох, и то, знаете ли... И вот,

понимаете, в ящике пусто, хоть плюнь туда, а от всей наличности, понимаете, прямо-таки ни следа...

При этих словах кто-то из присутствующих испустил тихий крик и, качнувшись, упал в обморок.

То была маленькая, слабенькая, тихонькая Бейлка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Голенешти ходуном ходит

Голенешти кипит, волнуется. Сущее светопреставление! Голенешти ходуном ходит.

Шутка ли, в один день столько новостей! Два скандала сразу, да еще каких! И какое диковинное совпадение: дочь бедняка кантора и сын голенештинского богача! Что между ними общего? Просто уму непостижимо!

И местечко Голенешти всколыхнулось. Торговцы закрыли лавки, меламеды * распустили своих учеников, ремесленники отложили в сторону свои инструменты, женщины бросили хозяйство. Все вышли из дому, стали собираться кучками, запрудили улицы, точно в субботний день во время послеобеденной прогулки. И пошли толки, пересуды, домыслы да всевозможные догадки, догадки, догадки без конца. Их было так много, что нет возможности пересказать их целиком, потому что стоило лишь одному высказать свое предположение, как другой противопоставлял ему три своих. Тогда выступал третий и, обескураживал обоих, доказывал, что оба они ослы и ни бельмеса не понимают. Его доводы казались весьма убедительными. Но тут, как на беду, в спор вмешивался четвертый, утверждавший, что его предшественники понимают в этом деле не больше покойника. Он-то знает кое-что очень интересное. Дайте ему только слово сказать!

И начинается длинный рассказ, правда, в высшей степени занимательный, но целиком основанный не на фактах, а на догадках и умозаключениях. Публика, видимо, не совсем удовлетворена и этой версией.

Конечно, здраво рассуждая, все выходит как будто гладко, но в голове это все-таки как-то не укладывается. И вдруг какой-то рыжий человек с бесцветными глазами дает новое направление всем разговорам весьма замысловатым вопросом:

— Послушайте, люди добрые! Я вас спрашиваю: с чего это нашим двум молодцам вздумалось исчезнуть как раз вчера, в субботу вечером, в ту самую ночь, когда еврейский театр выехал из нашего местечка?

— Ну, и что ж из этого следует?

— Нет, вы слушайте, что вам говорят: не имеет ли вся эта история прямого отношения к еврейскому театру и к еврейским актерщикам?

— На дубу свинья гнездо свила, а овца пришла — яйцо снесла.

Взрыв смеха. Рыжий с бесцветными глазами чувствует себя задетым за живое:

— Вольно вам ржать сколько угодно, можете хоть лопнуть со смеху. Но ежели вы такие умники, ответьте мне, будьте любезны, еще на один вопрос: по какому такому делу приходили актерщики на прошлой неделе к кантору Исроелу? Может, не верите? Так потрудитесь, будьте добры, спросить самого кантора.

— Так мы и побежим бередить ему рану.

— Ну, тогда не мелите глупостей и дайте мне вывести вас на прямую дорогу. Вы меня спросите, и я вам точно скажу, что делали актерщики у Исроела-кантора: они, понимаете ли, проведали, что у кантора есть дочь, что эта дочь и собой хороша и поет прекрасно, а так как он, кантор то есть, бедняк каких мало, то они и предложили ему, чтобы он ее, дочку значит, отдал к ним в театр, — они, дескать, уже выведут ее в люди. Ну как? Теперь смекнули?

— Смекнуть-то смекнули, но что вы скажете про сынка Бени Рафаловича?

— Вот тут-то и заковыка! У меня у самого голова трещит от разных дум. Допустим, что мальчонка Бени Рафаловича, который учится в хедере у Исроела-кантора, завел шуры-муры с дочкой учителя... Но ведь это же совершеннейшая чепуха! Разве этакий щенок способен на это? А если, скажем, допустить, что девчонка

сама сбила его с пути с согласия родителей, так мы ведь все знаем кантора Исроела — не такой он человек... Разве что канторша? Тут уж дело другого рода: мало ли на что женщина способна...

— Тише, дети, губернатор едет! — воскликнул какой-то остряк, указывая рукой на пристава, который стрелой промчался мимо толпы в новой скрипучей бричке, запряженной парой белых резвых коней со множеством бубенчиков. Все сразу узнали рысаков Рафаловича. Рядом с приставом в бричке сидел до смерти перепуганный музыкант Ехиел, который, как всем было известно, играл в оркестре еврейского театра.

Промелькнувшая перед глазами бричка с лошадьми Рафаловича, с музыкантом Ехиелом рядом с приставом и явилась тем обстоятельством, которое сразу высоко подняло авторитет рыжего человека с бесцветными глазами, и люди невольно стали придвигаться к нему все ближе, все внимательнее прислушивались к его словам. Его доводы показались слушателям совершенно осмысленными, вполне убедительными, имеющими веское основание.

Так как голенештинцы напали на верный след и смекнули, наконец, что именно еврейский театр является ключом к разгадке странной тайны, переполошившей все местечко, оставим на время в покое обывателей местечка, — пусть изощряются в догадках. Мы же обратимся к недалекому прошлому — к тому времени, когда еврейский театр только-только приехал в Голенешти, впервые с тех пор как Голенешти — местечко, а Бессарабия — губерния.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Умора

Еще недели за три до этого события в Голенешти стали поговаривать, что сюда собирается приехать еврейский театр. Но никто не ожидал, что он здесь так придется по вкусу.

— Эка невидаль! — толковали между собой обыватели. — Подумаешь, важная штука театр! Актеришки, комедианты!.. Кому они нужны?

Не следует, однако, думать, что голенештинцы были очень уж избалованы театром. Наоборот, надо признаться, что они театра никогда и видом не видали и не знали, с чем его едят. Но с другой стороны, где это предписано законом, что человек обязан все видеть собственными глазами? Для чего же бог дал человеку разум? Умом, слава тебе господи, можно постигнуть вещи и позамысловатее...

В одно прекрасное утро на улицах Голенешти появился какой-то человечек в пальто красновато-серовато-зеленовато-голубого цвета, в помятой шляпенке, с потрепанным чемоданчиком в руке. Он объяснил, что приехал сюда снимать помещение для театра. Все сбежались посмотреть на эту диковину — и не столько потому, что сам этот человек имел такой примечательный вид (это своим чередом), сколько потому, что любопытно было знать, что он тут будет делать.

Низкорослый человек с бритым лицом окинул шельмовским взглядом местечко Голенешти и его обитателей и заговорил странным хриплым голосом, причем помятая шляпенка все время подплясывала на его голове:

— По-видимому, насколько я могу судить, наш прародитель Адам ни разу не останавливался здесь на субботу.

Казалось бы, что особенного он сказал? Несколько простых слов, не правда ли? Но поглядели бы вы, какой поразительный эффект они произвели! Слушатели схватились за животы, словно их клещами сдавило, и грянул такой взрыв смеха, что незнакомец сначала даже испугался. Он помолчал с минуту, поглядел на голенештинцев так, точно перед ним корчились какие-то полоумные, и, дав им вдоволь нахохотаться, спросил совершенно серьезно, ощущая мучительную пустоту в желудке (он еще в дороге чувствовал, что у него нестерпимо сосет под ложечкой):

— Скажите-ка, милые люди, где бы здесь можно было утолить голод?

Казалось бы, в этом вопросе тоже не было ничего необыкновенного. Но едва произнес он эти простые слова, как все буквально затряслись в судорогах звонкого, раскатистого смеха.

Тут уж субъект в помятой шляпенке рассердился не на шутку и сказал еще серьезнее прежнего:

— Я не шучу. Просто хочу узнать, где здесь можно чего-нибудь пожевать.

Только этого не хватало. От этих слов у всех со смеху точно спазмой сдавило животы.

Спустя полчаса все Голенешти повторяло: *«Где бы здесь можно было пожевать...»* — ха-ха-ха!

— Умора! — говорили в толпе, вытирая слезы, выступавшие на глазах от смеха. — В полном смысле слова умора! Странный человечек в странном пальто, странной шляпенке, со странной манерой выражаться. Лопнешь со смеху!..

А Умора между тем долго еще ходил по улицам местечка, пока не нашел, наконец, то, что ему было нужно, — заезжий двор. Двор, правда, не перворазрядный, зато цена подходящая.

Отведав керченской селедки и запив ее стаканом бессарабского вина, незнакомец с наслаждением закурил папиросу и, обратясь к хозяйке, миловидной брюнетке по имени Неха, стал ее выспрашивать, есть ли у нее муж, вдова ли она, или разводка. Но Неху душил смех, и она кое-как улизнула от «бездельника». А «бездельник», взяв в руки тросточку, нахлобучил на лоб помятую шляпенку, засунул руки в карманы и пошел гулять по местечку, заодно уже высматривая подходящее помещение для театра.

Он шествовал не один. Его провожала целая ватага босых и оборванных уличных мальчишек, страстных любителей еврейского театра. Они ходили за ним по пятам, покуда он не остановился, наконец, у какого-то двора. Там внимание его привлек огромный крытый железом пустой сарай.

— Вот этот сарай самим богом при сотворении мира был предназначен специально для еврейского театра, — сказал он про себя и вошел во двор.

То был двор Бени Рафаловича. Сарай принадлежал ему же.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дружеская переписка

Голенештинцам недолго пришлось дожидаться прибытия еврейского театра. Как только Умора сговорился с Беней Рафаловичем о цене, он тотчас написал антрепренеру театра письмо, которое мы здесь передаем слово в слово, букву в букву:

«Любезный друг Альберт! Пишу тебе письмо и с тем сообщаю, что я в Голенешти — местечко такое в Бессарабии, городок с ноготок, а люди — звери, жрут мамалыгу и хлещут вино, как воду. Но «Мойше» * повалит в театр так, что чертям тошно будет. А театр я снял, хоть Лондону впору, сцена — на санях прокатись, крыша железная, холера ее не проймет, не то что дождь. Хозяина театра зовут Беня Рафалович, и он напихан деньгами, как черт поло́вой, а все же он не постеснялся, боров этакий, попросить задаток. Но я ему сказал, чтобы он подождал немного, потому я на днях должен получить по почте, сам знаешь — болячку, а не деньги. А заезжий дом мне попался — лучше не надо: хозяйка — картинка, так и просится: «Поцелуй меня», пей, ешь на здоровье, а кредит — сколько душе угодно. А потому не будь идиотом и не тяни канитель, а высылай сейчас же декорации с афишами, заложи все, что можно, и приезжай скорее со всем своим хедером *. Ради бога, не откладывай в долгий ящик, потому приближаются дни еврейского поста, и тогда мы с голоду подохнем. А разрешение здесь получить так же легко, как у Гоцмаха кисло-сладкое мясо натощак. И кланяйся ему от моего имени, сто чертей его бабушке! И пройдись, мой любезный, ко мне на квартиру,

я забыл там под кроватью свои комнатные туфли да пару цензурованных пьес. И ради бога высылай как можно скорее афиши. Только ты не очень бесись, что не посылаю тебе телеграмму, потому у меня остался всего-навсего один стертый двугривенный, да и тот с дырочкой. От меня, твоего друга, который каждому из вас сердечно кланяется.

Шолом-Меер Муравчик».

Несколько дней спустя Шолом-Меер Муравчик получил следующее ответное письмо:

«Глубокоуважаемый друг Шолом-Меер, чтоб тебе околеть! Какого черта тебя угораздило перехватить у Брайнделе-козак пятнадцать целковых и сказать ей, что это за мой счет? Какие такие счеты, мошенник этакий, у меня могут быть с Брайнделе-козак? Вся труппа ее любит, как ячмень на глазу, потому что она дрожит над каждой копейкой и подымает скандал из-за ломаного гроша. А что касается того, что ты пишешь насчет декораций, то я в толк не возьму, прикидываешься ли ты дохлым, или ты взаправду скотина безмозглая. Ты, кажись, прекрасно знаешь, что декорации уже давно заложены, а где взять деньги, чтобы их выкупить, когда разрешения здесь не получишь и за миллион, а ежели еще имеется немножко золота и брильянтов, то для чужой утробы я их растранжиривать не стану, не так-то легко они мне достались, разве что они подпишут мне контракты черным по белому, чтобы было ясно, как на ладони, что больше они ни слова не заикнутся о марках * и долях, чтобы быть мне компаньоном в деле. Новые компаньоны на мою голову! Гоцмах тоже компаньон у меня в театре! Не дождаться ему, Гоцмаху, чтобы я с ним делился пополам. Хоть они и пугают, что сколотят собственную компанию — чтобы им все ребра переколотили! — но наплевать я на них хотел. И посылаю тебе афишу и получи разрешение на восемь спектаклей с бенефисом. А что ты оправдываешься, мошенник, будто у тебя остался один стертый двугривенный, да и тот с дырочкой, то ты не хвор заложить свои собственные часы,

как я свои. Все навалились на мои плечи, один за всех отвечай, каждый норовит получить первые роли, а если что от них понадобится, — наших дома нет. Теперь я сделаю последнюю попытку: выгорит дело в Бессарабии, — хорошо, а ежели нет, то можете хоть головой о стенку, а я могу позволить себе прокатиться по Румынии и сколотить там такой «хедер», чтобы бог и люди завидовали, а заодно уже избавлюсь от своего репейника — от холеры-жены. А пока суд да дело, приготовь все, что требуется, да только не делай больших расходов, береги копейку. Мы, с божьей помощью, приедем все в пятницу, в субботу вечером откатаем репетиции, а в воскресенье будем играть. И сообщаю тебе, что твои комнатные туфли и цензурованные пьесы давно уже лежат на помойке. С глубоким уважением и пожеланием счастья твой друг, директор

Альберт Щупак».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Голенештинские театралы

Пьяницы, давно не бравшие в рот хмельного, голодающие, давно не видавшие корки хлеба, не набросились бы с такой жадностью на вино и яства, с какой голенештинцы накинулись на еврейский театр.

К первому представлению не только двор Бени Рафаловича, но и вся улица так были запружены народом, что яблочку негде было упасть. Всем хотелось поглядеть на театр хотя бы снаружи. Охотников войти внутрь по многим причинам было значительно меньше: во-первых, это, говорят, должно стоить денег, а деньги в Голенешти — редкая штука. Во-вторых, не всякий вообще может себе позволить пойти в театр — это подобает молодежи — юношам, девушкам, молодкам, но никак не почтенным пожилым людям, отцам семейств, у которых есть уже дочери на выданье. Но у каждого человека копошится внутри

червь-искуситель, — чтоб ему ни дна ни покрышки! — который точит, точит и нашептывает на ухо: «Что за беда, если заглянешь туда издали, хотя бы в щелочку, и своими глазами увидишь, как играют в еврейском театре?»

Таких охотников поглядеть в щелочку нашлось, однако, в Голенешти слишком уж много, так много, что администрация театра была вынуждена в первую же ночь пустить в ход чрезвычайное средство — «брызгалку», особую машину, которая обдает струями холодной воды. Действует это средство превосходно, в тысячу раз лучше самой ретивой полиции. Дешево и сердито!

А придумал «брызгалку» не кто иной, как наш старый знакомый Шолом-Меер Муравчик, Умора.

О его роли в театре мы уже говорили. Он — все и ничто: бухгалтер, кассир, контролер, билетер, временами суфлер, а иной раз, когда не хватает актера на какую-нибудь роль, он же и актер. Великим артистом назвать его нельзя — это было бы преувеличением. Зато он честный человек, служит хозяину верой и правдой, предан ему, как пес. Директор Альберт Щупак, с которым мы вскоре познакомимся ближе, знает эти его качества и потому затыкает им все дыры: куда ни повернись, всюду Шолом-Меер да Шолом-Меер. Когда приходится впустить человека в театр бесплатно, по контрамарке, — опять Шолом-Меер. А претендентов на контрамарки в Голенешти, не сглазить бы,— хоть отбавляй!

Во-первых, семья Рафаловича, человек двадцать, если не больше. Беня Рафалович, правда, достаточно богат и не беда бы, если бы он заплатил за билет. Но и он по-своему прав: с какой стати он будет платить за вход в свой собственный сарай?

На первый спектакль Рафалович пришел в театр со всей семьей, захватив с собой еще родственника-кассира, кормилицу и прочую челядь. Вся эта орава заняла, разумеется, самые почетные места — первые два ряда. Шолом-Меер подбежал к ним и завел было разговор о билетах. Беня сначала не удостоил его

даже ответом. Когда же Шолом-Меер своим хриплым голосом дал понять, что они заняли все лучшие места, Беня взглянул на него одним глазом и произнес на своем цветистом иносказательном жаргоне:

— Убери отсюда, Умора, свои короткие ходули, не то я сейчас же смажу тебя по свежеобструганным дощечкам или прикажу своим колотырям взять тебя в работу, — тогда ты живо превратишься в мамалыгу.

Получив такую красноречивую отповедь, Шолом-Меер понял, что тут он денег не получит, зря только время потратит.

А время между тем не ждет. Театр открыт, публика валом валит, а больше всего — контрамарочники. Один только Ехиел-музыкант привел с собой целую ораву. Шолом-Меер даже не представлял себе, чтобы у музыканта — не сглазить бы! — могло быть такое многочисленное семейство. А где остальные музыканты? А парикмахер? Плотник? Кузнец? Портной? Сапожник? Все работают при театре, у всех, слава тебе господи, есть жены и дети, и всем полагаются контрамарки. А как — скажите на милость! — быть с хозяйкой заезжего дома, которую Шолом-Меер прозвал «картинкой»? Виновата ли она, что у нее есть две младшие сестры да старая мамаша, глухая, как тетерев? Мало того что она их кормит, она еще обязана покупать для них билеты в театр? Где же справедливость? Или, например, извозчик Шимен-Довид и носильщик Хаим-Бер, которые привезли декорации с железнодорожной станции, — разве у них не душа, а вата?.. Директор Альберт Щупак волен при распределении котрамарок беснонаться, скрежетать зубами, неистовствовать и сходить с ума, вольно ему хоть лопнуть с досады, — Шолом-Меер обращает на него столько же внимания, сколько на прошлогодний снег. Кому надо дать контрамарку, тому он даст, а кому полагается войти в театр без всяких контрамарок, тот войдет.

Ссориться с публикой не следует.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Глаза

Да не впадет в ошибку читатель и да не подумает он, что вся голенештинская публика состоит сплошь из одних контрамарочников. Есть и такие, которые истратили последний, в поте лица заработанный рубль, заложили какую-нибудь вещь или взяли взаймы у приятеля на несколько дней рубль-другой, чтобы купить билеты для своих детей.

И как в самом деле не доставить детям это удовольствие? Разве есть другие развлечения в Голенешти? Так-то оно так, но что поделаешь, когда все-таки нет ни гроша за душою, подзанять не у кого, а дитя просит, умоляет, жаждет посмотреть спектакль, буквально чахнет с тоски?

Вот, к примеру, Рейзл, дочь кантора Исроела. Чем она хуже других детей? Надо обладать каменным сердцем, чтобы не сжалиться над такой девушкой, как Рейзл! Тем более что она — единственное дитя у своих родителей, и они готовы были бы сотни верст пройти пешком, если бы это понадобилось, чтобы раздобыть что-нибудь, необходимое их дочке. А тут, точно назло, как раз в то время, когда открылся театр, кантору Исроелу не удалось получить ни копейки — ни за свое канторство, ни за свое учительство. Никто не платит, словно это не люди, а камни. Бедная канторша металась во все стороны — нет как нет, хоть ложись да помирай! Пусть злые языки болтают что угодно, пусть говорят, что канторша Лея слишком балует свою дочь, кормит ее конфетами, покупает дорогие ботинки, пусть!..

— Ну, конечно, им легко осуждать! Будь они на моем месте, будь у них одна-единственная дочь и притом такая на редкость удачная, как моя Рейзл, не то бы они запели о конфетах и ботинках. Слыханное ли дело!

Так размышляла вслух канторша Лея, и в конце концов ей пришла в голову спасительная мысль (чего не сделает мать ради своего дитяти!): так как у ее

мужа обучается сынок богача Рафаловича Лейбл и так как весь «парад» происходит во дворе Рафаловича, то сам бог велел воспользоваться этим, — как говорится, «тут тебе плошка, тут тебе и ложка». И вот Лея сначала попыталась взять под обстрел мужа: пусть он скажет Лейблу, чтобы Лейбл попросил мать, чтобы она попросила отца, чтобы тот распорядился пропустить Рейзл бесплатно в театр.

Но из этого плана ничего не получилось. Кантор Исроел, мало того что бедняк, он к тому же, как на беду, еще и гордец: ему, говорит он, не к лицу быть попрошайкой и клянчить у своих же учеников. Тогда Лея, отбросив самолюбие в сторону, взялась за дело сама. Она подкараулила Лейбла в укромном уголке с глазу на глаз и сказала:

— Лейбл у меня к тебе просьба.

Лейбл остановился как вкопанный: к нему? к Лейблу? просьба? Когда он выслушал эту просьбу, его и без того румяные щеки еще пуще зарделись, и он тотчас обещал, что обязательно поговорит с мамой, чтобы мама переговорила с папой, чтобы папа поговорил с мамой, чтобы мама поговорила с папой... Тьфу, совсем запутался! Одним словом, дело уладится.

И в это мгновение большие, прекрасные кроткие глаза Лейбла встретились с черными цыганскими глазами Рейзл, которая глядела на него издали с восторгом и благодарностью. Казалось, глаза эти говорили: «Ты славный парень: если ты захочешь, я буду в театре, я в этом уверена...»

И Лейбл опустил глаза.

В тот же день после обеда Лейбл принес в хедер радостную весть: он уже говорил с мамой, мама переговорила с папой, и папа сказал, чтобы она, то есть Рейзл, пришла сегодня вечерком к ним домой, и они возьмут ее с собой в театр.

От этой доброй вести миловидное цыганское личико Рейзл разрумянилось, и черные с поволокой цыганские глаза разгорелись. Она бросилась к матери, стала ее обнимать, целовать, затем начала петь, плясать и кружиться, желая заставить и мать поплясать вместе с нею. Но Лея с ласковой улыбкой отстранила ее:

— С ума ты сошла, не приведи господь? Поди-ка лучше расчеши волосы, оденься, а я тебе косу заплету. Ты же приходишь в дом к чужим людям, слыханное ли дело!..

Вечером Лея сама отвела свою Рейзл к Рафаловичам и передала ее на попечение Бейлки, попросив понаблюдать за дочкой:

— Не забывайте, что она у меня одна-единственная.

Бейлка внимательно оглядела дочь кантора. Видимо, эта черноокая девушка ей понравилась.

— Будьте спокойны, — сказала она канторше, — будьте уверены... Как родное дитя.

И Лея ушла домой.

Нехорошо чувствовала себя Рейзл в богатом доме Рафаловича среди всей его многочисленной семьи. Нехорошо потому, что все пожирали ее глазами. Дом сам по себе ей очень понравился. Люди тоже. Но эти устремленные на нее взгляды стольких глаз! И каждому в отдельности отвечай: «Как ее зовут? Сколько ей лет? Умеет ли она молиться, читать, писать?»

Рейзл никогда и во сне не снилась такая большая, богатая квартира, столько комнат, кроватей, столов, столиков, стульев, зеркал и разных безделушек. А сколько на столе стаканов и рюмок, тарелочек и ложечек, а какие горы всевозможных фруктов, варенья всех сортов! Шум, крики и столько веселья, смеха! — вот что значит дом богача!

Рейзл знала, что Лейбл, ученик ее отца, — сын богатых родителей, что его отец — богач. Но что, собственно говоря, значит «богач»? Этого она еще по-настоящему не понимала. Что быть богачом хорошо, а быть бедняком плохо, она слышала от матери сотни и тысячи раз: «Нищету бы заложить, да богачом стать...», «Богачам счастье!», «Богатому и на том свете хорошо...» Такого рода изречения Рейзл с детства слышала от матери чуть не каждый день. Но только теперь, сидя за этим огромным, богато убранным столом, среди этого шумного веселья, она поняла истинное значение богатства. И никогда еще у нее не было такого страстного желания стать богатой, как теперь.

Новое неведомое чувство — чувство зависти — закралось в ее душу. Но вдруг ее сверкающие черные цыганские глаза встретились с другой парой знакомых глаз, больших, прекрасных, нежных глаз, которые смотрели на нее застенчиво, но приветливо и дружелюбно. Казалось, эти глаза говорили ей: «Нравится тебе у нас? Я рад, что тебе нравится. Я рад, что тебе хорошо...» У нее забилось сердце, ей стало вдруг тепло, жарко. Она почувствовала, что щеки ее пылают.

И она опустила глаза.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Занавес подымается

Рано стала собираться голенештинская публика на первое представление и быстро заполнила театр. Всякий боялся, как бы, сохрани боже, не опоздать: мало ли что может случиться? Было так тесно, что булавке негде было упасть. Стояли, вплотную прижавшись друг к другу, а те, что сидели, держали еще у себя на коленях кто родственника, кто знакомого. Повезло тем, что пришли первыми: они захватили лучшие места, первые ряды. Пришедшие чуть попозже, конечно, возмущались: они заплатили за места деньги, наличные деньги, а мест нет. Недовольные подняли шум, крик и чуть не разнесли театр. Хорошо, что Шолом-Меер, всюду поспевавший Шолом-Меер, догадался подмигнуть Ехиелу-музыканту, чтобы тот ударил плясовую. Услыхав музыку, публика решила, что начинается представление, и кое-как уселась. Все успокоились.

Но публика жестоко ошиблась. Вот и музыка уже давно отгремела, а занавес все еще не подымается. А по ту сторону занавеса раздаются крики, возгласы, брань, стук топоров и молотков. Что-то там творится за занавесом, но что именно — никто не знает. Люди сидят как на иголках, а о молодежи и говорить

нечего — она прямо из себя выходит: хочется скорее узнать, что же, наконец, будет, когда поднимется этот занавес.

Среди молодежи, с особым нетерпением ожидавшей начала представления, выделялась на редкость красивая юная парочка: мальчик лет тринадцати, с большими прекрасными, нежными глазами, и девушка лет четырнадцати — пятнадцати, с матово-черными цыганскими глазами и прелестными ямочками на щеках. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, хотя и очень далеки были друг от друга по своему происхождению: он — сын богача Рафаловича, она — дочь бедного кантора.

Кто усадил эту парочку так близко друг к другу? Может быть, они сами так уселись? Впрочем, кому какое дело до них в этакой сутолоке? Кто станет обращать на них внимание, когда взоры всех устремлены туда — к занавесу, занавесу, занавесу?

И вот впервые за всю свою короткую жизнь юные счастливцы — Лейбл и Рейзл — сидят так близко друг к другу и, пожалуй, впервые видят друг друга по-настоящему. Встречаются они, правда, каждый день в доме ее отца, в хедере кантора Исроела. Но что это за встречи? Придет Лейбл в хедер и тотчас же берется либо за книгу, либо за тетрадь. Там нет и времени для разговоров, да и место неподходящее для беседы с девушкой, да еще с дочкой учителя, у которой есть еще, слава богу, мать, и какая мать! Она строго следит за своей дочерью, наблюдает за каждым ее шагом, не позволяет ей не то что показаться в хедере, когда там ученики, но даже взглянуть в тот угол, где они сидят.

— Девушке нечего делать среди мальчиков, потому что девушка это девушка, а мальчики это мальчики. Слыханное ли дело?..

Так говорит канторша Лея, а ее слово — закон. Даже голос подать, спеть что-нибудь не позволяет она дочке, покуда мальчики в хедере. А у Рейзл — прекрасный голосок, и она очень любит петь. Когда она невзначай запоет, старшие мальчики прислушиваются с замиранием сердца, а потом дома, лежа в

постели вспоминают голос Рейзл, тихо вздыхают и, засыпая, видят во сне дочь ребе.

Если это случалось и не со всеми старшими мальчиками, если не всем им Рейзл являлась во сне, то с сынком Бени Рафаловича Лейблом это бывало частенько. И не раз во время ученья он задумывался: держит в руках книгу талмуда, а в глазах — Рейзл.

И вот они сидят теперь так близко друг к другу, что он не только видит ее, не только слышит, но и чувствует, чувствует ее... Слышит биение сердца: тик-так, тик-так, — и сам не знает чье это сердечко так бьется: его собственное или ее. А может, и оба сердечка вместе. Скорее всего так, потому что и он и она то и дело глядят друг на друга и, встречаясь взглядами, опускают глаза, и каждому хочется что-то сказать, о чем-то поведать. Но говорить они не в состоянии — ни он, ни она: не находят слов.

И тут Лейбл вспоминает, сколько раз он искал повода, чтобы очутиться поближе к Рейзл, слушать ее голосок, перекинуться с ней хотя бы несколькими словами. Но всегда в таких случаях тут же под каким-нибудь предлогом появляется мать, — и нет больше Рейзл... Рейзл тоже вспоминает, сколько раз она тайком кидала взоры в сторону учеников отца, отыскивая среди них сына богача: не потому, что он сын богача, а потому, что ее отец, знающий толк в людях, очень высокого мнения о Лейбле, расхваливает его на все лады, пророчит ему ученую карьеру.

Слышит это канторша Лея и истолковывает слова мужа по-своему.

— А то как же! богачам во всем счастье, даже в детях, слыханное ли дело!

Сидя так близко к Рейзл, Лейбл досадует на себя, что именно теперь не находит слов, чтобы завести с ней разговор. Рейзл тоже не может решиться: заговорить с ним или нет? Да как и о чем она будет с ним разговаривать? Оба думают друг о друге и оба молчат.

Но вот начинают гасить лампы. В театре воцаряется мрак: скоро, стало быть, начнется... Из публики раздаются всевозможные возгласы:

— О-о-о-о!
— Тьма египетская!
— Ой-ой-ой, моя нога!
— Так вам и надо! Кто виноват? Если у вас лишняя нога, оставили бы ее дома!
— Тише, черт вас побери!
В публике оживление. Лейбл и сам не понимает, как и когда это случилось, но рука Рейзл — мягкая, гладкая, теплая ручка — вдруг очутилась в его руке. С минуту он просто держит эту ручку, затем крепко сжимает ее, как бы спрашивая:
— Довольна?
И она отвечает ему таким же крепким пожатием, точно говорит:
— Очень...
Занавес подымается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В раю

Если для прочих голенештинских жителей еврейско-немецкий * театр был неожиданным, точно с неба свалившимся, приятным развлечением, то для нашей, пребывавшей в упоении и блаженстве, юной парочки, для сына богача и дочери кантора, он был раем, порог которого не всякий может удостоиться чести переступить. Им, сыну богача и дочери кантора, повезло больше, чем кому бы то ни было: каждый вечер, да, каждый вечер бывают они в театре, занимают лучшие места, видят и слышат такие чудеса, какие им до сих пор и во сне не снились.

Целый мир, новый мир открылся их глазам. Мир, где люди переодеваются, преображаются, кружатся и вертятся, произносят странные слова, наполовину еврейские, наполовину немецкие, поют, пляшут и выкидывают такие штучки, что просто диву даешься: либо до того смешно, что лопнуть можно, либо так грустно, что слезами обливаешься.

И все это проделывают люди? Обыкновенные люди?

Нет, не обыкновенные люди, такие, как мы с вами, например. Это либо черти, шуты, лукавые бесы, либо ангелы небесные. Их выход на сцену, их стать, походка, манера говорить, каждое их движение — все полно обаяния, волшебства. Все вокруг окутано какими-то чарами, и оба они — Лейбл и Рейзл — с первой минуты, едва подымается занавес, переносятся в новый заколдованный мир, в царство чертей, шутов, бесов и ангелов... Опустился занавес — и конец волшебству, нет больше чертей, шутов, бесов, нет ангелов! Снова люди, обыкновенные люди, снова прежний, будничный мир. Дети чувствуют себя так, точно они только что были на седьмом небе и внезапно их снова спустили на землю. И им от всего сердца жаль: зачем так сразу взяли да сбросили их с заоблачных высот? Но они утешают себя тем, что скоро опять подымется занавес и вновь они очутятся на небесах, в раю. И так будет завтра, послезавтра, каждый день...

Счастливые дети!

Сколько голенештинских мальчиков завидуют Лейблу: ведь это торжество происходит во дворе его отца.

Сколько голенештинских девушек завидуют Рейзл, которая благодаря хлопотам матери удостоилась высокой чести попасть в дом к Рафаловичам. А что стоит таким богачам взять с собой еще одного человека в театр?

— Мое дитя, — не сглазить бы! — очень понравилось, очень пришлось по душе богачам; только бы не омрачилась ее радость!..

Так хвастается канторша Лея перед соседками. И чтобы никто не подумал, что она, сохрани боже, сама выклянчила эту милость для своей дочки, она дипломатически спешит объяснить:

— Вы спрашиваете, как попала моя Рейзл к богачам? Вот послушайте. Иду я как-то на базар, а навстречу Бейлка, жена Рафаловича. «Здравствуйте». — «Добрый день». — «Что новенького?» — спрашивает. «А у вас, говорю, что новенького?» — «И не спраши-

вайте лучше. Кутерьма, суматоха во дворе, театр! Целое событие, праздник для моей семьи. Ну, а ваша как поживает?» — «Спасибо, грех роптать». — «Почему бы вам не прислать ее ко мне?» — «Спасибо. А что ей у вас делать?» — «Она познакомится с моими дочками и заодно пойдет с ними в театр». — «Спасибо, если только она захочет, я с удовольствием ее пошлю».

Так искусно плела небылицы канторша, не скупясь на явную ложь, чтобы преградить путь злословию. Чего не сделает мать для любимого дитяти?

Не потому, что мы хотим взять канторшу под свою защиту, а в интересах истины считаем необходимым прибавить, что Лея пустила бы дочь в театр не со всяким. Но с Рафаловичами — почему бы не пустить? С величайшим удовольствием! Пусть все видят, куда вхожа ее дочь... А на следующий после первого спектакля день Лея в присутствии посторонних то и дело спрашивала и переспрашивала дочь:

— Так чем, стало быть, угощали тебя вчера богачи?

Или:

— Рейзл, в котором часу ты идешь сегодня к богачам?

Или:

— Если, доченька, тебя еще попросят у богачей поужинать, ты больше не отказывайся. Чего тут стесняться, слыханное ли дело?..

Глупости! Рейзл и не думает отказываться. Чем дальше, тем свободнее чувствует она себя в богатом доме. Она спешит туда в приподнятом, праздничном настроении, точно на большое семейное торжество к близкому другу.

И не удивительно! Когда бы Рейзл ни приходила туда, она всегда желанный гость. В большом светлом доме богатого Рафаловича ее всегда встречают одинаково приветливо, дружелюбно, со смехом, весельем, шумом и криком. И каждый раз всей оравой отправляются в театр и занимают лучшие места. И всегда ей приходится сидеть бок о бок с сыном Бени Рафаловича, с Лейблом... И всякий раз, когда в зале гаснет

свет и поднимается занавес, ее рука оказывается в его руке... И всякий раз они оба отрываются от земли и чувствуют, что у них вырастают крылья, что они несутся куда-то высоко-высоко, на седьмое небо, в рай...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После спектакля

Из театра Рейзл приходит домой разгоряченная, с зарумянившимися щеками, с каким-то особым блеском в глазах, с сердцем, до краев переполненным радостью. И чудится ей, будто все еще звучат в ушах речи людей-ангелов, звуки музыки и раскатистый смех Рафаловичей. Она вспоминает, как Лейбл тихо-тихо, почти на ухо, шепнул ей, крепко сжимая ее руку:

— Придешь завтра опять?

— Что за вопрос!

Так отвечала она, но не словами, а, как обычно, пожатием руки.

Это было при выходе из театра. Зрители, по обыкновению, торопливо проталкивались вперед. Давка была страшная: голенештинцы любят быть первыми не только при входе, но и при выходе. Лейбла и Рейзл так сдавили, что на мгновение они почувствовали себя как бы единым существом. Их почти вынесли из театра.

Была упоительная лунная ночь, одна из тех светлых теплых бессарабских ночей, когда не хочется идти домой и предаться сну. В такую ночь и впрямь грешно спать. Глаза невольно обращены вверх, к небесам, к луне, к звездам. Душа рвется неведомо куда. Сердце влечет неведомо к чему. В душу закрадывается какая-то непонятная тоска неведомо о чем... Тихо в Голенешти и спокойно. Остыла земля после заката бессарабского солнца. Легла на землю пыль, столбом стоявшая весь день, и можно уже подышать чистым воздухом. Вот откуда-то залетел легкий вете-

рок, принесший привет от бессарабских полей и садов, пахнущих не пряностями, а хлебом и папешуей, яблоками и грушами. Издали доносятся звуки свирели: то пастух гонит овец на пастбище. Все тише и тише дудит свирель, звуки ее уже едва слышны и медленно-медленно замирают...

Голенештинцы возвращаются из театра. Из *еврейского* театра. А когда голенештинцы идут из театра, они галдят, кричат, машут руками, — такой уж у них норов. Один рассказывает другому, что он видел и слышал, и всякому кажется: то, что он видел, видел только он один, то, что он слышал, слышал только он один. Люди напевают песенки, которые пели актеры на сцене. Громче всех звучат голоса молодежи. Впереди всех бежит детвора. И Голенешти просыпается. Нарушена тишина чудесной теплой летней ночи. Но ненадолго. Голенештинцы приходят домой, шепчут молитву на сон грядущий, тушат лампы, и — спокойной ночи!

В маленькой хатенке на «Божьей улице» * — тут живет кантор Исроел — еще брезжит свет. Кантор с женой тоже собрались спать, но поджидают дочку из театра. Придет Рейзл — расскажет, что она видела.

Кантор Исроел — еще молодой и довольно красивый человек с черными шелковистыми волосами, сидит в белом талескотне *, полураздетый. Обмахиваясь ермолкой, как веером, он читает перед сном молитву «Слушай, Израиль». Жена тоже почти раздета. Тень от ее белого повойника, на фоне которого так рельефно выделяются ее строгое темное лицо и черные сердитые глаза, колышется на беловато-желтоватой стене.

Но вот вернулась, с божьей помощью, из театра Рейзл, и едва дождавшаяся ее Лея забрасывает дочку вопросами: какие, мол, «окмедии» сегодня представляли? Кто там был из знакомых? Что подавали у богачей к столу?

И еще о чем-то бубнит над ухом мать, заканчивая свою речь следующими словами:

— Что, разве не так? А то как же? разве я не понимаю, что можно, а чего нельзя? Иной раз должно быть «да», а другой раз — «нет», слыханное ли дело?

Но смысл ее слов не доходит до Рейзл, она слышит только одно: голос матери без умолку звенит в ушах, и сыплются, сыплются слова; отец читает молитву на сон грядущий и обмахивается ермолкой. Какой контраст: *тут и там!* Какая разница между тем, что здесь, и той веселостью, жизнерадостностью, яркостью, всем, что царит там!.. И вообще как тесно, мрачно и скучно у них после вечера, так чудесно проведенного сначала у Рафаловичей в светлом, красивом, веселом доме, затем в театре — в настоящем раю — и потом, на обратном пути из театра, под обаянием теплой, светлой, прекрасной летней ночи!..

Канторша Лея все еще сыплет слова, но вдруг сообразив, что она слишком долго говорит, а час уж поздний, сама себя прерывает:

— Ой, порази меня гром! Вот заговорилась... Уж давно спать пора, а я тут уши ей прожужжала, слыханное ли дело... Ну, дочка, я гашу лампу. Спокойной ночи, спокойного сна!

— Спокойной ночи, — отвечает Рейзл и, закутавшись в одеяло, свертывается калачиком и закрывает глаза. Грезы подхватывают ее и тотчас переносят с «Божьей улицы» снова туда, туда, в рай.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Почетные гости

Первой была изгнана из рая дочь кантора Рейзл. Вот как это случилось.

Однажды утром, когда кантор еще был в синагоге, канторша на рынке, а ученики еще не начали собираться, Рейзл сидела на кровати у открытого окна, полуобнаженная, с еще не заплетенными косами, зашивая распоровшуюся по шву кофточку, и пела чудес-

ную песенку из оперетты «Шуламис» (Суламифь), которую слышала в театре:

Козочка уехала вдаль
Закупать изюм и миндаль.
Таков удел будет твой.
Спи, спи, мой родной.

— Браво, кошечка, браво! — раздался хрипловатый голос за окном, где сидела Рейзл.

То был не кто иной, как наш старый знакомый, Шолом-Меер Муравчик, Умора, из еврейского театра.

Кроме тысячи других обязанностей по театру, на Шолом-Меере лежали еще заботы о домашнем хозяйстве труппы. Ранним утром, когда все актеры еще спали, он с корзинкой в руке выходил на базар закупать провизию для «детей» (так он называл актеров). И вот однажды, проходя по «Божьей улице», он услышал знакомую песенку из репертуара театра. Кто-то пел так задушевно, так сладко, так трогательно, что он остановился, словно пригвожденный к месту. Ему захотелось увидеть, кто это так очаровательно поет. Он подошел к окну и увидел черноокую девушку, свежую и румяную, почти дитя: она пела и пела, забыв обо всем на свете. Шолом-Меера ее пение так захватило, что он, не в силах удержаться, стал аплодировать молодой певице: «Браво, браво!»

Девочка, видимо, не на шутку испугалась. Небольшой красный платочек, прикрывавший ее красивые детские плечики соскользнул и приоткрыл на минутку перед чужим взором обнаженное тело, скорее девичье, чем детское. Это еще более подзадорило нашего доброго Шолом-Меера, и, не проявляя ни малейшего желания отойти от окна, он, не сводя с певицы глаз, по своему обыкновению затараторил:

— Пташечка моя, чего ты испугалась? Голосок у тебя, скажу я тебе, слаще сахара. Трех примадонн я не взял бы за тебя одну, дай мне господи столько счастья и удач! А циферблатик у тебя загляденье, любо смотреть! Погоди. Если только я не выжил из ума, я бы сказал, что твое лицо мне как будто знакомо. Готов поклясться, что видел тебя в театре, на

одной скамье с пузырем Бени Рафаловича. Лопни мои глаза, если это не так! Ага, ты вся зарделась, не правда ли?.. стала краснее своего платочка. Смейся, смейся, девочка, — когда смеешься, ты еще краше! Ямочки на щеках становятся еще глубже, а белые зубки так идут к твоим черным волосам и цыганским глазкам, дай мне господи столько счастья и удач!..

Рейзл не так испугали развязный язык и плоские комплименты этого субъекта (в них она еще мало смыслила), сколько то, что она сидит, вот так, можно сказать полуголая, а чужой человек, мужчина, стоит у нее под окном. Что скажет мама, если она вдруг явится?..

Рейзл отпрянула назад и поспешно закрыла окно.

Когда вечером того же дня Рейзл пришла с Рафаловичами в театр, Шолом-Меер Муравчик издали приветствовал ее без слов своими шельмовскими глазами; Рейзл зарделась, как солнечный закат в Бессарабии... Затем, во время первого антракта, когда Ехиел-музыкант блистал своим искусством, играя какую-то еврейскую мелодию, а публика щелкала орехи, жевала груши, галдела, хохотала и повторяла вслух каждое услышанное со сцены слово, Рейзл как-то заметила, что тот самый субъект, который стоял у нее под окном сегодня утром, указывает на нее издали пальцем директору театра; а директор, представительный мужчина в высоком цилиндре с неимоверно крупными брильянтами почти на всех пальцах, бросает на нее взгляды своих мышиных красных безбровых глаз. И снова лицо Рейзл зарделось, как маков цвет...

На следующий день, едва только Исроел распустил своих учеников на обед и, помыв руки, уселся за стол с женой и дочерью, внезапно распахнулась дверь и в комнату вошли двое: Шолом-Меер, Умора, и директор театра, оба свежевыбритые, благоухающие душистым мылом и одеколоном Вер-а-Виолет. На директоре был великолепный галстук, украшенный брильянтовой булавкой. Почти на всех его пальцах

сверкали брильянты, а на большой золотой цепочке от часов висел тяжелый массивный медальон, на котором красовалась монограмма из букв А и Щ, искусно составленная из белых брильянтов, синих сапфиров, красных рубинов и зеленых смарагдов. Драгоценные камни украшали первые буквы достопочтенного имени «Альберт Щупак».

Все эти драгоценности: золотые кольца и массивный медальон, которыми был обвешан директор, могли бы много, очень много рассказать. Но так как мы весьма и весьма торопимся, то не будем на этом останавливаться. На страницах нашего романа мы еще не раз, надо думать, встретимся с этим субъектом. Скажем лишь вкратце (только с условием, чтобы это осталось между нами), что Щупак, выставляя свои брильянты и золото напоказ, пытался убедить всех, будто это подарки от публики, «артистические трофеи». В действительности же он сам исподволь приобрел их, купил на свои «кровные» денежки, «честно» нажитые трудом двух десятков полунищих, вечно голодных, но всегда веселых созданий... Дело в том, что Альберт Щупак твердо придерживался мнения, что доверять никому нельзя, даже собственной жене. Поэтому он держал все состояние при себе в золоте и брильянтах. Этак, видите ли, и людям было на что поглядеть, и для кармана надежней...

Увидев таких почтенных гостей, кантор Исроел поднялся им навстречу. Канторша Лея поднесла вновь прибывшим два стула и попросила сесть. А Рейзл? Но оставим ее лучше в покое, еще минута, и она сгорит...

— Приятного... обратного... как там его, к чертям его! — начал директор Альберт Щупак, но тотчас запнулся, словно напоролся на скалу: ни туда, ни сюда. Хорошо, что тут был Шолом-Меер, который обычно выручал его из всех бед. Шолом-Меер прервал его хриплым голосом и затараторил на своем цветистом лексиконе:

— Приятного аппетита! Пожалуйте кушать! Кушайте на здоровье! Ешьте, глотайте безо всякой церемонии! Мы — люди самые простые, обыкновенные

того же семени, того же роду-племени, что и вы. Это мой принципал, директор здешнего еврейско-немецкого театра, а я у них, как говорится, ко всякой бочке затычка: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Их имя — Альберт Щупак, а меня зовут Шолом-Меер Муравчик. А теперь, когда мы, стало быть, уже познакомились ближе, мы бы не прочь пропустить с вами рюмочку, другую, коли у вас найдется. А если нет, пошлите, пусть принесут. А закусим мы тем же, что и вы. Я вижу, вы уплетаете бурачки со сливами. Это такое блюдо, которого я уже не ел — как бы не соврать! — по крайней мере лет сто, дай мне господи столько счастья и удач!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кантор Исроел заливается соловьем

Пока Шолом-Меер балагурил, а кантор с женой и дочкой его слушали, директор еврейско-немецкого театра Альберт Щупак сидел за столом, плотно сжав губы, играл медальоном, выставлял напоказ все свои алмазы и брильянты и не спускал с Рейзл маленьких красных безбровых глаз.

После обеда, когда Шолом-Меер уже наговорил с три короба, канторша убрала со стола, а кантор закончил послеобеденную молитву, директор Альберт Щупак нашел, что пора и ему сказать несколько слов и приступить к делу, ради которого он и явился сюда в сопровождении Муравчика. Директор театра прежде всего приподнял цилиндр, обнаружив большую лысину, обложенную со всех сторон гладкими, густо напомаженными волосами, затем вытер пот со лба и выпустил на волю свой язык.

Альберт Щупак, в сущности, человек молчаливый. Но если уж он заговорит, остановить его трудно. Его язык начинает заплетаться, подчас совершенно выходит из повиновения и заводит его черт знает в какие дебри. Поэтому часто Щупак говорит совсем не то,

что хочет сказать. Шолом-Меер Муравчик, его правая рука и флигель-адъютант, знает эту слабость директора, бесцеремонно прерывает его на первом же слове и договаривает на своем цветистом лексиконе то, чего не сумел сказать Щупак.

— Понимаете ли, милый кантор, — начал Щупак, — дело, видите ли, вот в чем. Я, понимаете ли, тоже был некогда всего только певчим у кантора, то есть выносил помойное ведро... Виноват, я хотел сказать — пел. У меня, понимаете ли, был голос, что называется сопрано, настоящее сопрано! И пощечины я получал... Виноват, помогал кантору у амвона. Потом я сам стал, понимаете ли, этим... как его... Ну, сам себе хозяин, значит. Пели мы на всех свадьбах, на всех семейных торжествах, понимаете ли, песню моего собственного сочинения, то есть я сам ее и сочинил, называется она «Кто свято блюдет». Посмотрели бы вы книжку моих песен, знаете ли, с моим портретом на обложке. Там помещена и песня «Кто свято блюдет». Вот послушайте!.. Она начинается так (директор запел дребезжащим голосом):

«Кто свято блюдет» — Ципкеле, моя жена,
«День субботний» — убей тебя гром,
«Как ему подобает» — этой же ночью.

Альберт Щупак, по-видимому, вошел в роль и собирался пропеть свой гимн до конца по всем правилам искусства, но Шолом-Меер своевременно остановил его, лягнув директора ногой под столом, — так-де, мол, будет лучше для него самого, и своим цветистым языком начал объяснять кантору, для чего, собственно, они пришли сюда.

Так как о канторе Исроеле как о знаменитом певце они слышали давно, еще в то время, когда они и не помышляли о поездке в Бессарабию, и так как музыка — их хлеб насущный, то есть, собственно, их хлеб — театр, но театр и музыка — то же, что брат и сестра или муж и жена, то было бы, собственно говоря, справедливо, если бы кантор им что-либо спел.

— Что-либо, понимаете, такое-этакое, ну, как бы вам сказать? — настоящее еврейское, с перцем... —

прибавил Щупак, жестикулируя пальцами и улыбаясь сжатыми губами, причем его одутловатое морщинистое лицо еще больше сморщилось.

Кантор Исроел сразу понял, чего от него хотят. Правда, сначала он немного поломался, заставляя себя упрашивать, прикидывался, будто у него нет никакой охоты петь. «Мало ли что говорят! Это совсем не так! Люди любят преувеличивать». И тут же стал готовиться и настраивать свой «инструмент». (Был ли случай, чтобы кантор или артист отказались выступать, когда их так просят?) Затем он встал из-за стола, вытер губы, откашлялся и, приведя в порядок свой «инструмент», спросил приличия ради:

— Что же мне, например, спеть?..

И, не дожидаясь ответа, запел одну из новогодних мелодий. Он рассыпался трелями, подымался высоко и внезапно опускался на самую низкую октаву. И снова взмывал вверх, потом опять брал низкие тона, словом, играл голосом на все лады.

Гости молча переглядывались, подмигивали, причмокивали губами, смаковали пение, словно вкусное блюдо или отменное вино, и этим подзадоривали певца в гораздо большей степени, чем если бы его осыпали самыми лестными похвалами. У бедного кантора голова вскружилась. Если уже на то пошло, он им покажет, на что способен. И он стал петь одну мелодию за другой... Но когда в заключение он собрался спеть совершенно новую вещицу и притом собственной «композиции», Шолом-Меер схватил его за рукав:

— Простите меня, мой милый кантор, вы поете так сладко, что все канторы хоральных синагог всего света со всеми своими певчими не стоят вашего мизинца. Поверьте мне, если бы на нашей шее не висел театр с репетициями, актерами, разными заботами и напастями, мы бы просидели тут у вас до конца осенних праздников, и нам бы никогда не надоело слушать ваши «вещицы», дай мне господи столько счастья и удач! Но, к сожалению, вы знаете — дела. Времени нет, понимаете ли; мы завтра ставим самую что ни на есть новенькую пьесу «Куне-Лемель» *. Так вот,

пожалуй, очень любезно с вашей стороны, если бы перед уходом вы угостили нас закусочкой...

Кантор остановился в замешательстве:

— А именно, какую, например, закусочку подать вам?

— Вот какую закусочку.

И Шолом-Меер указал пальцем на дочь кантора, которая все время не спускала с него глаз. От этих последних слов бедная Рейзл помертвела, а кантор с канторшей навострили уши. Тут директор хотел выступить с объяснениями, но Шолом-Меер, сигнализируя ему ногой под столом, стал объяснять, что, собственно, он имеет в виду:

— Мы хотели бы, понимаете ли, чтобы она, ваша доченька то есть, спела что-нибудь. У нее, говорят, есть голосок, и поет она, говорят, песенки так, что заткнет за пояс тридцать Патти и семнадцать Нельсон...

— Откуда вы знаете, что моя дочь поет песенки? — не вытерпела канторша.

У бедной Рейзл дыхание сперло: она боялась, что вот-вот незваный гость расскажет, как вчера разговаривал с ней под окном, а ведь она матери даже не заикнулась об этом... Теперь ей здорово влетит! Но лисьи глазки Шолом-Меера сразу заметили, как меняется краска на лице девушки, и он тотчас ловко выпутался из щекотливого положения:

— Вот те и на! Слухом земля полнится. Откуда весь свет знает, что ваш муж, дай бог ему дожить до ста двадцати лет, обладает чудесной «глоткой» и «калватурой». Что все диву даются, слушая его? Пятнадцать лет мы разъезжаем по всему свету с нашим еврейско-немецким театром и даже не подозревали, что существует на свете город, который носит имя Голенешти. А вот видите: о канторе Исроеле слышали. Шутка ли сказать: «Исроел Голенештинский!» Ведь его слава гремит по всему миру. Ну, что вы на это скажете, милая канторша?

«Милая канторша» ничего не может на это сказать. Ее нисколько не удивляет, что имя ее мужа гремит по всему миру. Но чтоб ее дочь вдруг, ни с того

ни с сего, стала петь в присутствии двух совершенно чужих мужчин, — говорите что хотите, но по ее женскому разумению это... это... Она сама не знает, как это назвать...

— Вот так вдруг сдуру, нежданно-негаданно, с бухты-барахты девушка возьмет да начнет песенки распевать! Девушка ведь не мальчик. Мальчик это мальчик, а девушка это девушка, слыханное ли дело!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дочь кантора поет «Владыка небесный»

Совсем по-иному отнесся к просьбе гостей кантор Исроел. Он смотрел на дело гораздо проще. Может быть, жена и права, утверждая, что «мальчик это мальчик, а девушка это девушка...» Но все же один раз в сто лет, притом ради таких гостей, что тут за грех, если бы она, скажем, спела вместе с отцом? К тому же ему и самому хотелось еще немножечко показать себя. Расходившийся кантор, что грозовой дождь, — как начнет лить, так льет и льет без конца, не уймешь...

Исроел бросил на жену умоляющий взгляд, как бы говоря: «Ну что с тобой станется, если дитя споет?» Жена поняла этот взгляд. Если в канторе уже вспыхнула эта страсть к пению, ничего не поделаешь!.. И она ему также ответила безмолвным взглядом, в котором кантор прочитал: «Тебе очень захотелось? Ну что же! Коль тебе любо, то и мне мило, слыханное ли дело!..»

Лицо кантора просияло от радости. Откашлявшись, он взял тон и обратился к дочери:

— Когда просят спеть, то нельзя быть грубияном, надо спеть что-нибудь. Но вот вопрос: что бы нам, к примеру, спеть? Может быть, «Владыка небесный». Ты будешь петь, а я буду вторить на низкой «актабе»... Ну, Рейзл, начинай; ля-ля-ля...

Рейзл, довольная тем, что вчерашний инцидент прошел благополучно, готова была из благодарности петь сколько угодно, тем более что петь она с детства любила, да и теперь эта любовь нисколько не ослабла. Она была бы рада петь с утра до вечера, если бы мать не запрещала. Но стоит только Рейзл взять первые нотки, как мать сразу поднимает крик:

— Замолчи, Рейзл, сколько раз я тебе говорила! Думаешь, видно, что ты все еще маленькая девочка, ребеночек? А ты ведь уже взрослая, не сглазить бы, слыханное ли дело!

— Взрослая! — смеется Рейзл, а мать вслед за ней... Но петь дочери она все же не позволяет, разве только изредка, вместе с отцом, да и то, когда в доме нет посторонних.

И вот Рейзл стала возле отца, заложила руки назад и, закатив глаза кверху, запела мягким тонким и нежно звучащим голосом протяжную заунывную подлинно народную песню на еврейскую синагогальную мелодию, и в простых бесхитростных словах этой песни слышались одновременно и тоска, и жалоба, и слезы:

Владыко небесный!
Владыко небесный!
К тебе наши взоры и наши моленья.
Тебе я всю правду скажу без стесненья.
Доколе, доколе все наши мученья?
Доколе жестокости и притесненья?
Мы больше сносить уж не в силах гоненья.
Довольно, иссякло уж наше терпенье.
Мы больше не в силах сносить угнетенье.

Оба гостя — и директор и его «флигель-адъютант» — сидели, точно зачарованные, и переглядывались, широко открыв рты; оба были вне себя от огорчения, что пение так скоро кончилось. Они не находили слов для похвалы. Шолом-Меер, правда, воскликнул было хрипловатым голосом: «Браво! Браво! Браво! Бис!» — но сразу же осекся, почувствовав, что это «браво» здесь совершенно некстати, просто курам насмех: слишком печальна мелодия, слишком трогательны слова, слишком прекрасен молодой девичий голос, звучащий нежно, как скрипка, и слишком пле-

нительна своей неземной красотою сама юная певица, в сущности совсем еще дитя.

А Альберт Щупак, директор еврейско-немецкого театра!

Трудно сказать, что творилось в его душе... Он вынул из кармана шелковый, сильно надушенный платочек и стал вытирать слезы, навернувшиеся на глаза, на его маленькие красные безбровые глазки.

В этом давно уже высохшем очерствелом существе бьется еще, видать, еврейское сердце, в котором течет еще теплая кровь и не иссякла жизненная сила. Видно, чувство сострадания еще не окончательно испарилось из его души, если из его глаз могли исторгнуть слезу горе и скорбь, излившиеся у народа-скитальца в этих простых сердечных словах, в этой простодушной трогательной мелодии, которая и камень может разжалобить.

А может быть, причиной этому — пленительная своей неземною красой смуглая девушка, с ямочками на щеках, с прекрасными черными цыганскими глазами, со сладостно-нежным, звучащим как скрипка голосом, который, вырываясь из глубины ее сердца, льется к вам прямо в душу и как бальзам растекается по всем жилам?.. Кто знает? Кто может ответить на этот вопрос?

Читатель, уже знакомый с директором еврейско-немецкого театра по предыдущим главам, знает, что Альберт Щупак был не мастер вести разговор. Когда пение закончилось, он вскочил с места, подошел к кантору, схватил его за обе руки и со слезами на глазах едва выдавил из себя следующие несколько слов:

— Да не будет мое имя *Альбрет!..* (Необходимо заметить, что он сам, к великому стыду нашему, не умел правильно выговорить свое имя и вместо «Альберт» всегда говорил «Альбрет».)

— Слышите? Да не будет мое имя *Альбрет!..*

Это была самая большая похвала, какую когда-либо кто-нибудь слышал из уст директора еврейско-немецкого театра Альберта Щупака.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Щупак вне себя от восторга

Если бы директор еврейско-немецкого театра ограничился одним этим комплиментом («Да не будет мое имя Альбрет!»), все сошло бы гладко и хорошо и всякий по-своему остался бы доволен: гости унесли бы с собой восторг от чудесного исполнения «Владыки небесного» — такое исполнение редко кому-нибудь выпадает на долю услышать. Рейзл — дочь кантора, осталась бы очень довольна успехом своего первого «выступления» перед посторонними людьми, а кантор был бы счастлив, что его дочь произвела такое сильное впечатление на гостей (какой отец не радуется первому успеху своего ребенка?). Чего больше? Даже канторша Лея, которая не хотела примириться с тем, что ее дочь поет в присутствии чужих мужчин, на этот раз была так растрогана, что из груди ее невольно вырвался тихий вздох:

— Дитятко мое ненаглядное! Дай господь пострадать за нее! На то я и мать!

Но, видимо, суждено было, чтобы на ясное небо надвинулись тучи и омрачили общее счастье. И кто был этому виною! Директор еврейско-немецкого театра Щупак; его, с позволения сказать, язычок, его злосчастный, плохо подвешенный язык. Не шутка ведь, когда человек захлебывается от восторга!

От избытка ли восхищения, или потому, что этого требовали интересы дела, но Щупак снова дал волю своему языку и, играя драгоценными камнями, которыми были усеяны его пальцы, заговорил:

— Ай да голосок! Ай да горлышко! Ай да инструментик! Ну-ну, послушайте-ка, милый кантор: вы сидите здесь в Голенешти, понимаете ли, в этой дыре, в этой яме. Зачем? Ради чего? Плещетесь в этом болоте и знаете только папешуи, мамалыгу, «Владыка небесный»! Хе-хе-хе... Жаль, право жаль, такой

брильянт! А какой толк выйдет здесь из нее, то есть из вашей дочери, бедняжки? Кто знает?.. Мне сдается, да не будет мое имя Альбрет!..

Лея сразу поняла, что речь идет о карьере ее дочери, и резко оборвала Щупака, словно ножом отрезала:

— Нечего считать зубы в чужом рту. У моего ребенка, слава богу, есть родители, продли господи их годы! есть кому заботиться о ней...

Альберт Щупак, по-видимому, не понял намека, либо сделал вид, что не понимает, и продолжал идти прямо к цели, обращаясь только к кантору и даже не глядя в сторону его жены:

— Так что же, стало быть, я хотел сказать, мой милый кантор? Да, насчет того, что вы — слепые люди, бродите в потемках... Фанатизма вас одолела или бог весть что. Таков уж свет. У меня, кажется, вы бы только посмотрели, дети — золото! Девушки — дай мне господи столько здоровья! — куколки! Огурчики! Примадонна тоже из порядочной семьи. Не такое личико, как у вашей, зато голосок, понимаете ли, хоть в самую большую оперу... Если бы она поступила ко мне, ваша то есть, то — что вам сказать?.. через три-четыре года, вы понимаете, вот такой шапкой о...

При этом Щупак показал обеими руками, какую шапку, полную золота, их дочь принесла бы домой, если бы поступила к нему в театр.

Поняла ли это канторша как следует, или нет, трудно сказать. Но она видела, что этот субъект с высокой трубой на голове и нелепой бритой физиономией делает ее дочери какое-то странное, чудовищное предложение, которое даже слушать тошно... И в ней проснулась мать. Мать, созданная для того, чтобы защищать и оберегать свое дитя, как «зеницу ока своего». Мать, которая еле дождалась счастья видеть дочь уже почти взрослой. Мать, которая дрожит над ней, как над нежным, красивым, дорогим стеклянным сосудом. И, не желая пускаться в дальнейшие рассуждения, она еще резче прежнего оборвала Щупака.

— Не дождаться этого моим врагам! Вы что думаете, мы из портных или сапожников, что отпустим нашу плоть и кровь к комедиантам, актерщикам, бродягам? Слыханное ли дело?..

Все эти лестные эпитеты, произнесенные Леей без передышки, очевидно, не очень понравились директору еврейско-немецкого театра и задели его за живое. Его нелепое морщинистое лицо сразу пожелтело, затем позеленело, на лбу выступили капли пота. Сомкнутые губы как-то странно сжались, а маленькие безбровые глазки налились кровью. Альберт Щупак собирался с духом, чтобы отчитать канторшу по заслугам. Какая наглость со стороны женщины говорить в таком тоне с ним, с директором еврейско-немецкого театра!

Бог знает, до какого скандала здесь дошло бы... Альберт Щупак был скор на расправу и в этих случаях признавал только два выхода: «Либо давать пощечины, либо получать их».

К счастью, тут сидит Шолом-Меер. Он хорошо знает, что за птица его хозяин, и, насколько возможно, удерживает его от скандалов. Он придерживается того мнения, что не следует ни давать пощечин, ни получать их. Он считает, что добром всегда вернее добьешься своего... И флигель-адъютант потянул принципала за рукав, плутовато подмигнув ему при этом одним глазом, да так сильно, что шляпа подпрыгнула у него на голове. Потом он обратился к кантору:

— Ваша благоверная совершенно права, дай мне бог столько здоровья. Какая замечательная канторша у вас! Но у них один недостаток: они немножко слишком горячая женщина. Они не поняли, что директор здесь изволил сказать. Директор изволил говорить так себе, без всяких задних мыслей, что есть разные профессии на свете. Каждый хвалит свою профессию по пословице: «Каждая собака — хозяин у своей двери, и каждая свинья думает, что ее лужа самая глубокая...» А вообще говоря, ничего плохого — боже сохрани! — они, то есть директор, не думали, ни про вас, ни про вашего мужа, ни про дочку. Зашли мы

сюда, уверяю вас, только ради кантора, послушать его пение, да пошлет господь всем нам столько радости и удач! Мы бы еще сидели да сидели, но не хотим вам мешать. К тому же, я вижу, ваши лоботрясы уже начинают собираться в хедер. Вам уже пора приниматься за работу, как говорит пословица: «Тора — самая надежная опора, изюм с миндалем...» Будьте здоровы, и скатертью дорога!

— Головой об стенку, а ногами к двери! — благословила их канторша, когда гости были уже по ту сторону порога. Затем, обратясь к дочери, сказала: — Ну, доченька, можешь попрощаться с еврейским театром. Пока я еще не лежу в сырой земле, твои глаза его не увидят...

Больше всех досталось бы от Леи мужу (когда канторша выходила из себя, она умела задавать ему трепку), но, к счастью для кантора, его выручили ученики, которые уже уселись вокруг стола с раскрытыми книгами. Собственно, кантор Исроел и сам чувствовал себя не в своей тарелке после такого предложения непрошеных гостей. Но он овладел собой, собрался с духом, состроил веселую физиономию и, потирая руки, заговорил протяжно, с талмудическим напевом:

— Помните же, деточки! А ну-ка, еще раз! На чем, стало быть, мы остановились? Да-а-а...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Новый персонаж — Гоцмах

Весело и оживленно на большом широком дворе Бени Рафаловича. Сарай, в котором выступает еврейский театр, никогда не закрывается — ни днем, ни ночью. Жизнь начинается там с рассвета. То и дело мелькают люди. Одни входят, другие выходят. Столяры чинят скамьи, маляры пишут декорации, носильщики тащат сундуки, доски, дрова. Беспрестанно кто-то стучит молотками, забивает гвозди, наве-

шивает веревки. Непрерывный шум, гам, брань, крики.

Чаще и громче всех прочих криков и возгласов раздается: «Гоцмах!», «Гоцмах!»

— Гоцмах, черт бы тебя побрал!

— Гоцмах, глаза у тебя на затылке, что ли?

— Гоцмах, пошевеливайся!

— Гоцмах, погоди! Гоцмах, стой! Гоцмах, беги! Гоцмах, туда! Гоцмах, сюда!

Всюду — Гоцмах да Гоцмах.

«Кто он такой, этот Гоцмах?» — подумал сын Бени Рафаловича Лейбл. И утром, перед уходом в хедер, стал захаживать на несколько минут в сарай. Теперь Лейбл уже знает, кто такой Гоцмах.

Высокий, худощавый, болезненный, вечно кашляющий, страдающий одышкой, с белым, изрытым оспой лицом, с острым носом и заостренной головой, навостренными ушами и острыми, голодными, колючими глазами, — таков Гоцмах...

Его фамилия собственно *Гольцман.* Но директор театра Щупак с первого же дня окрестил его именем «Гоцмах», и оно осталось за ним навсегда.

Сыну Бени Рафаловича Лейблу Гоцмах понравился с первой минуты знакомства. А познакомились они очень просто, без всяких церемоний и формальностей. Было это так:

Гоцмах, увидев однажды Лейбла у дверей сарая, завел с ним разговор издали:

— Эй, молодец! Ты что тут делаешь?

— Ничего.

— Кого тебе нужно?

— Никого.

— Кто ты такой?

— Сын Бени Рафаловича.

— Чего же ты стоишь, как нищий на богатой свадьбе. Поди-ка сюда, паренек! Ты уже куришь? Или еще не куришь?

— Еще нет.

— Но твой папа курит? Братья, черт бы их батьку взял, курят? Ну, так, значит, ты можешь принести мне папиросы.

На следующий день запыхавшийся, потный и красный Лейбл, пугливо озираясь по сторонам, подошел к Гоцмаху и вывернул карман, набитый до отказа папиросами. Гоцмах быстро сгреб своими длинными костлявыми пальцами высыпавшиеся папиросы и положил их в карман с таким видом, будто они были не краденые, — сохрани боже! — а преподнесены в виде угощения добрым приятелем. Потом, не пошевелив даже бровью, не сказав спасибо, он закурил, затянулся и, выпустив две тонкие струйки дыма через свой заостренный нос, закашлялся и сказал:

— Кто это у вас курит такие дорогие папиросы?

— Старший брат, — едва слышно ответил Лейбл.

— Старший брат, сто чертей его батьке?! Он знает толк в папиросах! — громко воскликнул Гоцмах. — Скажи-ка, пташечка моя, что, например, подают у вас утром к кофе?

— Как когда: иной раз масло, сыр; другой раз яйца, сдобные булочки, печенье...

— Вот-вот-вот! — прервал Гоцмах. — Об этом-то и речь. Принеси, умница, пару сдобных булочек, да только свеженьких. Слышишь, что тебе говорят? Свеженьких!

Слово «свеженьких» Гоцмах произнес так громко, что Лейбл задрожал от страха: он испугался, как бы дома не услышали.

И все же на следующее утро он послушно принес в кармане пару сдобных булочек, дрожа при этом всем телом: он боялся, как бы запах булочек не выдал его... Но не успел он оглянуться, как голодный Гоцмах схватил обе булочки, пропустил их сквозь свое тонкое горло и мигом проглотил.

— Пилюли! — воскликнул Гоцмах, облизываясь, как кот после завтрака, и затянулся одной из принесенных Лейблом папирос, которые с первого раза ему до того понравились, что он велел приносить их почаще.

И Лейбл приносил все, что заказывал Гоцмах, и в благодарность за услуги получал свободный доступ в

театр не только вечером, во время представлений, но и днем, на репетиции. Его пускали даже по ту сторону занавеса, за кулисы, куда душа Лейбла рвалась давно: так ему хотелось знать, что там происходит.

Ах, если бы вы знали, что Лейбл там увидел! Особый мир, где люди переодеваются, преображаются, намазываются и накрашиваются, откуда выходят в обличье шутов, чертей, бесов и ангелов. Там живется, как в раю; там всегда радостно, весело, оживленно; один поет, другой танцует, этот уплетает за обе щеки, тот пьет прямо из бутылки, — буль-буль-буль, — а тот вот курит втихомолку, сидя на корточках в укромном уголке, чтобы не увидел директор и не взгрел бы хорошенько... Директор строг! Все боятся его, как исчадия ада, и в то же время насмехаются над ним, вышучивают, за спиной показывают ему язык, передразнивают, имитируют его походку, манеру сидеть, говорить, выставлять напоказ свои брильянты... Сущие черти, эти актеры!

Лучше всех подражает директору Гоцмах. Он и вообще любого человека так искусно умеет передразнить, что можно лопнуть со смеху. Веселое создание этот Гоцмах! Лейбл никак не может понять, откуда берется у этого человека столько веселья. Никто, кажется, так много не работает, как Гоцмах, никто столько не хлопочет, не бегает, не мучается, не голодает, не кашляет и не получает столько затрещин, оплеух и подзатыльников от всех и каждого, сколько Гоцмах, и в то же время никто не смеется так жизнерадостно, так заразительно, как Гоцмах. Только что, кажись, директор схватил его за шиворот и выбросил из гардеробной: «Гоцмах, черт бы тебя побрал!» А Гоцмах уже стоит за спиной директора, слегка согнувшись, склонив голову набок, поджав губы, и если вы поглядите на него спереди, вы увидите нелепое лицо с маленькими глазками — вылитый *Альберт Щупак!*

Ну, как не любить такого человека?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Гоцмах пишет письмо

— Эй ты, панский козел! Ты же учишься в хедере, стало быть, хорошо умеешь писать. Принеси-ка сюда перо, чернила и листок бумаги с конвертом... да заодно уж и семикопеечную марку.

С такими словами обратился в одно прекрасное утро к своему юному приятелю Гоцмах, занятый чисткой сапог актеров.

Через несколько минут все перечисленные предметы были уже в сарае, то есть в театре, по ту сторону занавеса, за кулисами.

На опрокинутом ящике у треногого столика сидел сын Рафаловича Лейбл и писал письмо. Напротив него на полу расположился Гоцмах с папиросой в зубах. Отложив в сторону недочищенные сапоги, он кашлянул и с важностью стал диктовать:

— Пиши так, душа моя:

«Моей дорогой любимой матери Сора-Брохе всякого благополучия! И моему дорогому любимому дяде Залмену всякого благополучия! И моей дорогой любимой сестре Златке всякого благополучия! И всем моим дорогим и любезным друзьям всякого благополучия...»

— Готово, душечка? Погоняй дальше!

«Во-первых, я спешу вас уведомить, что я, слава богу, вполне здоров, чего желаю и ныне, и вечно, и во всякое время от вас услышать, аминь!»

— Поставил, котик, «аминь»? Вот за это я тебя люблю! Мели дальше.

«Во-вторых, спешу тебя уведомить, моя любезная дорогая мамаша, что мы находимся в Бессарабии, в стране папешуй, мамалыги и толстых женщин. И мы каждую ночь играем в театре, и я спешу тебя уведомить, что я играю уже первые роли, и после осенних праздников мы начинаем работать на марках, то есть на паях, а пока что я работаю на жалованье, то есть понедельно, то есть каждую неделю я должен получать то, что мне следует. Не так уж много, чтобы

голова трещала, но, слава богу, хоть не даром. Я знаю, что по своей работе заслуживаю гораздо больше, и, может быть, я и получал бы больше, но у нас есть плут, мошенник, зовут его Шолом-Меер — так это такой Шолом-Меер, что не приведи господь! — дай ему боже быть искупительной жертвой за тебя, за меня и за Златку! Это, знаешь, сущая собака на сене: сам не ест и другим не дает. И посылаю тебе три рубля и прошу тебя, дорогая мама, не обижайся, что не высылаю трехсот. Это все, что у меня есть. И купи себе что-нибудь на праздник, что понужнее, и Златке, ради бога, купи пару ботинок, только непременно, без всяких отговорок. И скажи дяде Залмену, чтобы он не морочил мне голову насчет призыва, плевать я хотел на призыв! На этот счет я уже давно обеспечен, за что я должен поблагодарить его, моего любимого дядюшку Залмена... И прошу тебя, моя дорогая мама, когда будешь мне писать письмо, пусть Эля-меламед заодно уже напишет, когда годовщина смерти отца. В прошлом году она пришлась как раз на пятый день праздника «кущей». И пиши мне, работаешь ли ты еще на старой службе, и во что бы то ни стало Златке купи ботинки. А больше новостей у меня покамест нет. И будь здорова, дорогая мамаша, от меня, твоего сына, который желает тебе много добра и счастья и ныне, и навеки, и во всякое время от тебя то же услышать, аминь».

— Теперь, пузырь, дело за мною: дай-ка мне перо, я приложу свою руку.

Гоцмах засучил рукав правой руки до самого локтя и принялся за работу: вывел несколько крючков и каракулей и спросил своего секретаря Лейбла:

— Разве тут не написано Герш-Бер Гольцман?

Лейбл пристально всматривался в эти иероглифы, долго искал, но никак не мог обнаружить ни Герша, ни Бера, ни Гольцмана, ни вообще подобия какого-нибудь имени.

— Мой дорогой зверюшка, что ты так присматриваешься? — обратился Гоцмах к своему юному другу,

принимаясь снова за прерванную работу: чистку сапог. — Тебе, я вижу, как будто понравился мой почерк. Это я сам научился писать, глупенький. Собственным умом дошел. Все, что я знаю, всему я научился сам. Все говорят, что у меня был бы удивительно красивый почерк, если бы только меня учили. Но где там? Когда я совсем еще ребенком остался сиротой, мать поступила прислугой в чужой дом, а меня дядя Залмен принял к себе на работу. Он — портной заплаточник, совершенный калека в своем деле, но учеников колотит, как заправский мастер. И вот однажды за столом он мне, так сказать, намекнул... горячим утюгом прямо в грудь. С тех пор у меня не прекращается кашель... Ну, мать и отобрала меня от дяди-душегуба и отдала в ученье другому калеке. Но я уже не мог сидеть за работой, все из-за утюга, которым дядя меня угостил. Тогда мать думала-думала и отдала меня в помощники к меламеду — умывать ребятишек, повторять с ними утреннюю молитву, носить им завтрак в хедер. Оно, конечно, завтраки носить — работенка довольно-таки подходящая, — там глоток, там кусок, можно кое-чем и полакомиться. Но вот беда — когда на улице непролазная грязь, приходится таскать ребятишек на спине, а где взять на то силы? На мое счастье, приехал к нам в город еврейский театр. Еврейский театр, шутка ли! Как же так?! Все бегут в театр, а я буду дома сидеть? Ну, конечно, я кое-как пробрался туда, понятно, без билета. И должно же было случиться, на мое счастье, что директору, этому самому Щупаку, вздумалось пройтись по рядам, проверить билеты. Ну, само собой, он схватил меня за шиворот, выдрал хорошенько за уши и вышвырнул вон. Это было бы еще с полбеды, если бы он не сорвал с меня шапки. Как можно прийти домой без шапки? Мама ведь расскажет дяде, а этот разбойник забьет меня до смерти. Вот я и проторчал весь вечер на улице на лютом морозе, возле театра, пока публика не разошлась. Тогда я бросился к директору, к Щупаку то есть, плакал, заливался слезами, целовал руки, умолял отдать шапку. Я рассказал ему всю правду, что я всего-навсего сирота и что у меня

дядя разбойник... Выслушал он меня, этот Щупак, осмотрел с головы до ног своими маленькими глазками, — чтобы они ему на лоб выскочили! — и говорит: «Ты, говорит, сирота и тебе негде быть? Может быть, говорит, ты бы поступил ко мне в театр? Я, говорит, сделаю тебя актером».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Чудесное превращение в комика

Гоцмах закашлялся, прервал на минутку чистку сапог, закурил папиросу и, затянувшись несколько раз, продолжал свое повествование. Он стал рассказывать своему юному другу о том, какими чудесами он стал актером.

— Ты, конечно, думаешь, умница, что мать была очень довольна моей новой профессией? Ничуть не бывало! И не столько была недовольна она, сколько дядя Залмен: «Уедет он с актерами, так сразу перестанет читать поминальную молитву по отце — бездельник этакий!» Этим дядя хотел подействовать на маму. Но что мне дядя? Какая там поминальная молитва, когда я неожиданно поднялся на такую высоту? Первое время, можешь себе представить, мне не так уж сладко жилось в театре. Щупак начал обучать меня совсем на особый манер. Прежде всего, он угостил меня несколькими раскатистыми оплеухами за то, что я не умел чистить сапоги. «Разве так, говорит, чистят?» И, выхватив у меня из рук щетку, стал показывать, как это надо делать, чтоб и сапогу любо было... Затем стал гонять меня, точно гончую собаку; давал такие поручения, что нужно было быть о семи головах, чтобы все запомнить и всюду поспеть... А чуть не угодишь — оплеуха... Такой уж вредный характер у этого человека, чтоб у него рученьки отсохли! Проходит месяц, другой, третий, четвертый, а я сцены и в глаза не вижу. Боже, что же со мной будет? Для этого ли я всем пожертвовал?..

Спросить его, когда я удостоюсь чести выступить на сцене, боязно: получишь по затылку. Жаловаться актерам опасно: мошенник Шолом-Меер обо всем шепчет на ухо директору, чтоб их обоих холера побрала! Одним словом, что тут поделаешь? Надо до поры до времени мучиться, чтоб ему самому так мучиться, этому Щупаку! Я ждал год, ждал другой, но в конце концов дождался. Пришел и мой черед. Случилось чудо из чудес.

Тут Гоцмах закашлялся надолго, сопровождая свой кашель самой отборной бранью: «Холера б его побрала, этот кашель проклятый! Провалиться ему сквозь землю! Погибель на него!»

Откашлявшись и низвергнув поток проклятий, Гоцмах немного передохнул, затянулся несколько раз папиросой, вновь взялся за щетку и продолжал:

— Был у нас актер, первый любовник, Ухватовкером его звали. Замечательный, редкостный первый любовник, играл самые сильные роли, а шалопай был он необыкновенный, — как говорится, «великий, сильный и страшный» *. Красавец парень, здоровенный, широкоплечий. А глотка у него была луженая. Настоящий гортанный голос. И до чего же был языкастый, даже по-немецки говорил; словом, из любовников любовник!.. И что же ты думаешь? Этот Ухватовкер взял да и слег в постель, как будто в шутку и вдруг возьми да умри уже всерьез, по-настоящему. Ну, что ж поделаешь? Умер так умер. Мир праху его. Но как обойтись без любовника? Афиши уже расклеены, касса торгует и, как назло, билеты берут нарасхват. У моего Щупака вид — краше в гроб кладут. «Гоцмах, — говорит он мне, — ты сумел бы сыграть любовника?» — «Еще бы, говорю, почему не сыграть?» И принялся штудировать роль. Играли очень серьезную пьесу: *«Дора, или Богатый попрошайка» Шекспира. Исправлено и поставлено мною, Альбертом Щупаком»*. Так именно и было напечатано в афишах. Перед началом спектакля меня очень хорошо загримировали под любовника Рудольфа и выпустили на сцену гладко причесанного, с накрашен-

ными щечками и черными усиками. Одели меня в новый пиджак, новые брюки и пару штиблетов дали, — целехоньких, понимаешь. Словом, скажу я тебе, Рудольф из меня получился такой, что дальше некуда... Чего тут долго канитель разводить, мой дорогой птенчик? Черт поймет эту публику! С первой же минуты, едва только я вышел на сцену, рта раскрыть еще не успел, публика как начала смеяться, так до сих пор еще заливается. Нечего и говорить, что когда я подошел к примадонне, к Доре то есть, и стал «размахивать плеткой», то есть играть свою роль, взял ее за руку и сказал на чистом немецком языке точь-в-точь, как Ухватовкер, мир праху его: *«О дорогое дитя, мы должны сочетаться браком, ибо после бракосочетания любовь гораздо сильнее, чем до бракосочетания»,* — публика покатилась со смеху и хохотала добрых полчаса. Я думал, театр разнесут. Чем сильнее я играл свою роль, тем больше смеялась публика, словно хмельной бес в нее вселился... Словом, едва дождавшись минуты, когда опустили занавес, я, весь в поту побрел, куда глаза глядят, едва передвигая ноги и ничего перед собой не видя. И вдруг почувствовал, что я у Щупака в лапах. Оплеухи посыпались градом: «Мерзавец, почему ты мне раньше не сказал, что ты комик?..» Господи милосердный! Мне бы так не знать Щупака, а ему своих двух с половиной жен, как я тогда не знал, что означает слово «комик». И вот таким-то образом я с тех пор пошел в ход, начал «размахивать плеткой», то есть играть лучшие комические роли, сначала «Шмендрика», потом «Цингитанга», затем «Куне-Лемеля» *, потом пьяницу Нойаха из «Скрипки Давида» * и даже Попуса из «Бар-Кохбы» *. Да что говорить, самого «Зелика-музыканта» из пьесы Латайнера мне довелось как-то сыграть. Стоит мне только выйти и произнести поздравительные слова: «Жених и невеста, поздравляю в добрый час! Вот сейчас я вам представлю нечто сногсшибательное: инквизицию, компедрицию, не для чего, чего иного, как для прочего, другого», — и уж публика прямо хватается за животики, помирает со

смеху... А уж когда я выступаю в рваном кафтане и танцую хасидскую пляску, напевая песенку:

Я человечек,
Веселое творенье,
Я человечек,
Мое почтенье.
Я человечек,
Весельчак,
И пою себе:
Гоп-чик-чак, —

тогда весь театр буквально ходуном ходит. Ты ведь понимаешь, мне нечего хвастать перед таким мальчонкой, как ты... Но я могу смело сказать, что Гоцмах, слава богу, человек с именем. Жаль только, что не каждый вечер меня выпускают на сцену. А кто не пускает? Щупак. Вредный человек, чтоб ему околеть! Не дает ролей, пошли ему господи хворость на всю зиму! Лучшие роли он берет себе, потому что, если, сохрани боже, аплодируют не ему, а другому, он готов сквозь землю провалиться. Вот какой это дурак набитый!.. Но чтоб ему так долго жить, как долго я еще буду ему сапоги чистить. Не беспокойся, все до поры до времени. После осенних праздников мы, все актеры, с божьей помощью, столкуемся и будем работать сообща на марках, то есть на паях. Если он не захочет, — наплевать нам на него, сколотим свою компанию. Мы бы уже давно это сделали, если бы не этот шельма Шолом-Меер, погибель на него, тьфу!..

Этим злобным плевком — он был адресован сапожной щетке — Гоцмах закончил свою биографию и принялся изо всех сил начищать сапоги.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Лейбл проявляет свое дарование

Лейблу необычайно понравилась биография Гоцмаха. И не только биография Гоцмаха, но все, что он здесь видел и слышал, все, что имело какое-либо отношение к театру, приобретало в глазах нашего юного

героя особую привлекательность, становилось для него святыней.

С Гоцмахом Лейбл встречался частенько, по нескольку раз в день. Возвращаясь из школы домой к обеду, он первым долгом заглядывал в сарай: что там слышно? Встав рано поутру он забегал туда, захватив с собой что-нибудь съестное для Гоцмаха. А Гоцмах находился в сарае безотлучно: там он ел, там он пил, там он и спал.

— Театр нельзя оставлять без присмотра. В театре всегда кто-нибудь должен находиться. Шутка сказать, декорации, костюмы, парики. А ведь кроме меня, Щупак никому своего состояния не доверит.

Так хвастает Гоцмах перед своим юным другом Лейблом, и чем дальше, тем больше крепнет их дружба. Гоцмах нашел, с кем поделиться, перед кем излить душу. Ему вообще нравится этот «пузырь» (Лейбл) с прекрасными, нежными, добрыми, серьезными глазами, не говоря уже о том, что мальчуган добросовестно снабжает его лучшими лакомствами с отцовского стола и обеспечивает папиросами.

— Тяжело и горько, мой дорогой птенчик, зарабатывать хлеб насущный, — жалуется Гоцмах своему другу, — когда приходится быть актером-комиком у таких людишек, как Щупак, погуще бы их сеяли, да пореже бы они всходили! Жизнь он нам отравляет этот кровопийца в брильянтах, чтобы они у него вдребезги разбились, боже праведный!

Гоцмах закашлялся, затем продолжал:

— Положим, и мы ему спуску не даем, достается ему от нас: каждые несколько дней мы собираемся с ним «разводиться», грозим бросить его совсем и создать собственный театр. Если бы не его флигель-адъютант, проклятый Шолом-Меер, — чтобы ему ни дна ни покрышки! — мы бы уже давно поставили на своем. Ну их обоих к лешему! С меня довольно и того, что я, с божьей помощью, еврейский актер, хотя всего-навсего комик...

При этом Гоцмах делает очень серьезное лицо и выглядит еще комичнее, чем обычно. Лейбл смотрит

на него с большим уважением, и комик Гоцмах продолжает:

— Понимаешь ли, как только наступает вечер и ты выходишь на сцену, все горести и печали сейчас же исчезают, словно дым. На сцене я совсем другой человек. Что мне Щупак? Что мне Шолом-Меер? Плевал я на них с высокого потолка! Когда я на сцене, я не замечаю никого, а вижу только лампочки, людские головы, вижу лысины, шляпы, шапочки — больше ничего. Кто мне тогда ровня? Твой батька с его пузом? А ну-ка, пусть он попробует, допустим, примерно говоря, предложить мне этот сарай, со всем двором и со всем богатством, какое у него есть, и потребует за это, чтобы я, скажем, уступил ему сцену хоть на одну ночь, — пшепрашам, пане! [1]

Так хвастает Гоцмах перед своим юным другом Лейблом, а юный друг Лейбл пожирает его глазами, жадно ловит каждое слово.

И Гоцмах, не переставая, хвастает:

— Или, например, скажем, пусть мне кто-нибудь наполнит весь этот сарай золотом до потолка и даст мне еще в придачу царевну в жены, чтобы я перестал быть актером-комиком и пошел служить приказчиком где-нибудь в лавке или стал бы заниматься каким-нибудь другим ремеслом, — да я такому человеку в харю наплюю! Слышишь, малыш, ты еще совсем щенок, мой дорогой птенчик, ты еще не знаешь, какая страшная притягательная сила таится в театре: тянет и тянет, как магнит, ко всем чертям!

— То же самое происходит и со мной! — вырвалось у Лейбла в тот момент, когда Гоцмах, сделав паузу, закурил папиросу.

И он признался своему другу, что его тоже тянет в театр, давно уже тянет, с тех пор как он начал коечто понимать. Еще тогда, когда он и представления не имел о существовании театра, он уже разыгрывал с товарищами «Продажу Иосифа», «Исход из Египта», «На горе Синае» и тому подобные библейские сцены, которые они сами сочиняли в хедере.

---

[1] Извините, господин! *(польск.)*

И Лейбл стал подробно описывать, как они их представляли:

— Я вхожу, например, к фараону, царю египетскому, в его дворец, становлюсь перед ним вот так и обращаюсь к нему со следующими словами (Лейбл складывает руки на груди и говорит сначала тихо, затем все громче и громче, с нарастающим пафосом): «Мое имя Моисей, сын Аврома... Меня послал к тебе царь-государь, еврейский бог, бог Авраама, Исаака и Якова, имя которому Иегова, с приказом, чтобы ты выпустил его евреев из твоей страны, из Египта. Доколе страдать им? За что ты ополчился на них? За что ты терзаешь их? За что убиваешь детей их, купаешься в их крови? Убийца жестокий! Изверг! Кровопийца! Знаешь ли ты, с кем ты затеял спор? (Лейбл поднимает руку.) Вот я подниму десницу свою к небесам, и ты узришь воочию мою мощь!»

Глаза Лейбла сверкают огнем, щеки горят, лицо излучает сияние. Гоцмах в восторге прерывает его.

— Сильная роль! — восклицает он и, схватив своего юного друга за плечи, начинает трясти его. — Сильная роль! Провались я сквозь землю, если кто-либо посмеет сказать, что ты не актер! Подлинный актер, клянусь всем святым, актер, рожденный для сцены! Знаешь, что я тебе скажу, пузырь?

Гоцмах не в силах продолжать: кашель душит его. Схватившись обеими руками за столб, он долго кашляет и мечет проклятия во все стороны.

— Когда же кончится мой кашель? Погибель на него, боже праведный! Пусть бы он перебрался к Шолом-Мееру вместе с моей одышкой! А эти колики в боку, которые мучают меня, я охотно подарю Щупаку на праздник...

Когда приступ проходит, к Гоцмаху снова возвращается и жизнерадостное настроение и прежний тон:

— Знаешь, мальчонка, что я тебе скажу?

Лейбл не сводит с Гоцмаха широко раскрытых глаз: что-то он ему скажет?

— Вот что я тебе скажу, мой дорогой птенчик: я на твоем месте плюнул бы на все. Папашу толстомор-

дого я бы отослал в хедер, — пускай лучше он там сиденье протирает. Пузатому талмуду я бы сказал «прости-прощай»! Учителю-кантору я бы приказал петь «За грехи наши» *. А сам бы я...

Но тут в сарай вошли актеры, собиравшиеся на репетицию, и разговор Гоцмаха с Лейблом был прерван на самом интересном месте.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Недремлющее око

Никто в доме Рафаловича не заметил бы, что папиросы куда-то уплывают, что кто-то каждый день выносит из дому сдобные булки, а из сахарницы исчезает сахар, если бы не старая бабушка, мотающая головой «нет-нет», с ее острым взглядом, видящим за версту. Старуха давно уже заметила, что в доме завелся воришка, и начала выслеживать, подсматривать, наблюдать. И — благодарение господу! — ее старания увенчались успехом. Она узнала, чьи это проделки, — это дело рук маленького проказника Лейбла.

Одно ей непонятно: «К чему мальчику булки, сахар и папиросы? Куда он их тащит? Неужто в хедер? Для кого? Для товарищей? А может быть, для самого учителя?» И старуха, продолжая выслеживать, заметила, что рано поутру, когда все еще спят, он, этот негодный мальчишка, просыпается и, скомкав молитву, исчезает... «Куда? Что парнишке делать в хедере в этакую рань, когда сам учитель еще спит?»

Старуха прикидывается, будто ничего не замечает. Сделав вид, что углубилась в толстый молитвенник, она тихо шепчет молитву и покачивает головой «нет-нет», но глаза смотрят и видят все... И как только Лейбл выходит из дому, старая бабушка сейчас же пускается следом за ним, наблюдает с крылечка и видит, как он пробирается в сарай. «Какие такие дела у этого щенка в сарае, интересно бы знать?..»

То же повторяется и на следующее утро. Старуха не знает покоя. Глаза смотрят, сердце кипит, голова

покачивается «нет-нет», мозг усиленно работает. Слава богу, она уже все узнала: «Проказник снюхался с одним из комедиантщиков, который ночует в сарае. Хороша компания, нечего сказать: босые, голодные, оборванные бездельники, прости господи грехи наши!

Теперь остается решить вопрос: «Что делать дальше? Образумить самого проказника, сказать ему — зачем тащишь? Куда тебя несет? Но разве он послушается? Нынче дети пошли такие, что не приведи господь! Разве знают они, что нужно уважать старую бабушку, которой вот-вот стукнет восемьдесят? А что же делать? Сказать невестке? Но Бейлка — какая же это, с позволения сказать, мать? На вид добренькая, мягкосердая... Но что пользы в ее мягкосердии, что проку от ее доброты, когда дети садятся ей на голову, делают что хотят и растут, точно сорная трава? Нет, нет! Если уж рассказать, то, конечно, сыну, Бене... Беня, славу богу, отец, — да продлит господь его годы! — а отец — не мать. Отец, если нужно прикрикнет на своего ребенка, пригрозит, угостит оплеухой или просто положит на скамеечку и всыплет куда следует, чтобы впредь не повадно было...»

Как старуха задумала, так она и поступила. Но она не ограничилась простым доносом. Добиться, чтобы мальчика выпороли, — этого ей было мало. Нет, надо поймать вора с поличным: пусть все увидят, как добросердечная мамаша балует детей, как она их распускает и окончательно портит.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Червъ сомнения

Старуха ловко обделала свое дело, так ловко, что ни одна живая душа об этом не узнала. На цыпочках подошла к Бене и под строгим секретом сообщила ему на ухо, чем занимается его младший сыночек, куда ходит, что тащит в карманах и с кем якшается...

Беня выслушал ее, повернул к ней свое волосатое лицо, посмотрел телячьими глазами на старую мать и сказал коротко и ясно:

— Корова летела над крышей и снесла яйцо...

Это означало, что он не верит. Беня не может допустить и мысли, что его младший сын способен на это. Лейбл — самый лучший, самый тихий, самый удачный из всех сыновей. Беня сам не бог весть какой грамотей, не «важнецкий музыкант», как он сам о себе говорит, но он слышит, что другие говорят о сыне; все утверждают, что из Лейбла выйдет толк. Только на днях он встретился с его учителем, кантором Исроелом, и спросил: «Ну, как там пасется мой подсвинок?» Исроел так расхвалил мальчика, что у отца голова закружилась. Кантор сказал, что Лейбл — необыкновенный мальчик, что из него, несомненно, выйдет нечто такое-этакое... особенное... Остальное кантор договаривает руками, а Беня сам доканчивает за него.

— Задвижка к двери, чека к оси или всего-навсего вчерашний день?..

Но в глубине души Беня ликует, и сердце его наполняется гордостью. Бог благословил его старость хорошим, удачным сыном... И глядя с восторгом на мальчика, он думает: «Что из него выйдет? Может быть, раввин? А может быть, и повыше раввина? Кто знает, может быть, ему, Бене, суждено благодаря сыну прославиться на весь мир. До сих пор только здесь, в Голенешти, знали, что есть на свете зажиточный хозяин по имени Беня, а в будущем, может быть, весь мир о нем узнает. Со всех концов света станут к нему приезжать люди сюда, в Голенешти.

— Это вы отец знаменитого Лейбла Рафаловича?

И он всем будет отвечать:

— Знаменитый Лейбл Рафалович — мой родной сын».

Вот какие золотые сны грезились Бене наяву. И вдруг приходит старуха и отравляет его сердце сомнением. Этот удачный, этот редкостный мальчик всего-навсего, черт знает что такое, — вор, простой

воришка. Беня приходит в ярость и, как рассвирепевший лев, целый день сердито мечется по комнате, вымещая злобу то на служащих, то на жене Бейлке.

Бейлка знает своего мужа насквозь и спрашивает, как бы мимоходом:

— Что с тобой?

Но он не отвечает.

— Хозяин кота проглотил, — говорят про него служащие.

— Папа встал с левой ноги, — говорят дети.

Все в доме ходят на цыпочках. Никто не знает, почему и отчего, но все чувствуют, — пахнет порохом.

Ночью в постели Беня ворочается с боку на бок, вздыхает, кряхтит, как связанный бык, глаз не смыкает.

— Ну и червь! Вот так червь! Взяли да разнесли всю мою постройку...

Его так и подымает с постели. Хочется что-нибудь сломать, сокрушить, разрушить, разворошить, разбросать во все стороны, все превратить в щепки. Но понемногу он успокаивается:

«Может быть, все это только турусы на колесах. Старуха, чего доброго, приняла козу за яблоню».

И Беня засыпает крепким сном, оглашая комнату неистовым храпом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Пойман с поличным

Господь бог еще почивает, а Беня Рафалович уже на ногах.

Как всегда по утрам, он, в халате и тяжелых туфлях, подбитых гвоздями, вышел во двор осмотреть хозяйство, убедиться, все ли на месте. Беня не любит, чтобы ему «загибали ермолку» или «свистели в постромки». На его языке это означает, что он не любит, когда что-нибудь не в порядке и когда его приказа-

ния не выполнены. Дрова должны быть уложены в штабеля, двор подметен, сор собран в кучу, даже коровы и те должны стоять каждая на своем месте.

— Эй ты, толстозадая мясничиха, опять забралась в гости к рябой раввинше? Что за праздник у вас?

Так разговаривает Беня с коровами, из которых одна действительно толстая, брюхатая, бесстыжая, а другая — тихая, спокойная, с невинным набожным лицом, точь-в-точь как у раввинши. Схватив в руки палку, он потчует их обеих, но больше достается, конечно, «мясничихе», которой Беня старается втолковать, за что ее бьют:

— Поставили тебе миску, ну и лопай на здоровье! Чего лезешь к чужой хозяйке в кастрюлю?..

От коров он переходит к лошадям, с которыми тоже изъясняется иносказательно:

— Послушай ты, башка из табачьего горшка! Если будешь задирать парней, то я тебе покажу, как ученые толкуют библейское изречение: «Изобью».

Лошадям, видимо, невдомек своеобразная речь хозяина, — лошадиные головы, что и говорить! Они поворачивают к нему свои симпатичные морды и глядят плутовато-невинными глазами, точно спрашивая:

— Это вы насчет овса?

Хозяин тычет одну лошадь локтем в бок, другой щекочет шею, третью гладит по гриве и затем отправляется к рабочим поругаться немножко по-молдавански: «Ала драко!» — к черту! И тут вдруг нелегкая приносит старуху, которая мотает головой «нет-нет». Она подмигивает Бене своим всевидящим глазом: «Вот он, твой молодчина, с полными карманами!» — и исчезает.

Беня вспомнил, что она рассказывала ему о сыне, и сердце у него екнуло. Он был бы рад, если бы все эти «тары-бары» оказались выдумкой. На мгновение у него мелькнула мысль махнуть рукой на эту историю: «Мало ли что болтают? Вздор, нелепица! Сорока на хвосте весть принесла, бабьи сплетни». Но тут Беня увидал сына, быстрыми шагами направляющегося к сараю, и гневом распалилось его отцовское сердце: какие такие дела у этого юного «подсвинка»

с комедиантами? Что понадобилось ему там в такую рань? Громовым голосом он окликнул мальчика и велел подойти...

Лейбл, погруженный в свои собственные мысли, услыхал грозный голос отца и остановился в нерешительности: идти или не идти? Но раз отец зовет, нужно идти.

— Куда так рано? — спросил отец.

Лейбл, смущенный неожиданной встречей с отцом, переспросил:

— Рано?

— А что же? Поздно? Куда, скажи на милость, ты идешь?

— Куда мне идти?

— Я почем знаю, куда тебе идти? Об этом я тебя и спрашиваю.

У бедного Лейбла не было даже достаточно времени, чтобы придумать более или менее подходящее объяснение. Он молча, с видом человека, у которого совесть нечиста, смотрел в глаза отцу.

— Что ты буркалы на меня выпучил? Не узнал отца? Ты сегодня молился или нет еще?

— Да... Нет... То есть да...

Лейбл запутался, а отец все больше распалялся.

— Молился или нет? Говори толком! Я хочу знать: да или нет?

Лейбла в холодный пот бросило.

— Да еще нет. То есть я еще не молился. Я вот и хотел пойти. Вот я и иду в синагогу... молиться.

На мгновение отец почувствовал облегчение. Ему от всей души хотелось верить, что это правда. Но по глазам Лейбла он видел, что это ложь, чистейшая ложь. И его сердце снова распалилось гневом. Лучший из всех детей... Он подходит ближе к сыну и замечает, что тот держит обе руки в карманах: значит, старуха правду сказала, что он все туда таскает. И Беня говорит сыну:

— А ну-ка, покажи, что у тебя там болтается в карманах. Ты что-то очень распух...

Такого удара Лейбл никак не ожидал. Он стоит как вкопанный, не в силах шевельнуться...

— Не хочешь показать? Придется мне самому своими десятью пальцами заехать в твои торбы.

И отец запускает обе руки в карманы сына и вытряхивает оттуда целые сокровища: свежие сдобные булочки, куски пирога, чай, сахар, полпупка от жареного гуся, а папирос, папирос, папирос — целую уйму...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Позорное наказание

Сказать, что Беня строгий отец, —нельзя. Беня вообще редко вмешивается в семейные дела; весь дом находится на попечении его жены — Бейлки. Он, Беня, знает только одно: «Надо подсыпать овес». На его языке это означает: надо давать на расходы. И Беня дает, сколько требуется, никогда не торгуется и не спрашивает, на что. Это его не касается. Дети тоже вольны делать все, что им вздумается, хоть носы друг другу пооткусывать — ему до этого ровно никакого дела нет. Но если уж кто из детей так накуролесит, что вмешательство отца становится необходимым, тогда берегись! Туча надвигается на весь дом. Тут и гром, и молния, и ливень с градом! Все в доме ходят, понуря головы, прячутся по углам. Больше всех достается в такие минуты бедной жене Бени — маленькой, слабой, тихой Бейлке.

Беня не удовольствовался тем, что тут же сгоряча на месте влепил своему на редкость удачному сыну в обе щеки две столь оглушительные пощечины, что у мальчика искры из глаз посыпались. Он взял его за руку, втащил в дом, созвал всю ораву и заставил мальчика рассказать перед всеми, что он сделал и ради кого он стал вором... Но и этого было мало. Беня вынес приговор: мальчишке надо всыпать куда следует.

Как ни умоляла его слабая Бейлка, чтобы он не позорил бедного ребенка, пусть лучше ее самое режет на куски; как ни заступалась за Лейбла вся семья,

как ни оправдывала его, доказывая, что совершенный грех не так уж велик; как ни молил о прощении сам Лейбл, как ни клялся, целуя отцу руки, ничто не помогло: раз Беня сказал «всыпать куда следует», значит, быть по сему!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

После экзекуции

К вечеру гнев Бени погас, и сердце его смягчилось (это всегда уж так: когда отец выпорет ребенка, сердце его смягчается), и он объявил свою волю: всей ораве идти в театр. И хотя после позорной утренней «экзекуции», которой подвергся Лейбл, в доме Рафаловичей было не до театра, раз отец велел идти, всем надо повиноваться.

Театр (то есть сарай) был, как всегда, битком набит. Музыка играла. Артисты пели. Публика, по обыкновению, щелкала орехи, шумела, веселилась. Один только Лейбл сидел печальный и безучастный. Взор его блуждал. Голова отяжелела, точно свинцом налитая. В груди его клокотал ад. Никогда Лейбл не мог и представить себе такого позора, такого издевательства со стороны отца: выпороть мальчика, уже достигшего совершеннолетия *, лучшего ученика в хедере и любимца семьи, да еще на глазах у всех... Все произошло так неожиданно, что мальчик не успел опомниться. И лишь после того как все было кончено, буря негодования и протеста поднялась в душе нашего юного героя. Но то был протест червяка против титана, протест, который может найти свое выражение только в слезах. И Лейбл плакал, плакал долго и горько.

Лейбл плакал не один: вместе с ним рыдала навзрыд и мать. У бедной Бейлки не хватало слов, чтобы утешить своего младшего сына, своего любимца, и она, глотая собственные слезы, ласкала и целовала мальчика, гладила его волосы, не отступала от него

ни на шаг. В хедер Лейбл в тот день не пошел. За столом он, правда, сидел, но к еде не прикасался. И вообще в тот день за обедом царила необычайная тишина. Все сидели с опущенными глазами, уставившись в свои тарелки. Только старуха оглядывала родных зорким взглядом, как бы желая сказать: «На гречиху их надо было бы посадить всех по очереди».

— «Буна деменяца!» С добрым утром то есть, — крикнул Беня Рафалович, обращаясь к своей ораве, когда заметил, что за столом из всех членов семьи ест и пьет, можно сказать, только он один. — Что вы застряли с волами среди болота? Подмажьте колеса и поезжайте дальше!

Но на этот раз иносказательный язык Бени не произвел обычного впечатления. Пообедали молча. Потом молча разошлись. Каждый в свой угол. Все понимали, что сейчас творится в душе маленького Лейбла, и были поэтому удивлены, увидев, что он идет вместе с ними в театр.

Однако, в сущности, никто по-настоящему не знал, что переживал мальчик. В то время, как остальные глядели на сцену, следя за игрой (тут Лейбл тоже не отставал от них), мысли мальчика были далеко... Его юный дух не знал покоя. Юный мозг лихорадочно работал, обдумывая план, как отомстить отцу за неслыханный позор, как расквитаться с ним за розги. «Ничего, боль от розог пройдет, — думал Лейбл, — но отцу это обойдется дорого...» О, он уже знает, что делать! Недаром он связался с таким человеком, как Гоцмах. Вчера у него был с ним серьезный разговор, и Гоцмах, по своему обыкновению, сказал ему совершенно определенно (Гоцмах не любит говорить обиняками):

— Дурачина ты, дуралей! Поройся в папашиных карманах, захвати приличную монету, и айда вместе с нами! Мы в субботу ночью уезжаем отсюда, и ты станешь актером, да еще каким актером! Провалиться мне на этом месте, если это не так.

Лейбл и сам втайне мечтал о том, что Гоцмах высказал так громко. Но при одной мысли, что нужно «порыться» в папашиных карманах, его бросало в

дрожь. «Как? Ведь это значит — просто украсть! Стать вором!..» Так думал про себя Лейбл. Ну, а то, что он каждый день тащит для Гоцмаха завтраки, обеды, папиросы, разве это не воровство? «Нет, — оправдывается перед собой Лейбл, — это не воровство. Человек голоден, — я делюсь с ним пищей. Человек хочет курить, — я приношу ему папиросы. Что тут преступного? Но деньги! Красть у отца деньги?» Однако сказать Гоцмаху, что он боится красть, Лейбл постыдился. Он нашел другой довод: что скажет отец?

— Разве отец будет молчать? — говорит Лейбл, а у самого зуб на зуб не попадает.

— Откуда он узнает, осел? — отвечает Гоцмах.

— Он спохватится, что меня нет, и пошлет за мной погоню.

— Так он тебе и насыплет соли на хвост! Ты разве не знаешь, осленок, что мы едем в Бухарест? А знаешь ли, божья коровка, где находится Бухарест? Или ты знаешь об этом не больше покойника?

— Я знаю, где находится Бухарест: в Румынии. Я даже знаю, что это недалеко отсюда, — отвечает Лейбл.

— Так чего же ты вздор мелешь, мудрейший из мудрых? Переехал границу — и баста! Там уж отец не имеет над тобой никакой власти. Ни отец, ни мать, ни кто бы то ни было. Там тебе на всех наплевать!.. Ходишь себе по Бухаресту, заложив руки в брюки, и показываешь кукиш всему свету. Вольная птица! Понял, что тебе говорят? Или все еще не раскумекал?

Лейбл прекрасно понял — чего тут не понять? Но Гоцмах упомянул и мать, и Лейбл ухватился за этот довод...

— А мама... моя мама?.. Как она это перенесет?..

— Ну, если так, ступай к своей маме. Спрячься под ее передник, крошечка, и пусть она тебе даст пряничек...

Лейбл подыскивал все новые и новые отговорки... Он хочет, он страстно желает поехать с актерами, он всей душой стремится к этому, — что в самом деле может быть лучше, чем быть актером! Но он колеблется. Сомнения одолевают его.

Так было до экзекуции, до его наказания. Но теперь, после такого позора!.. Боль ему нипочем, но позор!.. Главное, позор!.. Нет, теперь другое дело! Теперь уж Лейбл ни перед чем не остановится. Даже слезы матери его не тронут: пусть плачет. Пусть, глядя на нее, плачет и убивается вся семья. А отец тоже сменит гнев на милость. Первое время он будет рвать и метать, но потом станет горько каяться. Ой, как он раскается! Втихомолку, когда никто не видит, он будет плакать, искать сына, звать его; будет бить себя в грудь и стонать: «Где ты, Лейбл, мой дорогой, мой ненаглядный?» Но он не найдет утешения, подобно праотцу Иакову, когда ему принесли окровавленную рубашку и сказали, что сына его, Иосифа, растерзал зверь в поле... Или подобно царю Давиду, услышавшему печальную весть, что его любимый сын Авессалом умер *.

«Умер?.. Да!.. Вот исход. Может быть, лучше всего было бы умереть... Умереть!.. Умереть! Надо лечь и умереть».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Лейбл на собственных похоронах

В эту минуту мысль о смерти казалась юному герою самой привлекательной, и его воображение рисовало мальчику такую картину. Он уже умер. Как и отчего умер, он и сам не знает. Важно, что умер. И вот он лежит, сынок Бени Рафаловича, мертвый, холодный, на голой земле, под черным покрывалом. У изголовья горят свечи. Мать в глубоком обмороке, и врачи приводят ее в чувство. Вот она очнулась, а вот опять теряет сознание. А отец? О, отец колотит себя кулаками по голове и кричит: «Горе мне, люди! Я, я сам, Беня Рафалович, собственными руками убил свое дитя, свое лучшее, красивейшее, любимейшее дитя!» Даже бабушка, старая-престарая бабушка с трясущейся головой, и та рыдает и ропщет на бога за

то, что тот подрубил такое юное деревцо, погубил невинное создание, которому, казалось бы, по всем законам справедливости должно бы жить и жить. Ох, лучше бы он вместо этого мальчика взял к себе ее, старуху... И кормилица бьется головой о стену и плачет горькими слезами... Даже посторонние женщины, совершенно чужие, которых Лейбл никогда не видал и понятия о них не имел, горько плачут, заливаются слезами.

Но вот начинаются похороны, пышные, богатые похороны. Все местечко собралось на похороны Лейбла Рафаловича. Плач, стоны, вопли, рыдания. Особенно усердствуют женщины. Оглохнуть можно от их воплей и стенаний.

— Тише, бабы! Замолчите же! Расступитесь! Дайте дорогу членам погребального братства!

Протиснувшись сквозь толпу, входят служки и члены погребального братства с катафалком. Они кладут на него труп Лейбла и выносят юного покойника на улицу. Мать падает в обморок, отец бьет себя кулаками по голове. Раздается зловещий звон благотворительной кружки, сопровождаемый возгласами: *«Милостыня спасает от смерти. Милостыня спасает от смерти»*.

Тихо, с поникшими головами, идут люди за гробом Лейбла. И он сам, Лейбл, тоже в толпе провожающих. И удивительное дело! Его это не только не трогает, но даже, наоборот, очень радует. Он испытывает огромное удовольствие оттого, что он умер, что ему устроили такие пышные похороны, что все знакомые, все без исключения, идут за его гробом. Здесь и весь хедер во главе с учителем, кантором Исроелом, его женой Леей и дочкой Рейзл...

— Рейзл. Где она? Что с ней случилось? Почему ее нет в театре? Именно сегодня... Каждый вечер она приходит к ним и сопровождает их в театр. А сегодня ее нет... Почему? Что случилось?..

Нет больше смерти, нет похорон, нет звона благотворительных кружек. Теперь Рейзл завладела воображением мальчика, вытеснив из его головы все другие мысли.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Слезы

После визита директора и его флигель-адъютанта канторша Лея не стала задумываться над вопросом, зачем приходил к ней и чего добивался этот лысый человек с брильянтами. Пожелав им (после их ухода) сломать себе головы, она заявила коротко и ясно:

— Больше моя дочь в еврейский театр не пойдет, даже если мир перевернется вверх дном, разве что меня, Леи, не будет в живых.

— Какой в этом смысл? — как бы нехотя вырвалось из уст кантора.

Но канторша сразу оборвала его:

— Хочешь знать смысл? Смысл очень простой: у человека должна быть седьмая клепка в голове. Он должен понимать, когда сказать «да», когда «нет». Иной раз скажешь «да», а другой раз — «нет», слыханное ли дело?

Рейзл не совсем понимала, что, собственно, произошло, но из слов матери ей было ясно, что с театром надо распроститься навеки. Она хорошо знала свою мать: у нее слово свято. Трудно только довести ее до этого, но раз уж она дала слово, да еще скрепила его клятвой, то тут никакие цари Востока и Запада не помогут. Всего можно добиться от матери, но только не нарушения данного слова. И у Рейзл вдруг стало так тяжело на душе, словно посреди белого дня внезапно закатилось солнце и наступил мрак. Что-то у нее отняли, насильно вырвали из груди. Слезы душили ее. Весь день она крепилась, стараясь овладеть собой. «Ну что ж? Можно и не пойти в театр. Где это сказано, что каждый вечер надо ходить в театр?..» Но когда наступил вечер, когда кантор распустил учеников, канторша зажгла коптящую лампочку и «Божью улицу» окутала темная пелена, Рейзл заметалась в тоске, не находя себе места. Сердце ее болезненно сжималось. Ее тянуло в театр. И даже не столько в театр, сколько к Рафаловичам, в богатые, светлые, веселые хоромы, где живут такие жизнера-

достные, приветливые, веселые люди... Она вспомнила сладостные слова, которые шепнул ей Лейбл при выходе из театра:

— Завтра опять придешь?

Вспоминала она и как на следующее утро, когда Лейбл пришел в хедер, как всегда свежий, здоровый, красивый, чистенький, она прочла в его добрых, нежных, прекрасных глазах тот же вопрос:

— Сегодня опять придешь?

И как она издали ответила ему взглядом:

— Конечно, приду... Что за вопрос...

Рейзл опустила глаза, чтобы мать не увидела, что она смотрит туда, в сторону учеников. Мама не любит, когда дочка глядит в ту сторону, где сидят мальчики... Ах, мама! Она и вправду думает, что Рейзл очень интересуется этими мальчиками... Ничуть не бывало... Но среди них есть один — сын богача. Его зовут Лейблом. О, что это за мальчик! И не потому, что он сын богача, а потому что у него добрая, ангельская душа. Ах, разве мама может понять, что это за мальчик, что за приветливый дом у Рафаловичей, что за чудесная это семья?

Так, бывало, думает про себя Рейзл и ждет не дождется, когда кончится день, настанет желанный вечер и отец распустит учеников по домам. Тогда Рейзл наденет свое единственное праздничное платьице, набросит на плечи красный платочек, возьмет в руки ситцевый зонтик с бахромой, который ей мама недавно купила (эх, если бы к этому да еще новые ботинки!), и пойдет туда, в этот огромный, богатый, светлый, веселый дом, к этим добрым, ласковым жизнерадостным людям, а потом на весь вечер в театр, в райскую обитель. И вдруг все пошло прахом. Нелегкая принесла сюда этого директора! И зачем только она решилась петь перед чужими людьми!.. За это она изгнана из рая...

Припав головой к подушке, Рейзл дает волю слезам. Рыдает долго и страстно, оплакивая свою горькую долю, свою злосчастную судьбу, свое великое неизбывное горе. Сквозь плач она слышит, как по ту сторону занавески шепчутся ее родители. Они тихо

спорят, по-видимому из-за нее... Она слышит голос матери: «Когда говорят «нет», значит «нет», слыханное ли дело?..» Рейзл захлебывается от рыданий. Отец, кантор Исроел, на цыпочках подходит к ее кровати за занавеской, наклоняется, гладит ее волосы и говорит тихо-тихо, так, чтобы жена не услыхала, называя ее самыми нежными именами:

— Рейзл, Рейзеле, Рейзеню, ну, не плачь...

Он сулит ей самые заманчивые гостинцы: завтра мама купит ей ситец на платье, шерсть на кофточку, ботинки... Новые ботинки... Но Рейзл рыдает еще громче, она плачет навзрыд до тех пор, пока Лея, слышавшая весь разговор, не в силах более сдержаться, хватается за голову и кричит:

— Я сейчас повешусь! Зарежусь!..

Кантор Исроел просит ее замолчать, а не то сбегутся соседи. И в самом деле, услышав крики и вопли в доме кантора, уже прибежали несколько соседок и подняли переполох.

— Господь с вами, Леенька, что у вас случилось?

— Ничего, ничего.

— Кто же у вас так кричал?

— Кричал? У нас? Избави боже! Вам почудилось. Мы тут смеялись.

— Смеялись? Хорош смех!

— Не нравится вам? Так чего же вы пришли?

— Из дружбы, Леенька, из расположения к вам. Мы услышали крики и подумали, что у вас режут кого-то.

— У меня режут кого-то? Пускай врагов моих зарежут, господи милосердный!

Соседи уходят обиженные, хлопнув дверью так сильно, что стекла дрожат.

— Головой об стенку! — бросает им вслед Лея, и поток проклятий вырывается из ее уст. — Нечего сказать, друзья! Слыханное ли дело?

Рейзл слышит все, лежа у себя в кровати за занавеской, и тихо оплакивает свои юные годы, свою мрачную, горемычную долю. Горько и обидно ей, что она родилась у бедных родителей, которые не в состоянии купить ей даже пару ботинок. Ей суждено

прожить всю жизнь в полумраке, при тусклом свете коптящей лампы, слушать перебранку матери с соседками, которые то и дело ссорятся и мирятся, и снова ссорятся, и опять мирятся, — и так изо дня в день... А там? О, там светло, там весело и радостно, там смеются, живут!.. Да еще как живут!.. Сейчас они в театре. Какое теперь действие? Может быть, уже кончается спектакль. Вот опустился занавес, публика аплодирует, неистово кричит: «Гоцмах! Гоцмах! Гоцмах!» Толпа не умолкает до тех пор, пока не появляется Гоцмах, измученный и потный, измазанный мелом, и пляшет в третий раз «Хасидскую пляску». Музыка играет, публика рукоплещет, а Гоцмах танцует и поет:

Я человечек,
Веселое творенье...

С этой веселой песенкой в ушах Рейзл засыпает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пожар на «Божьей улице»

Было далеко за полночь, когда в обеих церквах внезапно зазвонили колокола:

Бум-бум-бум...

Бум-бум-бум...

Три мерных удара церковного колокола в Голенешти извещают, что начался пожар. А раз в Голенешти где-нибудь горит, то к месту пожара сбегаются все жители местечка: кто выносит домашний скарб погорельца, кто спасает людей — всякий помогает, чем может. Пожарников в Голенешти нет. Поэтому на месте пожара бывает такая сутолока и толчея, что ради одного этого, пожалуй, стоит побывать в Голенешти на пожаре: и людей повидаешь и новости услышишь. Одним словом, развлечение!

В доме кантора первой услыхала колокольный звон канторша Лея. Слезы дочери не давали ей спать.

И хотя сама Рейзл уже давно спала сладким сном невинного ребенка, Лея не могла сомкнуть глаз. Она каялась, грызла себя за то, что дала зарок да еще подкрепила его клятвой. Мрачные мысли, как назойливые мухи, не давали ей покоя, кидали ее и в жар и холод. Лишь только она закрывала глаза, ей чудилось, что Рейзл, выпрыгнув из окна, бежит к реке топиться... Господи спаси и помилуй!.. бедная мать вскакивает, вслушивается в тишину ночи: дитя спит... Трижды отплевываясь и тяжко вздыхая, она снова ложится, силится заснуть, но не может. Вдруг троекратное «бум» гулко отдается в ее ушах. Еще и еще... Она поворачивает голову к окну и видит зарево. Стремительно соскочив с кровати, она тихо будит мужа, стараясь не испугать его:

— Исроли! Исроли! Встань... Не пугайся... Бог с тобой... ничего особенного... горит.

— Горит? Где горит?

Исроел вскакивает ни жив ни мертв. Лея его успокаивает:

— Не пугайся! Это хотя и на нашей улице, на «Божьей улице», но далеко от нас. Боюсь сказать, но мне кажется, что горит третий дом от резника Бенциона, — говорит Лея и снова смотрит в окно. — Ой, громы небесные! Поди-ка сюда Исроел. Что скажешь? Третий дом от Бенциона, недалеко от синагоги... Не правда ли?

Исроел пристально глядит в окно:

— Третий дом, говоришь? Боюсь, не второй ли.

— Ой, горе наше великое! Исроел, одевайся скорее! Пропадет синагога, помилуй господи! Как же мы тогда? Скорей, Исроли, скорей! Накинь на себя мой платок, не то простудишь горло. Скорей, скорей!

Лея напрасно торопит мужа. Исроел и без того уже почти готов. Он наскоро помыл руки, накинул на себя сюртук (от жениного платка он отказался — ведь на улице тепло) и стрелой вылетел из дому спасать резника Бенциона, спасать синагогу.

В тушении пожара кантору Исроелу в Голенешти почти нет равных. Было бы вдоволь помощников, чтобы подать ведро воды, лестницу, топор, веревку, — сам

же он очертя голову бросается в огонь, не щадя себя!.. В обычной жизни Исроел — существо нежное, слабое, как муха или бесплотный дух... Но во время пожара он герой, силач, Самсон-богатырь. Ему ничего не стоит вышибить десяток стекол, изрезав себе при этом руки. Взобраться на крышу, рискуя каждую минуту сломать шею, для него сущий пустяк. Лея это знает и не отпускает его одного. Она идет следом за ним. Особенно опасно пустить его одного теперь, когда огонь угрожает синагоге. «Но как быть с дочкой?» — шепчет про себя канторша. Она подходит к Рейзл. Глядит, как девочка сладко спит, разметавшись в постели, прислушивается к ее дыханию... Прикрывает дочь одеялом и тихо шепчет: «В одежде заснула, бедняжка, доченька моя ненаглядная — храни ее господь!» И бежит к месту пожара: «Только разок взглянуть, полразочка — и назад...»

Легко сказать — назад! Как уйдешь с пожара, когда огонь бушует и пылает, быстро перекидываясь с одной крыши на другую? Правда, до лачуги резника Бенциона еще довольно далеко, а до синагоги и подавно. Пока что горит только домишко пекаря Ошера. Но разве Ошер не человек? Правда, он сам виноват. Сколько раз его предупреждали, чтобы он был осторожнее с головешками и чаще чистил трубу, если не хочет накликать беду на все местечко. Но разве пекарь послушается? Вот и доигрался. Но бог с ним, с пекарем. Его домика уже не спасешь: он охвачен пламенем со всех сторон, горит как свеча. Но как быть с соседями? Кругом, тесно прижавшись друг к другу, стоят деревянные домишки, крытые соломой или дранкой. Легкое дуновение ветерка, — и конец улице, всей «Божьей улице».

И народ принялся отстаивать дома, смежные с домом пекаря Ошера. Бегали за ведрами, подносили веревки, топоры, тащили лестницы. Кантор Исроел забрался на крышу дома мясника Мойше-Бера и оттуда командовал, как заправский бранд-майор. Он кричал, чтоб ему немедленно пришли на помощь, потому что огонь уже добирается до дома мясника, а отсюда он легко может перекинуться на дом раввина реб Шму-

ела. Рядом с домом раввина — дом помощника раввина реб Нойаха, за ним — дом резника Бенциона, а рядом с этим домом уже синагога. Недаром эта улица получила название «Божьей улицы».

Но слишком много народу сбежалось на пожар, и кругом стоял такой крик и шум, такой галдеж, что голос кантора Исроела, командовавшего с крыши мясника Мойше-Бера, утопал в этом гуле.

— Горе мне! — кричала издали кантору Лея, размахивая руками. — Что ты делаешь, разбойник? Ты ведь, не приведи господи, надорвешь голос, без ножа себя зарежешь. Вспомни, приближаются праздники...

Предостережение кантора Исроела не замедлило сбыться. Не успели вынести из дома мясника Мойше-Бера убогий скарб, как пламя уже перебросилось от пекаря Ошера прямо к дому Мойше-Бера, и из толпы послышались испуганные крики:

— Кантор! Кантор! Кантор!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Шолом-Меер говорит обиняками

С чего такая напасть на дочь кантора Рейзл? Взяли бедную девушку, связали по рукам и ногам, втащили во двор Бени Рафаловича и положили на бревна. А кругом видимо-невидимо женщин. Они мечутся во все стороны, то и дело подходят к бревнам, на которых лежит связанная Рейзл, наклоняются над ней и, пристально глядя на нее, спрашивают друг друга: «Что? Горит?» — «Да, горит, горит».

Что бы это значило? Неужели ее собираются сжечь? За что?.. Она хочет встать, но не в силах подняться, связанная по рукам и ногам. Она уже слышит, как потрескивают под ней горящие бревна, багровое зарево слепит глаза. Напрягая все силы, она разрывает связывающие ее путы, встает и — просыпается... Она у себя в постели, лежит одетая. Прислушивается: на улице беготня и суматоха. Слышатся крики:

«Горит! Горит!» Она поворачивается к окну: улица залита багряным пламенем, небо ярко алеет, люди бегут со всех сторон. Рейзл зовет отца, мать — никого нет. Что бы это значило... Еще мгновение, и Рейзл опрометью бросается на улицу.

Как очарованная, останавливается она у двери. Обнаженной ручкой прикрывает полусонные глаза. Красный платок соскользнул с незаплетенных волос. Из-под белой юбочки выглядывают изношенные ботинки. Освещенная красным заревом девушка сияет какой-то новой, *огненной* красотой. Но у кого хватит смелости и уменья, чтобы представить во всей красе облитый багровым пламенем, сказочно-прекрасный облик юной смуглянки с разметавшимися пышными волосами, с миловидными, полными обаяния щечками, ярко разрумянившимися в отблесках бушующей огненной стихии, с черными сверкающими полусонными цыганскими глазами, которые горят и светятся на ее смуглом лице, как две звездочки в темном небе... А где взять краски, чтобы описать «Божью улицу», которая в эту тихую теплую летнюю ночь овеяна дыханием своеобразной красоты? Кто опишет распростертое над местечком кроваво-красное небо, озаряющее жалкие лачуги да лица людей, которые беспокойно мечутся по улицам, бегут, собираются в кучки, кричат, галдят, размахивают руками и выглядят издали, как пляшущие черти?

— Добрый вечер, кошечка! Совсем одна? Горе бедной матери! А где она? Верно, ушла на пожар? Весь город там. Как только я узнал, что на «Божьей улице» пожар, я сейчас же решил: надо пойти посмотреть, что слышно у кантора. Дай мне господи столько счастья и удач!

По своеобразному языку нетрудно узнать нашего старого знакомого Шолом-Меера Муравчика, флигель-адъютанта и правую руку Альберта Щупака.

На этот раз Рейзл не только не испугалась, но даже, наоборот, обрадовалась, увидав знакомого человека: авось он знает, чей дом горит.

Но Шолом-Меер не может ей ответить на этот вопрос.

— Знать не знаю и ведать не ведаю, не знать бы мне так ни горя, ни муки, ни аза, ни буки!.. — говорит Шолом-Меер. — Да и не все ли мне равно, кто горит. Берл или Шмерл, Иокл или Тодрес? Вижу — бегут, и я бегу. Скажи-ка лучше, девочка, отчего ты не была сегодня у нас в театре? Я тебя искал глазами, моя пташка, возле того пузыря, который всегда сидит рядом с тобой, искал и не мог найти. Я уж подумал было, что ты, сохрани боже, захворала или какая-нибудь беда с тобой стряслась.

Только теперь Рейзл вспомнила, какой день пережила, сколько слез пролила в этот скорбный горестный вечер... Сама не зная почему, она почувствовала доверие к этому человеку. В нескольких словах она рассказала ему всю правду: это мать ее проучила за что-то, а за что именно, ей совершенно невдомек. Может быть, за то, что она вместе с папой пела перед ним и директором «Владыка небесный».

— И это все? О, еврейские предрассудки! Ха-ха-ха! — раздался дробный, хриплый смешок Шолом-Меера Муравчика. Вслед за тем лицо его мгновенно преобразилось и приняло серьезное выражение. Он сочувственно покачал головой и, глубоко вздохнув, продолжал: — Что же это за жизнь, скажите пожалуйста, когда такой чудесный брильянт должен валяться в грязи, в голенештинском болоте, среди диких людей, не умеющих его оценить, в семье фанатиков, которые сами не понимают, в чем счастье их дочери...

Рейзл недоумевающе подняла глаза: что, собственно говоря, он хочет этим сказать?..

Шолом-Меер продолжал туманно и иносказательно:

— С той минуты, как я услыхал твое пение, — помнишь, намедни утром, в этой самой комнате ты пела «Изюм с миндалем», — я тогда же сразу сказал: вот она, настоящая «примадонна из страны примадонн», дай мне господи столько счастья и удач!

Рейзл все еще не совсем его понимала. Он продолжал:

— А когда ты вместе с папой твоим запела «Владыка небесный», то уж и говорить нечего, — тут я

сразу сказал себе: «Эта девушка создана самим богом для нашего театра».

— Я?..

Рейзл больше ни слова не могла вымолвить. Она почувствовала, что кровь прилила к ее лицу.

— Я это сразу сказал нашему директору. Нельзя, говорю, допустить, чтобы такая редкостная примадонна пропадала ни за что ни про что. Надо, говорю, вытащить ее насильно отсюда.

— Насильно?..

Рейзл была потрясена. А Шолом-Меер Муравчик продолжал молоть, не переставая:

— А как же иначе? Разве можно допустить, чтобы золото валялось в грязи? Можно ли дать погибнуть такому таланту? Я представляю себе твое первое выступление у нас на сцене в роли Суламифи или в пьесе «Цветочек», а то и в пьесе «Царица-суббота», — в коротенькой юбочке, в крошечных туфельках... Ты поешь сладким голоском чудесные песенки Гольдфадена, Файнмана или Латайнера. Поверь мне, публика захлебнется от восторга и весь театр разнесет. Или, скажем, например, ты переоделась мальчиком, с черными курчавыми волосами, подняла кверху свои огненные цыганские глаза и запела «Горячие пирожки» *, вот так, например (Шолом-Меер запел своим хрипловатым голосом «Горячие пирожки» и уставился на Рейзл, силясь прочесть на ее лице произведенное им впечатление):

По улицам тихо начальник идет.
Чем же он занят, друзья?
Ходит без дела, без цели бредет.
Иль он не может, как я,
Кровью и потом свой хлеб добывать,
Так же как я, надрываясь, кричать:
«Эй, пирожки горячи!»

Бог мой, с твоим голоском и твоим личиком взять да преподнести публике песенку «Горячие пирожки»... Господи, да ведь народ умрет на месте от восторга. Не так ли, душечка моя?

Шолом-Меер ясно видел, что слова его не улетают на ветер, что они производят на девушку известное впечатление. Он подошел к ней еще ближе и, легонько погладив ее по ручке, продолжал своим хриплым голосом:

— Знаешь, что я тебе скажу, пташка моя, мы должны благодарить бога за то, что встретились с тобой. Наша нынешняя примадонна так же, как и ты, из хорошей, но бедной семьи. Она из маленького польского местечка. Только благодаря мне она стала актрисой у нас в театре. Это я помог ей бежать из дому. Это интересная история, стоит послушать. Ее отец был всего только...

Как ни жаль, но Шолом-Мееру пришлось прервать рассказ о примадонне. Из ближайшего переулка вынырнула чья-то фигура, озаренная отблеском пожара. Кто-то направлялся прямо сюда, к дому кантора. Оставаться долее с девушкой Шолом-Меер счел неудобным: это могло нарушить весь план, который он успел выработать тут же на улице. Он пожал на прощанье руку Рейзл и бросил ей несколько слов под рифму, многозначительно напевая:

Коль ты будешь умница девица,
В платья новые будешь рядиться...

Человек, вынырнувший из ближайшего переулка и направлявшийся к дому кантора, был не кто иной, как наш юный герой, сын богача Рафаловича — Лейбл.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Антракт — пятнадцать минут

Мы оставили нашего юного героя Лейбла на собственных похоронах, то есть в театре, погруженным в печальные размышления о своей преждевременной смерти: он слышал всеобщее рыдание, видел скорбную

толпу, провожающую его к месту вечного покоя. И все это представлялось ему так отчетливо и так трогательно-печально, что у него защемило сердце. Он почувствовал на губах соленый вкус собственных слез. Лейбл оплакивал Лейбла. Сидя в театре, он не слышал и не видел, что делается на сцене. Он очнулся и пришел в себя лишь после того, как в публике поднялся неистовый шум, хохот и раздались крики: «Гоцмах! Гоцмах!»

Эти оглушительные крики вывели нашего юного героя из мира печальных грез и вернули его к живой жизни, в реальный мир, где люди наслаждаются театром, радуются, хохочут, кричат, галдят и бурно выражают свое одобрение.

«Антракт — пятнадцать минут». Так черным по белому написано на театральных афишах. Но публика хорошо знает (голенештинцев не проведешь!), что означают эти пятнадцать минут.

— Столько бы им волдырей на теле, на сколько это продолжится больше тридцати, — говорит голенештинская публика. И зрители покидают захваченные места и высыпают на улицу: кто поболтать, кто подышать свежим воздухом, кто провести в театр без билета родственника или знакомого, а кое-кто — заглянуть за кулисы.

Есть в Голенешти такие, которые любят во время антрактов пробираться украдкой за кулисы. Само собой разумеется, что «порядочный» человек туда не пойдет. Заглянуть за кулисы может решиться музыкант, либо ремесленник, либо вообще какой-нибудь бесшабашный молодец, которому в Голенешти терять нечего. Сюда, как мы уже знаем, заглядывал частенько и хозяйский сынок Лейбл, проникавший за кулисы через особую дверь, открытую для него одного.

И попадая сюда, наш Лейбл всякий раз чувствует себя так, словно он попал в какой-то новый, неведомый мир. Ходит он по дрожащим, качающимся доскам сцены, а ему чудится, что он не идет, а плывет, несется, парит в воздухе. При виде переодетых нама-

занных актеров и актрис, которые бегут, прыгают, подплясывают, напевают песенки и на ходу закусывают и выпивают, ему представляется, что и он, Лейбл, один из этих актеров. Он невольно начинает подражать их походке и манерам, их речам и ужимкам. И на другой день, придя в хедер, показывает товарищам такие штучки, что они начинают завидовать его актерскому искусству, еще больше, чем тому, что он сын богача.

Но на сей раз ничто не занимало Лейбла в этом увлекательном мире кулис: ни сцена, ни актеры с их причудливыми повадками, ни примадонна с большими голубыми, сильно подведенными глазами и с болтающимися под ушами крупными медными серьгами. Он безучастно прошел мимо группы актеров, которые, откусывая по кусочку от одного яблока, покатывались со смеху. Ничто не интересовало Лейбла в эту минуту. Он оглядывался по сторонам, ища глазами Гоцмаха.

Гоцмаха трудно было узнать в костюме Капцнзона (в тот вечер шла знаменитая пьеса «Капцнзон и Хунгерман» *).

На нем был старый изодранный фрак, потертый и сморщенный цилиндр, рваные ботинки, из которых выглядывали голые пальцы, и старые брюки из одних заплат, а меж заплатами игральная карта — бубновый туз.

Этот бубновый туз вызвал у голенештинской публики такое веселье, что с первой минуты появления на сцене Капцнзона (Гоцмаха) и до конца акта хохот не прекращался ни на одно мгновение. Люди прямо помирали со смеху. Взять — простите за выражение! — старые портки и поставить на них заплату из бубнового туза, да ведь это такой удивительный трюк, какого в Голенешти и за тысячу лет никто бы не придумал! Публика была убеждена, что этот трюк придуман самим Гоцмахом (наивные люди!), и устроила своему любимцу такую овацию, что директор еврейско-немецкого театра Альберт Щупак, игравший роль Хунгермана, чуть не лопнул от зависти.

Зато Гоцмах был в приподнятом настроении. Он чувствовал, что в этот вечер играет исключительно хорошо и что публика от него в восторге.

Увидя за кулисами Лейбла, Гоцмах понял, что мальчик ищет его: видно, пришел поблагодарить за сегодняшнюю игру, а может быть, принес ему из дому чего-нибудь вкусненького. Гоцмах весело окликнул его:

— Эй, пузырь, кого ищешь? Вчерашний день? Почему тебя так долго не было видно, душа моя?

Подойдя к своему другу, Лейбл попросил его наклониться, так как должен сообщить ему по секрету нечто очень важное.

— Секрет на весь свет? — спросил Гоцмах и склонился всей своей долговязой фигурой к Лейблу, при этом чуть не переломившись пополам.

Выслушав секрет, Гоцмах выпрямился. В его острых колючих глазах загорелся огонек. Он хлопнул Лейбла по плечу.

— Вот за это люблю! Вот это я понимаю, свой брат! А как же? Разве я не говорил? Я давно говорил, что твое место здесь. Провались я в преисподнюю, если это не так!

В эту минуту за спиной Гоцмаха вырос Хунгерман — Альберт Щупак.

— Какое место? Чтоб ты лопнул на месте, Гоцмах!

Услышав голос директора, Гоцмах повернулся к нему, дрожа от страха. Но тотчас же ловко выпутался из затруднительного положения. Указав пальцем на Лейбла, он произнес:

— Этот пузырь говорит, что кто-то занял там место в театре без билета...

Услышав слова «без билета», директор побагровел от гнева. На Альберта Щупака слова «без билета» действовали так же, как на сельского хозяина слова «свинья в огороде!»

— Шолом-Меер! Где Шолом-Меер? Погибель на него! — заорал Щупак во все горло. Он стал искать глазами Лейбла, но того и след простыл.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Месть, месть, месть!

В эту ночь наш герой спал, можно сказать, как после бани. А заснул он с готовым планом мести, жестокой, безжалостной мести. Надо отомстить, отомстить, проучить как следует отца, расквитаться за розги, за позор, за все, за все...

Лейбл размышлял недолго. О чем тут думать? Все казалось ему таким простым, таким естественным, что ничего не могло быть проще и естественнее.

Вот весь его план, как на ладони:

Ночью, когда все заснут, он потихоньку встанет и на цыпочках подойдет к кровати кассира. Они спят в одной комнате. А кассир по прозвищу «Сосн-Весимхе» («Радость и веселье») — любитель поспать. Он, правда, уверяет, что у него удивительно чуткий сон: муха пролетит, и то услышит. Но все знают, что когда «Сосн-Весимхе» заснет, его хоть вместе с кроватью выноси, — он ничего не услышит, разве только, если облить его холодной водой.

Тем не менее кассу ему можно спокойно доверить. Во-первых, он свой человек, родственник Бени Рафаловича — не то племянник, не то двоюродный брат. Во-вторых, он вообще очень честный парень, беззаветно преданный хозяину, и кассу, то есть стол, в котором хранятся деньги, стережет, как верный пес. Ключи от письменного стола он всегда держит при себе, в кармане брюк. Перед тем как ложиться спать, он внимательно осматривает окна и ставни, проверяет, основательно ли они закрыты; заглядывает под кровати, не спрятался ли там вор. На ночь кладет брюки себе под подушку. Вдобавок в той же комнате рядом с ним спит хозяйский сын Лейбл — что может быть надежнее и безопаснее?

Сам бог послал нашему Лейблу такого кассира, иначе он не мог бы осуществить то, чему научил его Гоцмах, и вытащить из кассы деньги. «Нужна звонкая монета, звонкая, — шепнул Гоцмах Лейблу на ухо. — Чем больше звонких монет, тем лучше...»

И Лейбл, вырабатывая свой тонко задуманный план, ясно представил себе, каким образом «звонкие» из кассы «Сосн-Весимхе» перекочуют в его, Лейбла, карманы. «Сосн-Весимхе» спит как убитый, храпит, как недорезанный бык. А он, Лейбл, в темноте подбирается к его кровати и с минуту обдумывает, как вытащить брюки кассира из-под его изголовья; затем бережно потихоньку, засовывает руку под подушку, вытаскивает сначала одну штанину, потом другую и осторожно извлекает из кармана связку ключей. Неслышно, на цыпочках, идет к столу. После каждого шага останавливается, боясь, как бы его не услышали. А сердце бешено бьется в груди. Больше всего Лейбл опасается старой бабушки, которая спит в соседней комнате. У старухи действительно чуткий сон и острый глаз: она видит сквозь стенку, как иной сквозь очки. С замиранием сердца открывает он ящик письменного стола, дрожащими руками, тихо-тихо всовывает руку и захватывает увесистую пачку кредиток («побольше кредиток», — наказал Гоцмах)... Затем потихоньку кладет ключи в карман брюк кассира, а брюки — на прежнее место и, крадучись, выходит на улицу... Там уже ждут его лошади — Гоцмах заранее об этом позаботился. Они спешат к вокзалу... Чтобы избегнуть погони по горячим следам, Лейбл придумал еще более хитроумный трюк: он переоденется в чужую одежду, а свой костюмчик положит на берегу реки, — пусть подумают, что он утопился... Его, надо полагать, будут искать, искать в речке, но как бы не так! Черта с два они его там найдут! Тогда семья начнет справлять семидневный траур... Будут оплакивать его и горевать о нем долго-долго, пока не начнут понемногу забывать. Пройдет, скажем, десять или двенадцать лет. Вот Лейбл — уже известный артист; он разъезжает по белу свету со своей собственной труппой, — тогда-то он нарочно завернет в Голенешти на несколько спектаклей. Он снимет (через подставное лицо, конечно) сарай у своего же отца и разрешит всем жителям местечка бесплатно посещать театр, — что же, пусть все знают, что такое настоящая актерская игра! Когда взовьется занавес, он выйдет на

сцену со всей труппой: все великолепно одеты, а он, директор, сверкает алмазами и брильянтами почти так же, как Щупак... И лишь только он покажется на сцене, его, надо полагать, сразу узнают: это он, Лейбл! Мать упадет в обморок, отец зарычит своим громовым голосом: «Лейбл!» И со всех сторон загремят восторженные приветствия:

— Лейбл! Лейбл! Лейбл!

. . . .

Лейбл открывает глаза: у его изголовья стоит кассир.

— «Сосн-Весимхе»! Что случилось?..

— Как что случилось? Где это видано, чтобы человек так крепко спал? Будят его будят и никак не могут добудиться. Вставай, горит!..

— Что горит? Где горит?

— На «Божьей улице». Все ушли на пожар. Одевайся! Уже битый час бухают во все колокола. Кажись, покойник и тот бы проснулся.

Так журит Лейбла «Сосн-Весимхе», хотя и его самого только что с величайшим трудом разбудили, приказав ни под каким видом не отлучаться из дому.

Легко сказать: «Не отлучаться из дому». Как можно усидеть дома, когда в городе пожар? Преданный своему хозяину кассир «Сосн-Весимхе» вместе с Лейблом вышел на одну минутку, только на одну минуточку, посмотреть, где горит. Но, выйдя на улицу, увидя залитое заревом небо и услыхав звон колоколов, кассир не устоял против искушения и побежал туда, куда в эту ночь тянуло всех, кроме разве одного Лейбла.

Лейбла влекло в другую сторону. Он повернул направо и прежде всего направился в хедер, чтобы посмотреть, не спит ли семья кантора, и, если спит, постучать в окно, разбудить их и сообщить, что на «Божьей улице» пожар.

Приближаясь к дому, Лейбл еще издали увидел стоявшую в дверях дочь кантора Рейзл, освещенную кроваво-красным отблеском пожара, а возле нее какого-то субъекта, который мигом отошел в сторону и, повернув налево, поспешно удалился. Тогда Лейбл так же поспешно, крупными шагами, направился к дому кантора Исроела.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Ночь-волшебница

Никогда в жизни, если она даже продлится до ста лет, не забыть нашему юному герою той знаменательной для него ночи, когда бушевал пожар на «Божьей улице».

В лучшие, как и в худшие, минуты своей жизни, он любил возвращаться к воспоминаниям об этой ночи... Да и теперь, когда он остается наедине с собой, для него нет большего наслаждения, чем вернуться к этим сладостным воспоминаниям и, лежа с закрытыми глазами, вновь и вновь переживать очарование счастливой, пленительной, незабываемо-волшебной ночи, когда он, полусонный, бежал на «Божью улицу» посмотреть, где горит.

Все небо, насколько хватал глаз, было окрашено в яркий пурпур. Куда девались звезды? Они куда-то скрылись, потонули в море огня и исчезли. С противоположного конца улицы доносился отдаленный гул: крики людей, лай собак, треск пылающих крыш. На красном фоне четко выделялись вдали бесчисленные силуэты. Окутанная алым облаком, стояла перед ним дочь учителя, прекрасная, зачарованная царевна ночи. Никогда еще ее черные волосы так не блестели, никогда ее темно-алые щечки так не пылали, никогда ее большие черные цыганские глаза так не сверкали, как в эту ночь. И ему казалось, что вся она — пламя. Вот-вот поднимется и вместе со звездами потонет в багровом сиянии этой волшебной ночи. И Лейбл почувствовал, как его неодолимо влечет к ней...

Рейзл еще издали узнала его. Она огляделась вокруг, нет ли поблизости чужого глаза, наблюдающего за ними. Нет, кругом ни живой души. Никого! Все на пожаре. Все население местечка сбежалось туда.

Она сделала несколько шагов навстречу, коротко рассказала, как она проснулась... Одна-одинешенька в доме... Все на пожаре...

— Где горит?

— Я и сам не знаю, где горит. Разбудили меня,

сказали, что пожар на «Божьей улице», я и побежал прямо сюда.

Рейзл заглянула ему в глаза.

— Прямо сюда? Почему же прямо сюда?

— Я и сам не знаю, почему... Но если бы пожар был и не на «Божьей улице», я бы тоже прежде всего побежал сюда...

Он запнулся. Почувствовал, что у него вырвалось лишнее слово, и покраснел... Рейзл не спускает с него глаз. Каким необыкновенно красивым кажется он при свете охваченного заревом неба! Сколько обаяния в его пылающих щеках. Его большие нежные глаза глядят на нее с такой любовью и лаской, как если бы он был ей родной брат.

Лейбл, запинаясь, объясняет, почему он прибежал прямо сюда... «Такая ночь!» Да и что ему делать на пожаре? Чего он там не видел? Как горят дома на «Божьей улице»? Пусть горят. Пусть горит вся улица, хотя бы все местечко. Ему-то что? Ему теперь до Голенешти никакого дела нет. Ровно никакого! Его связь с местечком порвана. Навсегда! Он уж больше не голенештинский житель. Еще день, другой...

Он берет ее за руку.

— Поклянись, что все останется между нами, я тебе кое-что скажу...

Лейбл жмет ее ручку своей большой теплой рукой, точь-в-точь как тогда в театре. Тихим и серьезным, полным тоски голосом он говорит:

— Я уезжаю отсюда.

Она широко открывает глаза.

— Куда?

Куда? Он и сам еще не знает. Но что он уезжает, это так же верно, как то, что теперь ночь на земле, как то, что это небо создано богом.

Оба подняли глаза к небу. Рейзл стало жутко от этой нежданной вести. Она придвинулась ближе к Лейблу, внимательно взглянула на него, прислушалась к его голосу и удивилась серьезности его тона. Никогда еще не видела она его таким серьезным. Он точно вырос вдруг, стал взрослым. Голос ее дрожал, когда она спросила:

— Надолго?

— Надолго ли? Навсегда! Навеки!

— Навеки? Значит, мы никогда больше не увидимся?

— Никогда...

В свете красного зарева Лейбл заметил, как побледнело прекрасное смуглое лицо Рейзл. Он снова взял ее руку, и ему показалось, что пальцы ее вдруг похолодели. Он уже готов был пожалеть о том, что уезжает... Но ничего не поделаешь. Все уже решено окончательно — не поправишь. И он решился доверить ей свою тайну, рассказать, *куда* он едет, *для чего* едет и с *кем едет*... Рейзл глядит ему в глаза, слушает, тихо вздыхает.

Лейбл смотрит на нее, и взгляд его точно говорит: «Ты не хочешь, чтобы я уехал? Будешь скучать? Скажи, ты будешь скучать?»

Рейзл краснеет. Нет, не то, не то! Но она завидует ему. Вот, скажем, ему захотелось уехать из дому, и он взял да уехал. А если бы, к примеру, она захотела подняться и уехать, — разве она смогла бы? А ведь и ей, быть может, хочется уехать из дому. Очень хочется. Он думает, что только у него домашние неприятности, что он один страдает от родителей. О-го! Если хорошенько посчитать, то окажется, пожалуй, что у нее таких неприятностей не меньше, а быть может, и больше.

И она рассказала Лейблу все. Поделилась своими переживаниями последнего дня и этой ночи. Передала содержание разговора, который она только что имела с хриплым субъектом, с тем самым, которого в Голенешти называют Уморой! Рассказала, как отозвался директор о ее пении... Словом, Рейзл поведала Лейблу все, ничего не утаила.

Лейбл сам не понимает, как это случилось. Он помнит только, что они сидели рядом на пороге дома кантора Исроела. Ее маленькая детская ручка лежала в его руке. Он гладил эту маленькую детскую ручку, потом поднес к своим горячим губам и целовал, целовал кончики пальцев. Она не отняла своей ручки, но глядела на него расширенными, испуган-

ными глазами. Эти большие черные цыганские глаза сверкали: в них горело красное зарево этой чудесной, зачарованной ночи.

Какая сила привлекла их друг к другу, посадила рядом, придвинула вплотную, плечом к плечу? Какая сила сблизила эти две детские невинные души и заставила их раскрыться, поведать друг другу свои самые сокровенные тайны? Какая сила так внезапно сроднила и сблизила их, точно они уже много-много лет были самыми закадычными друзьями?

То была таинственная, пленительная сила этой дивной, полной чудесных чар ночи.

Да, то была чарующая ночь — ночь-волшебница.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Звезды не падают, звезды блуждают

То, что Рейзл рассказала Лейблу в ту волшебную ночь, сидя с ним рядом на пороге своего дома, явилось для него совершенной неожиданностью и несказанно его обрадовало. Ее голосок в эту исключительно чудесную, сказочную ночь звучал в его ушах как пленительная музыка. Как жаль, что он раньше не знал этого. Хорошо, что она хоть теперь рассказала ему все. Хорошо, что он знает. Теперь он видит, что это от бога. Теперь уже ясно, что так им на роду написано. Обоим, видно, выпало на долю терпеть и страдать, нести на себе ярмо местечкового гнета и общими силами стряхнуть с себя этот гнет. Они должны вместе вырваться отсюда, из этого тесного, мрачного, заброшенного местечка и вместе уйти туда, в новый мир. О, там начнется для них обоих иная жизнь: новая, светлая, яркая! Оба они изберут одну и ту же дорогу. Оба будут учиться одному и тому же: он — играть, она — петь. Оба прославятся на весь мир: он — своей игрой, она — своим пением.

И Лейбл подал ей руку и призвал в свидетели небо и ночь. Эта ночь, это красное огненное небо пусть

будут свидетелями, что они никогда, никогда не расстанутся. В знак этого их руки соединились, скрепляя клятву... Бог им свидетель, что отныне они всегда будут вместе, никогда и ни за что не расстанутся! *Что бы ни случилось, куда бы их ни забросила судьба, они будут неразлучны. Всегда и всюду вместе.* Даже, когда они вырастут, станут взрослыми, они тоже никогда не расстанутся. Никогда! Никогда! Всегда будут работать в одном театре, вместе будут странствовать по свету. А странствуя, как не заехать в Голенешти? Само собою, они приедут сюда, обязательно приедут. В гости к родителям приедут... Узнает об их приезде местечко, и все сбегутся, как на чудо какое, поглядеть на сына Бени Рафаловича и на дочку кантора Исроела. Ах, как хорошо им будет тогда! Все станут им завидовать, бегать за ними, пальцами указывать на них: *«Вот счастливцы, вот счастливая парочка!..»* Они ведь будут уже тогда жених и невеста... Почему жених и невеста? Ничего подобного! Они уже будут тогда муж и жена. Ведь они уже давно жених и невеста: еще с того вечера, как их посадили впервые рядом в театре.

— Помнишь, Рейзл, тот вечер, когда мы в первый раз сидели вместе в театре? Ха-ха-ха!

Помнит ли она? О, еще бы!.. Ей хотелось бы вечно сидеть так. Разве есть на свете что-нибудь лучше, приятнее, милее театра, еврейского театра?

Ах ты господи, владыка небесный! Как будто они сговорились. Разве не видно, что так суждено самим господом богом? Это он сам смилостивился над ними и, взирая на них с высоты небес, послал каждому своего избавителя: ей — бездельника Шолом-Меера, а ему — Гоцмаха.

Лейбл рассказал девушке всю историю своего знакомства с Гоцмахом. Рассказал и о том, как близко он сошелся с Гоцмахом, как стал его закадычным другом, как отец накрыл его и подверг позорному наказанию и как он, Лейбл, дал слово рассчитаться с отцом, расплатиться за свое унижение, отомстить за свой позор...

Весь план мести, выработанный им, он ей тоже раскрыл и даже объяснил во всех подробностях, ничего не утаив, каким путем он рассчитывает заполучить «звонкую монету». Он не боялся доверить свою тайну Рейзл. Чего бояться? Он знал, чувствовал, что *он и она с этой ночи стали единым существом*. Ведь они дали друг другу слово: ее рука в его руке. Бог им свидетель. Он высоко в небесах, но он слышит все. Решительно все.

Оба подымают глаза к небу. Оно уже не такое багровое, как прежде. Пожар с каждой минутой идет на убыль, шум и галдеж стихают. Вот уж снова показались звезды на небе: одна, другая, третья, потом много, бесконечно много... И вдруг им почудилось, будто звезды меняются местами: одна подымается, другая опускается. Вот они падают, падают...

— Смотри, смотри, звезды падают!.. — воскликнула Рейзл.

Ее голос дрожал, и сердце билось в тревоге.

Лейбл громко засмеялся.

Неужто она боится?

— Не нужно бояться, — успокаивал он ее как старший, хотя он был моложе ее на целый год. — Чего тут бояться? Звезды не падают, они блуждают. *Звезды блуждают.*

И он объясняет Рейзл, как взрослый, как старший брат, почему и как блуждают звезды. Он ведь учится в хедере, оттого и знает. Дело тут очень просто: «Каждая звезда — это душа человека. А куда идет душа, туда идет и человек. Вот почему нам представляется, будто звезды падают».

— *Звезды не падают, звезды блуждают,* — повторил Лейбл, глядя на небо, которое все больше очищалось от алого покрова!

Зарево затухает. Только один дальний край неба еще подернут светло-алой пеленой, но и та постепенно становится все бледней, и мало-помалу алый блеск ее редеет, тает, исчезает совсем. Черные фигуры, которые только что, сгрудившись в кучу, теснились на месте пожара, стали понемногу рассеиваться, расходясь в разные стороны. Близко зазвучали голоса. Сейчас вот,

не успеешь оглянуться, подойдут ближе и заметят, как они сидят тут рядом, на пороге дома кантора... Ничего не поделаешь, надо встать, надо уходить... Хотя очень уж не хочется расставаться.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

И отойдя от порога, Лейбл направился к месту пожара. Но вдруг остановился и повернулся лицом к Рейзл, чтобы еще раз, хотя бы еще один раз пожелать ей:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Еще мгновение, и он скрылся в ночной мгле.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На исходе субботы

Суббота на исходе.

Исчезли все признаки милой сердцу царицы-субботы.

На «Панской улице» затихли голоса нарядных юношей и девушек, гулявших здесь весь субботний день до позднего вечера и разговаривавших между собой по-русски (пусть неправильно, с грубыми ошибками, но зато по-русски).

Не видно больше на «Божьей улице» ни евреев, одетых в субботние сюртуки, ни евреек с «брильянтами» в ушах (пусть фальшивыми, но все же с брильянтами).

Не видать и детей, играющих на улице в новую игру, — в «еврейский театр». Их давно уже загнали домой. Давно во всем блеске и пышном великолепии заката скрылось солнце. Погас последний луч тихого, теплого бессарабского летнего дня, уступившего место прекрасному, тихому летнему бессарабскому вечеру. Там и сям замигали в небе светлые, сверкающие звездочки, улыбающиеся темной, пыльной земле.

Благочестивые женщины уже давно отшептали в сумраке вечернюю молитву «Бог Авраама, Исаака и

Иакова», и странная, неведомая тоска стала расстилаться кругом, тоска по «милой сердцу уходящей субботе...» Желтые огоньки замигали в окнах.

Люди набожные уже сотворили молитву, посвященную прощанию с субботой и наступлению будней. Иные успели даже пропеть все гимны, которые положено петь в этот вечер. Другие с увлечением еще поют «Ты не бойся, раб мой Иаков» и прочие песни, посвященные прощанию с субботой. Скрытая тоска слышится в этом пении, скорбные нотки нередко врываются даже в ликующие напевы.

Тяжело, очень тяжело расставаться с той высшей благодатью, которая нисходит на благочестивого еврея в дорогой и милый сердцу день субботний; тяжко, очень тяжко расставаться с царицей-субботой!

Кантор Исроел окончил молитву и, тяжело вздыхая, пожелал жене и дочери счастливых будней. Затем принялся за песнопение, спел все гимны, посвященные прощанию с субботой, наизусть, громко, полным голосом, с душой, с увлечением. Прищелкивая пальцами и глядя на Лею, он печально думал: «Сейчас начнется разговор о деньгах, ботинках и прочих будничных нуждах...»

— Счастливых радостных будней, — пожелала в свою очередь Лея с таким же глубоким вздохом. Но она сейчас и не думает о муже. Она не сводит глаз с дочери, которая сидит в уголке, глубоко задумавшись.

«О чем, о чем думает дитя, доченька моя ненаглядная, храни ее господь», — вздыхает Лея.

Сердце Леи мучительно ноет. Она уже и сама пожалела, что обошлась с дочкой слишком строго, слишком круто. Раскаяние грызет ее: «Нельзя так обращаться с девушкой, с единственной дочкой, над которой так дрожишь». Она сознает, что не должна была так поступить. Но это уже дело прошлое, — что сделано, того не воротишь, тем более что и театру уже конец. Сегодня ночью, говорят, актерщики уезжают. На доброе здоровье!.. Она, собственно, хотела сказать: «Ко всем чертям», но воздержалась: зачем бранить людей в канун новой недели?..

Лее и жаль, что еврейский театр уезжает, и отчасти даже радостно, что его больше не будет в Голенешти. «Меньше будет сутолоки в местечке,— старается она утешить себя, — Голенешти обходилось до сих пор без еврейского театра, проживет как-нибудь, надо надеяться, и теперь без него, слыханное ли дело?.. А дитя, наверное, забудет, что был когда-то театр на свете... Ребенок остается ребенком. Она, Лея, купит дочери пару новых ботинок, и все раны залечатся... А если к тому еще, с божьей помощью, ей удастся принести завтра с базара конфеты, мармелад и тому подобные сладости, тогда... о, тогда... Ох, горе горькое! Завтра же воскресенье, день базарный, большой будет базар, почти ярмарка, а у нее хоть бы стертый пятиалтынный. Надо переговорить с Исроелом. Наступает новая неделя, слыханное ли дело?..»

Эти размышления настроили канторшу на будничный лад, и она на минуту забыла про обиду своей дочери.

А Рейзл? Оставьте Рейзл в покое! Ее здесь нет. Она далеко, далеко отсюда...

Конечно, она пока еще здесь. Но где она будет завтра? *Завтра? Завтра?* О, этого никто не знает, решительно никто. Только они двое — она да Лейбл... И еще два человека знают их тайну: директор еврейского театра и его правая рука Шолом-Меер... Сегодня утром, когда родители были в синагоге, Шолом-Меер условился с ней, что в полночь, как только часы пробьют двенадцать, она должна... О, она уже знает, хорошо знает, что будет после двенадцати... Только она и он, больше никто не знает, никто на свете.

Ей доставляет удовольствие мысль, что она знает кое-что такое, о чем мать и не подозревает... Так ей и надо! Поделом! Прав был Шолом-Меер, когда говорил: «Вольно ж ей было держать дочку дома одну-одинешеньку, взаперти, как птичку в клетке». Ни одной минуты свободной, головы не дает поднять. «Перед чужими не пой! В театр не ходи! Туда не гляди! Здесь не стой! Что же ты, раба у отца и матери? В рабство им продана, что ли?» — так говорил Шолом-Меер. И он прав! Совершенно прав! Завтра

утром, с божьей помощью, когда мама проснется и увидит, что птичка улетела из клетки, ах, как она раскается! Вот тогда-то у нее будут счастливые будни, *радостные и счастливые будни.*

Больно ей только, что она причинит горе отцу. «Бедный, бедный папа! Его и вправду жаль. Он так ее любит. С ним она всегда была так близка, не как дочь с отцом, а почти как сестра с братом. Кто будет играть с ним в юлу в праздник хануки? * Кто во время пасхальной трапезы украдет у него мацу из-под подушки *. Кто будет рвать для него зелень к празднику пятидесятницы? * Кто пойдет с ним в синагогу в последний день праздника кущей? * Кто будет петь с ним священные песнопения?

И вспоминается ей, как еще совсем недавно в такие же вечера, на исходе субботы, она, бывало, пела с отцом песни, которым он обучал ее. А мать в это время раздувала самоварчик и готовила чай.

Одну песенку вспоминает Рейзл, — она распевала ее вместе с отцом на исходе субботы, когда отец бывал в хорошем настроении. В этой песенке были перемешаны еврейские, древнееврейские и русские слова. Заканчивается песенка припевом, который она с отцом исполняет вместе в быстром темпе:

День радости, день песнопенья,
День ликованья, день веселья,
Радость и песнопенье, ликованье и веселье,
Любовь и братство.

Затем снова повторяется тот же припев:

День радости, день песнопенья...

— Не пора ли вам окончить ваши радости и песнопенья? — прерывает их, бывало, канторша, ставя на стол самовар. — Выпьем лучше по стаканчику чаю, слыханное ли дело?

Ах, как хорошо, как светло и как радостно было тогда на душе! Кажется, так недавно это было и все же так давно, в незапамятные времена!..

От этих мыслей Рейзл охватывает страшная, черная тоска. Неимоверная тяжесть ложится ей на

сердце. Дыхание спирает. Она сама не знает, что с ней. Вот-вот она разрыдается. Отец видит печальное лицо дочери, уединившейся в уголке комнаты, подходит к ней, напевая песню, и, гладя ее прекрасные черные волосы, наклоняется над ней:

— Что с тобой, доченька?

— Ничего, папа, желаю тебе счастливых будней!

И припав горячей головой к его груди, она прижимается к отцу, обнимает и порывисто целует.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Чары золота

Беня Рафалович также окончил молитву, посвященную прощанию с субботой.

У Бени эта молитва проходит особенно парадно и торжественно. Вся огромная семья — жена и дети, старуха мать, кассир, кормилица, кухарка — все до единого должны присутствовать на этом параде и в соответствующие моменты хором повторять: «Благословен господь, благословенно имя его — аминь».

Когда Беня читает молитву, посвященную прощанью с субботой, — есть что послушать. Начинает он вслух громовым голосом, важно и торжественно, с печальным напевом. Но на середине он обычно спотыкается, начинает путать текст, и громовое пение быстро переходит в едва слышное бормотание. Вскоре он опять выбирается на гладкую дорогу и поет на верхних нотах, но потом снова спотыкается и берет на несколько тонов ниже; заканчивает он громко и протяжно: «Благословен начертавший грань между святым днем и буднями». Все хором отвечают: «Аминь». Тогда Беня тушит свечу и рычит оглушительно, как лев: «Счастливой недели вам!» И все хором повторяют: «Счастливой недели! Счастливого года!»

Так проходит парад прощания с субботой у Бени Рафаловича.

Церемония закончена. Беня подает знак кассиру, чтобы он приступил к подсчету недельной выручки и занес в книгу приход и расход за неделю. Засучив рукава, кассир «Сосн-Весимхе» вынимает ключи из кармана брюк, открывает средний ящик письменного стола и начинает считать деньги. Делает он это серьезно, истово, с воодушевлением, почти благоговейно.

Сперва на столе появляются кредитки, пачки за пачкой. Кассир «Сосн-Весимхе» — мастер считать деньги. Поминутно сплевывая на толстый палец, он ловко отсчитывает ассигнации, которые с громким шелестом так и порхают в его руках, так и мелькают перед глазами. Сначала у него идут «аристократы» — сотенные билеты, или, как Беня их называет, «простыни». Затем белые — «деликатные» четвертные билеты. Потом огненно-красные десятки и синие пятерки. И под конец — разная «мелюзга»: зеленые выцветшие трехрублевки и желтые замусоленные рублевки, их много, видимо-невидимо.

Все время, пока кассир считал деньги, Лейбл сидел чуть поодаль и, не выпуская из рук молитвенник, делал вид, что шепчет молитву: покачиваясь всем туловищем, он перелистывал страницу за страницей, но мысленно вместе с кассиром издали считал деньги. Считал, считал и никак не мог подсчитать. Покуда на столе лежали пачки крупных ассигнаций, Лейбл коекак еще успевал следить за счетом. Но когда очередь дошла до «мелюзги», он потерял счет и снова уткнулся в молитвенник, по-прежнему тихо напевая. А пачки ассигнаций так и мелькали перед глазами, ни на минуту не давая ему покоя. «Где-то они будут сегодня в полночь, эти красивые, аккуратно сложенные пачки ассигнаций? — думал он. — Где же, как не у меня!» Конечно, у меня, у меня!» . . . .

. . . .

Дрожь пробежала по его телу, и он начал покачиваться еще сильнее, читая молитву с еще большей горячностью.

Беня и его кассир, всецело погруженные в работу, не замечали Лейбла, не слыхали его молитвы. Зато сидевшая сбоку мать Бейлка все видела и слышала.

Она глядела и не могла наглядеться, не могла нарадоваться на дорогого благочестивого сына и мысленно благословляла свое милое дитятко, желая ему всяких благ.

Мучительная, затаенная глубоко в груди боль начала мало-помалу утихать, рана стала залечиваться. «Чем, собственно, так уж провинилось дитя? — подумала она. — Что дурного он сделал? Неужели за то, что мальчик отдал бедному актеру свой завтрак, следовало так жестоко наказывать его, так позорить несчастное дитя? О, если бы Беня захотел посмотреть на мальчика ее глазами!.. Ах, что за чудесное, светлое личико!»

Но Беня, как назло, не хочет ни глядеть на сына, ни слушать его молитву. Он весь с головой ушел в подсчет недельной выручки. Покончив с кредитками, Беня и его кассир принялись за серебро. Тут кассир Симхе обнаруживает непревзойденное мастерство. Быстро, красиво скользят монеты в его ловких руках. Он раскладывает серебряные монеты стопками, и стопки все растут и растут. Вот одна, вот другая, третья, пятая, десятая, и еще, и еще, и еще. Наконец очередь доходит до медяков. Тут кассир обнаруживает ловкость прямо изумительную. Медяки звенят и исчезают между его пальцами с головокружительной быстротой, как у фокусника. «Вы-то мне ни к чему», — подумал Лейбл. Ему не надо ни серебра, ни медяков. Куда ему с этой мелочью возиться? Для него хватит вон тех пачек с ассигнациями, которые отец держит в руках. Лейбл глядит одним глазом и видит, как отец любовно смотрит на деньги, берет в руки пачку за пачкой, ощупывает, гладит и, называя вслух сумму, передает их кассиру, который укладывает деньги в ящик в стройном порядке: на первое место, конечно, «аристократы» — сторублевки, за ними следуют прочие кредитки — мелюзга, а потом уж серебро и медь.

Лейбл одним глазом глядит в молитвенник, а другим туда, туда, в средний ящик письменного стола, куда кассир укладывает пачки ассигнаций. Туда, к этому ящику, устремлены теперь все помыслы и думы Лейбла, все его чаяния и надежды. Всей душой, всем существом своим он стремится к заветному ящику.

Что деньги — великое искушение, это Лейбл не раз слыхал и от своего учителя в хедере и от старших. Что это искушение необычайно сильно и неотразимо, это ему тоже не раз приходилось слышать. Но истинный смысл этих слов он постиг лишь теперь, в эти минуты. Он почувствовал, что жажда денег захватила его целиком и цепко держит, не отпуская. И Лейбл знает: не устоять ему против соблазна, сколько бы он ни старался! Да он и не пытается. Наоборот, он искренне молит бога, чтобы его грешная затея удалась, потому что, если — не приведи господь! — дело сорвется... если его поймают на месте преступления, тогда и подумать страшно, — господи спаси и помилуй! — тогда ведь он пропал. Все погибнет для него и на этом свете и на том! Гоцмах уезжает. Театр уезжает. А он? А Рейзл? Что будет с ними? Не будет театра! Не будет Рейзл! Конец всем золотым мечтам, конец!..

— Тпррру, поздравляем! Приехали «кумовья» очищать сарай от «паскудства», — воскликнул Беня на своем иносказательном языке и поднялся со стула.

Читатель, привыкший уже к лексикону Бени Рафаловича, конечно, догадывается, что эти слова означают: приехали извозчики, чтобы вывезти еврейский театр.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мое почтение извозчику Шимен-Довиду

Если бы Беня мог, он сам бы себе надавал оплеух, — так он сердит на себя за то, что позарился на несколько «грошей» и сдал такой чистый, такой светлый сарай под еврейский театр. «Пригнать бы сюда целое стадо свиней да пустить их в сарай, — думал Беня — они наверное не загрязнили бы так двора, как испакостил его театр за эти несколько недель». Беня сам не знает почему, но он ненавидит этих голодных «лапотников» (то есть актеров), как благочестивый еврей свинину. И больше всего ненави-

дит он этого «расфуфыренного щеголя-гоголя» с «выскобленными щеками» (так называет он директора театра Альберта Щупака): прямо-таки спокойно глядеть на него не может.

Можно сказать, что оба они — Беня Рафалович и Альберт Щупак — возненавидели друг друга с той минуты, как познакомились. Оба смотрели друг на друга сверху вниз. Беня называл Щупака за глаза не иначе, как «шмаровоз». А Щупак для Бени не имел другого прозвища, кроме «бессарабское пузо». Поэтому легко себе представить, как обрадовался Беня, когда увидел у себя на дворе извозчика Шимен-Довида, подъехавшего к воротам на огромном фургоне, за которым следовала еще телега и такой же фургон, а за ними — огромная высокая телега, которую в Бессарабии называют «арбой». И Беня тотчас завел с Шимен-Довидом разговор на своем языке.

— А, мое почтение, вот не ожидал. Гость приехал, Шимен-Довид. Скажи-ка, сделай милость, Шимен-Довид-сердце, сколько ты, к примеру, берешь с этих «голодранцев» за перевозку их «дохлятины»?

— «Блажен муж», — начал Шимен-Довид изречением из псалмов и стал жаловаться на свою несчастную долю. — «Блажен муж» — незавидна судьба извозчика: скотину кормить надо, человека держи, а овес дорог, а телегу подмазать надо, и мужика нанимай да поглядывай...

Все это Шимен-Довид перечисляет по пальцам. Но, видя, что скоро не хватит пальцев на руке, он заканчивает разговор изречением из псалма:

— «В деснице твоей вечность» — хоть бейся головой об стенку.

Извозчик Шимен-Довид скорее хозяин над извозчиками, чем извозчик. У него собственный дом, три пары лошадей, дети его учатся в хедере, и сам он тоже искушен в книжной премудрости: знает все псалмы наизусть и на каждом шагу, — кстати и некстати, — обращается к помощи злополучного псалтыря, сыпля стихами.

Со Щупаком Шимен-Довид договорился как заправский подрядчик: его дело — перевезти в Фачешти

к вокзалу в субботу вечером, сразу после прощания с субботой, весь еврейский театр, со всеми артистами, декорациями, со всем «скарбом, барахлом и рухлядью», а самого Щупака он обязался непременно, без всяких оговорок, что бы там ни случилось, доставить рано утром, ни свет ни заря — в Фачешти и подвезти к вокзалу. А оттуда уж — «благослови мою душу, аллилуйя, — Щупак может отправиться хоть на санях прямо в страну праотцев».

Так сказал сам Шимен-Довид, а Шимен-Довид своему слову хозяин: сказал, что топором отрубил.

Суббота на исходе, наступил вечер — нет Шимен-Довида. Уже давно блеснули звезды на небе, в окнах замелькали огоньки, а подвод все нет как нет. Щупак послал Гоцмаха к извозчику разузнать, в чем дело. Гоцмах застал Шимен-Довида с большим молитвенником в руке за громким чтением одной из полагающихся в субботу вечером молитв.

— Реб Шимен-Довид, ну?

Шимен-Довид указал ему одной рукой на свой рот, а другой на молитвенник и коротко ответил:

— Ну, ну!

Это означает, что, пока Шимен-Довид не кончит молитвы, и говорить не о чем.

Гоцмах сел и закурил папиросу.

А Щупак между тем места себе не находил от тревоги и волнения. Никогда в своей жизни Альберт Щупак не был в таком нервном напряжении, как в этот субботний вечер. Он шептался и шушукался с Шолом-Меером, метался, шмыгал с места на место, перессорился со всеми актерами и актрисами, причем больше всех досталось, как водится, вечному козлу отпущения — Гоцмаху. Щупак строго-настрого приказал ему, сопровождая свой приказ отборной бранью, чтобы он сию минуту привел извозчиков с подводами, не то, — да не будет его имя «Альбрет»!

— Что это с нашим директором? — переговаривались между собой артисты в сарае за кулисами.

— Не трогайте его, он сходит с ума. Директорша приезжает завтра утром.

— Откуда ты знаешь?

— Получена телеграмма.
— Станет Щупак своей жены бояться!
— Разве у него есть жена?
— Поздравляем. Ты здешний?
— Говорят, что такой человек, как Щупак, может себе позволить иметь трех жен.
— А я слыхал, что с этой он развелся.
— Ничего подобного!
— Чего же он так обхаживает примадонну?
— Примадонну оставьте в покое. Примадонна на всех вас плюет с высокого потолка.
— Брайнделе-козак! Вы что за адвокат такой?..
— Держали бы лучше язык за зубами!
— Или провалились бы сквозь землю!
— Где? Здесь, в Бессарабии, или там, в Румынии?
— Посмотри на себя в зеркало, обезьяна!
— Довольно уж вам язычок чесать!
— Как же все-таки обстоит дело с женами Щупака?
— Тише, дети, кажись, едут!
— Едут! Едут!
— Трам-тарарам! Тарарам!
— Ерцом-перцом? перл-вирл-верцом!
— Давай, давай, поддай жару!
— Жару, жару!
— Поддай, поддай!

Услыхав, что подъехали извозчики, вся компания актеров и актрис, как один человек, встрепенулась, и все один за другим с пением направились из сарая во двор «встречать жениха».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Шимен-Довид распоряжается

В честь еврейского театра Шимен-Довид привел во двор целую ораву извозчиков, чуть ли не всю голенештинскую извозчичью биржу. Собрались старые и молодые, все в огромных смазных сапогах, с длин-

ными кнутами в руках. Здесь были: Нойах Бримза в рваной накидке и плюшевом картузе; нахмен Кокон, сердитый человек, с виду похожий на петуха; Янкл Маметлива, заспанный парень с красными губами; Гецл Галаган, долговязый детина с одним глазом; Генех Кустай, приземистый, но здоровенный человечек; наконец Карп Мундзик, молдаванин в меховой шапке.

Карп надвинул шапку на лоб, заткнул за пояс полы своей свитки и принялся за смазку колес. Остальные извозчики тоже усердно взялись за работу: спешно упаковывали декорации, выносили из сарая корзины и ящики, тюки и узелки и складывали все на телеги, не обращая никакого внимания на просьбы актеров, шедших за ними следом и умолявших обращаться с багажом как можно осторожнее, складывать его «потише» да «полегче».

Как генерал стоял Шимен-Довид посреди двора, командуя, ругаясь и пересыпая бранные слова стихами из псалмов, вперемежку с молдаванскими словами:

— А поди-ка сюда, калбун, паршивец этакий! *«Поэтому они свернут с пути,*— задержи телегу, не то я тебя смажу по харе, *ибо сейчас разгорится гнев его»,* так что искры из глаз посыплются.

На извозчиков, по-видимому, не производят никакого впечатления ни брань и понукания Шимен-Довида, ни изречения из псалтыря. Вынося один за другим тяжелые ящики, они перебрасываются словечками и шутками, смеются и зубоскалят и попутно заводят разговор о том, что надо бы чего-нибудь поесть.

— Скажи-ка, Маметлива-браток, ты бы непрочь теперь в честь наступления новой недели отведать малаи на гусином сале?

— Проваливай, одноглазый, с твоей малаей! Я бы охотнее поел хороший цимес... *

— И запил бы кружкой настоящего виноградного вина «Помняк»! Ха-ха-ха!

— А то и свежей брагой.

Шимен-Довиду не по душе такой разговор, и он прерывает его криком:

— *«С чего это разбушевались народы»,* — чего вдруг зашла речь о закуске, мошенники?.. Вот я вам сейчас задам такой помняк, что забудете о закуске. Как говорится: *«Броней своей милости увенчай нас»,* оглоблей по затылку.

Крики и смех извозчиков и брань распоряжающегося Шимен-Довида смешиваются и сливаются с криками и перебранкой актеров и актрис, которые мечутся как угорелые, шумят, галдят, кричат друг на друга и все разом на Гоцмаха:

— Гоцмах, дьявол тебя возьми!

— Гоцмах, беги! Гоцмах, стой! Гоцмах, обожди! Гоцмах, сюда! Гоцмах, туда!

И бедному Гоцмаху приходится выносить на своих худых угловатых плечах всю тяжесть непосильного труда в театре и вдобавок выслушивать непрестанную ругань и проклятия, сыплющиеся на него со всех сторон. Он бросается во все стороны, тащит вещи, при этом кашляет, и все валится у него из рук, потому что над ним стоит, сверкая всеми своими брильянтами, сам директор еврейско-немецкого театра Альберт Щупак, который подгоняет и подхлестывает его, ругает и смешивает с грязью.

Но какое дело Гоцмаху до директора? Плевать ему на него! Удалось бы только обделать то дельце, которое он задумал. Только бы этот паренек заполучил сегодня ночью «звонкую монету», тогда все будет на мази...

И Гоцмах шарит глазами по всему двору, ища Лейбла, но никак не может найти его. Вся семья Рафаловича уже во дворе: сыновья и дочери, зятья и невестки, кормилица, кассир «Сосн-Весимхе», даже старуха мать вышла посмотреть, как собирается в дорогу еврейский театр, и, окидывая весь двор острым взглядом, заодно уж зорко наблюдает за тем, как бы актеры невзначай, по ошибке, не увезли, чего не полагается... Одного Лейбла нет. Гоцмах вне себя: «Мало ли что случается! А вдруг этот щенок раздумал?.. Хорош он, Гоцмах, будет тогда! Дурак дураком! Останется вечным чистильщиком сапог у Щупака. А может быть, — не приведи господи! — ему еще при-

дется жениться на этой холере Этель-Двойре, погибель бы пришла на всех них этой же ночью, боже милосердный! Чтоб им не выехать отсюда! А если выедут, то пусть поломают себе ребра и кости на прямой дороге, раньше чем приедут туда, куда едут!»

— Гоцмах, какого черта ты там ворчишь?

— Я не ворчу, я учу свою роль.

— Нашел время роль учить, чтоб тебе сгореть, идиот окаянный! Сюда иди!

«Аминь, взаимно!»— Иду, иду! — отвечает Гоцмах, закашлявшись, и озирается по сторонам, ища глазами Лейбла.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Шолом-Меер Муравчик произносит речь

Напрасно голенештинцы собрались в этот вечер возле двора Рафаловича, чтобы устроить еврейскому театру торжественные проводы. Шолом-Меер неоднократно предупреждал их в самой резкой форме, помянув даже родителей, что зря они дожидаются, — все равно не дождутся: надо еще много и долго упаковывать. Но голенештинские театралы и слышать об этом не хотели. Они знали, что все это пустые разговоры; все в жизни так или иначе кончается, а потому и упаковка должна рано или поздно кончиться. Ерунда! Что там ни говори, а театр ведь обязательно должен выехать сегодня вечером со двора, — как же можно допустить, чтобы театр выехал незаметно, — как говорится, ни вам, ни нам — и чтобы по крайней мере полместечка не вышло его провожать.

Это, однако, не входило в расчеты ни директора еврейско-немецкого театра, ни его флигель-адъютанта Шолом-Меера Муравчика. По разработанному ими плану нужно было, наоборот, чтобы ни один посторонний глаз не был свидетелем их отъезда. Что же делать? Как заставить людей разойтись? Что им

сказать? Шолом-Меер уже достаточно долго убеждал их. Затеять ссору с целым местечком тоже не годится — можно нарваться на скандал. А надо, чтобы все сошло тихо, совершенно тихо, без всякого шума... Ведь предстоит еще весьма деликатная операция на «Божьей улице».

И Шолом-Меера осенила блестящая идея (на то он и дипломат). Взобравшись на высокую телегу, он обратился к публике с речью, полной замысловатых оборотов и слов:

— Высокочтимая публика! Милостивые государи и государыни! От имени директора еврейско-немецкого театра и от имени всей труппы я имею честь передать вам, многоуважаемая публика, нашу глубочайшую благодарность за оказанную вами честь и за вашу неизменную симпатию к нашему театру. За все время пребывания в вашем местечке наш театр, с гордостью говорю вам об этом, никогда не был пуст. И не только внутри, но и снаружи его всегда осаждали толпы народа. Это доказывает, что вы умеете ценить искусство и что еврейский театр вам дорог. Я считаю долгом просить у вас извинения за мое не вполне деликатное обращение с вами, то есть, попросту говоря, я тысячу раз прошу простить меня, если я когда-нибудь грубо обошелся с кем-нибудь, обругал кого-нибудь, выбросил из театра или окропил холодной водой. Человек ведь не ангел... Не знаю, как вы, но могу вас уверить, что наш театр никогда вас не забудет. Уважаемая публика! Наш театр собирается уехать отсюда и, может быть, на продолжительное время. Мы были бы весьма польщены, если бы вы оказали нам честь вашими проводами. Мне очень больно сказать вам, что не все сумеют это сделать, потому что до рассвета мы не тронемся с места. Если вы действительно хотите оказать нам эту честь, то идите лучше домой спать, а завтра, с божьей помощью, чуть свет приходите сюда. Мы будем очень рады вас приветствовать.

Эффект его речи — особенно последней фразы, произнесенной на немецком языке, превзошел всякие ожидания. «Высокочтимая публика» устроила ора-

тору неслыханную овацию. Раздалось оглушительное, долго не смолкавшее «браво». Но одного «браво» публике показалось недостаточным и раздалось еще громкое «ура». Не довольствуясь, однако, только «браво» да «ура», народ вдруг неистово закричал, вызывая Гоцмаха:

— Гоцмах!.. «Хасидскую»!.. Гоцмах!.. Гоцмах!

Шолом-Меер Муравчик еще раз взобрался на телегу и извинился перед уважаемыми зрителями. Напрасно они кричат и неистовствуют, зря разоряются. Гоцмах больше не выступит и не будет петь и плясать «Хасидскую» — театр закрыт.

Шум и крики от этого не только не уменьшились, но стали даже оглушительнее. Возгласы «Гоцмах» и «Хасидскую» не прекращались.

Видя, что добром ничего не сделаешь, Шолом-Меер вынужден был прибегнуть к старому испытанному средству, которое выручало его во всех затруднительных случаях — к своей знаменитой «брызгалке». Пришлось, засучив рукава, растормошить уложенные уже декорации, вытащить из-под них кишку и пустить холодную струю прямо в «высокочтимую публику». Чудодейственное средство! Через каких-нибудь две минуты площадь опустела. От «высокочтимой публики» не осталось и следа.

После этого Шолом-Меер Муравчик прождал еще часа два, и когда в местечке водворилась полная тишина, директор Щупак собрал труппу, пригласив также музыканта Ехиела со всей его компанией, и все вместе отправились в один из подвальчиков «хлебнуть» по стакану вина, закусить горохом и кутнуть немного в свое удовольствие, как бог велел.

Труппа не могла надивиться: почему директор стал вдруг так щедр и покладист? «Чудеса в решете, да и только». А Щупак все приказывал подавать да подливать, пил сам и просил всех присутствующих пить, бормоча, по обыкновению, что-то бессвязное:

— Что вам сказать? Вот это вино, слышите, дети, пейте и лейте...

В самый разгар попойки Шолом-Меер Муравчик внезапно улизнул, исчез куда-то, оставив всю компанию в подвале. Тихой тенью он скользнул на «Божью улицу».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Напрасные страхи

Исаака, сына праотца Авраама, наверное, не так лихорадило, когда отец вел его на заклание, как нашего юного героя в эту субботнюю ночь, когда, сидя в телеге со своим другом Гоцмахом, он катил к вокзалу в Фачешти. Отсюда они должны были отправиться в Унгени, к румынской границе. Боже, боже, что-то будет, если, не приведи господь, за ними пошлют погоню, схватят его, привезут обратно в Голенешти и вывернут у него карманы... Ох! Лейблу страшно даже подумать об этом. Нет, лучше не дожить до этого, лучше живым броситься в воду!

И Лейбл прислушивается к дружному топоту лошадиных копыт, стуку колес, к громыханию телеги. Ему кажется, что кто-то его догоняет. Дрожь пробегает по всему его телу от страха. От страха ли? А может быть, вовсе не от страха, а от этой тряской езды? Проклятая телега! Не поздоровится от нее ни ему, ни Гоцмаху. Трясет так, что того гляди душу вытряхнет. Это Шолом-Меер придумал усадить Гоцмаха на видное место в «арбе» с багажом, чтобы, не приведи господи, не попортились в дороге декорации.

Но Гоцмаху теперь все нипочем. Что ему Шолом-Меер, что ему директор с его декорациями и со всем театром?.. Они его интересуют не больше прошлогоднего снега. Сидя в телеге, Гоцмах уже видит себя директором, у него свой собственный театр, собственная труппа и собственные декорации. У Гоцмаха, понимаете ли, за пазухой лежит пачка чего-то такого, что греет и жжет, вливает целительный бальзам в каждую частицу его тела и наполняет сердце неизъяснимой радостью.

Эту пачку незаметно передал ему, уже сидя в телеге, его юный друг Лейбл. В это мгновение его холодные, как лед, руки дрожали, зуб на зуб не попадал и весь он трясся, как в лихорадке.

— Сколько здесь, миленький? — тихо спросил Гоцмах, наклонившись к его уху, чтобы извозчик не услышал. Правда, он по толщине пачки догадался, что здесь изрядная сумма.

— Я и сам не знаю, — шепчет на ухо Лейбл, и Гоцмах по его дыханию чувствует, что от него пышет жаром.

— Что ты так трясешься, котеночек? Тебе холодно? — тревожно спрашивает Гоцмах, и в голосе его слышится нежная заботливость преданного старшего брата.

— Мне тепло-о-о, — отвечает Лейбл, лязгая зубами.

— Вот как? Тебе тепло-о-о? — передразнивает его Гоцмах. — Да тебя трясет, как в лихорадке. Дай-ка я надену на тебя, миленький, мою тэндэверенду [1], ты прямо оживешь. Моя тэндэверенда греет, как родная мать.

И Гоцмах бросается к багажу, развязывает узел с вещами и извлекает оттуда какое-то жалкое тряпье.

Почему ему вздумалось дать этому тряпью такое звонкое название?.. Весьма возможно, что в те далекие времена, когда этой вещью владел еще Щупак, она была одной из тех принадлежностей туалета, которую и следует называть «тэндэверендой». Боюсь, однако, что это было уже давно, очень давно, наверно, в те годы, когда наш директор Альберт Щупак еще не был директором, а простым актером. А может быть, еще раньше, в то далекое время, — да не повторится оно больше! — когда Щупак ходил по свадьбам и семейным празднествам и пел «каждый освящающий»... Во всяком случае, отдавая Гоцмаху это старое одеяние, Щупак несколько раз повторил, что дарит вещь навсегда, навеки, что это, так сказать, подарок от него Гоцмаху. При этом он не преминул созвать

---

[1] Тэндэверенда — искаженное: ротонда.

всех артистов, чтобы показать им, на что способна, хе-хе-хе, его широкая натура, когда он, Щупак, хочет одарить человека. И он начал вертеть бедного Гоцмаха во все стороны, любуясь и умиляясь собственной щедростью и без умолку хвастая:

— Было когда-то, знаете, редкостное пальто с чудесным воротником из настоящего бархата, и пелерина была сверху, понимаете ли. Купил, значит, готовое, дешевле краденого, удовольствие было глядеть, без рукавов, хе-хе, да не будет мое имя *Альбрет!*

На красных безбровых глазах Щупака блеснула даже слеза. А Гоцмах облачился в это достопримечательное одеяние и тут же на месте, за спиной Щупака, начал передразнивать директора с его безобразными ухватками, нелепым, сморщенным жалким лицом, поджатыми губками и маленькими слезящимися глазками. Все это он делал так искусно, что трудно было узнать, кто из них обоих Щупак, а кто Гоцмах.

Тем не менее тэндэверенда служила Гоцмаху как родная мать. Она заменяла ему и плащ, и подстилку, и тюфяк, и одеяло, и халат, и все, что угодно. И на этот раз она вновь сослужила ему службу: он укутал ею «парня», все еще дрожавшего, как испуганная овечка, и, наклонившись к нему, стал нашептывать что-то на ухо и успокаивать, как успокаивают маленького ребенка:

— Чего ты боишься, глупыш?.. Не успеешь оглянуться, как мы будем уже в Фачешти. Там мы сядем в поезд и чуть свет окажемся по ту сторону границы, в Унгенях. А от Унгень до Ясс всего полчаса езды, не больше. Покуда дома хватятся, что тебя нет, мы уже будем тю-тю где...

От этой веселой мысли Гоцмах тихо засмеялся, закашлялся и стал ругательски ругать свой проклятый кашель.

Но Лейбл не слышит, что говорит Гоцмах. Он весь дрожит. Он готов поклясться, что кто-то бежит вслед за телегой с громким сопением... Преодолевая страх, он высовывает голову из-под тэндэверенды, оглядывается назад и видит старого пса Теркуша... Как попал сюда Теркуш? «Наверное, кто-нибудь из домаш-

них едет следом за ними, а Теркуш бежит впереди...» — думает Лейбл, и холодный пот выступает у него на лбу. Не успел он еще раз оглянуться назад, как вдруг слышит, что кто-то с гиком и свистом, звонко щелкая кнутом, нагоняет их. Вот уже доносится до слуха свист кнута. «Пропало!» — думает наш юный герой, готовясь к самому худшему. Оказывается, напрасная тревога: это их нагнал Шимен-Довид и обратился к извозчику с присущим ему красноречием, перемешивая свою речь молдавскими словами и древнееврейскими изречениями:

— Ты все еще плетешься, осел этакий, сонный черт?.. А я думал, ты уже на полпути от Фачешти. Брэ![1] Намекни-ка этому бешеному рысаку пинком в бок или кнутом по ногам, что он бежит не так, как надо.

И, не дожидаясь исполнения своего приказа, Шимен-Довид сам хлещет лошадь кнутом по ногам и обращается к ямщику:

— Брэ, когда приедешь в Фачешти, скажи остальной братве, что я велел накормить лошадей и сейчас же ехать обратно, меня не ждать. Слышишь, что тебе говорят, или спишь? Вьё, деточки, вьё!

И, причмокнув, Шимен-Довид повернул направо, а наш юный герой вытер пот и возблагодарил господа за то, что он, Лейбл, отделался только испугом, что все сошло благополучно. Высунув потихоньку голову из тэндэверенды, он бросил взгляд назад, и из фургона Шимен-Довида ему навстречу блеснули хорошо знакомые черные, сверкающие цыганские глаза. Лейбл вскочил, сбросил с себя тэндэверенду, и невольно из груди его вырвался крик: «Рейзл!» Но прежде чем звук его голоса достиг фургона Шимен-Довида, тот уже повернул направо и с гиком, свистом и громким щелканьем кнутом, покатил по другой дороге, возвращаясь как будто назад. Скоро фургон исчез из виду, оставив позади себя густую пыль да смешанный запах лошадиного пота и дегтя.

---

[1] Эй, ты! слышь! *(молдавск.)*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Загадки, загадки, загадки!

«Когда на человека страх нападает, ему приходит в голову всякая нелепица, вздор, бог весть что...»

Так думал наш юный герой, сидя с Гоцмахом в телеге на груде декораций. Как могла ему прийти в голову мысль, что у извозчика Шимен-Довида в фургоне сидит Рейзл? Если бы это была Рейзл, то спрашивается: почему же они повернули вправо, совсем в другую сторону? Разве они оба не едут в одно и то же место?

Задавая себе такие вопросы, Лейбл повернул голову назад, снова бросил взгляд туда, куда исчез фургон Шимен-Довида, и глаза его встретились с глазами его друга Теркуша, который все еще бежал за телегой, высунув язык. «Вот глупый пес», — подумал Лейбл. Сердце его сжалось, жалко ему стало старого преданного друга Теркуша, который остается теперь один-одинешенек. «А бедный жеребенок, — вспомнил он, — тоже ведь остается один».

— Холера бы их обоих побрала! — прервал его размышления Гоцмах.

— Кого? — с изумлением спросил Лейбл.

— Кого же, как не Щупака с этим мошенником Шолом-Меером? Глянь, как они расположились у Шимен-Довида в фургоне, точно у бога за пазухой.

Лейбл взглянул на Гоцмаха с еще большим удивлением: он ведь как будто не заметил в фургоне Шимен-Довида никого, кроме Рейзл. Что тут творится?

Но у Гоцмаха свое на уме. Его занимают только Щупак и его флигель-адъютант Шолом-Меер, и он рассуждает сам с собой:

— Одного я не понимаю, хоть голову мне отсеки: какого дьявола они повернули обратно? Надо спросить у этой сонной тетери. Эй, дяденька, вставай-ка к ранней молитве! — крикнул он вознице. — Извините, что я потревожил ваш сон. Не можете ли вы мне сказать, куда, к примеру, ведет та дорога, на которую только что свернул ваш Шимен-Довид?

— А?.. Тот шлях? — спросил возница, повернув к Гоцмаху заспанное лицо. — Вон тем шляхом едут, когда хотят попасть в Новоселицу.

— В Новоселицу?

— А?.. в Новоселицу.

— Причем здесь Новоселица? Разве мы едем в Новоселицу? Мы ведь едем в Унгени.

— А?.. Мы едем в Фачешти.

— Знаю, — говорит Гоцмах, — что в Фачешти. Фачешти — это станция, откуда идет поезд в Унгени. Унгени — на румынской границе, а Новоселицы совсем на другой границе.

Возница словно опять проснулся.

— А?.. Вы говорите — другая граница? Да, правильно, другая граница.

— Что же вы говорите, Новоселица? — спросил Гоцмах уже со злостью.

— А?.. Этот шлях, говорю я, ведет в Новоселицу. Тем шляхом, говорю я, едут, когда хотят ехать, говорю я, в Новоселицу.

— В Новоселицу? Как сюда попала Новоселица? Разве мы едем в Новоселицу? Мы ведь едем в Унгени! — кричит Гоцмах изо всех сил.

— А?.. Мы едем в Фачешти... едем мы.

— А чтоб тебя камнем убило! Я ему Унгени, а он мне Фачешти. Изволь-ка тут столковаться с извозчиком!

Гоцмах сплюнул и тихо сказал своему другу:

— Вот дубина!

Но Лейбл не слушал. В голове его роилась куча неразрешимых вопросов, из которых самый главный, основной вопрос: что с Рейзл?

— Знаешь, что я тебе скажу, мой дорогой птенчик? — заговорил Гоцмах, — боюсь, что мой Щупак с этим мошенником Шолом-Меером забыли кое-что в гостинице и вернулись в Голенешти. Но тогда спрашивается (Гоцмах сдвинул шляпу на затылок и заговорил опять как бы сам с собой): зачем Шимен-Довид наказал остальным извозчикам, чтобы его не ждали? Тут какая-то заковыка (он погладил рукой подбородок, точно у него была борода). Поэтому мы

должны толковать непонятную загадку в том смысле, что этот человек, — он указал рукой на кучера, — прав, то есть, что они действительно поехали ко всем чертям куда-то по той дороге, что ведет на Новоселицу. Но в таком случае возникает вопрос (эти слова Гоцмах произнес с талмудическим напевом и глубокомысленно повертел в воздухе толстым пальцем): зачем они отослали всю труппу, с декорациями к румынской границе, а сами не иначе как с ума спятили (чего я им от души желаю) и пустились невесть куда? — Гоцмах с минуту помолчал, продолжая глубокомысленно вертеть в воздухе толстым пальцем. Затем сам себе ответил тем же талмудическим напевом: — Загадка остается загадкой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Голенешти не дремлет

Среди всех голенештинских жителей, которых так взволновало и ошеломило загадочное исчезновение сына Рафаловича и дочери кантора, только один человек сохранил полное самообладание, — не плакал, не охал, не стонал, но сейчас же принялся за дело.

Это был сам Беня Рафалович.

Когда Беня в этом хаосе стонов, криков и причитаний уловил, наконец, суть дела, он прежде всего кратко приказал:

— Чтобы было тихо!

И стало тихо. Затем он велел запрягать лошадей и привезти «кокарду», на его иносказательном языке это означало: привезти пристава, с которым Беня был на «ты».

— Бери сколько хочешь, — сказал Беня приставу, — последнюю рубашку с меня сними, только разыщи мне сына!..

Трудно даже представить себе, чтобы человек мог в один день так измениться, как изменился Беня

Рафалович. Его всегда багровые щеки посинели, похудели и обвисли. Глаза блуждали по сторонам, как бы разыскивая кого-то. Даже живот его, толстый и круглый, как барабан, сразу опустился. Совсем не тот Беня, каким его знали до этого дня. Он уже не покрикивал на окружающих, не метал громы и молнии, не ломал стульев. Тихо, неслышным шагом, ходил он взад и вперед по комнате, мрачный как туча. Он нигде не показывался, даже во двор не выходил: не мил ему стал свет божий. А тут еще Бейлка, жена, серьезно заболела: «У нее порок сердца, — сказал врач, — надо ее успокоить». Легко сказать — успокоить! Чем может Беня ее успокоить, когда с него самого сняли голову, отняли самое прекрасное, самое дорогое и любимое?

— Возьми сколько хочешь, — повторил он «кокарде», — последнюю рубашку с меня сними, но только верни мне мое дитя!..

«Кокарда» удивленно смотрит на Беню. Никогда еще пристав не видал его таким возбужденным. Ему искренне жаль Беню, он кладет ему руку на плечо и пытается успокоить.

— Все будет хорошо. Прикажи, Беня, *Кидеш,* — вели дать что-нибудь выпить.

Начальство с большой энергией принялось за следствие. Выискивало, выслеживало, выпытывало, добираясь до корня, до первоисточника. Начальство было того мнения, что виноват во всей истории «шельма» кантор: он-то наверняка знает, куда девалась парочка, и только прикидывается дурачком. Пусть посидит несколько часов в «каменном мешке», познакомится немного с мышами, клопами и прочими животными, тогда перестанет валять дурака и прикидываться, будто ничего не знает... Еще немного, и кантор Исроел оказался бы, без сомнения, в «холодной», если бы не канторша Лея с ее мужской сметкой.

Как только первая волна тревоги прокатилась над головой канторши Леи, у нее точно пелена спала с глаз, и она сразу догадалась, что вся история так или иначе связана с еврейским театром, — своим

умом дошла до этого. У нее тысячи тысяч на то доказательств. Кому еще знать, как не матери? Сердце матери — вещун. Сердце матери — горе горькое ей, злосчастной — наперед чувствует беду. Уже в первую минуту, когда те два скомороха (Щупак и Шолом-Меер) переступили порог ее дома, она почуяла, — гром ее порази! — что они пришли за ее кровинушкой. Боже, боже!.. Где были ее глаза? Затмение на нее нашло, что ли? Или это от дурного глаза? Наказание за ее великие грехи?.. Теперь ей все ясно. Ясно, как божий день. В ее несчастье повинно много, много людей. Во-первых, эта ханжа Неха, хозяйка заезжего дома с ее двумя распутными сестрицами, которые норовят заигрывать с первыми встречными: со всеми только хи-хи-хи да ха-ха-ха!.. Они-то наверняка все знают: ведь актеры были у них постояльцами, с этими шалопаями у них всегда были шуры-муры. Ну, а Ехиел-музыкант? Зачем этот шарлатан пьянствовал с ними целую ночь у Генеха в погребе? А сам Генех тоже ханжа изрядный: волк в овечьей шкуре. Разве у него года три тому назад не сбежала старшая дочка со становым писарем? Она, Лея, готова поклясться всем святым, что все эти люди причастны к ее горю. Почему бы не приняться за них, вместо того чтобы ни за что ни про что приставать к ее мужу, который ничего знать не знает и ведать не ведает? Слыханное ли дело?

Этими словами канторша не только избавила себя и мужа от новой беды, но и открыла, можно сказать, начальству глаза, дала оружие в руки, осветила путь для поисков.

Само собой разумеется, что всех названных ею людей сейчас же задержали, как миленьких, и учинили допрос с пристрастием. Они, конечно, не на шутку струсили и боялись, как бы на них не взвели напраслины. Но, слава тебе господи, отделались только испугом. Начальство требовало от них лишь одного: пусть расскажут все, что знают об актерах еврейского театра и о сбежавшей парочке. К счастью, каждый из них мог рассказать многое.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Свидетели

Первым появился на сцене виноторговец Генех, человек уже пожилой, седой как лунь, но с румяными, пухлыми, как у юноши, щечками и с солидным бессарабским брюшком. Генех звезд с неба не хватает, но у него есть одно достоинство: он человек правдивый, никогда не говорит того, чего не знает, никогда не сочиняет небылиц. И он начал рассказывать чистую правду, как перед богом. Дело было так:

«В субботу вечером, — как уже привык Генех испокон веку, с тех пор как торгует вином, — он взял свечу и спустился в погреб поглядеть на свои запасы, проверить, какое вино должно еще бродить и какое надо пропустить через фильтр. Какому вину надо придать сладости и какому, наоборот, побольше крепости, потому что оно слишком уж сладко. Ну, а кроме того, есть такое вино, которое необходимо разлить в бутылки и заткнуть пробкой, чтобы оно не плесневело. А есть и такое вино, которому надо дать выстояться, чтобы оно получило настоящий вкус, сладость и крепость. Ведь в чем, в сущности, заключается особенность вина?..»

Тут Генеха пришлось прервать и растолковать ему, что от него хотят узнать не об особенностях вина, а совсем о другом. Поговаривают, что у него всю ночь пьянствовали актеры еврейского театра.

Услыхав слово «пьянствовали», Генех даже расхохотался. «Ха-ха, пьянствовали». Это у вас называется пьянствовать! Вот так пьянство! Евреи пьянствуют! Дело было так: он стоял у себя в подвале за работой, за вином то есть, как вдруг приходят и говорят ему, что еврейские актеры пришли пить вино. Ну, он, конечно, сейчас же бросил работу. Думал, то-то будет попойка, вино польется рекой! А в конце концов оказалось, что всего-то выпили две с половиной четверти красного и одну четверть белого вина. Одни только разговоры о вине, а Генех уж по опыту

знает: тот, кто говорит о вине, тот не пьет вина, а кто пьет вино, тот не говорит о вине...

— Это все правда, — снова пришлось остановить Генеха, — но пусть он лучше расскажет, что ему известно о сбежавшей парочке.

Оказалось, что как раз о сбежавшей парочке Генех знает не больше, чем они, то есть дело было так: «Он встал рано утром и прежде чем опуститься в погреб посмотреть, что с вином...»

— Хватит вина! — сказало начальство и, оставив Генеха в покое, взялось за Ехиела-музыканта.

Ехиел-музыкант — человек с пышной шевелюрой, с серебряным кольцом на пальце, в пелерине и высокой шляпе. Но здоровьем он похвалиться не может: то есть с виду он совсем как будто неплох, но всегда ходит с завязанной шеей и говорит необычайно хриплым голосом. Ехиел уверяет, что это у него от скрипки. Но товарищи считают, что скрипка тут ни при чем. Вся беда в том, что он большой любитель «запретного плода»: у него «романы» со всеми молодыми бабенками местечка. Говорят, что он повеса каких мало. Правда, жена его Хана-Перл хорошо знает своего муженька со всеми его ухватками и повадками. Но Хана-Перл не любит скандалов. Конечно, до поры до времени. Человек не камень, и всякому терпению есть предел. Поэтому случается (и притом довольно часто), что она разделывается с мужем по-свойски, конечно, с глазу на глаз. Хана-Перл не любит скандалов.

Теперь понятно, почему Ехиел так испугался, когда его взяли в переплет, требуя, чтобы он рассказал всю правду и сообщил все, что он знает о еврейском театре. Ехиел откашлялся, расправил рукой шевелюру и начал говорить.

Ехиел, когда он в ударе, мастер говорить, черт бы его не взял! Но на этот раз он был не в ударе. Может быть, оттого, что Хана-Перл стояла рядом? Язык у него заплетался: «Репетиции, оркестровки и партитуры, партитуры и оркестровки, а кроме этого он ни с кем ничего общего не имел — только и знал, что ноты, репетиции, оркестровки, репетиции, ноты... А что его товарищи-музыканты сочиняют про него небы-

лицы, будто он был в близких отношениях с примадонной, то за это им в лицо плюнуть надо, все это ложь и клевета, безбожная выдумка, ни слова правды, дикие небылицы...»

— Хорошо, — прервали его, — очень хорошо! О его отношениях с примадонной речь будет впереди. Время терпит. Может быть, он будет столь любезен и расскажет, что он знает о той парочке, которая, как полагают, этой ночью сбежала вместе с актерами еврейского театра?

На это Ехиел-музыкант ответил, что понятия об этом не имеет и клялся такими клятвами, что самому черту можно было бы поверить: он «знать ничего не знает и ведать не ведает». — «Ничего не знаешь?» — «Ничего». — «Ровно ничего?» — «Ровно ничего...» — «Даже ни на столечко?» — «Даже ни на столечко». — «А может, врешь?» — «Чтоб мне провалиться сквозь землю! Превратиться мне в гору! Пускай у меня выскочит...» — «Довольно, довольно, хватит!..»

Ехиел думал, что он уже отделался. Не тут-то было! Его отвели в отдельную комнату, заперли на ключ и попросили подождать, пока его вызовут опять, если он понадобится. А тем временем начальство принялось за хозяйку заезжего дома Неху и ее двух сестричек, и тут разразился невероятный скандал.

Как наши читатели помнят, Неха, по аттестации Шолом-Меера Муравчика, была «хозяйка-картинка». Трудно сказать, почему Неха была так возмущена, когда ее вызвали на допрос. Потому ли, что она очень уж честная, чистая душа и не может, бедняжка, допустить, чтобы на нее — упаси боже! — пала хоть какая-нибудь тень, то ли по какой-нибудь другой причине? Кто знает? Во всяком случае, когда ее спросили, что она знает об исчезнувшей парочке, уста ее разверзлись и из них забил целый фонтан проклятий. Она подняла такой крик, что невозможно было ее утихомирить. Она метала громы и молнии на своих врагов, которые завидуют ее убогой доле, и проклинала всех, кто желает ей зла: «Чтоб у них рот набок свернуло! Чтобы у них язык отсох! Чтобы у них глаза выкатились! Руки и ноги чтобы у них отвалились! Чтоб им

на костылях ковылять! Чтобы им потерять отца и мать! Чтобы им не удостоиться законного погребения! Чтобы им ходить по домам и попрошайничать из рода в род с детьми, внуками и правнуками до последнего поколения, отец небесный, боже милостивый и праведный».

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Как масло в воде

Не помогли Нехе ни брань, ни проклятия. Сурово и вразумительно ей дали понять: если она скажет все, что знает, — ей же будет лучше. А не скажет, ее отправят туда, куда отправили Ехиела-музыканта... Неха не на шутку испугалась и рассказала длинную-предлинную историю. Говорила она, насколько могла, по-русски, то и дело вставляя еврейские слова.

Она сама, Неха то есть, не более как вдова и содержит заезжий двор! Ха-ха-ха, с позволения сказать, смех это, а не заезжий двор. Сарай, хлев, ни то ни се! Она бы давно уже закрыла этот заезжий двор, но что же делать, когда ее муж, мир праху его, оставил ей в наследство бомбу?

Начальство всполошилось.

— Какую бомбу?

— Ну, эту лачугу. Дом не дом, а жалкая развалина, которую никто не хочет купить, разве даром отдай. Кто ни приходит смотреть дом, все в один голос твердят: дом-то сам по себе ничего, но плохо, что он стоит не на базарной площади. Что же прикажете делать? Взять, стало быть, дом на плечи и перенести его на базар?

— Нет, не то! Дом оставь до следующего раза. Расскажи лучше, миленькая, что ты знаешь о своих постояльцах, еврейских актерах.

Неха не обиделась, что ее прервали в самом начале, и стала рассказывать об актерах.

В субботу вечером, только она дочитала молитву «бог Авраама» и принялась раздувать самовар для

этих бездельников, для актеров то есть, появляется Умора, тот самый, которого зовут Шолом-Меер, и обращается к ней, к Нехе то есть: «Сколько бы вы хотели получить за ваш старый кошачий бурнус и зимнюю шаль?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Бездельник, — сказала она, — зачем вам женская шаль и кошачий бурнус летом?» — «Не вашего ума дело, — ответил он. — Раз спрашивают, стало быть нужно». Словом, что тут долго рассказывать? Пристал, как банный лист. Все дурные сны, что приснились ей этой ночью и прошлой ночью, пусть сбудутся на врагах ее! Что с ним сделаешь? Пришлось пойти и вынести ему старый кошачий бурнус и зимнюю шаль. «Сколько вы хотите за эти лохмотья?» — спрашивает он. «Что ж, раз это лохмотья, зачем же вы их покупаете?» — «Не вашего ума дело», — отвечает он. А она взяла да заломила такую цену, что он взбеленился: «Вы с ума сошли или мозги у вас помутились?» А она ему: «Чтоб они лучше у вас помутились, боже праведный!» Слово за слово, — начали торговаться и спорить. Он ей: «Старые лохмотья». Она ему: «Не покупайте!» Он ей: «Картинка». Она ему: «Умора». Пререкались до тех пор, пока не сошлись в цене и он не выложил деньги на стол. Получила она деньги и подумала: «Господи милостивый! Зачем понадобились этому человеку старый женский бурнус и зимняя шаль? Да еще так неожиданно, ни с того ни с сего, к тому же перед самым отъездом?..» И она, конечно, начала следить, что будет дальше. Между тем пришли из театра и остальные комедианты, напились чаю и стали расплачиваться за стол и квартиру. Чтоб им столько болячек, сколько полтинников они ей не доплатили! Затем они пошли к Генеху пить вино.

Почему вдруг, ни с того ни с сего, перед самым отъездом вино? Так бы ей никогда горя не знать, как она сама не знает — почему! Да это не ее дело. Пусть пьют себе на здоровье. Не за ее деньги пьют. У нее другое на уме — голову сверлит мысль о бурнусе и шали: зачем и для чего этот бездельник вдруг купил у нее посреди лета зимнюю шаль и теплый бурнус, да

к тому еще женский? Но этого мало. Взял бы хоть он эти вещи да тут же запаковал вместе с другими, она могла бы предположить, что ему — чем черт не шутит? — вздумалось привезти кому-нибудь подарок из Голенешти... Если так, то она уже жалеет, что продешевила, болячка его задави. Но что же оказывается? Берет он шаль и бурнус и говорит ей: «Пускай повисит у вас на стене до последней минуты. Слышите?» Только уж бог весть как поздно, около полуночи, приходит он, этот бездельник, берет шаль и бурнус и куда-то уходит. «Куда?» — спросила она. «Не вашего ума дело!» — ответил он. «Провалиться бы вам сквозь землю!» — огрызнулась она и собралась было уже лечь в постель, но раздумала. Как она ляжет спать, когда бездельники еще где-то там, черт знает где, у Генеха в погребке, и должны прийти попрощаться? Как-никак постояльцы, жили у нее столько времени... и вдруг уедут не попрощавшись. Не может этого быть. Уже далеко за полночь, глядит она: подъезжает одна колымага, вторая, третья. Кто такие? Конечно, они, бездельники. Вся компания. Едут, стало быть. «Будьте здоровы!» — «Счастливого пути!» На третьей, последней, колымаге, у извозчика Шимен-Довида, примечает она, важно развалился обезьяна-директор, а совсем вплотную возле него какая-то женщина, закутанная в ее, Нехамы, старый кошачий бурнус и зимнюю шаль. Лица не видно, но глаза! Знакомые глаза! Господи милосердный! Кто бы это мог быть? Всех их, актерщиц, она знает в лицо — криворылые уродины! Одна другой безобразнее. А эта, видать, смазливенькая. Лица-то, собственно, не видно, но глаза — черные цыганские глаза — очень, очень ей знакомы. Кто бы это мог быть? Если бы бездельники остановились хоть на минуту, она бы уж проведала, кто это. Но все это не продолжалось и минуты. Вот они подъехали, вот попрощались, а вот уже их и след простыл. Целую ночь она ворочалась с боку на бок: не могла заснуть: «Боже, кто эта девушка с такими знакомыми цыганскими глазами?» Только поутру, услыхав взволновавшую всех новость, она схватилась за голову, подозвала обеих сестричек и сказала им:

«Дайте мне жевать солому и зовите меня коровой!» Одним словом, небо и земля поклялись, что ни одна тайна не должна оставаться нераскрытой и *правда должна всплыть, как масло на воде.* Она, Неха, и раньше знала, что так будет, да поможет ей господь! Почему, в самом деле, ничего такого не случилось с ее сестричками? Разве ее сестрички не ходили каждый вечер в театр? Почему ее сестрички не строили глазок этим бездельникам, как дочка кантора?..

— Замолчи, негодяйка! — раздался вдруг дикий вопль, и канторша Лея как разъяренный зверь бросилась на владелицу заезжего дома. Несчастная мать готова была стереть в порошок эту женщину за ее последние слова. К счастью, их вовремя разняли, не то непременно произошла бы катастрофа.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Погоня за беглецами

После всех допросов и расследований было твердо установлено и запротоколировано только одно: «Сын Бени Рафаловича Лейбл, четырнадцати лет, и дочь кантора Рейзл Спивак, пятнадцати лет, в ночь с субботы на воскресенье убежали с компанией еврейских актеров к румынской границе, причем вышеупомянутый сын Рафаловича, Лейбл, похитил у своего вышеупомянутого отца, Бени Рафаловича, из кассы такую-то сумму...»

А из этого следовало, что надо по горячим следам пуститься за ними вдогонку — авось удастся их настигнуть.

Было решено снарядить погоню и как можно скорее. Так и сделали.

Экспедиция состояла из двух человек: кассира Рафаловича «Сосн-Весимхе» и одного из сыновей Бени — Аншла.

Аншл — молодой человек, лет двадцати двух, холеный, упитанный, белолицый, с красными, как вишня,

губами, с красивой подстриженной бородкой и с черными лоснящимися кудрявыми волосами.

Нельзя сказать, чтобы Аншл был туп по природе, но он упорно не желал учиться, хоть жги его, хоть режь на части.

— Мужлан! Что из тебя выйдет? — журил его отец. — Собак ловить будешь или медведей по улицам водить? Сумеешь ли хоть прочитать «кадеш» * по отце-матери? А ну-ка, поезжай за мной следом. Ну, пошел: «Да возвеличится и освятится» *

Но тут маленькая Бейлка не выдержала и вынуждена была вмешаться:

— Свихнулся, что ли? Белены объелся? Что за поминальная молитва ни с того ни с сего? Мы, кажется, еще живы!

— Глупа ты! — ответил ей Беня. — Дай нам, боже, умереть не раньше, чем этот баран выучит наизусть «кадеш».

Кончилось тем, что Аншла забрали из хедера.

— Учиться не хочешь, — сказал отец, — «кадеш» прочесть не умеешь, умей хоть свиней пасти.

Это означало, что он намерен приучить сына к хозяйству. Аншл показал в этой области большие способности: он хорошо ездил верхом, научился говорить по-молдавски, как истый молдаванин, понимал толк в папешуях и с первого взгляда мог определить, сколько деловой древесины и сколько топлива может выйти из того или иного дерева. Одним словом, Аншл обнаружил все признаки заправского хозяина-купца.

Совсем недавно Беня сосватал Аншла, обещав ему много приданого, нашел для него невесту из города Бельцы, хоть и некрасивую, очень некрасивую, с лицом землистого цвета, но зато из очень родовитой семьи. Когда Аншл увидел невесту, у него потемнело в глазах. Но возразить отцу он не посмел. Бене очень хотелось породниться со знатью, а если Бене что-нибудь захочется, то кто решится ему перечить?

С разбитым сердцем вернулся Аншл домой из Белец. Скоро, однако, он утешился с кормилицей, жившей у них в доме, здоровой и красивой женщиной.

Правда, кормилица долго сопротивлялась, клялась, что устроит скандал на весь город. Но чего бояться сыну богача, а тем более такому парню, как Аншл? Ведь во всем местечке нет почти ни одной девушки, которая не надавала бы ему пощечин. Узнай об этом Беня, поднялась бы такая кутерьма, что и подумать страшно. Но кто станет рассказывать Бене такие вещи? Чуть возникнет скандал, его немедленно стараются уладить, чтобы все было шито-крыто, чтобы отец ни о чем не узнал.

Во всем доме есть только одно существо, которое знает обо всех скандальных похождениях Аншла, знает, но молчит, затаив боль глубоко в сердце. Это — бедная мать, маленькая, тихая, слабая Бейлка.

Маленькая Бейлка тащит на своих слабых плечах тяжелый груз всех семейных дрязг и неприятностей. Часто лицо ее горит от стыда за Аншла. Она готова живой в землю зарыться. Но что она может сделать? Она только молит бога, чтобы он поскорее послал сыну подходящую партию. Ему давно пора бы жениться, потому что в пятнадцать — шестнадцать лет у него уже запушилась бородка, а с восемнадцати лет начались неприятности одна за другой, неприятности без конца.

Таков был сын Бени Рафаловича Аншл, посланный отцом с наказом догнать, поймать и привезти домой блудного сына. В спутники ему Беня дал кассира, которого снабдил изрядной суммой денег и напутствовал словами:

— Айда! Поезжайте и привезите подсвинка!

Кассиру был дан отдельный наказ — не жалеть «черепков» (рублей) и давать, кому надо и сколько надо. А если понадобится еще, пусть напишет: будет послано еще.

Беня снабдил также посланную им в погоню экспедицию бумагами «за подписями и печатями», с помощью которых можно будет привезти обратно беглеца, если понадобится, даже в кандалах.

— Но лучше добром, — повторил Беня Аншлу несколько раз.

А когда экспедиция была уже совсем готова, то есть когда Аншл и кассир сидели уже в бричке и кони тронулись, Беня еще раз крикнул им вслед:

— Помните же: добром, только добром!..

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Экспедиция за работой

Пока Аншл Рафалович с кассиром «Сосн-Весимхе» доехали до Ясс да пока огляделись, они никого из актерской компании там уже не застали. Они узнали только, что здесь действительно шатались какие-то молодые люди, бритые, в стоптанных сапогах, по-видимому, актеры, но куда они девались — неизвестно. Из этого экспедиция сделала вывод, что надо ехать дальше, и, не теряя времени, немедленно пустилась в дальнейший путь.

Так, переезжая с места на место, экспедиция добралась до Бухареста.

Очутившись в Бухаресте, Аншл, приводя самые убедительные доводы, стал доказывать кассиру, что надо остановиться в лучшей гостинице.

— Сам посуди, — убеждал он кассира. — Потрачено столько денег, не беда, если уйдет несколько лишних рублей. Тем более что отец чуть ли не сто раз наказывал: денег не жалеть, а если не хватит, он пришлет еще.

Следует помнить, что для Аншла это был первый выезд из дому, да еще в такой большой город, как Бухарест. Давно уже душа Аншла томилась тоской по иному, широкому и привольному миру, во сне и наяву грезил он о красоте и раздолье больших городов. Но с той поры как он стал женихом этой зеленоликой девушки из родовитой семьи, он дал себе обет, что сейчас же после свадьбы, едва только немного освободится от отцовской опеки, он укатит в прекрасный Бухарест и заживет там вовсю, как бог велел...

Теперь, когда судьбе было угодно, чтобы он попал в великолепный Бухарест еще до свадьбы и очутился на воле без всякого надзора, к тому же еще при деньгах, — ему, как говорится, и карты в руки.

Правда, есть маленькая заковыка: кассир. Но, во-первых, кассир ему не указ. А во-вторых, «Сосн-Весимхе» — тоже не истукан, а как говорится, живая плоть и кровь, притом холостяк, да к тому еще подневольный: что хозяйскому сыну любо, то и ему мило...

Остановились они в одной из самых фешенебельных гостиниц Бухареста, в отеле «Дачио», на одной из красивейших улиц города — на «Страда Подемогашуй».

Эта гостиница известна, во-первых, тем, что в ней, говорят, проживал во время русско-турецкой войны знаменитый Осман-паша, а во-вторых, своим кафешантаном и варьете «Парадизо», где выступает прославленная румынская певица Маринеско-Миланеско, исполняющая популярные русские песни: «Дуют ветры буйные» и «Я хочу вам рассказать, рассказать...»

Жить в такой знаменитой гостинице с таким кафешантаном и варьете, — да разве это не рай земной? Правда, пребывание в этом раю стоит денег, и немало: где рай, там и кусается. Узнав, сколько надо уплатить за номер, «Сосн-Весимхе» схватился за голову.

— Глупый! — убеждал его Аншл. — Нельзя жить по-свински, когда едешь по такому делу.

Кассир подумал-подумал и решил: «Коли хозяйскому сыну любо, то и мне мило». Он ведь не более как подневольный человек. И начался безудержный кутеж. Загуляли напропалую. Видя, как молодые «русские» меняют один сотенный билет за другим, все в гостинице решили, что оба они, по-видимому, молодые магнаты, только что получившие крупное наследство и приехавшие сюда прожигать жизнь. По истечении первой недели им преподнесли такой счет, что с бедным кассиром «Сосн-Весимхе» чуть не случился удар. Но Аншлу снова удалось успокоить своего спутника:

— Дуралей ты несусветный! — сказал он кассиру. — Какой тут может быть разговор о деньгах?

Разве в них дело? Речь идет о человеческой жизни. Только бы нам удалось найти того, кого мы ищем...

И они ревностно принялись за поиски, наняли экипаж с почасовой оплатой и объездили все улицы, сады, музеи, картинные галереи, театры, цирки, кафешантаны, кабаре и варьете.

Аншл был убежден, что только в таких местах и можно найти артистов. «Кафешантан и театр, — рассуждал он, — словно брат и сестра». Аншл был не столь умудрен годами, сколь жизненным опытом. «Сосн-Весимхе» прямо надивиться не мог на своего юного хозяина, который — не сглазить бы! — во всем толк знает, как «взрослый». И где бы он ни появлялся, всюду чувствует себя, как дома, как у себя в Голенешти...

Больше всего полюбился Аншлу кафешантан «Парадизо». Там он охотнее всего проводил вечера.

— Пусть мое имя не будет Аншл! — сказал он кассиру, — если мы не застукаем их здесь, вот в этом самом месте... Сядем только вон там, в уголке, за тот столик. Там великолепно. Оттуда все видно.

Аншл был прав. *Там и впрямь было великолепно.* Оттуда можно было видеть все — и оркестр, и сцену, и арфисток, одетых совершенно одинаково: на них были короткие красные юбочки с золотой бахромой, высокие черные башмаки, зашнурованные доверху, и маленькие красные с золотой каймой шапочки набекрень. Аншл заказал ужин с вином, и оба принялись аппетитно закусывать. На сердце было светло, радостно, празднично. Благодать! Жизнь бьет ключом. Люди приходят и уходят. Все блестит, все ликует. Звуки чудесной песни разносятся по залу, живительной струей обдают сердца слушателей. Кажется, будто поет многоголосый женский хор, и не верится, что чудесные звуки эти издают не живые человеческие уста, а медные струны и деревянные инструменты — арфы. Аншл пристально всматривается в поющие арфы, глядит и наглядеться не может на арфисток, так искусно владеющих своим инструментом. Он видит, как их нежные тонкие пальчики переби-

рают медные струны, как они при этом качают головками и улыбаются глазками. Кому они улыбаются? Неужели ему, Аншлу?

— Гляди, как они улыбаются! Смотри же, смотри! — кричит Аншл кассиру, теребя его за рукав.

Но кассиру не до арфисток. «Сосн-Весимхе» с трудом преодолевает сон. Ему бы только добраться до кровати и всхрапнуть, а Аншл морочит ему голову арфистками.

Но вот, сверкая брильянтами, появляется на сцене знаменитая Маринеско-Миланеско. Она начинает петь: «Я хочу вам рассказать, рассказать...» И вся публика подхватывает: «Как мы с ним пошли гулять, шли гулять...» В зале становится все светлее и светлее. Веселье публики доходит до предела. Благодать! Рай земной!

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Напали на след

Так из ночи в ночь экспедиция добросовестно выполняла свои обязанности по розыску беглецов, пока однажды не наткнулась на них случайно.

Был прекрасный вечер. Оба путешественника, Аншл Рафалович и кассир «Сосн-Весимхе», сидели за столиком в кафешантане «Парадизо», пили «дульшатцу» — славную водицу с каким-то вареньем — и слушали музыку.

Аншл был и на этот раз в великолепном настроении. Кассир «Сосн-Весимхе», наоборот, был, как всегда, угрюм и подавлен. До боли жаль было денег, которые тратятся попусту, летят бог весть зачем и для чего. «Сиди в Бухаресте и ищи ветра в поле, а рублики летят совершенно зря, как перышки... Боже, боже, чем все это кончится?»

Мы уже знаем, что «Сосн-Весимхе», словно наперекор своему веселому товарищу, был человек очень меланхолического склада. Все ему представлялось в мрачных красках, все казалось печальным и безотрад-

ным. «Пиликает музыка, — думал он, — публика в восторге. Подумаешь — радость какая! Пьют, жрут и пускают на ветер рублики! Видать, деньги для них трын-трава. Чего им не хватает? Головной боли разве!»

Охваченный такими сумрачными мыслями, сидит за столиком наш меланхолический кассир и время от времени глядит заспанными осоловелыми глазами на сцену, на которой попеременно появляются то арфистки, то другая напасть всевозможных женщин, странно одетые, только наполовину одетые и почти неодетые. А в заключение, как своего рода сладкое блюдо, выступает знаменитая Маринеско-Миланеско. Сверкая глазами и брильянтами, она запевает: «Я хочу вам рассказать, рассказать...» В зале становится еще оживленнее,順шл подхватывает: «Как мы с ним пошли гулять, шли гулять...» Певица бросает со сцены взгляд на Аншла и подмигивает ему. Аншл с восторгом отвечает тем же. Вот, закончив выступление, Маринеско-Миланеско прошла мимо их столика. Аншл поднялся. Она подошла. Он усадил ее между собой и кассиром (впервые так близко). Они слышали шорох шелковых юбок и вдыхали острый запах духов, дошедших даже до вечно заложенного носа кассира. А так как нос у него к таким запахам не привык, то он не мог удержаться и начал чихать. «Расти на здоровье!» — отозвался Аншл. Бедный кассир не знал, куда ему девать свой нос, который так некстати расчихался.

— Домнулу, — обратилась Маринеско-Миланеско к Аншлу, ударяя его веером по руке и сверкая всеми брильянтами, — такой «формозо домнулу», а пьет какую-то «дульшатцу».

На нашем языке это означает: к лицу ли такому красивому молодому человеку, как ты, пить сладкую водичку?

Как устоять против соблазна? Могло ли не растаять, как снег, сердце Аншла от такого комплимента? Аншл подозвал кельнера и посмотрел на Маринеско-Миланеско, как бы спрашивая взглядом: что

будет угодно прекрасной царевне? Прекрасной царевне хочется шампанского. Аншл заказал шампанское, и его полный восхищения взор как бы спрашивал, что еще будет угодно прекрасной царевне. Прекрасной царевне угодно жареного фазана на закуску. Аншл велел подать фазана, не сводя с нее очарованных глаз: «Что ей еще угодно?» Ей угодно выпить рюмочку ликеру! И она уже сама заказывает ликер, лучший сорт ликера — «Шартрез» либо «Феферман». Аншл повторяет за ней: «Шартрез» и «Феферман». Затем ей хочется ананасов. «Ананасов нет, все вышли», — сказал кельнер. Аншл вскипел: «Что значит, нет? Говорят тебе, ананасы, значит, давай ананасы! Хоть у самого черта!..» Кассир «Сосн-Весимхе» потянул его за рукав: «Опомнись, это будет стоить черт знает сколько...» Но Аншл рассмеялся: «Дурачина, видишь ее брильянты? Сколько, по-твоему, они стоят?..»

Нет, «Сосн-Весимхе» не знает, сколько стоят ее брильянты. Он знает только одно: наличность в их кассе тает с каждым днем. Он сегодня утром уже сказал об этом Аншлу, но тот только раскричался: «Осел, чего же ты молчишь? Напиши домой, что нужны еще деньги — пришлют».

«Сосн-Весимхе» такой человек, что если ему приказано написать, то он напишет.

— Что же мне писать? — спрашивает он.

— Пиши, что мы уже напали на след. Мы работаем не покладая рук, делаем все, что возможно. Ночей не спим. Мы все время в разъездах и все ищем. Добрые люди нам помогают, но это стоит денег, уйму денег. Даром никто не хочет помогать... Поэтому вышлите поскорее деньги, непременно как можно скорее. И будьте здоровы и передайте горячий привет и так далее.

Отправив это письмо, Аншл почувствовал себя еще привольнее, чем прежде. Гора с плеч долой! Унылый кассир, наоборот, стал еще мрачнее: «Боже, чем все это кончится?» Аншл продолжал заказывать вино и, то и дело наполняя все три бокала, пил за здоровье Маринеско-Миланеско и заставлял кассира пить с

ним вместе. «Неприлично же сидеть как истукан». Аншл изо всех сил старался вывести кассира из мрачного настроения, делал все возможное, чтобы развеселить его, и в конце концов ему это удалось. Меланхоличный кассир мало-помалу оживился. Лоб его начал блестеть. Толстая, покрытая густой растительностью губа приподнялась, а на устах появилось некое подобие улыбки. Его сонные осоловелые глаза стали слипаться, и он начал облизываться, — лучший признак, что он уже под мухой.

Можно сказать, что впервые за всю свою жизнь кассир «Сосн-Весимхе» был по-настоящему весел и жизнерадостен, впервые его настроение соответствовало его веселому прозвищу. Обоих вдруг охватила какая-то буйная радость, безудержное веселье. Оба были на вершине блаженства. От избытка чувств Аншл даже обнялся с Маринеско-Миланеско, как с родной сестрой, а кассир «Сосн-Весимхе», держа выпитый бокал в руке, покатывался со смеху, хохотал до упаду, до коликов в животе. Вдруг смех его резко оборвался. Сонные, осоловелые глаза, внезапно протрезвев, устремились на дверь и застыли, словно прикованные к ней. И сам он как будто окаменел и неподвижно застыл с бокалом в руке.

Что случилось? В эту минуту у дверей появились два субъекта: один высокого роста, другой поменьше. Кассиру показалось, что вошедшие гости бросили взгляд на него и на Аншла и попятились к дверям. Но не успел кассир повернуть голову к Аншлу и крикнуть: «Он тут, честное слово!» — как оба субъекта скрылись, и след их простыл. . . . .

. . . .

Напрасно кассир, как ошалелый, бросился за ними вдогонку. Напрасно он клялся и божился на все лады — дай боже ему так же видеть всех, кто ему мил и дорог, дай господи ему так же видеть счастье и радость в жизни, как он сам собственными глазами только что видел у дверей Лейбла! Аншл не верил. Аншл уверял, что это кассиру приснилось. Виновато во всем вино, шампанское, ха-ха-ха!

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Птички меняют оперение

Нет, «Сосн-Весимхе» не ошибся: два субъекта, внезапно появившиеся в кафешантане «Парадизо» и немедленно улетучившиеся, были именно те, на поиски которых была снаряжена экспедиция. То были беглец Лейбл Рафалович и наш старый знакомый Гоцмах (так мы их будем называть до тех пор, пока они не изменят своих имен).

Оба наши героя в первое время тоже только то и делали, что ходили по Бухаресту и дивились его красоте. Оба они, что ни говори, были живые люди, а в Бухаресте есть на что поглядеть. Человеку же с артистической душой, собирающемуся стать директором театра и умеющему глядеть на вещи глазами артиста, есть, с чего пример брать, чему поучиться.

— Надо изучать сцену, мой дорогой птенчик! — сказал Гоцмах своему юному другу. — Надо познакомиться со всеми театрами, а затем взяться за работу и открыть свой театр. Это не дело, душа моя, жить на готовом, никуда не годится менять рублишки да пускать их на ветер, — надо подумать и о заработке...

Слишком простыми и прозаическими показались слова Гоцмаха нашему юному герою. Душа Лейбла также рвалась к сцене, но сцена тянула его не ради заработка, а ради чего-то более возвышенного, ради чего именно — он и сам еще не вполне ясно сознавал. Он дорожил каждым днем, каждой минутой. Ему хотелось скорее очутиться на сцене, загримироваться и играть, играть... играть!.. Но раз Гоцмах говорит, что надо изучать сцену, значит, надо. Гоцмах знает, что говорит. И оба принялись изучать сцену во всех деталях.

Начали они весьма практически: с беднейших кварталов, где они посещали самые дешевые кафе и балаганы. Затем, поднимаясь все выше и выше, они побывали в лучших театрах, варьете и кафешантанах. И всюду Гоцмах находил что-нибудь интересное и поучительное для себя.

— Ну, птенчик мой, присмотрись хорошенько, как у них обставлена сцена. А костюмы! А платья! А ботиночки, а чулочки! И все это — деньги, черт бы их батьку взял! Недаром сказано: «Золото и серебро — благородный чародей».

— «Облагораживают свиней», — поправил его Лейбл.

— Пусть будет по-твоему, — согласился Гоцмах, ощупывая свой боковой карман, — как бы ни сказал, лишь бы хорошо предполагал. Хорошо, что мы попали в такой город. Нам это пригодится. Вот увидишь, какой «хедер» я, с божьей помощью, сколочу. Бог и люди будут завидовать. Дьявол возьмет Щупака с его батькой!

Совершенно иначе воспринимал новые впечатления Лейбл. Он буквально пожирал глазами каждого увиденного им на сцене актера, ловил каждое его слово. Ему казалось, будто он и сам на сцене. Она тянула его как магнит, отрывала его от земли, подымала ввысь. Лицо его пылало, глаза сверкали, горло сжимали спазмы. Он только то и делал, что глубоко вздыхал.

— Что с тобой, миленький? — спрашивал Гоцмах, — все еще боишься, как бы тебя не узнали? Не сойти мне с этого места, если кто-нибудь скажет про тебя, что ты это ты.

Так утешал Гоцмах своего юного друга и по-своему был прав. Трудно было узнать Лейбла. Оба стали почти неузнаваемы, до того они изменились. Птички сбросили старое оперение — с ног до головы оделись в новый наряд.

Приехав в Бухарест, Гоцмах первым долгом побрился, оставив только пару небольших бакенбард, которые, как свидетельствовало зеркало, были ему к лицу. Затем зашел в самый крупный конфекционный магазин Бухареста и оделся по последней моде, прямо-таки по-царски: купил высокий цилиндр, красивую тросточку с ручкой из слоновой кости, лакированные ботинки и желтые перчатки.

— Ну? Что теперь скажешь, мой дорогой птенчик? Узнает кто-нибудь во мне Гоцмаха?

— Никто на свете! — согласился Лейбл.

Лейбл был от всей души рад перемене, происшедшей с Гоцмахом. Гоцмах, в свою очередь, восторженно глядя на своего преобразовавшегося друга, не в меньшей степени любовался Лейблом, с которого он снял голенештинский наряд, заменив его новым модным костюмом. Лейбл разгуливал теперь в коротком пиджачке, маленькой шляпе, желтых перчатках и с тросточкой в руке.

Осматривая своего юного друга спереди, сзади и со всех сторон, Гоцмах с восхищением воскликнул:

— Дай боже Щупаку так жить на свете, как можно узнать, что ты это ты! И такого бы мне счастья, какой ты красивый паренек! Да и не паренек, а настоящий парень, клянусь богом!

И оба чувствовали себя так легко и привольно, будто не по земле ступали, а витали в воздухе.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Гольцман — Рафалеско

Однажды — было уже не рано, а около полудня, а они все еще лежали в постели, нежась и потягиваясь, — Гоцмах обратился к Лейблу:

— Может быть, хватит нам, душа моя, в постели валяться? Пора встать да перекусить, выпить по стаканчику ароматного турецкого кофе со свежими сдобными булочками, пока деньги водятся, черт бы их батьку взял!

И оба встают, умываются, одевают свои новые костюмы и готовы приняться за работу — пойти слоняться по Бухаресту, любоваться чудесными редкостными товарами, выставленными в витринах. Только поглядеть, полюбоваться, но не покупать, сохрани боже. Жалко денег: «Деньги у нас не ворованные», — говорит Гоцмах. Попозже они зайдут в ресторан пообедать. Гоцмах заранее облизывается, представляя себе, какие блюда ему подадут. (Гоцмах так

изголодался, за свою жизнь, что, сколько бы он ни ел, ему все кажется, что он еще не наелся.) После обеда они прилягут отдохнуть. (Гоцмах столько работал на своем веку и так измаялся от трудов, что, сколько бы он ни отдыхал, ему все кажется, что он еще не отдохнул...) А когда стемнеет, они отправятся в театр, оттуда в какой-нибудь кафешантан — «изучать музыку, искусство и театр».

Для изучения музыки, искусства и театра самое подходящее время — ночь. К тому же таким людям, как Гоцмах и Лейбл, вообще полезно поменьше показываться на людях днем. Лейбл готов поклясться, что только вчера видел промчавшуюся по улице пролетку, в которой сидел его старший брат Аншл с кассиром «Сосн-Весимхе».

— Оставь, оставь, зверюшка бесхвостая! — высмеял его Гоцмах. — Тебе все снятся братья да кассиры. Ерунда! Если бы даже они приехали сюда, глупенький, они должны быть о восемнадцати головах, чтобы узнать тебя, а меня и подавно! Знаешь, мой дорогой паренек, чего нам еще не хватает?

— Чего?

— Других имен.

— Не понимаю.

— Очень просто! Я всю ночь только о том и думал: что же с нами будет в конце концов? Не вечно же нам здесь околачиваться без дела, не вечно сидеть сложивши руки да проедать денежки. Рано или поздно мы ведь дойдем до своей цели, сколотим свой хедер, заедем в какой-нибудь еврейский городишко и начнем давать спектакли. Так вот, подумай теперь же, какими бы именами нам назваться, чтобы никто, будь он семи пядей во лбу, не узнал, кто мы. Что касается меня, то я могу называться настоящим именем «Гольцман». «Бернард Гольцман». Черта с два кто-нибудь узнает, кто таков этот Бернард Гольцман! Ведь до сих пор все знали только одного Гоцмаха да Гоцмаха.

— Совершенно верно! — согласился Лейбл. — Гольцман и впрямь красивее, чем Гоцмах.

— Вот видишь. Но что же мне делать с тобой, душа моя? Представь себе, что мы начинаем разъезжать по свету и вдруг приезжаем в такой город, где знают твоего батьку. Подобает ли нам, чтобы ты назывался Рафаловичем? Понятно тебе или нет?

— А как же мне называться?

— Вот это именно и не дает мне спокойно спать; всю ночь напролет лежу и думаю об этом. И вот какая мысль пришла мне в голову: а почему бы тебе не выбрать румынское имя, на «еско», как все здесь в Румынии называют себя, например: Маргулис — Маргулеско, Хазанович — Хазанеско, Рафалович — Рафалеско. Понимаешь, милашечка мой? Мы приезжаем в какой-нибудь город, и я печатаю огромные афиши: *«Первый еврейско-румынский театр Бернарда Гольцмана и первый еврейско-румынский артист Рафалеско из Бухареста»*. Как тебе нравится, мой дорогой птенчик, такая мысль? Не правда ли, Гоцмах — мастер на выдумки? Что скажешь?

Само собою разумеется, Лейблу понравилась выдумка Гоцмаха, как и все, что исходило от него. А Гоцмах, довольный своей изобретательностью, схватил юного друга за руку и пустился с ним в пляс, напевая мотив из «Колдуньи»: *

Гоцмах наш слепой!
Что же тут за диво?
Скажите, дети, вслед за мной:
Гоцмах наш слепой...

С тех пор как Лейбл дружит с Гоцмахом, он всегда видит его веселым, жизнерадостным, не знающим тоски и отчаяния. Даже в самые серьезные и тяжелые минуты жизни он никогда не унывает. Но в таком приподнятом настроении, таким ликующим и счастливым, как теперь, Лейбл еще никогда его не видел. Гоцмах так и искрится весельем. Он даже почти перестал кашлять и ругаться. Редко-редко вырываются из его уст проклятия, и то лишь тогда, когда ему приходят на память Щупак или Шолом-Меер Муравчик. Тут уже он не может удержаться,

чтобы не пожелать им «холеры», «болячки» либо «погибели»...

— Помни же, мой дорогой птенчик, я уже больше не Гоцмах. Я Гольцман. А тебя как зовут?

— Рафалеско, — отвечал Лейбл.

— Вот таким я тебя люблю, котеночек мой!

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Перемена места — перемена счастья

Вечером того же дня наши герои, Лейбл Рафалович и Гоцмах, или, как они теперь себя именовали, Гольцман и Рафалеско, слонялись по улицам Бухареста, на этот раз не для изучения искусства, музыки и театра, а просто для «моциона». Они уже достаточно изучили город и побывали, как им казалось, во всех местах, где процветает «музыка, искусство и театр». Гуляя, они очутились на прекрасной улице «Страда Подемогашуй» и вдруг увидели неимоверно большой фонарь с огромными электрическими буквами «Парадизо».

— Парадизо! Парадиз, кажется, означает рай? Может быть, завернем, миленький, на минутку в этот рай? Как думаешь?

Так сказал Гольцман своему юному другу. При этом у него и в мыслях не было дожидаться ответа, потому что он заранее знал, что Лейбл с ним во всем согласится. Для Лейбла Рафалеско Гоцмах, или Гольцман, — бог, а слово его — закон. И они спустились в рай.

Мы говорим «спустились» потому, что переступить порог рая оказалось не так-то просто. Прежде чем попасть туда, надо было пройти через все семь отделений ада. Необходимо было раньше всего приобрести входные билеты, — так уже заведено во всяком раю на нашей грешной планете. Затем надо было подняться на несколько ступенек и сдать в гардероб верхнее платье и тросточки, заплатив, сколько пола-

гается, швейцару за услугу. После этого им пришлось снова спуститься на несколько ступенек вниз и вступить в широкий ярко освещенный коридор, и лишь там, по предъявлении входных билетов, перед ними раскрылись двери рая.

Когда они вошли в зал, их ослепил блеск множества ярких разноцветных электрических огней. Они увидели изысканную публику, господ и дам, сидящих за белыми мраморными столиками, закусывающих, выпивающих, весело смеющихся, как и полагается в раю.

К этой веселой кафешантанной атмосфере наши герои успели, откровенно говоря, уже немного привыкнуть. Однако не настолько, чтобы сразу занять столик, позвонить и крикнуть протяжно, нараспев: «Кель-нер!» — как поступают заправские джентльмены, завсегдатаи этих мест... Ни новая одежда, ни перемена имени не могли так быстро изменить провинциальное обличье Гоцмаха и его юного друга, их местечковые манеры и привычки. Местечко наложило свой глубокий отпечаток на них, сковывало их движения, отражалось на их лицах. Не удивительно поэтому, что они остановились у входа и несколько минут стояли неподвижно, озирая ярко освещенные стены, обитые красным бархатом ложи, белые мраморные столики и в особенности — нарядную, веселую, в высшей степени элегантную публику.

— Эх, деньги, черт бы их батьку взял! — воскликнул Гольцман и уже собрался было занять место за одним из столиков, как вдруг Лейбл схватил его за руку и, дрожа от страха, едва процедил сквозь зубы:

— Вот они!..

— Кто?

— Мой брат Аншл с нашим...

— Брось, брось, зве...

Гольцман, по-видимому, хотел произнести свое излюбленное «зверюшка бесхвостый». Но, взглянув туда, куда указывал его юный друг, он увидел в уголке за столиком, уставленным разными яствами и напитками, наших знакомцев. Это произошло как раз в ту высокоторжественную минуту, когда Аншл

(Гоцмах узнал его) братски обнимался со знаменитой певицей Маринеско-Миланеско. И еще одного человека увидел Гоцмах за столиком: какого-то толстогубого парня, который, держась за бока, покатывался со смеху.

Быстрее чем может представить себе человеческая фантазия, буквально в мгновенье ока, герои наши покинули зал, как говорится, испарились. Минуты две-три они не могли вымолвить ни слова, они почти потеряли дар речи. Вся их энергия сосредоточилась в ногах; они неслись, точно на резиновых шинах.

Только на третьей улице, когда оба друга смешались с многолюдной толпой и убедились, что всякая опасность миновала, Гольцман со свойственной ему развязностью промолвил:

— Твой браток, видно, хорош гусь! Черт бы побрал батьку твоего старшего брата!! А кто тот толстогубый парень?

— Не узнал его? — пробормотал Лейбл Рафалеско, у которого с перепуга зуб на зуб не попадал. — Это же наш кассир «Сосн-Весимхе».

Гольцман инстинктивно схватился за боковой карман и — давай бог ноги!

— Ах, чтоб его громом убило!.. А знаешь, что я тебе скажу, мой дорогой птенчик? У меня ровно никакой охоты нет встречаться с ними здесь... Думаю, — и у тебя... Давай-ка лучше оставим их тут в Бухаресте: пусть отдыхают в «раю», а сами двинем-ка дальше.

— Куда?

— Куда глаза глядят! Как сказано в писании: «Перемена места — перемена теста».

— Там сказано: «Перемена места — перемена счастья», — поправил его Рафалеско.

— Ладно. Будь по-твоему. Суть-то в том, что нам необходимо возможно скорее испариться. Мне, правда, наплевать на них всех. Да и тебе тоже, надо думать. Но у меня вообще нет никакого желания с ними встречаться. Не люблю я твоих голенештинских земляков, да простит мне господь мои грешные слова! Послушай, миленький, давай-ка прибавим

ходу. Или нет, постой! Знаешь что? Вон извозчик. Давай-ка сядем и попросим погнать лошадь так, чтоб пыль столбом. Эх, деньги, черт бы их батьку взял!

Не прошло и двух часов, как наши молодцы сидели уже в вагоне скорого поезда прямого сообщения Бухарест — Будапешт. Так как ночь была прохладная, а выехали они налегке, то Гольцман вынул свою знаменитую хламиду, которую он называл «пелериной», и закутал ею своего юного друга Лейбла Рафалеско.

— Закутывайся, птенчик мой, вот так, получше, а не то еще простудишься. Как, говоришь ты, написано там: «Перемена места...»

— Перемена счастья.

— Здорово сказано, честное слово! — воскликнул Гольцман.

Он снова ощупал боковой карман, закашлялся, и град отчаянных проклятий посыпался на голову Шупака и Шолом-Меера.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

В Галиции

Хотя наши герои, Гоцмах и Лейбл Рафалович, переменили имена и фамилии и зовут их сейчас Бернард Гольцман и Лео Рафалеско, хотя они вообще изменились до неузнаваемости, все же они не решались оставаться поблизости от Голенешти. Из Румынии они махнули в Буковину, а оттуда в Галицию, гастролируя в разных городах с труппой актеров, сколоченной Гольцманом. На афишах красовалось большими буквами: *«Знаменитая странствующая труппа Бернарда Гольцмана и К°»*, а внизу еще большими буквами значилось имя знаменитого молодого артиста: *«Лео Рафалеско из Бухареста»*.

Кто этот Рафалеско? Откуда он взялся? Это знали немногие. Но все слышали, что какая-то еврейская труппа разъезжает по Галиции с некиим Рафалеско, о котором газеты рассказывают чудеса и которого поэтому стоит повидать. Если верить газетам, Рафалеско — сущий чародей, «превращающий снег в сырники». И не только евреи, но и украинцы и поляки не могли нахвалиться юным актером, говорили и писали о нем в газетах, что растет второй Зоненталь, второй Поссарт, второй Ирвинг, Росси, называли имена и других великих артистов, с которыми сравнивали Рафалеско. А раз люди, не знающие еврейского языка, так хвалят юного артиста, то что уже говорить евреям! И все ходили смотреть на знаменитого молодого чародея, все восторгались блестящей звездой, появившейся на горизонте еврейского театра.

Чем же, собственно, юный артист покорил публику? Судя по рецензиям, появившимся в прессе, только одним: тем, *«что он всегда и везде серьезен, прост, до наивности прост, правдив, как сама правда, естествен, как сама природа»*.

«Вся еврейская бродячая труппа в целом, — писал один рецензент, — не стоит и ломаного гроша. Еврейский театр без Рафалеско, подобно всем еврейским театрам, — не более как балаган, шутовство, тьма кромешная. Он мертв, как кладбище. Но с той минуты, как на сцене появляется Рафалеско, сразу становится светло во всех его уголках. Светло, тепло и радостно. Все живет, все движется. Это уже более не сцена, не театр. Это сама жизнь».

Так писали критики, рецензенты. А публика? Что говорила публика? Еврейская публика, которая и по сей день не очень избалована ни хорошим театром, ни талантливыми пьесами, ни знаменитыми актерами, шла смотреть эту восходящую звезду, этого чародея Рафалеско, как идут смотреть на чудо. Публика осаждала театр, дралась из-за билетов и аплодировала, отбивая себе руки. И хотя публика бежала в театр не потому, что разбиралась в тонкостях искусства, а скорее потому, что весь свет дивился этому чуду, а «свет, как говорится, еще с ума не сошел». Все же

почти каждый зритель, сидя в театре, чувствовал, что видит нечто новое, какую-то необычайную силу, какую-то неведомую скрытую мощь. Выходит человек, произносит как будто самые обыденные слова и притом так просто, так естественно, без фокусов. Но он затрагивает все струны вашего сердца, будит в вас скрытые мысли, уснувшие чувства, и легкий морозец пробегает у вас по коже, и вы чувствуете вместе с ним, переживаете вместе с ним, не в силах глаз от него оторвать. А когда он покидает подмостки, у вас невольно вырывается громкий возглас: «Браво!»

Не удивительно поэтому, что публика жаждала узнать, кто он, этот чародей, этот молодой артист. Откуда он родом? Где учился? Откуда у него эта сила? Как он выглядит в жизни? Как его настоящее имя? Да мало ли что еще хотелось бы знать публике! Но сколько ни ломали себе головы любопытные поклонники, сколько ни допытывались, ни расспрашивали, они не могли узнать ничего больше, кроме того, что знаменитого артиста зовут Лео Рафалеско, что родом он из Бухареста и что он совсем еще молод, лет восемнадцати — девятнадцати.

Наиболее шумный успех молодой артист, восходящая звезда Лео Рафалеско, имел в столице Галиции — во Львове.

Во Львове издавна существует еврейский театр. Хозяин этого театра, — антрепренер то есть, — небезызвестная личность, с которой нам еще придется познакомиться. Зовут его странным именем: «Гецл бен-Гецл»[1].

Гецл бен-Гецл, директор львовского еврейского театра, ничем не отличается от прочих директоров еврейских театров, которые кормят публику душераздирающими мелодрамами и трагедиями с громкими, кричащими названиями, как, например: *«Шминдер Беглец на Аутодафе», «Кровавая инквизиция во времена Собесского», «Изабелла с тонкой талией»*, а также другими подобными им перлами, которые сочиняются в сумерках такими разбойниками пера,

---

[1] Бен — сын.

как Щупак с его флигель-адъютантом Шолом-Меером Муравчиком.

Гецл бен-Гецл не любит нового репертуара и современных пьес. Только в последнее время он начал кое-когда ставить «литературные» пьесы, вроде «Хинке-Пинке», «Шлойма Горгл», «Скачи в постель» или «Велвеле ест компот». Но не всегда можно ставить «литературные» пьесы. Нельзя слишком баловать публику. Ведь ей что ни подай, она все равно будет пальчики облизывать, кричать во всю глотку «браво» и неистовствовать.

После первого же знакомства с Гецл бен-Гецлом Гольцман заметил, что этот чурбан Иокл бен-Флекл, [1] — так он окрестил его, — даже в подметки не годится Щупаку. Отроду не встречал он еще такой дубины. Легче перенести город Львов на другое место, чем добиться чего-нибудь от этого верблюда.

Но Гольцман и сам отличался упрямством. Для него это уже было не столько делом расчета, сколько вопросом самолюбия, амбиции. Поэтому-то он и позволил этому бревну, этому эксплуататору так прижать себя, пошел на такие условия, на какие он при других обстоятельствах не согласился бы ни в коем случае, разве только если бы рехнулся.

Когда контракт на первые три спектакля был уже подписан и оба директора пошли в «реставрацию» [2] закусить и выпить, Гольцман совершенно серьезным тоном спросил своего компаньона:

— Скажите, пожалуйста, мой дорогой Иокл бен-Флекл, не случалось ли когда-нибудь, чтобы к вам во Львов ненароком забрела холера?

— До сих пор бог миловал. А что?

— Жаль. Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас...

Это замечание Гольцмана не испортило отношений между директорами. Придя в еврейскую «реставрацию», они выпили по рюмочке хорошего вина, закусили гусиной печенкой и еще кой-чем, закурили

---

[1] Флекл — по-еврейски: палка.

[2] Вместо «ресторация» — закусочная.

дешевые сигары «Трафик», и между ними завязалась самая дружеская беседа. Но когда пришло время расплачиваться за завтрак, Гецл бен-Гецл, как бы вдруг спохватившись, что у него нет при себе ни единого геллера, пытался потихоньку улизнуть из ресторана. Однако Гольцман удержал его:

— Пане директор! Зачем вам утруждать себя? Директору, имеющему театр в таком городе, как Львов, не подобает уходить через черный ход.

Но Гольцман допекал директора не только словами. Он хорошо знал, что после первых же гастролей Рафалеско Гецл бен-Гецлу будет нанесен такой удар, что он запомнит его на всю жизнь, и Гольцман не ошибся.

Во Львове, как и всюду, Рафалеско с первого же выступления безраздельно завладел публикой. Львовские театралы, которые по своим вкусам не так уж далеко ушли от голенештинской публики, не могли отдать себе отчета, чем, собственно, так пленил их Рафалеско. Кажется, такой простой, такой безыскусственный, такой обыкновенный актер, спокойный, тихий, задушевный, — не поет, не пляшет, действует только силой слова, — и все же такой необыкновенный! Каждый шаг, каждое движение, каждое слово его — просты и естественны. И говорит он как будто не так, как принято говорить на сцене, совсем не как актер, а как обыкновенный человек, как мы с вами. И все-таки — странное дело! — хочется смотреть и слушать только его одного, потому что остальные рядом с ним — куклы, манекены, движущиеся чурбаны.

— Кто он и откуда взялся? — спрашивали и допытывались в публике.

— Бог его ведает! Какой-то Рафалеско из Бухареста.

Это было в первый вечер. Ко второму спектаклю театр был битком набит, а на третий уже нельзя было достать билетов. В зале буквально яблоку негде было упасть. Гецл бен-Гецл преследовал Гольцмана по пятам и с трудом упросил его остаться со своей труппой еще хоть на три гастроли.

Оба директора, несомненно, от всей души желали как можно скорее избавиться один от другого. Но оба, как истые дипломаты, хранили про себя свои тайные замыслы, старались перехитрить, обмануть и околпачить друг друга.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Генриетта Швалб

Гецл бен-Гецл наблюдал, как глупая публика, словно стадо овец, валит и валит в его театр, платя кровные денежки за то, чтобы хоть раз увидеть и услышать этого «пустозвона». Надо иметь железные нервы, чтобы спокойно все это переносить! И хотя три четверти всей выручки шли по договору в его карман, каждый лишний гульден, вырученный кассой, причинял ему боль, стоил ему здоровья. С мрачным видом злодея сидел он в кассе, глядя, как толпа беснуется и с боя берет билеты. Спросите их, что они там нашли хорошего!.. Когда были распроданы билеты на все места, включая и запасные стулья, и театр был битком набит, хоть задохнись, Гецл бен-Гецл также решил полюбопытствовать, «чем глупые люди тешатся».

Он смотрел в зал из-за кулис и снова видел перед собой «глупых людей», которые млели от восторга, облизывали пальчики и неистово аплодировали. Голова у него закружилась — не от игры Рафалеско (на него он и не смотрел), а от переполненного зала. Дух захватило... С тех пор как он стал директором театра, он не запомнит такого сбора... Если его театр и вправду обязан таким успехом этому молодому человеку из Бухареста, то надо постараться переманить его к себе во что бы то ни стало... Но как к нему подступиться? Предложить ему сразу бешеную цену — такую, чтобы чертям стало тошно? А что если он, этот олух, возьмет да расскажет обо всем своему директору? Будет крупный скандал.

Пристанет этот Гольцман, жизни будешь не рад. Кому охота попасть к нему на язычок? Нет, у Гецл бен-Гецла другой план: он возьмет юного артиста на прицел из другого оружия, — постарается воздействовать на него через свою новую примадонну Генриетту Швалб.

Кто такая Генриетта Швалб и как она стала примадонной, об этом можно рассказать в нескольких словах.

Однажды директор Гецл бен-Гецл заметил у себя в театре бедно одетую девушку «с великолепной талией и величественной фигурой» (так выразился сам директор) и начал следить за ней: модистка не модистка, горничная не горничная, но красавица писаная.

— Если бы мне заполучить эту девушку в театр, я бы ее сделал примадонной, — сказал Гецл бен-Гецл одному из преданных ему людей. — Может быть, ты разведал, где она служит?

— Эта красотка? — ответил приближенный. — Где она служит, я не знаю, но с братом ее я знаком. Его зовут Швалб, Хаим-Ицик Швалб. Он папиросник, торгует сигарами вразнос.

— Это тот остолоп с красной мордой? Вот те и на! Я ведь только на прошлой неделе угостил его оплеухами и выбросил из театра за его скверную привычку лезть за кулисы к актрисам и угощать их сигаретками, когда им надо думать совсем о другом.

— Невелика беда. Наоборот. Выходит, стало быть, что вы уже старые знакомые. Если хотите, я могу с ним поговорить.

— Что ж, поговори. Но только так, чтобы он не очень-то нос задрал. Понимаешь, что тебе говорят?

— А что тут понимать? Чурбан я, что ли?

После этого разговора Генриетта Швалб (тогда ее еще называли попросту Ентл) была приведена к директору театра на дом. Ее брат, Хаим-Ицик Швалб, после полученных им затрещин не отважился войти к директору в дом и послал наперед сестру, а сам остался дожидаться ее на улице.

Это было днем, после обеденного сна, и директор вышел к девушке босиком. Он попросил ее сесть, но

она отказалась: ничего, она может постоять. На вопрос, где она служит, она похвасталась, что у нее очень хорошая служба, «хорошая и легкая». Сколько жалованья она получает? Всего шестнадцать гульденов в месяц, кроме белья. За белье отдельно десять гульденов. Да и со стороны перепадает иной раз четыре, другой раз шесть, а то и все семь гульденов.

— Сколько же это выходит в общем?

— Сосчитайте.

Босоногий директор поднялся за карандашом и бумагой. Он спросил ее, что было бы, например, если бы ей предложили с самого начала полсотни в месяц? На это она ответила, что полсотни — вообще очень приличное жалованье, но все смотря по тому, какая будет работа.

— Никакой работы, только играть в театре. Как вас зовут?

— Кого *нас?* Меня и моего брата?

— Нет, вас, вас одну.

— Меня одну? Меня зовут Ентл, а моя фамилия Швалб.

— Ентл! Фи! Что за имя Ентл-Энтл![1] Генриетта гораздо красивее. Генриетта Швалб. У вас, говорите вы, есть брат? Где ваш брат?

— Он на улице, тут неподалеку.

— Вот как? Пошлите-ка его сюда ко мне. Скажите, что я прошу его зайти. Мы уже с ним как-нибудь поладим.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Хаим-Ицик Швалб

Гецл бен-Гецл жестоко ошибался, думая, что с братом Ентл можно быстро поладить. Оказалось, что Хаим-Ицик — человек, которого не так-то легко уломать. К тому же папиросника, как на грех, са-

[1] Энтл — по-еврейски: утка.

мого всегда тянуло к театру. Кто бы мог быть пророком и предугадать, что в этом толстобрюхом и коротконогом существе по имени Хаим-Ицик Швалб скрывается артист? Кто бы мог подумать, что в этом человеке с багрово-красным лицом таится нежная душа, которая страстно стремится к театру, к музыке, ко всему прекрасному?.. Недаром папиросник постоянно околачивался за кулисами, отдавая актерам последний десяток папирос, лишь бы ему разрешили постоять здесь и хоть издали посмотреть, как там играют. Чужая душа — потемки. Не всегда можно судить о человеке по его внешности.

Когда Хаим-Ицик Швалб узнал, чего добивается директор от его сестры, он подумал про себя: «Пришел и мой черед». Он собрался с духом и поставил твердое условие: он отдаст свою сестру в актрисы только в том случае, если его самого примут в актеры.

— Какой же вы актер с этаким лицом?

У Хаим-Ицика оборвалось сердце. Ему не раз говорили, что у него лицо бродяги, а глаза — разбойника с большой дороги. Он опустил глаза и тихо спросил:

— Какое же у меня лицо?

— Лицо... Я и сам не знаю какое.

Хаим-Ицик Швалб вздохнул.

— Разве я в таком виде выйду на сцену? Меня ведь загримируют. — Папиросник поднял глаза и умоляюще взглянул на директора. — Вы думаете, я в этом ничего не смыслю? Я даже играл уж когда-то.

— Где вы играли?

— Где я играл? С пуримшпилерами * я играл, то есть я и теперь играю в праздник «пурим» *. А ну-ка, пусть кто-нибудь сыграет Намана так, как я.

Разбойничьи глаза Хаим-Ицика загорелись. Но директор Гецл бен-Гецл прервал его:

— Может быть. Очень может быть. Ну, а с вашим пузом что будет?

Хаим-Ицик бросил взгляд на свой толстый живот и короткие ноги:

— Что же? Я перетяну живот, зашнуруюсь. Думаете, я так уж ничего не понимаю? Я видел у вас за кулисами то же, что и у наших пуримшпилеров.

Директор Гецл бен-Гецл был шокирован: его театр смеют сравнивать с пуримшпилерами! И он прервал папиросника:

— А что вы сделаете со своим произношением?

— Мне кажется, у меня произношение не хуже, чем у других.

— Вам только так кажется. Вы ведь свистите, когда разговариваете.

— Кто свистит? Я свищу?

— А кто же свистит? Я?..

— Вы просто придираетесь. — Папиросник поднялся. Лицо его побагровело. — Ну что ж, будьте здоровы и счастливы! Раз я для вас не актер, то и сестра моя для вас не актриса.

Что было делать? Директор Гецл бен-Гецл горел желанием заполучить сестру папиросника в актрисы и в конце концов вынужден был взять с нею в театр и ее брата. Хлопот с ними обоими был, как говорят, полон рот. Но если Генриетта не обнаруживала особого таланта, да и голос у нее был не бог весть какой, зато она обладала хотя бы «великолепной талией и величественной фигурой». Но что было делать с таким чурбаном, как этот папиросник? Если бы он хоть согласился быть статистом, истуканом в театре, черт с ним. Ради его сестры ему стоило бы платить каких-нибудь десять гульденов в неделю. Но, как на беду, его тянуло на передний план, на авансцену, на самые трагические роли. Чего, однако, не сделаешь ради хлеба насущного? Дела Гецл бен-Гецла за последнее время сильно пошатнулись. Публика не ходила в театр, хоть силком ее тащи. И если такая актриса, как Генриетта Швалб «с такой великолепной талией и величественной фигурой» не поправит дела, значит, нет бога на свете...

Так сказал себе Гецл бен-Гецл и выпустил афишу, возвещавшую, что «в скором времени приез-

жает знаменитая певица из Буэнос-Айреса, очаровавшая весь мир своей фигурой...»

Имя Генриетты Швалб он до поры до времени считал неудобным поместить в афишах из-за ее брата, который еще вчера разносил папиросы по городу. А город Буэнос-Айрес он назвал просто потому, что о более отдаленных городах не слыхал.

Одновременно принялись за Генриетту, силясь сделать из нее актрису и певицу: разучивали с ней роли, выучили петь несколько убогих песенок да пару двусмысленных куплетов, а главное, научили ее одеваться так, чтобы она одновременно была и одета и не одета, голая и не голая... Когда ее, наконец, выпустили на сцену, она произвела такой фурор, что с галерки выкрикивали: «Ласточка» [1], «Пташечка», «Кошечка», «Котеночек» и тому подобные ласкательные словечки. Директор Гецл бен-Гецл был в неописуемом восторге — захлебывался от счастья.

Зато ее брат Хаим-Ицик Швалб доставлял ему немало огорчений. «Это кощунство выпускать такого актера на сцену», — сказал Гецл бен-Гецл своей труппе, и все согласились с ним. Следует отметить, что они были не совсем правы: Хаим-Ицик работал в поте лица и знал свою роль назубок, слово в слово, тютелька в тютельку. Если же у него были каша во рту и речь выходила у него, как выражаются актеры «скомканной, как у теленка изо рта», так тому виною было только его произношение. Чем он виноват? Да и вообще все к нему придираются, — он, мол, не так стоит и не так ходит на сцене, как полагается. Чем он виноват, скажите на милость, что у него от природы такая походка? Зато он чувствует себя неотразимым в самых сильных трагических ролях. Когда он играет злодея, тирана или просто бандита, на него прямо-таки глядеть страшно! Его разбойничьи глаза наливаются

[1] Ласточка — по-еврейски швалб.

кровью, как у настоящего разбойника с большой дороги, а багровое лицо, лицо выродка, становится устрашающим. Недаром он пользовался таким успехом в роли Намана, когда играл еще — не теперь будь упомянуто! — с пуримшпилерами.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Поклонники примадонны

Во всем надо иметь счастье. Хаим-Ицик Швалб был, в сущности, не такой уж плохой трагик. Бывают на свете актеры куда хуже его. Есть комики, думающие, что они хорошие трагики, и есть трагики, считающие себя великолепными комиками. И ничего — все сходит с рук.

«Без удачи человеку лучше вовсе не родиться». Так говорит сам Хаим-Ицик. Он знает, что все товарищи-актеры ему кровные враги. Они готовы утопить его в ложке воды. Они высмеивают его, ругают «остолопом», «дубиной», «хламидником», «бревном» и тому подобными «ласковыми» прозвищами. Никто не любит его. Но больше всех его ненавидит директор львовского еврейского театра.

Однажды Гецл бен-Гецл проговорился в присутствии Хаим-Ицика:

— Странное дело. Кажется, родные брат и сестра, одна мать родила. А все-таки Генриетту я люблю всей душой, а этого бандита терпеть не могу...

Хаим-Ицику только этого и надо было. Он и сам знал, что директору, как и всем актерам, его сестра гораздо больше по душе, чем он сам. Поэтому-то он и глядел в оба за Генриеттой, следил, чтобы она вела себя прилично, как подобает порядочной девушке. Это означало, что перед публикой она может выступать хоть совершенно нагая. На сцене она может плясать, прыгать, ломаться, выкидывать любые коленца, но вне сцены — боже

сохрани! На то у нее есть брат, преданный брат, «уж слишком преданный...» Это знали все, а кто не знал, тому он давал это почувствовать так, чтобы и другим неповадно было. «Ну и ручища у этого костолома, чтобы она у него отсохла сегодня же!» — так говорили между собой актеры. Это не мешало, однако, им всем, начиная с последнего актеришки и кончая самим директором Гецл бен-Гецлом, увиваться за примадонной Генриеттой Швалб.

Да, Генриетта уже примадонна. Прежняя примадонна должна была с позором и с болью в душе уступить ей дорогу только потому, что Генриетта красивее ее, хотя она, прежняя примадонна, пела гораздо лучше Генриетты, и еще лучше ее играла. Но что поделаешь? Хорошенькое личико в наши времена всюду, говорят, помогает делать карьеру, даже в Париже. Таков нынче свет, и его не переделаешь.

Как бы то ни было, наша Ентл, или Генриетта Швалб, стала примадонной еврейского театра во Львове. Совсем не узнать теперь прежней Ентл. Нет, вы полюбуйтесь только на нее! Какая у нее шляпа! Настоящая панама со страусовыми перьями. Не подделка, упаси господи, а настоящее страусовое перо. И держит она себя, как истая принцесса. На свои бенефисы она получает уже не апельсины, как бывало раньше, а подарки стоимостью в двадцать — двадцать пять гульденов, а то и все тридцать. Генриетта, говорят, уже держит горничную, которая носит за ней в театр ее гардероб.

Правда, когда никто не видит, Генриетта вместе со своей служанкой стирает и гладит белье.

Был и такой случай: у Генриетты пропал воротничок с манишкой, стоимостью не более полутора крон. Тут наша примадонна подняла страшный шум, набросилась на служанку, обвинила ее в воровстве. Разыгрался скандал. Обе женщины стали наперебой честить друг друга: Генриетта упрекнула служанку в том, что она слишком фамильярна с ее братцем Швалбом. Это взорвало девушку, и она стала обвинять Генриетту в еще более тяжких грехах. Дело

чуть не дошло до оплеух. Но, к счастью, подоспел брат Генриетты. Оказалось, что пропавший воротничок с манишкой — у него, у Швалба, он их обнаружил среди кучи нот и переписанных ролей. Как они туда попали, — сам черт не разберет!

Горничная разрыдалась. Швалб начал допытываться, чего она ни с того ни с сего нюни распустила. Та рассказала, как ее обидела Генриетта, и тут в нашем трагике пробудился прежний «бандит» Хаим-Ицик. Он дал волю...

Нет! Лучше обойдем молчанием финал этой сцены. Кому интересно знать, как ведут себя артисты в домашнем быту?

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Закулисная политика

«Когда есть нужда в воре, его и с виселицы снимают».

Эту поговорку применил на практике достопочтенный директор львовского театра Гецл бен-Гецл. Он вызвал к себе «бродягу», брата примадонны, Изака Швалба (его уже больше не зовут Хаим-Ицик), заперся с ним у себя в комнате и долго беседовал по душам с глазу на глаз.

Швалб в этот день почему-то очень уж расхваливал своей сестре молодого артиста из Бухареста. Он убеждал ее держаться как можно ближе к Рафалеско, быть с ним приветливой и ласковой, хотя он совсем еще щенок.

— Понимаешь, Генриетта, надо ему вскружить голову, этому щенку, чтобы он черта с два захотел уехать отсюда! Тогда нам всем хорошо будет, а почему хорошо, — не спрашивай. Потом сама увидишь... Остальное должна сама смекнуть, если у тебя мозги шевелятся...

Наставление Швалба было, однако, совершенно ни к чему: наша примадонна еще раньше принялась

за этого юношу с невинными задумчивыми глазами и прекрасными русыми волосами. Не потому, что она была очень увлечена его игрой, но просто из чувства обиды. Генриетте, уже привыкшей к тому, чтобы все были от нее без ума, было обидно, что этот юнец не обращает на нее никакого внимания и как будто даже ее не замечает. И она употребила все средства, какие пускают в ход красавицы, чтобы пленить того, чье сердце желают получить: она кружилась вокруг него, порхала, пела и плясала. Строила ему глазки и дарила улыбки. Вечно, кстати и некстати, заливалась смехом, чтобы показать, какие у нее маленькие беленькие зубки. Как пчела вокруг меда, как бабочка вокруг свечи, как летучая мышь в теплый летний вечер, она непрестанно мелькала перед его глазами. Но все это было впустую. Все напрасно, совсем напрасно! Повторялась древняя история с Иосифом и женой Потифара *, но не в такой простой и наивной форме, как в библии, потому что Генриетте Швалб в конце концов так же далеко было до жены Потифара, как и Рафалеско до Иосифа-прекрасного.

Все, кроме самого Рафалеско, были заинтересованы в том, чтобы между ним и Генриеттой завязался роман: у каждого были на это свои виды.

У директора Гецл бен-Гецла, как мы уже знаем, было только одно на уме: он хотел при помощи примадонны переманить к себе «парня из Бухареста», потому что это было полезно для кассы...

Сама примадонна Генриетта взялась за это дело, если можно так выразиться, прежде всего из чисто спортивного интереса, чтобы показать, на что способна красивая примадонна. Как же так! Столько мужчин от нее без ума! Неужели же она не в силах покорить этакого щенка? Выходит, стало быть, что ни ее красивые глазки, ни шелковые брови, ни чудесные волосы, ни талия, ни фугура, ни шляпа со страусовым пером, ничто, ничто не производит на него ни малейшего впечатления, — вся ее краса в его глазах ровно ничего не стоит. Это же безобра-

зие, сущее светопреставление! И Генриетта принялась за дело еще настойчивее.

У ее брата Изака Швалба были свои соображения: он вообще считал, что Рафалеско для его сестры — подходящая партия. Слишком много бездельников увивается вокруг нее. Ему надоело быть ее неусыпным стражем и костоломом... Генриетте пора уже составить приличную партию, потому что такая «дуреха» с красивым личиком, как его сестра, может еще попасть черт знает в какие руки. Поэтому Швалб первым долгом стал держаться поближе к директору Гольцману, стараясь приобрести его расположение то лестью, то бесплатными обедами; словом, они зажили, как говорится, душа в душу.

Гольцман, который был столь же умен, как они все вместе взятые, а может быть, еще умнее, очень хорошо видел, что тут творится, и в душе смеялся над всей этой интригой. Гоцмах, представьте себе, был проницательнее их всех. Он и сам был не прочь переманить к себе красивую примадонну с ее братом и с еще несколькими «певчими» из театра Гецл бен-Гецла. Почему бы и нет? Почему бы ему не оставить этого тупицу «Иокл бен-Флекла» на бобах?.. К тому же, — будем откровенны до конца, — наш Гольцман сам имел некоторые виды на Генриетту: быть может, она привыкнет к нему, к Гольцману то есть, и со временем — чем черт не шутит... Не вечно же ему оставаться холостяком. Она, правда, к нему холодновата, но против этого тоже есть средство: бенефис, подарочек, снова бенефис и снова подарочек. Главное, чтобы было за что платить, а денег не жаль, черт бы их батьку взял...

Так думал про себя Гольцман и от души радовался, что красотка кокетничает с его Рафалеско. Не мог он только одного понять: почему этот глупый «паренек» избегает примадонны Генриетты Швалб?.. И что вообще с ним произошло здесь, во Львове? Отчего он так задумчив, угрюм и кажется более озабоченным, чем всегда?

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Брайнделе-козак

В первый же вечер, когда Гольцман со своей труппой появился во Львове в театре Гецл бен-Гецла, он увидел за кулисами знакомую фигуру женщины низенького роста. Так как кулисы львовского еврейского театра и по сю пору, говорят, не освещены электричеством (там едва мерцает одна-единственная коптящая и невыносимо чадящая керосиновая лампочка), то он не сразу догадался, кто бы это мог быть. С минуту ему казалось, что это и впрямь знакомая, а потом подумал, что ему, пожалуй, это только померещилось. Но женщина подошла к нему чуть ближе и засмеялась, широко открыв рот. Значит, она его узнала. Тогда он шагнул к ней, пристально вгляделся и отскочил:

— Брайнделе-козак?!

— Гоцмах?!

— Тссс!.. Никто не должен знать, что мы знакомы... Боже, что с вами сталось? Вы так раздобрели. Вы служите здесь, у этого чурбана Иокл бен-Флекла? Давно? А где наш Щупак? А мерзавец Шолом-Меер Муравчик? Холера бы их обоих задушила в один день!..

— Аминь, — ответила Брайнделе-козак усмехаясь.

Но в это время раздался звонок. А так как артисты собирались на сцену и режиссер торопил их, гнал, можно сказать, во всю прыть, — пора, мол, уже поднять занавес, не то публика разнесет театр, — Гольцману и Брайнделе пришлось расстаться до конца первого акта. Но они успели договориться, что никто — ни зверь, ни птица залетная, — никто не должен знать о том, что они были раньше знакомы.

Гольцман сейчас же пошел к своему юному другу в уборную и шепнул ему на ухо, что он только что встретился с бывшей актрисой Щупака, мадам Черняк, или, как ее называют, Брайнделе-козак. Рафалеско,

вероятно, помнит ее по Голенешти. Маленькая такая, толстенькая. При этом Гольцман несколько раз повторил Рафалеско, чтобы он при встрече с ней за кулисами сделал вид, будто видит ее впервые.

В уборной, где переодевался юный гастролер, было ничуть не светлее, чем за кулисами. К тому же Рафалеско в это время гримировался, глядя в закоптелое, надтреснутое зеркало. Не удивительно поэтому, что зоркий глаз Гольцмана не заметил, как сразу изменилось лицо его юного друга. С минуту Рафалеско не мог произнести ни слова. Дыхание сперло. Потом он с притворным равнодушием спросил Гольцмана, не переставая гримироваться перед надтреснутым зеркалом:

— Как, говоришь, ее звали?

— Брайнделе-козак.

— Брайнделе-козак? Гм... Не помню такой... Надеюсь, ты познакомишь меня с ней... Как тебе нравится мой грим?

— Грим великолепен!.. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами и с ней тоже, надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые. Понимаешь? К чему нам, чтобы кто-нибудь узнал, что и как?.. Понимаешь или нет?

Конечно, он понимает. Чего тут не понимать? Который час? Пора уже? Чей выход? Его? Раз, два, три!

— С правой ноги! — говорит Гольцман, поправляя на нем парик.

В этот вечер Рафалеско играл неважно, хуже, чем когда бы то ни было. То есть для публики он играл хорошо, великолепно, чудесно. Лучшее доказательство — громовые аплодисменты, оглушительные возгласы «браво» и бурные овации, которыми зрители наградили бухарестского гостя. Но сам Рафалеско знал лучше всех, что он сегодня играл как сапожник. Руки, ноги следовало ему перебить за такую игру и в солдаты сдать. Много слов он пропустил, много добавил. Суфлера не слушал. Очень фальшивил. Еле-еле, с большим трудом отбарабанил первый акт. Убежал со сцены, ускользнул от публики,

которая, как назло, неистовствовала, безумствовала и не переставала кричать: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!» Бросился к надтреснутому зеркалу, глаза горят. Он весь в жару. В уборной теснота невероятная, булавке негде упасть. Вся труппа Гецл бен-Гецла собралась сюда поздравить гостя, — кто искренне, а кто с чувством скрытой зависти. Ему представляют одного за другим всех актеров. А ему кажется, что он видит перед собой не людей, а зверей и птиц. Один как будто очень похож на козу, другой сильно напоминает петуха, третья, — он бы мог в этом поклясться, — выглядит точь-в-точь, как кошка: зеленые кошачьи глаза, и облизывается, как кошка...

Рафалеско тотчас узнал Брайнделе-козак. Она его тоже узнала, хоть он вырос за это время и к тому же был загримирован. Она его не раз видела в сарае с Гоцмахом, когда они играли в Голенешти. «Неужели это он? Ай-яй-яй!» Как молния, ее озарила мысль, и молнией осветила перед ней целый ряд комбинаций, только что зародившихся у нее в голове. В общей сутолоке она незаметно отозвала Гольцмана в сторону:

— Вот это твой Рафалеско из Бухареста, ха-ха? Да ведь это сынок бывшего хозяина сарая из Голенешти...

— Тс... с... с... — шепнул Гоцмах, наступая ей на ногу, — ни слова... Поговорим лучше о другом.

— О чем, например?

Она пристально заглянула в его острые, пронизывающие глаза и подумала: «Как может измениться человек! Поди угадай, что это тот самый Гоцмах, который когда-то чистил ботинки у Щупака и получал тумаки, точно собака в мясной лавке...»

— Где же в конце концов Щупак, черт его возьми? А Шолом-Меер Муравчик? А прочие свистуны?

И вопросы посыпались один за другим без передышки. Она не знает, на что раньше отвечать: не успевает она ответить на один вопрос, как тот уже забегает вперед, засыпает ее десятками новых вопросов. И все это он делает второпях, не давая ей

опомниться. У него в голове один только Щупак, все Щупак да Щупак. А ей бы хотелось скорее узнать, как попал сюда этот «паренек»... И взоры обоих устремлены в одну точку — в сторону Рафалеско...

«Слишком много народу вьется вокруг парня, — думает Гольцман. — Оставить его одного среди такой стаи волков-актеров немного опасно...»

И разговаривая с Брайнделе, он глаз не сводит с Рафалеско. Невзирая на царящий в уборной полумрак, он ясно видит, как все протискиваются к гостю, «к молодому артисту из Бухареста». Всякому хочется увидеть его поближе, пожать ему руку, услыхать от него слово. Но гость что-то не расположен разговаривать, он ищет кого-то глазами. Кого? Маленькую, толстенькую женщину, именуемую мадам Черняк, или Брайнделе-козак. Он видит ее в уголке — она стоит рядом с Гольцманом и разговаривает с ним. Рафалеско хочет подойти к ней, но сдерживается. С минуту ему кажется: вот он сбросит с себя грим и побежит к ней. «Не слыхали ли вы, не встречали ли вы девушку по имени Рейзл? Вы, вероятно, догадываетесь, кого я имею в виду; это дочь голенештинского кантора...» Нет, он скажет это не только ей одной втихомолку, он спросит громко, во весь голос, так, чтобы все слышали. Он чувствует, как слова застревают у него в горле, душат его, щекочут. А тут перед глазами мелькают лица животных и птиц, которых он не хочет видеть. Он слышит слова, комплименты, которые ему неинтересно слышать. Вдруг он замечает, что к нему пробирается сквозь толпу какой-то субъект, низенький, в золотых очках, с треугольным черепом и со странными большими зубами, которые растут один на другом. Лицо этого человека сияет. Глаза сквозь очки сверкают. Изо всех сил протискивается он сквозь толпу. Актеры и актрисы, увидя издали, перешептываются.

— Дети! Доктор «Левиафан» * идет!..

А когда он подходит ближе, они расступаются перед ним и восклицают громко:

— Остолопы, пропустите доктора Левиуса!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Доктор Левиус — Левиафан

Гольцман, никогда и нигде не спускавший глаз с «парня» — с Рафалеско, и на этот раз во все время разговора с Брайнделе-козак пристально смотрел в сторону своего юного друга. Заметив, что какой-то посторонний человек энергично протискивается прямо к Рафалеско, Гольцман быстро отошел от Брайнделе, мигом вырос между Рафалеско и гостем и оглядел пришельца своими острыми, пронизывающими глазами: «Кого вам нужно?.. Что вам здесь надо?..» — спрашивал его взгляд.

Увидев элегантного директора с бакенбардами, гость вынул визитную карточку: «Доктор Левиус».

Гольцман бросил взгляд на карточку и, осмотрев с ног до головы доктора Юлиуса Левиуса с его треугольным черепом и крупными белыми зубами, растущими один на другом, подумал: «Это еще что за человек?» Но тут один из актеров отозвал его в сторону и сообщил по секрету, что это — доктор Левиус, которого актеры прозвали «доктор Левиафан». Он известный врач, крупный ученый, знаменитый меценат и страстный любитель еврейского театра, к тому же богач, счастливый обладатель чуть ли не полумиллионного состояния.

Ни титул доктора, ни прозвище «Левиафан», ни слава ученого, мецената и любителя еврейского театра не оказали на Гольцмана такого магического действия, как упоминание о том, что доктор — богач и счастливый обладатель чуть ли не полумиллионного состояния. Едва услышав эти слова, «богач, счастливый обладатель чуть ли не полумиллионного состояния», Гольцман бросился к ученому доктору, меценату и любителю театра и так почтительно и заискивающе его приветствовал, что доктора, да и всех присутствующих, даже покоробило.

Доктор Левиус, он же «Левиафан», очень вежливо обратился к Гольцману по-немецки, показав при этом свои причудливые зубы, растущие один на другом, и

спросил, не он ли импресарио знаменитого гастролера?

Возможно, что слово «импресарио» наш импресарио Гольцман (не в обиду будь сказано!) услыхал сегодня впервые. И, по-видимому, не совсем правильно понял. Во всяком случае он в ответ стал плести какую-то чепуху. И разговаривал Гольцман с ученым доктором не по-еврейски, а на ломаном немецком языке, то есть коверкая якобы на немецкий лад обычные еврейские слова. Он рассказал доктору, что сам он русский, из «Рассеи» то есть, но «парень», Рафалеско значит, из Бухареста, то есть, собственно, не из самого Бухареста, а в полутора часах от Бухареста.

Заметив, что в немецком языке импресарио сильно прихрамывает, доктор Левиус начал говорить с ним по-еврейски. И как заговорил! На таком ядреном народном языке, что любой русский еврей позавидовал бы его речи. Но беда с этими немецкими[1] евреями: с первой же встречи начинают шпарить по-немецки и забивают всем голову.

Услыхав, что доктор «Левиафан» говорит по-еврейски, как «все люди», наш Гольцман обрадовался от всей души: стало быть, его, Гольцмана, язык уже не связан, и он может дать волю своему красноречию. И он заговорил, затараторил, разошелся вовсю. Он начал хвастаться перед доктором, что это он, Гольцман, вывел «парня» в люди. Как это было? Было это в Бухаресте... Он играл там в театре... Познакомился с бедным ремесленником... Увидел у него сына, тоже ремесленника... Мальчик ему с первого взгляда понравился, и он обратился к его отцу: «Вашего паренька я во что бы то ни стало должен сделать артистом...» Ремесленник вытаращил глаза: «Что значит «артистом»? Это еще что за ремесло такое? Ха-ха-ха!..»

И Гольцман захохотал так искренне и с таким воодушевлением, что доктор Левиус поверил всем его

[1] До конца первой мировой войны Галиция, как известно, входила в состав Австро-Венгрии, и жившие там евреи считались «немецкими» евреями.

россказням (немец так немцем и останется!). Доктор глядел ему в рот и ловил каждое его слово.

Наш Гольцман до того разошелся, что добрался уже до румынского короля Карла... Один бог ведает, как бы ему удалось развязаться с румынским королем, если бы, к счастью, в эту минуту не вбежал запыхавшийся, весь в поту, режиссер:

— Тьфу! Все мои дурные, зловещие сны пусть сбудутся на вас! Там буквально разносят театр, а им хоть бы что! Услаждаются тут разговорами, ровно в субботу после обеда...

Гольцмана, можно сказать, из беды выручили. Он свободно вздохнул. Конец! Выпутался! Угораздило же его ни с того ни с сего приплести к своему юному другу румынского короля Карла! И откуда он только свалился на его голову, этот король?..

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Кто верхом, а кто пешком

Первая гастроль странствующей труппы «Гольцман и К⁰» закончилась во Львове с таким же триумфом, как и в других городах. Не раз уже опускали, подымали и вновь опускали занавес, а возгласы «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!» все не прекращались. Актеры уже сняли приклеенные бороды, переодеваются, ищут — кто воротничок, кто второй ботинок. При этом они либо напевают песенку, либо обмениваются острыми словечками. А там, в зале, все еще гулом гудит: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!»

— Кричать бы вам от зубной боли! — восклицает один из актеров, человек с рябым лицом. Он изо всех сил старается надеть на себя пиджак и никак не может, хоть лопни с досады, — мешает разорванная подкладка рукава.

— Еще раз, что ли? — спрашивает Гольцмана раскрасневшийся, обливающийся потом режиссер, держась обеими руками за блок занавеса.

— Довольно! Хватит с них за их жалкие гроши! — говорит пренебрежительно Гольцман. Он не любит церемониться с публикой.

Но ничего не поделаешь. Бухарестский гость вынужден еще хотя бы разок появиться перед публикой. Последний раз взвивается занавес. Рафалеско показывается на сцене, раскланивается, а публика все еще неистовствует: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!»

— Конец! Больше ни за что не выйду! — говорит Рафалеско тоном капризного ребенка, сбрасывает парик, отклеивает усики и начинает снимать грим с лица, со своего молодого, вдохновенного, свежего, белого лица, обрамленного прекрасными русыми локонами, которые ниспадают кольцами на беломраморную шею. Артисты рассматривают Рафалеско вблизи жадными, любопытными глазами и завидуют всему: его необыкновенному успеху у безумствующей публики, награждающей артиста громовыми аплодисментами, его самообладанию, его молодому, прекрасному, свежему лицу, его чудесным, белокурым, вьющимся в беспорядке волосам, беломраморной шее... Они завидуют ему и не могут понять, чем, собственно, отличился этот молодой актер. И почему раздаются такие бешеные аплодисменты и крики: «Рафалеско, Рафалеско!» Раньше, до того как гастролер из Бухареста показался на сцене, они ожидали от него бог весть каких чудес. Они думали, что услышат могучий «львиный» голос, они были уверены, что стены задрожат от его мощной игры, что из уст его раздадутся какие-то необыкновенные, неслыханные доселе удивительные слова. А тут — ничего похожего! Он движется, как обыкновенный человек, сидит, ходит и держит себя на сцене спокойно, непринужденно и просто, так просто, как самый простой, самый обыкновенный человек! И это называется играть. Ха-ха-ха! Он ведь и говорит не как актер, а как простой, обыкновенный человек! Отчего же публика, — чтоб ее черти побрали! — приходит в телячий восторг? Отчего она устраивает такие бешеные овации? Бараны! Скоты! Ослы!

Всему в жизни бывает предел. Даже вызовы любимого артиста не могут длиться бесконечно. Видя,

что занавес больше не подымается, публика в конце концов начала понемногу очищать театр. Вот уж и лампы погасли. Несколько минут, — и зал опустел.

Один только человек остался дожидаться артистов. То был доктор Левиус, или, как его прозвали актеры, доктор «Левиафан». Он пригласил обе труппы сейчас же после спектакля в кафе покутить на его счет.

Но львовские артисты хорошо знают этого мецената. Они знают, что у доктора «Левиафана» не такая уж широкая натура, чтобы тратиться на еврейских актеров. Доктор Левиус щедр на слова, на комплименты, на все, что угодно, но лишь до тех пор, пока дело не доходит до кармана. Дальше — ни шагу!

Но если доктор Левиус вообще был щедр на похвалы, то нашего юного героя он просто засыпал комплиментами с головы до ног. Как истый меценат, он после каждого акта забегал к Рафалеско в уборную, потирал руки, потел и, показывая все свои так нелепо разросшиеся зубы, благодарил юного гостя и его импресарио Гольцмана почти со слезами на глазах. После третьего акта наш меценат пришел в такой восторг, что обнял и расцеловал молодого артиста. Затем отозвал Гольцмана в сторону и что-то с жаром доказывал ему, все время прикладывая руку к сердцу, как бы желая этим сказать: «Можете на меня положиться, поверьте...»

Увидя, что «немчик» прямо «млеет» от восторга, Гольцман подумал: «Хоть бы этот немец преподнес нам приличный подарок... вынул бы, скажем, и положил на стол несколько тысяч крон... Или — чего доброго! — отчего бы ему не стать компаньоном Гольцмана и не снять совместно с ним театр, — и притом театр, что надо! С примадонной и со всеми прочими удовольствиями... Или отчего бы ему не сказать: «Знаешь что, Гольцман, тебе бог послал клад — Рафалеско, а мне — деньги. Так давай составим компанию...» Почему бы и нет? Мало ли что может прийти в голову меценату, любителю еврейского театра, обладателю чуть ли не полумиллионного состояния?..»

Совсем иные мысли волновали Рафалеско. Неистовые аплодисменты публики и комплименты

доктора Левиуса не настолько вскружили ему голову, чтобы он хоть на минуту забыл о Брайнделе-козак, об этом единственном человеке, от которого он мог узнать хоть что-нибудь о дочери кантора, о Рейзл.

Рейзл! Рейзл! Где бы он ни был, что бы ни делал, всегда у него перед глазами Рейзл. А сегодня ярче, чем когда бы то ни было. И сердце его уже трепещет в предвкушении весточки от девушки... Он озирается по сторонам и ищет глазами маленькую толстушку, именуемую «Брайнделе-козак». Вот она среди толпы. Глядит на него загадочно-пронизывающим взглядом, как будто что-то знает... Одета она очень странно — на ней ротонда, красная, широкая. И вид у нее такой, словно она вот-вот пустится в пляс. А сама она как бочка, ножки кругленькие, толстенькие, коротенькие. Ручки — пухлые, глазки маленькие, японские, но с густыми бровями. А лицо белое и круглое, как тарелка, как луна. И вечно она улыбается, широко раскрывая большой рот со здоровыми белыми зубами. Поглядишь на нее — и сам невольно улыбнешься, как бы ни было тяжело на душе. Странная, смешная фигура эта Брайнделе-козак!

И все же юному Рафалеско она в эту минуту казалась довольно миловидной и даже привлекательной. Как бы ему хотелось, чтобы все актеры и актрисы обеих трупп хотя бы на короткое время провалились сквозь землю или отправились ко всем чертям, а он мог бы остаться наедине с этой смешной и милой особой и говорить с ней о Рейзл, только о Рейзл... Но, как на грех, они все стоят не двигаясь, словно бы их наняли специально для того, чтобы глядеть на него, поджидать его, его одного, покуда он приведет себя в порядок, а затем всем вместе отправиться с доктором Левиусом в кафе. А тем временем они оживленно беседуют, балагурят, смеются. Веселая семейка!

— Что ты сегодня так канителишься? — говорит Гольцман, помогая Рафалеско одеться и бережно закутывая ему шею шарфом, чтобы тот не простудился.

Наконец Гольцман и Рафалеско выходят из театра. За ними следом, с шумом, криком и смехом,

точно школьники, выбежавшие из хедера после окончания занятий, высыпает вся актерская братия.

Тихая звездная ночь. У дверей театра стоит запряженная карета — случай необычный в истории львовского еврейского театра. Актерская братия останавливается в недоумении. Чья это карета? Чьи лошади? Это доктор Левиус вызвал свой экипаж для себя, для гастролера Рафалеско и, само собой разумеется, для его импресарио Гольцмана. Все трое садятся в карету. Гольцман не может удержаться, чтобы не воскликнуть: «Эх, деньги! Черт бы вашего батьку взял!..» Доктор Левиус обращается ко всей компании:

— Итак, господа, в кафе «Монополь»?..

Актеры с завистью глядят на счастливого Рафалеско. Они с усмешкой говорят друг другу:

— Как в молитве сказано: «Кто в огне, а кто в воде», — сиречь, кто верхом, а кто пешком.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Тост — за блуждающие звезды

Актеры обеих трупп вошли в кафе «Монополь» с таким шумом и так торжественно расселись вокруг столиков, как будто собирались выпить и съесть все, что там припасено. Тотчас же, словно из-под земли, выросли два кельнера в коротких фраках, с длинными носами, и молча встали по обе стороны пришедших в выжидательной позе, как бы спрашивая: «Что прикажут господа?» Оказалось, пока что «господа» ничего «не прикажут», они ждут еще нескольких других господ. Чтобы скоротать время, актеры начали высмеивать и вышучивать ожидаемых ими людей. Больше всех досталось тут доктору «Левиафану». Один очень искусно изобразил, как доктор держит руки в карманах, глядит поверх очков и брызжет слюной во время разговора. Другой показал, как меценат аплодировал Рафалеско и руками, и ногами, и всем телом. Третий

продемонстрировал, как тот обнял «парня» и стал его целовать и как бедный «парень» опешил. И вся компания хохотала до упаду.

Актеры вообще народ веселый. Недаром называют их в народе «комедиантами». Есть ли повод, нет ли, они все равно смеются. Скажет кто-нибудь остроумное словечко, — смеются. Скажет глупость, — тем более нельзя не посмеяться.

— Наш «Левиафан», верно, читает им в фаэтоне лекцию об искусстве.

Актеры точно в воду смотрели. Доктор Левиус приказал кучеру ехать не прямо в кафе «Монополь», а сделать раньше маленький тур по городу, чтобы подышать свежим воздухом. Меценат, обладающий капиталом, не очень-то церемонился с нищими актерами, особенно с еврейскими. Доктор Левиус привык, чтобы актер держался от него на почтительном расстоянии. Такова уж сила денег. Едва только он появился в кафе, вся компания, как один человек, почтительно поднялась и уступила ему почетное место. Он занял его с чувством человека, знающего себе цену. По правую руку доктор усадил гастролера Рафалеско, а слева — его импресарио Гольцмана. Заседание тотчас же приняло торжественный характер. Настроение поднялось. Доктор Левиус позвонил, и оба кельнера, в коротких фраках и с длинными носами, снова выросли как из-под земли, подбежали прямо к доктору Левиусу и уставились на него с таким любопытством и уважением, словно ожидали от доктора чрезвычайно важных изречений, которые должны иметь невесть какое значение не только для них самих и для кафе, но и для судеб всего рода человеческого. Оба кельнера изогнулись, отставив руки назад и сдерживая дыхание настолько, насколько это возможно для живого существа. Но доктор Левиус не спешил. Прежде всего он погладил свой треугольный череп, сморщил лоб, полузакрыл глаза и долго задумчиво глядел через очки в одну точку, как человек, который разрешает мировую проблему. Наконец нужное слово было сказано. Доктор Левиус попросил кельнеров быть столь любезными и подать

каждому по кружке пива и кошерную колбасу* на закуску.

Кельнеры выпрямились и оба разом бросились выполнять заказ с такой стремительностью и с такими сияющими лицами, точно спешили поведать миру, что какой-то очень близкий им человек открыл Северный Полюс, или, по меньшей мере, что кого-то освободили из тюрьмы.

Пиво было подано. Колбаса была принята с большим почетом, и для нее было очищено место на столе. После этого доктор Левиус поднялся, как президент, и со сладкой улыбкой, разлившейся по толстым губам и большим причудливо разросшимся белым зубам, начал длинный велеречивый тост.

Говорил доктор Левиус, естественно, на высокопарном немецком языке (в официальных выступлениях он предпочитал пользоваться немецким языком). Вот в кратких чертах содержание его речи.

Доктор Левиус прежде всего дал беглый обзор истории театра вообще. Он говорил о том, как театральное искусство развивалось у всех народов в разных странах, начиная от великого Шекспира и до наших дней. При этом была, конечно, обнаружена необычайная эрудиция. Названия книг и авторов градом сыпались на головы проголодавшихся актеров, которые плутовато поглядывали в сторону пенящегося игристого пива и дружелюбно улыбались кошерной колбасе, издававшей райский аромат копченого мяса и немецкого чеснока.

Актеры уже начали понемногу прикладываться к пиву, ибо, судя по «краткому обзору», они рассчитывали, что покуда доктор «Левиафан» справится с одним Шекспиром, они успеют трижды справиться с пивом и колбасой.

Но доктор Левиус, видимо, и сам заметил, что со своим «кратким обзором», забрался в далекие дебри и искусно перескочил с Шекспира прямо к «отцу еврейской сцены» — Гольдфадену и его последователям, пока, наконец, благополучно не добрался до артистов еврейского театра во Львове, а затем до

артистов всех других театров, блуждающих из города в город и высоко несущих знамя еврейского искусства.

— Одним из значительнейших странствующих актеров, — продолжал оратор, — является наш юный гость из Бухареста, уже знаменитый маэстро, талантливый художник Рафалеско, которого мы имеем честь приветствовать здесь в тесном кругу артистов. Этот молодой артист, милостивые государи и государыни, — обратился доктор Левиус к актерам, указывая на Рафалеско, — этот юный артист сверкнул перед нашими очами совершенно неожиданно, как иногда на небе неожиданно для астрономов вдруг сверкнет яркая блуждающая звезда. Совершенно неожиданно появилась у нас эта блуждающая звезда — Рафалеско — и озарила ослепительным светом все небо нашей еврейской сцены. Но не надолго, милостивые государи и государыни, а, к сожалению, лишь на короткое время, как все великие блуждающие звезды, которые то появляются, то исчезают... Я подымаю бокал, милостивые государи и государыни, — закончил доктор свою речь, — я пью за наши еврейские блуждающие звезды! Хох!

Троекратным «хох», откликнулись артисты обеих трупп и, наградив оратора приличной дозой аплодисментов, рьяно принялись за пиво и колбасу.

— За наши блуждающие звезды! — еще раз произнес доктор Левиус, выпивая остаток пива. Затем он позвонил кельнеру и, расплатившись, попрощался со всей компанией до следующего спектакля, — до завтра.

— До свидания!

— Благословен господь, избавивший нас! — воскликнул один из актеров после ухода доктора.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — подхватил другой.

— Ничто не вечно под луной, как говорит дон Педро.

— Остолоп! Какой дон Педро? Это сказал пророк Моисей.

— Ты хотел сказать: царь Соломон.

— Пусть царь Соломон. Ребята, за работу! Ночь на исходе!

Все поднялись с мест и повалили в боковую комнату, где можно было перекинуться в картишки.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

За картами

Когда актеры забираются сюда, в маленький карточный уголок кафе «Монополь», они перестают замечать, как время уходит.

Едва усядутся за карты, сразу кто-нибудь становится козлом отпущения, и на его голову градом сыплются остроты и бранные слова.

Чаще всего таким козлом отпущения бывает Швалб, знакомый нам трагик Изак Швалб.

На этот раз Швалб горячится за картами больше обычного. Видно, кошка ему дорогу перебежала. Не везет, да и только, хоть ложись и помирай. И он и его сестра, примадонна Генриетта Швалб, то и дело меняют деньги, и щеки у обоих пылают адским пламенем...

Проигрыш сестры раздражает Изака Швалба еще больше, чем собственный, и он при всех упрекает ее, что она «сжигает» деньги. На это она отвечает, что сжигает свои собственные деньги, а не его. Тогда он, рассердившись, кричит: «Стирай белье!» А она ему: «Крути папиросы!» Он ей... Она ему... Слово за слово, перебранка становится в высшей степени занимательной. В спор вмешивается вся актерская братия. Большинство выступает на защиту примадонны, но есть и такие, что держат сторону ее брата и заступаются за него. Такое заступничество еще сильнее раздражает Швалба, и он возбужденно кричит, что не нуждается в адвокатах и никого не просит вмешиваться в его дела. Веселье разгорается, все чаще слышатся насмешки, все громче всеобщий хохот.

Мало-помалу втягиваются в карточную игру и оба директора: Гецл бен-Гецл и Бернард Гольцман.

В качестве директоров они сначала сидят и бесстрастно наблюдают, как играют другие: интересно посмотреть, кто выиграет, а кто проиграет. Спустя некоторое время и они начинают ставить на карту. Не ради выигрыша, боже сохрани. Нет, так себе, шутки ради. Просто любопытно поглядеть, чья карта выиграет. А карта слепа, и наши директора, как водится, проигрывают. Тогда, конечно, хочется отыграться, и они снова терпят неудачу. Тут уж они начинают горячиться, все больше и больше втягиваются в игру и, войдя в азарт, не видят уже ничего, кроме банкомета, денег и карт.

Карты летят. Лица пылают. Глаза горят. Деньги звенят. Крики все громче и громче. Дерутся за карту, рвут из рук. Одни смеются, другим не до смеха. Одни довольные, другие удручены. Но возбуждены все. Каждый готов истребить, уничтожить другого, проглотить живьем.

Только двое не принимают участия в карточной вакханалии. Эти двое — наш юный герой Рафалеско и Брайндл Черняк, по прозванию «Брайнделе-козак».

Не то чтобы они, сохрани боже, гнушались карт. Наоборот, про Брайнделе-козак все говорят, что она в карточной игре «троих мужчин за пояс заткнет». У нее, говорят, выиграть грош все равно, «что из стены вино выцедить». Когда Брайнделе-козак выигрывает, она, говорят, хватает деньги, как мальчишки ермолку с выигранными орехами, — и тю-тю, поминай как звали. Так рассказывает о ней актерская братия. А Брайнделе знай свое: выиграет — прячет выигрыш поглубже в карман, а не везет — перестает играть. Такой уж человек Брайнделе-козак.

Рафалеско тоже не прочь перекинуться в картишки. Можно даже сказать, что он очень любит это занятие, но играет он как-то по-особенному. Его не столько интересует выигрыш или проигрыш, сколько самая игра: процесс карточной игры представляется ему в высшей степени занимательным.

«Ха-ха! Уже шестой раз я ставлю на короля пик и — удивительное дело! — хоть бы раз выиграл».

Или: «Ха-ха! Что вы на это скажете? Я ведь опять проиграл».

На этот раз оба, Рафалеско и Брайнделе-козак, выждав момент, когда шум и крики перешли в сплошной гул и внимание всех было приковано к игре, отошли в сторону, и между ними завязалась интимная беседа.

«Если он не ошибается, он видел ее как-то в Голенешти?..» — «Нет, он не ошибается». Круглое лицо мадам Черняк багровеет, верхняя губа начинает потеть. «Она его сейчас же узнала, хоть он и вырос... стал взрослым человеком. А не присесть ли им на минутку?»

Они садятся за отдельный столик, и разговор становится еще более оживленным. То и дело слышится: «Голенешти... Театр... Труппа... Щупак...»

Он спрашивает как бы невзначай:

— Где же он теперь, этот Щупак?

— Щупак где? Эге-ге-ге! — Она махнула рукой. — Мир праху его!..

Рафалеско встрепенулся.

— Умер?

Мадам Черняк рассмеялась, выставив напоказ свои зубы.

— Ха-ха! Щупак умер! Не такой он человек, чтобы сделать такую глупость. Сам-то он здоров, как боров. Не говоря уже о том, что он беды не оберется от своих трех жен, — этот бездельник Щупак позволяет себе иметь целых трех жен, три нарыва ему в горло! — он получил недавно такой удар, что запомнит его на всю жизнь. Надо надеяться, что теперь ему крышка, что он, с божьей помощью, никогда уже не воскреснет.

Мадам Черняк придвигается ближе к Рафалеско и с воодушевлением, горячась и жестикулируя, рассказывает о Щупаке, обо всех постигших его бедствиях, об обрушившихся на него тягчайших ударах. Шутка ли? Человек до того издержался, что ему пришлось заложить и распродать все свои брильянты. А кто

знает Щупака с его брильянтами, тот поймет, что это для него значит... И на кого он потратился? На девушку, которая, как он вообразил, будет со временем его опорой и украшением. Примадонной она должна была стать у него. Примадонной, с помощью которой он надеялся сколотить себе состояние, чтоб ему все ребра переколотили! Но оказывается: есть, видно, господь в небесах. И что же судил всевышний? Надо же было, чтобы эта девушка познакомилась где-то на концерте с мировой знаменитостью — певицей *Марчеллой Эмбрих* *. Марчелла Эмбрих, услыхав ее пение, пришла в неописуемый восторг, забрала ее к себе и определила в Венскую консерваторию. Ну, как тут Щупаку не прийти в отчаяние, не сойти с ума, когда теряешь такую примадонну, такой клад?.. Ай да примадонночка!.. Уж Щупак себе из-под земли выроет!.. Совсем еще дитя... Кровь с молоком! Красива, как ясный день. А поет, так поет, что по всем жилкам разливается... Зовут ее Розой. Роза Спивак.

— Рейзл?!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

У кого румянец на щеках, а у нее голова на плечах

Услыхав возглас «Рейзл», Брайнделе Черняк, она же Брайнделе-козак, не могла больше сдержаться. Она всплеснула руками и сама себе сделала комплимент:

— Ай-яй-яй! Ну?.. У кого румянец на щеках, а у меня голова на плечах.

Да, она может похвалиться, глаз у нее наметанный. Всем глазам глаз! В первую же минуту, как только она увидела за кулисами этого «Лео Рафалеско из Бухареста», ей сейчас же пришло в голову, что это «он»... тот самый, которого она видела вместе со Спивак. И не раз видела, а несколько раз, много раз. Она стала рыться в своей памяти: «Господи

владыка небесный, где бы она могла его видеть вместе с Розой Спивак? Ну, само собою разумеется, в Голенешти, в театре. Только сегодня ей это стало ясно, ясно, как божий день! А коли так, то многие загадки решены. Во-первых, ей уже теперь понятно, почему Роза Спивак так убивалась... О, такой молодой человек, право, стоит того, чтобы по нем тосковать... Ах, если бы он знал, как Роза по нем тосковала».

— Тосковала?..

Рафалеско чувствует, что у него дыхание сперло. Мадам Черняк хлопнула его по руке. Полюбуйтесь-ка на него, какие невинные глазки строит. Бедненький! Бедненький! Такой молоденький и уже научился лукавить. Ай-яй-яй! Спрашивает, тосковала ли? — Тоска тоске рознь. Она изнемогала, угасала, как свеча! Места себе не находила... Откуда ей, Брайнделе, это известно?.. Ха-ха-ха, вот тебе и на! Они ведь с Розой жили душа в душу, как сестры, как родные сестры. Разве были у Розы хоть какие-нибудь тайны от нее?

Однажды случилось... Постойте! Где это случилось? Она не помнит точно. Где только они не побывали!.. Как цыгане, кочевали с этим Щупаком, — перекочевать бы ему на тот свет! — скитались из страны в страну, из города в город. Тут день, а там ночь. Оставаться долго на одном месте ему никак нельзя было из-за его жен, — они преследовали его по пятам. Каждый раз появляется у него новая жена, чтоб у него болячки появились на всем теле! А труппа у него была тогда — дай ему бог такое счастье! — дубина на дубине. Если бы не она, Брайндл Черняк, со своей игрой, да Роза Спивак со своим пением, ему пришлось бы побираться с сумой на плечах или зарыться живьем в землю. Только на них, можно сказать, и держался весь его жалкий театр, особенно на Розе с ее песенками. Вот это было пение! Вот это были песенки! Она, мадам Черняк, еще тогда предсказывала, что девушка со временем станет знаменитостью, уж она-то понимает толк в таких вещах... Человек бывалый! Чего, чего только она не насмот-

релась на своем веку, ой-ой-ой! Она сама не раз говаривала Розе, что здесь ей не место. Никто не посмел бы говорить с Розой так откровенно, как она, и никому бы Роза так не доверилась, как ей, потому что никто не знает, нет, никто так не знает Щупака, — чтоб ему погибнуть! — как она... Да, она знала, чем это пахнет. Одинокая... Совсем еще дитя... Кровь с молоком... Перед посторонними людьми, правда, Роза Спивак считалась родственницей Щупака, его племянницей из Варшавы. Племянница из Варшавы — ха-ха-ха! Пусть он бабушке своей рассказывает, а не ей! Она, Брайндл Черняк, сразу пронюхала, что Роза ему такая же племянничка, как она, Брайнделе — королева. Но если он хочет, чтобы была племянница, пусть будет племянница, леший с ним!.. И она начала выслеживать, разнюхивать, допытываться у флигель-адъютанта Щупака, Шолом-Меером его зовут.

О, Рафалеско его помнит, хорошо помнит, почему бы ему не помнить? Маленький, такой веселый. Умора!

— Умора?! — воскликнула Брайнделе. — Бродяга, жулик, выродок, негодяй, каких мало!.. Еще больший мерзавец, чем его хозяин. Как преданный пес, служит он Щупаку. Черт их знает, чего они так держатся друг за друга. Где их не сеют, там они растут...

Она не переставала метать громы и молнии на Щупака и его адъютанта, а Рафалеско ловил каждое ее слово. Ему хотелось бы услышать хоть что-нибудь, что имеет отношение к Рейзл, а она все тарахтит: Щупак да Щупак. Наконец сообразив, что слишком уж много говорит о Щупаке, она дала разговору новое направление.

Да, на чем, бишь, она остановилась? Ах да, на Розе Спивак. ...Приходит однажды к ней Роза и спрашивает, умеет ли она гадать на картах. Почему вдруг гадать? Уметь-то она умеет, но она знает одну гадалку, вот та гадает, так уж гадает, ей равной нет! Тут Роза бросилась к ней на шею: «Душенька, миленькая, дорогая, поведите меня к этой гадалке!.. И сейчас же, сию минуту!..» — «Что тебе так приспи-

чило, моя канареечка!..» — Так, мол, захотелось... «Капризная была девушка, эта Спивак, горячая, огонь! Ни с того ни с сего, бывало, расплачется, спрячет голову в подушку, не ест, не пьет и ни до чего ей дела нет. А то вдруг схватит вас и закружит в пляске среди бела дня. «Рехнулась, что ли? С ума сошла?» А иной раз как начнет петь, — удержу нет: все поет да поет, соловьем заливается. Капризная девушка, эта Спивак...

Да, на чем же она остановилась?.. Ну вот, идут, значит, они к гадалке. Ладно. Пришли. Умная бестия. Прожженная шельма! Смотрит Розе в глаза, раскладывает карты. Выпадает червонный туз, «любовь» значит... А сверху красный валет — «кавалер блондин»... И шестерка, каждый раз шестерка — «путь-дорога» значит. «Любовь», «кавалер блондин» и «путь-дорога». Ладно, гадалка с нее глаз не сводит и объясняет, что «кавалер блондин» о ней думает. Беспрестанно. День и ночь только о ней думает этот блондин. День и ночь. Он стремится к ней, к Розе то есть, телом и душой, всей душой, всеми своими помыслами... Он хочет, говорит она, с тобой видеться. Он изнывает от тоски, он жаждет встречи с тобой и не знает, где и как... Потому что оба вы, говорит она, в «дороге», вечно в пути. Вечно, вечно в пути... Он — туда, ты — сюда. Он — сюда, ты — туда... Вы, говорит, любите друг друга, очень любите. Он — тебя, ты — его. И вы носитесь по свету навстречу один другому, вы стремитесь, вы рветесь друг к другу, но вы странствуете, блуждаете... Блуждаете, как звезды, как светлые звездочки в небе...

И много еще наговорила Розе эта ворожея. Говорила, говорила без конца. Брайндл уж и не помнит, что именно. Помнит лишь, что как только они вышли от гадалки, Роза бросилась к ней на шею, стала ее обнимать, целовать и плакать от радости... Капризная девушка, — подумала она тогда, — очень капризная!.. А теперь ей уж мно-огое понятно, — заканчивает Брайнделе-козак нараспев, и ее круглое лицо расплывается в улыбку, в жирную самодовольную улыбку.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Ему хочется петь

Было уже далеко за полночь, когда актерская братия прекратила игру и разошлась в разные стороны, каждый восвояси, — кто в веселом настроении, кто мрачный, кто с раскаянием, кто с досадой, а кто и полный злобы и гнева и на себя, и на других, и на весь мир.

Как назло, на улице не оказалось ни одного извозчика, и нашим героям, Гольцману и Рафалеско, пришлось как простым смертным тащиться по львовским улицам от гостиницы «Монополь» до своей квартиры, — не в обиду будь им сказано, — пешком.

Была осенняя ночь, одна из тех ночей, про которые говорят: «Ни зима, ни лето, ни тепло, ни холодно». Почему же, спрашивается, у нашего юного героя было так хорошо на душе? Отчего его грудь наполняли буйная радость и безудержное веселье? Отчего улыбалось ему небо? Отчего подмигивали звезды? О чем пели улицы? Чем так благоухала ночь? И почему он, Рафалеско, летел, словно на крыльях? Почему ему так хотелось петь? Почему его так и подмывало обнять своего друга, своего милого, дорогого друга, расцеловать его именно здесь, посреди улицы? Нет, он должен обнять Гольцмана. Он его очень любит. Любит, и баста!..

Гольцман глядит на него, как на сумасшедшего.

— Что на тебя напало сегодня, мой дорогой птенчик?

Гольцман простить себе не может: он сегодня ночью проигрался в пух и прах, как заядлый картежник. Черт его дернул примазаться к банку! Дьявол попутал, пропади он пропадом! Увидел он, Гольцман, полную тарелку звонких монет, вот его и разобрало. Появилась охота играть. Деньги, черт бы их батьку взял!.. Сначала он было выиграл. Хватай же ермолку с орехами и айда домой, паршивец этакий! Так нет же, хочется еще и еще. У человека глаза завидущие. К тому же он не мог отказать директору Гецлу.

— Холера на него вместе с моим кашлем!

Плохой признак. Когда Гольцман кашляет и проклинает при этом свой кашель, значит, он чем-то недоволен. А Рафалеско, наоборот, в наилучшем настроении, он доволен всем. Счастлив. Счастлив? Нет, не то! Нет подходящего слова. Будь эта ночь благословенна! Благословен этот мир, этот мир, этот прекрасный, светлый, радостный мир!

Всю дорогу, от кафе «Монополь» до своей квартиры, он, не переставая, разговаривал, смеялся и пел.

«Что с парнем?..» Гольцман внимательно посмотрел на Рафалеско: лицо сияет, глаза сверкают. «Видно, комплименты доктора «Левиафана» не на шутку вскружили ему голову...»

Пришли к себе на квартиру, когда уже начинало светать. Едва дозвонились. Стали раздеваться, готовясь ко сну, а Рафалеско все не перестает разговаривать и смеяться, и Гольцману кажется, что его юный друг лепечет какие-то странные, совершенно бессмысленные слова...

Нет, — кричит он, — положительно ему нравится город Львов. Чудесный город! Чудесное название — Львов! А люди! Прямо золотые! И театр, — уверяет он, — тоже ему нравится. А актеры — прекраснейшие люди!

— А директор Гецл бен-Гецл? — прерывает его Гольцман.

— Что ж? Очень славный человек этот Гецл.

— Такое бы счастье ему! — восклицает Гольцман и хочет потушить свечу — пора, мол, спать, но Рафалеско не дает. Ему хочется еще немножко поговорить.

— С ума ты спятил, что ли? Ведь уже светает.

— Ну, еще немножечко, — умоляет его Рафалеско и сам над собой смеется.

— О чем тебе хочется поговорить? — спрашивает Гольцман.

Он хочет побеседовать прежде всего о докторе Левиусе.

— Что о нем разговаривать? Меценат-немчура, болтун, мелет, что твоя мельница.

Нет, он хочет узнать, что думает Гольцман о Вене. О поездке в Вену? Эх, в Вену бы!..

Что может Гольцман думать о Вене? Разве могут они бросить все дела и вдруг ни с того ни с сего поехать в Вену? Краденые у них деньги, что ли?.. Пусть доктор Левиафан примет участие в расходах, небось не разорится. У него чуть ли не полумиллионное состояние, ничего с ним не станется, если он потратится на их поездку.

Рафалеско задумался.

— Участвовать в расходах? Почему бы и нет? Конечно, он будет участвовать. Почему бы ему не потратиться? Золотой человек, этот доктор. Золото! Не доктор, а золото, брильянт!

— Все у тебя золотые люди. Все брильянтовые. Но сейчас надо спать. Спать! Спать!

Гольцман вытянул из-под одеяла свою длинную шею, погасил свечу, закрыл глаза и собрался уже погрузиться в сон, но Рафалеско не унимался.

— Вот эта маленькая, толстенькая, Брайнделе-козак, не правда ли, славная?

Гольцман приподнялся в постели, опираясь на острые локти своих худых, высохших рук, и впился пронизывающим взором в темноту, которую уже прорезывала тонкая голубая полоса зари.

До этой минуты Гольцману ни разу не пришла на память Брайнделе-козак, — он о ней и думать забыл. Теперь он вспомнил, что она все время сидела с «парнем» в сторонке. О чем они могли говорить?

«Кто их знает? — подумал он. — Много есть на свете попрыгунчиков, дошлых людей, негодяев...» Нет, он простить себе не может, что слишком увлекся картами и почти забыл наблюдать за «парнем». Больше он такой глупости не сделает...

Гольцман уже не мог заснуть. Он закашлялся и слабым, полусонным голосом стал расспрашивать Рафалеско, о чем, собственно, он все время разговаривал с Брайнделе-козак.

Спокойный тон ответа Рафалеско рассеял воцарившуюся в душе Гольцмана тревогу.

— О чем нам было разговаривать? О том о сем. Пустяки, сущие пустяки... Так себе, болтали, тараторили о чем попало...

— Все-таки?..

Рафалеско стал рассказывать. Он выдумывал одну небылицу за другой и сам над собой смеялся, сам удивлялся, что ложь льется из его уст так легко, так свободно, что все идет гладко, как по маслу. И чем больше он врал, тем правдоподобнее у него получалось.

Рафалеско чувствовал, что говорит не то, что надо, и сам себя прервал:

— Эта Брайнделе-козак, право, славная женщина. Добрая душа. Золотое сердце. И, видно, хорошая актриса. Надо полагать, великолепно играет. Все актеры здесь великолепно играют. Что, не так ли?

Никто ему не ответил. Заснул, что ли, Гольцман? Так и есть, заснул.

Но сон его тяжел. Что-то перекатывается у него в груди, что-то хрипит, и ноет, и рвется наружу, застревает в горле, и нет конца-края его непрерывному храпу. Частый кашель душит его, и он ругается во сне: «Холера!» Повернувшись на другой бок, он засыпает, опять начинает храпеть, но кашель не оставляет его в покое. Снова и снова просыпается он на минуту от приступа кашля, опять ворчит во сне «холера!» и вновь засыпает беспокойным сном.

Как можно спать в такую ночь? — этого Рафалеско был не в силах понять. Странная, наполовину зимняя, чудесная ночь. «Будь благословенна эта ночь!..» Рафалеско поднялся с постели. Распахнул окно. Почти до пояса высунувшись из него, он долго вдыхал в себя полной грудью свежий воздух. Окинул взором небо. Звезды погасли. В стороне висит бледная, затуманенная, ущербная луна. Вот-вот она скроется. Предутренняя синева мало-помалу сереет. Не успеешь оглянуться, как проснется шумный день. Но нашему герою все равно, день ли, ночь ли. Что бы там ни было, прекрасен этот мир! Чудесный, милый, сладостный мир!

Да будет благословен этот мир! Как можно спать, когда так хорошо на душе? Как можно спать, когда сердце так переполнено и хочется петь? Да, ему хочется петь, петь без конца!..

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Дипломаты

Острый птичий нос Гольцмана почуял, что директор львовского театра, этот чурбан Иокл бен-Флекл, закидывает удочки на его «парня». У Гольцмана, слава богу, зоркий взгляд. Он видел, что все увиваются около Рафалеско, «танцуют» вокруг молодого артиста и смотрят на него, как кот на сало. Но он притворился, будто ничего не замечает. «Пляшите, детки, пляшите, вы пляшете на своей собственной свадьбе...» Так думал про себя Гольцман, делая один «ход» за другим.

Во-первых, он вступил в сговор с братом примадонны, который слишком уж обхаживал «парня», слишком уж заискивающе ему улыбался. И то сказать, Гольцман мог бы за пояс заткнуть десяток таких умников, как этот «барабан» Швалб.

Однажды Гольцман пригласил трагика Изака Швалба в «ресторацию» и за кружкой пива с колбасой стал расхваливать его до небес. Пошли господи ему, Гольцману, столько счастья, сколько таланта в Изаке Швалбе. Лучшего актера во всей труппе не сыщешь. Разве этот директор, «Иокл бен-Флекл», — чтоб ему сгинуть! — достоин иметь такого трагика, как Изак Швалб?

Этим Гольцман сразу подкупил Изака. Он задел, можно сказать, самые чувствительные струны его души. И Швалб признался, — конечно, под строгим секретом, — что он уже давно бы послал ко всем чертям этого эксплуататора, но, во-первых, он связан контрактом еще на три года, а во-вторых, «нету ниток». Будь у него деньги — эге-ге-ге! Где бы он был

теперь! Чтоб ему так долго гнить в земле, этому Гецл бен-Гецлу, как долго видели бы его во Львове. Он, Изак Швалб, знал бы, куда ехать с такой примадонночкой, как его сестренка. Лондон, говорят, чуть-чуть побольше Львова, а?..

— Я думаю, — согласился Гольцман, испустив глубокий вздох.

Нет, более того: у Швалба есть брат в Лондоне, родной брат, тоже папиросник. Вернее, он был папиросником, но теперь он уже «бизнесмен» — делец. Прислал недавно свой портрет: детина вот с таким брюшком, с золотой цепочкой, с брильянтовым кольцом, — совсем не узнать. Так вот, брат пишет ему, чтобы он непременно приехал с сестрой в Лондон, там они узнают, что значит пожить на славу.

Гольцман слушал его внимательно.

Что за умница этот браток Швалба, право! А сам он, Гольцман, разве против того, чтобы прокатиться со своим «парнем» в Лондон? Его уже давно, очень давно тянет туда, в Лондон. Славный, говорят, городишко. Он чувствует, что там можно дела делать! Главное — сколотить труппу, как на подбор. Он, Гольцман, знает, чего ему не хватает. Для ансамбля ему не хватает хорошего трагика на самые сильные роли да красивой примадонны. Найти бы ему таких, тогда ему и море по колено, черт побери!

Полчаса спустя Гольцман и Швалб, выйдя из ресторана с толстыми благоухающими сигарами во рту, почему-то долго и крепко пожимали друг другу руки и как-то по-особенному обменивались дружескими улыбками, как люди, понявшие один другого с первого слова и заключившие тесный товарищеский союз с самыми серьезными намерениями.

Прослышав, что «язва» (Гольцман) что-то слишком уж снюхался с «барабаном» (Швалбом), кое-кто из актеров сейчас же шепнул об этом на ухо директору Гецл бен-Гецлу: «Так, мол, и так. Наш Ицикл слишком уж запанибрата с этим свистуном из Бухареста...»

Директор Гецл бен-Гецл выслушал все эти «росказни» с притворным недоумением. Он даже искусно переменился в лице, сделал вид, будто крайне возмущен поведением «бродяги», и велел позвать к себе папиросника Швалба.

Когда Швалб вошел, директор закрыл двери и окна, огляделся вокруг, и между ним и папиросником состоялся длинный, весьма интимный, а — главное — совершенно секретный разговор. Говорили они тихо, едва слышно. Мало ли что... А вдруг кто-нибудь приложил ушко к дверной щелочке с той стороны и подслушивает. Кругом ведь лживые, фальшивые люди, интриганы, бездельники...

Когда после этого конфиденциального разговора Швалб вышел из директорского кабинета, его красное лицо «пламенело, как пожар, и потело, как после бани».

«Видать, получил хорошую нахлобучку», — подумали про себя коллеги. И... глубоко ошиблись.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Гольцман делает ход за ходом

Новая забота свалилась на головы артистов львовского театра. Они ломали себе голову над новой загадкой: с чего это вдруг бухарестский директор так подружился с Брайнделе-козак? По своему обыкновению, они стали вышучивать и высмеивать эту парочку, перекидываясь остротами и крылатыми словечками:

— Сдружились, точно друг к другу прилипли.

— Хочешь сказать, — оба влипли?

— Да, снюхались, как черт с ведьмой.

— Значит, скоро будут справлять свой шабаш.

— Теперь обоим шабаш!

— С чем их и поздравляем! В добрый час!

— Дай боже, чтобы это был их последний час!

Кому бы могло прийти в голову, что Гольцман через посредство Брайнделе-козак «подъезжает» к примадонне Генриетте Швалб? Надо было обладать

острым носом Гольцмана, его тонким обонянием, чтобы так быстро пронюхать, что Брайнделе-козак может быть тут самым лучшим помощником. И он принялся за дело искусно, расчетливо, с энергией и азартом.

Началось, конечно, с простого разговора, совместной прогулки, с визита к ней на дом на правах старого знакомого. Чем дальше, тем отношения их становились все более дружественными. Он от души рад, что ему довелось с ней встретиться. Жаль только, что Щупака здесь нет.

— А что было бы? — спросила она, глядя на него в упор своими маленькими японскими глазками и силясь угадать, что он имеет в виду.

— Он лопнул бы с досады.

— Аминь, дай боже! Из ваших бы уст да богу в уши!..

Она чуть-чуть было не сказала: «из твоих уст», но вовремя спохватилась. Ей начинало претить обращение с ним на «вы». Господи, как может измениться человек! Будь Щупак теперь здесь и погляди он на своего «Гоцмаха», он и вправду лопнул бы с досады.

И Брайнделе-козак глядит не наглядится на Гольцмана. Прислушивается к его словам и не может вдоволь наслушаться. Совсем не тот человек. Право, и речи не те. Он говорит уже о «делах», «об обеспеченной будущности», о «капитальце». Гоцмах — и «капиталец», ха-ха... Он хвастается, что у него, слава богу, водятся деньжата. Не бог весть какой капиталист, но со Щупаком он уже может потягаться. У того брильянты, а у него наличные. Наличные дороже всяких брильянтов, черт бы побрал деньги!

— Отвяжитесь от Щупака,— прерывает его Брайнделе-козак. — У него теперь огорчения, а не брильянты.

— Не поверю, пока не увижу собственными глазами, и не успокоюсь, пока Щупак не будет мне сапоги чистить. Чтоб его холера скрутила заодно с моим кашлем!

Стоит ему заговорить о Щупаке, как он сейчас же начинает волноваться, а заволновавшись, разражается продолжительным кашлем. Откашлявшись, он закла-

дывает пальцы за жилетку и принимается шагать взад и вперед по комнатушке мадам Черняк, отмеряя большие шаги тонкими, длинными ногами. Глядя на носки ботинок, он не перестает хвастать своими блестящими делами и своим состоянием. Внезапно, спохватившись, он останавливается возле собеседницы и начинает оправдываться: пусть она не удивляется, что у него есть деньги. Очень просто, своим трудом нажил. Зарабатывал, копил, не позволял себе лишнего и приберегал копейку на черный день.

Ох, и сколько настрадался же он, сколько натерпелся, пока выбился в люди. Да поможет ему господь!

— Аминь! Дай боже, почему бы и не так? — соглашается мадам Черняк.

Ей невдомек, в чем собственно он оправдывается. Разве позорно иметь деньги? Позорно, наоборот, быть таким голодранцем, нищим, бродягой, как все эти прощелыги, которые ходят — простите за выражение! — без рубахи и знают только одно — резаться в карты, швырять деньги на ветер, брать в долг с тем, чтобы никогда не отдать... Она их просто презирает, этих людишек, за то, что деньги для них трын-трава... промеж пальцев просеиваются. Фи-фу-фа!.. Подумаешь, разве нельзя быть хорошим актером и беречь копеечку? Что такое, с позволения сказать, человек без денег? Что?..

— Тело без души, — вторит ей в тон Гольцман. Он помнит, что еще во времена Щупака у нее всегда была «кубышка». Поговаривали, что Брайнделе-козак так же богата деньгами, как и годами.

— Отчего бы, — говорили актеры, — богу не сотворить чуда и не сделать так, чтобы земля поглотила ее, как некогда библейского Корея *, а они бы остались ее наследниками.

Разговор между Гольцманом и Брайнделе становился все дружелюбнее, все интимнее. Постепенно, потихоньку да помаленьку, Гольцман подобрался к сути дела. Он заговорил о цели жизни, об обеспеченной будущности, о делах, планах и тому подобном.

До каких пор ей странствовать по белу свету и быть в рабском подчинении у такого аспида, как этот

Иокл бен-Флекл? Не лучше ли было бы ей пойти рука об руку с ним, с Гольцманом? Два таких человека, как он и она, могут действительно что-нибудь предпринять, создать стоящее дело, не правда ли? Они же стреляные воробьи, знают «почем фунт лиха»... И как сколотить капиталец, — этому их тоже учить не приходится. Надо уметь зашибать деньгу, но, главное, — надо уметь копить деньги. Заработать копейку не так трудно, как сохранить ее. Копейку надо беречь. Копейка рубль бережет. Слишком много охотников на каждую копейку. Не так ли?

— Слишком много охотников, — соглашается Брайнделе.

Мирно течет беседа, интимная и в то же время деловая, пока Гольцман, наконец, не добирается до главной цели своего разговора — до примадонны.

— Надо, — говорит он, — переманить у Иокл бен-Флекла эту красивую телку.

— Красивую телку, ха-ха! — повторяет Брайнделе-козак.

По ее жирному, круглому лунообразному лицу расплывается улыбка, обнажающая белые зубы. По всему видать, что она довольна: во-первых, тем, что угадала, кого он имеет в виду; во-вторых, тем, что он назвал примадонну ее настоящим именем. А в-третьих, она вообще довольна всем этим разговором. Гольцман пронизывает ее насквозь своим острым, колючим взглядом и объясняет полусерьезно, полушутя, почему необходимо переманить к себе «красивую телку».

— Хорошенькая примадонна, понимаете ли, будь она глупа, как теленок, для дела сущий клад.

— Сущий клад, ха-ха! — соглашается Брайнделе.

— Благословение божье, — продолжает Гольцман тем же полусерьезным, полушутливым тоном.

— Воистину благословение божье! — подхватывает Брайнделе, кокетливо ударив его своей коротенькой, пухлой ручкой. Ее жирное, круглое лунообразное лицо от блаженства покрылось испариной, а маленькие японские глазки сузились до того, что их стало почти не видно.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Романы Брайнделе-козак

Как могла понять Брайнделе-козак намеки Гольцмана: «идти с ним рука об руку»? И как было не обрадоваться этим словам такой одинокой, бесприютной, блуждающей душе, столько лет странствующей из города в город, из страны в страну, из театра в театр?.. Когда Гольцман был еще у Щупака и назывался Гоцмахом, тогда был иной разговор. Но теперь, когда Гоцмах стал Гольцманом и директором собственного театра, когда он обладает таким сокровищем, как этот «парень» Рафалеско, из-за которого все готовы передраться, когда, к тому же, у него имеется кой-какой капиталец, — о, теперь совсем другой разговор! Если бы они, как он выражается, пошли *рука об руку*, да если бы ей удалось переманить «красивую телку» Генриетту, а затем вчетвером, вместе с примадонной и этим «парнем» отправиться по белу свету, — о, тогда им сам черт не брат!

С такими приятными мыслями наша Брайнделе-козак принялась за дело энергично и расчетливо, как истый дипломат. И все ей, слава богу, удалось наилучшим образом. Это «бревно» с хорошеньким личиком — Генриетта Швалб, легко дала себя уговорить и согласилась на все заманчивые предложения и привилегии, которые сулила ей мадам Черняк. Больше всего, однако, мадам Черняк прельстила ее тем, что она, Генриетта, будет в такой непосредственной близости от «парня» — от Рафалеско.

Генриетта, краснея как маков цвет, глядела на мадам Черняк своими большими прекрасными голубыми глазами. Брайнделе-козак заметила это и поспешила прийти ей на помощь: она не понимает, чего тут стесняться. Дело житейское... С кем не случается? Она, мадам Черняк, прекрасно понимает: ей пальца в рот не клади — откусит. Разве она не видит, что Генриетта без ума от Рафалеско, а он от нее?

Генриетта Швалб вспыхнула: «Он от нее? Откуда она это знает?»

О! Она знает. Мадам Черняк все знает. Нет ничего на свете, чего бы мадам Черняк не знала. Нет ничего на свете, чего бы мадам Черняк не сумела сделать. Только попросите ее как следует, и она обделает дельце в один миг. Раз, два, три — и под венец!

— Брайнделе! Душенька! Миленькая!

Генриетта бросается ей на шею, пряча свое красивое пылающее лицо в красную ротонду мадам Черняк.

Примадонну недаром награждали прозвищами: «красивая телка», «чурбан», «овечка». Генриетта Швалб, по-видимому, взялась доказать всему свету, что можно иметь красивое личико и ни на волос ума. Брайнделе-козак могла бы за пояс заткнуть, купить и продать дюжину таких глупых красавиц, как эта примадонна львовского театра. О, кто не видал в эти дни Брайнделе-козак, тот в жизни своей не видал по-настоящему счастливого человека. У каждого создания своя звезда, и каждому овощу приходит свой черед. Пришел черед и для Брайндл Черняк. Брайнделе-козак почувствовала, что пришло время и ее сердцу проснуться от долгой спячки и забиться, затрепетать в предвкушении счастья.

Но беда в том, что такое внезапное пробуждение от сердечной спячки она испытывает не впервые. Это не первый роман в ее жизни и, по-видимому, не последний.

Сколько раз в течение своей жизни она уже обжигалась! Сколько ударов нанесли ей эти «лживые, испорченные, изменчивые мужчины»! И все-таки жизнь ее ничему не научила.

Было время, когда Щупак нуждался в ее услугах. Тогда он сватался к ней, и она ему верила. Потом она волосы на себе рвала... До сих пор она не может хладнокровно слышать его имя и все-таки вспоминает его трижды в день.

После Щупака с ней начал заигрывать его флигель-адъютант — наш старый знакомый Шолом-Меер Муравчик, Умора.

Он, как говорится, залез к ней сапогом в сердце. Дело, по-видимому, зашло так далеко, что оставалось

только повенчаться. Но Шолом-Меер и слышать об этом не хотел. Актер по природе своей такое уж существо, что терпеть не может брачных уз. Девушка, невеста, прогулка, подарок, ужин, шуточки, танец — все, что угодно, только не законный брак: «Лучший брак — хуже худшей смерти...»

Роман Брайнделе-козак с Шолом-Меером Муравчиком закончился так же, как и все ее романы до него и после него. Началось с того, что Муравчик взял у нее взаимообразно несколько рублей, за этим последовал еще заем, другой, третий, а кончилось все молчаливой размолвкой, болью в душе и непримиримой ненавистью ко всем «лживым, изменчивым мужчинам».

Но какие раны не залечиваются временем? Деньги, взятые у нее в долг Шолом-Меером Муравчиком, так и остались за ним безвозвратной ссудой, а мадам Черняк, как была, так и осталась мадам Черняк. (Эпитет «мадам» она сама себе присвоила ввиду внушительности своей фигуры и солидности возраста.)

Но она не потеряла еще надежды. Раньше или позже, но должен же прийти тот, кто поймет ее и оценит по достоинству. Он должен, должен прийти. Она приведет его к себе, откроет свой сундук, и он увидит ее сокровища. Он увидит ее белье, одежды, драгоценности. Все это приготовлено для него, для него... А он и не подозревает!.. Она откроет ему свою душу, свое сердце. Ах, пусть она не так красива, как другие, пожалуй, не так молода, как они. Но зато сколько преданности, сколько любви таится в ее сердце! Сколько чистой сердечной привязанности и целомудренного чувства таится в ее душе!..

На этот раз выбор мадам Черняк пал на Гольцмана. Теперь Гольцман был тем человеком, который занял прочное место в ее сердце, властвовал над нею, как царь, командовал ею до тех пор, пока ему это было нужно. А потом, когда они разговорились по душам, оказалось, что они просто друг друга не поняли. Что, собственно, означает *«идти рука об руку»?* Речь шла о том, чтобы она стала участницей в его деле, его компаньонкой.

«А почему бы и нет? С величайшим удовольствием. Ей нужно только внести немножко денег!»

Деньги внести?.. Стать участницей в деле?.. Разве *это* было в мыслях у мадам Черняк?..

Лживые, изменчивые мужчины! Бедная Брайнделе-козак!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

С визитом к меценату

Однажды львовский меценат доктор Левиус во время антракта подошел к директору Бернарду Гольцману и «почтительнейше» пригласил его вместе с молодым маэстро Рафалеско к себе на обед. «Он надеется, — сказал доктор Левиус с любезной улыбкой, обнажая при этом свои нелепо разросшиеся зубы, — он надеется, что они ему не откажут».

— Отказаться от такого обеда? — вырвалось у Гольцмана, и он подмигнул своему другу, как бы говоря: «Что скажешь? Вот дурачина немец!» — Сохрани боже! — продолжал он. — Наоборот, с величайшим унижением, виноват, с величайшим уважением...

Для нашего Гольцмана этот визит был большим праздником, к которому надо было подготовиться: «Эх, черт побери! Раз идешь к такому меценату на обед, надо явиться в подобающем виде».

И он пошел в магазин и первым долгом купил себе новый, с иголочки, костюм. До хрипоты бранился и торговался со львовскими немцами, пока, наконец, не сошелся в цене, и приобрел обновку, можно сказать, почти даром.

— Столько бы времени хворать этому Иокл бен-Флеклу, сколько времени у нас надо искать такой костюм, да еще за такую цену. Что скажешь, душа моя?

— Дешевле краденого!

— А скажешь нет?

— Почему же нет?

— Чего же ты смеешься?

— А что же, плакать мне, что ли?

— Кто говорит плакать? Эх ты, башка дубовая! — воскликнул Гольцман.

Оба расхохотались от всей души и начали готовиться к торжественному визиту. Гольцман прежде всего тщательно выбрил свое высохшее, желто-зеленое лицо, оставив для красоты только небольшие черные бакенбарды. Они в какой-то степени скрашивали худобу его впалых щек и вытянутой шеи, торчавшей из-под белоснежного стоячего воротника, искусно повязанного элегантным галстуком. Новые лакированные штиблеты с широкими шнурками и блестящий цилиндр, украшавший его заостренную голову, придавали еще больше привлекательности его долговязой угловатой фигуре. Его юный друг Рафалеско не мог удержаться от похвал и сделал Гольцману комплимент, что он с каждым днем все хорошеет и молодеет.

— Хорошею — это еще куда ни шло, но молодею ли — один бог знает! — совершенно серьезно сказал Гольцман, наклоняя голову. — Видишь, птенчик мой, седые волосы? За это спасибо Щупаку, холера на него.

Ради столь важного визита и Рафалеско оделся по последней моде. Черный смокинг особенно оттенял белизну его больших белых изумительной красоты рук. Правда, смокинг был ему коротковат и чуть-чуть узковат, так как Рафалеско был в том возрасте, когда человек растет не по дням, а по часам. Широкая белоснежная манишка, выглядывавшая из-под выреза жилета, соперничала с белизной его прекрасной шеи. От всей его фигуры веяло такой свежестью, таким обаянием юности, что любо и радостно было глядеть на него. Недаром Генриетта Швалб дала отставку всем своим кавалерам и женихам и серьезно взялась за «покорение этого щенка», у которого «либо сердце каменное, либо глаза не на месте, либо он вообще еще зеленый огурец...»

Генриетта Швалб, привыкшая к тому, чтобы все «с ума сходили по ней», никак не могла понять, что происходит с юношей. Уму непостижимо! Она, Ген-

риетта, всегда у него на глазах, специально для него наряжается, прихорашивается; недавно только ради него сшила новое бархатное платье «реформ», подбитое мехом: делает все, что возможно, из сил, можно сказать, выбивается, а он — никакого внимания. Странный паренек! Дикарь! Настоящий дикарь! То он весел, прыгает, пляшет, поет... То вдруг загрустит, ходит как лунатик... «Надо прибрать к рукам этого паренька!»

Но «паренек» Рафалеско был совершенно равнодушен к примадонне Швалб. Его сердце, его помыслы, его мечты были далеко отсюда. Он грезил о Вене. Во сне и наяву видел он только Вену, Вену, Вену! Вена стала теперь для него тем раем, куда рвалась его душа. Там теперь было два человека, которые притягивали его к себе, как магнит. «Увидеть бы их обоих — и умереть!..»

Что Рейзл теперь в Вене, он знает от Брайнделе-козак. Что он найдет ее в Вене, в этом он не сомневался. Но узнает ли она его? Как она выглядит? Какова будет их первая встреча? Что он скажет ей после первого рукопожатия? Он не скажет, кто он, не представится ей. Нет, пусть она сама его узнает...

И она узнает его сразу, в первую же минуту узнает. Вот они уже бросаются друг к другу в объятия. Но слов нет, точно у них язык отнялся. Только два имени: «Рейзл» и «Лейбл»...

К этим золотым грезам прибавилась еще одна мечта — Зоненталь... Трудно сказать, какая из этих грез больше пленяла его, кто из этих двух занимал больше места в его сердце... Рейзл, его божество? Или Зоненталь, сам бог? Вот он, Рафалеско, приехал в Вену. Знаете ли вы, что такое Вена, чем славится Вена? Вена — *это город, где живет Зоненталь*. Что, в самом деле, Вена без Зоненталя?..

С замиранием сердца он переступает порог дома великого артиста.

С улыбкой, ясной, как солнце ранним летним утром, смотрит на него этот бог артистов с ликом ангела — великий Зоненталь. Он берет его, Рафалеско, за руку и ведет во внутренние покои своего пышного,

великолепного дворца. Усаживает против себя на стуле. Слушает его игру и хвалит так, что у Рафалеско голова кружится.

«Нет, не в таких ролях ему следует выступать, — говорит Зоненталь теми же словами и тем же тоном, каким говорил доктор Левиус в первый вечер их знакомства. — Нет, такой божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных классических ролях...» Ну, точь-в-точь те же слова, которые он слышал от доктора Левиуса, слово в слово.

«Доктор Юлиус Левиус», — прочитали наши герои на маленькой медной дощечке, прибитой к большим широким воротам великолепного двора с железной оградой. Там, в тени стройных тополей, виднеется богатый особняк, высокий, основательно построенный, глядящий на вас с солидной важностью и всем своим видом как бы говорящий: «Здесь хорошо, здесь удобно, здесь спокойно!»

— Эх, деньги, черт бы их батьку взял! — не мог удержаться Гольцман и, хорошенько высморкавшись в новый накрахмаленный платок, потянул ручку звонка.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Львовский меценат

Когда наши званые гости, Гольцман и Рафалеско, вошли к доктору Левиусу, они его почти не узнали. Куда девалась улыбка, всегда широко расплывавшаяся на его приветливом лице? Куда исчезла его словоохотливость? Дома он был как-то солиднее, степеннее, строже, сдержаннее и даже как будто меньше ростом, целой головой ниже. Совсем не тот меценат, что в театре. Не тот доктор Левиус, каким его видишь на улице.

Нельзя сказать, чтобы доктор Левиус принял их нелюбезно. Наоборот, он сам помог им снять пальто, пригласил к себе в роскошный кабинет, уставленный книгами сверху донизу, до самого потолка. Усадил их

в высокие мягкие кресла и самым вежливым образом завел разговор на самые неинтересные темы: нравится ли им Львов? Какого они мнения о погоде? Словом, это был один из тех сухих бессодержательных разговоров, к которым, приличия ради, прибегают в любом аристократическом доме, куда вас пригласили обедать, когда обед еще не готов, стол не накрыт и надо как-нибудь убить время, а разговаривать не о чем. Хозяин смотрит на вас, как на одиннадцатую казнь египетскую *, и думает про себя: «Скучный гость, а ничего не поделаешь, приходится нянчиться с ним!» А гость смотрит на хозяина и тоже думает про себя: «Какой черт занес меня сюда на голодные муки? Разве у меня дома обеда нет?» Ваше настроение несколько улучшается лишь после того, как хозяин, сорвавшись с места, приглашает вас к богато сервированному столу, представляет вас нарядной, приветливо улыбающейся хозяйке и усаживает вас на самое почетное место — по правую руку около этой самой приветливо улыбающейся нарядной хозяйки; когда вам наливают первый бокал и предлагают закуску, а разнообразные блюда так и глядят из тарелок и мисок, так и манят, так и щекочут ваше обоняние, и вы мало-помалу начинаете входить в свою роль, в роль званого дорогого гостя.

Проведя полчаса со своими гостями в полуофициальной ничего не значащей беседе, доктор Левиус поднялся и, проводив гостей через целую анфиладу больших, высоких, роскошно меблированных комнат с тяжелыми портьерами и высокими сверкающими зеркалами, подвел их к накрытому столу. Но вместо нарядной, приветливо улыбающейся хозяйки они увидели седую старушку с желтыми морщинистыми щеками, похожими на кислицу.

— Моя мамочка, — представил ее доктор Левиус после того, как подошел к ней и поцеловал ее руку.

«Мамочка», женщина в парике, в шелковом платье, в брильянтовых серьгах, с жемчужным ожерельем на шее, едва удостоила гостей взглядом, и от этого замораживающего взгляда у них кровь застыла в жилах. «Старая ведьма», — как бы говорили острые колючие

взгляды Гольцмана, которыми он обменивался со своим другом. Изрядно проголодавшись, они сели за стол и, не заставляя себя долго упрашивать, начали утолять голод, пристально рассматривая в то же время доктора Левиуса, физиономия которого снова как-то странно изменилась. На лице его все же появилось некое подобие улыбки, но улыбка эта была похожа на гримасу человека, которому вот-вот предстоит вырвать зуб. Он, казалось, уже набрался сил, закинул голову кверху и, закрыв глаза, открыл рот: «На, дескать, тащи, рви, делай что хочешь!..»

Так выглядел доктор. А «мамочка»? Она, казалось, думала: «К чему он привел сюда этих бездельников?..» Нет, не было никакой темы для разговора. Беседа не клеилась. Если бы не звон ножей и вилок, можно было бы слышать, как жуют наши гости, которые чуть не давились каждым куском. В таком торжественном безмолвии прошел обед. Гости искренне обрадовались, когда доктор поднялся с места, поцеловал «мамочке» руку и снова пригласил их в кабинет.

Тут хозяин отпер один из ящиков своего роскошного письменного стола и вынул три различные сигары из трех различных коробок. Своим острым взглядом Гольцман тотчас же заметил, что все три сигары различных сортов: *хорошего, похуже и просто отвратительного.* Хорошую — хозяин взял себе, похуже — предложил Рафалеско, а отвратительную — преподнес Гольцману.

Когда закурили, оказалось, что Гольцман понимает толк в сигарах, потому что он сейчас же весь сморщился и его начал душить кашель. Если бы он не пришел сюда с определенной целью и не имел особых видов, он бы как следует расплатился с меценатом за угощенье. Гольцман не поленился бы спросить, где он достал такие вонючки сигары, сигары того сорта, которые «подаются вагонами» и приготовлены специально для того, чтобы «травить мух». Но так как визит преследовал определенную цель, то Гольцман собрался с силами, чтобы терпеливо докурить сигару третьего сорта до конца. Беспрерывно кашляя и чуть не задыхаясь, он вдобавок был вынужден выслушать

целую лекцию об искусстве, которую доктор Левиус счел долгом снова прочесть юному маэстро.

«Опять та же песенка, просто тошнит, — думал Гольцман, — снова искусство и в третий раз искусство... Классические роли... Вена... У нас в Вене... И Зоненталь — *наш* Зоненталь... Поймал бедного Рафалеско этот немец... А глупый «парень» смотрит ему прямо в рот, думает — премудрости слышит. Бесконечное лихо! Смазать бы ему разок по сопатке, и дело с концом».

— Прошу извинения, господин немец, человек я простой и не понимаю всей этой премудрости. Вы говорите, что «парню» нельзя играть сильных ролей, в которых он выступал до сих пор, что ему необходимо учиться. Вену, вы говорите, ему повидать нужно. Ну что ж, может быть, вы и правы. Спрашивается: раз речку видать, то как ее руками достать? Вы, наверное, слыхали пословицу: «Не имея пальцев и кукиша не покажешь...»

При этих словах Гольцман подмигнул своему другу, призывая его на помощь.

Не понял его Рафалеско или сделал вид, что не понял, но на помощь не пришел. Напрасны были все надежды Гольцмана и на мецената...

Меценат сорвался с места, как ошпаренный:

— Пардон. Вы, наверное, имеете в виду письмо, которое я обещал вам дать к моему другу Зоненталю. Сию минуту.

Напрасно старался его успокоить Гольцман, уверяя, что с письмом можно подождать. Напрасно Гольцман несколько раз возвращался к тому же вопросу, напрасно самым прозрачным образом намекал, что «поездка, мол, должна стоить бог весть как дорого», что им не хватает «ниток», что у них «считанные гроши», — доктор Левиус был глух, как пень, ко всем его намекам.

Видя, что дело плохо, Гольцман сделал было попытку заговорить яснее. Именно попытку, не более, ибо едва только Гольцман раскрыл рот и собрался заикнуться о деньгах, как доктор Левиус тотчас передал ему письмо, несколько раз пожал ему руку,

позвонил швейцару и, указав на гостей, дал понять этим жестом, что «господа» собираются уходить. Затем он сам весьма учтиво проводил их до дверей:

— Сегодня ваша последняя гастроль. Увидимся в театре, наверное, увидимся. Тогда уж поговорим обо всем, обо всем решительно. До свидания! Очень признателен за визит. До свидания!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Последняя гастроль во Львове

Последний спектакль знаменитой бухарестской труппы перед ее отъездом из Львова прошел еще с большим триумфом, с большим блеском, чем первые представления. Это был действительно на редкость удачный спектакль. Все актеры были на своих местах. Режиссеру не пришлось обливаться потом. Дирижеру не пришлось надрываться — «колоть дрова». Суфлеру буквально нечего было делать. Все шло как по маслу. Актеры обеих трупп в этот вечер как будто спелись, и над всеми величественно витал и властвовал дух юного художника.

Рафалеско и сам чувствовал, что в этот вечер он в ударе. Как ни бессмысленно и нелепо было содержание пьесы, но ансамбль был на редкость хорош. Подлинные ценители искусства наслаждались, ценители средней руки были вне себя от восторга, а широкая публика неистовствовала и буквально разносила театр: «Ра-фа-лес-ко! Ра-фа-лес-ко!»

Рафалеско на этот раз шел навстречу желаниям публики и многократно выходил на вызовы. Выходил не один, а со знаменитой львовской примадонной, которая делила с ним триумф этого вечера. Каждый раз, когда Рафалеско брал ее за руку, трепет пробегал по ее телу: «Парень будет мой... Попадет ко мне в упряжку», — так думала Генриетта Швалб и широко улыбалась, сверкая своими белыми зубками и всеми поддельными брильянтами, приобретенными ею за последнее время.

Брат-трагик, глядя на сестру, также был в высшей степени доволен... Перед ним открылось золотое дно. Удача привалила к нему со всех сторон: во-первых, он освобождается от этого кровопийцы Гецл бен-Гецла. Во-вторых, он и директор Гольцман ударили по рукам и заключили договор, по которому отныне они становятся компаньонами и открывают вдвоем собственное дело — театр под фирмой: «Гольцман, Швалб и К°». А чего стоит то, что он избавился еще от одного тяжелого груза? Еще одна гора с плеч долой — забота о сестре Ентл, или Генриетте, которая теперь уж — он в этом уверен — не на шутку вскружила голову «парню». «Недурная партия, — думал он, вытирая обеими руками раскрасневшееся лицо. — Мои коллеги, жалкие актеришки, лопнут от зависти и треснут от злости, а моего директора «Иокл бен-Флекла», как его называет Гольцман, с божьей помощью, хватит кондрашка...»

— Чего вы каждую минуту заглядываете в щелочку? Кого вы там ищете? — спросил Швалб своего нового компаньона Гольцмана, который рассеянно вертелся за кулисами и поминутно заглядывал в зрительный зал, ища кого-то глазами.

— Вчерашний день, — ответил Гольцман, не переставая глядеть в партер.

Это он искал доктора Юлиуса Левиуса, который обещал прийти на последний спектакль, но не пришел. Гольцмана это до того взбесило, что он весь вечер, не переставая, осыпал проклятиями всех докторов, всех немцев и всех меценатов всего мира, желая им погибнуть от холеры, сгореть в огне и т. д.

— Кого вы с такой любовью благословляете? — любопытствовали актеры.

— Я вспомнил своего дядю-портного, который всю жизнь был бедняк бедняком, хотя и любил поживиться за счет остатков материала своих заказчиков... Теперь он уже на том свете, да удостоится он места в раю во имя своих заплатанных штанов...

Но актеры не удовлетворились таким объяснением. Они тотчас же шепнули на ухо директору, что тут что-то неладно, что «свистун» из Бухареста, Гольц-

ман то есть, в очень расстроенных чувствах. Что бы это могло означать?

«В расстроенных чувствах? — подумал Гецл бен-Гецл. — Вы ослы! В расстроенных чувствах он будет по-настоящему только завтра, когда придется уезжать отсюда... Завтра вы услышите нечто ошеломляющее».

На другой день все действительно услыхали поразительную новость. С тех пор как существует львовский еврейский театр и Гецл бен-Гецл в нем директором, Львов еще не был свидетелем таких потрясающих событий: у него, у директора, из-под носа забрали весь «хедер», разорили его дотла. Переманили у него, прежде всего, примадонну — и какую примадонну! А с ней заодно перетащили и ее брата-бродягу, да еще одного актера по имени Беня Горгл, редкостного суфлера. Даже мадам Черняк, она же Брайнделе-козак, и та исчезла с ними ко всем чертям.

— Что теперь делать? — жаловался бедняга Гецл бен-Гецл оставшимся актерам. — Хоть возьми да закрывай театр либо ложись живым в гроб!

— Ничего другого вам не остается, — утешали его оставшиеся актеры и с горя отправились в кафе «Монополь» перекинуться в картишки.

А директор львовского еврейского театра взял ноги на плечи и пустился в погоню за беглецами в Вену и Бухарест. Оттуда, если понадобится, он поедет и дальше. «Да не будет его имя Гецл, если он их не накроет. Разве что нет бога на свете...»

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Биография Швалбов

Договор наших знаменитых компаньонов Гольцмана и Швалба был, наконец, благополучно заключен в торжественной обстановке в славном, веселом городе Вене.

Произошло это высокоторжественное событие в одном из венских ресторанов, который, правда, принадлежит далеко не к числу первоклассных, но в которых все же можно в отдельном кабинете и за кружкой пильзенского пива неплохо провести время.

Заняв один из таких кабинетов, наши компаньоны с глазу на глаз договорились об условиях и разработали пункт за пунктом все подробности договора, а именно:

1) Гольцман и Швалб открывают театр под вывеской «Гольцман, Швалб и К⁰».

2) Директорами театра являются оба компаньона — Гольцман и Швалб.

3) Основным вкладом сторон в общее дело считать со стороны Швалба — его сестру на роли примадонны, а со стороны Гольцмана — знаменитого артиста Лео Рафалеско на роли первого любовника.

4) Вся выручка, за вычетом расходов, делится между обоими директорами пополам.

5) Сами директора участвовать в спектаклях не обязаны. Но если случится, что кто-нибудь из актеров серьезно заболеет и не сможет играть, тогда его заменяет один из директоров; в этом случае заработок больного актера идет в пользу обоих директоров.

6) Все актеры работают на марках. Это значит, что из всего чистого заработка дирекция прежде всего снимает в свою пользу половину, остальная сумма распределяется между актерами согласно ценности и положению каждого в труппе, кроме Рафалеско и Генриетты, которые получают двойную долю.

7) Боже упаси, чтобы кто-нибудь из актеров знал, сколько дирекция зарабатывает или сколько, сохрани бог, докладывает.

8) Кассиром предприятия должен быть...

Тут между директорами вышло маленькое недоразумение. Каждый, естественно, хотел быть ближе к кассе. Но вскоре Гольцман нашел остроумный компромисс: у кассы будет сидеть Швалб, потому что он несколько тяжеловат на подъем; зато все расходы, денежные счета и расчеты должны проходить через Гольцмана.

Было выработано еще несколько второстепенных пунктов — и все с умом и со знанием дела. В составлении договоров у Гольцмана был большой опыт: он на этом, можно сказать, собаку съел. Бывший Гоцмах прошел недурную школу, имея своим наставником такого специалиста, как Щупак, — исчезнуть бы ему с лица земли!

Выработав все пункты договора, Гольцман позвонил, потребовал перо и чернила, чтобы закрепить на бумаге их договор, и обратился весьма приветливо к своему компаньону:

— Ну-ка, руки на стол, ноги под стол и чтобы было раз-два-три!

— Мне — писать? — простодушно ответил Швалб, отодвигая от себя бумагу и чернила. — Я, верите ли, во всю свою жизнь не брал пера в руки.

— Не может быть! — воскликнул Гольцман с притворным удивлением. — Как это возможно, чтобы человек совсем не умел писать? Ну, хотя бы несколько слов на нашем родном языке, на простом еврейском языке?

— Откуда? — совершенно серьезно оправдывался перед компаньоном Швалб. А так как он допивал уже третий бокал и язык у него развязался, то он подробно рассказал Гольцману всю свою довольно любопытную биографию, которую мы передаем здесь в самых кратких чертах.

Родился он — где, он и сам не знает. Рос сиротой, кто его родители — он не знает. Собственно, он рос не один, — их было трое сирот: он, его старший брат Нисл, тот самый, что живет теперь в Лондоне, да в придачу еще маленькая сестрица Ентл — та самая примадонна, которую теперь зовут Генриеттой. Все они, стало быть, валялись на улице, каждый в своей куче мусора, пока добрые люди не сжалились над ними и кое-как разместили, одного — сюда, другого — туда. Его с братом Нислом отдали к пекарю — разносить сдобные баранки. Невзлюбилась им эта профессия, и они взялись за папиросы. На этом больше заработаешь. То есть, собственно говоря, на папиросах тоже скорее хворобу наживешь, чем прилично

заработаешь. Счастье, что у него с малолетства был талант к театру. В праздник пурим он загребал груды золота... Словом, вдвоем кое-как перебивались с хлеба на квас. Правда, они ходили голые и босые, голодать им тоже приходилось нередко, но зато сами себе хозяева, хоть возьми да покажи кукиш всему свету. Плохо было только с «придачей», то есть с сестрицей. Что делать с девушкой? Отдали ее в услужение, поставили на место, прислугой то есть. За один кусок хлеба, только бы с плеч долой. Но с нею была сущая канитель — одна неприятность за другой. Чуть не каждые три недели она меняла место. Потому что, на их несчастье, она с детства была девушка хоть куда, то есть не то чтобы блистала умом, но была очень красива. А у всех почти хозяев — чума бы их передушила! — такая уж привычка: как увидят красивую девушку, так у них сразу глаза становятся маслеными... Был бы хоть дома старший брат Нисл, — он бы с ними честно разделался. Они бы уж своим внукам и правнукам заказали не приставать к девушке. Потому что мой брат Нисл,— вы видите, каков я! — но против него я дворняжка, ничего не стою! Но как на грех, заблагорассудилось ему, брату Нислу то есть, поехать черт знает куда — в самый Лондон. Отправился честь-честью, пешим порядком, обещал писать письма каждую неделю. Но где там? Куда там? Уехал, и след простыл. Когда же он вспомнил написать нам? В кой-то веки! Тогда, когда он, Изак Швалб, был уже актером на сильные трагические роли, а сестра его стала примадонной у этого Иокл бен-Флекла. Ну, спрашивается: когда же ему, Швалбу, было время учиться письму?

Выслушав любопытную биографию своего откровенного компаньона, наш Гольцман должен был согласиться, что Швалб совершенно прав. Он, Гольцман, и сам, говоря по совести, умеет писать лишь наедине с собой, когда никто не видит. Но, в сущности, к чему вообще вся эта писанина?

С этими словами Гольцман разорвал пополам чистый лист бумаги и воскликнул:

— Провались они сквозь землю, все эти бумаги! К черту писанину! «Не вексель платит, а человек». Дадим лучше друг другу руки, чтобы все, о чем мы здесь условились, соблюдалось свято и нерушимо. Выпьем же по кружке пива и расцелуемся. Будем здоровы! За процветание нового дела на счастье и радость нам!

— Будем здоровы! Дай бог счастья и всякого добра!

— Аминь!

— Аминь, аминь!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Первый визит к великому Зоненталю

Придя домой немного навеселе, наши компаньоны никому не рассказывали о том, что только что заключили серьезную сделку. Они начали изучать город, подыскивая подходящее помещение для еврейского театра. Но скоро им пришлось убедиться, что это напрасный труд: Вена не город, а венские евреи — не евреи.

— Что это за евреи, — говорил Гольцман, — которые могут обойтись без еврейского театра? Евреев, которые либо бегут на Зоненталя, либо довольствуются кабаре, а то и вовсе дешевым кабачком, где собираются за кружкой пива, покуривают сигары и, слушая песни вроде «Хава» или «В пятницу вечерком» *, кричат браво, пальчики облизывают, — таких евреев следовало бы повесить на первом дереве или расстрелять из первого ружья.

Так объяснялся сам с собою Гольцман на своем своеобразном языке. И компаньоны решили плюнуть на нарядную Вену и опять отправиться в провинцию, совершить турне по местечкам благословенной Галиции, Буковины, Румынии, где евреи еще не вкусили от древа познания, где публика еще идет смотреть на

еврейского актера так же, как бегут, например, смотреть на медведя, слона или обезьяну...

Единственное, что удерживало Гольцмана в Вене, было желание увидеть Зоненталя. «Актер, обладающий миллионным состоянием, стоит того, чтобы ради него остаться лишний денек в Вене»,— говорил Гольцман. И не потому, что на него производят такое впечатление миллионы, боже сохрани! Какое значение имеет в глазах Гольцмана миллионер? Мало ли миллионеров он видел на своем веку? Ему приходилось и разговаривать с миллионерами, и ездить с ними в одной карете, и даже, если хотите, обедать с ними за одним столом (намек на доктора Левиуса-Левиафана из Львова). Гольцман, видите ли, того мнения, что актер, который способен был не только заработать целый миллион, но и не растранжирить его, не пропить и не проиграть в карты,— такой актер вообще исключительная редкость, и повидать его стоит.

И Гольцман освежил свой наряд, выгладил цилиндр, купил новые перчатки и полушелковый зонтик, взял с собой письмо доктора Левиуса и обратился к Рафалеско:

— Ну, мой дорогой птенчик, ни пуха, ни пера!

Тут, правда, компаньон Швалб заявил, что он бы тоже непрочь пойти вместе с ними к Зоненталю: «Раз у них общее дело, то здесь и спору быть не может».

Но Гольцман сразу одернул его:

— Нет, шалишь! Дружба — дело святое, а коммерция — дело иное. Компаньон компаньоном, а все-таки каждый человек должен знать свое место...

Швалб не мог понять упрямства своего компаньона. Что за беда? Дороже, что ли, будет стоить, если они пойдут втроем? Или он откусит у Гольцмана кусочек Зоненталя? Но тут Гольцман разъяснил ему толком: «Каждый должен знать свое место. Пусти свинью под стол, она и ноги на стол...» Это обидело Швалба, и он довольно прозрачно намекнул, что примадонна Генриетта Швалб пока что ему еще сестра, а он, Швалб, ее брат, — и пусть он, Гольцман, этого не забывает... Тут уж Гольцман вышел из себя, весь

вспыхнул, неистово, как водится, раскашлялся и, изрекши ветхозаветное: «Не надо мне ни твоего меда, ни твоего жала», — тут же истолковал это по-своему: «Не лезь ко мне на чердак и не погань мне лестницы».

Ни Рафалеско, ни Гольцман не могли понять, почему Зоненталь, великий Зоненталь, живет не в собственном особняке, а в гостинице.

— Как так? Ежели наш брат валяется в грязи вместе с хозяйскими курами, утками и клопами, то на то мы *бедные еврейские актерщики.* Но Зоненталь? В Вене! Что это значит? Возможно ли?

Так говорил Гольцман своему другу, развалясь в приличном экипаже, который вез их к Зоненталю. Но как только они подъехали к фешенебельному отелю, в котором жил Зоненталь, и к ним навстречу вышла какая-то важная персона в ливрее с золотыми пуговицами, Гольцман сразу изменил свое мнение и обратился к Рафалеско: «Эх, деньги! черт бы их батьку взял!» Субъекту с золотыми пуговицами он сказал, что хочет повидаться с Зоненталем. Золотые пуговицы оглядели обоих сверху вниз и дали понять, что Зоненталя видеть невозможно. «Почему, например?» — «Потому что Зоненталь не принимает». — «Что значит «не принимает»?» Эти слова были оставлены золотыми пуговицами без ответа, и важная персона в ливрее совсем было уже собралась уйти. Тогда Гольцман с чувством собственного достоинства заявил, что у них есть письмо к Зоненталю от одной очень почтенной особы, которая обладает не меньшим состоянием, чем его хозяин. Пусть он не думает, что они, мол, какие-то проходимцы: прежде всего, они тоже артисты...

Тут Гольцман взялся за цилиндр, снял перчатку и тотчас же, снова одев ее, дружески похлопал человека в ливрее по плечу. Тот несколько растерялся от такого обращения, взял письмо, пошел наверх, заставив посетителей довольно долго дожидаться в вестибюле, затем вернулся с ответом: Зоненталь очень извиняется, но он сейчас работает над новой ролью. Если они хотят во что бы то ни стало говорить с ним,

то могут прийти сегодня в театр, за кулисы, во время антракта.

Больше от субъекта с золотыми пуговицами нельзя было добиться ни единого слова, ибо не успели они рот раскрыть, он показал им, что сзади у него такие же пуговицы, как и спереди...

. . . .

— Все дурные сны, что мне снились в эту ночь, и в прошлую ночь, и во все ночи за целый год, да обрушатся на Зоненталя, доктора «Левиафана» и на всех меценатов всего мира! Но только вот что, мой дорогой птенчик, замочек на язычок и — молчок!

Так говорил Гольцман своему другу на обратном пути от Зоненталя. У обоих лица горели от стыда.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Тщетные надежды

Возвратившись после этого визита в таком настроении, словно их высекли, Гольцман и Рафалеско были очень шумно и торжественно встречены всей актерской братией.

— Ну?

— Что «ну»?

— Что слышно у великого Зоненталя?

— Что может быть слышно? — протянул Гольцман, не теряясь, с притворно спокойным, безразличным видом. — Представьте себе, есть на кого поглядеть.

И Гольцман собрался с духом и пошел нести околесицу, рассказывать про Зоненталя чудеса. Как он роскошно живет! Что за золотой человек! Как он их принял! Угостил чаем, пивом и сигарами. «Каждая сигара — вот такой величины».

И показывая обеими руками, какие сигары им там преподносили, Гольцман заехал одной рукой прямо Швалбу в лицо. Швалб, который, как мы знаем, был специалистом по части сигар, не мог удержаться от

замечания, что таких больших сигар не существует. Кому еще так знать этот товар, как не ему, торговавшему всю жизнь сигарами?

— Вот, вот, жаль, право, — резко оборвал его Гольцман, — что ты взялся не за свое дело. Лучше бы ты остался папиросником, тогда на еврейской сцене было бы одним чурбаном меньше.

Этот ответ был несколько резковат по отношению к такому артисту, как Швалб; его красное лицо еще более побагровело, и он начал потеть. Но Швалб был не из тех людей, которые очень чувствительны к оскорблениям и долго носят обиду в душе. Не удивительно поэтому, что они тотчас помирились и решили в тот же вечер купить ложу в Бург-театре и всей компанией пойти на Зоненталя. Конечно, так только говорится — всей компанией. Пойдут они впятером: оба директора, Рафалеско, Генриетта и Брайнделе-козак.

— Ну, а остальные?

— С остальными, — рассудил Гольцман, — ничего не станется, если посидят вечером дома и поужинают всухомятку. А если они очень хотят, то могут без всякой церемонии взобраться на самый верх, на галерею. Это будет, во-первых, гораздо дешевле, а заодно уж и к богу ближе.

Одним словом, Гольцман не обнаружил никаких признаков неудовольствия. Напротив, он в это утро был веселее и разговорчивее, чем обычно; гримасничал, выкидывал всевозможные шутки, напевал и приплясывал, точно бог весть какое счастье ему привалило.

Совершенно иначе вел себя второй визитер — Лео Рафалеско. Насколько Гольцман был весел и жизнерадостен, настолько Рафалеско был печален, мрачен и ходил, как в воду опущенный. Все его золотые грезы рассеялись, как дым; все его сладостные мечты разбиты печальной действительностью.

Первой его мечтой было встретиться в Вене с дочерью кантора Рейзл, или Розой Спивак, из-за которой он ночей не спал. Второй мечтой была встреча с великим Зоненталем.

Но напрасно он рвался в Вену, к знаменитой певице Марчелле Эмбрих, у которой воспитывалась его Рейзл, или Роза Спивак. После долгих расспросов и поисков он узнал лишь одно: ни Марчеллы Эмбрих, ни Розы Спивак в Вене нет. Мадам Черняк, которая прежде ручалась, что Роза наверняка в Вене и уверяла, что непременно разыщет ее и во что бы то ни стало сведет ее с ним, с Рафалеско, теперь почему-то неожиданно переменила тон и начала разговаривать с ним совсем по-иному. Каждый раз она приносила другую новость: то ей передавали, будто Роза Спивак разошлась с Марчеллой Эмбрих и уехала ни с того ни с сего с каким-то артистом в Берлин... То вдруг ей стало известно, что Роза в Парижской консерватории, обучается музыке за счет какого-то богатого мецената Жана Решко, — француза, влюбленного по уши в еврейскую певицу. Наконец в один прекрасный день она пришла в своей красной ротонде, отозвала Рафалеско в сторону и сообщила по секрету, что, по самым достоверным сведениям, Роза Спивак теперь в Лондоне, выступает там в концертах вместе со знаменитым скрипачом Гришей Стельмахом, — это еврейский паренек, слава которого гремит по всему свету. Поговаривают даже, что этот Гриша будто бы жених Розы. А может быть, они уже повенчались.

— Ложь! Ерунда! — невольно вырвалось у Рафалеско.

— Что «ложь» и «ерунда»? — спросила мадам Черняк, окинув его взглядом своих маленьких японских глаз. На ее круглом лунообразном лице расплылась широкая улыбка, отчего толстые губы ее большого рта раскрылись, обнажив здоровые белые зубы.

Ах! Если бы Рафалеско не стеснялся, он поднял бы руку на эту ведьму — такой отвратительной показалась ему в эту минуту вся ее физиономия, ее жирное, круглое лицо, ее маленькие японские глазки, ее пляшущая фигура в красной ротонде. А ведь еще не так давно она казалась ему столь симпатичной. Нет! Не та Брайнделе-козак, что раньше. Совсем не та.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

«Парень» рехнулся

Пять человек совершенно различного склада сидели в ложе в Бург-театре, и каждый по-своему воспринимал спектакль и игру великого Зоненталя.

Гольцман прежде всего и больше всего интересовался декорациями и публикой. «Вот это театр!» Ах, если бы господь помог ему приобрести такой театр хоть через три года, он бы уже показал всему свету, кто такой Гольцман. Это был бы такой театр, что черт бы его батьку взял! К чему обманывать себя? В театре Гольцман знает толк; понимает не меньше, чем эти немцы. Деньжата тоже водятся, сил, слава тебе господи, тоже хватит. Одно только беспокоит, — где взять такую публику, как здесь?..

И Гольцман глядит из своей ложи в партер и снова и снова окидывает взором элегантную, блестящую публику великолепного театра. Из его уст невольно вырывается обычное проклятие: «Холера!» Неизвестно, к кому оно относится: к немцам ли, которые наполнили театр сверху донизу, или к евреям, не склонным посещать театр, который он, Гольцман, собирается открыть здесь, в этом проклятом городе. «Фи, — шепчет про себя Гольцман. — Вена! Тоже мне город, подумаешь! Надо поскорее убираться отсюда в какое-нибудь местечко, в обыкновенное еврейское местечко. К черту всю эту расфранченную публику, все эти плешивые и лысые головы! Я их не променяю на одного еврея из Голенешти...»

Почти то же думает и мадам Черняк, хотя и несколько в ином плане. За короткое время Брайнделе-козак успела изучить Гольцмана с его идеалами, которые стали и ее идеалами. Она только ждет той счастливой минуты, когда Гольцман объяснится ей и скажет, что готов идти с ней «рука об руку» по-настоящему, то есть обвенчаться по всем правилам закона. «Тогда, о, тогда они вдвоем открыли бы театр... Уж это был бы театр!..»

Мысли на миг, словно на крыльях, унесли ее далеко-далеко отсюда, в какое-то еврейское местечко нето Галиции, нето Буковины. Там она уже видит себя женой директора Гольцмана, «мадам Гольцман». У них, слава богу, собственный театр с собственными декорациями, собственной труппой из самых знаменитых актеров. Среди них — «парень» — молодой Рафалеско... с примадонной Генриеттой, но она уже не Генриетта Швалб, а Генриетта Рафалеско... Да, Генриетта Рафалеско. Она, мадам Черняк, уж примет меры, чтобы брак состоялся. А когда эта парочка обвенчается, Гольцман перестанет заглядываться на примадонну, как кот на сметану, и не будет гоняться за «пташечками», болячка ему!

Брайнделе-козак, наблюдая за Гольцманом своими маленькими японскими глазками, следила за каждым его шагом и ясно видела, что он вертится вокруг примадонны Швалб не так, как обычно вертятся вокруг примадонны. «Надо постараться окрутить как-нибудь поскорее эту глупую девку со смазливым личиком с этим «чудаковатым парнишкой», — сказала она себе и стала предпринимать в этом направлении энергичные шаги. Раньше всего надо вышибить у этого «чудаковатого парня» из головы всякие мысли о Розе Спивак; затем уже взяться за бродягу, брата примадонны, и проветрить ему мозги, убедить, что его глупая сестра со смазливым личиком должна выйти замуж за человека, себе равного (а тут уж ничего не скажешь, — парочка как нельзя более подходящая!), и перестать кружить головы таким людям, которые подходят ей так же, как корове седло...

И Брайнделе-козак бросает взгляды на бродягу, глаза которого устремлены на сцену, а мысли — совсем в иную сторону. «Кружка доброго пива с сосисками была бы теперь как нельзя более кстати», — думает Швалб. И мысли уносят его в буфет, к столикам, накрытым белоснежными скатертями, к бутылкам, кружкам и бокалам, к тарелкам и вилкам, к вкусным закусочкам... Но он делает вид, будто очень заинтересован ходом действия и до того восторгается

игрой великого Зоненталя, что дальше некуда, черт побери!

Сестра его, Генриетта, тоже смотрит на сцену, но занята собой. Она в этот вечер принарядилась так, что любо поглядеть. Прическу сделала у парикмахера по последней моде, надела свое лучшее платье и нацепила на себя все свои настоящие и поддельные брильянты. Конечно, не столько ради великого Зоненталя, сколько ради молодого Рафалеско, который, правда, еще не совсем принадлежит ей, но она надеется... Можете на нее положиться, — она, Генриетта, знает, как действовать: у нее на этот счет богатый опыт. Надо этого парня сперва немножко помучить... Пусть ему это нелегко достанется. А когда он сам придет к ней и будет пресмыкаться, как все другие, тогда уж ее учить не надо, как действовать...

Но что с ним?.. Генриетта бросает взгляд на Рафалеско, — его не узнать. Перегнувшись всем корпусом, он душою и телом перенесся туда, на сцену. Он так поглощен игрой, что никого не видит и не слышит. Для него в эту минуту не существует никого, кроме Зоненталя, великого Зоненталя. Он дрожит всем телом, лицо горит, глаза блестят. Из его груди то и дело вырывается глубокий вздох. Генриетта глядит на него в упор и не может понять, что с ним творится. Хоть бы на минуту он оторвал глаза от сцены. Сидеть с ней в одной ложе и не вымолвить ни слова, не подарить ее ни одним взглядом! Пусть только окончится акт, уж она его возьмет в оборот! Она скажет ему, что... Но что это? Вот первый акт уже кончился, а Рафалеско точно не в своем уме. Со слезами на глазах он пожимает руки всем, начиная с Гольцмана и кончая Брайнделе-козак, а когда очередь дошла до Швалба, то бросается ему на шею.

— Вот это игра! Вот это называется играть! Вот как надо играть!

Генриетта стоит в стороне и, глядя на Рафалеско, шепчет про себя:

— Нет, этот парень с ума сошел... Не иначе, как рехнулся...

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Неисправимый мечтатель

По окончании первого акта Гольцман тотчас вступил в переговоры с капельдинерами Бург-театра относительно пропуска за кулисы, к Зоненталю. Но оказалось, что Зоненталь может принять только одного, а именно молодого актера, о котором пишет ему доктор Левиус из Львова.

— Здорово, кума! На рынке была. Все, что мне приснилось этой ночью и в прошлую ночь!..

Так начал было Гольцман на своем излюбленном лексиконе, но сейчас же осекся, увидя возле себя всю актерскую братию с примадонной Швалб и мадам Черняк во главе. Если бы в эту минуту перед ним разверзлась земля, он бы живым бросился в бездну. Ему было стыдно перед актерами, которые многозначительно обменивались взглядами. Особенно же ему было стыдно смотреть в глаза своему компаньону, ехидный взгляд которого как бы вопрошал: «Как же так, любезный? После таких сигар?..» Но стрелка часов движется, минуты коротки, а капельдинер ждет. Гольцман отвел Рафалеско в сторону и шепнул ему на ухо, что он только сегодня здесь, в театре узнал новость: «У Зоненталя, знаешь ли, есть сынок. Это такое сокровище, что я от души желаю ему короткой жизни и долгих бедствий. Шалопай первостепенный. Этот наследничек только и знает, что подписывать векселя, а отец за него плати».

— Поэтому ты должен постараться, — наставлял его Гольцман, жестикулируя длинными тонкими руками, — чтобы не вышло так, как со львовским меценатом, — чтобы ему ни дна, ни покрышки! Ты должен говорить с ним определенно и ясно насчет того и этого... понимаешь?.. И гляди, чтобы тебе не наступили на мозоль, потому что коли уж суждено есть свинину, то хоть пожирней, чтобы сало по бороде текло. Понимаешь?

Но тут Рафалеско неожиданно преподнес своему другу такой сюрприз, что Гольцман ни глазам, ни

ушам своим не поверил. Трудно сказать, чем это было вызвано: тем ли, что Гольцман чересчур надоедал ему своими намеками насчет «того и этого», тем ли, что Рафалеско был обижен еще с утра, когда Зонненталь отказался принять их, а может быть, и тем, что он вообще был в сильном возбуждении, — но в ту минуту, когда Рафалеско как будто уже готов был пойти с капельдинером за кулисы, он вдруг повернулся к Гольцману и сказал коротко и решительно:

— Нет, не пойду!

— А? Что?

— Не пойду.

— Что значит, не пойдешь?

— Не пойду — и баста!

Гольцман протер глаза и при ярком свете электрических ламп начал вглядываться в лицо своего юного друга, — что с ним сталось? Возможно ли, чтобы «парень» ослушался его, Гольцмана? Это было первое «нет», услышанное Гольцманом от своего юного друга. В этом отказе и, главное, в тоне, каким было сказано «нет», было столько твердости и решительности, что Гольцман не счел возможным переспросить, почему же «нет». Он еще раз бросил немой взгляд на Рафалеско, и его ошеломило выражение лица юного друга. В эту минуту Гольцман испытывал приблизительно то же, что должен был испытывать когда-то библейский Валаам, когда его ослица неожиданно заговорила человечьим голосом.

— Нет так нет, — сказал он Рафалеско с деланной улыбкой, которая совершенно не шла к его мрачному виду.

Можно сказать, что в эту минуту Гольцман сразу постарел на несколько лет. Заостренный нос как-то неестественно вытянулся. Острые плечи странно согнулись, и его начал душить кашель. Между тем раздался звонок. Антракт кончился, и публика стала занимать свои места. Гольцман и Рафалеско молча направились в свою ложу.

На обратном пути из театра все актеры вновь сформированной труппы «Гольцман, Швалб и К°», как сидевшие в ложе, так и занимавшие места на

галерке, сошлись вместе и, шагая по улицам Вены, заговорили все разом, размахивая, как водится, руками. Делились впечатлениями, произведенными на них спектаклем, с видом знатоков высказывали свое мнение, критиковали. При этом каждый старался перекричать другого, неистово размахивая руками, и все шумели, галдели, смеялись... Часто слышались такие словечки, как «дубина», «остолоп», «полено», «воловий рог», «балда», «хвастунишка», «пустобрех», «псаломщик», «бульбоед», и тому подобные странные, хлесткие выражения, которые можно услышать только в среде еврейских актеров. Неизвестно, к кому относились эти прозвища, к кому относились эти крылатые словечки, но всем было весело. Крики и галдеж слышны были за версту, а хохот катился еще дальше. Казалось, в спокойное течение венских будней ворвалась какая-то новая струя, новый поток неведомых людей, говорящих на неведомом языке. И не один немец, надо думать, останавливался в изумлении, глядя на эту необычайную группу людей, которая своим шумным поведением нарушила уличную тишину спокойного, уютного, гостеприимного города.

Только два человека не принимали участия в этом шуме: то были директор Гольцман и премьер труппы Рафалеско. Оба были погружены в свои думы. Гольцман, шедший под руку с Брайнделе-козак, делал вид, что слушает ее болтовню, но на самом деле думал о «парне», который в первый раз за всю жизнь сказал ему «нет». А «парень» шел рука об руку с примадонной Швалб. Она говорила, громко смеясь, сверкая глазами и белыми зубами. Он делал вид, что слушает ее, и отвечал невпопад, а мысли его были далеко. Он воображал себя на сцене в той же роли, что и Зоненталь, и мысленно дал себе клятву: да не будет имя его Рафалеско, если он со временем не будет играть так же, как Зоненталь!

И наш юный мечтатель стал строить воздушные замки, создавая в своем воображении новый рай: вот он, Рафалеско, начал работать над другими ролями, теми же ролями, что и Зоненталь: весь мир восторгается его игрой, и все в один голос твердят, что

вскоре он превзойдет самого Зонентaля. И вот его приглашают в венский Бург-театр на гастроли. Зоненталь, великий Зоненталь, сидит в партере наравне с обыкновенными зрителями и смотрит. Потом в неописуемом восторге бежит на сцену, бросается ему на шею, целует и громко, во всеуслышание, заявляет, что этот молодой артист Рафалеско победил его, Зоненталя, превзошел его...

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Оба смеялись

Тяжкая это была ночь для нашего Гольцмана. Он долго не мог уснуть. Как будто тяжелый камень давил на сердце. Мысли путались в голове, безрадостные, унылые мысли: «Что случилось с «парнем»? — думал он, кашляя и ворочаясь с боку на бок. — Виноват во всем этот проклятый город, чтобы ему сгореть! С тех пор как мы приехали в Вену, «парня» не узнать — капризен, как единственный сынок у маменьки. Бежать, бежать отсюда поскорее!..»

Так решил про себя Гольцман, мысленно проклиная Вену и ее обитателей. Веселый, прекрасный город показался ему мрачным, неприветливым, скучным, а люди — лживыми, лицемерными, отвратительными. И все, о чем думал он в эту ночь, рисовалось ему в худшем свете, чем было на самом деле, и во сто крат хуже, чем могло бы быть. Все его заманчивые планы внезапно рассеялись как дым. Люди, которым он доверял, самым наглым образом водили его за нос и выдали с головой. Худшие его опасения сбываются воочию: его осадили со всех сторон, охотятся за его душой. Хотят похитить у него все его достояние, хотят вырвать у него из-под носа его Рафалеско.

«Надо не спускать глаз с «парня», — решил Гольцман. — Надо беречь его, как зеницу ока. Слишком много завистников... Кто знает, кто и на что может его толкнуть? Кто знает, какие виды на него у Швалба?

Что затаила в душе его сестра Генриетта? Какая змея припрятана за пазухой у Брайнделе-козак? Он — один человек среди стольких волков...»

Гольцман приподнялся на кровати, опираясь на острые локти, откашлялся и обратился к своему юному другу, также лежавшему в постели:

— Рафалеско, спишь?

— Нет, а что?

— Мне пришла в голову новая мысль.

— Именно?

— Слышишь, как я кашляю.

— Ну?

— Я думаю, что это конец. Надо готовиться в путь-дорогу, сделать последнее распоряжение и отправиться туда, где покоится мой папаша, мир праху его...

Рафалеско поднялся и уставился на Гольцмана расширенными от испуга глазами.

— С ума сошел? Рехнулся, что ли, или бредишь?

Гольцман обрадовался, что Рафалеско так напуган. Он громко рассмеялся, закашлялся и стал ругаться:

— Глупенький ты! Щупаку болеть бы столько лет, сколько я еще с божьей помощью протяну! Я это говорю... насчет того, понимаешь ли... Я думаю выписать из России мою маму и сестренку, — может быть, я буду тогда меньше кашлять...

И Гольцман закашлялся надолго. Наконец, отдышавшись, повернулся к стене и заснул. И снилось ему, что он уже не в Вене, а во Львове. Гуляет по улице Карла-Людвига и видит издали директора львовского театра Гецл бен-Гецла, который проходит мимо него рука об руку с Рафалеско. И хоть бы они удостоили его взглядом. Его словно огнем обожгло. Он весь вскипел и, сорвавшись с места, стремглав бросился к ним и стал звать сначала тихо: «Рафалеско!» Где там! Не слышит! Еще раз: «Ра-фа-ле-ско!..» Чем дальше, тем громче и громче: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!..» А тот даже не оборачивается, точно совсем его не знает... Больше Гольцман уже не в силах владеть собой. От такой обиды может разлиться желчь даже у самого спокойного человека. «Эх, будь что

будет! Он подойдет к этому негодяю, Иокл бен-Флеклу, одной рукой схватит его сзади за свиной затылок, а другой как даст по физиономии — раз, два, три! Вот так: трах-та-ра-рах!»

Полуживой от страха соскакивает Рафалеско с кровати, подбегает к Гольцману и видит: ночной столик возле кровати его друга опрокинут, возле столика валяются осколки разбитого графина, вдребезги разбитый стакан, согнутый подсвечник, тут же покалеченные часы, золотые часы, купленные недавно Гольцманом в Вене.

— Что случилось? — спрашивает Рафалеско.

Еще не опомнившийся Гольцман смотрит блуждающим взором на Рафалеско, который едва сдерживает смех при виде разрушений, учиненных его другом.

Обрадованный тем, что сон оказался только сном, Гольцман со свойственной ему живостью весело и непринужденно воскликнул:

— Разбойники, видно, мне приснились, разная чертовщина. Смотри-ка, сколько убытков я наделал, чтоб меня холера побрала в эту же ночь!

И оба покатились со смеху. Долго и шумно смеялись. Хохотали до тех пор, пока им не постучали из соседнего номера.

Оба хохотали, но смеялись они по-разному: один — искренне, от всего сердца, а другой — только для виду, думая про себя: «Нет, это уж не прежний «парень»... даже смех не тот... Теперь за ним нужен глаз да глаз. Надо бы, чтобы мама с сестренкой приехали... Нужно бежать из Вены, бежать, куда глаза глядят!»

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Человек с образованием

Единственным образованным человеком во всей труппе «Гольцман, Швалб и К⁰» был суфлер Беня Горгл, тот самый, которого Гольцман переманил к себе из львовского театра. Директор Гецл бен-Гецл

не раз хвастался, что ни у кого нет такого суфлера, как у него, потому что его суфлер, видите ли, «человек с образованием». Именно потому, что он был «человек с образованием», Гольцман переманил его к себе заодно с примадонной. «Я и сам не знаю, — оправдывался Гольцман перед самим собой, — на кой черт он мне сдался, этот человек. С виду гроша ломаного не стоит. Но шут с ним! «Человек с образованием» всегда свой кусок хлеба заработает...»

Гольцман был прав. По внешности суфлер действительно не стоил и ломаного гроша: черный, худой, сухопарый, с огромнейшим носом («всем носам нос»), с красной шеей, с большим кадыком, который при разговоре двигался вверх и вниз, словно глотая что-то, оборванный, в потертой шляпенке, а волосы на голове, что воз с сеном. Если бы он мазал волосы маслом или хотя бы каждый день причесывался, было бы еще туда-сюда. Но наш суфлер не такой человек, чтобы заниматься подобными пустяками. У «человека с образованием» найдутся более важные дела. А ежели так, то приходится прощать ему и грязный воротничок с таким подобием галстука, что трудно сейчас определить, как он выглядел, когда впервые появился на свет божий. Все вместе взятое дает представление о внешнем облике «человека с образованием». Недаром Гольцман говорил о нем, — конечно за глаза, — что «стыдно есть за одним столом с таким замухрышкой». И невзирая на то, что суфлер — «человек с образованием», Гольцман, не скупясь, награждал его все новыми и новыми прозвищами: «неудачник», «шут гороховый», «недотепа».

Исстари повелось: чем образованнее человек, тем он скромнее. Очевидно, именно по этой причине суфлер не обижался ни на кого, был у всех на побегушках, терпеливо сносил обиды и выполнял для Гольцмана всевозможную, порой самую тяжелую работу. Гольцман, видите ли, придерживался того правила, что будь человек образован, как тысяча чертей, но раз он служит и ест чужой хлеб, то обязан этот хлеб заработать честно, в поте лица своего. «Да разве он

сам, Гольцман, не из порядочной семьи? И все же он не так давно — да не повторится никогда больше это время! — работал за троих, выбивался из сил, не гнушался никаким трудом, ел хворобу и чистил сапоги у Щупака, да сотрется имя его с лица земли, где бы он теперь ни находился!..»

Так мысленно оправдывал сам себя Гольцман. А наш бедный суфлер, «человек с образованием», нес тяжелое бремя молча, безропотно, никогда никому не жалуясь, не смея и заикнуться, как будто так оно и быть должно.

Но каждому человеку приходит свой черед, каждому когда-нибудь да блеснет его звезда и улыбнется счастье. Пробил час и для «человека с образованием»: внезапно засияла его звезда, и он высоко вознесся в глазах всех, не исключая и Гольцмана.

Было это, когда труппа «Гольцман, Швалб и К°» покинула «проклятую Вену» и пустилась по белу свету играть по старинке: ставить оперетты, мелодрамы и всякую всячину, «как бог на душу положит».

Однажды во время репетиции, когда очередь дошла до Рафалеско, вдруг спохватились: «отрока нет»* пропал первый любовник. Куда он девался? Искали час, другой — нет ни Рафалеско, ни суфлера, «человека с образованием».

Просто чудо из чудес, что с Гольцманом тогда не случилось удара, — до того он был потрясен. Воображение рисовало ему ужасы, один страшнее другого. После первого «нет», которое он услышал от Рафалеско в венском Бург-театре, он готов был допустить все, что угодно... Он до того встревожился и разволновался, что у него начался жестокий приступ лихорадки. Его так и подбрасывало. Мадам Черняк смертельно испугалась: непомерно заострившийся и неестественно вытянувшийся в длину нос Гольцмана, его впалые и бледные, как у покойника, щеки, его всегда колючие и пронизывающие, а теперь внезапно потухшие глаза, — все это было не к добру. Она стала усердно ухаживать за ним, просила прилечь немного, — она сейчас же поставит ему компресс из уксус-

ной воды, и ему станет легче. Но Гольцман попотчевал ее таким компрессом, что она теперь и внукам и правнукам закажет не соваться в чужие дела. Он выпалил все, что ему пришло на язык. Прежде всего он спросил, кто ее просит совать нос туда, куда не следует. Затем он обрушился на нее потоком бранных слов, называя ее «Брайнделе-козак», «светлое личико», «кикимора», «обезьяна» и тому подобными «ласкательными» именами. Но ко всем этим «любезностям» мадам Черняк за последнее время до того привыкла, что переносила их молча, безропотно. Что она могла сделать? Такова участь всякой женщины, влюбленной до безумия: знай вытирай слезы да помалкивай...

Но тут кто-то прибежал с радостным известием: «Поздравляем! Потеря нашлась!» — «Где? Где?» — «В гостинице. Оба, Рафалеско с суфлером, забрались в отдельную комнату и читают книжку».

Гольцман схватил тросточку и цилиндр и, едва живой, прибежал в гостиницу.

— Что случилось? — спросил он, запыхавшись, бледный как смерть.

— Нашел, нашел сокровище! — Рафалеско кинулся Гольцману на шею и, целуя его, твердил: — Сокровище! Сокровище!

Гольцман смотрит на него, как на сумасшедшего:

— Какое сокровище? Что за белиберда?

«Уриель Акоста», та самая пьеса, в которой они видели великого Зоненталя в Вене, имеется у суфлера на еврейском языке. Кончено! Больше Рафалеско не играет никаких других ролей, кроме роли Уриеля Акосты. Конец! Долой оперетты, мелодрамы, всю эту дребедень! Конец!..

Гольцман как стоял с тростью и цилиндром в руке, так и опустился на поломанный стул, обливаясь холодным потом: «Это еще что за слова? Что за выражения? Какой язык у этого «парня»! Что значит, он не будет больше играть в опереттах? А где же он, директор Гольцман? Разве он уже не вправе распоряжаться? А что будет с декорациями, с костюмами?

А роли? Пьесы? Ноты? Афиши? Что тут творится? Светопреставление! Конец света!»

Гольцман готов был в эту минуту растерзать суфлера. Новая напасть на его голову: «Человек с образованием»!

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Чья кошка мясо съела

С тех пор беспрерывно шел «Уриель Акоста».

Куда бы труппа «Гольцман, Швалб и К^{0}» ни приезжала, всюду после первых двух-трех представлений давали «Уриеля Акосту». А стоило только раз показать эту пьесу, как ставить что-нибудь другое было уже немыслимо. В некоторых городах с самого начала требовали: никаких оперетт, только «Уриеля Акосту». В Париже, например, где труппа дала двенадцать спектаклей, шел все время «Уриель Акоста». И, как выражался Гольцман, там было столпотворение вавилонское: едва театр не разнесли. В газетах, так передавали Гольцману, Рафалеско сравнивали с великими актерами и предсказывали, что он со временем превзойдет самого Зоненталя и всех знаменитейших актеров мира.

Гольцман, конечно, был на вершине блаженства. Он был рад, он был бесконечно счастлив, что такая, с позволения сказать, дребедень, такая дрянь, прости господи, как «Уриель Акоста», дает почти такие же полные сборы, как самая лучшая оперетта, хотя нет в этой пьесе ни пения, ни танцев, ни веселых куплетов. «Ну, и времена! все шиворот-навыворот, ко всем чертям! Назидательные побасенки им слаще всяких куплетов. Полусумасшедший Акоста на сцене им более по душе, чем самая красивая примадонна. Поди угадай... Но, впрочем, не все ли равно? Как говорится, «пусть сам черт помог, лишь бы хлеба кусок». Дай ему бог здоровьечко, этому незадачливому суфлеру, за то что он выкопал эту книжонку. Ха-ха-ха! Что и говорить! Надо бы подарить ему старый костюм да

заставить этого недотепу надеть чистый воротничок и новый галстук, а заодно уже постричь немножко волосы. Уж очень он смахивает на провинциального дьячка, ну его ко всем чертям!..»

Придя к такому решению, Гольцман повысил суфлеру жалованье, начал относиться к нему с должным уважением и перестал честить его обидными прозвищами, вроде «шут гороховый», «недотепа», «неудачник», «ни то ни се»... «Если бог пожелает, то и веник стреляет», — подумал Гольцман, лихо закручивая острые усы а-ля Вильгельм II. Он разгуливал, заложив руки в карманы, выставляя напоказ двойную золотую цепочку на белой жилетке, и благодарил всевышнего за то, что «он его, Гольцмана, вознес без меценатов, без знаменитых артистов, провалиться им всем в преисподнюю вместе со Щупаком, погибель на него!..»

Одного только не хватало нашему Гольцману: хозяйки. Собственно говоря, у него, если хотите, была хозяйка, да к тому же еще такая, которая ему ничего не стоила — мадам Черняк.

Она вела его хозяйство, дрожа над каждой копейкой, убирала комнату и была предана Гольцману, как собака. Она чинила ему белье, штопала чулки. Иной раз варила ему «троянку», частенько готовила ему гоголь-моголь против кашля. Дело зашло так далеко, что актеры за глаза перестали уже называть ее мадам Черняк или Брайнделе-козак, а называли ее «мадам Гоцмах». Хорошо еще, что Гольцман не знал об этом, — он был бы вдвойне огорчен: во-первых, тем, что помнят еще его старое прозвище — Гоцмах, а во-вторых, тем, что ему сватают такую неподходящую партию. У Гольцмана на этот счет были совсем иные виды. Ему хотелось бы жениться на молодой девушке и обязательно красивой. «Взять, к примеру, такой апельсинчик, как эта примадонна Генриетта. Чем не партия? Почему бы и нет? Она не очень-то умна, зато хороша собой, ах, до чего хороша, черт побери. У нее, правда, есть один недостаток: она слишком уж вертлява — резвушка, егоза. Но не беда! Это только до поры до времени — до законного брака. Как только он наденет ей на руку обручальное кольцо,

он приберет ее к рукам. Поверьте, он уж ей покажет, где раки зимуют. Он ее научит по всем правилам, как надо себя держать.

Однажды — это было в субботу днем — Гольцман оделся по последней моде. С недавнего времени он вообще начал очень франтить. «Принарядился, словно готовясь на тот свет», — язвили на его счет втихомолку актеры. Он побрился, закрутил кверху усы, надушился, взял в руки тросточку и предложил примадонне пройтись с ним погулять. Она посмотрела на него сверху вниз и наотрез отказала: Когда она соскучится, она пошлет за ним... Гольцман почувствовал себя так пакостно, словно его высекли, но проглотил обиду.

В другой раз он заговорил с Генриеттой вообще о замужестве. Пора, мол, сказал он ей, перестать порхать, точно бабочка, пора подумать о цели... Но Генриетта ответила ему очень грубо, совсем не так, как полагается отвечать директору: «К чему такая забота о других? Почему бы ему не оглянуться на собственный нос, который уже давно травой порос...» Гольцман пропустил мимо ушей эту оскорбительную рифму и спросил: откуда она знает, что он говорит не о себе? Может быть, он и сам собирается в скором времени стать женихом?

— В самом деле? — спросила она с вызывающим хохотом. — А кто невеста? Ха-ха-ха! Не бабушка ли Смерть?..

Гольцман стал поглядывать, выслеживать, выпытывать, кто же разлучник. И наконец напал на верный след. Брайнделе-козак пришла на помощь. Она ему глаза открыла. Глупый он человек! Если у него глаза не сзади, а спереди, он должен сам видеть, чья кошка мясо съела...

Этим мадам Черняк несколько вознаградила себя за бессонные ночи и пролитые слезы. Брайнделе-козак теперь уже никого не боялась. Ей было ясно как день, что не сегодня-завтра нарыв прорвется: примадонна выйдет замуж за Рафалеско. И тогда Бернард Гольцман будет принадлежать ей. На этот счет сомнений быть не может.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Гости у Гольцмана

Как обухом по голове, ошеломило Гольцмана недвусмысленное сообщение Брайнделе-козак, что между примадонной и Рафалеско разыгрывается роман. Не говоря уже о том, что он рисковал в один прекрасный день потерять всякую надежду на такой «апельсинчик», как Генриетта Швалб, этот роман рассеял в прах его заветнейшую мечту, разрушил очень важный, чудесно задуманный, блестящий план, который должен был стать фундаментом великолепного здания.

План этот зародился у него в голове совершенно неожиданно в одно прекрасное утро после прочтения письма, полученного из дома от матери-вдовы Сора-Брохи. Приводим это письмо целиком слово в слово:

«Моему дорогому, любезному сыну Герш-Беру Гольцману, да светится звезда его.

Пишу тебе мой милый, дорогой Герш-Бер, письмо через Ицика, сынка твоего учителя Алтера, и первым долгом сообщаю, что я, слава богу, пребываю в добром здравии, дай бог услышать от тебя то же самое и во всяком случае не хуже. А во-вторых, пишу тебе, мой милый, дорогой Герш-Бер, что уже давно от тебя письма не имела, не знаю, что и думать. И я очень прошу тебя, мой милый, дорогой Герш-Бер, чтобы ты мне писал о своем здоровье и как ты поживаешь, и кланяется тебе сестра твоя Златка, продли господь ее жизнь. Она, не сглазить бы, стала уже девицей. Посмотрел бы ты на нее, не узнал бы, — так она выросла, не сглазить бы, и красива она, не сглазить бы, как ясный день. Не потому я говорю это, что я мать, но все это говорят. Как посмотрю я на нее, сердце болит. Пора подумать, что с ней будет, — не сидеть же ей всю жизнь с иголкой в руке и шить чужие кофточки. Надо подумать о замужестве, женихов у меня для нее хоть отбавляй, но все они никуда не годятся. Один из них, младший сын столяра Иосл-Фишл; другой — приказчик в мясной лавке, Рувимом

зовут. Но она его не хочет; говорит, что от него несет кожей. А сын столяра Иосл прямо с ума сходит по ней, но это такой шалопай и шарлатан, что черт его знает, у него даже пары приличных сапог нет, а вертится перед глазами, как волчок. Я уже ему несколько раз намекала, чтобы он забыл, как дочь мою зовут, не то я ему укажу, где бог, а где порог. Но нынешние молодые люди хуже свиней: вытолкаешь их в дверь, они лезут в окно. Конечно, если бы твой дядя Залмен, мир праху его, жил, он бы расправился с этим шалопаем по-своему. Но что могу сделать я, с позволенья сказать, вдова, да к тому еще бедная? Если б я могла дать ей приданое, заткнуть жениху глотку хотя бы ста пятьюдесятью рублями, она бы уж давно была у меня невестой: в женихах недостатка нет, чтобы я так нуждалась во всех благах, как есть нужда в женихах, — хоть пруд ими пруди. Потому что она со дня на день хорошеет. Посмотрел бы ты на нее, что за девица, — не сглазить бы! — не узнал бы. Она кланяется тебе сердечно, и прошу тебя, мой дорогой, любезный Герш-Бер, ради бога, напиши мне немедленно, как ты поживаешь и, главное, насчет твоего здоровья, потому что я не знаю, что и подумать, и будь здоров, как от души желает тебе твоя мать, которая хочет видеть тебя в радости и довольстве.

Сора-Броха Гольцман».

Это письмо крепко засело у Гольцмана в голове. Особенно врезались в мозг слова: «Девица, не сглазить бы, не узнаешь ее». И его неотступно преследовала и не давала покоя мысль: «Если она действительно так хороша, как пишет мать, то, пожалуй, имеет смысл выписать сюда старуху вместе с сестрой. Пусть познакомится с «парнем». А вдруг — чем черт не шутит! — она ему понравится; тогда побьют посуду, справят помолвку. А потом — раз-два-три, четыре древка — и под балдахин *. А уж там он покажет кукиш всему свету, аминь...»

И, запершись с суфлером, Гольцман под строжайшим секретом продиктовал ему ответное письмо к матери.

— Слушай же, мой дорогой, пиши ей так: «Моей многоуважаемой матери, госпоже Сора-Брохе, — да продлятся дни ее! — и моей дорогой сестре, госпоже Златке — да продлятся дни ее! Сообщаю вам, что я, слава богу, в добром здравии, и, слава богу, уже больше не играю в театре, я, слава богу, имею уже собственный театр, с собственной труппой, и, слава богу, хорошо зарабатываю, и, слава богу, одеваюсь по-человечески, и, слава богу, живу по-человечески и пользуюсь, слава богу, некоторой известностью. Но одно только плохо, что я вечно скитаюсь и нет у меня своего угла. Поэтому я решил, дорогая мама, чтобы ты не откладывала в долгий ящик, а взяла бы Златку и приехала бы вместе с ней сюда ко мне, — будешь у меня хозяйкой и будет тебе на старости покой и утешение. Довольно тебе стоять у чужой печи. Пора уже, чтобы твои старые косточки отдохнули и чтобы ты тоже узнала, что значит жить на божьем свете. А насчет Златки не беспокойся. Есть у меня для нее на примете партия получше, чем сын столяра Иосл и даже чем этот мясник Рувим. Смотри же, дорогая мама, во что бы то ни стало, как только получишь это письмо, не медли ни минуты и приезжай сюда ко мне, к твоему сыну Бернарду Гольцману.

Директор театра «Гольцман, Швалб и К°».

Отправив письмо, Гольцман стал со дня на день ожидать гостей. Напрасные ожидания! Вместо долгожданных гостей он получил письмо от матери. Она писала, что «письмо его она получила и что она, слава богу, в лучшем здравии, и Златка тоже, слава богу, в лучшем здравии, девица, не сглазить бы, загляденье. Поглядел бы он на нее, не узнал бы. А что он пишет, чтобы она приехала к нему, то она бы охотно полетела, если бы у нее были крылья, но как она может приехать, когда это должно стоить столько денег, проездные расходы на двух человек, да границу перемахнуть чего стоит, если бы у нее было столько денег, сколько должен стоить один проезд, она бы давно выдала замуж Златку. Насчет жениха она не беспокоится, в них недостатка нет, ими хоть

пруд пруди, ведь девица, не сглазить бы, хоть куда, увидел бы он ее, не узнал бы...» и т. п.

Это письмо так взбудоражило Гольцмана, что он тотчас же выслал матери деньги и решительно потребовал, чтобы она немедленно приехала, чтобы она не смела больше и думать о женихах для Златки, а взяла бы да без всяких отлагательств приехала с ней сюда, ради бога — без отлагательства.

После этого письма было отправлено еще одно, за ним третье, пока господь, наконец, не сжалился над Гольцманом.

В один прекрасный летний вечер — было это в маленьком местечке в Галиции — за минуту до поднятия занавеса в театре вдруг послышался шум с улицы. Что случилось? Какая-то бедная женщина с девушкой спрашивает Гольцмана и хочет прорваться в театр бесплатно, а ее не пускают.

— Черт бы вашего батьку взял! Мошенники! Ведь это мои гости! — закричал Гольцман на своих коллег и выбежал на улицу.

— Твои гости? Поздравляем! Дай боже тебе на радость! — ответили ему коллеги и побежали вслед за Гольцманом поглядеть на его гостей.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Бедная Брайнделе-козак

Была ясная, прохладная ночь, какие иногда выдаются в конце лета. Луна еще не выглянула из своего шатра, чтобы осветить землю. Но мерцание загоревшихся там и сям звездочек рассеивало мрак, и их света было достаточно, чтобы по мере возможности разглядеть фигуры гостей Гольцмана.

Прежде всего бросилась в глаза сухопарая, худая, высокая и костлявая старуха, похожая на тощую загнанную клячу. Оборванная, нагруженная перинами, подушками, одеялами и всяким хламом, она заглядывала каждому в глаза, ища своего сына. Воз-

ле нее, придвинувшись к ней вплотную, как жеребенок возле своей матери, стояла молодая девушка, почти еще дитя, со свежими румяными щечками, с несколько заостренным детским носиком, с густыми ресницами и большими стыдливо опущенными глазами. На ней было простое ситцевое платьице, легкая бежевая кофточка, а сверху рыжеватое, поношенное, плохо сходившееся на ней пальтишко, открывавшее взору округлые формы не ребенка, а взрослой девушки.

Актерская братия, выбежавшая на минуту поглазеть на гостей Гольцмана, оставила в покое старуху, которая в конце концов по глазам узнала в толпе своего сына, бросилась к нему на шею с плачем и рыданием, причитая мужским голосом: «Ой, гром меня убей! Ой, горе мое злосчастное, горе материнское! Так это и вправду ты, Герш-Бер! Сын мой дорогой!..»

Актеры с гораздо бо́льшим интересом стали рассматривать молодую хорошенькую девушку, стоявшую в стороне в своем узком пальтишке и ожидавшую брата.

Эта молодая, наивная, просто одетая девушка, с румяными, как персики, щечками, с густыми ресницами и большими опущенными глазами, казалась им удивительно привлекательной. В ее фигуре, во всем ее обличье светилась молодость, свежесть, невинность. И никто из актерской братии не проронил ни слова, кроме Швалба, бормотавшего под нос, словно выпуская слова из глубины толстого брюха: «Вот яблочко, дай мне бог столько здоровья!..»

Но острота Изака Швалба на этот раз никем не была подхвачена, как будто никто ее и не слышал. Там, где только и видишь вокруг сморщенные, помятые, намалеванные лица, вставленные зубы, подведенные брови, чужие волосы, неестественно высокие, приподнятые корсетом груди и лживые искусственные улыбки на подкрашенных губах, — там один вид естественной, как сама природа, свежей, пышущей здоровьем красоты производит ошеломляющее впечатление. Осматривают, оглядывают, удивляются. Каждый вспоминает, что и он когда-то был молод, свеж и имел такой же естественный вид.

Несмотря на хорошее впечатление, произведенное сестрой на актеров, сам Гольцман почувствовал себя неважно, — ему было как-то не по себе. Неловко было перед труппой, что к нему, директору театра, который «живет и одевается по-человечески», приехали в гости мать и сестра, которые выглядят как нищенки. А тут, как назло, собралась вся орава и уставилась на гостей, словно на чудо какое-то. Это его раздосадовало, и он раскричался на актеров, ругаясь, смешивая их с грязью, а заодно уж показал своим гостям, что он, с божьей помощью, хозяин, директор театра и что перед ним все трепещут. И не только на актеров он волен прикрикнуть и обругать их. Когда Гольцман захочет, он и своему компаньону Швалбу может задать трепку. И он накинулся на него:

— Послушай ты, морской бык, барабан, нечистая глотка. Ты тоже здесь со своими остолопами?

В одну минуту от всей оравы не осталось и следа. Режиссерство в этот вечер Гольцман передал своему компаньону Швалбу, а сам забрал гостей с их узелками, перинами, подушками, одеялами и прочим барахлом и повел к себе на квартиру.

На следующий день Гольцман созвал к себе после спектакля всю актерскую братию и угостил их пивом в честь гостей, которые теперь были одеты по-праздничному. Старуха в своей праздничной шерстяной шали выглядела, как старая лошадь под фатой... А сестренка Златка, умытая и причесанная, очаровала всех не столько своим нарядом, сколько свежими щечками, густыми ресницами, маленькими зубками и застенчивыми глазками.

— Яблочко! — повторил снова Изак Швалб, и на этот раз вся компания разразилась смехом.

Только двое не смеялись, — им было не до смеха: примадонна Генриетта Швалб и мадам Черняк (Брайнделе-козак). Все утро обе они были в самом дурном настроении и сидели надутые, недовольные. Генриетта была вообще недовольна, что на свете,

кроме нее, существует еще одна красивая девушка, и очень сердилась на Рафалеско за то, что он заглядывается на эту неотесанную провинциалку с красными руками и острым носиком... Генриетта почувствовала в ней соперницу. Но как ни старалась она найти в девушке недостатки, она не нашла ничего, кроме красных рук и острого носика! Это еще больше разозлило ее.

Но если Генриетта была только недовольна, то мадам Черняк, надо сказать, была до того расстроена, что на нее просто больно было смотреть. На ее круглом, лунообразном лице проступали красные пятна, в маленьких японских глазках застыли слезы. Но она старалась держать себя с твердостью и достоинством и даже притворно улыбалась.

Бедная мадам Черняк чувствовала, что ее «семь сытых лет» кончились, что сейчас вот у нее отберут ключи и передадут этой старой ведьме, которой она от всей души желала скорого конца и легкой смерти.

Мадам Черняк не раз уже приходилось испытывать горечь разочарования. Не первый раз ее выбрасывают, как битую посуду, как вышедшее из моды старое платье или просто как давно приевшуюся вещь. «Этот обманщик Гоцмах, — думала она, — теперь сделает вид, что знать ничего не знает, ведать не ведает. Он забудет все, о чем мы говорили, а когда я ему напомню, он притворно закашляется на полчаса...»

Бедная Брайнделе-козак! Как она все предугадала! Гольцман не любил церемониться, у него: раз-два-три — и готово! Он даже не поблагодарил ее за хозяйничанье, за заботы о его здоровье, за все ее усердие. А утром, заметив, что она собирается ему что-то сказать, он, схватившись за грудь, начал так сильно кашлять, что даже подпрыгивал на месте.

Тихо, не попрощавшись, мадам Черняк после полудня переехала на новую квартиру, не проронив ни единой слезы. Запаковав свои корзины, она приободрилась, накинула на себя красную ротонду и с улыбкой, обнажавшей ее большие зубы, подплясывая, по своему обыкновению, на ходу, она навсегда оставила жилище Гольцмана.

— Нет, я еще отомщу этому Гоцмаху! Я еще дождусь своего часа. Разве что я буду лежать в сырой земле и травой порастет моя могила, — утешала себя Брайнделе-козак, плетясь по улице в своей красной ротонде одна-одинешенька, вслед за телегой, увозившей ее вещи.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Уроки хорошего тона

Первые несколько дней, пока старуха Сора-Броха и ее дочь Златка были у Гольцмана на правах гостей, он и ухаживал за ними, как за гостями, следил за тем, чтобы они ели, пили и жили в свое удовольствие. Не отходил от них ни на шаг, демонстрировал перед ними свое величие и богатство, водил каждый вечер в театр и усаживал на лучшие места. Златка, естественно, была в восторге от спектаклей. У нее голова кружилась от счастья. И даже старая Сора-Броха, ненавидевшая театр, как правоверный еврей свинину, в угоду сыну посещала все спектакли и, глядя одним глазом на сцену, другим на публику, оглушительно громко смеялась и на весь зал добродушно поругивала «комедиантов». «Бездельники, ко всем чертям!» Или: «Мои болячки на вашу голову!» Или: «Чтобы вам переломать ребра и кости, боже праведный!» Гольцман вынужден был со сцены моргать глазами, делать знаки руками, стараясь унять расходившуюся мамашу... Одним словом, мать и дочь катались как сыр в масле.

Но прошло несколько дней, первый пыл гостеприимства остыл, и Гольцман начал обучать своих гостей правилам хорошего тона: как надо ходить, как стоять, как сидеть в театре, как держать себя на людях. Сестрице Златке были куплены перчатки, чтоб не видно было ее красных рук, шляпа с большим пером, почти как у примадонны. Словом, Гольцман принарядил ее, как принцессу.

Нельзя сказать, чтобы Златке эти «королевские» наряды доставили большое удовольствие. Наоборот, она чувствовала себя в них стесненной и скованной. У нее болела голова, рябило в глазах, и ей все казалось, что у нее нос не на месте и что все это видят. Она с удовольствием надела бы опять свое ситцевое платьице с бежевой кофточкой и старые стоптанные башмаки. В них она чувствовала себя несравненно лучше, чем в новых узких ботиночках на высоких каблуках, на которых ходишь, точно на ходулях. Но что поделаешь, раз брат приказал!..

А Гольцман, оглядывая свою сестрицу в новом наряде и мысленно сравнивая ее с примадонной Швалб, нашел, что Златка довольно красивая девушка. Жаль только, что она немножко дика, застенчива и слишком молчалива. Надо ее перевоспитать, вывести в люди, отшлифовать, надо ей помочь преодолеть свою застенчивость и робкую молчаливость, одним словом превратить в бойкую и разбитную «цивилизованную мамзель»... Раздумывая об этом, Гольцман украдкой бросает взгляды на «парня», беседующего со Златкой; при этом Златка опускает глаза и краснеет как маков цвет. Гольцман знаками дает ей понять, что надо опустить руки и поднять глаза. Тогда Златка еще пуще краснеет, и Гольцман приходит в бешенство. А потом, оставшись с сестрой наедине, сердито ее отчитывает: «Что ты боишься смотреть ему прямо в глаза? Ты разве что-нибудь украла?» Или: «Посмотри на свои ручищи!»

Гольцман взялся было и за старуху, стараясь привить ей хорошие манеры, одеть ее по моде, чтобы она была «на человека похожа». «Мне не к лицу, — объяснял он, — чтобы мать директора была одета, как торговка курами...» Только этого не хватало! Сора-Броха — женщина простая, но прямодушная и откровенная: что на уме, то и на языке. Выслушав сына, она пробасила в ответ своим мужским голосом, что, мол, если она ему пришлась не ко двору и он стыдится своей бедной матери, то она может сделать ему одолжение и сейчас повернуть оглобли, уехать с дочерью обратно.

И не долго думая, старуха совершенно серьезно принялась за укладывание вещей, одеял и подушек, сказав при этом Златке:

— Пойдем, дочь моя! Нам, «торговкам курами», не место здесь среди таких важных господ! Мы еще, чего доброго, можем испачкать им, — не приведи господи, — их барские наряды...

Гольцман, разумеется, тотчас же пошел на попятный. Он клялся всеми клятвами, чуть не в ногах у старухи валялся, пока не добился от нее обещания, что она забудет все, что он, Гольцман, говорил, по пословице: «Собака лает, ветер носит».

А какие муки и огорчения выпали на долю Гольцмана несколько позднее, когда он решил сделать свою сестру актрисой! Как норовистый конь, старая Сора-Броха заупрямилась и ни с места: «Ни за что на свете! Скорее она даст зарыть себя живьем в землю, чем допустит, чтобы дочь ее плясала на одном канате со всеми этими комедиантами. Разве тогда, когда ей на глаза черепки положат!» Одним словом, ни криками, ни мольбами Гольцман ничего не мог добиться. Его бросило в холодный пот, и он даже начал харкать кровью...

Увидев кровь, старуха испугалась.

— Горе мне горькое! Беда окаянная! Гром меня убей!

И она дала свое согласие, но только при условии, что сын в присутствии двух свидетелей даст ей слово в том, что раньше выдаст Златку замуж. И Гольцман обещал не позже чем через полгода найти жениха для Златки и обвенчать ее по всем законам божеским...

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Девятый вал

Черновицы — столица Буковины. Посреди рынка, обращенная окнами к магазинам и лавкам, горделиво высится весьма почтенная гостиница под вывеской

«Черный петух», которая ждет не дождется гостей. Да поможет ей бог, ибо от странствующей труппы «Гольцман, Швалб и К°» «Черному петуху» не разжиться. Вся труппа занимает каких-нибудь три-четыре комнаты, а обедают актеры в еврейской столовой, и то не все, потому что не у всякого актера есть чем заплатить за обед, особенно в конце месяца, в так называемые «нечистые дни», — тогда актеры живут преимущественно тем, что заучивают роли, репетируют и играют в девятый вал. Эта карточная игра имеет много преимуществ перед другими карточными играми: она не требует ни напряжения мысли, ни определенного количества игроков. В девятый вал можно играть как угодно, даже стоя. Поэтому к девятому валу имеют особое пристрастие актеры, музыканты, приказчики и вообще люди, которые вечно куда-то торопятся и хотят поиграть на ходу, что называется, «стоя на одной ноге».

В комнате, где актеры играют в девятый вал, так накурено, что едва можно разглядеть присутствующих, хотя на улице ясный день и солнце щедро заливает комнату лучами. На самом почетном месте за столом, у большой тарелки, сидит банкомет. На этот раз банк держит компаньон Гольцмана — Изак Швалб, бритый субъект с неимоверно красным, словно освежеванным лицом. К тому же он необычайно возбужден и очень горячится. Он раскладывает карты как полагается, один ряд под другим, и проигрывает, проваливается сквозь землю, как библейский «Корей». Почти каждую его карту бьют «как миленькую», и не говоря уже о том, что каждому понтеру банкомет должен выплачивать в два, в три, в четыре и даже в девять раз больше против ставки, его еще вдобавок всячески ругают, не жалея бранных слов. Со всех сторон простираются к нему руки, и остроты, смешанные с руганью, сыплются как из рога изобилия.

— Швалбочка! Мне две кроны, две болячки тебе в твою красную рожу!

— Выкладывай, Швалбочка, за даму пик четвертную ставку! Швалб, я раздену тебя сегодня донага, останешься, в чем мать родила!

— Кровь из тебя вон, Швалбочка! До смерти загоню тебя, Швалбочка, до смерти!

— Ага! Бита. Деньги на бочку, Изак — мошенник!

Чем больше ругают Швалба, тем больше он горячится, а чем больше он горячится, тем больше проигрывает. Щеки его пылают, как «соломенная крыша».

— Холера! Остановись! Передай банк другому. Видишь ведь, паршивец, что тебе не везет.

Так советует ему Гольцман как компаньон и добрый друг. Но разгорячившийся Изак Швалб не щадит и своего компаньона.

— Прочь, дохлый пес, старый холостяк! Кому нужны твои советы?

Банкомет Изак Швалб горячится, тасует карты, смотрит красными воспаленными глазами в тарелку и видит, что касса с минуты на минуту тает. Тогда он с глубоким вздохом запускает руку в боковой карман и дрожащими пальцами вытаскивает туго набитый деньгами бумажник. Оживление в рядах игроков возрастает.

— Что, брат Ицикл? Заехал в «Кишинев»? * Заезжай, заезжай, мошенник! Провалиться тебе сквозь землю с твоими деньгами!

Это произнес тощий, долговязый актер с острым кадыком. Сестра директора, Златка Гольцман, расхохоталась. Все мгновенно обратили на нее взоры, отчего она страшно оробела, покраснела до корней волос и почувствовала, что сгорает со стыда. Рафалеско сжалился над ней и предложил ей поставить сообща «на трефового туза», — «сегодня везет на трефы». Она еще пуще покраснела и обратила на него благодарный взгляд. Сердце девушки забилось, затрепетало. «Ах, если бы он вздумал подойти ко мне, стать поближе...» Точно угадав ее мысли, Рафалеско подошел к девушке вплотную и стал возле нее. Она почти вдыхала аромат его длинных белокурых волос и млела от блаженства. «Боже, разве есть на свете еще другой такой ангел в человеческом образе, как этот юноша с длинными белокурыми благоуханными волосами и прекрасными кроткими глазами? Нет, не было

и не будет другого такого!..» Всякий раз, когда Рафалеско приближался к ней, она чувствовала, что сердце у нее вот-вот разорвется. Она теряется, не знает, на каком она свете, и все у нее валится из рук. Мать, Сора-Броха, в таких случаях спрашивает своим громовым голосом: «Что с тобой, доченька?» Златка еще пуще краснеет и сама себя проклинает за свою застенчивость. И все же она счастлива, когда стоит поблизости от этого красивого юноши с благоуханными белокурыми волосами. Если же он еще подарит ее взглядом, хотя бы одним взглядом своих добрых, лучистых, нежных глаз, сияющих, как голубое небо, и излучающих солнечное тепло, тогда ее счастью нет и не будет предела... Не все ли ей равно, бедной Златке, обращены ли эти глаза на нее одну или всех равно одаряют лаской своих лучей. Только бы в них, в этих глазах, отражалась небесная лазурь, только бы они излучали солнечное тепло.

Банкомет Изак Швалб роздал больше половины карт, собрал в тарелку деньги и медленно, не торопясь, начал раскладывать вторую колоду, карту за картой. Жадными глазами следила толпа игроков, какая карта бита. Шум и крики, остроты, брань и хохот становились все оглушительнее. А Швалб горячился и платил... Но вот в четвертом ряду у банкомета выпал трефовый туз. Поднимается крик.

— У кого трефовый туз?

— Рафалеско. Что же ты молчишь? Ты ведь выиграл... Получай деньги.

— Мы выиграли, — говорит Рафалеско Златке.

Она в восторге не столько от выигрыша, сколько от того, что Рафалеско разговаривает с ней, со Златкой... Рафалеско предъявляет банкомету карты, и публика смотрит на него с завистью: «Вот везет! Ну и счастливец! Ему кто-то дорогу перебежал с полными ведрами...» И актеры вымещают всю свою злобу на банкомете.

— Туз треф!.. Плати вчетверо... Давай деньги, Ицикл, давай!

— Даю, даю! — говорит Швалб и с удовольствием отсчитывает Рафалеско учетверенную ставку. С удо-

вольствием, потому что Рафалеско непохож на других. Его не приводит в восторг выигрыш, но он и не шумит, не ругается, когда проигрывает. Он вообще какой-то особенный, не похожий на остальных. Рафалеско любят все актеры и актрисы без исключения. А больше всех любит его сестра директора Гольцмана, бедная Златка.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Телеграмма из Лондона

Сестра директора Гольцмана, Златка, и сама не рада, что так случилось. Она не может объяснить себе, что с ней творится: стоит ей увидеть Рафалеско, как она теряется и ноги у нее подкашиваются. А если увидит его в театре, на сцене, тут уж она сама не своя: только услышит его голос, сразу приходит в такое замешательство, что вот-вот, кажется, придется увести ее со сцены. Не раз она получала за это суровые нахлобучки от брата. (Гольцман — строгий режиссер даже по отношению к собственной сестре.) Он говорил в присутствии всех актеров:

— Ну и играла ты сегодня, Златка, как настоящая корова! Руки и ноги бы тебе перебить за такую игру.

Златка и сама знает, что руки и ноги ей надо перебить за такую игру. Но чем она виновата, что полюбила втайне этого прекрасного юношу с длинными белокурыми благоуханными волосами и ясными, нежными, добрыми глазами? А полюбила она его с первого взгляда, как только приехала сюда с матерью. И зачем ей было приезжать сюда? Чего ей недоставало дома, в местечке? Училась шить, понемногу зарабатывала. Так нет же, брат начал забрасывать их письмами, письмо за письмом, и деньги послал, — только бы они приехали, во что бы то ни стало приехали и притом как можно скорее. Ну вот они и приехали. И ее тотчас приспособили к делу. Вначале она играла роль субретки: ее нарядили в короткое плать-

ице и надели ей такие узкие ботинки, что глаза у нее на лоб полезли. Затем нарумянили щеки, подвели глаза и стали учить, как стоять, как ходить, как кружиться и вертеться, как играть глазами. И кто ее учил? Брат, родной брат!.. Она жаловалась матери, но та утешала ее:

— Представь себе, дочь моя, что ты служишь у чужих и тебя заставляют лезть на чердак. Лучше бы это было?

Потом брату захотелось во что бы то ни стало сделать ее примадонной, но у нее не оказалось голоса. Брат был вне себя от гнева и передразнивал ее, показывая, как она поет:

— Ты визжишь, сестрица, как настоящая кошка, когда ей наступили на хвост...

Златка почувствовала некоторое облегчение только тогда, когда брат дал ей роль Юдифи в «Уриеле Акосте», и не столько потому, что эта роль ей очень понравилась, сколько оттого, что роль Акосты играл белокурый красавец с нежными, ясными, добрыми глазами, которому имя Рафалеско. О, что за прекрасное имя Рафалеско!.. Рафалеско!.. Из-за него одного стоит страдать, мучиться, разучивать роль, повторять, как попугай, причудливые слова, которых она совершенно не понимает, и выступать каждый вечер на сцене, которую она ненавидит от всей души. Ох, один бог в небесах знает, до чего ненавистны ей театр, сцена, артисты! И больше всех невзлюбила она компаньона брата — Изака Швалба. Она не может спокойно смотреть на красную физиономию этого человека, который не раз приставал к ней за кулисами. Когда никого поблизости нет, он больно щиплет ее и все спрашивает, любит ли она его: «Яблочко мое! Ты любишь меня, яблочко?» Златка молчит: «Господь бог бы его так полюбил, эту распухшую красную рожу, как я его люблю!» — думает она про себя. Она готова бежать, куда глаза глядят, но боится брата. Она бы плюнула на театр, но как расстаться с Рафалеско, с этим прекрасным белокурым юношей с ясными, добрыми, кроткими глазами?

Ах, Рафалеско! Рафалеско! Это дорогое, сладостное имя у нее всегда на устах. Это милое, дорогое имя она шепчет во сне и наяву. И не раз, лежа в постели, обнимала она холодную подушку и, прижимая ее к своей теплой девичьей груди, вспоминала слова из своей роли — роли Юдифи — в «Уриеле Акосте»: *«Что может помешать мне горячо прижать его к своей груди?..»* И она еще крепче прижимала холодную подушку к своей теплой девичьей груди, целовала ее во мраке ночи своими горячими девичьими губами и тихо-тихо повторяла чудесное имя: «Рафалеско! Рафалеско!»

По утрам, чуть только мать разбудит ее, первая ее мысль — о милом, дорогом Рафалеско. Сейчас она опять увидит его, будет репетировать с ним вместе. А потом она будет рядом с ним на сцене. С трепетным чувством, о котором никто даже не догадывается, подойдет она к нему близко-близко и будет жадно ловить его пленительные сладостные слова: *«Юдифь, Юдифь! На каждом листочке твоих цветов горячими слезами написано, чем мы стали друг для друга...»* И сердце ее заранее трепещет: «Рафалеско! Рафалеско!..»

Едва завидя его, она сразу теряется, меняется в лице, и трепет пробегает по всему ее телу. Она смущенно прячет лицо, чтобы скрыть обуревающие ее чувства.

Никто из всей актерской братии не замечает этого. Все слишком заняты картами. Один только Гольцман, который видит даже тогда, когда не смотрит, и слышит даже то, чего не говорят, — один Гольцман все видит, все слышит и думает про себя: «Слава богу, — не сглазить бы, — «парень» сам идет на удочку... Если удостоимся божьей милости, то в скором времени с помощью господней покажем кукиш всему миру и скажем аминь!»

— Морской бык! Что ты вдруг застопорил? Карты раздавай! — кричит Гольцман компаньону.

— Даю, даю! — отвечает Швалб, раздавая карты. Лицо его горит огнем-пламенем.

Вдруг раздается стук в дверь: раз, два, три. «Войдите», — отвечает несколько голосов. Открывается дверь. Оказывается, телеграмма.

— Изаку Швалбу.

— Откуда телеграмма?

— Из Лондона.

— Что за телеграмма?

— Погодите, дайте ему прочесть.

— Как может Швалб прочитать? Не его ума дело.

Изак Швалб первым долгом вернул из банка деньги всем игрокам. Это отняло немало времени: надо же иметь голову министра, чтобы помнить, кто сколько поставил. При этом на голову банкомета, по обыкновению, сыплются в изобилии проклятья и в воздухе летают язвительные насмешки и остроты.

Раздав деньги, Швалб на минуту побежал с телеграммой к хозяину гостиницы и попросил его прочитать, что там написано. Актеры остались в напряженном ожидании. Какие такие секреты могут быть у Швалба от его компаньона?.. Больше всех волновался, конечно, сам Гольцман. Он был крайне сконфужен тем, что компаньон оставил его одного среди всей этой актерской оравы. Он стоял как пришибленный, и все в нем кипело от гнева на этого грубияна Швалба. И зачем он только связался с ним?! «Холера бы взяла этого папиросника!..» Наконец с сияющим лицом вбежал Швалб и выпалил, обращаясь ко всей компании:

— Ребята, мы едем в Лондон!

Трудно представить себе впечатление, произведенное на актеров этим известием. Один вскочил на стол и поднял правую руку:

— Ай, Лондон! Лондон! Лондон! Да здравствует Лондон!

Другой ударил себя по ляжкам:

— Меня уже давно тянет в Лондон, черт бы его побрал!

Третий — долговязый, сухопарый актер в клетчатых брюках — выпрямился во весь рост, заложил руки в карманы и, неимоверно таращa глаза, начал нараспев говорить «по-английски»:

— О, йес, йес, май дир, май бир, май кайк, май стайк, май ринг, май кинг[1].

Четвертый хлопнул одного из товарищей по плечу и пустился в пляс, распевая хриплым голосом украинскую песенку, бог весть откуда занесенную им сюда: «Гей був та нема, та пойихав до млына!»[2]

— Тише, байструки! — ударив кулаком по столу, повелительно закричал Гольцман тоном хозяина, сознающего свою власть над этими людьми. — Ишь, разошлись! Есть чему радоваться! Ни капли уважения к старшему. Волдырь вам на всю щеку! Холера вам в спину!

Затем он обратился к Швалбу:

— А ну-ка покажи телеграмму, Швалбочка.

— Показать телеграмму? — переспросил Швалб нерешительно. — Телеграмму показать? Хорошо, отчего не показать? Конечно, я тебе покажу. Непременно покажу. Но не сейчас, немного погодя. Я должен тебе раньше кое-что рассказать. Пойдем, если хочешь, со мной в погребок, там я тебе покажу.

И Швалб обратился ко всей компании:

— Кто идет со мной в погребок?

— Как «кто»? Все.

— В погребок! в погребок!

С криком и шумом вся братия покинула «Черного петуха» и отправилась в погребок.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

В погребке

Это собственно не погребок, а комната, даже не комната, а винная лавка. И даже не винная лавка, а попросту трактир. Но в Черновицах его называют «погребком». Когда в Черновицах говорят «идем в

[1] Набор ничего не означающих слов, частично английских, частично выдуманных.

[2] Ой был, да не стал, да поехал на мельницу.

погребок», все понимают, что речь идет о погребе Меера, сына Бешла — так зовут владельца «погребка» (его отец, покойный Бешл, тоже был трактирщиком).

В этот-то погреб пришли наши актеры. Каждый угощался за свой счет, сообразно состоянию своего кошелька после девятого вала: кто заказывал морковник, кто кисло-сладкое жаркое с огурцами, а кто — одни огурчики. За вино платил Изак Швалб.

— Сегодня я угощаю, — сказал он.

После первого же стаканчика муската у Изака Швалба развязался язык, и он начал рассказывать компаньону Гольцману всю историю от начала до конца, ничего не утаивая. Накажи его господь, если он скроет от него хоть что-нибудь. Зачем ему врать, когда можно говорить правду? Как говорится, карты на стол. Он, Изак Швалб, уже давно заметил, что стал Гольцману в тягость, что он ему не нужен, совершенно не нужен. И все же он не обращал на это никакого внимания и продолжал поддерживать с ним компанию. Ради чего? Только ради сестры — примадонны. Но с некоторого времени и примадонна начала как будто выходить из моды. С тех пор как забросили лучшие оперетты ради «Уриеля Акосты» и тому подобных пустяков, театр держится на одном Рафалеско. Все Рафалеско да Рафалеско. Ну что же? Лично его, Швалба то есть, это нисколько не трогает. «Уриель Акоста» — пусть будет «Уриель Акоста». Но сестра, что с ней поделаешь? Ей, говорит она, тоже хочется аплодисментов. Он подумал, подумал, и взял да написал своему брату Нислу в Лондон письмо, обрисовал в нем свое положение: так, мол, и так. Он, Изак Швалб, всегда так поступает: чуть что, он сейчас же строчит письмо брату. «Дурак ты безмозглый! — отвечает брат из Лондона. — До каких пор скитаться по белу свету? Чего тут долго думать? Возьми, пишет он, сестру и приезжайте оба ко мне в Лондон... У меня тут, пишет он, для вас есть дело — золотое дно. У нас здесь, пишет он, есть театр, называется он «Павильон-театр». Вот это

театр! Игрушка! А артисты, пишет он, здесь подобрались один к одному: чурбаны, капустные кочаны, а все же загребают золото лопатами. Потому что публика здесь, пишет он, совсем не избалована: что подадут, то и лопает, да еще пальчики облизывает. Я уже переговорил, пишет он, с кем надо, и мне ответили: «Пусть только приедет твой брат с сестрой-примадонночкой — мы ее прямо озолотим. Мы, говорят они, слыхали о ней, читали в газетах. Доброй славой, говорят они, мир полнится». Ну и еще много разных разностей пишет ему брат Нисл из Лондона. А он, Изак Швалб, взял да и накатал ему письмо: так, мол, и так, поехать не штука, да надо наперед знать, на что едешь — условия, гарантии, контракт... И снова получает он ответ от брата Нисла из Лондона: «Скотина, ты, пишет он, осел вислоухий. Когда пишут тебе — приезжай, значит, есть уже все, что надо: условия, гарантии и контракты». На это Изак Швалб снова накатал ему письмо, так, мол, и так: «Если есть гарантия, что я заработаю столько-то, а сестра столько-то и столько-то, то пусть он шлет телеграмму, и мы сейчас же выедем». И вот получена эта самая телеграмма.

— Ну? Что скажешь про моего брата? — спросил Швалб компаньона.

— Что мне сказать? — ответил ему Гольцман с притворно спокойным видом, разглядывая свои острые пальцы. — Я уже давно говорил, что твой браток славный парень. Ты ему в подметки не годишься. Конечно, хорошо жить в Черновицах, когда имеешь брата в Лондоне, что и говорить. Но, знаешь ли? Я бы все же не прочь посмотреть на эту телеграмму собственными глазами.

Швалб хлебнул вина.

— Ты разве умеешь читать?

— Мне и не надо читать: я хочу только видеть телеграмму.

— Что там смотреть? Телеграмма, как все телеграммы, — сказал Швалб и повернул телеграмму к свету, падавшему из окна. Не успел он оглянуться, как телеграмма была уже у Гольцмана в руках.

Минуту спустя Гольцман подозвал секретаря, «человека с образованием», и тот прочитал телеграмму:

Если приезжать, то только с Рафалеско.

. . . .

Гольцман не сделал упрека своему компаньону, даже слова не сказал. Только взял телеграмму и мазнул ею Изака Швалба по лицу.

ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

Кто он?

Знаменитая странствующая труппа «Гольцман, Швалб и К°» уже готовилась покинуть Черновицы и продолжать свой скитальческий путь. Нисл Швалб уже прислал из Лондона еврейскую газету, на первой странице которой была помещена большая реклама, напечатанная огромными кричащими буквами:

!!!СЕНСЕЙШОН[1]!!!
ЛЕО РАФАЛЕСКО,
величайший еврейский стар[2],
ошеломивший весь мир,
вскорости в Лондоне,
в «Павильон-театре»!!!

Уже начали укладываться в дорогу. Оставалось только дать еще один спектакль в Черновицах — в бенефис Рафалеско. К этому бенефису готовилась вся черновицкая молодежь со студенческим союзом во главе. Билеты были распроданы молодежью все до единого. В Черновицы съехались молодые люди из окрестных местечек, куда еврейский театр еще не заезжал ни разу со времен Адама и по сегодняшний день.

---

[1] Сенсейшон *(англ.)* — сенсация.
[2] Стар *(еврейск.)* — звезда.

Переполненный публикой зал для артиста — залог успеха, в особенности для такого артиста, как Рафалеско, который на каждом спектакле загорался так, словно выступал на сцене впервые. Рафалеско давно уже не переживал такого подъема, как в этот вечер. Он напряг все силы своего цветущего дарования и создал на этот раз нового изумительного Акосту, тихого, одинокого философа, настоящего Спинозу. Сам Рафалеско не имел этого в виду, это вышло у него само собой, интуитивно. С поразительной естественностью он показал, что такое истинная победа: не тот богатырь, кто побеждает другого, а тот, кто в тяжелой внутренней борьбе в состоянии побороть самого себя.

Возможно, что в другом месте его игра не произвела бы такого впечатления, как в Черновицах. Но на этот спектакль пришли как раз те «элементы», которые втайне вели борьбу с мракобесием. Эти неведомые герои редко побеждают и чаще всего падают в борьбе, как Уриель Акоста. Театр дрожал от оглушительных аплодисментов и бурных оваций. Студенческая молодежь вынесла Рафалеско на руках, осыпала его цветами, поднесла массу подарков, которые были осмотрены актерами и сейчас же спрятаны Гольцманом. Несколько молодых людей прочитали адреса, которых никто не слушал, кроме кучки студентов. Словом, это был такой триумф, который редко выпадает на долю даже таких баловней судьбы, как Рафалеско.

После первого акта Гольцман, бывший, как всегда, настороже, заметил среди молодежи, которая любит толкаться за кулисами, какого-то странного, густо обросшего субъекта, со знакомым заспанным лицом и знакомыми выпученными глазами. Субъект не понравился Гольцману с первой же минуты. Не понравилось ему, что он лезет за кулисы, расталкивает всех и хочет непременно пробиться к Рафалеско. Гольцман окликнул его и «честью» попросил убраться.

— Дяденька, — сказал он ему самым вежливым тоном, — не будьте тем, кто хрюкает, и не лезьте туда, куда не следует...

После второго акта повторилась та же история: сонный субъект с выпученными глазами снова начал

протискиваться к Рафалеско, и Гольцман выпроводил его, прибавив несколько колкостей на прощанье:

— Нельзя же быть свиньей! Говорят ему: куда прешь? А ему хоть бы что — как с гуся вода!

После третьего акта Гольцман застиг его уже возле самой двери, в двух шагах от Рафалеско. Он схватил его за шиворот и попросту вышвырнул вон без всяких церемоний да еще благословил на прощание: «Холера ему в левую сторону живота, а за компанию и всем этим щенкам, которые путаются здесь под ногами, дьявол их знает, зачем и для чего». Уже после окончания спектакля, когда артисты начали переодеваться, Гольцман снова увидел заспанного субъекта, который все-таки успел пробраться в уборную Рафалеско. Как разъяренный тигр, Гольцман бросился к нему. Но, раньше чем он успел схватить его за шиворот, субъект уже обнимался с «парнем», и оба долго и горячо целовались, как родные братья.

Гольцман вытаращил глаза, разинул рот и застыл в изумлении. Если бы к нему явился его отец с того света, Гольцман не был бы так поражен. Гольцман был похож в эту минуту на глиняную глыбу, на незаконченную статую, в которой скульптор хотел изобразить ужас, что ему, однако, не удалось. Его странно вытянутое рябое лицо приобрело комическое выражение, а его пронизывающие глаза как будто говорили:

— Люди! Разрежьте меня на кусочки! Выбросьте мое мясо собакам! Но только скажите мне: *кто этот субъект, который целуется с моим «парнем»?*

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Смерть матери

Кто помнит кассира Бени Рафаловича, заспанного меланхоличного парня с выпученными глазами, по прозвищу «Сосн-Весимхе»? С ним-то и целовался и обнимался Рафалеско.

Как он попал в Черновицы? Откуда и для чего? Что слышно в Голенешти? Как поживает Беня Рафалович и вся его семья? Как поживает кантор Исроел, канторша Лея и их дочка Рейзл? Об этом Симхе всю ночь напролет рассказывал Рафалеско.

Придя в гостиницу «Черный петух», они тотчас забрались в комнату Рафалеско и спросили у Гольцмана, нельзя ли устроить так, чтобы их оставили одних.

— Ох, с величайшим унижением! — сказал Гольцман, бросив сверкающий пронизывающий взгляд в сторону меланхоличного «мастодонта» с выпученными глазами.

Он оставил их наедине и громко распорядился, чтобы никто не смел заходить к ним. А сам — не в упрек ему будь сказано — уселся в соседней комнате у двери и, приложив ухо к щелочке, все время подслушивал, не пропуская ни одного слова из разговора, происходившего между «парнем» и косматым заспанным субъектом из Голенешти.

— Слушай же, душа моя, милый Лейбл, что я тебе расскажу, — начал «Сосн-Весимхе» своим монотонным голосом, который на этот раз звучал несколько живее обыкновенного. — У меня для тебя столько новостей, что трех дней и трех ночей, понимаешь ли, не хватит, чтобы все рассказать. Во-первых, Голенешти совсем не то Голенешти, что раньше. Одесса, Варшава, Париж! А люди? Совсем не те люди, что прежде. И кому мы всем этим обязаны? Еврейскому театру — помнишь его? С того времени, как побывал театр, все у нас изменилось. Все, понимаешь ли, пошло по-другому. Что и как по-другому, я и сам не скажу, но по-другому... О вашей семье и говорить нечего. У вас вообще все прахом пошло. Прежде всего хозяин, твой отец то есть. Как только ты удрал тогда в ту субботу вечером, — помнишь? — он приказал раз навсегда: «Отыскать и привести! Живого или мертвого, но привести!» Вот мы оба, я и твой брат Аншл, пустились в путь, понимаешь ли, по белу свету искать вчерашний день. После расследования дела и допроса свидетелей правда всплыла наружу,

как масло на поверхность воды. Стало ясно, что все это не иначе, как дело рук Щупака. А ему, Щупаку, некуда было податься, кроме как в Румынию. Поэтому и мы отправились в Румынию. Так и есть. Приехали, понимаешь ли, в Яссы и начинаем расспрашивать у людей: не видали ли вы таких-то и таких-то актеров, бездельников, шутов гороховых, одного — с нелепым морщинистым лицом, а другого — коротконогого, с шельмовскими глазами, он, знаете ли, приплясывает на ходу? И вот мы узнаем, понимаешь ли, что там видели много еврейских актеров — бездельников, шутов гороховых, и у всех — нелепые лица и шельмовские глаза. Но приплясывают ли они на ходу или ходят приплясывая, это, говорят, мы не успели заметить. В другой раз, с божьей помощью, обещают, понимаешь ли, присмотреться внимательнее. Что ты скажешь про этих баранов? Послушай же, что было дальше. Видим, что в Яссах мы околачиваемся зря, ищем прошлогодний снег. Что делать дальше? Мы пустились, понимаешь ли, дальше и дальше, пока не приехали в самый Бухарест. Всю дорогу твой брат Аншл уверял меня, что найдет тебя: «Я, говорит, не я, и имя мое не Аншл, если я их не поймаю». — «Дай бог, говорю, из твоих бы уст да прямо в господни уши». Так оно и было. Только приехали в Бухарест, твой братишка, Аншл то есть, как начал, понимаешь ли, кутить, так все кутил и кутил, господь спаси и помилуй. Денег ведь нам дали полную шапку — чего их жалеть? Где только театр, кафе, кабачок, понимаешь ли, он туда. «Аншл, — говорю ему, — побойся бога, говорю, что ты, говорю, делаешь, ты ведь, говорю, жжешь деньги!» А он мне в ответ: «Не твоего ума дело, молчи». Молчу, — что же делать? Скверно. Проходит день, другой, третий, а деньги тают, как снег, скоро не хватит. А он говорит: «Пиши отцу, чтобы прислал денег». — «Аншл, — умоляю я его, — ради бога, говорю, что это будет, говорю, чем это, говорю, кончится?» А он мне: «Не твоего дедушки дело! Говорят тебе писать — пиши». Плохо, что делать? Пишу. Между тем сидим мы однажды в театре или в кабачке, «Парадизом» назы-

вается. Играют девушки, пляшут и поют, а одна, Маринеско-Миланеско зовут ее, правда, женщина подходящая, понимаешь ли, первая мастерица выманивать деньги (тут верхняя губа «Сосн-Весимхе» немного приподнялась, он сделал попытку улыбнуться, — первый раз за всю ночь). Гляжу, понимаешь ли, у самой двери стоят какие-то два знакомых человека, оба одеты по-праздничному. Присматриваюсь, готов поклясться, что это ты, Лейбл то есть. «Да, это он, думаю, это он, клянусь всем святым». Поднимаюсь с места и говорю твоему брату Аншлу: «Аншл, говорю, ты видишь, говорю, он здесь, говорю». А он мне: «Кто?» А я ему: «Лейбл». А он мне: «Это тебе, говорит, снится. Ты спишь». Туда-сюда, пока суд да дело, пока я собирался за тобой вслед, понимаешь ли, никого уже не было. Скверно. Что делать? Между тем получается письмо из Голенешти, что твоя мама опасно больна и что Аншл должен как можно скорее возвратиться домой. Тогда я говорю Аншлу: «Едем, что ли?» А он мне: «Напиши письмо, что мы уже напали на настоящий след, пусть только вышлют еще немного денег». Я ему: «Аншл, говорю, ради бога, говорю, либо поедем домой, либо поедем дальше: одно из двух». А он мне: «Не твоей бабушки дело, говорю тебе писать, ну и пиши». Скверно, что делать? А я возьми да напиши, понимаешь ли, письмо в Голенешти твоему отцу, значит, но, разумеется, иносказательно: так, мол, и так пишу, дело такого рода, пишу, чтоб вы знали, пишу, что наша поездка — пустое дело, ищем вчерашний день, только деньги на ветер швыряем, а делать — ничего не делаем. А то, что, пишу, я вам до сих пор писал, будто мы горы переворачиваем, так это я писал только потому, что Аншл велел мне так писать. Что мне делать, пишу — я ведь человек подневольный. Мне велят писать, я и пишу. Поэтому, пишу, больше денег не высылайте, а когда вы перестанете посылать деньги, пишу я, мы ведь в конце концов должны будем приехать домой. Так вот я им и написал — намеками, понимаешь ли. А что мне было делать? Скажи сам, разве я не прав? Слушай же дальше. Не прошло, понимаешь ли и

недели, получаем телеграмму в Бухарест, короткую, но хорошую, всего-навсего три слова: «Приезжай, мать умерла...»

Едва «Сосн-Весимхе» вымолвил эти слова, Рафалеско схватил его за обе руки:

— А? Что ты говоришь? Мама?..

— Приюти ее в светлом раю, владыко небесный! Как же, дитя мое, могло быть иначе? Шутка ли, что она пережила! Она ведь и без того была хворая, да простит она мне, кожа да кости, еле-еле душа в теле... А как ей жилось в доме твоего отца, ты тоже, наверное, помнишь, — не сладко ей жилось, а тут одна бомба за другой. Я не знаю, кого из вас она больше любила — тебя или Аншла. Потому что покуда Аншл сидел в Бухаресте, у нее еще была надежда, что он приедет вместе с тобой, но как только она узнала, понимаешь ли...

Нет! Рафалеско больше ничего не понимал. Он закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок. «Сосн-Весимхе» растерялся. Утешать, успокаивать — на это он не был способен. И он начал ломать руки и тихо причитать: «Скверно! Скверно! Что делать?» Между тем рыдания Рафалеско услышали в соседних комнатах и к нему бросились сначала Гольцман, потом старуха Сора-Броха, а за ней Златка. Поднялась суматоха.

— Что? Что случилось? — кричали все трое.

— Мама умерла! — сказал Рафалеско и с плачем бросился на шею Гольцману.

Гольцман едва сдерживал слезы, лицо его искривилось, как у бабы, собирающейся плакать. На него глядя, расплакалась и Златка, а старая Сора-Броха начала ломать руки и рыдать, причитая нараспев:

— Горе мне горькое! Доля моя несчастная! Гром меня поразил! На кого она оставила своих деточек, своих бедных писклят, своих маленьких птенчиков? Кто их будет кормить? Кто их будет поить? Кто подумает, кто позаботится об одиноких сиротах, которые остались одни, как лодка среди моря? Потому что, покуда мать живет, отец остается отцом, а когда мать закрывает глаза навеки, нет, лучше, уж не дожить до этого!..

— Тише! Разревелась тоже! — накинулся на мать Гольцман и заодно уже раскричался на обросшего щетиной угрюмого кассира с выпученными глазами, за «добрую» весть, которую он принес «парню».

— Чучело гороховое! Кто вас просил? Кто вас тянул за язык? Такие «добрые» вести передают через недруга...

«Сосн-Весимхе» сидел, как пришибленный. Но тут Рафалеско заступился за него. Он намекнул, что «Сосн-Весимхе» у него гость, и он хочет, чтобы сегодня ночью его оставили в покое, только на одну ночь... Гольцман понял намек. И хотя ему не очень-то хотелось оставить «парня» одного с этим «чучелом гороховым», но что поделаешь? Теперь не те времена, что прежде. Теперь, если Рафалеско что сказал, то кончено... И Гольцман покорно заглянул ему в глаза и выместил всю свою злобу на матери и сестре.

— Чего сбежались сюда? Какого черта? Кто посылал за вами? Кто? Ишь, разревелись! Кто вас звал в плакальщицы, кто? — повторял Гольцман несколько раз. И, выгнав их из комнаты, Гольцман уселся на прежнее место и приник ухом к дверной щели.

Рафалеско, снова оставшись наедине с кассиром, стал просить его рассказать со всеми подробностями: как умирала мать, когда она умерла, поспели ли они к похоронам, какие были похороны? И «Сосн-Весимхе» должен был рассказать все от начала до конца и не раз и не два, а много, много раз.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Голенештинские новости

Всю ночь они не смыкали глаз. «Сосн-Весимхе» рассказывал о Голенешти, а Рафалеско прислушивался к его монотонному голосу, гудевшему, как надтреснутый колокол, и нескончаемо тянучему, как мед густой. Речь его то и дело прерывалась однообразными: «понимаешь ли» и «слушай же дальше» и

«скверно, что делать». Бедный Гольцман тоже не лег спать. Он не мог оторваться от дверной щелки. Не рисковал даже подняться со стула, боясь, как бы не послышался скрип. Бывали минуты, когда Гольцман сам себя проклинал за свое любопытство: как назло, его душил кашель. Но он сдерживал его изо всех сил и сидел, как на раскаленных угольях, слушая вместе с Рафалеско голенештинские новости.

В эту ночь, можно сказать, оба — Рафалеско и Гольцман — узнали гораздо больше новостей, чем за все эти долгие годы, что они скитались по белу свету.

Во-первых, насчет Бени Рафаловича. Боже правый, что сталось с Рафаловичем и всей его семьей! Полный разгром! Все перевернулось вверх дном. Начать с жены Рафаловича — Бейлки. Маленькая, тихонькая, слабенькая Бейлка угасла как свеча. Тихо, без единой жалобы и упрека, она ушла из этого мира, в котором испытала столько страданий из-за своих детей, так и не изведав ни одной светлой минуты в жизни. Тихая Бейлка хотела умереть так же тихо, как жила. Поэтому она никому не жаловалась на свое здоровье. Только тогда, когда ей стало очень уж плохо и всем уж было ясно, что с ней, Беня разослал людей по всем трактам за лучшими врачами и из кожи лез вон, чтобы спасти ее. Он говорил: пусть его разденут до последней рубахи, лишь бы Бейлка выздоровела. Но было уже поздно. Как свернутый клубок, как крохотное дитя, лежала маленькая тихая Бейлка на своей большой кровати. Ее губы были плотно сжаты, а впалые щеки побелели. Все время одна-одинешенька в большой комнате на большой кровати. Никого, никого поблизости. Беня был занят с врачами. Старшие сыновья — делами. Дочери — на кухне. Аншла и Лейбла не было. Только младшая дочь Башева сидела в уголке и плакала тихо, боясь разбудить мать. Нет, она уже не разбудит матери. Мама уже тогда спала крепким сном. Ее закрытые глаза на белом, слишком белом лице казались черными впадинами. Ее светлые, некогда прекрасные ресницы под белым лбом, повязанным белым платочком, придавали ее личику детски задумчивое выражение.

Одна рука, маленькая, белая, слишком белая детская рука, свисала с кровати. Казалось, ничего не изменилось, ничего особенного не произошло. И чудилось, будто она лежит, погруженная в глубокий сон. Было тихо. Сердце, столь любвеобильное и многострадальное, перестало любить и страдать, перестало биться. Было тихо. Страшная, святая тишина. Тишина смерти. Умерла Бейлка.

Бейлка умерла, а старая бабушка, мать Бени Рафаловича, потряхивающая головой «нет-нет», — бабушка живет. Она уже совсем из ума выжила, ослепла на оба глаза, а вот поди ж ты, — живет! Все старшие дети, сыновья и дочери, зятья и невестки расползлись во все стороны по белу свету. Беня никогда не умел ладить с детьми. Но с тех пор, как умерла Бейлка, он стал таким, что господь спаси и помилуй... Аншла он женил на той самой некрасивой, но знатного происхождения девушке из Бельц, которую он выбрал для сына еще раньше. Аншл не смеет теперь показаться отцу на глаза. Его поездки в Бухарест Беня ему никогда не простит. Вот Аншл и сидит безвыездно в Бельцах. Завел торговлю (у него табачная лавка) и, говорят, так огрубел, что его и не узнать... Одна из дочерей, средняя — Перл, развелась с мужем. Следующая за ней Иойхевед, отцу назло вышла замуж за брата музыканта Ехиела, тоже музыканта. А самая младшая, Башева, хотела учиться, стать акушеркой, но Беня Рафалович ей наперекор выдал ее замуж за него, за кассира «Сосн-Весимхе» то есть.

При этом «Сосн-Весимхе» опустил глаза и начал как бы оправдываться.

Он должен признаться, что давно уже заглядывался на Башеву, но не смел в этом признаться. Хотя, с другой стороны, чем он хуже брата Ехиела-музыканта? По крайней мере хоть родственник... Дальний родственник, но все же родственник. Башева сама, можно сказать, была этой партии не очень рада. Даже наоборот: долго «брыкалась», бесновалась, плакала и грозила покончить с собой, но в конце концов смирилась. Ему самому, «Сосн-Ве-

симхе», все это было очень тяжело. Башева, конечно, очень славная, можно сказать, лучше всех остальных. Но навязываться ей насильно он тоже не хотел. Однако Беня Рафалович заупрямился — раз и навсегда!.. словом, они поженились, и ничего. У них уже, слава богу, двое детишек, а скоро и третий будет... Все бы хорошо, если бы не новое несчастье...

— Что за несчастье? — испуганно спросил Рафалеско.

«Сосн-Весимхе» поспешил его успокоить.

— Ничего, ерунда. Только так говорится — несчастье, в сущности, беда не так уж велика. Хозяин, то есть тесть, дай ему бог здоровья, твой отец стало быть, на старости лет, понимаешь ли, стал очень набожен, — с горя, видно. Так, знаешь ли, набожен, что просто уму непостижимо! Днем и ночью, понимаешь ли, все молится да молится, читает псалтырь. Это бы все ничего, если бы не новая беда, большая беда. А именно, какая беда?.. Цадик...* Хозяин, тесть то есть, ни с того ни с сего стал горячим поклонником цадика и, понимаешь ли, часто к нему ездит. Не только ездит, но и подолгу засиживается там. Он, можно сказать, из дома цадика не выходит. Раньше ездил к Стефанештинскому цадику, а теперь к Боянскому. Уже больше полугода он сидит у Боянского цадика и не хочет возвращаться домой. Приехал в Бояны на осенние праздники, — и с тех пор только его и видели. Вижу, понимаешь ли, что этому конца краю не будет. Пишу ему, тестю то есть, одно письмо за другим: «Опомнитесь, дорогой тесть! Подумайте, чем это кончится? Все хозяйство прахом идет». А он глух, как стена, знает только одно: посылай, понимаешь ли, из дому деньги. Что у меня — колодезь бездонный? Неисчерпаемый источник?.. Вижу, скверно, что делать? И вот я решил, понимаешь ли, съездить в Бояны, переговорить с ним. Нельзя же оставить его на произвол судьбы... Но сколько с ним ни толкуй, — говори не говори, все равно что горох об стенку. У него только одно на уме: цадик. Все цадик да цадик, прости господи. О домашних делах с ним говорить нельзя, о Голенешти — ни в коем слу-

чае и слышать не хочет. Напоминать ему о детях — нельзя, в особенности о Лейбле и Аншле — боже сохрани произнести их имена в его присутствии! Аншла он называет «душегубом». Этот «душегуб», говорит он, свел в могилу мать. Если бы не Аншл с его злополучной поездкой в Бухарест, тесть не остался бы вдовцом. Это ясно, как день... Словом, приехал в Бояны к цадику, к тестю то есть, и застал его, понимаешь ли, в таком виде, какого и врагам не пожелаю. И вспоминать страшно, сердце болит. Поглядел бы ты на него — не человек, а тень: живот свисает, щеки впали. Дряхлый седой старик. Я даже расплакался. А он хоть бы спросил, как поживают дети. И не подумал! Только требует, понимаешь ли, чтобы я немедленно пошел с ним к цадику. Не иначе. Надо быть тверже железа, понимаешь ли, чтобы перенести это. Его горькая доля — всем нам хорошая наука. Хотел я с ним поговорить о домашних делах; пора, дескать, приняться за дела, не то плохо все кончится, — и слышать не хочет. Завтра, говорит, завтра. Сегодня, понимаешь ли, ему необходимо быть у цадика. И так со дня на день... Между тем, сидя однажды в заезжем дворе, я услышал разговор каких-то молодых людей о Черновицах... Об еврейском театре, о бенефисе какого-то, совсем еще молоденького, кровь с молоком, но уже знаменитого актера из Бухареста, по имени Рафалеско... Город «Бухарест» и слово «актер», «молоденький», «кровь с молоком» — все это, понимаешь ли, мне крепко засело в голову. «Не наш ли это Лейбл?» — думаю я... «Бухарест... Рафалеско... еврейский театр» — все это вяжется одно с другим. Я подумал-подумал и решил: раз уж я так много израсходовал на дорогу, то потрачу еще несколько геллеров и обязательно, понимаешь ли, поеду посмотреть на этого молодого актера из Бухареста.

Но прежде всего надо поговорить с хозяином, с тестем то есть, услышать, что он скажет. С чего начать? С театра? С еврейского театра в Черновицах? Услышав слово «еврейский театр», он стал, как тебе сказать, — краше в гроб кладут. Весь затрясся, схватил, понимаешь ли, палку и сказал, что если я хоть

еще одно слово произнесу, он мне череп раскроит. Скверно, что тут делать. Ну, вышел я на улицу, подрядил извозчика, заплатил, конечно, втридорога и поехал в Черновицы. Чего тут обманываться! А если бы мне надо было потратить невесть сколько денег, — разве это бы меня остановило? Чего стоит одно то, что я вижу тебя, слава богу, живым и здоровым. А почет, который тебе оказали сегодня в театре! Поверишь ли, когда поднялись крики «Рафалеско» и молодежь подхватила тебя на руки, у меня слезы выступили на глазах. Клянусь честью! Я вспомнил, понимаешь ли: боже, боже, это же наш Лейбл, тот самый Лейбл, который спал со мной в одной комнате... Кровать против кровати... Тут «Сосн-Весимхе» вытер слезы. Вдруг голос его и выражение лица резко изменились, и он заговорил сладеньким, вкрадчивым тоном:

— Помнишь, душа моя, как мы спали вместе в одной комнате, кровать возле кровати?.. Брюки, в которых были ключи, я всегда прятал под подушку... Думаешь, я не слышал тогда, как кто-то подходит к моей кровати и шарит в письменном столе... Все слышал, дай мне бог столько счастья. Но я не мог, понимаешь ли, глаз открыть...

А куда девались эти деньги, те... из письменного стола? То есть, у кого они остались? У того морщинистого актера с нелепым лицом? Или у того маленького, подплясывающего актера с шельмовскими глазами? А может быть, совсем у этой рябой «холеры», у того молодца, который когда-то назывался Гоцмахом, а теперь его уже величают Гольцманом?

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Распад семьи Рафаловичей

Уже начинало светать. Черновицкий рынок, каждое утро выставляющий свои товары напротив гостиницы «Черный петух», начал мало-помалу проявлять признаки жизни, наполняться людьми. А наши старые

знакомцы, «Сосн-Весимхе» и Рафалеско, все еще беседовали, то есть говорил один «Сосн-Весимхе», а Рафалеско слушал с напряженным вниманием, изредка вскакивая с места и прерывая его возгласами: «В самом деле?», «Что ты говоришь?», «Не может быть!» «Сосн-Весимхе» уверял его, что все это правда, истинная правда и клялся всем святым, клялся жизнью детей и жены, точно без клятвы Рафалеско ему бы не поверил. Его клятвенные уверения были так смешны, что Гольцман, все еще сидевший по ту сторону двери, глядевший в замочную скважину и внимательно слушавший весь этот разговор не мог сдерживать душивший его смех и втихомолку ухмылялся. Когда «Сосн-Весимхе» вдруг спросил Рафалеско о деньгах, исчезнувших из ящика письменного стола в Голенешти, наш Гольцман весь насторожился и плотнее прильнул ухом к замочной скважине, горя любопытством: ему хотелось узнать, что ответит на это «парень». Но в этот самый момент под Гольцманом неожиданно затрещал стул, и все трое страшно перепугались: Рафалеско и «Сосн-Весимхе» испугались шума, который в ночной тишине казался оглушительнее, чем был на самом деле. Гольцман же опасался, как бы Рафалеско не узнал, что он, Гольцман, всю ночь сидел за дверью и прислушивался к чужому разговору. Но прошло несколько минут в молчании, и все обошлось благополучно, так что Гольцман мог спокойно оставаться на своем прежнем посту. К сожалению, он не услышал ответа Рафалеско на вопрос, который больше всего его интересовал, и не потому, что плохо прислушивался. Наоборот, до его слуха сквозь замочную скважину доходило каждое слово. Тут была другая причина: Рафалеско попросту не хотел ответить на вопрос о деньгах. Он поднялся с места, прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. Затем вдруг остановился и вместо того, чтобы ответить новоявленному шурину на его вопрос, сам обратился к нему с вопросом:

— Ну, а как поживает мой бывший учитель кантор Исроел?

«Паренек совсем не промах — подумал Гольцман. — Его спрашивают о деле, а он про козу белу, зубы заговаривает: очень его интересует кантор, бывший учитель! Ну, коли так, то можно спокойно лечь спать. Да и пора уж — утро наступает. Леший его побери, этого угрюмого кассира! Холера ему в левую сторону живота!..»

С этими словами наш Гольцман тихонько подошел к кровати, разделся, лег, накрылся с головой одеялом и скоро заснул. А шурин и зять, Рафалеско и «Сосн-Весимхе», продолжали разговор.

«Сосн-Весимхе». Ты спрашиваешь про кантора Исроела? Эге-ге-ге! Он счастлив, очень счастлив.

Рафалеско. А именно?

«Сосн-Весимхе». А именно? Он теперь богач.

Рафалеско. Богач? Кантор Исроел стал богачом?

«Сосн-Весимхе». Еще каким богачом! Он уже не кантор и не меламед. Те-те-те! Совсем не тот Исроел, что когда-то. А канторша Лея, помнишь канторшу Лею? Теперь она уже и в будни носит жемчуга и одевается, понимаешь ли, как богачка, и перед каждым хвастается своей дочкой. Всюду и везде: «Моя Рейзл да моя Рейзл». Уши всем прожужжала своей Рейзл. Шутка ли, ее Рейзл теперь ее зовут уже не Рейзл. Теперь ее зовут Роза, и она знаменитая певица. В Лондоне она теперь. Ты еще помнишь ее? Не так давно она гостила у нас, в Голенешти, с целой ватагой певцов и музыкантов, из Лондона приехала. Целые дни, понимаешь ли, разъезжали по улицам в каретах и на велосипедах, — фу ты ну ты! — уму непостижимо! Дай нам бог обоим столько заработать, сколько ей стоила эта поездка. Шутка ли? Говорят, что у нее есть жених, у которого, слышишь, уйма денег, миллион, целый миллион. Все местечко ходуном ходило. По улицам за ней бегали. Шутка ли? Во-первых, она действительно стала такой красавицей, что посмотреть на нее, — глаза слепнут. Высокая, здоровая, цветущая! А поет, говорят, так, что на весь мир прославилась. Ну, и к тому же богата, очень

богата. Представь только, что позволяет себе дочка кантора: ей хочется купить, слышишь ли, наш дом, то есть дом тестя. А для кого, думаешь? для себя? Ничуть не бывало. Для кантора. Сам кантор и слышать об этом не хотел, канторша тоже. Зачем им, говорили они, такая громадина? Не по голове ермолка. Им лучше купить дом вдовы Нехи. Но дочь, Рейзл то есть, заупрямилась, понимаешь ли, обязательно подай ей дом Рафаловича. И не только дом — весь двор, с сараем, со всем хозяйством. Чего больше? Даже старого пса «Теркуша» — помнишь его? — даже его она хочет себе забрать. Если уж покупать, говорит она, то полностью со всем скарбом. Что дочка кантора себе позволяет, хе-хе-хе!

Второй раз в течение этой ночи смеялся «Сосн-Весимхе». Но видя, что Рафалеско не только не смеется, но, наоборот, очень задумчив и печален, кассир стал оправдываться:

— Я бы ни за что не продал дома. Но раз бог посылает такого покупателя, я подумал, понимаешь ли: пусть хоть хорошо заплатит. Скажи, разве я не прав?.. Что с тобой, Лейбл? С чего это ты вдруг так?.. Тебе, может быть, жаль, что мы продали дом. Поверь, душа моя, мне тоже было очень больно, может быть, еще больнее, чем тебе. Но что было делать? Дела наши пошли прахом. Хозяин, тесть то есть, — дай бог ему долгие годы! — отсиживается у цадика, дети все, понимаешь ли, разъехались кто куда, рассеялись, разбрелись, понимаешь ли, на все четыре стороны. Кто остался дома? Одна лишь старая бабушка, выжившая из ума, да моя Башева с детками. Себя я не считаю... Чего мне, в самом деле, надо? Мне, поверь, ничего не надо. Я живу, понимаешь ли, так, как всегда жил. Другой на моем месте — эге-ге-ге...

Это «эге-ге-ге» «Сосн-Весимхе» произнес протяжно, нараспев и махнул рукой. Что означал этот жест? Какой тайный смысл был им вложен в «эге-ге-ге»? Трудно сказать.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

В путь-дорогу

Напрасно с таким усердием оправдывался «Сосн-Весимхе» перед своим младшим шурином. Тяжелой головой, ноющим сердцем и всем своим существом Рафалеско был далеко отсюда. Самые различные чувства теснились в его душе: угрызения совести, раскаяние, тоска, любопытство, любовь... Такого смятения, как в эту ночь, Рафалеско еще никогда не переживал. В одну ночь, можно сказать, он потерял мать и отца, братьев и сестер, всех родных и дом, где он родился, и местечко, в котором протекло его детство. Все, все, что ему было когда-то мило и дорого, он потерял в эту ночь, потерял навеки. И ему казалось, что все, что было близко когда-то, стало далеким, бесконечно далеким, словно его отделяла от прошлого целая вечность. И все представлялось ему теперь каким-то смутным сновидением, все прошлое было окутано густым туманом, над которым простиралось ночное небо, полное тайн. Только одна звездочка глядит на него из-за темных туч, сияет ему во мраке ночи, блестит, и ярко светит, и мигает ему, и манит его — это Рейзл...

Все, что рассказал «Сосн-Весимхе», повергло Рафалеско в глубокое раздумье. Он искал ответа на один мучивший его вопрос: почему Рейзл так хотелось приобрести дом его родителей? Отчего именно их дом, а не какой-либо другой?.. Нет ли в этом какого-нибудь скрытого смысла? Неужели это сделано ради него? Или, быть может, он ошибается? Неужели ей так дорог тот дом, где он родился и провел свое детство? Неужели она еще не забыла его? Не забыла той клятвы, которую она дала ему в Голенешти, в ночь пожара на «Божьей улице», когда она призывала багровое, озаренное отсветом пожара небо в свидетели, что *«вечно, вечно будут они вместе, и что бы с ними ни случилось, куда бы ни забросила их судьба, их сердца будут неразлучны, навеки неразлучны».*

И он вспоминает ночь пожара, чудесную, пленительную, незабываемо-волшебную, счастливую ночь, когда Рейзл стояла перед ним, освещенная красным заревом, и казалась сказочно прекрасной, заколдованной принцессой ночи...

— Тук-тук-тук! — постучался кто-то в дверь.

— Кто там? — спросил, очнувшись от своих грез, Рафалеско.

— Это я, Бернард.

Дверь открылась, и в комнату вошел Гольцман, а вместе с ним ворвалась струя свежего утреннего воздуха.

Гольцман окинул острым, пронизывающим взглядом прежде всего «парня», который лежал на диване одетый, всклокоченный и задумчивый, затем его меланхоличного гостя, напоминавшего синагогального служку после предпраздничного ночного бдения. В эту минуту Гольцман испытал неодолимое желание схватить этого бессарабского недотепу за багровый затылок, дать ему хорошего тумака, намять, как следует, бока и спину, а затем спустить со всех ступеней ко всем чертям собачьим. Но Гольцман знает, что не всегда можно давать волю своим кулакам. Надо знать, когда и что... Он сдержался и, беглым взглядом окинув несмятые постели, сказал с притворной улыбкой:

— Глянь-ка, совсем не спали?

— Не спали, — ответили оба.

Гольцман почувствовал, что совсем не то ему хотелось сказать, и продолжал с той же деланной улыбкой:

— Даже не ложились?

— Даже не ложились.

— Всю ночь сидели и болтали?

— Всю ночь.

— Гм... Пора готовиться в дорогу, — сказал Гольцман, заглянув в глаза Рафалеско.

— Я готов, — ответил Рафалеско, соскочив с дивана. Лицо его, озаренное первыми лучами восходящего солнца, ласково глядевшего в окно, сияло.

«Юнец остается юнцом, — подумал Гольцман. — Счастье еще, что ему не пришло в голову вдруг, ни с того ни с сего, «посреди недели в субботу вечером», сесть на пол и справлять семидневный траур по умершей матери. А что было бы, например, если бы Рафалеско вдруг заявил, что хочет прокатиться в Бояны к цадику, чтобы свидеться с отцом, кающимся грешником? Или если бы ему ни с того ни с сего пришла в голову шальная мысль совершить путешествие в Голенешти? Мало ли, на что «парень» способен!»

Все утро Гольцман ни на минуту не терял из виду ни Рафалеско, ни его гостя. Под всевозможными, ловко придуманными предлогами он то и дело забегал к Рафалеско. Но все его старания были совершенно ни к чему. Рафалеско и сам почувствовал облегчение, когда его новоявленный шурин «Сосн-Весимхе» сел на подводу, а он, Рафалеско, расцеловавшись с ним, просил «сердечно» кланяться.

— И от меня передайте привет, — прибавил Гольцман.

— Самый сердечный, — отозвался «Сосн-Весимхе», повернув к нему свое заспанное, покрытое густой растительностью лицо, уже сидя на подводе, битком набитой пассажирами. То возвращались восвояси прибывшие из провинции на последний спектакль «любители искусства», возвращались с глубокой тоской в душе: бог весть, суждено ли им еще раз в жизни удостоиться счастья видеть и слышать такого подлинного художника, как Рафалеско...

— Именем бога Израиля, головой в землю! — благословил их Гольцман. Затем обратился к актерам: — Ребята, за работу!

Актеры начали укладываться в дорогу. А директор Гольцман, сдвинув цилиндр на затылок и вытирая пот с рябого лица, подгонял их и командовал точно так, как некогда — да не повторится это больше никогда! — командовал им Щупак, чтоб ему ни дна ни покрышки!

— Не так!.. Вот как!.. Раньше маленький сундук, затем большой. Нет, наоборот, я хотел сказать:

раньше большой, а потом маленький... Вот так... Ты чего вдруг остановился, чурбан этакий? Держи правый конец, а он возьмет левый. Нет, я хотел сказать, наоборот: ты левый, а он правый конец... Вот так... Эй, ты там, голова безмозглая, чего глядишь на меня, как грешник? Гляди лучше, как ты несешь трон царя Соломона, чтоб тебя на кладбище понесли! Осторожнее с короной Наполеона Бонапарта! Если ты, негодяй, разобьешь корону Бонапарта, я тебе голову разобью!..

Так командовал Гольцман, подгоняя актеров и осыпая их самой отборной бранью. На каждое слово, сказанное кем-нибудь из актеров, у него находилось ругательство. Кто-то пожаловался, например, что не хватает веревки. Гольцман крикнул:

— Веревок не хватило? Чтоб у тебя не хватило дыхания!

— Куда мне это положить?

— Положили бы тебя в землю!

— Может, здесь поставить?

— Поставили б тебя ногами вверх!

— Я думаю, придется взять еще одну подводу.

— Чтоб тебя погибель взяла!

— Извозчик требует прибавку!

— Дал бы тебе бог новую душу!

Одного из актеров Гольцман попотчевал совершенно новым, хотя и несколько длинноватым, но зато острым ругательством:

— Сколько дырочек есть во всей маце, выпеченной во всем мире со дня исхода евреев из Египта и до нынешней пасхи, — столько прыщиков тебе на язык, мошенник!..

Как назло, в эту минуту нелегкая принесла старую мать Сора-Броху с ее подушками и перинами.

— Уже? Ты опять со своим старым хламом? Ты меня доведешь до того, что я распорю все перины и выпущу весь пух.

— А ну-ка, пусть бог надоумит тебя на такое дело! — отвечала мать, единственное существо, которое не выказывало никакого уважения к директору.

Гольцман отплевывается, старуха уходит, но тотчас же возвращается. Еще что? Ничего особенного. Она хочет, чтобы сын пошел закусить, поел бы хоть что-нибудь: «Он и так уже, — говорит она, — выглядит, как покойник... Как черти едят, — говорит она, — так они и выглядят. Видать по щекам, какова работа зубам... Здоровье близко — ищи его в миске... Как кто жует, так тот и живет...»

Старая Сора-Броха, видимо, собралась высыпать весь запас подходящих к данному случаю пословиц. Но Гольцман не был расположен слушать ее и нетерпеливо прервал поток изречений:

— Смотрите, как она разошлась! Кончится это когда-нибудь или нет?

Гольцман даже закашлялся от злости. Актеры с трудом сдерживали душивший их смех. Но смеяться громко они боялись: с Гольцманом шутки плохи, он может им задать такого смеха, что плакать захочется.

Нет, Гольцман сегодня в скверном настроении, в очень скверном. Для него эта поездка в Лондон — точно кость в горле: ни проглотить, ни выплюнуть... Он сам не знает почему, но какая-то непонятная тяжесть давит на сердце. Этой ночью ему снились старые бабы, — «все мои беды и несчастья пусть падут на их головы!»

Конец первой части.

Часть вторая

СКИТАЛЬЦЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мистер Кламер

Лондонский Уайтчепель во многом напоминает такие города, как Бердичев, Вильна или Броды; точнее, это — соединение всех этих трех городов, вместе взятых. Еще точнее, это — своего рода Иерусалим. Нигде пульс еврейской жизни не бьется так учащенно, так полнокровно, как в Уайтчепеле. Нигде еврей не чувствует себя так привольно, в такой родной атмосфере, как в Уайтчепеле. Внешний облик, речь, манера разговаривать, оживленно размахивая руками, суетливая беготня, шумливость — все, все — точь-в-точь, как у нас. Даже профессии и заработки — те же. Я хочу этим сказать, что ничего нового, не ведомого нам, евреи Лондона не создали. Та же свирепая конкуренция, та же ожесточенная борьба за существование. Одним словом, приехав из России сюда, вы попадаете к себе домой. Вам не придется долго искать ни еврейскую гостиницу, ни синагогу, ни столовую с еврейскими обедами.

Коль скоро мы уже вспомнили об обедах, следует вам порекомендовать еврейский ресторан в самом центре Уайтчепеля под названием «Кафе Националь». Это не только еврейский ресторан, но и своего рода еврейский клуб. В любое время, когда бы вы ни зашли туда, вы встретите там людей самых разнообраз-

ных профессий, каких только вашей душе угодно: биржевых маклеров, докторов философии, коммивояжеров, миссионеров, еврейских актеров, ювелиров, конторских служащих, газетных писак, шахматистов, приказчиков, сионистов * и просто молодых людей, о которых никому не ведомо, кто они и чем занимаются, но которые всегда неизменно заполняют клуб, галдят, спорят, смеются, курят и суетятся. Больше всех пыхтит сигарой, шумит и галдит сам хозяин кафе, мистер Кламер, которого мы имеем честь вам представить.

Мистер Кламер родом из Галиции. Он — человек рассудительный, с пышной окладистой бородой а-ля Герцль *, что дает ему основание считать себя в высшей степени порядочным человеком и сионистом. Но он сочувствует больше территориалистам *. Собственно говоря, он даже не территориалист, он вообще держится в стороне от всех и всяческих партий и течений, потому что мистер Кламер, знаете ли, по своей природе скептик. Он никому не верит, кроме самого себя. Но когда люди говорят ему в глаза, что у него борода точь-в-точь, как у доктора Герцля, ему не остается ничего другого, как записаться в сионисты, с тем, однако, условием, что если мистеру Зангвиллю удастся получить для евреев подходящую территорию, он, мистер Кламер, против этого возражать не будет. Доктор Герцль, конечно, великий человек, настоящий джентльмен, но ведь и мистер Зангвилль не мальчишка какой-нибудь.

«Сам живи и другому не мешай» — таков жизненный принцип мистера Кламера. Мистер Кламер вообще человек «принципиальный». Он любит говорить по-английски и уверен, что владеет этим языком в совершенстве, как истый англичанин. К тому же он считает себя человеком образованным, искушенным в книжной мудрости. На свете нет ничего такого, чего бы он не знал. Свое дело, ресторан то есть, мистер Кламер ненавидит, как благочестивый еврей свинину. Но когда доходит до счета, он делает посетителю одолжение и принимает деньги, если тот платит. А не заплатит — пропало. У Кламера уж такой принцип:

«Всякий, кто голоден, да приидет и ест» — люди приходят, едят, пьют и уезжают потом в Америку, — ищи ветра в поле. Принцип хорош, да беда в том, что так аттестует себя сам Кламер, а не другие.

Мистер Кламер вообще очень много говорит о себе, о своем знании людей, о своем добросердечии. Да и вообще он любитель язык чесать, слишком уж много говорит. А почему бы ему не поговорить, раз другого дела у него нет? Все хозяйство ресторана ведет его жена, миссис Кламер, горемычная страдалица, измученная трудом и заботами. Всю неделю, кроме субботы, она стоит у печи и не видит света божьего, не видит даже закоптелого, заплаканного лондонского неба. А по субботам надевает хет [1], красивое дрес [2] и становится «леди» [3]. Зато она очень заботится о том, чтобы муж ее вовремя получал свой «брекфест» [4] и «динер» [5]. После обеда ему необходимо «маленько вздремнуть», а затем уж вы можете увидеть его в его же клубе либо важно расхаживающим между столиками и поглаживающим свою бороду а-ля Герцль, либо сидящим за столиком как гость с кружкой пива в руке, с сигарой во рту и громко сетующим на свою судьбу:

— Ну и времена! Мне, мистеру Кламеру, приходится продавать лапшу. Но что поделаешь? — жить надо. Или, как говорят англичане: «Ю мост ворк фор юр ливинч» [6].

Да, мистер Кламер ненавидит свой ресторан, презирает свою профессию. Он предпочитает «заниматься общественными делами» — путаться в разных благотворительных обществах, возиться с русскими эмигрантами, которых он называет не иначе, как «кацапами» и «попрошайками». По его мнению, всех русских евреев надо бы повесить на одной осине. Вы, пожалуй, подумаете, что Кламер очень злой человек?

---

[1] Хет *(англ.)* — шляпа.
[2] Дрес *(англ.)* — платье.
[3] Леди *(англ.)* — дама.
[4] Брекфест *(англ.)* — завтрак.
[5] Динер *(англ.)* — обед.
[6] Чтобы жить, надо работать.

Или что английских евреев он любит больше, чем русских? Ошибаетесь! Когда на мистера Кламера находит стих, он может обругать (за глаза, конечно) всех лондонских богачей, «еврейских лордов», смешать их с грязью.

Мистер Кламер — человек с амбицией: попробуй только задеть его, жизни не будешь рад. Те, кто хорошо его знает, остерегаются мистера Кламера, как огня. Но сам он может затесаться в самую гущу гостей, когда за столом идет оживленная беседа, и бесцеремонно вмешаться в разговор:

— Люди добрые! Дайте мне сказать. Я вам серьезно говорю, что вы понятия не имеете, что к чему и как. Болтовня денег не стоит или, как говорят англичане, «разговоры дешевы».

И, поглаживая свою пышную бороду а-ля Герцль, мистер Кламер заканчивает:

— О чем, собственно, шла у вас, к примеру, речь?

Однажды с мистером Кламером приключилась вот какая история.

Навязался на его голову какой-то странный человечек и забыл у него большую связку писем, целый клад.

Но предоставим лучше слово самому мистеру Кламеру, — пусть он сам расскажет об этом человеке, о том, как они встретились и какое сокровище неожиданно попало к нему в руки...

— Видите эту пачку? Ее оставил мне в наследство какой-то нищий, еврейский актер, маленький, хриплый, с шельмовскими глазами. Кто он и что он, откуда он, знать не знаю, — чтоб мне так горя не знать. У меня уж такой принцип: когда человек не говорит, кто он, — не надо. Как говорят англичане, «стук ту юргинс»[1]. Одним словом, две недели подряд он у меня ел и пил. Говорил, будто у него тут есть знакомая артистка, которая зарабатывает миллионы, и что они, он и она то есть, друзья-приятели. Трудно, говорил он, только добраться до нее; но как только,

[1] У каждого свое.

говорил он, ему это удастся, его осыпят деньгами, как жениха ячменем. Олл райт! У меня такой принцип: раз человек говорит, надо ему верить или, как говорят англичане: «Зихинг из беливинг»[1]. Раз как-то приходит ко мне этот недотепа и просит одолжить ему несколько шиллингов. Ему надо, говорит он, поехать на несколько дней в одно из предместий Лондона, в Брайтон, куда выезжают на лето все лорды и богачи. Там, говорит он, находится теперь та самая знаменитая не то певица, не то артистка. При этом он передал мне какой-то саквояжик или, как называют его англичане, «ханд-бег»[2], и просил хорошенько спрятать, запереть на замок: тут, говорит, лежат бумаги, очень важные, говорит, бумаги, имеющие бог весть какую ценность. Олл райт! Ладно. У меня такой принцип: раз человек говорит, надо ему верить, или, как говорят англичане: «Зихинг из беливинг». Я дал ему несколько шиллингов, взял саквояжик, то есть ручную сумку, и спрятал в верхний ящик письменного стола. Жду этого попрошайку день, другой, третий, месяц, год... Видели вы его с той поры? Так и я его видел! Ищи ветра в поле или, как говорят англичане: «Кеч ми иф ю кен»[3]. Раз как-то вспомнил я о саквояжике, который оставил мне этот недотепа. Вынимаю саквояж и думаю: стоит посмотреть, что за клад в нем таится. Гляжу: какие-то письма на еврейском языке. Олл райт, думаю, вот так удружил! На что они мне? Что я с ними делать стану? Как говорят англичане: «Граш мит олт»[4].

Так рассказывает мистер Кламер о сокровище, ниспосланном ему свыше и состоящем из связки писем, написанных на еврейском языке. Так как эти письма имеют прямое отношение к нашему роману, мы приведем их здесь буквально, слово в слово. Читатель, надеемся, уж сам догадается, кто их автор и кому они адресованы.

---

[1] Верь только собственным глазам.
[2] Ручная сумка.
[3] Поймай меня, если можешь.
[4] Чепуха и вздор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Связка писем

Письмо первое

Пишу тебе, мой дорогой, и сама себя спрашиваю: зачем? Разве я знаю, где ты и что с тобой? Но я не теряю надежды — каждый день, каждый час, каждую минуту живет во мне эта надежда, что не сегодня-завтра узнаю, где ты. И мне хочется хотя бы описать тебе все, что со мной произошло со времени бегства из Голенешти и по сегодняшний день. Пишу тебе, и мне чудится, будто ты сидишь рядом со мной, а я все рассказываю да рассказываю. Мне, разумеется, не под силу описать тебе свою жизнь так ясно и подробно, как я могла бы это сделать в устной беседе. Откуда, в самом деле, мне уметь писать? Если я немного владею еврейским письмом, то я должна быть благодарна за это отцу-кантору. Он ведь всегда говорил мне: «Мальчики сидят и пишут, пиши и ты. Что за беда, если ты научишься писать? Помни, доченька: со временем тебе это может пригодиться...» Теперь я вижу, насколько он был прав.

С чего, мой милый, начать мне свой рассказ? Начну с той памятной субботней ночи, помнишь? Ах, что это была за ночь! Если я тогда не умерла со страха, значит, мне суждено долго жить. Покуда я дождалась минуты, когда часы пробили двенадцать, у меня чуть сердце не выскочило из груди. Каждая минута казалась мне часом. Да что часом — целым днем, годом, вечностью! А когда часы пробили, наконец, двенадцать, я тихонько поднялась, неслышно отворила окно и выглянула на улицу. О, ужас! Тьма кромешная, ни живой души... Чего-чего только я не передумала в эту минуту! Самые мрачные мысли, самые тяжелые предчувствия мучили меня. Больше всего я опасалась за тебя, мой милый: не случилось ли с тобой какой беды?.. Но вот кто-то свистнул раз, потом второй раз, — так было условлено между мною и этим хриплым человечком, которого зовут Шолом-Меером Муравчиком... А сердце, что часики: тик-тик-

тик. Знобит. «Рейзл, закрой окно! Рейзл, накройся одеялом и — спокойной ночи!» —думаю я про себя. Но это продолжалось лишь одно мгновение. Я вспомнила, о чем мы с тобой условились. Вспомнила клятву, что мы дали друг другу в ночь пожара, — помнишь эту ночь?.. Вспомнила, как мы скрепили нашу клятву, пожав друг другу руки, и все сомнения исчезли: «Прощайте, родные мать и отец!.. Прощай, Голенешти! Последний привет вам от канторской дочки Рейзл... Нет больше Рейзл. Выпорхнула птичка из клетки!» Так я прощалась с четырьмя стенами и целовала подушку. Сердце сжималось от боли. Жаль было бедного отца: что-то он скажет завтра утром? Но мои колебания продолжались не более минуты, а быть может, и того меньше. Вот уж я за окном, на улице... На «Божьей улице» — мертвая тишина. Как две тени, идем мы рядом — я и хриплый человечек. Я бегу, он за мной, еле переводим дух. Только в самом конце улицы, возле сгоревшего дома пекаря, мы остановились. Я и мой спутник посмотрели друг на друга, и вдруг он начал тихо смеяться своим хриплым смешком.

— Девочка, — говорит он, — ты бежишь так, что я едва поспеваю за тобой.

При этом он развязал узел и вынул оттуда рваный кошачий бурнус и старую шаль.

— Это что?

— Это для тебя, кошечка. Тебе надо переодеться, чтобы тебя, говорит, не накрыли, сохрани боже. Ну, а теперь, говорит, черта с два они тебя узнают, будь у них хоть восемнадцать голов на плечах. Пташечка моя, закутайся хорошенько в эту шаль. Вот так. Да смотри, говорит, по дороге ни слова. Пока, говорит, мы не доедем до вокзала, ты должна быть нема как рыба. Слышишь, миленькая? Ни гу-гу!..

В эту минуту подъехала подвода, запряженная тройкой лошадей. Хриплый остановил ее. На козлах сидел Шимен-Довид,— я его и впотьмах узнала, — а с подводы соскочил директор Щупак, чем-то, видимо, очень расстроенный. Он отозвал хриплого в сторону и долго с ним шептался. О чем, не знаю. Слышала только, как хриплый закричал, по-видимому на директора:

— И-ди-от!

Я стояла, как на раскаленных углях. Кутаюсь в бурнус и шаль, а они все шепчутся да шепчутся. Потом они вдруг подошли к извозчику, велели ему слезть с козел, отвели в сторону и начали шептаться уже втроем. Скоро я услышала, что Шимен-Довид втолковывает им что-то по-молдавански. До меня долетали отдельные слова:

— Пальцем в небо! Ехала кума, да неведомо куда. Где Фачешти, а где Новоселица?

«Не сбросить ли мне, думаю, кошачью шубку и, пока не поздно, бежать со всех ног домой?»

Вдруг слышу хриплый голос:

— Мадам Кац! Мадам Кац!

Кого это он? Неужели меня? Да, это он окрестил меня новым именем: «мадам Кац».

И мы втроем усаживаемся в тарантас: я рядом с директором, а хриплый напротив. Директор мрачен, как туча. Он поминутно вздыхает. От него несет вином. Хриплый командует: «Трогай!» Шимен-Довид бьет кнутом лошадей, и мы трогаемся.

Сколько времени мы ехали, не знаю. Вдруг слышу: извозчик осаживает лошадей. «Тпру!» — громко кричит он, и мы останавливаемся возле дома вдовы Нехи. «Горе мне несчастной! — думаю я. — В моем нынешнем положении мне только того и недоставало, чтобы вдова Неха увидела меня...» И точно, не успела я оглянуться, как Неха со своими сестрицами тут как тут. Стоят все трое, полураздетые, возле двери. Шимен-Довид пустился в разговоры с Нехой насчет «морских котов» (так он, видимо, называл актеров). Все ли они, спрашивает, уехали в Фачешти и когда именно?.. Попутно извозчик напомнил ей о двух пассажирах, которых он намедни привез с вокзала и за которых она, Неха, не дала ему и понюшки табаку. На это вдова Неха ответила, что таких пассажиров, каких он недавно привез ей с вокзала, следовало бы почаще сеять, да чтобы пореже были всходы. Тем временем Неха то и дело заглядывает в подводу, все время глаз с меня не сводит. Я готова поклясться, что она меня узнала. Вот-вот сердце у

меня разорвется от страха... Стараюсь поплотнее закутаться в шаль. Еще минута, и я задохнусь. Выручил меня хриплый, дай ему бог здоровья. Он прикрикнул на извозчика, стал торопить его, пороть горячку: «Поезжай! гони скорей!» Раздались прощальные возгласы: «Всего хорошего! Счастливого пути!» Шимен-Довид щелкнул бичом. «Айда!» И лошади понеслись так, что мне казалось, вот-вот мы разобьемся вдребезги. «Чего вы так летите? Кто за вами гонится?» — спрашивает директор. Слышно, как зубы у него стучат. Но Шимен-Довид не отвечает и гонит все шибче и шибче. Меня начинает мучить ужасная мысль: может быть, за нами следом несется погоня?.. Быть может, это и была та тайна, которую обсуждали между собою шепотом все трое? Только подумала я об этом, глядь: возле нашего тарантаса, рядом с лошадьми, бежит ваш пес «Теркуш», — я его сразу узнала. «Ну, думаю, плохи наши дела». Как попал сюда «Теркуш»? Вероятно, ваши послали за тобой погоню, а поймают меня... Пропали! Пропали мы оба!.. И мне уже живо представляется, как нас с почетом везут обратно в местечко, связали нам обоим руки и везут нас вместе назад. «Чем дожить до такого позора, — думаю я, — не лучше ли выброситься из тарантаса и разбиться насмерть?» «Стоп! Попридержи!» — внезапно раздался крик Шимен-Довида. Он остановился среди поля и завел разговор с другим извозчиком по-молдавански. Гляжу на другую телегу, — она вся доверху нагружена ящиками и корзинами, и на них сидят двое: один как будто Гоцмах, а другой — ты... Я тебя сразу узнала, дорогой мой, хотя ты и был закутан, как и я, в какие-то старые лохмотья. С минуту мне казалось, что ты смотришь на меня. Вот ты приподнялся, махнул мне рукой и назвал по имени. Я чуть не выпрыгнула из телеги. Но мне, видать, только померещилось. А продолжалось все это с полминуты, не более. Шимен-Довид сейчас же повернул назад, хлестнул кнутом, и мы снова помчались.

Слава богу, и на этот раз отделались только испугом. Но куда, спрашивается, мы едем? А другие

куда? Почему директор так нахмурился? О чем они шептались втроем? Какие такие у них секреты? Почему хриплый назвал директора идиотом? Обо всем этом я тебе подробно напишу в следующем письме. Теперь уж поздно, пора спать. Спокойной ночи!

Письмо второе

Мой единственный друг!

Все горести и волнения, которые я описала тебе в моем первом письме, все опасения и страхи, которые я пережила в ту ночь, — ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить потом. Сколько тревог и бед, страданий и душевных мук! Сущий ад! Представь себе, мой дорогой, что как только мы переехали границу, я неожиданно узнала, что мы вовсе не в Румынии, как мы условились с самого начала. Ничего подобного! Что я испытала тогда и что передумала, — должна ли я тебе описывать? Будь поблизости речка, я бы, не задумываясь, бросилась в воду. Я била себя кулаками куда попало, рвала на себе волосы и рыдала так, как еще никогда в жизни. По-видимому, оба — и директор и хриплый — страшно перепугались. Они по очереди начали успокаивать меня ласковыми словами. Но чем больше они говорили, тем громче я рыдала. Я рвала на себе платье, рубашку, хотела выбить окно. Перепуганный насмерть директор убежал. А может быть, хриплый втихомолку посоветовал ему уйти... Он, видимо, догадался, что я боюсь директора с его безобразным морщинистым лицом и отвратительными красными глазами без ресниц.

Оставшись наедине с хриплым, — с тем, кого называют Шолом-Меер Муравчик, — я дала волю слезам. Он начал успокаивать меня и клялся жизнью своей, небом и самим богом, что ничего дурного со мной не случится. А я целовала ему руки, умоляла сказать правду, только правду... Он снова начал божиться и клясться, что расскажет мне все, решительно все, ничего не утаит. Если нет, то пусть его... Передаю в трех словах то, что он мне рассказал.

Мы действительно должны были ехать в Румынию, но в последнюю минуту план изменился, и виною тому был сам директор. У Щупака, оказывается, не более и не менее, как две жены. Он, правда, утверждает, что с одной уже давно развелся, он может даже, говорит он, привести свидетелей. Но она, разведенная то есть, уверяет, что все это — наглая ложь, чистейшая выдумка. Ну вот, значит, вторая жена, неразведенная, требует, чтобы он дал ей развод, а он не хочет. Почему? Щупак требует, чтобы она раньше вернула ему весь гардероб, все драгоценности, деньги, которые он на нее потратил, — целое состояние! Она же, в свою очередь, утверждает: столько болячек ему, Щупаку, сколько она издержала на него денег! Кто из них прав, трудно сказать. Хриплый считает, что все трое правы, а потому, говорит он, нельзя допустить, чтобы они все трое встретились, иначе, говорит он, дело может окончиться плохо: они все меж собой передерутся и, чего доброго, останутся без носов.

И должно же было случиться так, что как раз перез отъездом из Голенешти директор получил письмо от своего знакомого, и тот пишет, что первая жена Щупака, разведенная то есть, проведала, где он, и собирается к нему в гости, в Голенешти. У директора мурашки по телу забегали, потому что она везде устраивает ему такие скандалы, что хоть беги на край света. Он уже давно собирался в Румынию, в Бухарест. Но, получив такую радостную весть, он решил уехать как можно скорей и начал спешно готовиться в путь-дорогу вместе со всей оравой. Возьми же, безмозглая голова, и уезжай тихо, без шума, — так, чтобы все было шито-крыто. Так нет же! Прежде всего он, директор то есть, написал письмо второй жене, неразведенной: «Так, мол, и так, собираюсь в Румынию, в Бухарест. Пора нам выяснить все до конца — туда или сюда. Хочешь жить со мной, приезжай прямо в Бухарест». Что же делает она, неразведенная то есть? Она пишет ему в ответ: «Так, мол, и так, мой милый муженек! Первым долгом развяжись с первой женой, а потом поговоришь со второй». И той, разведенной, она, неразведенная, тоже напи-

сала письмо: «Так, мол, и так, коли хочешь развязаться со Щупаком, приезжай как можно скорее в Бухарест». Та, разведенная то есть, конечно, немедленно собралась и полетела в Бухарест. Узнал об этом директор от одного из своих актеров, который получил письмо от своего друга, тоже актера. И когда же актер показал ему это письмо! В погребке у Генеха за полчаса до отъезда. Вот о чем они секретничали в ту субботнюю ночь. Поэтому-то Муравчик назвал директора «идиотом».

— Все, что вы мне рассказали, — заметила я хриплому, — презанимательная, хоть и короткая история... Но что же будет дальше?

— А дальше, — говорит он, — все пойдет, как по маслу: жены там, в Бухаресте, с божьей помощью, вцепятся друг дружке в волосы, передерутся, а мы, говорит, тем временем снимем здесь театр и напишем нашим актерам: они, — говорит он, — в Яссах: у кого, дескать, есть деньги, пусть едет сюда, у кого ничего нет за душой, пусть сидит дома или отправляется туда, куда уходит суббота, когда наступает час заката.

— А Гоцмах? — спрашиваю я.

— А причем здесь Гоцмах? — говорит он. — Ты что, соскучилась по нем?

— Нет, — говорю, — просто вспомнила, как Гоцмах танцует «хасидскую пляску».

— Пускай он танцует ее с дьяволом смерти, этот Гоцмах! Зачем нам этот длинноволосый чурбан? Такого комика, как Гоцмах, мы всюду найдем...

Ты поймешь, мой дорогой, что от этих слов у меня кровь застыла в жилах... Но я старалась не выдать себя и прикинулась веселой и беззаботной. Я чувствовала, что добром я добьюсь большего и что надо подружиться с этим хрипуном. Вначале я его умоляла, а потом заявила, что не успокоюсь до тех пор, пока не соберется остальная компания. И если он хочет мне услужить, пусть постарается, чтобы приехали все и этот чурбан Гоцмах тоже... во что бы то ни стало! «Тогда, говорю, я буду себя чувствовать, как у себя дома, в Голенешти...»

Он посмотрел на меня и сказал: «Ладно, сию же минуту мы напишем письмо, чтобы все приехали и этот чурбан Гоцмах тоже, леший его побери!» Так сказал мне хриплый, Муравчик то есть, и просил, чтобы в случае нужды — что бы мне ни понадобилось и когда бы мне ни потребовалось — я всегда обращалась к нему и только к нему: он мне во всем поможет... Затем он начал ходить по магазинам, принес кучу новых нарядов и предложил мне выбрать все, что мне нравится, что мне к лицу. А обувь он мне приносил трижды, покуда я не подобрала себе пару по мерке. Я умылась, принарядилась с головы до ног, взглянула в зеркало и сама себя не узнала. Куда девались слезы? Мне вдруг захотелось есть, и не только есть — нет, мне ни с того ни с сего захотелось петь! И я залилась соловьем, точно бы я была самым счастливым человеком в мире.

Письмо третье

Ты, верно, думаешь, что всем тем бедам, которые я описала в первых двух письмах, уже наступил конец, что этим исчерпывались мои мытарства. Нет, дорогой, это было только началом новых слез, тоски, позора, досады, сердечной боли и бесконечных страданий. В году триста шестьдесят пять дней, каждый день — это двадцать четыре часа, каждый час — шестьдесят минут. И каждая минута приносит новые страдания, новые невзгоды, новые мученья.

Как я заблуждалась! Я думала, что стать артисткой — это игрушки; переоденешься, выйдешь на сцену — и готово! Но оказалось, это совсем не так просто. Надо пройти целую школу, надо пройти через все семь кругов ада. Артистами, говорили мне, люди не рождаются. Патти*, знаменитая Патти, уверяли меня, в детстве ходила с шарманкой и пела под окнами... Так объяснили мне директор Щупак и мой покровитель Муравчик. И, чтобы приучить меня к сцене, меня прежде всего научили петь куплеты и песенки, а затем — танцевать на сцене.

Первого своего выступления на сцене я не забуду до конца своей жизни. Выступила я всего-навсего с одной песенкой. Директор, Щупак то есть, хвастается, что это его песня, что он будто бы сам сочинил ее, но Муравчик говорит:

— Плюнь ему в харю!

Кто сочинил эту песенку, не скажу, но начинается она так:

В пятницу вечерком
Суббота — всем услада,
Нарядно убран дом,
В душе покой, отрада.

Но дело не в самой песенке, а в ее исполнении, и не столько в исполнении, сколько в гриме и костюме. Меня нарядили мальчиком, приклеили пейсы, надели на меня мужские атласные штаны, шелковый длиннополый сюртук, а на голову — котелок. Музыка играла, я пела «В пятницу вечерком» и подплясывала в такт. Что тут было, не передать пером. Так бешено аплодировали, так ревели «браво», что помилуй бог! Мне казалось — вот-вот потолок рухнет. Крики: «Спивак! Роза Спивак!» (так меня уже тогда называли в афишах) — поднимались до небес. Земля, казалось, сейчас расступится подо мной, стены и лампы закачались перед глазами. Я не знала, что делать. Тут директор, с одной стороны, и хриплый, с другой, начали меня выталкивать из-за кулис на сцену, чтобы я еще раз показалась публике. Я спела вторично. Шум стал еще оглушительнее. Пришлось выступить еще и еще раз, спеть «В пятницу вечерком» снова и снова, приплясывая при этом «веселую». Я плясала — и все, казалось, плясало вместе со мной: потолок, стены, лампы, публика. А когда я кончила, то свалилась за кулисами, как сноп, на диван и разрыдалась.

— Кошечка, ты плачешь? Радоваться надо. Ты разве представляешь себе, пташечка, какой успех, какой фурор, какой триумф! Патти по сравнению с тобой — ничто, дай мне боже столько счастья и удач!

Так утешал меня мой покровитель Муравчик. А директор стоял поодаль (я никогда не подпускала его к себе ближе, чем на пол-сажени), блаженствовал

и млел от восторга. Это можно было видеть и по его влажным глазкам и по дробному смешку, больше похожему на плач, чем на смех.

— Ай да куплеты! Верите ли, слаще сахара, да не будет мое имя Альбрет!.. — лепетал он, играя своими брильянтами.

С тех пор вошла в моду Роза Спивак. Из вечера в вечер после спектакля публике в виде компота преподносилась Роза Спивак с ее песенкой «В пятницу вечерком» и с ее танцем. Думается мне, что этот компот нравился публике больше всех остальных блюд, которые преподносились ей в течение длинного спектакля. Я сама собственными ушами слышала, как два благообразных на вид еврея вслух обменивались мнениями о спектакле и притом так громко, что слышно было на весь зал:

— Когда же кончится это дурацкое представление и нам подадут Розу Спивак?..

Первое время я думала, что провалюсь сквозь землю от подобных комплиментов. Нет, это понять надо, самому почувствовать надо. Пристальные взгляды мужчин, засматривающих, казалось, ко мне за жилетку, эти масленые глазки, эти двусмысленные остроты и пошлые словечки по поводу моих мужских штанов... А озлобленные взгляды женщин! Боже праведный!.. Все беды и горести, какие только бывают на свете, все проклятия и злые пожелания, какие только можно себе представить, я призывала на их головы. Я проклинала мужчин, женщин, театр, самое себя и день, когда я родилась на свет божий.

Но все это, слава богу, уже пережито, настали лучшие дни, и я счастлива, что могу рассказать теперь об этом без боли и волнения. А знаешь, кого я должна за все это благодарить? Только тебя, мой дорогой, единственный друг. Все это время меня ни на минуту не покидала надежда, что вот-вот ты приедешь, я увижу твои ясные глаза, мы подадим друг другу руки и пойдем вперед вместе, как мы условились и поклялись в ту ночь.

Мой покровитель Муравчик тянул со дня на день, говорил, что вот-вот приедет вся компания, а вместе

с ней и «мой» Гоцмах (так он, бывало, меня дразнил). Но проходили дни и недели, а о них — ни слуху ни духу.

Единственным человеком из всей бывшей группы Щупака, появившимся у нас, была мадам Черняк, уродливая актриса, комичная фигура, которую все звали «Брайнделе-козак». Ты, надо думать, помнишь ее по Голенешти. Маленькая такая, толстенькая, с большими белыми зубами. От нее я узнала, что мой покровитель Муравчик все время меня обманывал, лгал самым бессовестным образом. Никакого письма он в Яссы не посылал и никого из прежней компании к себе не приглашал. Это была ложь с начала и до конца... Брайнделе-козак рассказала мне такие ужасы, от которых волосы у меня стали дыбом. Декорации, рассказывала она, действительно были выписаны, но актеров и актрис оставили как на разбитом корабле среди моря, — в чужой стране, без языка, без единого гроша за душой. Если бы не она, мадам Черняк, они все бы там с голоду околели. Но она, по ее словам, поддерживала их, как могла. А потом они распродали все, что у них было, и разбрелись во все стороны, растаяли, как соль в воде.

— А Гоцмах? — спросила я.

— Гоцмах, — говорит она, — точно сквозь землю провалился.

Не раз она рассказывала мне потрясающие истории о том, как бесстыдно надули несчастных актеров, и каждый раз я спрашивала:

— Ну, а Гоцмах?

И получала тот же ответ:

— Гоцмах как сквозь землю провалился.

Только раз как-то невзначай Брайнделе-козак проговорилась: она дескать слышала от какого-то актера, который слышал это от другого актера, будто тот видел Гоцмаха с каким-то очень молоденьким парнишкой в Бухаресте. Можешь себе представить, как у меня забилось сердце при этих словах... За одно это я готова была расцеловать ее. С тех пор мы стали с ней как родные сестры. А уж она ко мне привязалась крепче, чем родная сестра.

Этой Брайнделе-козак я многим обязана. Она открыла мне глаза и на директора Щупака и на хрипуна Муравчика и научила, как вести себя с ними. Она посвятила меня в такие тайны, которые я, пожалуй, могла бы без большого вреда узнать немного позднее... Ее, мадам Черняк, я должна благодарить за то, что вовремя вырвалась из этого болота. Она первая указала мне, что мое место не здесь, среди комедиантов... Не будь ее, может быть, я и поныне бродила бы по свету с труппой Щупака, выступала бы в разных кабачках, пела бы «В пятницу вечерком», одетая в мужские штаны, и плясала бы «веселую»...

. . . .

Милый, дорогой! Еще сейчас, когда я вспоминаю это время, щеки горят от стыда, и в сердце бушует гнев. И не столько на директора и на моего покровителя, которые хотели только побольше заработать на моих выступлениях, выжать побольше денег, — в конце концов так и сейчас поступает любой предприниматель, — сколько на сытых обывателей с толстыми брюшками, которые ходили слушать, как я пою «В пятницу вечерком», или смотреть, как я танцую в мужском костюме «веселую», и облизывались, как коты, бурно выражая свое восхищение неистовыми криками: «Спивак! Роза Спивак!» *«Любителями театра»* называли они себя. Каждый вечер ходили к Щупаку в театр, нетерпеливо заглядывали за кулисы, ожидая, когда же, наконец, покажется девушка в мужских штанах?.. Ох, уж, эти мне «любители театра»! С одним из таких любителей я должна тебя познакомить.

Но так как о нем долго рассказывать, а время уже позднее, отложим до следующего раза. Спокойной ночи, мой дорогой! Приятных сновидений!

Письмо четвертое

Однажды — было это в жаркий летний день — мы все собрались на репетицию. Я уже начала репетировать тогда «первые роли». Вдруг директору сообщают, что его кто-то спрашивает... Каждый раз, когда

Щупаку сообщают, что его кто-то спрашивает, он бледнеет как полотно. Видать, из-за своих жен. Мадам Черняк — та, которую называют Брайнделе-козак, — уверяет, что у него, милостью бога, не две, а три жены... Словом, когда Щупаку дали знать, что кто-то хочет его видеть, он ужасно растерялся и сразу стал искать своего советника.

— Шолом-Меер! Где он там запропастился, этот Шолом-Меер, холера на него!..

Но посетитель, видно, потерял всякое терпение, ворвался за кулисы, подбежал к Щупаку, и оба бросились друг другу в объятья.

— Стельмах!

— Щупак!

Тут прибежал хриплый, и начались взаимные приветствия и поцелуи. Радость-то какая! Настоящий праздник! Родные братья, не видавшиеся лет двадцать, не обрадовались бы так неожиданной встрече, как эти трое. Они захлебывались от восторга, особенно гость, которого звали Стельмахом. Он чуть не растаял, как тает снег на солнце, — по-видимому, от избытка счастья и благодарности судьбе, удостоившей его чести еще раз встретиться со Щупаком и его правой рукой, Шолом-Меером Муравчиком.

Маленький, черненький, волосатый, уже не молодой, хорошо упитанный, с кругленьким брюшком, с самодовольно сияющим лицом, со слезящимися глазками и с необычайно приторной улыбкой, расплывающейся по всему лицу, — таков портрет человека, которого называли Стельмахом. Сразу было видно, что этот человек доволен сам собой, господом богом, всеми людьми, живущими на свете, и всем божьим миром.

У Стельмаха есть одно большое достоинство: он не зазнается. И хотя он рассказывает, что живется ему, не сглазить бы, как нельзя лучше, что он, не сглазить бы, очень богат, он держит себя чрезвычайно скромно и просто. Он не любит, говорит он, пыжиться, корчить из себя важную персону... Наоборот, он готов любому человеку и в любое время рассказать всю свою биографию. Говорит он тихо, едва слышно, слегка вздыхая, с неизменной улыбкой,

поглаживая собеседника по руке или держа его за пуговицу, чтобы тот не убежал. Речь его так и льется, течет плавно и гладко, будто масло из бочки, и плетется, вяжется все одно к одному. Чудеса, да и только! Сказки из тысячи и одной ночи. Не знаю, получится ли у меня, но попытаюсь рассказать его биографию его же словами.

«Был он... не теперь будь помянуто и да убережет господь бог вас и всех ваших близких!.. — так начинал он рассказывать свою биографию, слегка вздыхая и неизменно улыбаясь сияющей улыбкой. — Был он, не теперь будь помянуто и да убережет господь бог от этого вас и всех ваших близких! — отчаянный бедняк, нищий, голь беспросветная; частенько куска хлеба не хватало, а детей — полон дом. Жил он где-то в маленьком местечке, в заброшенном уголке, в глуши, неподалеку от Бердичева, не то в Махновке, не то в Яхновке (я уже забыла название) и зарабатывал на хлеб тем, что шил шапки для крестьян. Ходил по три мили пешком на ярмарки со своим товаром в надежде что-нибудь заработать. Сапоги — не теперь будь помянуто и да убережет от этого господь бог вас и всех ваших близких! — подвязаны веревками, чтобы подошва, сохрани боже, не отвалилась, а полушубок весь в дырах, решето, настоящее решето. Мороз трещит, снег скрипит под ногами, ветер хлещет в лицо, сердце замирает. А дома — не теперь будь помянуто и да убережет от этого господь бог вас и всех ваших близких! — лежит больная жена с маленькими ребятишками. Старшему еще шести лет не минуло, — Гершл его тогда звали, — с малолетства очень удачный был ребенок, золото! День и ночь держал в руках две палочки и все играл, играл, играл. «Гершл, что ты делаешь?» — «Играю, говорит, на скрипке».

И вот однажды отец любопытства ради купил простую деревенскую скрипку, цена-то ей всего-навсего каких-нибудь три пятиалтынных, и принес ее сыну. Увидав скрипку, ребенок даже расплакался... Где он до того видал скрипку? Кто ему показал, как на ней играть? Об этом он, отец, понятия не имеет. Горя бы ему так не знать, как он не знает! Ребенок самоучкой

начал пиликать да пиликать до тех пор, пока не стали получаться мелодии. По счастью, — так уж, видно, богу угодно, — в этом местечке жил помещик, не то граф, не то князь (точно не помню). Все местечко принадлежало ему. Узнал помещик, что в его местечке и притом у бедного еврея-шапочника есть мальчик — истинное чудо: играет на скрипке всем на удивление. Ну, помещик велел, конечно, доставить ему еврея вместе с мальчиком и скрипкой. Когда пан приказывает, нельзя же быть свиньей, — надо идти. Пришел он к пану вместе с мальчиком и скрипкой. Мальчика поставили на стол, и он как заиграл, раз, два, три, — помещик так и обомлел. А пани кинулась обнимать и целовать мальчика. Тотчас же на столе появились чай, кофе и разная закуска: булочки, яйца, варенье, словом, все, что евреям дозволено есть.

«Садись! — говорит ему пан. — Садись, чего стоишь? Ты, говорит, разве понимаешь, какое богатство у тебя под руками? Ты, говорит, владеешь сокровищем. Ты — миллионер. Жаль только, говорит, что ты такой простой, такой слепой человек. Ты, говорит, будешь хуже наихудшего, если не позаботишься о судьбе мальчика и не отвезешь его в город учиться музыке...»

А отец и говорит:

— Легко вам, ваша светлость, говорить: «Учиться музыке». Я, прости господи, бедняк, нищий, куска хлеба не имею, а детей у меня полон дом...

Тут помещик и говорит ему:

— Об этом не беспокойся. Отдай его только мне в руки, и я его выведу в люди...

А пани одобрительно кивает головой.

Но Стельмах тоже не из тех, которых покупают десятками за грош. Пока пан выведет его сына в люди, рассуждал отец, у него может оказаться одним ребенком меньше, а у еврейского народа — одним сыном меньше...

— Нет, ваша светлость, — говорит он, — это не дело. Прикажите лучше запрягать лошадей да выдайте мне несколько рублей на расходы. Я сам съезжу с мальчиком в Бердичев. Большой город, не сглазить бы, и богатых евреев там немало...

Сказано — сделано. Приехал благополучно с ребенком в Бердичев. И началась беготня по городу. Большой город. Кипит, как котел. Народ суетится — кто туда, кто сюда, у каждого хлопот полон рот, всякий занят своим делом, а на них, на отца с ребенком-скрипачом, никто внимания не обращает. Бедное дитя есть хочет. А тут, как на грех, время летнее, груши, яблоки, сливы дешевле грибов. Ребенок прямо умирает — так ему хочется слив, а у отца ни ломаного гроша. Пытался он остановить одного, другого. Спрашивает совета, только совета.

— Что делать, люди добрые? Так, мол, и так, у меня есть сокровище, знаете ли, миллион...

А они на него смотрят, как на сумасшедшего: оборванец слоняется по городу с таким же оборванным и босым мальчуганом и уверяет, что у него есть миллион. Он пытается растолковать людям, начинает рассказывать, что сказал пан, и хочет показать, на что его мальчик способен. А его насмех подымают, строят из него шута горохового. Досада его берет, и он обращается к молодежи. К одному, к другому. Рассказывает, что предлагал пан, и просит, чтобы его мальчику дали возможность сыграть, показать, на что он горазд... Выслушав его, молодые люди спрашивают:

— Что же вы, собственно, хотите?

Чего он хочет? Хоть бы несколько рубликов, чтобы он мог вернуться домой.

И вот один из них говорит:

— Знаете что? мы вам устроим концерт.

Спроси его, Стельмаха, знал ли он тогда, что означает слово «концерт». Горя бы ему так не знать. Но они сказали «концерт», пусть будет концерт.

Словом, мальчик им очень понравился. Они сняли зал, расклеили афиши и начали ходить по домам продавать билеты. Но никто не покупает. Плохо дело! Что же будет?

— Не тревожьтесь, — успокаивают они отца. — До концерта еще далеко.

Наступил вечер концерта. Уже восемь часов, девять часов, половина десятого — в зале ни души.

Только часам к одиннадцати собралось несколько молодых людей, не больше десятка. Спохватились: где же мальчик? Мальчик спит. Едва разбудили, поставили на стул. Мальчик начал играть... Ну, ну! Вот это был концерт! Ребенка окружили, обнимали, целовали, — чуть не задушили. Но что от этих поцелуев, когда даже за зал нечем платить? Пришли они — отец и сын — домой, на постоялый двор то есть, усталые, разбитые, голодные. Ужинать, говорит хозяйка, уже поздно. За постель хозяин просит заплатить вперед. Скверно! Легли они на пол, полушубок под бок, кулак под голову. Ребенок сразу заснул. Ребенок остается ребенком. А он, отец то есть, все лежит да думает: голова от дум трещит; как ему вырваться отсюда? Он чувствовал, сердце подсказывало ему, что возле него, вот здесь, на рваном полушубке, валяется целое состояние, миллион. Но поди кричи: я — Соломон-мудрый! * Кто поверит? С этими мыслями он, отец то есть, заснул. И снится ему сон, странный сон. Посреди города дерево, усыпанное сливами. На самой вершине дерева стоит его сыночек и трясет, без конца трясет дерево, а с дерева прямо к нему, к отцу то есть, падают не сливы, а миллионы. Один миллион за другим. Один миллион за другим. Он, отец то есть, наклоняется, озирается по сторонам, подымает миллионы и запихивает к себе в карманы. А мальчик сверху спрашивает:

— Папа, еще?

— Еще, еще! — отвечает он и продолжает без устали собирать миллионы. Вдруг издали доносится шум, крик, галдеж.

— Хватит трясти! — кричит он сыну и просыпается. Видит: лежит он с сыном на полу, кулак в изголовье. Комната полным полна народу. Хозяин бледен как стена, хозяйка ломает руки и плачет:

— Мой жемчуг! Мой жемчуг!

Он поднимается с пола, направляется к двери. Но его задерживают.

— Будьте любезны, уважаемый, мы вас раньше обыщем.

— То есть как вы меня обыщете?

— Да так: разденем догола вас и вашего ребенка и поищем, не попал ли к вам по ошибке ночью жемчуг хозяйки...

. . . .

(Здесь, видимо, не хватает нескольких страничек, так как из дальнейшего видно, что Стельмах со своим вундеркиндом уже в Петербурге, что ребенка звать уже не Гершл, а Гриша, и что он получает стипендию.)

Приехали в Петербург — город ходуном ходит. Со всех сторон сыплются приглашения. Тут завтрак, здесь обед, там ужин. А мальчика прямо-таки на руках носят. Где только бал, концерт, вечер, — всюду и везде Гриша Стельмах да Гриша Стельмах. Студенты, профессора, важные дамы — все в один голос: «Гриша Стельмах!» Все кипит, волнуется вокруг его имени. О деньгах и заботы нет: раз мальчик получает стипендию, то о чем тут разговаривать? Правда, ему, отцу то есть, эта стипендия не легко далась, немало крови она ему испортила, немало унижений перенес он, бегая от одного к другому. С большим трудом добился стипендии. Но об этом долго рассказывать. Так проходит год за годом. Дитя растет, а слава его растет еще быстрее. Для него уже, слава богу, нет учителей, — профессоров подходящих нет в Петербурге: он всех их уже превзошел. Что же дальше? Пора подумать о карьере. Вечно не будут ведь платить стипендию. Пора самому зарабатывать. Надо выехать с ребенком в свет и притом как можно скорее, потому что, покуда вундеркинд, то есть чудо-ребенок, еще и впрямь ребенок, он действительно чудо, которое все хотят повидать. Но едва только он вырастет из коротких штанишек, как дитя уже больше не дитя и чудо — не чудо. Бог знает, каков он будет, когда станет взрослым, и в чьи руки попадет. Надо, стало быть, ковать железо, пока горячо... Так решил отец, так он и поступил. Оно, конечно, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Выехать в турне стоит денег, а денег нет. Что же делать? Надо как-нибудь умудриться, поискать компаньона:

твои деньги — мой товар. И господь ему помог: он нашел охотника, какого-то немца по фамилии Шульц, который согласился взять на себя все расходы с условием прибыль делить пополам. Но тут вышла маленькая заковыка: немец требует контракта на десять лет. «Спятил ты, немчура, или рехнулся? Какие тут десятки лет? Хватит одного года, двух, от силы трех лет». Нет, только десять лет, не иначе! Хоть бей его, хоть режь его! А время бежит, расходы идут. Из дому просят прислать денег. Еле-еле покончили с немцем на пяти годах. Подписали контракт по всем правилам и в добрый час пустились в путь. Как начали закатывать концерты, так и пошли они, один за другим, один за другим. И, благодарение богу, все идет как нельзя более удачно. Куда ни приедешь, — столпотворение! Послушать Гришу Стельмаха бегут, как на пожар. Людей — что звезд на небе, что песчинок на берегу морском. Богачи, миллионеры, важные особы, люди всех наций, как мухи к меду, липнут, а деньги сыплются со всех сторон. Обидно только, что приходится делиться с немцем! За что ему столько денег? Что он вложил в это дело? Отцовское наследство? Или надо быть о семи головах, чтобы устраивать концерты? Он, Стельмах, слава богу, и сам уже изучил, как следует, это дело. Подумаешь, эка важность! Приезжаешь в какой-нибудь город, первым долгом оповещаешь о предстоящем приезде музыканта через местные газеты, то есть просто-напросто платишь им хорошенько за объявления. А газеты уж начинают трезвонить и трубить в рог: «Гриша Стельмах собирается к нам!», «Гриша Стельмах едет!», «Гриша Стельмах приехал!..» Затем надо снять концертный зал или театр, расклеить афиши, отпечатать билеты и — мое почтение! Очень больно, конечно, что надо делиться с немцем. Перед богом грешно. Но что поделаешь? Попался в сети, — пиши пропало! Одно только утешало: скоро кончится пять лет, истечет срок контракта, и он сможет послать немца ко всем чертям. А тогда — кто ему ровня? *«Его товар — его и деньги»*. . . . .

. . . .

Так закончил Стельмах свою биографию. Лицо его сияло. Поглаживая себя по брюшку, он спросил Щупака, как его дела и что вообще нового в еврейском театральном мире. Еврейский театр, говорит он, для него — единственное развлечение. Концерты сына — это доходная статья, а развлечение он ищет в театре, в еврейском театре. Он очень любит еврейский театр и хорошо знаком со всеми еврейскими актерами. Отсюда его дружба со Щупаком. Когда он, Стельмах, приезжает в какой-нибудь город, то прежде всего, по его словам, он расспрашивает, можно ли здесь найти кошерные обеды и есть ли здесь еврейский театр. Еврейская рыба и еврейский театр — что может быть лучше? Еще до своего приезда сюда он слышал, что у его друга Щупака есть новенькая артистка, какая-то Роза Спивак. Ее очень хвалят...

— Вот она, — указал на меня Щупак, подмигнув своими безбровыми глазами.

Стельмах протянул мне руку, теплую, пухлую, как подушка, волосатую, с толстыми короткими пальцами, и по всему лицу его расплылось выражение блаженства.

— В самом деле? — спросил он. — Кто она и откуда?

— Моя племянница из Варшавы, сиротка, ни отца, ни матери, — соврал тут же Щупак, плотно сжав морщинистые губы и не моргнув даже глазом.

— Бедняжка! — сказал Стельмах с сочувственной улыбкой, пожимая мне руку. На прощанье он обещал непременно, во что бы то ни стало, прийти вечером и послушать меня.

— С парнем? — спросил его Шолом-Меер Муравчик.

— Боже сохрани! — ответил Стельмах и в ужасе отшатнулся, будто ошпаренный. — Как это возможно? Мой Гриша пойдет в еврейский театр! Ха-ха-ха! Покажись я с ним разок среди евреев — и всему конец! Пропала коровушка вместе с веревкой... Не потому, что он, Гриша, сохрани боже, не считает себя евреем. Наоборот!.. Но, видите ли, это понимать надо. Тонкая материя! (И Стельмах показывает своими корот-

кими толстыми пальцами, какая это тонкая материя.) Вы, — говорит, — шутите с моим Гришей? Мой Гриша ездит не иначе как в первом классе, — там, где евреи обычно не ездят. Останавливаемся мы с ним, — говорит он, — только в самой лучшей гостинице. На концерт он отправляется в крытой карете, хотя бы до театра было не более трех шагов. Его, говорят, нельзя видеть так просто — раньше заплатить надо, ха-ха-ха! Кто хочет его видеть, должен, прежде всего, обратиться к немцу. А с немцем другой разговор, к нему не подступишься, от него надо держаться на почтительном расстоянии. Правда, немец-то мой, — пусть это останется между нами, — тоже не более, не менее, как еврей, хоть его фамилия и Шульц; но он, понимаете ли, не желает, чтобы другие об этом знали. Поэтому-то, — закончил Стельмах, — если кто-нибудь хочет видеть моего Гришу, попросить его о чем-нибудь или просто познакомиться, я отсылаю его к немцу, ха-ха-ха, к этому вот немцу.

Таков Стельмах. И ему-то, этому человеку, я обязана всей своей карьерой, а может быть, и жизнью.

Но письмо мое получилось слишком уж длинное, — расписалась я сверх всякой меры. А потому откладываю продолжение до другого раза. До свидания, мой дорогой!

Письмо пятое

Мой дорогой друг!

«Любитель еврейского театра» Меер Стельмах почти не выходил от нас. Все вечера проводил он в нашем театре, по три раза смотрел одну и ту же пьесу, и ему никогда не надоедало смотреть и слушать. Сидел он у нас всегда в первом ряду, — конечно, бесплатно, потому что «любитель еврейского театра» не любил платить. Зато аплодировал он всегда раньше всех, больше всех и громче всех. Он восхищался почти каждым актером. А обо мне и моих песенках и говорить нечего, — он, по выражению Шолом-Меера Муравчика, замирал от наслаждения, слушая меня.

Когда он в первый раз услыхал мою песенку, он пришел в такой неописуемый восторг, что ворвался за кулисы со слезами на глазах, бросился к моему директору Щупаку на шею и стал его целовать.

Директор несколько раз довольно прозрачно намекал, что он с удовольствием послушал бы игру его Гриши. Но Меер Стельмах делал вид, что не слышит, и всячески заговаривал ему зубы. Однако намеки Щупака были настолько прозрачны и настойчивы, что Стельмаху пришлось, наконец, скрепя сердце, уступить. Однажды он принес нам три билета на воскресный утренний концерт: для директора, его адъютанта и меня. При этом он стал расписывать, какой это будет великолепный концерт.

— Это будет, — говорил он, — концерт всем на удивление! Мой Гриша будет играть, немец — аккомпанировать, а Марчелла Эмбрих — петь. Вы, пожалуй, хотите знать, кто такая Марчелла Эмбрих? Это — вторая Патти. Да что Патти? В десять, во сто, в тысячу раз выше ее. Когда Патти впервые услыхала ее пение, она бросилась ей на шею и сказала: «Мы — две звезды: я — заходящая, а ты — восходящая». И расплакалась... Понятно, что с другими артистами Марчелла Эмбрих ни за какие деньги не выступила бы в одном концерте. Но с моим Гришей — дело иного рода...

И пошло и пошло: «Гриша, Гриша, Гриша...»

Я жаждала поскорее удостоиться чести увидеть этого самого Гришу, услышать знаменитого скрипача, о котором трубит весь свет. Прямо-таки сгорала от нетерпения.

Слава богу, дождалась! Удостоилась чести и видеть и слышать его. Должна тебе сказать, мой дорогой друг, что я увидела не одного Гришу, а двух сразу. Вернее: видела я одного Гришу, а слышала — другого. Тот Гриша, которого я в первую минуту увидела на сцене, был уже не мальчик, а юноша, хоть он носил коротенькие штанишки, пухлый, толстощекий, веснущатый юноша, с маленькими-маленькими, едва заметными глазками. Короче, самый заурядный паренек. Если встретишь такого на улице, обратишь на

него не больше внимания, чем на тысячу других встречных. Единственное, что бросалось в глаза, это его лакированные, с широкими шнурками, штиблеты, которые, казалось, были ему велики — слишком большая нога для «вундеркинда» — да большой белый круглый воротничок, подвязанный слишком пышным бантом. Больше ничего в нем не было такого, что привлекало бы внимание. Но когда он взял в руки скрипку, провел смычком по струнам вверх и вниз, прежний юноша с пухлыми щеками и веснущатым лицом исчез, и на его месте появился совершенно другой человек. Иной вид, иной облик, и глаза не те — большие, голубые, небесные глаза. Странно, где были раньше эти глаза?.. А может быть, мне это только показалось, потому что как только он кончил и публика начала неистово аплодировать, перед моими глазами опять стоял пухленький человечек с широким воротничком и пышным бантом. Публика бесновалась, а он стоял, спокойный и холодный как лед. Едва-едва отвесил поклон. Не меньше десяти раз его вызывали. И каждый раз, когда его вызывали, он выходил на сцену твердой и спокойной походкой холодного человека, убежденного в том, что все это так и быть должно.

Вслед за Гришей Стельмахом выступила знаменитая певица Марчелла Эмбрих. Ее пение я отказываюсь описать. Ее голос проникает прямо в сердце и живительными струями разливается по всему твоему существу. Слушаешь, как зачарованная, и диву дивишься, откуда у певицы берется столько простоты, легкости, нежности и силы! Никакого напряжения. Как будто само собою поется. Сидишь, слушаешь, и чудится тебе, будто эти звуки издает не человеческий голос, а скрипка. Когда Марчелла Эмбрих поет, кажется, что вокруг нее все поет, весь мир. Забываешь, где ты. И кажется, ничего нет больше на свете, кроме этих изумительных, широко и плавно льющихся небесных звуков. Так поет Марчелла Эмбрих.

Я была в то утро как в угаре, как во сне, точно витала в каком-то ином мире. После Марчеллы Эмбрих опять выступил юноша с пухлым, веснущатым

лицом. Вот он снова провел смычком вверх и вниз, и вновь скрипка заговорила человеческим голосом, запела, зарыдала. И вот опять исчез, испарился образ пухленького человечка, и на его месте возвышался на сцене совсем иной Гриша Стельмах. На эстраде стоял чародей, околдовавший всю публику волшебством своей игры. Нет, я не в состоянии передать тебе и сотой доли того, что я пережила в то утро. Ах, что это был за концерт! Трудно сказать, кто произвел на меня большее впечатление — Гриша Стельмах или Марчелла Эмбрих? Публика обоим не пожалела аплодисментов. Но мне казалось, что его приняли восторженнее, что ему аплодировали больше и оглушительнее. Как только он исполнил последний номер программы и удалился со сцены, публика буквально пришла в неистовство. Как можно так боготворить человека? Правда, то, что он сыграл на бис, было поистине божественно. Более, чем божественно!

Письмо шестое

Милый, дорогой друг!

В прошлом письме я начала тебе рассказывать о моем знакомстве со знаменитой Марчеллой Эмбрих и, пожалуй, слишком много места уделила описанию концерта. Но ведь это был первый в жизни серьезный концерт, который мне довелось услышать. Немало больших серьезных концертов слушала я потом. Но этого концерта я никогда, никогда не забуду. Может быть, оттого, что он совершенно преобразил меня, перевернул всю мою жизнь, как ты увидишь из дальнейшего...

Перерожденная, с новыми мыслями и новыми надеждами, я вместе со всей публикой вышла из театра. В ушах все еще звенели ликующие напевы, святые аккорды, небесные мелодии. Перед глазами неотступно стояли образы Марчеллы Эмбрих и Гриши Стельмаха. Я никого не видела, кроме их двоих, ничего не слышала, кроме ее голоса и его скрипки. Многочисленная публика столпилась на улице возле

театра в ожидании их выхода. Я тоже осталась. Подкатил автомобиль, и в него сели трое: Марчелла Эмбрих, Гриша Стельмах и немец. Отец Гриши, Меер Стельмах, стоял поблизости, изгибаясь в три погибели и улыбаясь широкой, подобострастной улыбкой. Публика проводила артистов из театра бурной овацией, которая на улице стала еще оглушительнее и долго-долго не прекращалась. Автомобиль умчался, исчез, как сон, а я стояла, точно заколдованная, глядя вслед этим двум счастливцам. Признаюсь, глупые мысли в эту минуту закрались ко мне в голову: «Стану ли я когда-нибудь Марчеллой Эмбрих? Будут ли и меня когда-нибудь провожать такими аплодисментами?» И я решила про себя: я должна во что бы то ни стало добиться свидания с ней, с этой Эмбрих, хотя бы мне пришлось для этого перевернуть весь мир. Я хочу, чтобы она послушала меня, — авось она мне скажет, что надо делать, чтобы стать Марчеллой Эмбрих.

В эту минуту ко мне подошел мой покровитель и защитник Шолом-Меер Муравчик.

— Мы идем вместе завтракать.

— Кто это «мы»?

Оказалось, я, да он, да директор Щупак. Стельмах-отец тоже отправляется с нами. Щупак пригласил его в еврейский ресторан на фаршированную рыбу с хреном. «Любитель еврейского театра» очень любит еврейскую рыбу, особенно, когда платит не он...

«Тут-то мне и карты в руки! — подумала я. — Тут-то мне и надо просить «любителя еврейского театра», чтобы он познакомил меня с Марчеллой Эмбрих. Но как это сделать, чтобы мой директор ничего не узнал?»

Хоть наш «любитель еврейского театра и еврейской кухни» до того был увлечен рыбой с хреном, что пот градом катился с его лица, он, само собою разумеется, ни на минуту не переставал расхваливать своего сына и Марчеллу Эмбрих, прямо-таки чудеса о них рассказывал. Шутка ли, Марчелла Эмбрих! Это — единственная певица, которая удостоилась

чести петь перед императором Францем-Иосифом *. С кем-нибудь другим она ни за что не согласится выступать в совместном концерте, хоть положи ей на стол миллион. Но с его Гришей — другое дело. Тут она сама, можно сказать, напрашивалась. И опять все та же нескончаемая песенка: «Гриша-Гриша!» И опять «Гриша-Гриша». Можно сказать, человек помешался, и главный пункт его помешательства — Гриша.

Улучив минуту, когда директор и хриплый расплачивались за завтрак, я вместе со Стельмахом встала из-за стола и вышла. По дороге он не переставал зудить все ту же песенку: Эмбрих и Гриша, Гриша и Марчелла Эмбрих. Неожиданно для него я прервала Меера Стельмаха:

— Господин Стельмах, у меня к вам просьба.

Услыхав слово «просьба», Стельмах сразу переменился в лице: улыбка исчезла, глаза стали холодными, безжизненными, будто стеклянными, лицо пожелтело и покрылось зелеными пятнами. Жалко было глядеть на него.

— Маленькая просьба, — поспешила я успокоить его. — Совсем ничтожная просьба: я хочу, чтобы вы познакомили меня с Марчеллой Эмбрих и чтобы она послушала, как я пою...

У Стельмаха, видно, от сердца отлегло. Лицо его снова изменилось, снова залилось улыбкой до самых ушей, желтизна исчезла, на щечках вновь заиграл румянец.

— Ах, вот что! — воскликнул он, облегченно вздохнув. — Почему бы нет? С величайшим удовольствием!

— Об одном только прошу вас, — шепнула я. — Это должно остаться тайной. Из наших никто не должен знать об этом, понимаете?

— Понимаю, миленькая, прекрасно понимаю! Что тут непонятного? Но, — говорит он, — как это сделать? Близко, да не схватишь!

На минуту Стельмах задумался, затем хлопнул себя рукой по лбу.

— Придумал! Завтра утром, с божьей помощью, часам к одиннадцати приходите ко мне в гостиницу,

и мы все уладим. Никто, решительно никто ничего не узнает...

Отправиться к Стельмаху в гостиницу тайком — так, чтобы никто не узнал, — дело не легкое. Щупак глаз с меня не спускает. А его правая рука, хриплый, стережет меня, как верный пес. Но я нашла выход: «Нужен вор — его и из петли вон». Он сам, Шолом-Меер то есть, сказал мне когда-то, что *в любую минуту,* когда мне что-нибудь понадобится, я должна обратиться к нему, только к нему, — он мне во всем поможет... Я решилась довериться ему. Сказала, что хочу только одного: услышать мнение знаменитой певицы о моем голосе. И мне повезло.

— Кошечка! — ответил Муравчик. — Разве я могу в чем-нибудь тебе отказать? Разве есть на свете что-нибудь такое, что мне трудно было бы сделать ради тебя? В огонь и в воду! Дай мне, боже, столько счастья и удач!

Странный человек этот хриплый! Хозяину он предан, как верный пес. Ради него он даст отрубить себе палец, а ради меня, вижу я, он готов трижды продать хозяина. Странный человек!

На следующее утро, часам к одиннадцати, как мы договорились с «любителем еврейского театра», мой покровитель Муравчик сказал директору Щупаку, что должен пойти со мной купить кой-какие мелочи.

— Какие такие мелочи ни с того ни с сего? — спросил Щупак, глядя на меня своими маленькими красными глазками без ресниц.

— Мало ли какие! Тряпки, пустяки, всякая всячина! — ответил хриплый.

Щупак не будь ленив и снова спрашивает:

— Какие такие «тряпки, пустяки и всякая всячина»?

— Чего пристал, как банный лист? — крикнул на него во весь голос Шолом-Меер. — Сказано тебе, что нужно, — стало быть, нужно, и баста! Тебе-то что?

Удивительное дело! Директор, кажись, беспрестанно ругает Муравчика, загоняет его, как лошадь, помыкает им, как лакеем. Но стоит хриплому

повысить голос, как директор тотчас поджимает свои безобразные толстые губы и — словно в рот воды набрал. Он знает, что Муравчик может задать ему такую встряску, крикнуть на него «и-ди-от!» так оглушительно, что стены задрожат.

Словом, мы с хриплым отправились к «любителю еврейского театра».

Встретил нас Стельмах очень любезно, попросил сесть и пошел и пошел рассказывать — сначала, разумеется, о Грише, потом о себе самом; повторил свою биографию от начала до конца, — словом, стал плести сказку про белого бычка. Но тут мне на помощь пришел Шолом-Меер. Он прервал Стельмаха посреди рассказа, заявив, что у нас времени в обрез. Нам нужно видеть Марчеллу Эмбрих... Стельмах как-то растерянно засуетился, начал бессмысленно кружиться на одном месте и едва внятно залепетал:

— Как же это сделать? Как это устроить? Теперь как раз сидит у нее немец. И мой Гриша тоже там... Сейчас я не могу пойти туда... Рад бы, да не могу...

В эту минуту «любитель еврейского театра» казался до того жалким, что Шолом-Меер не мог больше сдержаться и выпалил:

— Вы не знаете, что делают в подобных случаях?

— А что именно?

— Проваливаются сквозь землю тут же на месте!..

Стельмах, видимо, принял эти слова за шутку. Он схватился за бока и захохотал так, что его трудно было остановить. Но мой покровитель не дал ему долго смеяться.

— Господин Стельмах, послушайте, что я вам скажу: вы эти штуки бросьте! Скажите лучше напрямик: да или нет? За вашего Гришу не тревожьтесь, — мы его, сохрани боже, не съедим. А ваш, с позволения сказать, «немец» пусть провалится в преисподнюю, наплевать нам на него! Хотите идти вместе с нами, — милости просим. А нет, мы сами пойдем к этой красотке сию же минуту, дай мне боже столько счастья и удач!

От такой отповеди Стельмах переменился в лице. Губы его пересохли. Он присел, потом встал, застегнулся на все пуговицы, сделал попытку улыбнуться, но улыбка не получилась. И мы все трое вошли в роскошно меблированный салон, устланный мягкими коврами. Здесь Стельмах попросил нас сесть, а сам на цыпочках подошел к двери соседней комнаты, сначала приложил ухо, а затем постучал своими коротенькими толстенькими пальцами.

— Это я, Стельмах...

На этом письмо Розы Спивак обрывается. Это незаконченное письмо оказалось, к сожалению, последним в той связке писем, которая попала в руки мистера Кламера из Лондона, и мы не знаем, как была принята наша героиня знаменитой певицей Марчеллой Эмбрих.

Мы вообще очень мало знаем о дальнейшей судьбе дочери кантора. Только спустя много времени в огромном, шумном Лондоне встречаем мы имя Розы Спивак, напечатанное рядом с именем Гриши Стельмаха саженными буквами на громадных афишах, расклеенных на всех улицах города.

Афиши висели в верхней — аристократической — части Лондона, именуемой «Вест-Энд». В то же самое время в нижней части города в «Ист-Энде», в Уайтчепеле, другая афиша, таких же нелепо огромных размеров и такими же саженными буквами, извещала о том, что в еврейском «Павильон-театре» выступят впервые в Лондоне известные гастролеры с континента: знаменитый Лео Рафалеско из Бухареста и любимица публики, примадонна Генриетта Швалб из Буэнос-Айреса.

Впервые, можно сказать, наши молодые скитальцы, сын богача Рафаловича и дочь бедного кантора, были заброшены судьбой в один и тот же город, — впервые с того дня, как они оставили родное местечко Голенешти и начали свой скитальческий путь, странствуя, подобно блуждающим звездам, по белу свету.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В недобрый час

В недобрый час наша странствующая труппа «Гольцман, Швалб и К⁰» приехала в Лондон. Директор труппы Бернард Гольцман чувствовал себя так, словно он провалился в темную яму или в кипящий котел, откуда нелегко выкарабкаться. Все ему казалось мрачным, унылым, зловещим. Все ему представлялось диким, нелепым, отвратительным. Люди, говорившие на не знакомом ему языке, казались сумасшедшими. Шум, сутолока, бешеное уличное движение давили мозг, ошеломляли его, и он возненавидел этот шумный город с его хмурыми, заплаканными небесами; возненавидел всю страну, можно сказать, с первой минуты своего вступления на территорию Англии. Это чувство не покинуло его и тогда, когда он носом почуял запах грязного Уайтчепеля.

Приехав в Лондон среди бела дня, наши актеры попали в полосу густого тумана: город был погружен в непроглядную тьму, которую буквально руками можно было ощупать. Мало того, что господь проклял этот город, лишив его солнца, Гольцман от себя еще прибавил такое проклятье Лондону, от которого избавь его боже! Он пожелал городу туманов, как некогда Генрих Гейне, «чтоб море его проглотило и выплюнуло обратно»! И еще одно пожелание прибавил Гольцман уже от себя: «Чтоб этот Лондон превратился в соляной столб, как некогда жена Лота» *.

Да, плохо почувствовал себя Гольцман в Лондоне, очень скверно. Гораздо хуже, чем некогда в Голенешти, — да не повторится больше это время никогда! Недаром он был так расстроен и опечален еще в Черновицах, когда стал собираться сюда со всей актерской братией.

Уже первая встреча не предвещала ничего хорошего. Труппу встретили брат Изака Швалба и какой-то субъект, которого Нисл Швалб, представляя гостям, назвал «мистером Гечкинсом». При этом Швалб шепнул по-еврейски, что мистер Гечкинс — чистокров-

ный англичанин. Но, хотя он и англичанин, он является владельцем и «менеджером» большого еврейского «Павильон-театра» в Лондоне. Хозяин и менеджер театра в глазах Гольцмана походил скорее на человека, которому лучше бы в антрактах продавать апельсины или мороженое. «Некий буланый детина с подстриженным затылком и гладко выскобленным прыщеватым лицом», — охарактеризовал его Гольцман...

Мистер Гечкинс был одет в какой-то странный пиджак в талию, сшитый не по нем; клетчатые подогнутые брюки, сверху широкие, снизу — узкие, и лакированные ботинки на высоких каблуках дополняли этот наряд. На его багровой шее торчал острый кадык, который нельзя было замаскировать ни великолепным галстуком, ни брильянтовой булавкой. Когда ему представили гостей, мистер Гечкинс протянул каждому всего-навсего два пальца, показал три золотых зуба и сонливо проворчал: «Олл райт». Затем бесцеремонно повернулся к гостям спиной, кивнул кому-то пальцем, и — к великому удивлению всей труппы — к нему тотчас подкатил автомобиль. Человек, который был представлен труппе как менеджер и которого звали мистер Гечкинс, сел в машину и сразу исчез в густом, сером, тяжелом лондонском тумане.

Совершенно иначе выглядел брат компаньона Гольцмана Нисл Швалб. Он держался куда приветливее, чем исчезнувший хозяин — мистер Гечкинс, и вид у него был такой, словно он и есть подлинный хозяин не только театра, но и всего Лондона со всеми его окрестностями.

Широкоплечий и толстый, как бочка, он был ростом вдвое выше своего брата. Гладко выбритый, с неизменной сигарой в зубах, в невысокой шляпе набекрень, жизнерадостный, довольный собой, собеседником и всем миром, он, громко смеясь, командовал гостями так, словно они приехали не в театр, а к нему лично.

Прежде всего он начал целоваться с каждым в отдельности, не делая ни для кого исключения, словно он с каждым был издавна хорошо знаком и состоял

с ним в самых дружественных отношениях. Затем собственными здоровенными ручищами схватил багаж, сам нанял «кериджж»[1], и давай распоряжаться:

— Ты, Изак, садись с Рафалеско вот сюда. Генриетту втисните как-нибудь посредине, вот так. А я с твоим компаньоном сяду напротив.

И он совсем по-дружески положил свою толстую, круглую, пухлую руку на худое, острое плечо Гольцмана. Директор взглянул одним глазом на брата своего компаньона, а другим мысленно измерил силищу его огромной руки.

«Ну и ручища! Чтоб она у него отвалилась сегодня же вечером! Чего он тут командует? Чего распоряжается, кому и где садится? Тому велит садиться здесь, другому — там, а Генриетту втиснул в середину. Скажу своему компаньону, что я таких штук терпеть не могу. Пока суд да дело, надо ему, этому буйволу, наперед сбить рога, чтобы он знал, с кем имеет дело! Свинье надо сразу дать по рылу».

Вот что собирался сказать своему компаньону Гольцман. Но вместо этого из уст его вырвалось:

— Слышь, Ицик? Твой браток, чтоб не сглазить, разросся вдоль и поперек.

На это компаньон, с любовью и с чувством гордости глядя на брата, ответил:

— Разросся, говоришь? Пхе... У нас у всех такая стать.

При этом лицо его лоснилось, как жирный пудинг.

— Это и видно, — промолвил Гольцман. А про себя подумал: «Где же вы оба были во время холеры?»

Как черт грешника, подхватила карета наших гостей и стрелой помчала по шумным улицам шумного города. Директор Гольцман всю дорогу чувствовал себя прескверно: ему было тесно, воздуху не хватало рядом с этим «буйволом», — так он мысленно прозвал Нисла Швалба. А тот не переставал командовать и тогда, когда кеб очутился в Уайтчепеле и подкатил к месту назначения. Нисл Швалб по очереди вынул

---

[1] Керидж — фаэтон, карета.

всех из кеба, вынося их почти на руках и, улыбаясь, приговаривал: «Гопля!» Гольцмана такое фамильярное обращение резало, как острый нож.

Нет, в недобрый час приехал Гольцман в Лондон. Сердце предсказывало ему, что здесь, на узком горизонте хмурого лондонского неба, должна закатиться его звезда, которая доныне светила так ярко. Всю накипевшую на сердце злобу он, как водится, выместил на старухе матери, на Сора-Брохе, и на ни в чем не повинной сестре Златке. Досталось порядком и актерам и актрисам: он набросился на них, ко всем придирался, сердито покрикивал, бранился и осыпал их такими проклятиями, что будь у него время и умей он писать, он мог бы составить из них в алфавитном порядке целый словарь проклятий и бранных словечек.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нисл Швалб — душа-человек

Люди, как и яства (да простит нам читатель такое сравнение!), не всякому одинаково приходятся по вкусу: что одному нравится, то другому претит. Насколько Нисл Швалб не понравился директору Гольцману, настолько же, если еще не в большей степени, он пришелся по душе Рафалеско. Больше всего нравились в нем его веселость, живой нрав, громкий, неумолчный разговор, громовой смех, дружеские похлопывания по плечу, обращение со всеми на «ты». Одним словом, душа-человек!

Наш юный герой всегда любил веселых, жизнерадостных людей. Таким весельчаком, как мы помним, был и сам Гольцман в те времена, когда служил еще у Щупака, назывался Гоцмахом и выступал на сцене в Голенешти. Только впоследствии, когда он стал директором собственной труппы, печать уныния и неизменной озабоченности легла на его лицо, и он стал мрачен и угрюм. Каждого в отдельности он подозревал, что тот точит зубы на его «парня» (на Рафа-

леско) и замышляет что-то недоброе против него, Гольцмана.

В шумном Лондоне его настроение ухудшилось, мрачность и подозрительность усилились и — как мы увидим в дальнейшем — не без основания. В глазах Рафалеско он этим больше проигрывал, чем выигрывал. Чем больше Гольцман насмехался над братом своего компаньона, чем больше ругал его, тем сильнее тянуло к нему, Рафалеско, тем охотнее, наперекор Гольцману, он дружил с Нислом.

С первой минуты знакомства все в этом человеке привлекало симпатии Рафалеско: его движения, повадки, жесты и даже речь. Когда Нисл Швалб говорил, слова так быстро вылетали из его уст, что его с трудом можно было понять. А так как он к тому же любил приврать (он был агент какого-то общества, а агенты — да простят они меня тысячу раз! — большей частью лгуны первоклассные), то беспрестанно божился и скреплял свое вранье самыми причудливыми клятвами: «вот как видите меня плавающим», или «клянусь всем вашим добром», или «если я лгу, то подавиться вам этим столом». Все эти и подобные им клятвы он произносил без передышки и притом так быстро, что у слушателя не хватало времени восполнить догадкой то, чего не уловило ухо.

В первые же дни знакомства Нисл Швалб вызвался показать нашему юному герою Лондон, обещал даже в течение одного дня обойти с ним весь город вдоль и поперек.

Правда, тут было маленькое преувеличение: осмотреть весь Лондон в один день несколько затруднительно. Ну, так что ж? А завтра разве нельзя? А послезавтра? Это все пустое. Важнее всего то, что Нисл Швалб знает Лондон, как свои пять пальцев, и с ним никогда не бывает скучно. Говорит он без умолку. Везде, на каждой улице, чуть ли не у всякого дома, он может рассказать вам историю или скандальное происшествие, приключившееся здесь. Это не просто история или скандал, а истинное событие, очевидцем или героем которого он был сам. «Вот как вы видите меня плавающим!», «Клянусь всем вашим добром!»

Рассказывая, Нисл Швалб буквально гипнотизирует вас: он держит вас за руку или за обшлаг рукава, заглядывает вам глубоко в глаза и прямо в душу вкладывает вам свою историю, которую он передает со всеми мельчайшими подробностями.

Вот послушайте, например: встретился он однажды в Гайд-парке с каким-то очень важным господином, чуть ли не лордом. Разговорились о том о сем. Слово за слово... Повздорили... И хоть вы заранее знаете, что все это чистейшая выдумка, но Нисл Швалб, рассказывая, так горячится и так заразительно смеется, что невольно в душу закрадывается сомнение: «Дьявол его знает! Может, это и правда?»

С этим-то человеком подружился наш юный герой. Они стали закадычными друьями. Нисл Швалб водил Рафалеско по всем углам и закоулкам Лондона, по всем увеселительным местам, — главным образом, по театрам, оперным спектаклям и концертам. Времени у них было предостаточно, так как гастролирующая труппа «Гольцман, Швалб и К°» играла в «Павильон-театре» всего только два раза в неделю.

Со своим новым другом Рафалеско чувствовал себя в Лондоне, как рыба в воде. Он испытывал бы еще большее удовольствие от этих прогулок по Лондону, если бы Нислу Швалбу не вздумалось всюду таскать за собой сестру, примадонну Генриетту Швалб. Он хотел, чтобы его сестричка тоже увидела свет и послушала музыку. «Ничего, пригодится», — говорил он. Но цель у него была иная. В первый же день приезда брат Изак дал ему понять, что необходимо сосватать «парню» сестру. А то, чего доброго, этот чахоточный петух (имелся в виду Гольцман) сосватает ему свою сестрицу...

— Кого?.. этот зеленый крыжовник? — встрепенулся Нисл Швалб. Он даже привстал и начал ходить по комнате широкими шагами.

— Зеленый крыжовник, говоришь? Яблочко! — вскрикнул Изак, уставившись на брата, и на его красном лице выступили багровые пятна.

— Чепуха на постном масле! — отрезал Нисл, продолжая шагать по комнате.

В его голове — это было видно по всему — зрел какой-то новый план, зарождалась какая-то важная комбинация.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Человек с комбинациями

Нисл Швалб — человек с комбинациями. Правда, по своей основной профессии он агент, но одним этим в Лондоне не проживешь... Необходимо комбинировать, а комбинации Нисл Швалб строит из всего, что ни подвернется под руку. Надо отдать справедливость нашему комбинатору: хотя все его комбинации в первую минуту кажутся дикими, нелепыми, безумными, фантастическими, но в конце концов все получается у него так гладко и так разумно, что ничего умнее, кажись, и придумать нельзя. Иной раз, по правде говоря, на деле получается не так уж гладко и разумно. Ну и что ж? Он ведь не более не менее, как человек, а человеку свойственно ошибаться.

Нисл сам рассказывает, что благодаря его комбинациям не одна фирма попала впросак, и многие шею себе сломали на его комбинациях. Но виноват, конечно, не он. Если бы его слушались до конца, все пошло бы совсем по-иному. Вся беда в том, что его не слушаются, не понимают. Люди просто-напросто скоты, ослы, бараны! Никто так не понимает дела, как он, Нисл. Никто так не знает, как он, что такое настоящая комбинация!..

То, что еврейский театр попал в руки чистокровного британца, — тоже одна из комбинаций Нисла Швалба: точно также в результате его комбинации единственная в Лондоне еврейская газета «Еврейский Курьер» издавалась не евреем, а природным англичанином. В чем же тут смысл? Смысл очень простой: так взбрело на ум Нислу Швалбу, и так оно и вышло.

Правда «Еврейский Курьер» в руках такого издателя был больше похож на тряпку, которой на кухне вытирают посуду, чем на газету. И бедняга англичанин прогорел на этом деле дотла, потерял ровно столько фунтов стерлингов, сколько у него было. Будь у него больше фунтов, он потерял бы больше. Но кто же виноват, что у него, у этого англичанина, тупая голова? Не захотел послушаться Нисла Швалба и выпускать газету дважды в день — утром и вечером, по примеру английских газет. Можно бы, конечно, задать вопрос: если лондонские евреи не хотят покупать газету один раз в день, то с какой стати они будут покупать ее два раза в день? Ответ Нисла на этот вопрос был очень простой: именно потому, что газета выходит дважды, все захотят ее купить, ибо каждому любопытно будет знать, что может еврейская газета сообщать два раза в день.

Каким образом еврейский «Павильон-театр» очутился в руках англичанина, — это весьма интересная и поучительная история, и мы решили вкратце рассказать ее читателю.

Нисл Швалб, как и его брат Изак, — большой любитель театра. Это, по-видимому, у них семейный недуг. К тому же он и сам, как увидим в дальнейшем, имел некогда отношение к еврейскому театру. Не удивительно поэтому, что он был частым гостем, можно сказать завсегдатаем, еврейского «Павильон-театра». Но в то время как лондонская еврейская публика сидела в театре, точно стадо баранов, безропотно выслушивая глупейшую дребедень и тошнотворные куплеты, от которых гадко становилось на душе, голова Нисла была занята всевозможными комбинациями. «Почему бы, например, — думал он, — лондонской еврейской публике не иметь хороший еврейский театр? И не один, а целых три театра: для драмы отдельно, для оперетт отдельно и для серьезных опер отдельно. Имея три таких театра, можно буквально покорить мир! В такой театр не побрезгует пойти и еврейская аристократия, хотя бы и сам Ротшильд. Главное: шикарное помещение и хорошие артисты. Более шикарного помещения, чем «Павильон-

театр», и представить себе нельзя. Слегка освежить его, — и будет настоящий рай! А артисты? Мало ли их на свете? За деньги можно доставить сюда не только Адлера * из Нью-Йорка, но даже Сару Бернар * из Парижа. А до поры до времени можно удовлетвориться теми бездарностями, которые имеются в Лондоне, присоединив к ним его сестренку, примадонну труппы «Гольцман, Швалб и К°», и молодого артиста Лео Рафалеско из Бухареста, имя которого гремит по свету».

Эта мысль пришла в голову Нислу Швалбу в то время, когда оба брата вели оживленную переписку по поводу приезда труппы на гастроли в Лондон. Нисл бросил тогда почти все другие дела и всецело отдался идее создания трех еврейских театров. Полетели письма в Австрию к брату, в Америку, в Россию, в Иоганнесбург и Буэнос-Айрес. Он не пропустил ни одного еврейского театра, ни одного знаменитого актера или актрисы. Отовсюду приходили самые утешительные ответы. Дело шло на лад. Один вопрос оставался неразрешенным, пустяковый вопрос: где взять деньги?

Но наш комбинатор — не из тех, что останавливаются на полпути. Нисл Швалб — неразборчив в средствах и любит идти к цели прямым путем. К тому же ему всегда везет. Вот послушайте.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Надо иметь счастье

В ненастный туманный день, когда весь город погружен во тьму кромешную и даже зажженные среди бела дня фонари не в состоянии предохранить лбы прохожих от взаимных столкновений, — в такой именно день наш гениальный комбинатор отправился в контору «Гечкинс Брос Лимитед» в Сити. Там находилась главная агентура Нисла Швалба по распро-

странению швейных машин, велосипедов, автомобилей и проч.

Торговый дом «Гечкинс Брос Лимитед» принадлежал двум богатым англичанам — братьям Гечкинс, из которых старший почти безвыездно жил в Швейцарии, лазил по горам, взбирался на высочайшие вершины Альп и до сих пор все еще не сломал себе шеи, а младший — тот, которого мы встретили на вокзале, — вел все дела.

Нисл Швалб застал Гечкинса-младшего за высоким письменным столом. Он просматривал почту. После первого «гуд морнинг»[1] Нисл Швалб попросил его бросить все дела и выслушать его: он хочет предложить Гечкинсу «бизнес», — такое дельце, что выпадает на долю счастливцев раз в семьсот лет.

Молодой Гечкинс отложил в сторону почту, сел в кресло напротив своего агента, заложив ногу на ногу так, что широкие клетчатые брюки задрались вверх, обнажив худые щиколотки, и холодно, без слов, дал понять, что готов выслушать, в чем состоит этот «бизнес» и какое, дескать, это дельце, которое выпадает на долю счастливцев раз в семьсот лет.

В длинной цветистой речи Нисл Швалб нарисовал положение еврейского театра вообще и лондонского «Павильон-театра», в частности. Затем изложил план организации трех театров: для серьезной оперы, оперетты и драмы. При этом агент по распространению машин обнаружил исключительную компетентность во всем, что касается театра, музыки и вообще искусства. Затем он выложил на стол целую пачку писем и телеграмм от многочисленных актеров всего мира и газетные вырезки с отзывами о них. Все это он перевел с еврейского на английский язык, присовокупив самую подробную калькуляцию: *сколько фунтов стерлингов надо вложить и сколько фунтов стерлингов можно получить.*

Из калькуляции с неопровержимой ясностью следовало, что через несколько лет можно будет приобрести в собственность не только «Павильон-театр»,

---

[1] Здравствуйте, доброе утро.

но и тот дом, где помещается контора, и соседний дом, и еще три дома в лондонском Сити.

Нисл Швалб говорил, а мистер Гечкинс слушал и думал: какое отношение имеет весь этот разговор к фирме «Гечкинс Брос Лимитед»? Швейных машин театру, как будто, не нужно, велисипедов — тем более. Разве что автомобиль? Так стоит ли из-за одного автомобиля столько разговаривать?

Мистер Гечкинс все время смотрел в окно на улицу, хотя там ровно ничего нельзя было видеть, и постукивал одним пальцем по своим трем золотым зубам. Он терпеливо ждал, пока агент, наконец, кончит. И когда тот наговорился вдоволь, мистер Гечкинс повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза, словно спрашивая: «Какой же из этого вывод?»

Нисл Швалб, по-видимому, понял смысл этого взгляда и объяснил коротко и ясно, чего он хочет. Он, видите ли, желал бы, чтобы мистер Гечкинс взял на себя финансирование этой комбинации. При этом Нисл Швалб пристально взглянул на англичанина, пытаясь по выражению его лица угадать, какое впечатление произвела на него предложенная комбинация.

Но на невозмутимом, холодном лице мистера Гечкинса ничего, ровно ничего нельзя было прочесть. На нем были холод альпийских вершин и безмятежное спокойствие Ледовитого океана. Мистер Гечкинс только вздохнул, поднялся, почесал одним пальцем кадык на своей багровой шее и сонным голосом процедил:

— Олл райт.

Затем протянул агенту два пальца правой руки и велел прийти за ответом на следующий день в три четверти двенадцатого.

Ответ мистера Гечкинса читателю известен. Только такой исключительный баловень судьбы, каким был Нисл Швалб, мог осуществить такую дикую, такую несуразную комбинацию.

Не нужно, друг-читатель, ни ума, ни знаний, — надо только, чтобы человеку везло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Музыкальная семейка

— Сегодня вечером мы идем к кантору, — сказал как-то Нисл Швалб своему новому юному другу Рафалеско.

Что-то дрогнуло в сердце Рафалеско, когда он услышал слово «кантор». Он сорвался с места. Ему вспомнился его бывший учитель кантор Исроел из Голенешти, и он с трепетом сердечным спросил своего приятеля:

— К какому кантору?

— К ломжинскому кантору, — тому самому, что намедни со всей своей оравой был у нас в театре. Ты уже забыл? (Нисл Швалб был уже давно на «ты» со своим новым юным другом.)

— А-а-а! — протяжно произнес Рафалеско. Он вспомнил, что как-то раз во время антракта Нисл Швалб привел к нему за кулисы «Павильон-театра» какого-то рыжего человека с ватой в ушах. За ним шла ватага детей — мальчиков и девочек — разных возрастов. Сколько их было, Рафалеско тогда не сосчитал, — он помнит только, что там было больше рыжих, чем черных, и что у всех были смеющиеся мордочки и плутоватые глазенки.

Представляя ему членов этой семьи, Нисл Швалб, не стесняясь их присутствием, стал расхваливать всех детей по очереди, рассказывал о них всевозможные истории, приключения, небылицы и все, по своему обыкновению, быстро-быстро, не переводя дыхания, с жаром, с увлечением, с клятвами и божбой. Но в шуме и сутолоке театральных кулис Рафалеско мало прислушивался к россказням Нисла, — они его попросту не интересовали. Он уже привык к тому, что о каждом человеке у Нисла Швалба есть особая история и что всякая история у него обязательно кончается скандалом.

Теперь, отправляясь с визитом к кантору, Нисл Швалб снова принялся расхваливать эту на редкость музыкальную семью. Все дети в этой семейке либо

певцы, либо музыканты; все — от самого кантора до младшего ребенка, которому не исполнилось еще и четырех лет, — либо поют, либо играют на каком-нибудь инструменте.

— Думаешь, их кто-нибудь учил? Ха-ха-ха! У этого кантора дети из утробы матери выходят готовыми музыкантами, клянусь всем вашим добром! — закончил Нисл Швалб.

По дороге он зашел с Рафалеско в еврейскую лавочку и попросил завернуть ему хлеба, варшавской колбасы, всяких солений и «еще кое-чего». Глядя на эти яства, Нисл Швалб даже облизывался.

— К чему это? — с изумлением спросил Рафалеско.

— Угощение, — ответил серьезно Нисл Швалб. — Надо же им чем-нибудь угостить нас. А заодно уж они и сами закусят. Бедняки, нищие, ха-ха-ха! Ой, какие бедняки! Если бы их время от времени не поддерживали, они бы здесь, в этом Лондоне, с божьей помощью, с голоду околели. Шутка ли, этакая семейка! Голодных ртов много, а кормильцев нет. Но это лишь до поры до времени, покуда дети еще дети. Дай им только стать на ноги, и будут они, уверяю тебя, в золоте ходить, вот как ты видишь меня плавающим... Осторожно! — здесь скользко, как на льду, и темно, хоть глаз выколи. Рискуешь — не приведи господь — на ровном месте шею себе свернуть!

Сделав такое предупреждение, Нисл Швалб стал одну за другой зажигать спички, и оба осторожно начали спускаться не то в подвал, не то в какую-то яму. Трудно было понять, куда они попали: кухня не кухня, комната не комната. Что-то длинное и широкое, а кроватей, кроватей, — ну прямо как в больничной палате. Стены увешаны разными музыкальными инструментами. Посреди комнаты — старый, давно отслуживший свой век рояль. Какая-то рыжеволосая девочка лет шести-семи, а может быть и восьми (Нисл Швалб уверяет, что ей и четырех нет, — что ж, сделаем ему одолжение и поверим на этот раз), извлекала из этого инструмента ужасающие звуки, — во всяком случае не те, какие ребенку

хотелось бы извлечь. Но простим старый рояль: он свое отыграл; другой на его месте давно уж попал бы черт знает куда и валялся бы где-нибудь на чердаке.

Увидав гостей, шести-семи- или восьмилетняя девочка, которой не исполнилось и четырех, оставила рояль и кинулась в объятия Нисла Швалба с громким возгласом:

— Дядя Нисл пришел! Дядя Нисл!

Как в театре на сцене, один за другим стали показываться из какой-то задней комнаты мальчики и девочки. Сколько их, трудно было определить на глаз, но рыжих было больше, чем черных. Те самые, которых видел Рафалеско у себя за кулисами, — все со смеющимися мордашками и плутоватыми глазенками. Вслед за ними показался и отец, сам ломжинский кантор, рыжий человек, уже начинающий седеть, — еще два-три года, и никто не скажет, что у этого человека были когда-то ярко-рыжие волосы... Но кантор держится еще очень бодро и прямо, одет очень опрятно. Глаза его сверкают, а руки дрожат, как у очень голодного человека. Но черта с два на лице его прочтешь, что у него в желудке пусто, — не таков кантор!

— Прежде всего закусим! — восклицает Нисл Швалб, потирая руки и облизываясь. — Я голоден, как волк, вот как вы видите меня плавающим!

Продолжая разговаривать, он раскрыл пакеты с закупленной провизией и первый принялся за работу: стал уплетать за обе щеки с таким неимоверным аппетитом, словно явился сюда после долгого поста.

— Что сидите, как незваные гости на чужом пиру? — прикрикнул он на музыкальную семейку.

Первым поднялся с места кантор, человек с голодными глазами и дрожащими руками. Он подошел к столу как бы нехотя, из вежливости: просят, дескать, так неудобно же отказываться... За ним потянулась вся семейка. С первого взгляда нетрудно было догадаться, что дети, слава богу, не могут пожаловаться на отсутствие аппетита. Понемногу в комнате становилось все веселее, все оживленнее. Все принялись за

еду с таким жаром и увлечением, что даже у Рафалеско разгорелся аппетит.

— Садись, хватай, бери, режь, лопай, не стесняйся! — подбадривал его Нисл Швалб. — Ты здесь среди своих, среди родных.

А вся орава глядела на молодого артиста такими дружелюбно-любопытными глазами, что он, действительно, начал чувствовать себя как дома, среди родных... Откуда у него вдруг появился такой аппетит? Почему ему здесь так уютно, тепло, так привольно, так весело? Странная, удивительная семейка!

За едой Нисл Швалб неумолчно говорил, сыпал остротами. Для каждого из детей он находил особое словечко и подходящее прозвище. Дядя Нисл говорил, а дети, покатываясь со смеху, продолжали уплетать за обе щеки. Один только отец, ломжинский кантор, делал свое дело серьезно и сосредоточенно: отведывал то одно, то другое кушанье и поминутно вытирал губы. Положительно за все время своих скитаний Рафалеско никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как в этой семье.

До чего здесь уютно, живо, весело!

Покончив с закуской, Нисл Швалб подмигнул ломжинскому кантору, и тот, старательно вытерев губы и переложив вату в ушах, подал знак своей ораве: пора, мол, взяться за инструменты и дать в честь гостей небольшой концерт.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сыграйте жениху что-нибудь печальное

Небольшой концерт, которым музыкальная семейка решила попотчевать гостей, оказался подлинным большим концертом, одним из тех редких концертов, которые запоминаются на всю жизнь. Не говоря уже о том, что здесь были представлены всевозможные музыкальные инструменты, — скрипка, флейта, виолончель, рояль, бас, цимбалы, арфа и

барабан, — не говоря уже об исключительной сыгранности и великолепном мастерстве, — этот семейный оркестр, состоявший из полунагих и совершенно босых детей, сам по себе растрогал нашего юного героя до слез. Глядя на эту богом благословенную, но нищую капеллу, он раздумывал о превратностях судьбы. За годы скитаний он встречал немало талантов, которые погибали в нищете. Никто ими не интересовался, никто на них внимания не обращал. «Нет у нас меценатов»,— думал он, вспоминая львовского «мецената» доктора Левиуса-Левиафана, обладателя полумиллионного состояния. Вспомнилось ему, как этот доктор вначале корчил из себя мецената, страстного любителя искусства. Но едва только от слов перешли к делу и Гольцман заикнулся о поддержке, доктор переменился в лице, пообещал на следующий день прийти в театр, но с тех пор как в воду канул. «Стать бы мне только самостоятельным человеком и начать зарабатывать деньги, — думал Рафалеско, — я непременно вытащу из грязи эту семейку и выведу ее в люди...»

Рафалеско, по своему обыкновению, мечтал и фантазировал, а босоногий оркестр показывал одно чудо за другим. Покуда Рафалеско, строя в своем воображении воздушные замки, с изумлением слушал чудесную музыку, Нисл Швалб сидел в уголке с матерью этих одаренных детей, женщиной в рыжем парике*, который уж никогда не поседеет, и без устали говорил, говорил, говорил, пересыпая свою речь излюбленными клятвами: «Вот как вы видите меня плавающим» или «Клянусь всем вашим добром!»

Было уже далеко за полночь, когда наши друзья возвращались домой. Уайтчепель все еще был освещен, но, кроме высокого, длинноногого полисмена, никого на улице не было. Рафалеско, обычно молчаливый, спокойный, уравновешенный давно уже не был в таком возбужденном состоянии, как в этот вечер. Он вдруг стал разговорчив и, размахивая руками, громко выражал свое возмущение:

— Ужас, ужас! Такая одаренная семья, такие благословенные руки валяются в грязной яме!

Неужели в таком огромном городе, как Лондон, не найдется среди евреев ни одного мецената, который оказал бы поддержку этой семье?

— Мецената, говоришь? Да ты ребенок! — воскликнул Нисл Швалб, и голос его гулко прокатился по пустынному Уайтчепелю. — Вот я расскажу тебе такую историю, что у тебя в мозгах помутится. Есть у нас такой, как ты называешь, меценат, русский еврей. Был когда-то, не сглазить бы, бедняк из бедняков. Теперь миллионер, дай нам бог обоим его состояние! Стельмах его фамиля, мецената этого...

— Стельмах?..

Рафалеско остановился. Ему показалось, что он уже слышал как-то эту фамилию в связи с именем Рейзл; но он никак не мог вспомнить, где и когда...

Видя, что Рафалеско остановился, Нисл Швалб истолковал это по-своему:

— Глянь-ка на него! Я еще не начал рассказывать, а он уж из себя выходит. Слушай дальше. Познакомился я с этим Стельмахом недавно, в «Павильон-театре». Он частый посетитель и большой любитель еврейского театра, знаток музыки. Его сын Гриша — знаменитый скрипач, вундеркинд, не раз играл в королевском дворце. Благодаря ему-то, благодаря сыну то есть, отец и разбогател.

Теперь Рафалеско вспомнил, кто такой Стельмах и какое отношение имеет его сын к Рейзл, — и рассказ Нисла о меценате приобрел в глазах молодого артиста особый интерес. Он спросил своего нового друга:

— Ну, а где же он теперь находится, этот... ну, этот знаменитый скрипач?

— Не забегай вперед! — остановил его Нисл. — До сына я еще не дошел. Я рассказываю об отце-меценате и о том, как мы с ним познакомились. Знакомство наше состоялось в буфете во время антракта. Вижу, какой-то человечек вертится в буфете, что-то жует и смотрит мне в глаза. Он на меня, я на него. Слово за слово, разговорились.

«Откуда вы? — спрашиваю. — Ваше лицо мне как будто знакомо» — «Я, — говорит он, — Стельмах». —

«Вот как! — говорю я. — Так вы, значит, и есть сам Стельмах? Так позвольте же вас спросить, мистер Стельмах, из каких, собственно, Стельмахов вы будете?»

Он, конечно, смотрит на меня, как на полоумного, и отвечает с обиженной усмешкой: «Как это — из каких Стельмахов? Вы никогда, говорит, не слыхали про Гришу Стельмаха? Ха-ха-ха! Человек, — говорит он, — сидит в Лондоне и не знает, что есть на свете Гриша Стельмах, который уже не раз играл в королевском дворце...» — «Что в Лондоне, — говорю я, — есть Гриша Стельмах, который играет в королевском дворце, это, говорю, я знаю хорошо, хоть я не очень часто захаживаю к королю с визитами. Но какое отношение он имеет к вам?»

Тут он начинает громко смеяться и с гордостью отвечает:

— Какое отношение он имеет ко мне? Ха-ха-ха! Я — его отец.

— Поздравляю! — говорю я. — Счастлив сын, имеющий такого отца!

Таким манером мы разговорились. То есть, говорил, собственно, он один, этот шут. Он не любит, когда другие говорят. Он любит сам говорить, в особенности о своем Грише: тут его не остановишь и пятью парами лошадей. Тра-та-та, тра-та-та! Гриша — концерт — король — музыка... Сказка про белого бычка. Я его перебиваю. «Вижу, — говорю я ему, — что вы любитель и знаток музыки. Если хотите послушать хорошую музыку, я поведу вас в одно место, где вы услышите без копейки денег музыку, какой вы еще в жизни не слыхали...» — «Ах! — отозвался он. — С величайшим удовольствием! Для меня, говорит, еврейский театр, музыка и тому подобное так дороги, что я готов хоть три мили пешком пройти».

«Великолепно! — подумал я. — Сам бог прислал тебя сюда, толстопузый! Может быть, судьбе угодно будет, чтобы благодаря тебе бедная семья выбралась из нищеты...»

Словом, в один прекрасный день я привел этого господина к ломжинскому кантору. Спустя короткое

время — еще раз; потом и в третий раз. Мой Стельмах захлебывается от восторга. Вот-вот растает от удовольствия. Придет к кантору — и уходить не хочет. Сидит со всеми вместе за столом, закусывает со всеми вместе, ну и, конечно, чудеса рассказывает про своего сына, сказки из «Тысячи и одной ночи»... И вот как-то раз я подумал: «Коли ты и вправду такой друг, так, пожалуй, не мешало бы тебе, мистер Стельмах, позаботиться об этой семье».

«Надо бы, — говорю я с подходцем, — устроить этих одаренных детей, определить их в консерваторию, вывести в люди». Он посмотрел на меня, как очумелый, заморгал глазами: не понял, бедненький, чего я от него хочу... Тогда я сказал ему уже напрямик: «Мистер Стельмах, говорю, нужны деньги».

Услыхав слово «деньги», мой Стельмах стал — ну, как бы тебе сказать?.. Словом, краше в гроб кладут, вот как ты видишь меня плавающим. Ха-ха-ха! Что тут долго рассказывать? Он поспешно распростился со мной и — поминай как звали! Жду его в театре день, другой, третий — нет моей пташки. «Вздор! — думаю я. — Из рук Нисла Швалба не так скоро вывернешься!» Ну, разузнал я, разумеется где он живет, этот верблюд, и — марш к нему. Стучу к нему в дверь, а за дверью слышу хорошо знакомый голос, его голос: «Погляди, кто там стучит. Если высокий и толстый, то скажи, что меня дома нет». Так прямо и сказал. Передаю тебе слово в слово, ха-ха-ха, вот как ты видишь меня плавающим. А я себе думаю: «Вот как? Хочешь вывернуться из моих рук? Шалишь, голубчик, не отвертеться тебе, дороже будет стоить!»

Так рассказывал Нисл Швалб и уже сочинил целую интригу со скандалом, с двумя, с тремя скандалами. При этом он держал своего юного друга за руку, горячился, входил в азарт и, по обыкновению, закончил раскатистым смехом и привычной божбой: «Клянусь всем вашим добром!»

Из приличия Рафалеско делал вид, что слушает внимательно, и даже выражал удивление. В действительности же из всего длинного рассказа Нисла

Швалба до него дошли только последние слова: «Клянусь всем вашим добром!» Мысли его были заняты совершенно другим. Имя «Гриша Стельмах» не давало ему покоя. Ведь это же тот самый Гриша Стельмах, жених Рейзл... А раз так, значит, он, Рафалеско, напал на след. Теперь остается только одно: *познакомиться с этим Гришей Стельмахом.*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В Америку

Блестящая комбинация с тремя еврейскими театрами, задуманная гениальным комбинатором Нислом Швалбом, не совсем удалась.

Не то что в трех театрах, как замышлял ранее Нисл Швалб, но даже в единственном «Павильон-театре» дела шли не блестяще. Лондонская публика, правда, валом валила в театр, чтобы посмотреть знаменитого Лео Рафалеско из Бухареста и знаменитую примадонну Генриетту Швалб из Буэнос-Айреса. Театр был набит так, что яблоку негде было упасть. Но беда в том, что это была все та же публика, все тот же Уайтчепель с его бедными обитателями. Все те же беременные женщины с теми же грудными младенцами на руках, оглашающими театр своим визгом, воем и плачем; те же юноши и девушки, которые перебрасываются апельсиновыми корками, говорят так громко, смеются так заразительно и держат себя так по-домашнему, развязно, что «Павильон-театр» становится похож скорее на местечковый синагогальный двор в теплый летний день, нежели на театр. Евреи из Вест-Энда, еврейские аристократы с лордом Ротшильдом во главе, на которых Нисл Швалб, главным образом, строил свои расчеты, и носа не показывали в Уайтчепельский театр, как не заглядывали до того и не будут заглядывать до пришествия мессии *. Скорее английский ортодоксальный раввин перейдет в иную веру и современный реформированный раввин

научится читать молитвы, чем еврей из аристократического квартала спустится в Уайтчепель, к беднякам, в еврейский театр, где евреи говорят по-еврейски, играют по-еврейски, поют и пляшут по-еврейски.

Словом, дела театра шли неважно. Почти все деньги уходили на содержание странствующей труппы «Гольцман, Швалб и К°». А своим актерам не из чего было платить. Капиталист мистер Гечкинс истратил уже почти всю сумму, ассигнованную им на это дело, и склонен был прикрыть театр в самый разгар сезона.

Наш комбинатор Нисл Швалб, само собою разумеется, был весьма огорчен таким положением дел. Но англичанин остался англичанином — он не хотел понять теорию Швалба, что *«чем больше голова, тем большая нужна шапка»* и что *«чем больше горшок, тем больше нужно огня».*

Швалб доказывал, что не следует падать духом и что нельзя останавливаться на полпути. Наоборот, надо расширить театр. Расширить, улучшить, украсить. Надо выписать Адлера из Америки, совершить турне по всей Англии, не жалеть денег. Он с цифрами в руках доказывал, как дважды два четыре, что каждый фунт стерлингов, который мистер Гечкинс вкладывает теперь в театр, принесет со временем три фунта, десять фунтов, двадцать фунтов, бесчисленное множество фунтов.

Но мистер Гечкинс и слышать не хотел обо всех этих воздушных замках. Мистер Гечкинс, в противоположность Нислу Швалбу, придерживался английской пословицы: «Меньше шума, больше дела», или, как говорят у нас: *«Чем меньше гостей, тем пир веселей».*

Мистер Гечкинс не любил тратить слова попусту. Спорить с пылким агентом он не находил нужным. Мистер Гечкинс выслушал его до конца, постукивая ногтем по своим трем золотым зубам и глядя в окно. Когда Швалб кончил, мистер Гечкинс встал с легким вздохом, протянул ему два холодных пальца и сказал равнодушно, сонным голосом:

— Олл райт. Больше ни шиллинга.

Что было делать? Не мог же Нисл Швалб переставить свою голову на плечи этого сухого англичанина, а падать духом и отчаиваться из-за таких пустяков тоже не стоило. «Эх! — сказал себе Швалб. — Небо еще не рухнуло на землю. Бог остается богом, а Лондон — Лондоном. Не этот, другой черт найдется...»

И гениальная голова Нисла Швалба не успокоилась до тех пор, пока он не придумал новой комбинации. Комбинация состояла всего лишь из одного слова, одного-единственного слова. Но в этом слове таилась такая притягательная сила, такой магнит, в нем были скрыты такие чары, что стоило только произнести его, как сонный становился бодрствующим, ленивый — жизнедеятельным, а вольнодумец и скептик преисполнялся верой и надеждой.

«Америка» — вот это слово.

Если бы я хотел говорить языком сравнений и прибегать к параллелизмам, я сказал бы, что Америка — это океан, в который впадают все реки. Сладкое сновидение, которое не всегда сбывается. Самый отдаленный край земли, дальше которого ехать уже некуда. Такое сильное лекарство, что если и оно не поможет, то уже ни врач, ни знахарь не спасет.

Нашего пылкого комбинатора Нисла Швалба уже давно тянуло туда «в золотую страну». С детства грезил он о том, чтобы разбогатеть, а это возможно только там, в стране долларов. Бывали времена, когда он уже откладывал деньги на шифскарту *. Но всевозможные комбинации всегда задерживали его. Всякий раз, когда та или иная комбинация лопалась, как мыльный пузырь, он тотчас же бежал в контору заказывать себе билет на первый отходящий в Нью-Йорк пароход. Но по дороге в контору пароходной компании у него в голове вдруг зарождалась новая комбинация, и он, возвратясь домой, вновь энергично принимался за ее осуществление. Комбинация снова проваливалась, и он опять бежал за билетом, снова по дороге придумывал новую комбинацию, возвращался

обратно, опять комбинировал... И так несколько раз.

Но на этот раз он твердо решил ехать во что бы то ни стало. Ничто не остановит его, даже если бы камни начали падать с неба. Сам бог велел ехать в Америку. Обстоятельства за последнее время складывались так, что все, решительно все благоприятствовало их поездке.

Золотая мысль о поездке в «золотую страну» зародилась у Нисла Швалба в подвале, в квартире уже знакомой нам музыкальной семейки. Ломжинский кантор только на днях получил письмо из Америки, в котором его убеждали непременно поехать туда со всей семьей: их там буквально озолотят. «Пение и музыка, — писали ему, — это такой товар, которого в Америке нет. Его выписывают из Европы. Самый захудалый музыкантишка, — писали ему далее, — который у себя дома всю жизнь ходил, простите за выражение, в рваных штанах, в одну неделю становится в Америке профессором...»

Когда ломжинский кантор прочитал вслух это письмо, Нисл Швалб встрепенулся, вскочил как ошпаренный, шлепнул себя по лбу и хлопнул кантора по плечу.

— Едем в Америку! Клянусь всем вашим добром, едем! У меня, понимаете ли, комбинация, чудесная, редкостная комбинация! Завтра или послезавтра увидимся. Все будет в лучшем виде. Гуд бай!..

Минуту спустя Нисл Швалб был уже на улице. Веселый, жизнерадостный, самодовольный и счастливый, он широко шагал по Уайтчепелю. Сдвинув шапку набекрень и насвистывая песенку, он своими богатырскими плечами пробивал себе дорогу сквозь густую уличную толпу, двигавшуюся по обоим тротуарам, подобно туче, подобно шумному потоку, которому нет ни начала, ни конца.

«Ну и город! — размышлял про себя Нисл Швалб, посвистывая. — Хорошо, удивительно хорошо жить на свете! Клянусь всем вашим добром!..»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

И кошка может повредить

Читатель помнит, конечно, как нехорошо, как неделикатно обошелся наш директор Бернард Гольцман с бедной Брайнделе-козак. И она дала себе слово и поклялась всем святым отомстить этому, с позволения сказать, директору, который слишком уж задрал нос. Забыл, видно, этот ушастый пес, что его когда-то звали Гоцмахом и что он чистил штиблеты у Щупака, мир праху его. Но что может сделать она, бедная, одинокая и беспомощная странница, созданная судьбой только для того, чтобы все ее эксплуатировали, а потом, использовав, выбрасывали, как ненужный хлам. Она, бедная, так долго скиталась по свету, то и дело получая удары от «лживых, изменчивых мужчин», покуда не добралась, наконец, до Америки. И слава богу, ей не приходится жалеть об этом! Там ее уже не именуют «Брайнделе-козак», а все зовут ее настоящим именем «мадам Черняк». У нее очень приличный «джаб» (должность), — пишет она Генриетте Швалб большими полукруглыми кренделеобразными буквами. — Она, правда, уже не актриса, потому что здесь в благословенной стране Колумба, у каждой профессии есть свой «юнион»[1]. У еврейских актеров — свой «юнион», и они не допускают на сцену чужого актера. Поэтому у нее теперь другой джаб, другая должность, тоже довольно почтенная и тоже в театре...

Какой именно «джаб», в письме не указано. Она пишет только, что зарабатывает, слава богу, неплохо, вполне довольна и отказалась от всякой мысли когда-нибудь изменить свой образ жизни. Заканчивает она письмо своим излюбленным благословением:

«Пусть смерть поразит всех мужчин и, прежде всего, чахоточного директора. Он все еще жив?

Вы не можете себе представить, — пишет далее мадам Черняк, — до чего я обрадовалась, когда

---

[1] Юнион — профессиональный союз.

узнала, что вы в Лондоне, на этой последней станции по пути из Европы в Америку. Ах, как было бы хорошо, подумала я, если бы вы приехали сюда, в Америку! Здесь ваше настоящее место. Я даже позволила себе закинуть словечко некоторым владельцам здешних еврейских театров. Они очень внимательно слушали и попросили показать вашу «пикчу» (портрет). Когда я показала им вашу «пикчу», они чуть с ума не сошли от восторга. Они просили, умоляли меня дать ваш адрес. Они, без сомнения, вам напишут, если уж не написали, — вероятно, собираются ангажировать вас в примадонны. Мой совет: не ставьте им никаких условий, даже не отвечайте, а прямо приезжайте без всяких отлагательств. До каких пор вам скитаться по свету? За других актеров не ручаюсь — им трудновато будет устроиться из-за «юниона». Но таким «звездам», как вы и Рафалеско, если вы приедете сюда, препятствий не будет. Я уверена, что вас здесь на руках будут носить. Запомните, однако: все должно остаться в строжайшей тайне. Кроме вашего брата и Рафалеско, ни одна живая душа не должна знать об этом, в особенности этот чахоточный, с позволения сказать, директор, — не то он вас так оплетет, что вы во веки веков не распутаетесь... Помните же, ради бога, никому не отвечайте на письма, ни с кем не говорите и приезжайте немедленно сюда. Я уже здесь рассказала кой-кому, что вы собираетесь приехать, и они не поленились напечатать об этом в газетах вместе с вашей «пикчей». Посылаю вам эти газеты. Помните, что тут, за океаном, у вас есть любящий и преданный друг, имя которой

Брайндл Черняк».

Так исподтишка Брайнделе-козак подкапывалась под своего кровного врага — Гольцмана. Но одним этим ударом она не довольствовалась. Забрать у него одну лишь примадонну казалось ей недостаточным. Надо было вырвать из его рук лучшее его сокровище, единственный источник его обогащения, драгоценную курицу, несущую ему золотые яйца. Одним словом,

надо было забрать у него «парня», из-под носа забрать у него Рафалеско. Точь-в-точь так, как он не так давно из-под носа Гецл бен-Гецла переманил к себе его примадонну. Точь-в-точь так, как вырвали из рук ее второго заклятого врага — Щупака — другую золотую курочку, Розу Спивак.

Так решила про себя Брайнделе-козак, и сам бог пришел ей на помощь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Одним выстрелом двух зайцев

За всю свою долгую жизнь, за все годы скитаний по городам и местечкам Европы Брайнделе-козак не прочитала и десятой доли того, что она прочла за короткий срок своего пребывания здесь, в «благословенной стране Колумба». Там, на старой родине, она тоже любила почитать книжку. Но где ее достать? В кои-то веки попадался ей какой-нибудь «душераздирающий» роман, и она просиживала над ним ночи напролет, проливая горькие никому не видимые слезы. Здесь, в «благословенной стране Колумба», нет надобности искать книжку. Стоит только выйти на улицу, — и вам навстречу несут газеты — одну, другую, третью — на выбор. Каждая газета величиной с простыню, стоит всего один цент, а материала в ней — выбирай, что только душе угодно. Все, что вам нравится, вплоть до птичьего молока. Боже, чего-чего только там нет! Самые что ни на есть последние новости с вашей старой родины и со всех концов света, и все это преподносится вам с такими огромными кричащими заголовками, что видишь их за версту. А что за романы там печатаются! В каждой газете ежедневно, из года в год, печатаются два романа сразу, один другого увлекательнее. Рай земной, да и только!

В один прекрасный вечер Брайнделе-козак прочитала в газетах, в отделе «драма, искусство и музыка»,

сообщение о том, что в восточной части Нью-Йорка, в аристократическом квартале «Антуан», ожидаются два гостя из Парижа, две «звезды» первой величины: скрипач английского королевского двора *Гриша Стельмах* и знаменитая певица, превзошедшая Патти, всемирно известная *Розалия Спайвак.*

— Розалия Спайвак! — воскликнула Брайнделе-козак, хлопнув себя обеими руками по коленям. — Боже! Да ведь это же Роза, Роза Спивак!

Мадам Черняк была вне себя от ликования. Подумать только: Роза, Роза Спивак едет сюда! Вихрем закружились в ее голове самые разнообразные мысли, фантазия ее разыгралась вовсю. Ах, как обрадуется Роза, когда увидит ее, мадам Черняк! Они бросятся друг дружке в объятия и расцелуются. Это, во-первых. Затем Роза начнет расспрашивать, как она, мадам Черняк, поживает. Давно ли в этой стране? В каком театре служит? Какие роли играет?.. Какие роли?.. Увы, в театре-то она работает, но ролей никаких не играет. Здесь, в «благословенной стране Колумба», у каждой профессии есть свой «юнион», и этот «юнион» не допускает на сцену чужих актеров. Она, правда, работает в театре, но не на сцене, — у нее другая профессия: она одевает и причесывает «миссис» — здешнюю примадонну. Что в этом зазорного? Лишь бы заработать на хлеб. Не так ли?.. «Конечно! конечно!» — ответит Роза, глядя на нее своими черными, сверкающими цыганскими глазами... Мадам Черняк понимает этот взгляд. Она знает эту девушку, как свои пять пальцев. Роза, конечно, думает: «Почему бы ей, мадам Черняк, не служить лучше у меня?» Совершенно правильно! Зачем ей служить у чужих, когда она может найти работу у своего самого лучшего друга, у своего человека, у подруги, с которой она когда-то жила душа в душу, как с родной сестрой?

Так всю ночь напролет Брайнделе-козак предавалась упоительным мечтам, от которых ее даже лихорадило. Еле дождавшись рассвета, она быстро накинула на себя халат, села за стол и крупными, полукруглыми кренделеобразными буквами стала писать

письмо по адресу: «Лео Рафалеско, «Павильон-театр», Уайтчепель, Лондон».

Вот это письмо:

«Милый Лео Рафалеско!

Вы, конечно, не забыли вашей старой знакомой и преданного друга Черняк, которая вместе с вами скиталась когда-то по свету, служила с вами в одной труппе и делила с вами горести и радости... Ах, что это было за счастливое время! Правда, у каждого из нас были свои печали, свои горести... Но не будем вспоминать о том, что было. Поговорим лучше о настоящем. Из здешних газет я узнала, что ваша труппа теперь в Лондоне и что вы пользуетесь там величайшим успехом. Вы не можете себе представить, как я этому обрадовалась. До того обрадовалась, что сейчас же взялась за перо, чтобы написать вам письмо и послать вам пламенный привет из далекой страны, в которой я нынче живу... Я нисколько не жалею, что оставила Гольцмана с его компанией, и надеюсь, что и в дальнейшем мне не придется в этом каяться. Америка — подлинная страна еврейского театра. Думаю, что если бы вы приехали сюда, вам бы устроили такой прием, что лучшего и представить себе нельзя. Правда, не всякого актера здесь охотно принимают. Тут, в благословенной стране Колумба, у каждой профессии свой «юнион», и у актеров есть свой «юнион», который не допускает чужих на сцену, разве только если приезжают очень уж крупные «звезды». Если бы вы, например, приехали сюда, то ни о каком «юнионе», разумеется, не было бы и речи. Вот вам доказательство. Я пробовала заговорить о вас с владельцами здешних театров, старалась прощупать их мнение насчет того, что было бы, скажем, если бы такая «звезда», как Рафалеско, приехал сюда на гастроли. И представьте, меня насмех подняли. «Какие тут могут быть разговоры! Пусть только приедет, — отвечали мне, — мы его золотом осыплем». Я передаю вам подлинные их слова и считаю, что Лондон для вас — неподходящее место. Ваше место здесь, в золотой стране, где вы будете не только

гастролером на час, но и одной из величайших «звезд» надолго, навсегда; где вы будете иметь тысячи и тысячи почитателей, среди которых первая почитательница

Ваш преданный друг

Брайндл Черняк».

«Да, кстати: говорят, на днях приезжает к нам из Парижа моя старая приятельница Роза Спивак. Вы еще не забыли ее? В здешних газетах, где напечатан ее портрет, она называется уже не Роза Спивак, а «мисс Розалия Спайвак» и выглядит еще красивее, чем прежде. Посылаю вам вырезку из газеты с «пикчей» Розы Спивак или, как ее сейчас величают, «мисс Розалия Спайвак». Само собою разумеется, вам надо держать это письмо в строгом секрете. Никто, решительно никто не должен знать о нем, только я да вы, да бог в небесах... Посылаю вам мой адрес на случай, если захотите ответить.

Брайндл Черняк».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Что с «парнем»

Брайнделе-козак хорошо метила и неплохо попала в цель. Да ей к тому же еще и повезло. Ее письма к Генриетте Швалб и Лео Рафалеско были получены как раз в тот момент, когда лондонский «Павильон-театр» вот-вот должен был закрыться, а компания «Гольцман, Швалб и К°» была накануне полного развала. К тому же Брайнделе-козак своим письмом к Рафалеско буквально открыла ему глаза.

Лишь за несколько дней до получения этого письма Рафалеско, гуляя с суфлером Беней Горглом по Лондону, увидал на одной из фешенебельных улиц аристократической части города афишу, на которой аршинными буквами было напечатано «Розалия Спивак», или «Спайвак», а рядом такими же буквами

еще одно имя — «Гриша Стельмах». Увидя эту афишу, Рафалеско остановился как вкопанный и схватился за сердце.

— Что с тобой? — спросил суфлер. — Что ты здесь увидал особенного? Это же старая афиша времен Богдана Хмельницкого.

— Погоди, прочитаем-ка, что здесь написано, — ответил Рафалеско.

Из афиши они узнали, что два-три месяца тому назад в одном из самых больших залов Лондона состоялся концерт двух знаменитостей — мисс Розалии Спайвак и мистера Гриши Стельмаха.

Буря поднялась в душе нашего юного героя. Подумать только! Ведь в это самое время он, Рафалеско, уже был в Лондоне. Как мог он упустить такой случай? Быть с Рейзл в одном городе и не повидаться с ней! А кто знает, может, она и теперь еще в Лондоне?

И Рафалеско начал допытываться, расспрашивать, разыскивать, в надежде узнать что-нибудь о Рейзл.

Первый, к кому он обратился, был, само собою разумеется, его новый друг и путеводитель по Лондону Нисл Швалб. Рафалеско, понятно, поставил перед ним вопрос не прямо, а подошел к делу окольным путем: он попросил Нисла назвать имена всех знаменитых артистов, певцов и певиц, которых тот слыхал в своей жизни.

Как истый театрал, Нисл Швалб не заставил себя долго ждать: считая по пальцам, он начал перечислять такой бесконечно длинный перечень имен, что Рафалеско был просто ошеломлен и ошарашен.

Нечего греха таить: многие из этих имен были высосаны, как говорится, из пальца и родились в голове Нисла Швалба экспромтом, в самым момент рассказа. Оказывается, со многими знаменитостями Нисл Швалб был знаком, очень хорошо знаком, связан самой тесной дружбой. Например, с Патти...

— Оставь Патти в покое! — прервал его Рафалеско. — Скажи лучше, не слыхал ли ты когда-нибудь имя Спивак?

— Что за Спивак? Есть двое Спиваков...

— Двое?!

Такого удара Рафалеско не ожидал.

— Ее зовут Роза, — сказал он, — или Розалия Спивак.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Нисл Швалб. И по смеху его можно было заключить, что либо он с этой Розой Спивак первый друг и приятель, либо Роза Спивак не принадлежит к числу тех избранниц, имена которых стоит запоминать.

Нахохотавшись вдосталь, Нисл опять завел длинный разговор о Патти, — о том, как он с ней познакомился, как у него чуть не разразился скандал из-за внука этой самой Патти...

— Внука Патти?

— А что же тут удивительного? У нее уже есть и правнуки и праправнуки.

В тот же день Рафалеско потерял покой. Он ни минуты не мог усидеть дома. Его тянуло на улицу. Он почти не слышал, что ему говорили.

— Что с «парнем»? — спросил Гольцман своего компаньона Изака Швалба.

— Это же твой «парень», что же ты меня спрашиваешь?

Гольман оставил его в покое и отправился к матери:

— Что с «парнем»?

Сора-Броха, собиравшаяся в эту минуту на кухню, где она готовила обед, огрызнулась:

— Оставь меня в покое с твоим «парнем»! Мне надо идти на кухню общипать пару цыплят и приготовить обед, а он со своим «парнем»!

Говоря это, Сора-Броха, несмотря на всю свою неприязнь к проклятому, мрачному Лондону, обильно пересыпала свою речь английскими словами.

Гольцман сплюнул:

— Ты тоже заговорила уже языком английской королевы?.. Что с «парнем»? — обратился он к сестре.

Златка так побледнела, что Гольцман, забыв о «парне», весь исполнился тревоги за сестру. «Отчего

она так побледнела?» Он закрыл дверь, взял сестру за руку и посмотрел ей глубоко в глаза.

— Златка, что с тобой?

— Ничего, — ответила бедная девушка и, припав головой к столу, заплакала, как дитя, тихими, но горькими слезами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Новая компания

Представитель лондонской фирмы «Гечкинс Брос Лимитед», в свое время согласившийся на предложение своего агента Нисла Швалба о финансировании еврейского «Павильон-театра», сдержал слово, как истый англичанин. Он подвел итог, подсчитал в точности, сколько фунтов он потерял на этом «бизнесе», и угостил своего агента холодным и сонным олл райт. Он даже не протянул ему, как обычно, двух пальцев, а, повернувшись к нему самым бесцеремонным образом спиной, сел в автомобиль и умчался.

Возможно, что в другое время такой ответ сильно обескуражил бы нашего комбинатора и доставил бы ему много огорчений. Но на сей раз он даже минуты не потратил на размышления. Он был слишком увлечен своей новой комбинацией, чтобы расстраиваться из-за того, что какой-то холодный англичанин заупрямился и, потеряв на еврейском театре несколько сот фунтов, не захотел идти на дальнейший риск. Нет, англичанин — не еврей! Еврей, если уж он влип в дело, то будет лезть до конца: «Либо пан, либо пропал...» Кто выдумал, будто англичане — народ деловой, что они свои дела ведут умело? Ничего подобного!.. Думаете, Нисл Швалб не сказал ему этого в глаза? Так прямо и сказал, вот как вы видите его плавающим! «Мистер Гечкинс! Дай бог мне столько добра, насколько больше у меня сообразительности в левом башмаке, чем у вас под шляпой». Именно

этими вот словами, ха-ха-ха! Иметь бы ему так все богатства мира!

Так хвастался Нисл Швалб перед друзьями, излагая новую, только что придуманную им комбинацию и фантазируя вслух о том, как он приедет в Америку с компанией, состоящей из самых разнообразных талантов: лучшие актеры (имеется в виду Рафалеско), лучшие певицы (собственная сестра), лучшие музыканты (ломжинский кантор с его музыкальной семейкой). А он сам, Нисл Швалб? Думаете, он не имеет никакого отношения к театру? О-го-го! Еще какое! Оказывается, он был когда-то — не теперь будь помянуто! — «ошером» в лондонском «Павильон-театре».

И Нисл Швалб разъясняет, что такое «ошер».

— У вас он называется билетером, а у нас «ошером». Его работа, понимаете ли, больше наружная, чем внутренняя, но без него обойтись в театре нельзя. Билетер, или «ошер», стоит при входе, проверяет билеты, указывает места, наблюдает за порядком, — одним словом, на нем, на «ошере», держится весь театр, как Лондон — на полисмене. Попробуйте убрать из города полисмена, — и прости-прощай Лондон!

Чрезвычайно довольный этим сравнением, Нисл Швалб продолжал трубить:

— И был я, надо вам сказать, таким билетером, каких свет не видал. Из билетеров билетер! Один на весь театр, как вы видите меня плавающим! Ого-го! У меня не перебрасывались апельсиновой коркой из лож. Грудные младенцы не ревели во весь голос в партере. Чуть что — за шиворот! Раз-два-три — и на улицу. Однажды разыгрался такой скандал...

Тут Нисл, засучив рукава, стал рассказывать, какой у него разгорелся скандал, горячась, по своему обыкновению, и сильно жестикулируя. Получилась весьма занимательная история. Жаль только, что в ней не было ни слова правды; он только что выдумал ее, попросту сочинил от начала до конца, скрепляя свою выдумку обычными клятвами: «Кля-

нусь всем вашим добром, а если я лгу, то подавиться вам этим столом!»

После описания «скандала» великий комбинатор снова перешел к своим заманчивым планам в золотой стране, рисуя самыми розовыми красками будущие успехи в Америке. Их жизнь там представлялась ему сущим раем. Шутка ли, сборище таких разнообразнейших талантов! И он снова стал перечислять по пальцам всех участников компании.

— Скажите сами, чего стоит такой театр, у которого свой собственный оркестр, свои артисты, свои музыканты, свои «ошеры», — словом, все, решительно все, — свое! Сколько ни заработаешь, делишь между всеми поровну. Нет того, чтобы одному больше, а другому меньше. Своего рода коммуна, не так ли?

Так как этот разговор происходил в подвале у ломжинского кантора, в присутствии всей музыкальной семейки, то кантор первый поднялся и заявил, что готов сию же минуту обеими руками подписать контракт и притом на сколько угодно лет, хотя бы на веки вечные.

— В контракте, — сказал он, — можно записать черным по белому, что мои дети обязаны играть *где угодно, когда угодно и сколько угодно,* а заработок надо делить между всеми на равные части.

Тут Изак Швалб заартачился. Он доказывал, — и его багровое лицо при этом покрылось потом, — что план этот не совсем правилен. Нельзя же ставить на одну доску с кем бы то ни было таких артистов, как Рафалеско или их сестра-примадонна... Во всем должна быть соблюдена мера, всему должна быть граница.

Но тут и Нисл Швалб, вскочив с места, отчитал своего братца по заслугам:

— Ты — несчастный раб! Холопская душа! Тебя, я вижу, окончательно закабалили презренные антрепренеры, душу твою поработили. Ты, понимаешь, привык к таким эксплуататорам, как Гецл бен-Гецл, Бернард Гольцман и им подобные. Но я не какой-нибудь Гецл бен-Гецл или Бернард Гольцман, которые любят ездить верхом на чужой спине. У меня на

первом плане — совесть, справедливость и человечность. Я готов, как вы видите меня плавающим, поработать в Америке год, и два, и три, и пять, и шесть лет только ради других, клянусь вам всем вашим добром!..

Само собою разумеется, Нисл Швалб поставил на своем. Идея коммуны была одобрена подавляющим большинством, и таким образом была создана новая компания служителей искусства, музыки и театра.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Капиталист

Теперь оставалось разрешить только один вопрос: где взять деньги на переезд всей компании в Америку? Но это затруднение разрешилось гораздо проще и быстрее, чем можно было ожидать.

Читатель, уже немного знакомый с нашим гениальным комбинатором Нислом Швалбом, знает, что за деньгами у него никогда дело не станет. Главное — хорошая комбинация. «Деньги, — уверяет он, — самое последнее дело. Ему, говорит, никогда не приходилось искать денег, деньги его ищут». И на сей раз деньги пришли сами и притом с совершенно неожиданной стороны.

Это было в кафе «Националь» у нашего старого знакомого мистера Кламера.

Мистер Кламер, как известно, ко всем относился дружелюбно и, если верить его словам, вообще отличается человеколюбием. Он и Нисл Швалб с давних пор — закадычные друзья. Издавна их связывает, так сказать, взаимная любовь. У Нисла Швалба нет никаких секретов от мистера Кламера. Все задуманные им комбинации он раньше всего поверяет своему другу Кламеру, а потом уже «по секрету всему свету».

За кружкой пива наш комбинатор изложил ему свой блестящий план создания новой компании, состоящей из самых разнообразных талантов и готовой

тронуться в путь хотя бы завтра. Не хватает только одной мелочи: нет еще денег на шифскарты и прочие путевые расходы. Шутка ли, такая орава, не сглазить бы!

Покуда Швалб говорил, мистер Кламер слушал его, закрыв глаза и поглаживая длинную окладистую бороду, придававшую ему сходство с доктором Теодором Герцлем. Когда тот кончил, мистер Кламер спокойно и неторопливо произнес:

— Олл райт! Скажите, пожалуйста, мистер Швалб, имеете вы еще что-нибудь сказать или это все? Если это все, то позвольте вам поставить один вопрос: если я, например, дам вам капиталиста, согласитесь ли вы делить с ним всю прибыль пополам?

По натуре своей Нисл Швалб не из тех, которые любят долго размышлять. Он того мнения, что когда завидишь зайца в лесу, не следует останавливаться в раздумье — с какой стороны в него стрелять. Пиф-паф — и готово! Все же для виду он начал дипломатически тереть лоб, как человек, финансирующий крупное дело. После двух-трех секунд размышлений он твердо заявил:

— С величайшим удовольствием, с огромным наслаждением и с искренней благодарностью.

— Олл райт! Дайте же руку на счастье. Ваш капиталист — я.

При этом мистер Кламер указал рукой на себя и удостоил своего друга приветливой, сладкой, величественной улыбкой, в которой выражалось столько самообожания, что, будь на его месте, например, сам барон Ротшильд, он не мог бы улыбаться снисходительнее, слаще и величественнее.

Нисл Швалб до того оторопел, что забыл даже протянуть Кламеру руку, чтобы обменом рукопожатий скрепить договор. Он знал мистера Кламера не первый год, знал, что он сионист, территориалист, общественный воротила, непрошеный советчик, славный малый, владелец ресторана, все, что хотите. Но, что мистер Кламер — капиталист, было для него совершенной неожиданностью и казалось почти неве-

роятным. Мистер Кламер, с своей стороны, разгадал, по-видимому, мысли собеседника и с величественной улыбкой прибавил:

— Пусть вас не удивляет, что я иду на такое дело, как говорится, с закрытыми глазами. Я не так уж зелен, как вы думаете, и не стану рисковать всем капиталом. Я оставлю свое дело здесь на попечении своей миссис. Мне уж давно осточертело торговать лапшой. Каждый должен знать, к чему у него есть призвание. Как говорят англичане: «Каждый знай свое место». Ну, мистер Швалб, дайте же вашу руку, покуда я не раздумал. У меня такой принцип: ежели я решусь на что-нибудь, то уж не отступлюсь. Как говорят англичане: «Если вы хотите что-нибудь сделать...»

Вечером того же дня у ломжинского кантора в подвале было такое веселье, что соседи, хоть и привыкшие к беспрестанной музыке и к постоянному шуму и гаму в этой музыкальной семье, собрались во дворе и заглядывали в незанавешенные окна подвала. Они увидали у кантора множество гостей, шумно пировавших за столом; какой-то высокий толстый человек с бокалом в руке произносил спич. Затем семья взялась за инструменты. Высокий толстяк сбросил пиджак и пустился в пляс с таким жаром и воодушевлением, с каким пляшет только счастливый отец на свадьбе своей младшей дочери.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Поделом вору и му́ка!

Как громом поразило Гольцмана известие о закрытии «Павильон-театра». Он накинулся на своего компаньона Изака Швалба, ругательски ругая его за то, что тот втянул его в болото и оставил, как говорится, на мели: ни туда ни сюда. Он обрушил на голову компаньона столько ругательств и проклятий, сколько его рот в состоянии был извергнуть.

Но у Изака был прекрасный характер, золотой характер: когда его ругали, он молчал. Вы могли говорить ему все, что угодно, он и языком не шевельнет, а только виновато смотрит в глаза и потеет. На этот раз, однако, он не мог смолчать. Затронули честь и достоинство его брата Нисла. Гольцман обозвал его самыми мерзкими словами. А за брата Изак был готов биться до последней капли крови.

Выведенный из себя неудачными делами в Лондоне, расстроенный и раздраженный шумом и сутолокой большого города, с его густыми туманами, большими холодными серыми зданиями и серыми холодными людьми, а особенно — встревоженный кашлем, который здесь, в Лондоне, донимал его больше, чем в каком-нибудь другом месте, наш бедный директор не переставал пилить своего компаньона. Он отводил душу в проклятиях:

— Провалиться бы ему сквозь землю, этому Лондону, вместе с вами, прежде чем я приехал сюда. Лучше бы мне сломать ногу или обе ноги! Мало мне было одного компаньона, — так на тебе целых двух!

— Что ты все попрекаешь меня двумя компаньонами? — спросил Швалб.

— А как же? Раз театр уже не театр, то и нашей компании конец. К чему мне два таких дармоеда, как ты и твой братец?

— Вот как? Ну что ж, нет так нет, —сказал Изак Швалб, поднявшись с места. — Как говорится: на нет и суда нет. Да мы все равно едем в Америку.

— В Америку едешь? — спросил Гольцман, пронизывая бывшего компаньона острым взглядом. — На здоровье! Хоть на тот свет.

Швалб подошел уже к двери, но вдруг остановился и повернул к Гольцману свое багровое лицо.

— Но сестра тоже с нами едет...

Гольцман всплеснул руками, схватился за голову и скорчил гримасу:

— Ой, боже мой, боже мой! Вот сейчас я посыплю голову пеплом и сяду посреди Уайтчепеля оплакивать свою горькую долю!

Уже за дверью послышался голос Изака Швалба:

— Так знай же, что ты, с божьей помощью, не только заплачешь, — ты еще завоешь: с нами едет еще кое-кто.

Гольцман вышел из себя. Его колючие глаза засверкали:

— Не дожить до этого твоему брату, этому буйволу!..

Казалось бы, что особенно обидного в слове буйвол? Не называет ли его самого Гольцман чуть не каждый день «бегемотом» либо «верблюдом»? Чем «буйвол» хуже «бегемота» или «верблюда»? Но поди разговаривай с таким человеком, как Изак Швалб. Услышав слово «буйвол», он вспыхнул, как спичка. Его неизменно багровое лицо позеленело. Вне себя от злобы, он подошел вплотную к Гольцману и тихо, но резко прошипел:

— Слушай, ты, холера этакая! Если ты еще раз позволишь себе обругать моего брата этим словом, я тебя в порошок сотру! Превращу в труп!

— Вот как! В труп?

— Да, в труп, в дохлятину.

Но Гольцман, видимо, не очень испугался угроз своего компаньона Изака Швалба. Он громко захохотал и, как водится, раскашлялся.

— Меня в труп?! Ха-ха-ха! Пхе-пхе. Смею тебя уверить, скотина этакая, что не успеешь ты повернуться своим медвежьим телом, как я раскромсаю твою красную харю, превращу ее в яичницу, верь моему слову!

Можно не сомневаться, что большая часть обещаний, которые они щедро раздавали друг другу, была бы честно выполнена обеими сторонами, — на этот счет оба они были люди, заслуживающие безусловного доверия. Но тут внезапно, как из-под земли, между ними выросла широкоплечая костлявая мать Гольцмана Сора-Броха и решила их спор компромиссом: сына увела, а компаньона вытолкала из комнаты и заперла за ним дверь.

Для Гольцмана разверзлась геенна огненная. Его мозг сверлили слова компаньона: «Так знай же, что

ты, с божьей помощью, не только заплачешь, ты еще завоешь... с нами едет еще кое-кто...» Ясные слова, не требующие комментариев.

Теперь ему понятно, почему «парень» ходит, как в чаду, как в хмельном угаре. Братья Швалб свели его с пути. Их сестрица вскружила ему голову. Это ясно, как божий день. Может быть, «парень» и сам не рад. Оттого-то он места себе не находит. Не видать разве по его лицу? Ого, еще как! Ясно видно.

— Гоцмах, чтоб ты сгорел! Где были твои глаза?..

И Гольцман не жалеет проклятий по своему собственному адресу. Но поток проклятий не успокаивает его. Эх, если бы он мог сам себя выпороть или если бы кто-нибудь другой переломал ему все ребра!

— Поделом тебе, Гоцмах! — терзал он сам себя, шагая взад и вперед по комнате, как разъяренный зверь, и сверкая колючими глазами. — Так тебе и надо, Гоцмах! Так тебе и надо! Поделом вору и му́ка!

Он готов был растерзать себя и в раздражении толкнул ногой ни в чем не повинную скамейку, скромно стоявшую у стены. На стук прибежала, ни жива ни мертва, Сора-Броха.

— Что опять? Кто здесь так стучал, что в кухне слышно было?

Сора-Броха вошла не одна: в ее руках была полуобщипанная курица. Запрокинув бледную мертвую головку с перерезанным горлом, курица смотрела своими тусклыми, затянутыми пленкой глазами прямо на Гольцмана. По крайней мере так ему показалось — прямо на него. Все на него! Все на него!

Он до того рассвирепел, что, казалось, сердце его вот-вот разорвется пополам. Он с кулаками набросился на мать и закричал не своим голосом:

— В кухню! Вон в кухню, вон!

Старуха постояла с минуту, плюнула и ушла обратно в кухню с полуобщипанной курицей.

— Так тебе и надо! — повторял Гольцман. — Поделом вору и му́ка!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Катастрофа надвигается

Гольцман уже давно, с первого дня своего приезда в Лондон чувствовал, что туча надвигается на него в этом проклятом городе туманов. Он только не знал, с какой стороны грянет гром. Ему с первой минуты не нравились слишком уж панибратские отношения между «буйволом» (Нисл Швалб) и «парнем» (Лео Рафалеско). Но как он мог помешать этому? Рафалеско теперь уже взрослый человек и к тому же стал очень серьезен, — его прямо-таки не узнать! Кто бы мог, например, ожидать, что этот наивный ягненок, который недавно еще, казалось, не умел считать до ста, не знал, как рубль выглядит, вдруг станет самостоятельным человеком, с амбицией, со своими взглядами на жизнь, с собственным мнением и с новыми запросами, с жаждой знания, со стремлением изучать языки, учиться, учиться...

А кто виноват, как не он сам, Гольцман? Черт его дернул тогда во Львове переманить из труппы Гецл бен-Гецла вместе с примадонной еще двух бездельников — Брайнделе-козак и суфлера Беню Горгла, которого в актерской среде называли «человеком с образованием»! С Брайнделе-козак, правда, он разделался с необычайной легкостью: едва лишь он пронюхал, что та шушукается с «парнем», он сейчас же выгнал ее вон и таким образом избавился от одного из бездельников. Но с другим бездельником, с суфлером, дело было не так просто. «Человек с образованием», игравший при Гольцмане роль тайного советника, причинил ему гораздо больше хлопот, чем можно было ожидать. «Человек с образованием» передал «парню» все свое образование, все свои знания и этим зарезал Гольцмана, зарезал без ножа. Какое уважение может питать теперь к нему, к директору, его «парень», который знает уже английский язык, читает книги, декламирует наизусть целые отрывки из Шекспира и мечтает, по его словам, о «новом вольном мире» и о «новых горизонтах»? Поди угадай, что это за «новый мир» и какие такие «новые горизонты»!

Для Гольцмана подобные слова — китайская грамота... Рафалеско толкует с ним о «самостоятельности», о создании нового театра с новым репертуаром, с новыми пьесами. Новое! Все, все должно быть новое! А старое куда девать? Выбросить собакам на съедение? А кто будет создавать это новое?.. Странные речи! И все это по милости «человека с образованием», холера бы его побрала, боже милосердный, в один день с «буйволом»!

Закончив таким благословением, Гольцман на минуту задумался. Унылые, безрадостные, мрачные предчувствия овладели им и перенесли его мысли от «парня» к сестре...

Бедная, бедная Златка! Она причиняет Гольцману много-много огорчений. Он видит, что сестра его чахнет, тает, как свеча. А кто виноват, как не он, он сам? Кто ее выписал сюда со старухой матерью, как не он? Кто оторвал ее от родного дома, от работы, сделал актрисой, обрек на вечные скитания? Кто вдохнул в ее сердце надежды, ложные, несбыточные надежды? Напрасны были его труды, ни к чему все усилия. Зря старался он сблизить их — сестру и «парня»... Надеялся повести их под венец... И вот... Что будет с сестрицей, если Рафалеско и впрямь в один прекрасный день уедет в Америку, как уверяет Изак Швалб?

Мучительные мысли одолевали Гольцмана. Худшие опасения терзали его душу. Но он принялся тут же утешать себя: «Глупости! Вздор! Не может этого быть! Неужто Рафалеско бросит их и уедет в Америку один? Ерунда! Чушь! Он слишком добр, слишком мягок. У него слишком честная душа. Нет, он этого не сделает!.. Если ехать, то они поедут все вместе. Как же иначе?»

Так утешал себя Гольцман. Но спустя мгновение его мысли опять затуманились: «Кашель, кашель, холера его побери вместе с буйволом за компанию!»

Да, болезнь Гольцмана в сыром, туманном Лондоне в последнее время до того обострилась, что вряд ли он будет в силах предпринять такое дальнее путешествие. Врачи и вовсе велят ехать обратно на

континент,— если можно, говорят они, то в Швейцарию либо в Италию... Чистый воздух, говорят они, нужен ему, воздух и солнце. Ха-ха-ха! Дураки! Болваны! Идиоты! Сущие идиоты! На что ему, Гольцману, скажите на милость, чистый воздух и солнце без театра, без сцены, ха-ха-ха?

По-видимому, от чрезмерного напряжения Гольцман до того расхохотался и так неистово закашлялся, что мать снова прибежала из кухни с засученными рукавами. На сей раз уже не с курицей, а с большим половником в руке.

— Опять этот ужасный кашель! — воскликнула она.

Запах лука и перца, принесенный ею из кухни, еще больше обостряет кашель Гольцмана. Но он крепится, изо всех сил старается сдержать жестокий приступ кашля и сердито приказывает матери возвратиться назад в кухню — к своему луку и перцу. Он делает вид, что смеется, как-то странно кривит рот, плюет в носовой платок и быстро засовывает его поглубже в карман, чтобы старуха не заметила крови. Напрасные старания! Сора-Броху не обманешь. У матери глаза зоркие, она видит свое горе. И старуха заломила руки.

— Горе мне несчастной! Гром меня порази! Горе матери!

Она насильно уложила больного сына в постель и тотчас послала Златку за врачом.

Встревоженная и озабоченная еще более, чем обычно, мертвенно-бледная, заплаканная, с опухшими от слез глазами, Златка накинула на себя пальто и поспешила к доктору.

Она бежала по шумной улице города и думала:

«Кажись, кругом ад кромешный... Столько лошадей, трамваев, автомобилей мчится туда и сюда, и хоть бы один из них сжалился и раздавил бы меня насмерть...»

. . . .

. . . .

На Гольцманов надвинулась туча. Черная свинцовая туча нависла над их головами. Близкая, неизбежная катастрофа...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Счастливые пассажиры

Гигантским чудовищем казался издали огромный белый пароход «Атлантик». С невероятным упорством несся этот исполин над бездной вод, напрягая все силы, боролся с бурей и непогодой, и плыл все дальше и дальше вперед, пробиваясь сквозь злобные волны Атлантического океана из Саутгемптона к Нью-Йорку.

В первые дни путешествия пассажиры глаз не могли оторвать от открывшейся им волшебной панорамы. Очарованные и восхищенные, любовались они величественной природой, ее бескрайними просторами, ее необъятной мощью. Но мало-помалу они стали чувствовать головокружение, точно от угара. Не хотелось больше глядеть в эту беспредельную даль, в бесконечность неба и воды, воды и неба, без начала без конца.

Понемногу пассажиры стали расходиться восвояси, каждый в свою каюту; чувствуя свинцовую тяжесть в голове, они укладывались в постель и оставались один на один со своими невеселыми мыслями, со своей тоской.

Только немногие, очень немногие пассажиры еще крепились, все еще разгуливали по палубе, либо собирались компаниями, тянули пиво из огромных кружек, курили толстые сигары, громко разговаривали и весело смеялись, рассказывая друг другу анекдоты, небылицы, самые невероятные истории. Казалось, морская качка была им нипочем.

Среди небольшого числа таких счастливцев были двое наших старых знакомцев: мистер Кламер из Лондона с бородой а-ля Герцль и его компаньон Нисл Швалб, бывший агент, а теперь администратор, антрепренер и кассир новой труппы «Кламер, Швалб и К⁰».

Да, друг-читатель, нет больше труппы «Гольцман, Швалб и К⁰». Имя Гольцмана вычеркнуто, и на его место вписано имя Кламера. Впрочем, эта перемена не затронула никого, кроме самого Гольцмана.

И удивляться тут нечему: мир — это армия на марше. Целая армия не остановится из-за того, что один солдат свалился с ног среди дороги. Если у свалившегося солдата хватит сил, чтобы стать на ноги и шагать дальше, — его счастье. Если же нет, — тем хуже для него. Тысячи ног будут шагать по его телу. Его затопчут сапогами, и никто даже не услышит его стонов. Все это, конечно, весьма печально, но на кого же может пенять Гольцман, кроме как на самого себя?.. Он до того запустил свой кашель, что врачи уложили его в постель, меряют ему температуру, считают пульс и даже говорить запретили. Легко сказать — не говорить! Чем же тогда человек будет отличаться от скотины? Нет, ничего не попишешь! Придется нам на время распрощаться с Гольцманом, пожелать ему скорейшего и полного выздоровления. А сами последуем-ка за нашей новой компанией на пароход «Атлантик», везущий ее из Лондона в ту страну, которая привлекает к себе внимание многих и многих людей с того самого дня, как она была открыта Колумбом, и по настоящий день — вот уже свыше четырех столетий.

Упомянутые выше два друга, мистер Кламер и Нисл Швалб, мирно сидели за столом, как два голубка, пили пиво, курили сигары и говорили, судачили, тараторили без конца. Уста их не закрывались ни на минуту. О чем у них шла беседа? Ни о чем: по-видимому, оба соревновались в том, кто кого перещеголяет в искусстве болтать без умолку, в умении сочинять невероятные небылицы.

Мистер Кламер вспоминал всевозможные происшествия, приключившиеся в кафе «Националь», рассказывал о русских «попрошайках» и о лондонских благотворительных обществах, в которых он, Кламер, состоит неизменным почетным членом, пересыпая свои рассказы анекдотами, приправляя их перцем острых шуток и поговорок, прибавляя при этом: «Как говорят англичане».

Но Нисла Швалба подобного рода историями, шутками и анекдотами не удивишь. Какой бы анекдот он ни услышал от мистера Кламера, он тотчас

спешил заверить, что ему это давно известно, что он даже сам при этом присутствовал. Вот вам доказательство: по этому поводу с ним чуть не разыгрался скандал. Послушайте только...

И Нисл Швалб с обычным жаром и воодушевлением рассказывает подробности скандала и заканчивает стереотипной клятвой: «Как вы видите меня плавающим» или «Клянусь всем вашим добром». А волны морские, что дикие звери, ринувшись на судно со всех сторон, ревут и бушуют, подымаются все выше и выше, точно хотят затопить, опрокинуть, проглотить судно вместе с пассажирами и со всем, что скрыто в его недрах. Но наши приятели совершенно равнодушны к бешеной пляске волн. Они знай свое: пьют пиво, курят сигары и говорят, говорят, говорят без конца...

Счастливые пассажиры!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Между небом и землей

Еще один пассажир оставался на палубе «Атлантик». Он, правда, не пил пива, не курил сигар, а сидел или — точнее — лежал в кресле один-одинешенек, вдали от людей, закутанный в теплый плед и покрытый байковым одеялом. Это был совсем еще молодой бледнолицый человек весьма привлекательной наружности.

Волны морские, как дикие звери, ринувшись на корабль со всех сторон, ревели и бушевали все яростнее, все ожесточеннее. Каждый раз казалось: если не эта, то другая волна, что мчится за нею вслед, наверняка победит в неравной борьбе, перевалит через борт, затопит, опрокинет, проглотит судно вместе со всем, что скрыто в его недрах.

По бледному лицу молодого человека легко было понять, что он страдает морской болезнью. Он лежал с полузакрытыми глазами, поддерживая обеими

руками отяжелевшую от угара голову, и всматривался в близкое небо, которое так слилось с океаном, что трудно было уловить глазом, где кончается океан и где начинается небо. Казалось, небо так безоблачно-ясно, так ярко сверкает солнце, ни ветерка, ни хотя бы маленькой тучки. Отчего же так злится, так свирепствует океан, бросая судно то в одну, то в другую сторону, швыряя его, как щепку, вверх и вниз, вверх и вниз? Или, быть может, все это только кажется молодому пассажиру? Но почему же он не в состоянии поднять голову? Отчего не может и пальцем шевельнуть? Почему с каждой минутой чувствует себя все хуже и хуже? Вот сейчас он упадет в обморок. Обморок. Это — смерть, смерть, смерть!..

Он напрягает свою отяжелевшую от угара голову, хочет вспомнить, сколько дней он в таком положении — между небом и водой — и не может. Не в состоянии даже припомнить, откуда и куда он едет. Более того: он даже забыл свое имя. Что теперь его зовут Рафалеско, он знает, но припомнить свое настоящее имя — хоть отрубите ему голову! — никак не может. Ох, голова, голова!

— Плохо себя чувствуешь? Пошел бы лучше к себе в каюту, — говорит ему Нисл Швалб. — Дай, я сведу тебя.

Он склоняется над больным, заботливо и ласково глядит ему в глаза. Но Рафалеско смотрит на него так, точно не узнает. Кто это говорит? Кто стоит возле него? Он хочет встать — и не может. Последним усилием воли напрягая ослабевшую память, Рафалеско старается вспомнить, где он и что с ним творится. Господи милосердный, где он? Почему он никак не может вспомнить свое настоящее имя? Ведь этим именем его называли когда-то товарищи в хедере, а дома — братья и сестры, отец с матерью... Отец с матерью?.. А где же они теперь?

— Рюмочку коньячку пригубь, одну только рюмочку! Послушай меня, поверь — тебе легче станет.

Рафалеско силится понять, кто это стоит над ним и смотрит ему в глаза, но никак не может. Как будто знакомое лицо. А глаза какие знакомые! Но кто же

он?.. Отчего так отяжелела голова?.. кто же все-таки стонет? Ах, это стонет корабль. Кто так свистит? Это свистит ветер. А волны все мчатся вдогонку друг за дружкой, то поднимаясь чуть не до облаков, то вдруг рассыпаясь мелкими брызгами. Внезапно грянул гром, сверкнула молния. Пустое! Гром не гром. То рокочет океан, шумят волны, которые то вздымаются высоко-высоко, то низвергаются вниз, рассыпаясь мириадами брызг. И молния — тоже не молния. То ослепительно сверкают солнечные лучи, отражаясь в каскадах брызг.

— Послушай меня, мой друг, пососи кусочек лимона, — тебе сразу легче станет.

Ах да, он уже знает, кто это. Да это же Гольцман, Бернард Гольцман... Гольцман? Но почему же у него такое румяное, такое свежее, пухлое лицо? В одной руке у него коньяк, в другой — лимон, и он не отстает от него, Рафалеско, умоляет отведать чего-нибудь.

— Возьми же кусочек лимона, прошу тебя. Или знаешь что: дай руку, обопрись на меня, я провожу тебя вниз, в твою каюту. А ну-ка, мистер Кламер!

И Нисл Швалб повернулся к компаньону.

Но не тут-то было! Кламер уже там, где брат Нисла Швалба Изак, где его сестра Генриетта, где ломжинский кантор со своей музыкальной семейкой. Все уже у себя в каютах, лежат на койках, охают, стонут, томятся, мечутся в смертельной тоске. Один лишь Нисл Швалб стойко держится на ногах. Нисл Швалб — единственный живой человек среди них, единственный представитель странствующей труппы «Кламер, Швалб и К^0», сохранивший свежесть и бодрость духа.

Море бурлит. Бушуют волны. Надвигается буря. Вот сейчас она разразится бешеным ливнем, обрушится на океан снежным вихрем. Ветер хлещет в лицо и гонит с палубы всех, кроме матросов и пароходной прислуги, уже привыкших к свирепому натиску волн, да капитана, который, не выпуская из зубов трубки, с холодной усмешкой глядит на разгневанный океан, точно на расшалившегося озорника.

А гигантское белое чудовище, именуемое пароходом и носящее название «Атлантик», с неимоверным упрямством пробивает себе путь все дальше и дальше, в необъятный простор, в бесконечность, в которой только небо да вода, вода да небо, без начала, без конца...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Женская рука

Понемногу Рафалеско начал приходить в себя. Голова мало-помалу освобождалась от угара, и он скорее почувствовал, чем увидал, что лежит на койке в своей каюте раздетый, и чья-то рука, нежная, теплая женская рука, покоится на его лбу. Чья это рука, кто эта женщина — он не знает...

Что он все еще плывет по волнам океана, он чувствовал всем своим существом и по острому запаху пенящихся вод, и по бурному клокотанию волн, которые, играя на солнце, все еще ревели и бушевали, как дикие звери, подбрасывали судно чуть не до облаков и стучались в иллюминатор, призывая его, Рафалеско, встать с постели, выйти на палубу и глядеть, любоваться на чудеса природы. «Хватит, полно отлеживаться!» — казалось, кричали ему волны, стучась в иллюминатор...

Рафалеско еще долго был в состоянии полузабытья. Сознание возвращалось к нему медленно. Ему стоило больших усилий вспомнить, что с ним произошло и как он попал сюда... Как будто совсем недавно он был на палубе и, удобно усевшись в кресле, любовался чарующей красотой природы, нежился на солнце и купался в ласке его лучей. Солнце ярко отражалось в лазури резвящихся волн, напиравших на судно справа и слева. А он, Рафалеско, жадно вглядывался в эту необъятную даль, в эту глубокую беспредельность, в которой только небо да вода, вода и небо, без начала, без конца. Он хочет встать, но

боится, как бы снова не упасть. Хочет шире раскрыть глаза, но боится, как бы снова не закружились перед его глазами море, небо, весь мир. Тяжело вздыхая, он шепчет: «Ой, голова, голова!»

— Что, все еще голова? — раздался в его ушах женский голос. Знакомый голос, но чей, — он не знает. Только чувствует, что нежная, теплая женская рука гладит ему лоб и откидывает назад его растрепавшиеся волосы... Кто бы это мог быть? Чья это ручка?.. Он вспоминает, что не так давно, — когда именно, он не может припомнить, — он точно так же, как теперь, чувствовал женскую руку, которая так же, как в эту минуту, гладила его лоб и откидывала назад его волосы.

Тогда это была сестренка Гольцмана — Златка.

Это случилось однажды вечером. Лежа на диване в своей комнате, Рафалеско грезил наяву. Героиней его волшебных грез, как всегда, была дочь голенештинского кантора Рейзл.

Помнится ему: никого тогда дома не было, кроме него и Златки. Никогда, кажется, ему не было так горько, так тяжело на душе, как в тот вечер. Непонятная тоска, вспоминает он, закралась к нему в сердце, давила и угнетала его, сжимала, словно клещами, его грудь. Ему хотелось плакать.

Он уже забыл, плакал ли он тогда, или нет. Помнит только, что в эту минуту появилась Златка (кажется, он сам ее позвал), села подле него и нежной рукою стала гладить его лоб, — точно так, как кто-то гладит его сейчас, откидывая назад его взъерошенные волосы. Непонятная теплота разлилась тогда по всему его телу. Помнится, он почувствовал теплую руку любящей сестры и был ей бесконечно благодарен. Он обнял ее, припоминается ему, привлек к себе, приник головой к ее груди и плакал, долго плакал. Изливая в слезах всю горечь тоскующего сердца, он ввел ее в святая святых своей души, открыл ей свою заветную тайну. Рассказал ей, что есть на свете однаединственная, которую он любит всем сердцем, всей душой, которую он не может забыть ни во сне ни наяву, ради которой готов в огонь и в воду.

— Как ее зовут? Где она? — тихо спросила тогда Златка дрожащим голосом, вся трепеща от волнения.

Как ее зовут? Этого он не скажет. Но где она? О, если бы он знал, где она! Он бы тогда ни минуты не сидел здесь, давно распростился бы с этой странствующей труппой, давно бы уж не был одиноким бродячим актером, а полетел бы к ней. Да, все бросил бы и помчался бы к ней. Они ведь давным-давно, еще в детстве, дали друг другу клятву, что «где бы они ни были и что бы с ними ни случилось, они всегда будут вместе, вечно и навсегда вместе».

Нет, он не знает, где она. Знает только, что она знаменита, богата и пением своим прославилась на весь мир.

— Ты слышала про Патти? Так вот, она сильнее Патти.

— Сильнее Патти?

— Даже сравнить нельзя!

Так, помнится ему, расхваливал он тогда свою Рейзл и, не жалея ярких красок, превозносил ее до небес. Не человек, а прямо ангел, сошедший с небес!.. Он был счастлив, вспоминается ему, что нашел, наконец, хоть одно существо, перед которым он мог выражать свой восторг, говоря о возлюбленной. В самом деле, кто еще так охотно выслушивает его, как Златка? Разве он не видит, что каждое его слово для нее свято? Разве он не чувствует, как бьется ее сердечко, как она вся трепещет, точно птичка, в его руках?

Что переживала в эти минуты Златка, Рафалеско не знал и даже не подозревал. Какое ему до этого дело? Ему только и нужно было излить перед ней свою наболевшую душу, открыть ей свою заветную тайну и тем облегчить муку сердца.

Открывая Златке свою сердечную тайну, Рафалеско заодно уже посвятил ее в сокровенные замыслы и надежды, в свои планы на будущее. Он встретится с любимой и никогда больше с ней не расстанется. Никогда! Никогда! С этими словами, вспоминается ему, он обнял Златку обеими руками, крепко-крепко

прижал ее к груди и взял с нее слово, что как только он встретится со своей Рейзл (это имя в конце концов сорвалось у него с языка, — что ж, пропало!), он возьмет и ее, Златку, с собой, потому что чувствует, что Златка предана ему всей душой, как сестра, как родная сестра.

— Не правда ли, как родная сестра? — шепчет он девушке и еще крепче, еще жарче обнимает ее... гораздо жарче, чем брат обнимает сестру.

Златка молчит. Рафалеско не понимает, почему она молчит. Еще сильнее прижимаясь к ней, он спрашивает, почему она не отвечает. Неужели он ошибся? Неужели она его не любит?

— Не любит?!

И, бросившись ему на шею, Златка обнимает его и страстно целует, целует без конца, а слезы льются, текут ручьем.

— Что же ты расплакалась, глупенькая? Чего плачешь? Скажи, отчего ты плачешь? . . . . . .
. . . .

С того дня — вспоминает Рафалеско — он часто оставался наедине со Златкой и любил говорить с ней о Рейзл. Это было совсем нетрудно, потому что Гольцман — так по крайней мере казалось Рафалеско — всеми силами старался, чтобы молодой артист возможно чаще оставался наедине с его сестрой. Может быть, он ошибался? Нет, он не ошибался! Недаром же Гольцман всегда неожиданно куда-то уходил, едва у него в доме появлялся Рафалеско, стараясь оставить его наедине со Златкой. А когда, приходя домой, Гольцман заставал их вместе, то сейчас же под каким-нибудь предлогом снова уходил. Ах, Гольцман, Гольцман! Как тяжко было расставаться с ним, мучительно тяжко!..

— Пора вставать, мой дорогой! Там, вдали, уже виднеется земля... Мы подъезжаем к Америке, мой милый, мой дорогой, прекрасный мой!

Знакомый голос... Женский голос... кто это говорит? Кто называет его такими ласковыми именами?.. Он все еще не решается приподняться — боится, как бы не упасть. Не решается открыть глаза, опасаясь,

как бы опять не закружились перед взором небо, океан и вся вселенная. И снова овладевают им тяжелые, свинцовые мысли. Мучительные минуты расставания с Гольцманом вновь воскресают в его душе. Рафалеско кается и бьет себя в грудь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Будь здоров, Бернард!

Было утро, холодное, туманное, дождливое утро, какое нередко бывает в холодном, дымном, слезоточивом Лондоне.

Вещи Рафалеско были уже уложены, и сам он был уже готов к отъезду. Готов в полном смысле этого слова. Закусил, принарядился, затянул гаванскую сигару, заказал кеб и лишь на минуту забежал к Гольцману проститься.

— Прощай, Бернард!

— Счастливого пути! — ответил Гольцман глазами, потому что говорить ему было запрещено врачами, строжайше запрещено.

Ах, если бы Гольцману разрешено было говорить, если бы Гольцман мог хоть что-нибудь сказать, бросить хоть одно резкое слово, горький упрек, рассердиться, побранить, как следует, обругать так, как он умеет, — тогда ему, Рафалеско, было бы, кажись, куда легче на душе! Но Гольцман только уставился на него своим острым, пронзительным взглядом... Сколько тоски, сколько скорби было в этом молчаливом взгляде!.. Гольцман только протянул ему худую, костлявую и, как показалось Рафалеско, слишком горячую руку.

Никогда у Рафалеско не было такого сильного желания как можно скорее уйти от Гольцмана, как в ту минуту. И не было, казалось, ничего легче, чем сделать это: надо было только сесть в кеб, — и прости-прощай, Гольцман!.. Но вместо того чтобы направиться к двери, он — уже после прощания —

опустился на стул возле кровати, на которой, накрытый достопримечательной «тендеверендой», лежал, метаясь в жару, Гольцман. Острые ароматы стояли в воздухе: запах лекарств, аптеки, трупный запах.

Рафалеско еще никогда не видал своего друга в таком безнадежном положении. Смерть, казалось, покоилась на его губах, просвечивала в его потухших глазах, лежала на его бледных, помертвелых заостренных ушах. Смерть витала здесь в воздухе, ее дыхание ощущалось во всей комнате. Рафалеско глядел на него, и ему живо представилось, как его друг Гольцман будет лежать на полу, ногами к двери, весь — от головы до ног — накрытый «тендеверендой». Мертвого лица не видно, только кончики ног торчат. Свеча горит у его изголовья, а по обе стороны от него, тут же на полу, сидят, справляя семидневный траур, мать Сора-Броха и сестра Златка, и, оплакивая его, ломая руки, причитают нараспев:

«Сыночек мой сердечный! Родненький брат мой, дорогой! На кого ты нас по-ки-да-ешь?»

Рафалеско хорошо помнит этот жалобный напев: так оплакивала когда-то канторша Лея из Голенешти свою старую мать, умершую на восьмом десятке. И, сидя у постели тяжелобольного Гольцмана, Рафалеско чуял уже дыхание смерти, и ему казалось, что вместе с запахом лекарств до него доносится трупный запах. Ему захотелось бежать, скорее бежать из этого дома, мчаться куда глаза глядят.

Но вместо того чтобы бежать, он сидит как прикованный к месту у кровати больного. Наклонившись к Гольцману, он говорит с ним необычайно тепло и сердечно, утешает его, обещает написать ему немедленно, как только приедет в Америку. Каждый день будет он писать ему. И как только Гольцман встанет с постели, — а оправится он от болезни скоро, очень скоро, — пусть сейчас же вместе с сестрой и матерью выезжает к нему, к Рафалеско, в Нью-Йорк, прямо к нему...

Рафалеско глядел тогда на носки своих ботинок. Он чувствовал, что лицо его пылает от стыда, ибо он лгал, безбожно лгал. Гольцман никогда не выздоро-

веет и в Америку не поедет. Даже если бы он и был здоров, новая компания никогда бы не взяла его с собой — ни его, ни его сестры. Все, что он говорил, — ложь, сплошная ложь. Но, раз начав лгать, Рафалеско продолжает в том же духе, не переводя дыхания.

— Конечно, — говорил он, — было бы лучше, если бы сестра поехала сейчас же вместе со всей компанией. Но как она может оставить больного брата одного в Лондоне?

Тут Гольцман схватил его за руку. В его колючих глазах загорелся огонь, и он еле-еле прохрипел:

— Бедная, бедная сиротка!..

Больше Гольцман не мог выговорить ни слова, — его душили слезы.

— Будь здоров, Бернард! — еще раз, теперь уже в последний раз произнес Рафалеско. И, очутившись за дверью, вздохнул полной грудью. Он почувствовал облегчение от того, что не видит больше пред собой полумертвого Гольцмана и не вдыхает в себя острый запах лекарств и трупного разложения... Он огляделся по сторонам и мысленно поблагодарил судьбу за то, что не встретился в эту минуту ни со Златкой, ни со старухой матерью. Где они?.. Подождать их, что ли? Нет, лучше уйти. Ему хотелось бежать, ускакать отсюда поскорей, но он сдержался, нарочно замедлил шаг, неспеша уселся в высокий кеб, который быстро умчал его к вокзалу. Там он застал всю компанию — обоих братьев Швалб с их сестрой-примадонной, ломжинского кантора с его музыкальной семейкой.

— Что так поздно? Этак можно опоздать к пароходу.

Рафалеско успокоился и облегченно вздохнул лишь тогда, когда очутился на палубе «Атлантика» и пароход спокойно, торжественно важно, гордый своей величавой красотой, отвалил от берега.

И погода же выдалась на славу! Нет ни холодных свинцовых туч, ни густых туманов, нависших над улицами Лондона. Ласково глядит солнце с лазурного неба. Тиха и ровна, как зеркало, морская гладь. Судно, едва касаясь тихо зыбящихся волн,

легко и плавно скользит по морским просторам. А волны все бегут одна за другой, одна за другой и, извиваясь, низко кланяются, словно посылая приветы отдаляющемуся берегу от беспредельно широкого океана, который вечно-вечно находится в движении и неколебимо, от века и до века, стоит на месте. Приятная теплота обдает Рафалеско, разливается по всем жилам. Он свободен, он едет туда, туда, к возлюбленной, к своей единственной...

Но неожиданно возле Рафалеско появляется Генриетта Швалб, как всегда пышно одетая, расфуфыренная, как всегда сверкающая подлинными и фальшивыми брильянтами. Она хватает его под руку, и они вместе гуляют по палубе. Генриетта повисла на его руке. Она не сводит с него глаз и кокетливо смеется звонким, раскатистым смехом, выставляя напоказ свои чудесные жемчужные зубки.

Пассажиры провожают взглядами эту парочку, стараясь угадать, кто они друг другу: брат с сестрой? жених с невестой? или, может, это — муж с женой?..

Таково было прощанье Рафалеско со своими лучшими друзьями — с Гольцманом, который был ему предан, как брат родной, с его сестрой Златкой, которая любила его, как сестра, сильнее, чем сестра.

— Будь здоров, Гольцман! — это было все, что мог сказать Рафалеско своему другу на прощанье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Роковой поцелуй

Если с сестрой Гольцмана Рафалеско держал себя, как брат, то как держать себя с примадонной Генриеттой Швалб он совершенно не знал. Генриетта не оставляла в покое Рафалеско, вечно вертелась около него, как юла, кокетничала, заигрывала с ним, ссорилась и мирилась. Она прекрасно понимала, что Рафалеско холоден к ней, как лед, но в присутствии других вела себя с ним так, чтобы можно было

подумать, будто Рафалеско без ума от нее и что они — пока еще неофициально — жених и невеста.

Так именно и смотрели на их отношения родные и близкие. Поговаривали даже о том, что надо бы устроить помолвку. Но как к этому подойти практически? На пути — такой камень преткновения, как Гольцман. Братья Швалб не могли не понимать, что покуда Рафалеско остается в приятельских отношениях со своим другом и импресарио Гольцманом, тот не допустит, чтобы «парень» достался их сестре Генриетте. И они стали думать да гадать, как бы найти способ избавиться от «чахоточного шута горохового» (Гольцмана). И, с божьей помощью, удача сама шла им навстречу. Им повезло гораздо больше, чем они могли ожидать: Рафалеско не только не надо было уговаривать поехать вместе с ними в «золотую страну», но даже наоборот, услышав, что они собираются в Америку, он сам навязался им в спутники. Братья Швалб ликовали: «Парень, видать, не на шутку втюрился в нашу дуреху», — решили они. Глупые люди! Они и не подозревали, кому они обязаны тем, что Рафалеско так быстро решился ехать с ними в Америку. Они не знали, что та самая Брайнделе-козак, которая приглашала в Нью-Йорк их сестру-примадонну, звала туда же Рафалеско, прельщая его тем, что там, в Нью-Йорке, выступает с концертами его возлюбленная, дочь голенештинского кантора. Братья твердо решили немедленно по приезде в Нью-Йорк сочетать браком Рафалеско с Генриеттой: под венец — и гора с плеч долой! Но до поры до времени их план должен храниться в глубокой тайне, — ни человек, ни птица залетная не должны знать об их замысле.

Разумеется, это должно остаться тайной не для всех. Надо знать, перед кем следует таиться, а перед кем — душа нараспашку. Так, например, от мистера Кламера, как мы знаем, у Нисла Швалба вообще никаких секретов не было, мистер Кламер был первый, кого Нисл Швалб посвятил в свой блестящий замысел. Мистер Кламер, по своему обыкновению, выслушал с закрытыми глазами, поглаживая четырьмя пальцами свою пышную бороду а-ля Герцль. Когда

Швалб кончил, мистер Кламер заявил, что для него это не новость, что он давно все знает и никаких возражений против брака Рафалеско с Генриеттой не имеет. Но надо твердо запомнить: откладывать это дело в долгий ящик никак нельзя. Раз-два-три, — и готово! Как говорят англичане: «Кто медленно начинает, тот быстро кончает». Надо постараться, пока суд да дело, устроить хотя бы помолвку, а уж потом как можно скорее, не медля ни минуты, прямо с места в карьер сыграть свадебку, — и олл райт! Нельзя же забывать, что эти свистуны (так он называет актеров) — такой народец, что только держись! Фи-фу-фа, и ищи ветра в поле!

Мистер Кламер вынул из пышной бороды все четыре пальца и трижды взмахнул ими в воздухе, показывая этим жестом, на что способны свистуны.

Третий компаньон — ломжинский кантор — тоже полагал, что необходимо как можно скорее обвенчать молодую парочку. Нисл Швалб еще в Лондоне, в подвале у кантора, под строгим секретом посвятил его в свой блестящий план, предварительно удалившись с ним в отдельную комнату. Так как отдельной комнатой могла быть лишь кухня, в которой жена кантора готовила в это время обед, то тайна перестала быть тайной не только для канторши, но и для всей музыкальной семейки. И все обитатели подвала с нетерпением ждали дня, когда будет сыграна свадьба.

Один только человек понятия не имел о затеянной Нислом Швалбом игре, — то был Лео Рафалеско. Ему и в голову не приходило, какие сети плетутся вокруг него. Его сердцем, его помыслами безраздельно владела дочь голенештинского кантора, знаменитая Роза, или Розалия, Спивак, — к ней он стремился всей душой, ее видел он постоянно пред глазами во сне и наяву, ради нее решился он бросить своего старого умирающего друга Гольцмана, покинуть его сестренку. Бедняжка! Она таяла как свеча. У нее не хватило даже силы выйти попрощаться с ним... Ах, что он наделал, что наделал! Какой позор! Он никогда не простит себе этого!..

Лежа один в каюте и начиная понемногу приходить в себя, Рафалеско с горечью думал: как мог он так низко пасть? как мог он так подло поступить с самыми близкими друзьями, с простыми, хорошими, бесхитростными людьми?

Печальным калейдоскопом, пестрой сменой картин, одна другой черней, прошла перед ним вся его прошлая жизнь, и он не видел в ней ни одной светлой точки, ни малейшего проблеска света. Всюду мрак и мерзость, всюду преступления. Отца обокрал. Из дому удрал. Мать свел в могилу... С Гольцманом был бесстыдно лжив... Златку обманул, подло обманул, прикидываясь преданным братом. Сулил ей любовь и разбил молодое чистое сердце... И теперь он едет в далекую незнакомую страну навсегда, навеки. Низкий, подлый человек! Он достоин ненависти и презрения. И он сам себя ненавидит в эту минуту и кажется самому себе мерзким, гадким, отвратительным. Червь раскаяния гложет его: «Ох, голова, голова!»

— Все еще голова?

Спрашивает знакомый голос, голос женщины, сидящей у его постели. Она нежно гладит рукою его лоб, откидывает назад его растрепанные волосы и смотрит ему в глаза необычайно ласково, с глубокой теплотой и любовью. Кто бы это мог быть? Рафалеско почувствовал благоухание духов и пудры, знакомый аромат. Кто бы это мог быть? Он готов поклясться, что это Генриетта Швалб. Да, он убежден, что это именно она. Рафалеско открыл глаза и увидал близко-близко склонившееся над ним знакомое белое густо напудренное лицо, ярко накрашенные алые губы. Так и есть, она, Генриетта Швалб. Ее белые напудренные благоухающие щеки почти касаются его лица. Ее глаза так и впились в его глаза, а красные, густо напомаженные губы тихо шепчут: «Милый, дорогой, хороший мой!»

В один миг Рафалеско забыл все: забыл недавнее раскаяние, забыл, куда и ради чего он едет, забыл, где он и что с ним. Он чувствовал лишь ласковое прикосновение нежных пальцев, видел устремленный

на него взгляд, слышал страстный шепот ее губ: «Милый, дорогой, хороший мой!» И он обнял ее. Мгновение — и ее накрашенные губы потянулись к нему еще ближе, слились с его губами и замерли в долгом-долгом поцелуе.

Есть основание опасаться, что этот поцелуй не пройдет нашему Рафалеско безнаказанно. Это был, надо полагать, тот поцелуй, которого долго ждали заранее подготовленные свидетели. Иначе чем же можно объяснить, что как раз в эту минуту у двери каюты Рафалеско вдруг очутились Нисл Швалб, мистер Клямер и ломжинский кантор?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Америка! Америка!

Из пассажиров «Атлантика», прибывших в этот день в Нью-Йорк, никто так не торопился к выходу, никто так не волновался и не нервничал, не был так возбужден, ни у кого не было такого безумно несчастного вида, как у наших братьев, евреев. Оно и понятно: большинство еврейских пассажиров парохода составляли «эмигранты», — люди, надеявшиеся обрести в Америке вторую родину вместо той, которая так жестоко с ними обращалась и так безжалостно их выбросила. Они сбились в кучу, как овцы. У каждого сердце готово было выскочить из груди, пульс доходил до ста двадцати: «Боже правый, милосердный! Что ждет их в этой благословенной стране?»

Почти у каждого в Нью-Йорке есть сын или дочь, муж или жена, родственник, близкий друг, приятель или добрый знакомый, — он будет ждать их на берегу, чтобы «снять» их с парохода и облегчить муки, уготованные эмигранту на первой же остановке — на пресловутом «Острове слез».

Для еврейских эмигрантов это в полном смысле слова — остров слез, страданий и смертных мук, своего рода чистилище, в котором грешные люди должны

предварительно «очистить свои души», чтобы получить право на вход в рай. Когда-то этот ад назывался «Кессельгарден», а теперь называется «Элис-Айленд». Название переменилось, но слезы и стенания, страдания и муки, оскорбления и издевательства остались те же. Они не прекратились и, с божьей помощью, не прекратятся, вероятно, до тех пор, пока люди будут властвовать над людьми, покуда люди время от времени будут давать волю затаившимся в них звериным инстинктам.

Среди пассажиров, вышедших на палубу взглянуть на благословенную страну, — пока лишь издали, — были и блуждающие актеры нашей странствующей труппы «Кламер, Швалб и К⁰». Отрадно было глядеть на эту группу веселых эмигрантов, которые принарядились — каждый по своему вкусу и возможностям — и приготовились встретить «золотую страну Колумба» подобающим образом: радостно и празднично.

Братья Швалб нарядились в свои лучшие костюмы; предварительно тщательно побрились, не оставив на щеках и подбородке и признака растительности. К чему борода? Кому нужны усы? И щеки у них были чисты и гладки, как тарелки. Все же каждый из братьев выглядел по-разному: у одного (у Нисла) был вид немецкого колбасника на святой неделе, другой (Изак) был похож на только что вышедшего в отставку русского фельдфебеля, который дал себе слово не пить больше водки, а употреблять только пиво.

Всех, однако, превзошел своей наружностью мистер Кламер. Он расчесал на обе стороны свою пышную бороду, так что получилась борода а-ля Скобелев *. Белоснежная сорочка и белый галстук в глубоком вырезе смокинга должны были придать ему вид заправского джентльмена, если бы он чем-то не смахивал на оберкельнера в фешенебельном ресторане. Проходя мимо зеркальной столовой, мистер Кламер взглянул в зеркало и на минуту остановился,

залюбовавшись собой. Он был убежден, что он — самый красивый мужчина на пароходе. Посмотрим, что скажет Нью-Йорк! Найдется ли в Америке кто-нибудь пригожее его? И он не мог удержаться, чтобы не сказать самому себе со скромной улыбкой:

— Мистер Кламер, вы — олл райт.

Иначе обстояло дело с четвертым компаньоном — с ломжинским кантором. Он уж давно покинул родную Польшу, и хотя у него нет не только и признака пейсов, но даже (если вы мне обещаете, что все останется между нами, я вам расскажу по секрету)... даже там, где начинается борода, у него, знаете ли... Но к чему злословить?.. Короче: кантор извлек из чемодана свой старый праздничный длиннополый сюртук с шелковым поясом, застегнул жилет доверху и придал лицу такое постное выражение, что братья Швалб и мистер Кламер не могли скрыть свое изумление и в один голос воскликнули:

— Это что?

— Америка, — спокойно ответил ломжинский кантор. И коротко объяснил: — Америка, видите ли, это вам не Европа, а Нью-Йорк вам не Лондон. В Америке — либо туда, либо сюда: коли ты артист, будь артистом, а ежели ты кантор, будь кантором. Разжевали?

Разжевали они или нет, кто их знает? Но ломжинский кантор во всяком случае рассуждал, как человек практический: покуда еще его дети начнут зарабатывать в Америке как музыканты, покуда артисты начнут еще загребать золото в золотой стране, он тем временем будет выступать в роли кантора в какой-нибудь синагоге, будет петь новогодние молитвы для своих земляков, выходцев из Ломжи, которые, собственно, и вызвали его сюда со всей его музыкальной семейкой (кстати, приближались новогодние праздники). Он, ломжинский кантор, слава богу, чувствует в себе еще достаточно силы, чтобы петь в синагоге, — морское путешествие не повлияло дурно на его голос, — наоборот, он стал даже как будто чище. И у него уже щекочет в горле, его так и подмывает петь,

Словом, ломжинский кантор почувствовал свое подлинное призвание и, нарядившись в подобающий кантору костюм, состроил благочестивую мину, какая полагается кантору накануне великого праздника.

Жена кантора тоже принарядилась весьма своеобразно: на рыжий парик надела шелковый платок, перевязанный двумя концами. Но уши были выставлены напоказ, и на то были свои веские соображения: во-первых, она хотела, чтобы все видели позолоченные серьги, болтавшиеся у нее в ушах со дня свадьбы, а во-вторых, надо ж было показать хотя бы прядь собственных белокурых волос. Она ведь, собственно, не знает, что за страна Америка и что там больше в моде — скромность или фривольность? Быть может, там требуется и то и другое. На то Америка!

Зато дети ломжинского кантора — вся его музыкальная семейка — были одеты по-европейски. Все — от малышей до старших — были в детских костюмчиках: коротенькие штанишки, обнажавшие толстенькие икры, кургузые пиджачки и маленькие шапчонки, из-под которых выбивались длинные кудри. (Короткие штанишки и длинные волосы носили тогда все знаменитые вундеркинды: Губерман, Фидельман, Гриша Стельмах и другие.) Все вундеркинды носят короткие штанишки до тех пор, пока есть малейшая возможность скрывать наличие бороды и усов, которые, как известно, в положенное время начинают безудержно расти, хоть брей их, хоть стриги, хоть что хочешь с ними делай.

Кто-кто, а уж музыкальная семейка была довольна путешествием и радовалась приезду, пожалуй, больше всех. Им, детям, «золотая страна Колумба» сулила более радостные перспективы, чем остальным. Узнав, что уже виднеется земля, все дети высыпали на палубу, обнялись, сплелись ручонками и, будто сговорившись, затянули все разом песенку в честь Америки: в такт волнам, рокотавшим теперь уже не так гневно, как прежде, они запели хором:

— Америка! А-ме-ри-ка!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Море спокойно

Величаво-спокоен был океан у берегов американского континента в тот час, когда «Атлантик» приближался к Нью-Йорку. Не тих, а именно спокоен.

Когда смиряются разбушевавшиеся волны, море долго еще дышит тяжело и устало, точно утомленный до изнеможения исполинский зверь. Грозен и страшен океан, когда разгуляются, закружатся в бешеной пляске его буйные волны. Прекрасен океан, величественно красив, когда смиряется его ярость.

Все цвета радуги играли и переливались на спокойной глади океана, лаская глаз богатством красок, самых ярких и разнообразных, какие только создала природа и как бы вознаграждая этим пассажиров «Атлантика» за все муки и страдания, причиненные им в последние томительно-тяжелые дни. И сердца всех прониклись благоговейным чувством преклонения перед извечным могуществом природы, перед ее величественной, радостной, благодатной красотой. Пассажиры простили, от души простили океану его безумную злобу и снова все как один хлынули на палубу, вновь их умиленные взгляды упивались чудесной красотой природы, опять на лицах сверкали радость и довольство, словно никаких страданий и в помине не было.

Но если на лицах всех пассажиров светились радость и довольство в те минуты, когда «Атлантик» приближался к берегам Нью-Йорка, то молодая парочка, стоявшая на палубе рука об руку, казалось, была на вершине блаженства. Это была счастливая парочка, самая счастливая на всем пароходе, — так во всяком случае казалось со стороны. И до чего хороши были оба, — чудесная парочка! Оба в пышном расцвете молодости и красоты, оба — свежие, бодрые, здоровые, счастливые. Много глаз с завистью смотрело на них. Счастливая, счастливая чета!

Наши читатели догадываются, конечно, что речь идет о примадонне Генриетте Швалб и о ее возлюб-

ленном Лео Рафалеско. Был ли и впрямь счастлив Рафалеско, не знаем. Но что Генриетта была на седьмом небе, в этом можно было не сомневаться.

Счастливая, трижды счастливая Генриетта! Она достигла своего. Столько времени она охотилась за этим красивым юношей, с первой встречи во Львове и до последнего дня совместного пребывания в Лондоне, добиваясь его взаимности. И только здесь, на пароходе, ей удалось, наконец, завлечь его в свои сети. Победа! Теперь он принадлежит ей, ей одной!..

Какой ценой досталась ей эта победа, знает она одна, больше никто, никто на свете! В ее глазах светится победный огонек, все лицо сияет счастьем, ликованием, блаженством. Казалось, каждый мускул ее лица, каждая извилина ее тела кричит в упоении: «Видите этого красавца с добрыми нежными глазами и прекрасными белокурыми локонами? Глядите, да не сглазьте! Этот красавец — мой! Мой, только мой!..»

Генриетта еще тяжеловеснее опирается на руку своего спутника, еще теснее прижимается к нему, заглядывает ему в глаза снизу вверх, смотрит пристально, силясь понять, что означает сверкающий в его глазах огонь, стараясь угадать, о ком он теперь думает. О ком? Ха-ха-ха! Конечно, о ней. О ком же еще? Ведь на всем огромном пароходе, — хоть прогуляйся по палубе вдоль и поперек от носа до кормы, хоть обойди каюты всех классов, — не найти, не сыскать другой такой красавицы. У кого еще такие алые губы-вишенки? Кто еще умеет так щурить глазки и так пронзать взглядом сердце мужчин? У кого еще обнажаются такие обворожительные жемчужные зубки, как не у нее, когда она смеется? А разве найдешь на пароходе другую женщину, на которой платье сидело бы так элегантно, у которой прическа была бы так пышна и великолепна, шапочка так гармонировала бы с цветом волос, воротничок так нежно охватывал бы белоснежную шею, перчатки так облегали бы ручку? А у кого столько драгоценностей? Такие брильянты?

Допустим, найдутся, пожалуй, на пароходе дамы, которые куда богаче ее и брильянтами и другими дра-

гоценностями. Взять, к примеру, вон ту высокую сухопарую англичанку с золотыми зубами. На ней столько драгоценностей, что Генриетта могла бы себе пожелать хотя бы половину ее богатств: на шее — жемчужное ожерелье, в ушах — изумруды, медальон — весь в блеске драгоценных камней, на всех пальцах — брильянты, сапфиры, рубины и изумруды, изумруды, изумруды! Но какой вид имеет, прости господи, обладательница всех драгоценностей? Разве они делают ее более привлекательной? Вот если бы Генриетта могла блеснуть таким обилием изумрудов, — тогда другое дело! Но ничего, будут и у нее изумруды, много, много изумрудов. Будут! Скорее бы только высадиться на берег и осмотреться кругом. Пусть только Рафалеско покажется на сцене... Стоит ему дать первые несколько гастролей, и публика сразу оценит его по достоинству. А тогда... о, тогда будут и брильянты, и сапфиры, и рубины, и изумруды.

— Тебе нравятся изумруды?

Генриетта вплотную прижалась к Рафалеско, не спуская с англичанки кокетливо прищуренных, якобы близоруких глаз.

— Какие изумруды? — спросил Рафалеско.

— Слепая курица! Ха-ха-ха, не видишь, что ли?

Нет, он ничего не видит — ни англичанки, ни изумрудов. Он даже не глядит в ту сторону, куда жадно устремлены взоры Генриетты. Человек не от мира сего, ха-ха-ха!

Генриетта громко рассмеялась. Не потому, что ей было смешно, а для того, чтобы лишний раз показать свои жемчужные зубки. Она посмотрела на Рафалеско тем особенным взглядом, какой она лишь недавно разучила перед зеркалом. Этот взгляд она заимствовала в Лондоне в самые последние дни перед отъездом оттуда у одной близорукой дамы, все время смотревшей в лорнет. Дама показалась ей очаровательной, когда, пристально глядя в лорнет, щурилась, полузакрыв глаза и сдвинув брови. Генриетта быстро переняла эту ужимку. Она стала против зеркала, сощурилась, полузакрыла глаза, сдвинула брови, —

выходит точь-в-точь, как у дамы с лорнетом. С тех пор эта манера щурить глаза вошла у нее в обиход.

— Ентл, что с тобой? — спросил ее однажды с глазу на глаз брат Изак.

— А что, Ицик?

— Что ты такие гримасы строишь глазами, когда смотришь на кого-нибудь?

Генриетта вся зарделась и послала своего милого братца ко всем чертям. Но она уж до того привыкла щурить глаза, что не могла глядеть иначе, чем та близорукая дама с лорнетом.

Было время — совсем недавно это было, — когда Рафалеско еще не принадлежал ей. На ее пути стояла Златка, эта ничего не стоющая девчонка с острым носиком. Сама-то Генриетта ничего не замечала. Но братья Нисл и Изак открыли ей глаза... Слишком ярко загораются глаза у Златки, когда она видит Рафалеско, слишком густым румянцем заливаются щечки, когда Рафалеско глядит на нее, и слишком часто Рафалеско остается со Златкой наедине. Первым обратил на это ее внимание брат Изак. Однажды он сказал ей: «Пойдем, чурбан, я тебе кое-что покажу...» Он взял ее за руку, подвел к двери соседней комнаты и велел смотреть в замочную скважину. Но то, что Генриетта увидела, было ничуть не похоже на то, что представлял себе брат. Генриетта видела, как Рафалеско, опустив голову, заложив руки в карманы, широкими шагами ходил взад и вперед по комнате, а «ничего не стоющая девчонка с острым носиком» сидела на стуле и плакала...

«Ее брат, — рассказывал потом Рафалеско Нислу и Изаку, — тяжело болен. Врачи говорят, что жизнь его в опасности...»

— Хороша уловка для плутовки! — сделал свой вывод Изак Швалб, державший под своим наблюдением Рафалеско и Златку, как самый заправский шпион. — Оно, конечно, ежели брат опасно болен, то сестре так и полагается сидеть у постороннего мужчины на коленях и плакать горькими слезами.

— Брешешь как собака! — швырнула ему в лицо Генриетта и хлопнула дверью.

И все же червь сомнения закрался глубоко в сердце Генриетты и исподволь точил его. В груди бушевал ад. Ах, какой мучительный ад!.. Но теперь, слава богу, все это уже позади. Конец ее мукам. Теперь она с Рафалеско одна. Нет никого на ее пути. Никого, решительно никого!..

Как только они приедут в Нью-Йорк, решила Генриетта, она первым долгом пойдет с Рафалеско в фотографию и будет сниматься с ним во всевозможных позах. Поза номер один: они собрались на прогулку; стоят, тесно прижавшись друг к дружке; он — в элегантном сером костюме, она — в пышном боа на плечах, в шляпе набекрень... Поза номер два: они сидят за круглым столиком друг против друга; ее ручка в его руке; он глядит на ее анфас, а она щурит на него глазки, плотно сдвигая брови, точь-в-точь, как та близорукая дама с лорнетом... Поза номер три: на светлом фоне — две головы, приникшие одна к другой. Тут уж ее глаза должны быть широко раскрыты, обращены кверху, как у святой мадонны... Поза номер четыре... Но когда же, наконец, придет он, этот желанный час? Когда же они доплывут до Америки?

— Далеко еще до Америки?

Не слышит. До слуха Рафалеско не доходит вопрос примадонны.

Генриетта снова возвращается к размышлениям о позах, в которых она будет сниматься с Рафалеско, едва только они ступят на берег новой страны. Правда, старший брат Нисл настойчиво долбит, что по приезде в Нью-Йорк надо будет первым долгом обвенчать ее с Рафалеско. Если бы он не стеснялся, — добавил при этом Нисл, — он бы тут же, на пароходе, обкрутил их, «как вы видите его плавающим»! Но Генриетта на этот счет иного мнения. Ей хочется немного побыть на положении невесты. Хоть несколько недель быть невестой. Куда ей торопиться? Она так долго ждала счастья стать невестой Рафалеско, что хочется продлить это счастье как можно дольше.

— Далеко еще до Америки? — еще раз спросила Генриетта.

Не слышит. Мысли его, по-видимому, витают в ином мире. Да, он в мире ином, он весь — во власти грез. Скоро, очень скоро, — оглянуться не успеешь, — будет он там, куда стремится его душа давным-давно, куда его влекло почти всю жизнь. Скоро, очень скоро, — оглянуться не успеешь, — увидит он ту, которой со времени их разлуки не забывал никогда, ни на одно мгновение. Какова будет их первая встреча в новой стране после стольких лет разлуки? Узнает она его? Он-то ее наверняка узнает, — у него же есть ее портрет, присланный недавно мадам Черняк. Портрет хранится у него в боковом кармане. И он крепко прижимает руку к груди — к тому месту, где лежит заветный портрет. Генриетта убеждена, что этот его жест относится к ней. К кому же еще?.. И она никнет к нему, прижимается еще теснее, еще крепче, заглядывает ему в глаза и ласкается, как котенок.

— Скоро прибудем в Америку, как думаешь? — в третий раз спрашивает его примадонна и, щелкнув его пальчиком по носу, раскатисто хохочет, заливается: ха-ха-ха!

Рафалеско с недоумением смотрит на нее. Он в толк не возьмет, чего она смеется. И как некстати! Она прервала его грезы в самом интересном месте. В эту минуту он совсем забыл о той, что стоит возле него, опираясь на его руку... И вот она напомнила ему о своем присутствии. Он глядит на нее сверху вниз и думает: «К чему этот флирт? К чему эта запоздалая игра в любовь?.. Из одной беды выкарабкался, в другую влип».

И снова, помимо его воли, встает в его воображении Златка, ее скорбное лицо, распухшие от слез глаза. И снова звучат в ушах последние прощальные слова Гольцмана, которые тот едва прохрипел приглушенным голосом: «Сиротка... бедная сиротка!» Рафалеско хотел бы забыть эти слова, но не может. Он бы не прочь оставить по ту сторону океана, в Старом Свете, все свое прошлое, все пережитое им за годы скитаний. Ему хотелось бы приехать в Новый Свет как бы заново родившимся, чистым, незапятнанным, непорочным, каким был он в далекие, чистые и свет-

лые детские годы... Но, точно назло, память настойчиво воскрешает перед ним все самое худшее, самое печальное, — все, что ему хотелось бы забыть, вычеркнуть из памяти навсегда.

Чтобы отогнать докучные мысли и образы, Рафалеско углубился в созерцание моря. И опять он не в силах оторвать глаз от этого величественного зрелища. Все пассажиры снова высыпали на палубу и любуются красотой успокоившегося океана. Глядят и не наглядятся на его блеск, на его великолепие. Нет границ его грозной мощи, когда он приходит в ярость. Нет предела его чарующей красоте, когда он смиряет свой гнев.

Величаво-спокоен был океан у берегов Нью-Йорка. Не тих, а именно спокоен.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ломжинский кантор в беде

Попасть в рай, как известно, не так-то легко: надо раньше пройти чистилище и претерпеть там все муки ада.

Как на том свете, в небесном раю, так и здесь, в земном раю, которому имя Америка, не для всех открыты заветные ворота и не всякому удается попасть в рай без особых затруднений.

Те, что знают секрет, — а редко кто его не знает, — заблаговременно, еще у себя на родине, принимают необходимые меры и обеспечивают себя всем, что требуется для того, чтобы благополучно миновать все препятствия. И все же еще за много миль до Нью-Йорка у них начинает тревожно биться сердце. Их бросает в жар и в холод, зуб на зуб не попадает. Они лихорадочно зевают, потягиваются. Подплывая к берегу, они наряжаются в свои лучшие платья, оглядывают друг друга с головы до ног и молят бога, чтобы он помог им не споткнуться, не попасть в беду при допросе и быстро, без задержек, пройти чисти-

лище, пройти горнило адских мук, уготованных эмигранту на «Острове слез», и благополучно, без помех, вступить в заповедные ворота того рая, которому имя — золотая страна Колумба.

Наши блуждающие актеры странствующей труппы «Кламер, Швалб и К⁰» относились весьма пренебрежительно ко всей этой церемонии. Подумаешь, эка важность — Америка! Каждый из них — они были в этом уверены — мог бы трижды подряд войти, выйти и снова войти в эту самую Америку. «Какие тут могут быть трудности? — говорили они между собой. — Дураки их выдумали. Коль скоро человек здоров, свеж, бодр, жизнерадостен, прилично одет, если он в случае надобности может показать столько долларов, сколько в данном случае полагается, и к тому же назовет фамилии двух-трех своих знакомых в Америке, — тогда ему все трын-трава!»

Чего, в самом деле, бояться такому, например, джентльмену, как мистер Кламер, когда на нем столь элегантный смокинг, а английский язык для него родной? Какие могут быть затруднения у человека такого богатырского сложения, как Нисл Швалб? А Изак Швалб чем не гож? Дай господи всем эмигрантам выглядеть не хуже.

Об артистической парочке — Генриетте и Рафалеско — и говорить нечего. Для таких красивых, здоровых, элегантных молодых людей все двери распахнуты настежь. Вот только с ломжинским кантором вышла маленькая заминка.

Суждено было человеку горя хлебнуть! Собственно, и с ним все обошлось бы благополуно, — вся семейка, благодарение богу, люди здоровые, дети — прямо-таки крепыши, кровь с молоком. На аппетит никто из них не жалуется, было бы только что есть. Да вот с самим кантором стряслась беда. И — надо признаться — по его же вине. Ему бы, при его многочисленной семейке, заранее надо было договориться с компаньонами и с их помощью обеспечить себя нужной суммой долларов, чтобы было чем козырнуть, ежели потребуется.

Кантор потом оправдывался: не знал, дескать. Он полагал, говорит он, что Америка — это Америка, а оказывается, здесь, прости господи, хуже даже, чем в Ломже. Сколько бедняков, к примеру, изо дня в день приезжает в Ломжу! И что же! Неужто станет их кто-нибудь спрашивать, есть ли у них деньги, или нет? А тут... чудно, право!

Бедному ломжинскому кантору пришлось здорово попотеть, гораздо больше, чем — простите за сравнение! — в праздники пред амвоном. Судите сами: вдруг, ни с того ни с сего, здорово живешь, хватают человека и заставляют показать «мони». Что за «мони»? Оказывается, речь идет о долларах, об американских долларах. Английские фунты тоже сойдут, да и русские рубли, — говорят они, — тоже стоящие деньги. Одним словом, были бы в кармане наличные, а какие именно, — это уж не имеет значения. Так объяснили ему потом, когда было уже поздно. Он должен доказать, — так разъяснили ему, — что на первое время у него есть достаточно средств, чтобы прожить на них, и что в Америке он никому не будет в тягость.

— В тягость?! И боже упаси! — оправдывался бедный кантор, изъясняясь по мере сил наполовину по-английски, наполовину по-немецки, главным же образом при помощи рук: усиленно жестикулируя, он старался объяснить, что он здесь, сохрани боже, не один, что с ним тут — не сглазить бы! — большая семья...

— В таком случае, — сказали ему, — не будете ли вы любезны рассказать толком и объяснить, на какие средства будете вы содержать этакую ораву?

Словом, бедный кантор увязал все глубже... Положение становилось угрожающим. Его чуть было не присоединили к списку тех несчастных, которых массами возвращали восвояси, не разрешая им перешагнуть порог заветного рая.

Тщетно ломжинский кантор что-то беспомощно лепетал, наполовину по-немецки, наполовину по-английски. Напрасно размахивал руками и кивал глазами в сторону компаньона мистера Кламера,

умеющего говорить по-английски, выразительными жестами призывая его на помощь.

Мистер Кламер делал вид, будто ничего не замечает. Мистер Кламер — мастер соваться со своими советами у себя дома, в Уайтчепеле, в кафе «Националь», но не здесь, на американской почве, где «проклятые попрошайки» так кричат, галдят, тараторят, что можно одуреть. Мистер Кламер неторопливо повернулся, оправил на себе смокинг, расправил четырьмя пальцами свою пышную бороду а-ля Герцль так, что получилась борода а-ля Скобелев, и смылся. Как говорят англичане: «Ай дисавав ит бег энд бегедол». По-русски это означает: «Моя хата с краю».

К счастью, тут же на пароходе находился другой компаньон, Нисл Швалб, великий комбинатор. Пронюхав издали, что ломжинский кантор попал в беду, комбинатор сразу смекнул, в чем дело и чем можно горю помочь. Отозвав в сторону жену кантора, он с минуту о чем-то с нею шептался и, выразительно подмигивая глазами, сунул ей что-то за пазуху. Затем кивнул ей и детям:

— Пошли!

В другое время и при других обстоятельствах наш комбинатор, будьте уверены, получил бы от жены ломжинского кантора изрядную трепку за такое вольное обращение. Правда, полубогомольная, полуфривольная канторша едет в одной компании с актерами в страну, именуемую Америкой. Так-то оно так, но все же Нисл Швалб не должен ни на минуту забывать, что пока что она еще не хористка, прости господи, не танцовщица, не певица и даже не примадонна (шпилька по адресу его сестры Генриетты), которая целуется с чужим парнем (это она имеет в виду Рафалеско), хотя неизвестно еще, кто он ей: действительно ли жених, или отставной козы барабанщик. Она, канторша, пока что — законная жена ломжинского кантора, и такой молодец, как Нисл Швалб, в обращении с ней должен честь знать. Но теперь, когда муж попал в такую переделку, когда ему и всей семье грозит страшная беда, ей не до амбиции...

Нисл Швалб бесцеремонно схватил канторшу за руку, подошел с ней к столу, где сидел чиновник, и, как человек свободно изъясняющийся по-английски, выступил на защиту кантора, его почтенной супруги и всей их музыкальной семейки. Передаем его речь слово в слово в переводе с английского языка:

— Господа! Я уполномочен представить вам супругу этого господина. Они оба ни слова не говорят по-английски. Видите вы эту ораву? (Он указал рукой на всю музыкальную семейку.) Эта семья, милостью божией, состоит сплошь из музыкантов. Исключительно талантливые дети! Все — от отца до младшего ребенка — сами свой хлеб зарабатывают. Лопатами, как говорится, золото загребают. Только одна эта вот (он указал рукой на жену кантора) ничего не зарабатывает. Она — только преданная супруга и мать, хозяйка дома и кассирша. Вся касса у нее всегда находится в подобающем месте... У этой женщины раздобыть цент, поверите ли, труднее, чем расколоть пополам море.

Так он объяснялся с американскими властями по-английски, а жене кантора сказал по-еврейски:

— Тетенька, будьте любезны, расстегните блузку и покажите им наличные.

Лишь тогда, когда ломжинский кантор с семьей очутился на суше и твердой ногой встал на американскую почву, он понял, в какой был опасности и из какой беды выручил его Нисл Швалб. Он обнял своего защитника и спасителя, насколько возможно было обнять этакого необъятных размеров великана, каким был наш великий комбинатор, и со слезами на глазах начал целовать его, прижимать к своей груди и осыпать благодарностями:

— Отец! Родненький! Вы же умница! Гений! Соломон-мудрый! Ангел с неба! Вы... вы... уж я и не знаю, как мне назвать вас...

И он опять бросился целовать великана.

Нисл Швалб едва вырвался из его рук.

— Довольно! Хватит! — крикнул он. — Спасите меня, люди добрые, от этого человека! Он меня задушит, этот человек, на американской земле, клянусь всем вашим добром!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

«Благословенная страна»

В эту трогательную минуту, когда ломжинский кантор бросился обнимать и целовать своего защитника и избавителя, а тот яростно отбивался обеими руками от его ласк, Нисл Швалб внезапно заметил какое-то странное существо в образе женщины в красной ротонде, с широким, как луна в начале месяца, лицом, с жирной улыбкой, обнажающей здоровые белые зубы.

Швалб увидал, как эта женщина сначала бросилась на шею к Генриетте, затем горячо облобызалась с его братом Изаком, наконец кинулась в объятия Рафалеско, обняла его своими короткими пухлыми руками и стала целовать горячо-горячо, как сестра, как мать, как родная мать.

— Это что за зверюшка? — обратился Нисл Швалб раньше к кантору, а затем к его жене. Но кантор с женой в эту минуту были в объятиях многочисленной толпы ломжинских мужчин и женщин, которые набросились сперва на кантора, потом на его супругу, затем на ватагу детей и каждого в отдельности обнимали, целовали, крепко-крепко прижимали к своей груди.

Среди встречающей толпы были люди самого разнообразного вида: и такие, что давно уже приобрели облик подлинных янки, и совсем еще зеленые, все обличье которых, вплоть до красного платка вокруг шеи, хранило печать местечкового патриархального уклада.

Женщины тоже были разные: с одной стороны заправские янки и «полуянки», именовавшие себя не

иначе, как «миссис» и «леди», с золотыми зубами во рту, в широкополых шляпах, а с другой, старомодно одетые женщины, не решившиеся распроститься с париком, с белым пробором посредине, — словом, точь-в-точь так, как одеваются благочестивые еврейки в родной Ломже.

Все эти столь непохожие друг на друга по внешнему облику люди — зеленые и «янки», «миссис» и женщины в старомодных париках — восторженно приветствовали своих земляков: ломжинского кантора с его семейкой. Все они кричали, тарахтели, галдели, метались, размахивали руками, точно они находились не в многолюдном Нью-Йорке, а в каком-нибудь глухом переулке Ломжи.

Ломжинские евреи и еврейки буквально набросились на своих земляков — на ломжинского кантора и его семейку — и чуть не разорвали их на части, наперерыв приглашая к себе, кто на завтрак, кто на обед, кто на ужин.

— Ради бога, ко мне!

— Нет, раньше ко мне!

— Ко мне, без всяких отговорок!

Ломжинский кантор, его жена и дети стояли как зачарованные. Эта встреча казалась им сказочным сном. И не удивительно! С той поры, как они покинули родной город и начали скитаться по свету, влача жалкое существование в лондонском Уайтчепеле, — им нигде не оказывали такого восторженного приема, нигде и никогда не видали они такой горячей встречи, такого неподдельного радушия, как здесь, на американской земле. Ничего подобного им и во сне не снилось. Больше того: даже в родной Ломже они никогда ни у кого не были такими дорогими, почетными, желанными гостями, как здесь, в счастливой свободной стране, в золотой стране Колумба. Даже наоборот: там, на родине, среди своих, ломжинский кантор с его многочисленной семейкой всем мозолил глаза. В дороге им тоже нередко самым недвусмысленным образом намекали, что семейка их слишком уж многолюдна. Даже мистер Кламер, свой человек, можно сказать компаньон,

и тот несколько раз хоть и со сладенькой улыбочкой, спрашивал кантора, к чему он захватил с собою из дому весь свой «скарб», — оставил бы кой-кого из детей в Ломже, хоть на память... А тут, поди ж ты, такая неожиданно торжественная встреча, такой исключительный прием! За него и за его семью тут прямо-таки дерутся, их буквально разрывают на куски. Да будет благословенна эта страна, трижды благословенна!

Кантор с женой переглядываются, и слезы блестят у них в глазах. Дети в неистовом восторге. Их точно на крыльях несет куда-то ввысь. Они не знают, кому раньше ответить на приглашение. Конечно же они, с божьей помощью, у всех побывают, — как же иначе? Всех, с божьей помощью, навестят. Что за вопрос? К одному на завтрак, к другому — на обед, к третьему — на ужин. Одному, разумеется, не справиться с таким количеством приглашений — не разорваться же на части! Но такая — не сглазить бы! — семейка, как у кантора, конечно же справится, ха-ха-ха! Еще как справится!

Нисл Швалб не может налюбоваться и нарадоваться на эту картину. Кто еще, как не он, знает, до чего бедствовала эта семья в Лондоне, как она была одинока и беспомощна, как она, в буквальном смысле этого слова, нищенствовала. И вдруг столько друзей, да еще каких! Впрочем, разве он раньше не знал, что так именно и будет? Знал, как вы видите его плавающим, прекрасно знал. Америка вам не Лондон! Да будет благословенна эта страна! Жаль только, что у него, Нисла Швалба, нет времени подойти к этим гостеприимным людям и поблагодарить за сердечный прием, оказанный ломжинскому кантору, а заодно уж ближе ознакомиться с новыми людьми, покалякать с ними об Америке... Жаль, право! Голова Нисла Швалба в эту минуту занята черт знает чем: он не в силах оторвать глаз от какой-то кикиморы в красной ротонде, причудливой женщины, которая первым долгом бросилась на шею его сестре, потом расцеловалась с его братом Изаком и, наконец, кинувшись в объятия Рафалеско,

стала осыпать его градом поцелуев то в одну щеку, то в другую, а то вдруг в губы. И снова в одну щеку, в другую и еще раз в губы. Конца краю не видать поцелуям.

Терпение Нисла Швалба, наконец, истощилось. Он подошел к красной ротонде и насильно оторвал ее от Рафалеско.

— Что за зверюшка? — шепнул он своему юному другу.

Рафалеско и сам, оказывается, невыразимо обрадовался своему избавителю, вызволившему его из рук кикиморы. Он привел в порядок измятую шляпу, расправил рукою растрепавшиеся волосы и представил незнакомку своему приятелю:

— Мой друг Швалб... Моя старая знакомая Брайнд... мадам Черняк.

У Рафалеско чуть было не сорвалось с уст ее обычное прозвище: Брайнделе-козак.

Да, то была она.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Под фанфары и трубные звуки *

Наша странствующая музыкально-артистическая труппа «Кламер, Швалб и К⁰» приехала в Нью-Йорк в самый подходящий момент, в самую горячую пору. То была поистине страдная пора в еврейском квартале вечно шумного, полного неуемной сутолоки, бурно клокочущего, охваченного деловой лихорадкой Нью-Йорка.

Было начало осени, когда пульс еврейской жизни в Соединенных Штатах Америки после долгой спячки в течение летних каникул начинает усиленно биться; когда еврейская улица приобретает более еврейский облик, чем когда бы то ни было в другое время; когда издатели еврейских газет не знают, куда и как разместить обильный поток объявлений и чудовищных реклам. Больше всего здесь анонсов, призывающих

в синагогу либо рекламирующих кантора, молельню, новогодние поздравительные карточки и разные другие предметы, имеющие то или иное отношение к религиозному культу. Короче, то было накануне осенних еврейских праздников, накануне еврейского Нового года * — время, которое можно вкратце охарактеризовать словами: под фанфары и трубные звуки.

Как у нас в Старом Свете, так и здесь, за океаном, в Новом Свете, эти дни являются переходными от лета к зиме, от старого еврейского года к новому, периодом ликвидации всего старого и потрепанного, периодом, когда обновляется и переделывается все изношенное, обветшалое, увядшее, когда меняется прислуга, перелицовывается платье, когда решается вопрос, в какой хедер и к какому меламеду послать ребенка в обучение, когда практикуется переезд с одной квартиры в другую. Одним словом, нравы и обычаи во всем мире одни и те же.

«Сезон» — так называются здесь эти дни.

Хорошее слово «сезон»! Чудесное слово, самое разлюбезное слово в этой стране, где все одинаково лихорадочно работают: те, что предлагают свои руки, и те, что их покупают; те, что обливаются потом, и те, что выжимают пот; те, для которых никелевая монета — целое состояние, и те, для кого доллар — безделица, сущий пустяк; те, что из сил выбиваются в погоне за куском хлеба, и те, что устают в погоне за наслаждениями; те, что ютятся с семьями либо в поднебесье, под самой крышей небоскребов, либо в глубоких сырых подвалах, без воздуха и света, и те, что все лето проводят на дачах (здесь их называют «кетскил»), дни и ночи напролет играют в «покер» и «пинокль» — игры, столь же замысловатые, как наши российские «стукалка» и «очко», либо посвящают свой досуг своеобразной игре, которую у нас называют флиртом, а у них «флерт», и которая в основном сводится к тому, что люди либо тайно отбивают жен у своих друзей, либо открыто меняются женами по принципу: «мое-твое-общее» и все трын-трава.

«Сезон» — период оживления и обновления репертуара для всякого театра вообще является переходной вехой и для еврейского театра, занимающего, наравне с прессой, почетное место в жизни еврейского квартала Нью-Йорка. Еврейская пресса в эти дни занята по горло. У еврейских газетных дельцов хлопот полон рот.

Прежде всего появляются коротенькие заметки в отделе «что нового в еврейском театральном мире». Это в большинстве случаев случайные вести, схваченные на лету сообщения, невинные закулисные сплетни и интриги, бесцеремонные измышления, в которых нет и слова правды, вроде, например, таких заметок.

Директор такого-то театра, имярек, приезжает на будущей неделе из Европы с лучшими певцами парижской оперы; такой-то директор под носом у своего конкурента заарендовал его театральное помещение; такой-то директор переманил к себе такую-то «звезду»; такая-то знаменитая примадонна оставляет еврейскую сцену и переходит в англо-американский театр; такой-то известный писатель, обессмертивший свое имя созданием музыкально-реалистически-драматических произведений, написал к открытию сезона три реалистическо-музыкально-патриотически-мелодраматических пьесы, превзошедшие все, что видела до сих пор Америка. При этом — почтительное расшаркивание пред той или иной «звездой», комплимент по адресу той или иной примадонны, любезное похлопывание по плечу того или иного директора, умильная улыбка по адресу того или иного автора. Одним словом, это пока что лишь невинная болтовня, которую позволяет себе печать до начала «сезона», накануне его, когда лето уже на исходе.

Совершенно иной облик приобретает пресса, когда театральный сезон уже наступил, когда он в самом разгаре. Тогда уж в глазах рябит от крикливых газетных статей с чудовищными заголовками и с пестрым мельканием разнообразнейших имен. Пред глазами маячат целые полосы (там они называются

«пейджес»), набранные сверху донизу крупным шрифтом, начиненные звонкими, высокопарными фразами, блестками красноречия, и цветистая речь льется легко и плавно и воспринимается также необычайно легко. Читатель узнает о райских наслаждениях, уготованных ему таким-то директором, о неземном блаженстве, ожидающем его в театре. Эти ярко расцвеченные, гладенькие, льющиеся плавным потоком статьи состряпаны так искусно, составлены так хитроумно, что простой, неискушенный читатель только глаза таращит и рот разевает от изумления. Он с недоумением старается угадать, что это: то ли передовица, написанная самим редактором, то ли своеобразный панегирик, хвалебный гимн, написанный восторженным и потрясенным рецензентом? Никогда в жизни читателю и в голову не придет, что все подобные статьи — просто хорошо оплаченная реклама, купленная газетная полоса, на которой директор вправе писать все, что душе угодно. И он рекламирует свой театр, расписывает в самых ярких красках его великолепие, возвещая фанфарами и трубными звуками начало нового сезона.

«Хотите вы видеть нечто поистине величественное, лицезреть нечто такое, чего вы еще никогда не видали? — соловьем заливается какой-нибудь директор на купленной им газетной полосе. — Хотите ли вы испытать неземное блаженство, провести хоть час, один лишь час, в раю, вкушая сладостный покой? Хотите вы слышать звуки истинно еврейских мелодий? Хотите вы плакать навзрыд истинно еврейскими слезами, как рыдают, например, на спектакле «Разбитые сердца»? Хотите вы от души посмеяться, развлекаясь подлинно еврейской шуткой, полной живого, естественного юмора, как в пьесе «Оллрайтник»? Хотите вы усладить свой взор великолепными национальными декорациями и роскошными картинами из еврейской жизни, как в пьесе «Еврейская изюминка»? Хотите вы видеть исключительных, доселе невиданных танцоров и танцовщиц? Приходите в течение всего праздника на утренние и вечерние спектакли нашего теат-

ра и смотрите пьесу «Четыре древка», самую красивую, самую богатую трагикомическую национально-мелодраматическую оперетту, какую знала когда-либо еврейская сцена».

«Среди всех пьес, готовящихся к постановке во всех еврейских театрах в нынешнем сезоне, — скромно и сдержанно сообщает директор другого театра, — «Семисвечник» [1] сияет таким ярко-ослепительным светом, что все другие пьесы, какие когда-либо ставились на сцене, тускнеют и совершенно теряются рядом с этой пьесой. «Семисвечник», — продолжает он с поразительным апломбом, — высится над ними, как великан над толпою карликов. Наша страна уже видала слезы на сцене. Слезы обездоленных «Сирот» и покинутых «Вдов». Слезы бесприютных детей и невинно убиенных младенцев. Мы уже видели на сцене зверские погромы и кровь обесчещенных еврейских жен и дочерей. Мы уже слышали смех на подмостках наших театров, естественный смех, вызываемый задушевным юмором и веселой еврейской шуткой. Мы слышали чудесное песнопение и сладостные мелодии, лившиеся из уст примадонн. Видали мы и танцы лучших в мире балерин. Но такого потрясающего и возвышенного зрелища, таких божественных мелодий Нью-Йорк никогда еще не видал, таких поистине божественных песнопений никогда еще не слыхал...»

Третий редактор распоясался на купленной им странице, как у себя дома, и рассказывает предлинную историю о том, как блестяще провел он лето в Европе: объехал все крупнейшие города, посетил все театры, приглядывался и прислушивался, собирая, как трудолюбивая пчела, отовсюду по капле душистого меда. И в результате всех вынесенных им из путешествия впечатлений у него зародилась идея преподнести

---

[1] Семисвечник в еврейском религиозном ритуале играет роль священного сосуда.

нью-йоркской еврейской публике такую праздничную пьесу, которая одновременно и очаровала бы зрителя невиданными доселе национальными костюмами и наполнила бы сердце чувством истинно еврейской национальной гордости, чувством патриотизма. Пьеса, которая должна показать лучшие, благороднейшие типы прошедших времен и самых современных бандитов двадцатого века. Пьеса, в которой наряду с истинно библейскими мотивами, подлинно еврейскими национальными мелодиями и патриотическими песнями должны быть показаны новейшие парижские балетные танцы. Все это, — пишет тот же директор-драматург, — стоило ему немалых трудов и денег. И когда после этих неимоверных трудов и колоссальнейших затрат пьеса была, наконец, создана, он, директор, снова оказался в величайшем затруднении, на этот раз из-за названия. Представьте себе, что самое трудное и самое важное в музыкально-драматическом произведении — не музыка, не драматическое действие, не образы, не декорации и костюмы, а название. Музыкальное произведение должно носить название, которое звенело бы как колокол, играло бы как скрипка, пело бы как примадонна. И — благодарение богу! — он нашел для своей колоссальной музыкально-драматической и национально-патриотической трагикомедии самое подходящее название.

Это название — «Мойше».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

«Мойше»

Словечко «Мойше» очень популярно в американско-еврейском театральном мире.

«Мойше» в кавычках стало презрительной кличкой еврейской театральной публики.

«Мойше» — символ простоватости, наивности, грубого вкуса.

«Мойше» — тип простачка, с которым не следует особенно церемониться. Подавай ему любую пищу хотя бы солому! Будьте спокойны: желудок у него луженый, все переварит.

Предполагают — и это почти достоверно, — что изобретателем крылатого словечка «Мойше» был — да простит он мне! — не кто иной, как так называемый отец еврейского театра покойный Гольдфаден.

Я говорю «да простит он мне» потому, что в обыденной речи к названию «Мойше» обычно прибавляется другое, совершенно неудобопечатаемое слово, которое крупнейший американско-еврейский поэт без всякого стеснения рифмует с другим словом... *

Правда, нашлись люди, весьма недовольные таким употреблением имени «Мойше». Какой-то смельчак выступил даже в прессе с пламенным протестом против кощунственного употребления этого великого исторического имени *. Но выступление не возымело действия. Протест прочитали, от души посмеялись, а название «Мойше» осталось и по сей день. Более того: из страны Колумба оно перекочевало на нашу старую родину вместе с сопровождающим его непечатным словечком. И стоит лишь кому-нибудь из наших еврейских актеров произнести «Мойше», как всякий уже знает, какое слово за ним последует...

Одним словом, автор «национально-праздничной», музыкально-драматической и патриотической пьесы своим названием «Мойше» ловко метил и еще удачнее попал в цель. Для примадонны в пьесе имеется национальная песенка, приводящая публику в неистовый восторг. Примадонна исполняет эту песенку очаровательно, а мелодия так приятна, так сладостна, что буквально разливается по всем жилам, вызывая бурю рукоплесканий. Песенку примадонна исполняет не одна: весь театр, со всеми артистами, с хором, с «высокочтимой публикой» подпевает ей.

«Мойше» — название этой песни. Исполняется она примерно так:

На сцену выходит примадонна — красотка, затянутая в офицерский костюм. Лаская слух своим удивительно приятным меццо-сопрано, она громко заливается:

Не видали вы моего Мойше?
Где Мойше? Мойше? Мойше?
Его слава растет все выше,
Все выше! Выше! Выше!
Караул, люди, где же Мойше?
Не видали вы моего Мойше?

При этом примадонна обводит глазами всю высокочтимую публику, бросая взоры то в ложи, то в партер, то на галерку.

Но вот раздается голос из публики — из партера, ложи либо с галерки:

— Меня зовут Мойше!

Примадонна с умилительной улыбкой отвечает:

— Нет, ты не мой Мойше!

Снова голос из публики — из партера, ложи либо с галерки:

— Меня звать Мойше!

Тогда примадонна, поддержанная хором и всей высокочтимой публикой, заканчивает:

Мойше — тут и Мойше — там,
Мойше — он по всем углам.

После первых двух спектаклей песенка «Мойше» стала самой популярной в девятом дистрикте еврейского Нью-Йорка. Ее распевали дома и на улице, на кухне и в мастерской, во всех еврейских ресторанах, в магазинах и на фабриках. Всюду только и слышно было: «Мойше», «Мойше» и «Мойше». Успех пьесы превзошел все ожидания, ибо если после «национально-музыкально-драматически-патриотической» пьесы в памяти высокочтимой публики остается хотя бы одна песенка, то это — лучший признак успеха всей пьесы и гарантия того, что она, с божьей помощью, долго продержится. Да, директор этого театра имел все основания рассчитывать, что его «Мойше» не сойдет со сцены до тех пор, пока всем этим «мойшам» не

надоест распевать «Мойше»... Пусть критики негодуют, сколько их душе угодно, пусть фельетонисты изощряются в остротах по поводу праздничных пьес, называя весь праздничный сезон презрительной кличкой «дурацкая неделя»! Директора еврейских театров утверждают, что им лучше известно, что «мойше» любит и чем его надо потчевать. А если, говорят они, спор пойдет о том, кто больше развращает вкусы публики — театр или пресса, — то этот спор разрешить нетрудно. Перелистайте, говорят они, любой номер любой еврейской газеты, выходящей в Америке, и поглядите, какие низкопробные романы печатаются там. А для кого? Все для того же «мойше»! И на страницах газет разгорается острая полемика, завязывается ожесточенная борьба между представителями двух могущественнейших сил этого крупнейшего в мире еврейского центра — между еврейской прессой и еврейским театром. И все — из-за «Мойше». А «мойше» читает все, что о нем пишут в газетах и — ноль внимания! Есть ли у него время задумываться над подобными глупостями и предаваться философским размышлениям в стране бешеных темпов, в стране, где основной жизненный принцип: «Хелп юр селф» — сам себя выручай. Люди, усталые от шума и забот, от сутолоки и суеты, люди, с головой ушедшие в свой «бизнес» и одержимые деловым азартом, люди труда, измученные и обессиленные дневной работой, — вся эта жаждущая отдыха публика, едва дождавшись вечера, спешит в еврейский театр, покупает билеты, заполняет галерку, партер и ложи, с восхищением слушает умилительно-сладостную песенку «Мойше», которую знаменитая примадонна исполняет с неописуемым обаянием:

Караул, люди, где мой Мойше?
Не видали вы моего Мойше?

И высокочтимая публика дружно подхватывает:

Мойше — тут и Мойше — там,
Мойше — он по всем углам.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

«Коммуна» распыляется

Новогодние праздники приходили к концу. «Дурацкая неделя» с ее дикими, бессмысленными праздничными пьесами была на исходе. Еврейские театры Нью-Йорка собирались уже взяться за серьезный репертуар, за литературные пьесы. На больших афишах, расклеенных на улицах, и на вторых полосах еврейских газет появились хорошо знакомые имена деятелей американско-еврейского театра. Пресса сообщала о новых драмах, давая новые названия старым пьесам, занесенным из стран Старого Света, и при этом так искусно, с таким мастерством перелицовывала их и переделывала на американский манер, так хитроумно и с такой бесцеремонностью перерабатывала европейские пьесы на еврейский лад, что черта с два зрители могли догадаться об истинном происхождении этих пьес. Словом, все шло «олл райт».

Театральные критики в самых серьезных тонах говорили о подобного рода «новых» пьесах, посвящали им целые полосы, не скупясь на блестящие похвалы их авторам. Одного они называли вторым Зудерманом, другого — Гауптманом, третьего — Ибсеном, четвертого увенчали именем Шекспира, еврейского Шекспира, который куда выше английского.

Само собою разумеется, в оценке отдельных пьес не все рецензенты сходились во мнениях. Как водится с давних пор, мнения разделялись, оценки резко расходились. То, что один критик на страницах одной газеты расписывал в самых ярких красках и превозносил до небес, прославляя сверх всякой меры автора пьесы, то другой критик на страницах другой газеты безжалостно высмеивал, попирая пьесу ногами, смешивая автора с грязью и доказывая самым убедительным образом, что со дня открытия Америки Колумбом и по сей день такого вздора и такой бесстыдной бульварщины на сцене еще не бывало. Словом, «сезон» был еще в полном разгаре и «Мойше» все еще безраздельно господствовал на еврейской улице. Директор того

театра, где ставили «Мойше», ходил, заложив руки в карманы, и жаловался на свое безвыходное положение: театр не в состоянии вместить всю публику, которая каждый вечер приходит послушать и посмотреть «Мойше». Скверно, что и говорить, очень скверно! При этом на лице директора появлялась грустная гримаса, как у некоего злосчастного Рокфеллера, который не знает, бедняга, что ему, горемычному, делать с миллиардами, падающими, как камни с неба, на его голову.

Можно себе представить, как завидовали этому директору владельцы других театров. Напрасно они метались во все стороны, пытаясь извлечь из архива лучшие пьесы лучших мировых драматургов; напрасно сами себя рекламировали на откупленных полосах газет, уверяя, что только у них — «подлинный очаг еврейской драмы». Всех их заткнул за пояс, поставил на колени, разгромил в пух и прах «Мойше». Бедные владельцы театров были в отчаянии, как вдруг в один прекрасный день перед ними неожиданно открылся совершенно новый источник надежд и упований, — источник, вдохнувший в их сердца бодрость, ожививший их, буквально воскресивший их из мертвых...

Этим источником была знакомая нам «коммуна» — «Кламер, Швалб и К^{0}».

В первые дни своего приезда в Нью-Йорк «блуждающая компания» ничего не предпринимала для того, чтобы устроиться, и лишь с изумлением присматривалась со стороны к нравам американско-еврейского театра. Новый человек, попавший на новую почву в чужой стране, подобен пловцу, пустившемуся в неведомые воды. Надо раньше всего оглядеться кругом, присмотреться к нравам, прислушаться к языку, — словом, акклиматизироваться в новом месте.

Но долго сидеть без дела тоже не имеет смысла, — этак наши артисты из странствующей труппы «Кламер, Швалб и К^{0}» могут прожить весь капитал, привезенный мистером Кламером из Лондона. Всякий раз, как Кламеру приходилось менять фунты на доллары, он тяжело вздыхал и, подгоняя компаньонов, требовал, чтобы они как можно скорее принялись за

работу, намекая при этом, — разумеется, самым добродушным образом, — что его карман уже пустеет. Вот-вот, оглянуться не успеешь, и получится, как говорят англичане: «Коли нечем платить, не гляди», или, как говорят у нас: «Нечего жевать — иди спать».

Остальным компаньонам, вполне естественно, было не очень приятно выслушивать такие прозрачные намеки. В особенности они были не по нутру главе и руководителю компании Нислу Швалбу. Все глаза были обращены на гениального комбинатора: что-то он придумает? Какую новую комбинацию изобретет? И Нисл Швалб не ударил лицом в грязь перед своими компаньонами, не осрамился, не замарал, сохрани боже, своей репутации. Он только попросил компаньонов немножко потерпеть, доказывая, как дважды два четыре, что они здесь будут загребать груды золота, составят себе целое состояние, перещеголяют Джекоба Шифа *, за пояс заткнут трех Рокфеллеров, как вы видите его плавающим. Дело лишь в том, что он, Нисл Швалб, своим опытным, зорким взглядом уже уловил, что для той страны, имя которой Америка, законы Старого Света не писаны, и то, что хорошо в Европе, в Америке — зарез. Своим комбинаторским умом он рассчитал, что выступить сразу со всеми силами труппы значило бы идти на верный провал, свернуть себе шею. Гораздо выгоднее для компании, если она будет демонстрировать свои силы исподволь, по одиночке. «Коммуна», конечно, должна остаться коммуной, но силы ее надо раздробить на части так, чтобы каждый актер в отдельности поразил публику и вызвал сенсацию. Оказалось, Нисл Швалб — не только гениальный комбинатор, но и первоклассный делец, или, как выражаются американцы, «бизнесмен». Он шел, как говорится «по пути купцов», сиречь — действовал, как заправский торговец. Опытный купец показывает прежде всего худший, менее ходкий товар, и лишь потом, постепенно, все лучший и лучший. И Нисл Швалб решил в первую очередь пристроить сестру-примадонну Генриетту и брата-трагика Изака.

Что касается брата Изака, то надо сказать откровенно: ему здесь не очень-то повезло. Нью-йоркский театральный мир не хотел признать в нем трагика. Знатоки и ценители искусства утверждали, что ему больше бы пристало быть мясником, чем работником сцены, что лучше бы ему быть молочником, либо носить по улице мороженое на голове, чем выступать в роли актера, да еще в трагических ролях. Помимо всех этих прелестей, здесь в стране «янки», есть еще одна заковыка — «юнион». Чужого актера не пускают на сцену, хоть караул кричи. У Изака Швалба не оставалось иного выхода, как поступить временно на другую должность, взяться за другую работу. В чем она состояла, увидим впоследствии.

А пока что займемся его сестрой Генриеттой, знаменитой примадонной из Буэнос-Айреса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Звезда из Буэнос-Айреса

Брайнделе-козак ничуть не преувеличивала, когда писала Генриетте, что ее встретят в Америке с распростертыми объятиями, что директора еврейских театров будут драться за нее, как за драгоценную жемчужину. Достаточно было Нислу Швалбу показаться со своей сестрой Генриеттой в том или ином театре, чтобы на нее тотчас же обратилось внимание всей публики партера. Генриетта и действительно была в то время в самом блеске, в пышном расцвете молодой красоты. К тому же она так элегантно одевалась, а ее шикарная шляпа, последний крик моды, ее брильянты, среди которых было больше фальшивых, чем настоящих, придавали ей столько очарования, что, когда Нисл повел ее за кулисы и представил актерам и актрисам театра, вся публика партера уже знала, что это — знаменитая примадонна, новая восходящая звезда на небосклоне еврейского театра. Кто она и откуда — этого пока что никто еще не знал. Об этом

публика узнала лишь впоследствии, когда в газетах появились сначала статьи, а затем напечатанные крупными буквами кричащие анонсы, возвещавшие фанфарами и трубными звуками, что в таком-то театре выступает новая «звезда из Буэнос-Айреса, Генриетта Швалб», которая своей восхитительной наружностью и стройной фигурой затмит всех красавиц, когда-либо выступавших не только на еврейской сцене, но и на всех сценах Америки и всего мира. И, поскольку директор уже заговорил о красоте, он позволил себе прибавить и несколько слов от себя, сообщив, что на конкурсе красавиц в Париже Генриетта Швалб получила первый приз.

Этого было достаточно. Об остальных качествах можно было умолчать. Театр и без того буквально ломился от публики, явившейся приветствовать восходящую звезду из Буэнос-Айреса, знаменитую красавицу, премированную на парижском конкурсе. Следует добавить, что высокочтимая публика, достаточно уже привыкшая к тому, чтобы ее обманывали, чтобы ей преподносили самые бесцеремонные вымыслы и небылицы, на этот раз не почувствовала себя одураченной: она была вполне удовлетворена и встретила «звезду из Буэнос-Айреса» такими неистовыми аплодисментами, какие возможны только в еврейском квартале Нью-Йорка.

Легко себе представить, каким тоном заговорил Нисл Швалб с директором театра, когда, придя на второе представление для переговоров об условиях, увидал над кассой объявление: «Билеты все проданы». Нисл Швалб совсем забыл, что история с первым призом за красоту вымышлена самим директором, и, по своему обыкновению, с необычайным азартом и воодушевлением стал рассказывать удивительные чудеса о своей сестре: о том, как она получила первый приз и как остальные ослепительно красивые женщины всего мира ей завидовали; как сама дирекция конкурса была взволнована, узнав, что приз достался еврейке; как у сестры чуть не отобрали первый приз. Хорошо еще, что он, Нисл Швалб, вмешался. Он хотел учинить скандал. И не только хотел. Он

устроил грандиозный скандал. Он им прямо сказал, так, мол, и так...

Здесь Нисл Швалб вынужден был прервать свой рассказ, так как почувствовал, что кто-то наступил ему на ногу под столом и притом с такою силой, точно это была нога гвардейского солдата. Оказалось, это была Брайнделе-козак: она наступила ему на ногу, чтобы намекнуть, что ему необходимо чуть попридержать язык.

Как попала сюда Брайнделе-козак? Очень просто: ведь она-то и была главной посредницей между примадонной Генриеттой Швалб и американским еврейским театром. Это она выписала сюда «звезду из Буэнос-Айреса». Мыслимо ли после этого договариваться об условиях в ее отсутствие?

Нисл Швалб впоследствии удивлялся не столько тому, что он слишком уж заврался, сколько тому, что у женщины оказалась такая тяжеловесная нога.

Счастливая Генриетта! С тех пор как она на сцене, с того дня как она выступает в роли примадонны, она никогда еще не имела такого шумного, такого потрясающего успеха, как в Нью-Йорке. Никогда в жизни не слыхала она таких громовых аплодисментов. Нет, то хлопали не человеческие руки. Разве человеческая рука в силах издавать такие оглушительные звуки? Такой шум и грохот можно слышать разве тогда, когда выбивают крепкими палками пыль из матрацев, подушек, шуб и ковров, или, по меньшей мере, когда человеку дают в руки две дощечки и приказывают: «Бей! стучи! грохочи, на чем свет стоит!»

А теперь мы должны разоблачить маленький секрет: на галерке сидели люди с такими «инструментами» в руках, которые издавали грохочущие звуки и оглушительный треск всякий раз, когда «звезда из Буэнос-Айреса» появлялась перед публикой или уходила со сцены. Стены театра дрожали от громовых раскатов. Публика партера со страхом глядела вверх, желая узнать, откуда исходит этот грохот, и сама бешено аплодировала. Такова уж природа всякой публики, — она ждет лишь первого сигнала. Не все ли ей равно, откуда он исходит? Да и кому, например, при-

дет в голову, что там, где-то наверху, сидят люди с особыми «инструментами» в руках, получившие задание обеспечить шумный успех примадонне, и что в числе этих клакеров находится и ее родной брат.

Да, первым среди клакеров был не кто иной, как знакомый нам трагик Изак Швалб. Это и была та работа в театре, которую на первых порах отыскал для него в Америке его брат Нисл.

«Сик транзит глориа мунди», — так проходит мирская слава, гласит латинская поговорка. В несколько вольном переводе она означает: так иной раз трагик превращается в клакера.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Ломжинский соловей

Нашей коммуне «Кламер, Швалб и К°» повезло в Америке; счастье, можно сказать, ломилось к ним в окна и двери. В то самое время, когда на небосклоне еврейского театра засияла «звезда из Буэнос-Айреса», еврейская пресса подхватила новую сенсацию о знаменитом «ломжинском соловье» и раструбила славу о нем по всей Америке.

Так вертится колесо фортуны. В Лондоне этот же кантор валялся в подвале, в полной неизвестности, три раза в день — не теперь будь помянуто! — помирал с голоду со всей семьей, вынужден был обращаться за помощью к лондонской благотворительности или пользоваться советами таких добросердечных людей, как мистер Кламер. А здесь, в Нью-Йорке он сразу вознесся на недосягаемую высоту, стал на три головы выше, и имя его прогремело по всему городу из конца в конец.

Во всех газетах, на всех афишных столбах можно было в тот сезон каждый день читать яркие рекламы, в которых фанфарами и трубными звуками возвещалось:

«Приходите сегодня в наш театр послушать «Колнидрей» * в исполнении «ломжинского соловья» с его собственной капеллой, которая привела в восторг короля Георга!»

Каким образом ломжинский кантор неожиданно очутился на подмостках театра? Откуда и как попал сюда ни в чем не повинный король Георг? Об этом наш друг читатель не должен спрашивать. Он должен помнить, что мы с нашей коммуной находимся не в Египце *, а в золотой стране Колумба, в той свободной стране, имя которой Америка.

Можно говорить, что угодно, о наших братьях в Америке, можно, например, упрекнуть их в том, что они питают слишком большое пристрастие к «бизнесу», что они с необычайной страстностью бросаются в водоворот американской жизни с ее стремительными темпами, что они хотят выглядеть в большей степени американцами, чем природные американцы. Можно припомнить им еще много такого, что одному кажется недостатком, а другому, наоборот, достоинством. Одного, во всяком случае, отнять у американских евреев нельзя: они свято соблюдают ветхозаветное правило: «Любите вы и пришельца, ибо сами были пришельцами на земле чужой». Этого изречения они никогда не забывают и не забудут даже тогда, когда они совершенно перестанут быть «зелеными». Если бы я не опасался, что меня обвинят в преувеличении, я сказал бы, что в смысле гостеприимства любого американского еврея можно уподобить библейскому Аврааму *. Всякого гостя — не только родственника, но и просто земляка — ждет здесь самый радушный прием. Американский еврей никогда не забудет, что и сам он когда-то немало горя хлебнул, что и сам не так давно побывал в шкуре эмигранта. И чуть только он кое-как наладит свою жизнь в новой стране, он не успокоится до тех пор, пока не выпишет к себе всю родню. Если бы от него зависело, он, кажись, был бы не прочь, чтобы все его родное местечко во главе с раввином, кантором и резником, переселилось к нему в Америку.

Пусть все видят, как привольно живется ему в стране Колумба. Он будет рад, если и они здесь хорошо устроятся.

Было бы, однако, ошибочно думать, что мы склонны петь дифирамбы нашим американским братьям, слагать им хвалебные гимны, изображая их чуть ли не святыми. Нет, люди всегда и везде остаются людьми. Когда приезжает земляк, его, действительно, встречают с распростертыми объятиями. Первое время не знают, куда его посадить. Не нарадуются ему. Гордятся им. Дают ему полезнейшие советы. Указывают, как ему лучше всего устроиться. Иной раз и поддержат его по мере сил наличными долларами.

Но все это — лишь на первых порах, в горячую минуту. А время не ждет. Есть у них поговорка, суровая поговорка: «Тайм из мони» — время — деньги. Проходит первая горячка гостеприимства, и приезжему говорят: «Ну, теперь, мистер, за работу! Страна перед тобой открыта, — иди, братец, и создавай себе жизнь...»

И приезжий, успевший отдохнуть и осмотреться, выходит на шумную, кипучую улицу и останавливается, ошеломленный...

Почему?

В этом клокочущем котле, в этой стране бешеных темпов, где все с утра до вечера заняты по горло, где люди охвачены деловой лихорадкой, приезжий не может рассчитывать на то, что кто-нибудь остановит его среди улицы, встретит его обычным еврейским приветствием «шолом-алейхем» [1], угостит понюшкой табаку и спросит: «Вы кто будете?» Этого ему не дождаться. Нет, в Америке каждый человек должен проявить самостоятельность. Здесь всякий — сам себе хозяин. Здесь с годами выработался железный закон жизни: «Хелп юр селф» — рассчитывай только на себя. В переводе на разговорный язык это значит: «Дяденька, не стойте мне на пути!» Или: «Дяденька, ройте землю носом, пробивайте себе дорогу локтями!» Или: «Дяденька, ежели вам есть нечего, можете уми-

---

[1] Шолом-алейхем — мир вам.

рать». Нет, в такой стране нельзя рассчитывать на чью-то любезность и надеяться на чудеса. Вы должны, не церемонясь, сами останавливать всякого встречного и обращаться к нему примерно так: «Сэр! Я такой-то и такой-то и умею делать то-то и то-то. Не нужны ли вам руки?» Руки — вот главное, основное! Нет людей, есть только руки. Руки предлагающие. Руки говорящие. Руки, громко возглашающие: «Руки, руки!» И чем громче вы будете кричать «руки, руки!», тем лучше для вас.

Не следует, однако, быть наивным и думать, что необходимо самому рыскать по улицам и кричать: «Руки, руки!» О, нет! Для этого в Америке создана пресса. Для этого существуют газеты, обслуживающие широкую публику, — газеты, усеянные, утыканные и унизанные сверху донизу объявлениями и широковещательными анонсами, в которых люди сами о себе говорят, трезвонят, кричат, трещат, возвещают фанфарами и трубными звуками. И всякий, кто хочет в этой стране «делать жизнь», как выражаются американские евреи, всякий, кому не улыбается перспектива голодной смерти в свободной золотой Америке, вынужден прибегнуть к помощи газет, вынужден, хочет он этого или не хочет, рекламировать себя в газетах, расхваливать на все лады и превозносить до небес и себя и свой товар, трезвоня во все колокола и возвещая о себе трубными звуками.

Такое положение вещей сразу понял и оценил руководитель и глава нашей коммуны. Он чутьем пронюхал и увидал своим острым взглядом, что медлить нельзя. Надо взять вожжи в одну руку, кнут в другую и — погоняй во всю прыть! К тому же с ломжинским кантором ему не только время благоприятствовало, но и явно улыбнулось счастье. Время, как мы знаем, было предпраздничное, когда на канторов в Америке большой спрос. Счастье же заключалось в том, что как раз к моменту приезда нашей коммуны в Нью-Йорк какая-то община осталась без кантора. Правда, в Америке этого добра хоть отбавляй, так что на первое же газетное объявление: «Ищут кантора на новогодние праздники», — посыпались предложения одно

за другим, и нашему ломжинскому кантору пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Но тут вмешались в дело его ломжинские земляки, и с ломжинским кантором все уладилось «олл райт».

Но это явилось, так сказать, лишь интермедией, прелюдией к карьере ломжинского кантора. Американской религиозной общине кантор надобен только на новогодние праздники, а этим одним целый год не проживешь. И тут сказался предпринимательский талант нашего комбинатора Нисла Швалба. Он снял концертный зал и дал в газетах следующее объявление:

«Человек-соловей. Горло-кларнет. Голос-скрипка. Это всемирно известный ломжинский кантор с собственным хором. Он исполнит «Кол-нидрей» в таком-то концертном зале в сопровождении собственной капеллы, играющей на всевозможных инструментах и удостоившейся чести играть перед королем Георгом».

Первый концерт оказался, однако, и последним. Утром следующего дня наш Нисл Швалб и его компаньон мистер Кламер сидели за кружкой пива, покуривая гаванские сигары, и подписывали контракт с директором одного еврейского театра на тридцать спектаклей, в которых «ломжинский соловей» со своей капеллой должен был каждый вечер петь «Кол-нидрей» в знаменитой оперетте, носящей то же название.

Едва лишь контракт был подписан и директор театра спрятал его к себе в боковой карман, как мистер Кламер уже пожалел об этой сделке и стал пилить своего компаньона Нисла Швалба: зачем, дескать, надо было так торопиться и сбывать такой товар за полцены?

И действительно, после первых же спектаклей директор подписал новый контракт еще на тридцать спектаклей, но уже за тройную плату. На этой почве между Нислом Швалбом и мистером Кламером разгорелся серьезный конфликт: впервые за время пребывания на американской земле оба компаньона, повздорили, поссорились и, переругавшись, стали называть друг друга такими словами, которые мы здесь ни под каким видом не можем воспроизвести, ибо они совершенно недостойны таких двух джентльменов, как

наши компаньоны. Дело могло кончиться громким скандалом, потому что один из них (Нисл Швалб) уже предлагал своему компаньону (мистеру Кламеру) оплеухи за наличный расчет. К счастью, в дело вмешались кантор с женой и своевременно розняли разбушевавшихся компаньонов, напомнив им, что впереди еще очень важная, можно сказать, самая ответственная работа: устроить Рафалеско.

Тем временем жена кантора устроила торжественный ужин для всей коммуны, пригласив также мадам Черняк (Брайнделе-козак) и несколько ломжинских земляков, которые обещали прийти со своими миссис, чтобы провести вечерок у ломжинского соловья, познакомиться с его компаньонами и покутить во славу божию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Удивительная биография

Устроить Рафалеско оказалось далеко не так просто, как представляли себе компаньоны. Во-первых, с первого дня пребывания в Америке Рафалеско почти на глаза не показывался. Целыми днями пропадал он где-то с мадам Черняк. «Какие у него могут быть дела с этой кикиморой?» — думал Нисл Швалб. А по вечерам Рафалеско и подавно не увидишь. Он не пропускает ни одного концерта в аристократическом квартале Нью-Йорка — «Аптаун», смотрит спектакли на английском языке, нимало не интересуясь еврейским театром, точно он не еврейский актер, не блуждающая звезда еврейской странствующей труппы.

Первое время члены нашей «коммуны» не обращали особого внимания на странный образ жизни Рафалеско. Молодой человек, рассуждали они, первый раз в чужой стране, хочет осмотреться, все видеть, — пускай! Но чем дальше, тем больше стали они коситься на Рафалеско, начали расспрашивать, куда он ходит, что делает, пытались даже нотации ему читать:

почему бы ему не поинтересоваться лучше тем, что для него куда важнее, — отчего бы ему не познакомиться прежде всего с еврейским театром в еврейской части Нью-Йорка, именуемой Даунтаун, почему бы ему не научиться кой-чему у знаменитых еврейско-американских звезд?

На это Рафалеско ответил, что с еврейским театром ему знакомиться незачем, он его и без того знает насквозь, изучил досконально. А если может быть речь о том, чтобы учиться у кого-нибудь, то только у великих мастеров мировой сцены.

Но это была лишь отговорка. У Рафалеско, как увидим дальше, были в Нью-Йорке свои особые дела, свои интересы. Наших компаньонов ответ Рафалеско, естественно, не смог удовлетворить. Они хотели, чтобы Рафалеско — самая блестящая жемчужина в их короне, возможно скорее выступил на сцене и показал еврейской публике Нью-Йорка, кто он и что он.

Нисл Швалб, конечно, не дремал: он делал все, что было в его силах. Прежде всего он ознакомил вкратце всех репортеров еврейских газет с биографией Лео Рафалеско. Каждому он под строгим секретом сообщил, что Рафалеско родом из Бухареста, происходит из знатнейшей еврейской семьи. Его отец, Самуэль Рафалеско, один из богатейших банкиров Румынии, получивший гражданство от самого короля. Разумеется, это стоило ему кучу денег. Еще в детстве маленький Лео обнаружил изумительные артистические способности и мечтал о том, чтобы обучаться театральному искусству. Но родители-фанатики об этом и слышать не хотели. И вот в один прекрасный день молодой Лео представился румынской королеве, знаменитой драматической писательнице Кармен Сильве.

— Кармен Сильва писала новеллы, — прервал его репортер.

Но Нисл, не смущаясь, продолжал:

— Но в драмах она тоже понимает толк. Так вот наш Лео представился королеве и прочитал ей несколько монологов. Королева пришла в такой восторг, что на свой счет отдала его в обучение в лучший румынский театр. Но молодой Рафалеско всегда стре-

мился отдать свой талант еврейской сцене. «Я сын еврейского народа, — говорил он, — и должен служить моему народу на его родном языке». В одно прекрасное утро он пристал к еврейской странствующей труппе, которая в то время кочевала по городам и местечкам Румынии. Директором труппы был знаменитый артист и высокоуважаемый драматург Бернард Гольцман, известный автор нашумевшего произведения «Уриель Акоста»...

Репортер снова прервал его:

— Прошу прощения, мистер Швалб, но автором «Уриеля Акосты» был не Гольцман, а Карл Гуцков.

Но Нисл Швалб не из тех, кто теряется. Он сразу нашелся.

— Как же, как же, я знаю, что автором пьесы был Гуцков, но я имею в виду еврейского переводчика.

— Прошу извинения, мистер Швалб, — опять прервал его упрямый репортер, — «Уриеля Акосту» перевел на еврейский язык не Гольцман, а Иосиф Лернер.

— Знаю, что Лернер, — ответил, не моргнув, Нисл Швалб. — Лернер, точно, был первым переводчиком. Но Гольцман был недоволен переводом и в одно прекрасное утро засел на целую ночь и перевел всю пьесу заново, специально для Рафалеско. И перевод получился на славу! Никто так не переводил «Уриеля Акосту», как Гольцман, и никто еще так не играл роль Уриеля, как Рафалеско. Можете себе представить, что однажды в Вене Зоненталь, великий Зоненталь, увидев Лео Рафалеско в роли Уриеля Акосты, разрыдался, как ребенок, и сказал: «Кончено! Раз навсегда — конец! Больше я ни за что не буду играть Акосту!» И что вы думаете? Он сдержал слово: до самой смерти не играл этой роли, клянусь всем вашим добром!

Американские репортеры — не пугливые дети. Они знают, что такое «блеф». Они немножечко приправили по своему вкусу то, что услышали от Нисла Швалба, то есть кое-что выбросили, кое-что прибавили, и получилась удивительная биография.

На другой день Рафалеско, развернув газету, прочел в ней свою собственную биографию под такого рода кричащими заголовками:

«Новая звезда еврейской сцены!
Кармен Сильва в восторге.
Королева венчает молодую звезду!
Зоненталь проливает слезы».

Наш герой разразился таким смехом, что его с трудом удалось унять.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В «Кибецарне»

«Кибец» * — еврейско-американское слово, рожденное на американской почве, в сферах еврейского театра и еврейской прессы.

Чтобы перевести это слово на человеческий язык, я вынужден прибегнуть к целому ряду слов и понятий и сказать примерно так:

«Кибец» означает: обмен колкостями, перемывание друг другу костей, злословие, опорочивание человека в его присутствии, залезание другому в печенку, укол под седьмое ребро, попадание не в бровь, а в глаз, просверливание ушей, посыпание солью свежих ран, потрошение кишок, извод, вытягивание жил, съедание поедом, сживание со свету, закапывание живьем в землю, поцелуй и одновременно выматывание души. О, наш язык, слава богу, достаточно богат. Но, к сожалению, все это богатство слов и понятий не передает с достаточной ясностью сущности одного-единственного слова «кибец», — слова, которое могло вырасти и расцвести только на своеобразной американской почве. А посему, боюсь, мне очень трудно будет объяснить читателю значение слова «кибецарня».

«Кибецарня» — своего рода клуб или кафе в девятом дистрикте Нью-Йорка, куда собирается определенная группа интеллигентов, имеющих отношение к литературе, театру и политике.

Здесь вы встретите представителей различных лагерей и всевозможных партий. Большей частью это — противники, нередко — конкуренты, и почти всегда друг другу заклятые враги. Не только враги до гробовой доски, ненавидящие друг друга всеми фибрами души, непримиримые и беспощадные в своей злобе, но и жестокие, смертельные враги, готовые пуститься в пляс на могиле противника, если бы он — сохрани боже! — отдал богу душу.

В определенные часы эти люди собираются в «кибецарне», садятся на свои определенные места, каждый за свой столик, окруженные своими приверженцами и последователями. Заказывают что-нибудь, закуривают сигары, и «кибецарня» начинает действовать. С виду как будто самым невинным образом люди с разных столиков начинают перекидываться словечками, обмениваются комплиментами, насмешками, остротами, шутками, колкостями, сплетнями. Перемывают друг другу косточки, запускают шпильки, копаются в грязном белье своих противников, в преувеличенно карикатурном виде выставляют напоказ чужие недостатки, наступая как бы мимоходом на самое больное место противника и с наслаждением наблюдая, как жертва меняется в лице, трепещет, содрогается от злобы. И все это проделывается с виду как будто совершенно беззлобно, сопровождается веселыми шуточками, прибауточками, любезными улыбочками или раскатистым смехом.

«Кибецарня» — своего рода добровольный ад, где люди сами согласились поджаривать один другого. Своего рода парильня, где люди хлещут друг друга горячими вениками. Здесь, в «кибецарне», всякое суждение преподносится на острие иглы, тут фабрикуются мнения и репутации, предопределяется карьера актеров, писателей, художников. «Кибецарня» первая высказывает свое мнение о них — положительное или отрицательное — коротко и резко. «Кибецарня»

произносит свой приговор: либо полковник, либо покойник. «Кибецарня» ко всему прикладывает свою печать: либо «олл райт», либо «ко всем чертям!».

Теперь, когда вы уже знаете, что такое «кибецарня», просим вас пожаловать с нами туда на часок-другой.

Было это в туманный осенний день, один из тех дней, когда недоступное оку нью-йоркское небо, заслоненное огромными зданиями — небоскребами и воздушными железными дорогами, известными здесь под наименованием «элевейтеров», выглядит почти так же, как закоптелое, слезоточивое лондонское небо.

Был предобеденный час, когда второй по величине город мира особенно оживлен, когда он предельно наполнен шумом, сутолокой, лихорадочной суетой: все заняты по горло, то есть спешат, торопятся, бегут, летят, покупают, продают, хлопочут, мечутся, как угорелые...

Одним словом, весь город — кипящий котел.

Несмотря на ранний час, когда деловая жизнь в городе в самом разгаре, «кибецарня» была уже полным-полна. Все столики заняты, булавке негде упасть. В воздухе плавали облака табачного дыма, хоть топор вешай. Шум, говор, крики, трескотня. Словом, «кибецарня» действовала вовсю.

За одним из столиков сидели три человека, пили пиво и, погруженные в разговор, не замечали, что являются центром всеобщего внимания и самых резких острот и что все беседы и сплетни вращаются вокруг них. Все трое говорили наперерыв, рассказывали самые невероятные небылицы, хвастались и плели всевозможную ложь без зазрения совести. Из этих трех персонажей, состязавшихся в искусстве вранья, двое нам хорошо знакомы еще по Старому Свету, по Лондону.

Да, то были они, наши старые друзья — мистер Кламер и Нисл Швалб. Нам остается познакомиться с третьим собеседником. Это уже не выходец из Лондона, а стопроцентный американец. Истого американца

можно узнать за версту: иной облик, иные повадки, иные манеры и даже язык как будто другой. Тогда как англичанин это угрюмый меланхолик, страдающий хроническим сплином, американец — веселый, жизнерадостный янки, с умными, пронизывающими глазами, приятными свободными манерами, с золотыми зубами во рту.

Третий собеседник, которого мы имеем честь вам представить, — директор американско-еврейского театра, и зовут его Никель.

Никель — одна из популярнейших фигур еврейского Нью-Йорка, один из тех полных обаяния людей, которых в Америке называют «гуд бой», а по-нашему — «свой брат», «свой в доску», «рубаха-парень», «душа нараспашку». На его вечно юном, открытом, жизнерадостном лице неизменно блуждает жизнерадостная улыбка. Для всякого у него найдется доброе слово, а иной раз и несколько долларов, — были бы они только у него в наличности. Но не всегда они у него бывают. Частенько он и сам ищет, у кого бы перехватить доллар-другой. Он почти всегда нуждается в деньгах, потому что главой дома является его «миссис». Она — мужчина в юбке. Это ни для кого не секрет. Враги и конкуренты Никеля используют это обстоятельство в полной мере. В «кибецарне», разумеется, эта слабость Никеля раздувается до неимоверных размеров. Но Никель и в ус не дует. Если бы он и стал принимать близко к сердцу все сплетни, которые сочиняются о нем, его сердце не выдержало бы.

Никель знает, что его считают в Нью-Йорке непревзойденным мастером блефа.

Никель знает, что когда кто-нибудь в «кибецарне» ляпнет что-нибудь совершенно несуразное, все его спрашивают: «Кто это рассказал? Никель?»

Никель знает, что «кибецарня» сочиняет о нем самые чудовищные небылицы.

Рассказывают, например, будто Никель когда-то хвастал, что переехал на автомобиле Ниагарский водопад по льду в середине июля, в трескучий мороз.

Но мало ли что «кибецарня» может выдумать! Болтуны! Бездельники! Конкуренты! Завистники!

И чему тут удивляться? Разве хоть один из директоров может похвалиться такими успехами, как он, Никель? Пускай попробует кто-нибудь покружить, подобно Никелю, со всей труппой по всей стране и в течение одной недели дать двенадцать спектаклей в восьми городах, съездив при этом два раза туда и обратно из Чикаго в Филадельфию.

Так хвастался наш новый знакомый, мистер Никель, перед нашими старыми знакомыми — мистером Кламером и Нислом Швалбом. Те в свою очередь лицом в грязь не ударили: каждый в ответ на россказни Никеля поведал свою собственную историю, которая по богатству выдумки ничуть не уступала путешествию Никеля по всей стране, от Филадельфии до Чикаго и обратно, в течение одной недели.

Это было, так сказать, состязание трех вралей, старавшихся перещеголять друг друга в искусстве блефа.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

«Блеф» и разный вздор

«Блеф» — чисто американское слово и американское понятие, трудно поддающееся переводу на другой язык. Заниматься блефом, «блефовать» не значит просто соврать, сочинить небылицу, лгать почем зря, рассказать нечто совершенно несуразное и невероятное, чудеса в решете, молоть всякий вздор без цели и без смысла, лгать из любви к искусству. О нет, такого бесцельного вранья американцы не переваривают. Они называют бесцельное лганье пустозвонством, трепотней — занятием с их точки зрения не только глупым, но и предосудительным.

Нет, американец, прежде всего, «бизнесмен», человек дела; он слишком умен, обладает слишком развитым вкусом для того, чтобы заниматься пустословием. Когда американец, заломив шляпу набекрень и заложив большие пальцы обеих рук в карманы жилета, преподносит вам сногсшибательную ложь, это

всегда выходит у него округленно, гладко, ловко замаскировано под невинную болтовню, а главное, это всегда имеет прямое отношение к интересующему его делу — к «бизнесу».

Все вышеупомянутые людишки, сидящие в «кибецарне» и перемывающие друг другу косточки, не бездельники, упаси бог, вроде наших запечных мудрецов в синагогах, которые только тем и занимаются, что сплетничают от нечего делать. Нет! Перемывать косточки — это само по себе дело, занятие, или, как здесь говорят, «бизнес».

Нисл Швабл, мистер Кламер и Никель, сидевшие в то утро за столиком в «кибецарне», вели серьезный деловой разговор. И именно во имя дела, во имя «бизнеса» они так бесцеремонно блефовали. Наши старые хорошо знакомые мастера блефа из Старого Света вынуждены были каждый про себя скрепя сердце признать, что в отношении искусства блефа они своему новому знакомому и в подметки не годятся. Никель своими побасенками и безудержным хвастовством так заговорил им зубы, так затуманил головы, до того огорошил и ошеломил, что они почувствовали себя перед ним беспомощными, безоружными и вынуждены были под конец умолкнуть. Беседа шла об очень важном деле: Никель только что ангажировал для своего театра восходящую звезду, молодого актера из Бухареста, которого сама румынская королева признала величайшим трагиком мира.

Нисл и Крамер, перебивая друг друга, рассказывали чудеса о юном артисте, о его величии и славе. Мистер Кламер рассказывал, как Рафалеско привел в восторг лондонскую публику и очаровал даже его, мистера Кламера, который никогда не ходил смотреть цыганских актерщиков «Павильон-театра». А Нисл Швалб все время врезывался в средину разговора:

— Чего вам больше? Настоящие англичане, чистокровные британцы не могли им нахвалиться. Они говорили, что сам великий Ирвинг в сравнении с ним — ничто, клянусь всем вашим добром!

Но Никель их не слушал. Пока они блефовали, он только улыбался, обнажая свои золотые зубы и

придумывая новые фантастические истории о себе и о своей труппе, которая, по его словам, занимает первое место в Соединенных Штатах Америки. А ну-ка, говорил он, какой еще еврейский театр в Америке может похвалиться, что его посетил сам президент Соединенных Штатов, который, сидя в ложе, громко аплодировал? Нет, такое может случиться только у него, у Никеля, в театре. Лишь он один удостоился чести быть представленным Рузвельту*, который на глазах у всей публики пожал ему, Никелю, руку и, похлопывая по плечу, сказал: «Никель, вы — олл райт». И в присутствии всей публики Тедди снял с себя золотые часы с цепочкой и преподнес ему на память. При этих словах Никель вынул из кармана старые потертые часы и тут же стал оправдываться: золотых часов с цепочкой, подаренных ему президентом, он никогда не держит при себе в будни. Никогда!

Так закончил Никель, совершенно не замечая, что происходит за его спиною. А в это время за соседним столиком позади Никеля компания остряков из «кибецарни» изощрялась в остроумии по адресу директора американско-еврейского театра и его двух собеседников. Бездельники насмехались, вышучивали «бухарестского птенца», высказывая о нем свое мнение еще до того, как увидели его на сцене. «Кибецарня» уже успела окрестить Лео Рафалеско всевозможными прозвищами: «Зеленорог», «Жар-птица», «Хаим-Янкель», «Румынский пастушок» и тому подобными кличками. Было совершенно очевидно, что эти люди руководствуются какими-то особыми соображениями.

То были либо приверженцы других театров, которым не удалось перехватить молодую «звезду из Бухареста», либо представители той части прессы, которая считала нужным хулить Рафалеско лишь потому, что враждебная им печать, предупредив их, горячо приветствовала молодую звезду, восторженно славословя Рафалеско на все лады. Возможно, что тут были и конкуренты — молодые актеры, которые годами сидят в Нью-Йорке, нетерпеливо дожидаясь того счастливого часа, когда «юнион» сжалится над ними и примет, наконец, в свою среду. А тут вдруг

приезжает щенок, молокосос, какой-то там Рафалеско, и его подхватывают, как невесть какую жемчужину! Пресса расхваливает его сверх всякой меры, ему предлагают самые завидные ангажементы. Как тут не лопнуть от зависти? Как не позубоскалить и не позлословить на его счет?

Но нет, только сплетничать и злословить, — еще недостаточно. Надо создать заговор против «звезды из Бухареста». Надо сделать все возможное, чтобы «Зеленорог» провалился с треском, чтобы при первом же выступлении его освистали по всем правилам искусства. Одним словом, его провал должен быть таким сокрушительным, чтобы он воспылал желанием убраться как можно скорее из страны Колумба восвояси, в свой родной Бухарест.

О! Америка — благословенная страна! В ней все возможно! Здесь могут либо поднять человека на недосягаемый пьедестал, возвысить до небес, либо низвергнуть прямо в тартар, в преисподнюю. Золотой середины здесь не признают.

Бедный Рафалеско! Он и не подозревал, какой сюрприз ждет его в этой золотой стране. Но что было за дело молодому артисту до всей этой мышиной возни? Всеми своими помыслами и желаниями он был в ином мире — в самой аристократической части Нью-Йорка — на Пятой Авеню *.

Там жила прогремевшая на всю Америку знаменитая певица, артистка парижской оперы мисс Розалия Спайвак.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Несколько слов о героине романа

Когда Роза Спивак в ранней юности, почти в детстве, скиталась по городам и местечкам со странствующей труппой Альберта Щупака и развлекала публику своими песенками вроде «В пятницу вечерком» или «Ой, ой, ой, Хава!» и тому подобной дребе-

денью, ей и во сне не снилось, что настанет время, когда она займет одно из первых мест в ряду крупнейших мировых знаменитостей. Ей, думается нам, и не грезилось тогда, что придет пора, когда она будет занимать роскошные апартаменты в одном из богатейших отелей на Пятой Авеню города Нью-Йорка, то есть в самой фешенебельной части огромнейшего и богатейшего в мире города. Она и мечтать не смела о том, что будет разъезжать в собственном автомобиле, с чернокожим лакеем впереди, или что репортеры самых распространенных в мире газет будут осаждать ее дюжинами, часами ожидая с фотографическими аппаратами в руках, пока она удостоит их хотя бы трехминутной беседы.

Как добилась она такого высокого положения? Такая перемена не совершается внезапно, не происходит в мгновение ока. Знаменитость не рождается за одну ночь. Жизнь всякого человека, прошедшего тернистый путь к мировой славе, — будь то музыкант, певец, живописец, скульптор или крупный миллионер, — представляется нам, как медленное и трудное восхождение на высокую горную вершину. Путь долгий, дальний и тяжкий. И не всегда он усеян розами, гораздо чаще — терниями.

Если бы можно было положить на одну чашу весов все огорчения и мытарства, перенесенные нашей юной героиней за годы скитаний, все слезы, пролитые ею у себя в постели в тиши и одиночестве, вдали от человеческих взоров, а на другую — все ее артистические восторги, радости и упоения успехом, весь этот неумолчный гул рукоплесканий, которыми так охотно и так щедро награждает ее благодарная публика, все эти благоуханные цветы, которыми забрасывали ее с головы до ног на всех концертах, эти многочисленные ценные подарки, которые подносят ей ее почитатели из аристократического мира, — то, пожалуй, чаша страданий во много раз перевесила бы чашу восторгов, радости и упоения.

Несколько цитат из американской прессы — еврейской и английской — дадут читателю представление

о положении, занимаемом Розой Спивак. Читатель уже сам разберется, где здесь кончается правда и где начинается реклама, блеф...

«Родилась в маленьком местечке Бессарабии, в доме бедных и фанатически-религиозных родителей (отец — раввин и кантор). В детстве мисс Розалия Спайвак была похищена труппой странствующих актеров, еврейских цыган, которые кочуют в той стране из местечка в местечко, занимаясь похищением молодых девушек, чтобы сделать из них актрис. Дабы избежать преследования, похитители перешли границу и заставили девушку выступать с песенками, сначала на улице, а потом в кабаре, кафешантанах и мюзик-холлах. Возможно, что карьера мисс Спайвак закончилась бы самым печальным образом, как у всех уличных певиц, если бы счастливая случайность не привела ее к всемирно известной певице Марчелле Эмбрих, которая заинтересовалась ее восхитительными цыганскими песнями и была очарована ее пламенными цыганскими глазами... Юная певица своим изумительным голосом вызвала в скором времени восхищение и встретила восторженный прием при австрийском дворе, и сам император Франц-Иосиф назначил ей стипендию для обучения пению. Блестяще окончив в короткий срок Венскую консерваторию, она за счет какого-то венгерского магната была отправлена в Берлин, а оттуда на два года в Париж. Там она познакомилась с известным французским меценатом Жаком Решко, который ввел ее в парижскую Гранд-Оперу, где она дебютировала в опере «Электра» под руководством Рихарда Штрауса и имела такой шумный успех, что ее тотчас же ангажировали на три месяца в оперу с окладом в полмиллиона франков. Затем мы встречаем ее в Вене и Будапеште, где она уже получает десять тысяч крон за вечер. Несколько позднее ее ангажируют в Лондон и платят двести фунтов за вечер, а теперь она в Нью-Йорке и получает две тысячи долларов за каждое выступление — сумма, которую Америка платила только величайшей певице мира, знаменитой Мельба».

Теперь приведем несколько писем, написанных в разное время разными лицами. Эти письма, имеющие прямое отношение к внутреннему миру нашей героини, надеемся, расскажут о ней читателю гораздо больше, чем все подобного рода «биографии» и газетные статьи.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Роза Спивак — Марчелле Эмбрих

«Дорогая мамочка Марчелла!

Уже третью неделю я у себя на родине и еще ни одного письма вам не написала. Глубоко виновата перед вами и заслуживаю наказания. Хочу искупить свою вину этим длинным письмом. Опишу все подробно, дорогая мамочка, все по чистой совести, ничего не тая. Мамочка знает, что у меня от нее нет секретов, как нет секретов от себя самой. Начну с самого начала — с описания местечка, где я родилась.

Свое родное местечко я застала в таком же виде, в каком его оставила: тот же маленький убогий городишко, те же маленькие бедные людишки. И все же сердце у меня усиленно стучало, когда перед глазами предстало знакомое старое милое местечко, и пульс учащенно забился, когда в ушах прозвучало дорогое, сладостное название «Голенешти».

Го-ле-не-шти! Поверите ли, мамочка, я готова была целовать черную землю, серую пыль грязных немощеных улиц! И я бы это сделала, несомненно, сделала бы, если бы я была одна, без этой ватаги, без моего маэстро Сальфонини и без моих подруг. Ах, к чему я их взяла с собой? На что мне нужен был весь этот шум и треск? Почему я не поехала одна? Признаюсь, мамочка, — как это ни отвратительно! — я покраснела от стыда, когда родители стали меня обнимать и целовать. Моя мать плакала и смеялась и без конца тараторила, — о, она охотница погово-

рить! А отец был бледнее смерти, и руки у него дрожали. Не знаю, что со мной было, но я себе места не находила. Потому ли, что отец с матерью одеты постаромодному, как все провинциалы, потому ли, что они не понимают другого языка, кроме еврейского, но мне было стыдно перед друзьями. Факт, милая мамочка! Я знаю, до чего это низко, но так было: я стыдилась. Стыдилась своих милых, дорогих родителей, которые из-за меня же перенесли столько душевных мук, столько горя и позора... Правда, я теперь в этом горько раскаиваюсь и всеми силами стараюсь загладить свою вину. Но какое это может иметь значение? Маленькие радости, которые я ныне могу доставить родителям, не в состоянии возместить и десятой доли тех огорчений и страданий, которые я им причинила тогда своим бегством из дому вместе со странствующей труппой. Этого преступления я никогда не искуплю, хотя бы я удесятерила свою любовь и нежность к ним. Каждая сотня, каждая тысяча, которую я трачу на них, кажется мне, вопит: «Поздно! Слишком поздно!» Я гляжу на бедного больного отца, которого я когда-то так любила, и мне чудится, будто его большие черные глаза спрашивают: «Где ты была, доченька, тогда, в те долгие темные ночи, когда я глаз не смыкал и молил бога о смерти? Одно твое письмецо, одна строчка, одно словечко скрасили бы мне тогда жизнь...» И я вспоминаю, милая мамочка, как я когда-то хотела скрыть от вас, что у меня есть родители, и как вы меня за это пробрали. И лицо мое поныне пылает при одном воспоминании об этом. Нет более грешной души на свете, чем я, и нет, кажется мне, той жертвы, на которую я не пошла бы ради моих бедных, обиженных и оскорбленных родителей. Я хотела бы их взять с собой, но это оказалось невозможным. Отец болен, а мать, конечно, ни за что не согласится оставить его хотя бы на один день, если бы даже, как она выражается, «ей насыпали полный дом золота и дали бы еще корону английской королевы в придачу». Ну, сказала я себе, в таком случае я хоть обеспечу им спокойную старость. Куплю им дом, дам им собственный угол. Здесь, в местечке,

каждый человек, как бы он ни был беден, стремится иметь собственный домишко, свой очаг. Но и тут я обошлась с родителями не совсем так, как бы следовало. Я это сделала больше для себя, чем для них. Точно так же, как всю поездку я затеяла больше ради себя, чем ради них; меня влекло в местечко только одно обстоятельство: меня интересовал здесь только один человек.

Мамочка Марчелла знает, кого я имею в виду. Но я не только не нашла его, я даже не смогла отыскать какие-либо следы его существования. Как в воду канул. И семья его тоже распалась, все у них прахом пошло. Мать умерла, отец помешался, братья и сестры рассеялись по свету. Остался только дом со двором. Остался двор, казавшийся мне некогда необычайно красивым и огромным, да дом, представлявшийся мне в детстве неимоверно богатым, несказанно радостным и праздничным. Дом, в который я когда-то вступила, как в недосягаемый рай. Дом, в котором в годы моего детства кипела жизнь, бурлила радость, искрился смех. Маленьким, приземистым, убогим, будничным и унылым показался он мне теперь. От всей некогда шумной оравы остались только выжившая из ума старая бабушка, зять-идиот да старый-престарый пес «Теркуш».

Этот дом, сказала я себе, я должна купить для своих родителей. Но, в сущности, я имела в виду не их, а себя. Не то, чтобы дом этот мне очень понравился, — к чему он мне? В кои-то веки суждено мне еще раз побывать здесь! Нет, то был каприз, каприз своевольной цыганки, какой я всегда была...

Еще тогда, когда я впервые в дырявых ботинках переступила порог этого дома, я бесконечно завидовала людям, живущим здесь, их богатству, их жизнерадостности. Отчего это им, богачам, дано так много, — думала я тогда, — а нам, беднякам, ничего? И я дала себе слово, что когда-нибудь, когда господь мне поможет, этот дом и этот двор будут принадлежать мне. Мне! мне! мне!.. А может быть, дом этот мне бесконечно дорог потому, что там родился и жил

тот, кто первый зажег в моем сердце священный пламень? Тот, кого я не могу, не в состоянии забыть?..

Как бы то ни было, я недолго торговалась и купила дом, несмотря на решительные возражения матери.

— К чему мне такая громадина? — спрашивала она. — К чему такой тарарам?

Но я, разумеется, поставила на своем. «Дом мой, мой, мой!» — сказала я себе и уже почти забыла, что купила его не для себя, а для родителей, чтобы обеспечить им на старости свой угол. Я начала ремонтировать дом, чистить двор, пересаживать деревья в садике, словом, развела строительную горячку. Теперь я уже почти раскаиваюсь в своей затее. Разве моя мать была не права, когда кричала: «К чему мне такой тарарам?» Говоря по совести, я и сама не знаю, к чему такой тарарам.

Недаром мамочка Марчелла называет меня цыганкой, — мне такое прозвище вполне пристало. Я живу, как цыганка, швыряю деньги, как цыганка, люблю тряпье, как цыганка, своевольна, как цыганка, и даже время здесь провожу, как цыганка. Все местечко, не исключая и отца с матерью, смотрит на меня как на сумасшедшую. Целыми днями мы — я, мои подруги и маэстро — носимся на автомобиле. Часто устраиваем пикники в ближайшем лесу. Поем цыганские песни, пляшем цыганские пляски. Наши проказы уж всполошили местную полицию, и она стала косо на нас поглядывать. Но что нам полиция? Мы знай свое: днем — в автомобиле, ночью — на лодке. Ах, эти летние ночи в Бессарабии! Что может сравниться с ними? Одна за другой, как свечечки, зажигаются в бескрайнем небе звездочки. Из-за леса показывается луна, серебрит речонку, камыши, все местечко. А местечко спит спокойным, невинным сном, каким могут спать только бедные, забитые нуждой люди, которым так мало надо и которые довольствуются таким скромным блюдом, как мамалыга... Только мы, башибузуки из далекого большого мира, цыгане, забредшие сюда из чужих краев, сытые и довольные, пресыщенные роскошью и наслаждениями, нарушаем благоговейную тишину волшебной ночи всплесками

весел, отзвук которых эхом отдается в ближайшем лесочке... И хочется в такие минуты упиваться тишиной и безмолвием, хочется глядеть в небо и разыскивать там знакомые и неведомые звездочки, блуждающие в безбрежных просторах без цели, без смысла, неведомо куда и зачем... Душой овладевает тоска по чему-то неизведанному, что бывает с человеком только раз в жизни. В такие минуты мой маэстро, синьор Сальфонини, может объясняться мне в любви, сколько ему угодно... Ах, боюсь, что это будет двадцать первая жертва на моем счету! Но я хочу надеяться, что и он, следуя примеру первых двадцати, не бросится с горя в реку и что двадцать второй будет у меня пользоваться не бо́льшим успехом...

Так-то живется в тихом, скромном бедном местечке, вдали от большого вольного мира, от его роскоши и соблазнов...

Целую мою дорогую мамочку Марчеллу крепко-крепко!

Ваш преданный друг

Цыганка Роза».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Меер Стельмах — своему другу

«Дорогой друг!

Вы и представить себе не можете, сколько радости, сколько удовольствия доставило мне ваше милое письмо. Во-первых, я вижу, что вы, слава богу, живы-здоровы, а ведь так долго от вас не было никакой весточки. С тех пор как я в Лондоне, от вас ни слуху. А во-вторых, читать ваши письма для меня само по себе большое наслаждение. Никто, сдается мне, не пишет так гладко, так красиво, так умно, так сердечно, как вы. Хочется целовать каждую строчку. Вы же знаете, я стародавний любитель родного еврейского языка; но особенно приятно звучит еврейская речь в устах такого близкого друга, как вы. Мы ведь с вами вместе немало горя хлебнули, немало исстра-

дались, пожили с вами, как говорится, «в богатстве и чести»: из одной тарелки щи хлебали, на одной кровати спали, делили пополам селедку и ломоть хлеба. Ох, было времечко! Вспоминаете ли вы хоть эти годы? Я-то их хорошо помню; во всякое время и по всякому поводу приходят они мне на память. Я не люблю, подобно многим другим, скрывать, кто я и что я. Такой уж я человек, — и все тут! Простой, без хитрости, без задних мыслей. Врать я не люблю. Я всем рассказываю свою родословную. Когда ко мне приходят газетные репортеры и начинают выспрашивать да выпытывать, кто такой Гриша, откуда Гриша, и как он стал таким, какой он есть, я всем отвечаю: «Братцы, Гриша — это не Гриша. Гриша это я. Не будь меня, не было бы и Гриши на свете. То есть был бы Герш, или Янкл, или Иосл, или Мотл, но во всяком случае не тот Гриша Стельмах, слава которого гремит на весь мир и которого сама «квин» (так здесь называют королеву) пригласила к себе на концерт, пожимала ему руку, подробно расспрашивала, кто он, есть ли у него родители, братья, сестры и так далее. Да, я могу похвалиться: одним своим немудреным умишком, твердой настойчивостью, которой меня бог наградил, да волею судьбы, которая ко мне была благосклонна, достиг я того, что города и страны спорят меж собой за честь услышать моего сына, буквально дерутся за него. Отовсюду только и слышишь: Гриша Стельмах да Гриша Стельмах! Подайте нам Гришу Стельмаха! Где это видано и где это слыхано, чтобы в течение одной недели получить приглашения из восьми городов, со всех концов света, — из Парижа и Манчестера, из Вены и Петербурга, из Антверпена и Нью-Йорка, из Лейпцига и Чикаго? Не знаешь кому раньше ответить, хоть возьми да разорвись! И, как назло, я теперь остался один-одинешенек. С моим бывшим антрепренером и компаньоном, о котором я вам когда-то писал, я, с божьей помощью, разделался. Кончился его срок, и я указал ему на дверь. Ему, правда, хотелось заключить договор еще на пять лет, но я сказал ему: «Стоп! Кончено! Насосался моей кровушки — и хватит!» Можете быть уверены, больше

ему и во сне такое счастье не приснится до самой его смерти. Ведь на свете есть только один Гриша Стельмах. Теперь я сам себе хозяин. Как говорится: и свадьба моя, и музыканты свои. Что я сказал, — свято и нерушимо. Что я сделал, — так тому и быть. Так, видите ли, я поставил себя с самого начала с моим сыном: он не должен забывать, что я ему отец, а он мне сын. Ведь подумать только, сколько я натерпелся и настрадался, сколько вынес на своих плечах, пока Гриша стал тем Гришей Стельмахом, который прогремел на весь мир! Я не знаю, есть ли на свете другой человек, кто изведал бы столько горя, сколько я. Другой на моем месте давно бы уже ноги протянул. Могильный холм возвышался бы над его прахом. Травой бы давно поросла его могила. Но этих моих мук никто не знает и знать не желает. Всякий думает, что такие звезды, как Гриша Стельмах, падают прямо с неба. И все мне завидуют, пальцами на меня показывают:

— Глядите, мол, глядите, как Стельмах лопатами золото загребает!

Есть и такие, с позволения сказать, доброжелатели, которые суются со своими советами и сладкими речами, заботятся якобы о моем сыне, удивляются, почему да отчего я не посылаю его дальше учиться, и прочее в этом роде. Доброжелатели! Друзья! Где вы были раньше, когда моя семья — да не повторится это никогда! — пухла с голоду, а у меня сердце кровью обливалось, глядя, как мой бедный мальчик шлепает по грязи в рваных ботинках? Почему вы не заботились о моем сыне тогда, когда я, голодный и пришибленный, носился со своим брильянтом по улицам еврейского города и взывал: «Люди добрые! Верьте мне! Я обладаю миллионом!» Кто мне тогда помог?

Ой, знаю я еврейских богачей! Могу похвалиться: я уже объехал чуть не весь свет, видал виды на своем веку, но таких толстокожих богачей, как еврейские, я нигде не встречал. Да простит мне господь мою хулу, но от правды не уйдешь: столько богачей у нас, столько толстосумов, швыряющих деньги на ветер, тратящих тысячи и сотни тысяч бог весть на что

из тщеславия и пустого хвастовства. Но я не встретил среди них ни одного, кто бы протянул руку помощи, когда к нему постучится в дверь талант. Он может быть велик, этот талант, как сам пророк Моисей, но если у него дырявые ботинки, пропало его дело! Теперь, разумеется, для нас уже все двери открыты. Сейчас любой богач считает для себя большой честью и рад-радешенек, когда мой сын удостоит его взглядом. Первейший магнат считал бы себя счастливым, если бы мой сын посватался к его дочери. Его бы осыпали золотом с головы до ног, — да и мне тоже насыпали бы полную шапку золота, — стоит мне только глазом моргнуть. Но ведь есть господь бог на свете... Послушайте же, что я вам сейчас расскажу, дайте мне отвести душу перед близким человеком. Это целая история.

Помните, я вам когда-то рассказывал об одной девушке-красавице, актрисе еврейского театра по имени Роза Спивак? У Щупака я с ней познакомился. Он хвастался, что это его племянница из Варшавы. Мне-то что? Он говорит — племянница из Варшавы, пусть будет племянница из Варшавы. Мне-то какая разница? Главное — то, что мне эта девушка понравилась с первой минуты. Что и говорить, ужасно как понравилась! Во-первых, ослепительно красива, ну, прямо-таки красавица! Глаза — огонь! Смугла правда, смугла, как цыганка. Но сколько в ней обаяния! К тому же девушка неглупая, можно сказать, умница, веселая, живая, разбитная, кипит, как котел. А голос! А как поет! Вы же знаете: я любитель пения и еврейского театра с давних пор. Но с тех пор как это стало моим хлебом, я наслышался немало певцов и певиц. Сыт по горло! Но такого пения я еще в жизни не слыхал и вряд ли когда услышу. Когда Роза Спивак поет, она прямо в душу к вам проникает! Что вам сказать? Девушка меня пленила. По ее разговору я сразу увидел, что она не из актерского роду-племени. Нет, не племянница она Щупака, а девушка из порядочной семьи. Так и есть. Оказалось, сплошное вранье: девушка ему не только не племянница, она ему совершенно чужая. И вовсе она не из Варшавы, а

из какого-то маленького местечка, дочь кантора. Все это я узнал уже значительно позже. Когда Щупак со своей труппой был в том местечке, он услыхал ее пение, и ему так понравился ее голосок, что он решил сманить ее к себе. Он подговорил ее бежать из отцовского дома, сулил ей золотые горы, обещал, что за границей будет обучать ее музыке и пению, и прочее, и тому подобное. А когда они перешли через границу, он сам начал «штудировать» с девочкой музыку, научил ее петь несколько песенок и сопровождать пение веселой пляской. Пела она «В пятницу вечерком», «Навстречу субботе», «Ой, ой, ой, Хава!» и еще несколько таких же замечательных песенок. Бог знает, что из нее вышло бы, если бы я не разговорился с ней и не познакомил ее со знаменитой певицей Марчеллой Эмбрих, выступавшей тогда в концертах вместе с моим Гришей. Суждено девушке счастье! Надо же было ей разговориться со мной и попросить, чтобы я познакомил ее с Марчеллой Эмбрих. А когда Эмбрих услышала пение этой девушки, она так привязалась к ней, что больше уже не отпускала от себя. Первым делом Марчелла Эмбрих вырвала ее из рук Щупака, взяла к себе, определила в Венскую консерваторию, пригласила для ее обучения лучших профессоров и добилась того, что Роза Спивак стала одной из лучших певиц в мире. Говорят, что она теперь трех таких, как Эмбрих, за пояс заткнет. Чего тут долго распространяться? Можете сами себе представить, что это за певица, раз она уже выступает в концертах вместе с моим Гришей и получает почти столько же, сколько он. А дерутся за нее уже не меньше, чем за моего Гришу. И всем этим она обязана мне. Вы, быть может, думаете, что она мне не благодарна? Еще как! Вот послушайте: это — история с «любовью», преинтереснейшая история. Но раньше, чем рассказать вам историю с любовью, я должен сказать несколько слов о моем сыне.

Я, кажется, ничего еще не писал вам о моем Грише, не рассказал вам, что это за птица. Да, скажу я вам, птица, каких мало! Кажись, человек так знаменит, а поглядели бы вы, какая простота, скромный какой!

Да, он у меня куда как скромен, тихоня и очень молчалив. Ничего знать не знает и знать не желает, кроме своей скрипки да концертов, концертов да скрипки. Остальное его не касается. Спросите его, какая была выручка от концертов? Сколько было расходов? Сколько осталось чистоганом? Не его дело! Он знает только скрипку — и больше ничего. Вы, может быть, думаете, что парень не того... башка, дескать, не варит. Ошибаетесь! Дай мне, боже, столько счастья, сколько у него ума в башке! Но к практическим вопросам он совершенно равнодушен. С практической жизнью он, как у нас говорят, в очень далеком родстве, — человек не от мира сего. Да и чего ему надо? О делах, о «бизнесе», как здесь говорят, есть кому заботиться, — на то у него отец. Обо всем прочем печется мать. Чего ж ему еще? Знай свою скрипку, — и все тут. Поди же будь пророком и угадай, что в его жизнь вмешается дочь кантора, какая-то Роза Спивак, наказание, посланное господом богом, любовь!

Когда мне это стало известно, — а узнал я обо всей истории из ее письмеца, которое каким-то чудом попало ко мне в руки, — меня всего передернуло. Я был возмущен, я вскипел. Подумайте! Я ввожу девушку к Марчелле Эмбрих, я, как говорится, пробиваю ей дорогу в новый мир, благодаря мне, можно сказать, она прославилась и стала великой, — и она же мне такую пакость подстроила! Шуры-муры с моим Гришей разводит, черт знает что такое, любовь! Я, не будь ленив, сел за стол и написал ей письмо по-простецки, на нашем родном языке: так, мол, и так, где это видано, и где это слыхано, и как можно? Где совесть? Где бог? Словом, задал ей перцу, высказал все, что накипело на душе. Я не писатель. Я — отец. А отец, когда у него сердце болит, восемнадцать писателей за пояс заткнет.

А ну-ка, угадайте, что мне ответила эта девчонка. Нет, будь вы семи пядей во лбу, и то не отгадаете. Прежде всего, она меня хорошенько отчихвостила за то, что ее письмо каким-то чудом попало ко мне. Письмо, пишет она, адресовано другому. Если бы она захотела, говорит она, написать мне, то она знает

мой адрес. А во-вторых, говорит, какие у меня основания думать, — нет, вы только послушайте, что девчонка себе позволяет! — «какое у вас основание думать, — говорит она, — что у меня есть какие-либо виды на вашего сына? Все ваши думы, — говорит она, — всегда вращаются вокруг одной точки, которая называется — Гриша Стельмах. Но вы жестоко ошибаетесь, — говорит она, — когда думаете, что эта точка, имя которой Гриша Стельмах, — пуп земли, вокруг которого вращается все, что живет и мыслит. Есть, — говорит она, — на свете люди, — и таких немало, — которые видят его перед глазами лишь в те минуты, когда он на эстраде и скрипка в его руках говорит, издает такие звуки, какие могут извлечь из нее лишь очень немногие. Но едва лишь, — говорит она, — Гриша выпускает из рук скрипку и сходит с эстрады, он для всего мира не больше, чем прекрасный сон, а может быть, и того меньше». Ну, как вам нравится такой разговор? Далее она пишет: откуда я знаю, что ее письмо к моему сыну не является ответом на его письмо? Может быть, это не первое и не единственное письмо? Разница лишь в том, говорит она, что все письма моего сына попадают прямо к ней в руки, тогда как ее письма к нему проходят, по-видимому, чью-то цензуру... А раз так, говорит она, то она может меня заверить, что примет все меры и сделает все от нее зависящее, чтобы отныне и впредь ее письма доходили по назначению и чтобы никаких чудес с ними больше не случалось... «Я это сделаю, — говорит она, — не затем, что мне очень хочется переписываться с вашим сыном, — нет! — я просто хочу вам доказать, что хотя я и бессарабская девчонка, как вы выражаетесь, я сумею положить предел вашему отцовскому деспотизму, происходящему, конечно, от избытка любви и преданности. Я докажу вам, что ваша власть над сыном не так уж безгранична, как вам представляется». Вы только подумайте, какая дерзость! Нет, вы послушайте, что она пишет дальше: «Смею вас уверить, — говорит она, — что если бы я питала к вашему сыну такие же чувства, как он ко мне, мы бы вам показали, что вполне можем обойтись

без вашего посредничества, и все было бы «олл райт». Что вы на это скажете? Она уже начала разговаривать со мной по-английски.

Словом, мой дорогой друг, что тут долго рассказывать? Я ей на ее письмо, она мне — на мое. И между нами завязалась переписка. Я — ей, она — мне. Кончилось тем, что мы стали друзьями. Да еще какими! Вы и представить себе не можете. Верите ли, когда она приехала в Лондон на концерт, — а выступала она вместе с моим сыном, — мы с женой умоляли ее, чуть не на коленях перед ней ползали, пока добились, наконец, ее согласия осчастливить нас своим посещением. Чего только не сделают родители для своих детей! А если бы мы решительно сказали: «Нет, ни за что!» — разве было бы лучше? Что прикажешь делать? Любовь! С той поры, скажу я вам, девушка стала у нас в доме своим человеком. Она до того нам полюбилась, что мы бы уж рады поскорее обвенчать ее с сыном. Под венец — и делу конец! Так нет же! Ни она, ни он о свадьбе и слышать не хотят. Нынешние дети! Поговорить с ними по-простецки, ясно и недвусмысленно, — дело совершенно невозможное. Они же не такие, как все. Как-никак — две звезды. Много таких парочек не сыщешь. Потолковать с ними о свадьбе, — господь спаси и помилуй! Чего вам больше? Даже слова «жених и невеста» запрещено произносить при них. Что вы на это скажете? Ничего не поделаешь, придется повременить немного. Но жене моей, дай ей бог здоровья, не терпится. «Хочу, говорит, своими глазами видеть счастье своих детей». — «Погоди, говорю, не опоздаешь...» А сам чувствую, что ждать больше мочи нет. Я бы уж тоже хотел дождаться... не скажу — радости, я ведь не баба. То есть, конечно, дождаться радости я бы совсем не прочь. Но меня другое мучает. Не знаю, сумею ли я вам объяснить. Мой сын, понимаете ли, артист, большой артист, но еще совсем дитя, невинный ягненок, а тут такая пламенная любовь. А она девушка слишком уж красивая, слишком умная, слишком живая и бойкая. А все, что «слишком», то, говорят, негоже. Теперь они вдвоем носятся по Лондону, — не пешком,

конечно, а в автомобиле, — рыщут по магазинам и все покупают, покупают, покупают. Деньги им нипочем. Их счастье, что я глаз с них не спускаю, не даю им сорить деньгами, — иначе они бы тысячи швыряли на ветер. Это они собирались в дорогу: очень может быть, что в ближайшие дни, с божьей помощью, мы уедем в Америку. Оба они приглашены туда на весь сезон и, слава богу, на очень хороших условиях, — всем бы моим друзьям такие заработки! Пошли господи им обоим здоровья и удачи, как доныне, и да живут они долго-долго нам на радость и утешение. Оба они теперь наши дети. Поверите ли, она нам дорога, как родное дитя, а может быть, и дороже. Должен, однако, признаться, что, по правде говоря, она до сих пор еще со мной не совсем в ладах, — с того первого письма, видать... Я с ней, как говорится, и так и этак, а она со мной — шиворот-навыворот. Она слушать не хочет, когда я завожу разговор о деньгах. Считает меня скрягой. Дети глупы, — не понимают, что все делается для них. Она, например, уверена, что для меня нет ничего на свете дороже денег. Она сама мне это говорит, — конечно, не напрямик, а намеками, обиняками. Воображает, что хорошо меня изучила... Ну, мы и пререкаемся частенько. Я смеюсь, но моему сыну это стоит здоровья. Мне это, конечно, очень больно. Но со временем, надо думать, все перемелется. Все дети таковы. Им сдается, что на свете нет ничего хуже родителей. Ничего тягостнее они себе и вообразить не могут. Но я, кажись, слишком уж расписался. Боюсь, скоро бумаги не хватит. Высказал все, что накипело,— и стало легче на душе. Другому, разумеется, я бы так не доверился. Но вы — другое дело. Вы умеете хранить тайну. Все, конечно, останется между нами.

Будьте здоровы и счастливы во всех ваших делах! Пишите почаще. Жду от вас частых, хороших писем, какие вы один только умеете писать.

Меер Стельмах

Главное забыл: жена просит передать вам сердечный привет, а сын спрашивает, берете ли вы еще когда-нибудь в руки скрипку. *Меер Стельмах».*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Шолом-Меер Муравчик — Розе Спивак

«Моей дорогой многоуважаемой Розе Спивак и с тем же желаю вам здравствовать. Что за причина, что вы меня так чураетесь и даже не хотите ответить мне на все мои письма? Чем я провинился перед вами? Сдается, наоборот, я не заслужил от вас такое спасибо за все мои заботы о вас, потому, кабы не я, вы и до сего дня были бы в лапах у Щупака, чтоб его земля живьем проглотила! Он из-за вас даже не заплатил мне, что был должен за мою службу, а все из-за вас, потому, говорит, что всему виной — я, кабы не я, говорит, вы не узнали бы про Эмбрих, а он не остался бы, говорит, без смычка. Он клянется, что из-за вас разорился до ниточки, так он мне пишет и плачется в жилетку. Вы же знаете, я ему верю, как собаке, но ежели человек так убивается, то бес его знает, — может, он и вправду разорился. Я знаю только, что у него теперь болячки, а не медальоны, и брильянтовых колец на руке у него стало гораздо меньше, а золотые часы, сдается мне, он тоже где-то загнал, и все из-за вас, потому этот человек готовил большую мошну за ваш счет, — кроме того, он вбил себе в голову, идиот этакий, что когда господь вызволит его из беды и он, с божьей помощью, избавится от своих жен, он ошарашит вас своими брильянтами, и все пойдет, как по маслу, — так он еще имел такой провал. Все полетело у него вверх тормашками, а все из-за меня, говорит: ты один, говорит, во всем виноват, больше никто. А пока суд да дело, я сел на мель. Кончилась катушка: те несколько грошей, что вы мне первое время давали, давно уже разошлись, — на один зуб хватило, а кроме того, у меня на шее было тяжелое ярмо: надо было снарядить в Америку бедную сестру, да к тому же еще я и сам долго болел, чуть было не встретился с дьяволом смерти. Когда бы не ваша маленькая поддержка, я бы уже давно очутился там, где хрен не растет. И покорнейше вас за это благодарю, но почему же вы не хотите сделать

мне честь и черкнуть мне когда-нибудь хоть несколько строчек? Я, кажись, ничем не провинился перед вами. Чем же я заслужил, что должен был гнаться за вами, как гончая собака, из Парижа в Лондон и из Лондона в Париж, а оттуда в Антверпен, — а вы в конце концов даже не захотели меня принять. Один бог мне свидетель, я всегда был готов услужить вам и исполнять всякое ваше приказание: Муравчик, иди, — я шел, Муравчик, сбегай, — я бегал. Я уже не говорю о том времени, когда вы служили у Щупака, но даже потом, когда вы уже вырвались из его лап и собирались в Наталию [1], я, помните, никогда не жалел для вас сил и трудов, а когда надо было вышвырнуть вон того бездельника, который хотел застрелиться из-за вас, кто тогда поставил свою жизнь на карту, как не Муравчик? А теперь вы и вовсе забыли, кто такой Муравчик. Сколько я ни старался достукаться до вас, никак невозможно достучаться — не пускают. Раз как-то я просидел у вас в приемной битых три часа, слышал, как вы разговаривали с каким-то французом, — и вот тебе на! Вдруг выходят и говорят, будто вас дома нет. У меня в глазах потемнело, еле до двери добрался. Увы и ах, бедная моя головушка, Шолом-Меер! — сказал я себе, — до какого унижения, прости господи, ты дожил! Что ж, ежели человеку счастье привалило, — разве надо так нос задирать? Где ваше слово, что вы мне обещали, никогда меня не забывать? А в конце концов, когда я искал вас на вашей даче в Лондоне, и раз как-то иду по улице и вижу вас в автомобиле вместе с сынком Стельмаха, я, известное дело, снял шляпу, а вы сделали вид, будто меня не замечаете. Пишу вам раз, другой, третий, а вы все ни гу-гу. Почему так, не знаю, но теперь, надеюсь, вы мне непременно ответите, потому у меня к вам маленькое дельце, а именно: у одного человека есть пачка ваших писем, он мне их принес, этот человек, и приготовил, видать, толстую мошну, просил хорошенько заплатить, заломил сумасшедшую цену. Он знает, сказал он мне, что вы теперь, как говорится

[1] Извращенное «Италия».

в богатом оперении, а письма в этой пачке разные, бог весть, что в них написано, — так вы, конечно, не захотите, чтобы письма ваши ходили по рукам. «Знаете, что, дяденька, — говорю я ему, — вот я сейчас сяду и напишу ей письмо». — «То-то и оно! — отвечает он. — А не то, чего бы я стал вам голову морочить? У меня, говорит, на уме не священные книжки, а вкусные пышки». А потому прошу вас, мой дорогой, многоуважаемый друг Роза, чтобы вы мне немедленно черкнули, хотите вы получить назад ваши письма или нет, и ежели они вам нужны, пишите, и я постараюсь повидаться с тем человеком и надеюсь, с божьей помощью, уломать его. И пишите мне на мое имя по адресу директора парижского еврейского театра Баксмана, я же должен знать, сколько я могу предложить этому человеку, потому он и сам не знает, сколько потребовать, чтоб его господь потребовал к себе на тот свет! От меня, вашего всепокорного слуги, и с тем желаю вам счастья и удач в жизни. С полным высоким уважением

Шолом-Меер Муравчик».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Роза Спивак — Марчелле Эмбрих

«Милая, дорогая мамочка Марчелла!

На этот раз я отниму у вас несколько больше времени, чем обычно. Я давно вам не писала, и у меня накопилось столько новостей, что я, право, не знаю, с чего начать. Во-первых, как видите, я уже не в Париже. Конец парижской жизни! Конец Гранд-Опере! Я снова вольная пташка, снова цыганка, снова скитаюсь по широкому, вольному свету. Как вы видите из прилагаемых газетных вырезок, я гастролирую с огромным успехом, и не одна, а вдвоем — вместе с Гришей Стельмахом, некогда очень знаменитым «вундеркиндом», а ныне еще более известным вир-

туозом, с которым я впервые познакомилась на вашем концерте, на том достопамятном концерте, который произвел полный переворот в моей жизни. О, это целый роман! Опишу его по возможности вкратце, — во-первых, потому, что не хочу отнимать у вас драгоценное время, а во-вторых, потому что письмо это я пишу на пароходе, который мчит меня в Америку. Послезавтра мы уже будем в Нью-Йорке.

Я пишу «мы» потому, что еду не одна, — мы едем вдвоем. Так я захотела, к этому я стремилась уже давно. В этом — моя победа, мой триумф. Ах, как бы мне хотелось сейчас обнять вас, поцеловать, прижать к своей груди, милая, дорогая мамочка! Вы, конечно, полагаете, что я опьянена. Да, мамочка, я опьянена, но не любовью, о, нет! Называйте меня цыганкой, фантазеркой, авантюристкой, называйте как хотите, только выслушайте, — тогда, пожалуй, вы меня поймете. Да, вы и только вы можете меня понять. То, что я хочу сейчас рассказать вам, — важный эпизод в моей жизни, в который я вас до сих пор не посвятила, хотя вы в нем играете очень важную роль. И началось это в то чудесное утро вашего концерта, которого я никогда в жизни не забуду. Это было счастливейшее утро в моей жизни, начало моей артистической карьеры.

Взбудораженная, разгоряченная, растерянная, очарованная вашим пением и его игрой, я была почти вынесена из зала людским потоком и вместе с многочисленной публикой остановилась у выхода, ожидая появления двух великих светил — знаменитой Марчеллы Эмбрих и прославленного Гриши Стельмаха.

Сколько продолжалось ожидание, — минуту, час или два, — не помню. Моя душа в те минуты была в другом мире, в мире неземных звуков и небесных мелодий. Вдруг раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и волна человеческих голов заколыхалась. Подняв глаза, я увидала остановившийся у подъезда роскошный автомобиль. Как молния, вы оба промелькнули перед моими глазами, сели в автомобиль, — первая вы, потом он, затем кто-то третий, — и, как прекрасный сон, оба вы исчезли, торжественно

скрылись из виду под непрерывный грохот аплодисментов.

Но в моем воображении эта минута запечатлелась навеки. Стоило мне хоть на миг закрыть глаза, и предо мною воскресал этот сон, в котором вы — королева, он — принц, а мы все — я и прочие людишки, прозябающие на земле, — ваши верноподданные, ваши рабы, покорные вашей власти.

Толпа уже давно разошлась, рассеялась, как струйка дыма, оставленная после себя быстро умчавшимся автомобилем. А я все еще стояла, зачарованная, замечтавшаяся, полная сладких снов; разыгравшаяся фантазия подняла меня на своих крыльях и посадила на ваше место, моя блистательная царица, рядом с тем юным прекрасным принцем. И я, маленькая, одинокая, бедная Роза, увидела вдруг свое собственное торжество, услыхала свое имя, произнесенное рядом с именем Гриши Стельмаха. Все во мне вдруг затрепетало. Вихрем закружились мысли в моей голове, в сердце запылало пламя, и я сказала себе: «Этот сон должен стать явью».

Сон, как видите, действительно стал явью, осуществился самым блестящим образом. Я не только дождалась собственного, столь незаслуженного триумфа, я удостоилась еще более высокого торжества: молодой принц вырос, «вундеркинд» стал великим художником, и этот великий художник принадлежит сейчас мне, мне одной...

Вы хотите знать, счастлива ли я? Довольна ли я? Ах, моя милая, дорогая, не спрашивайте! Я недостойна любви, которую люди мне дарят. Я не стою и сотой доли того, что вы, конечно, сделали для меня. У меня дурной нрав. Какой-то злой дух вселился в меня. Я никого, никого не люблю. Я люблю лишь то, что нравится мне в данную минуту. Я вся во власти собственных капризов. Чужие страдания — для меня забава. Чужая трагедия — игра. Злой демон засел у меня в душе. Дьявол, сам сатана поселился в сердце моем. Ничто меня не удовлетворяет. Чем больше дает мне жизнь, тем ненасытнее мои требования к ней. Чем больше улыбается мне счастье, тем я становлюсь

капризнее. Только временами переживаю я минуты высокого восторга и упоения. Это бывает тогда, когда мой принц и чародей на эстраде. О, как он тогда велик, как недосягаемо прекрасен! Нет ему равного, кроме разве... Ах! Почему он не тот, о ком вы знаете?

Мамочка, что мне делать, чтобы обрести счастье? Научите меня, мамочка, где искать его. Найду ли я его в Новом Свете, куда теперь еду? И есть ли вообще счастье на земле? И не права ли я, когда сама о себе говорю, что я — злое существо, испорченное создание?

Я была и остаюсь Ваша испорченная, капризная, взбалмошная

Цыганка Роза».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Меер Стельмах — своему другу

«Мой лучший друг!

Не смог дождаться вашего ответа и опять пишу вам. Верите ли, у меня есть какая-то непреодолимая потребность излить перед вами душу. Что-то тянет меня к вам, словно магнит. Да оно и понятно: во-первых, вы чуть ли не единственный человек в мире, который понимает меня по-настоящему. Вы мне как-то сказали, что раз я смог воспитать и вывести в люди такого сына, как Гриша, значит, я и сам не так уж простоват, как это кажется со стороны. Эти слова запали мне глубоко в душу. Слышать такую похвалу от человека, столь тонко разбирающегося в людях, необычайно приятно. Это вы и сами, конечно, понимаете. А во-вторых, я вообще люблю беседовать с вами, потому что могу говорить с вами откровенно, как с родным братом, и писать вам обо всем, что у меня на душе. Как я уже писал вам, я считал вас человеком, умеющим держать язык за зубами. Знаю: ваши уста, что железный сундук за семью печатями, а потому уверен, что этих писем ни одна живая душа,

помимо вас, не увидит и что, как говорится, птица залетная о них не услышит.

Ну, а теперь угадайте, откуда я пишу вам. С парохода, милый друг, с парохода пишу я вам. Мы едем в Америку. «Мы» — это значит я, Гриша, Роза и антрепренер, американский гусь, который за определенный минимум взялся устроить нам артистическое турне по Америке, — проезд в первом классе и прочие путевые расходы, разумеется, за его счет. Этот минимум нам гарантирован при любых сборах. Это означает, что ниже этой суммы он нам платить не может. Но если сбор превысит этот минимум, — разница пополам. Раскумекали? Попросту говоря, он нас нанял, вернее, — будем называть вещи своими именами, — он нас купил на определенный срок, — и все тут!.. Предоставить себя в распоряжение другого человека, мой милый друг, быть проданным — удовольствие весьма среднее, поверьте мне, тем более, что я уже научен горьким опытом, немало натерпелся от своего немца, да сотрется имя его и память о нем с лица земли! Но что с собой поделаешь, когда этот минимум — слишком уж внушительная сумма? Слишком уж велик соблазн, черт побери! Сначала я и слышать не хотел о каком-то минимуме. Что значит, он нас будет возить? А я-то где? Не знаю я, что ли, как это делается? Но этот американский гусь пристал, как банный лист, покою не давал: сколько, дескать, я хотел бы иметь чистоганом, каков мой минимум, то есть какова минимальная сумма, которую я считал бы необходимым получить? Что ему ответить, этакому гусю? Заметив, что я колеблюсь, он сказал: не обязательно дать ответ сейчас же. Я, говорит он, могу подождать, могу вам дать на размышление двадцать четыре часа. Как вам это нравится? Задал мне, как говорится, головоломку на двадцать четыре часа. Можете себе представить, я в ту ночь глаз не сомкнул. Прикидывал туда-сюда, советовался с женой, переговорил с детьми. Но что дети? Что они понимают? Мой сын, как я уже вам писал, в таких делах ни бельмеса не понимает, не интересуется этим. Думаете, он цены деньгам не знает? Прекрасно знает, что чем

больше, тем лучше. Но он не вмешивается, полагается на отца. Знает, понимаете ли, что отец — не из тех, кого можно обернуть вокруг пальца. Зато она, Роза то есть, куда практичнее моего Гриши. Собственно, если говорить начистоту, для нее деньги тоже трынтрава, а тратить, швырять деньгами, бросать целковики на ветер, она такая же мастерица, как и мой сын, даже почище его будет, за пояс его заткнет. Но она смекалистая, деловая. У нее есть вкус к деньгам. Она умеет заломить такую цену, что у антрепренера в глазах потемнеет. И правильно делает! Я ее вполне одобряю. Каждый человек должен знать себе цену. Меня только удивляет, откуда у нее такие замашки. А поговорить с ней, она станет уверять, что это я пристрастился к деньгам.

Короче. Истекло двадцать четыре часа, и мой американский гусь тут как тут. Чисто выбритый, аккуратный, застегнут на все пуговицы. Ждет моего ответа. Я назвал такой минимум, заломил такую цену, что если бы я вам назвал сумму, вы бы наверняка подумали, что я лгу. Думаете, американец испугался? Ничуть! Подумал с полминуты, не больше, и протянул мне руку: «Олл райт». В переводе на наш язык это означает: «В добрый час!» Что вам сказать? У меня в башке помутилось, словно бы этот человек стукнул меня обухом по голове. Хоть бы он для виду немного поторговался. Ничуть не бывало! Сразу же по рукам — и баста! Что бы тут придумать? Пораскинул я мозгами и предъявил новое требование: вся сумма гарантированного минимума должна быть оплачена вперед наличными, то есть должна быть внесена в банк на мое имя. Думаете, мой американец был ошарашен? Нисколько! Даже бровью не моргнул. «Олл райт!» — повторил он снова, встал и отправился на телеграф, затребовал по телеграфу деньги из Нью-Йорка. Словом, сделка была заключена. Дело сделано.

Представьте себе, — Роза меня потом не переставала дразнить, прямо-таки на смех подняла: почему я так продешевил? Как вам это понравится? Она говорит, что у меня аппетит очень уж убогий. У меня,

по ее словам, размаха нет. Что вы скажете на этакую дерзость? У меня и без того сердце готово разорваться на части от досады на этого американца, а она еще сыплет соль на свежие раны. Я, правда, хотел спросить ее, откуда у меня может быть размах. Разве я прошел школу Альберта Щупака?.. Но я раздумал, — пусть лучше я останусь в обиде. Не хочу, чтобы мой сын знал что-нибудь о Щупаке и вообще о прошлом Розы. Хотя, в сущности говоря, чем она виновата, что Щупак возил ее, как цыган медведя, и наживался на ней? Да и что здесь было предосудительного? Бедность, говорят, не порок. Я ведь и сам — да не повторится это больше никогда! — немало скитался с Гришей в рваных сапогах по городам и местечкам, за трехрублевку мой мальчик играл по шести мелодий, да еще седьмую в придачу. Да еще приходилось выслушивать такого рода отзывы, что, мол, есть у них в местечке скрипач Мойше-Нойах, так тот играет молдаванскую — миру на удивление! Нет, мой милый друг, я нисколько не стыжусь своего прошлого. Наоборот, я горжусь тем, что могу, слава богу, рассказать об этом с радостью, как о временах давно минувших. Когда мы собираемся всей семьей, я люблю вспоминать, как мы когда-то — да не повторится это больше никогда! — мечтали о кренделях; стакан чаю с сахаром был для нас праздником, кусок курицы только во сне мог присниться, а за одно яблоко или пару слив Гриша был готов сыграть любую песенку.

Больше всех любит слушать эти рассказы Роза. Глаза у нее тогда разгораются, она становится еще красивее. Она сама тоже любит рассказывать разные случаи из своего прошлого. А рассказывать она мастерица. Можно помереть со смеху, когда она начинает описывать во всех подробностях свое родное местечко Голенешти. Она то изображает базарных торговок, то, подделываясь под охрипшего кантора, исполняет «номера» так уморительно, что поверьте, милый друг, никакого театра не надобно. Мы так громко хохочем, что за три квартала можно услышать. Жаль только, что она редко бывает в настроении, чтобы забавлять нас подобными шутками.

Я, кажется, уже писал вам, что она капризная девица. У нее все по настроению. То она весела, и от нее так и пышет радостью: поет, пляшет, да еще как! Так, понимаете ли, что весь дом пляшет вместе с ней. То вдруг надвинется на нее туча, и она запирается у себя в комнате на целый день. А то вдруг засядет писать письма и пишет, пишет, пишет без конца. Кому? Бог ее ведает. А порой ни с того ни с сего пристанет к Грише, чтобы он играл, хотя у него в эту минуту нет ровно никакой охоты играть. Но когда Роза просит, — какой тут может быть разговор. Если бы она, скажем, разбудила его посреди ночи и попросила играть, разве он отказал бы ей! Любовь не шутка. Ну, он, разумеется, тотчас же берется за скрипку, а Роза садится напротив, подпирает голову руками, а сама глаз с него не сводит. Поглядеть на нее в эту минуту — ангел! Писаная красавица! А попробуйте попросить ее спеть что-нибудь. Ни за что на свете! Наоборот, чем больше вы ее просите, тем меньше у нее охоты петь. Зато, когда она уже разохотится, — соловьем заливается. Думаете, поет арии из опер, концертные номера? Куда там! Либо цыганские романсы, либо еврейские песенки. Послушали бы вы, как она поет хасидские песенки, вы бы пешком сюда прибежали. Я знаю, вы же любитель еврейской песенки. Передаю вам одну из ее хасидских песен, которую она исполняет на веселый лад. Жаль, что я не знаю нот. Придется передать вам только слова этой песенки. Вот они:

Из Хисалвича * в Любавич *,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич —
Разъезжать приятно...

Взял с собой мешок дорожный,
Палку, да и в путь...
Ну, а что карман порожний —
Это как-нибудь!

...Из Хисалвича в Любавич,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно...

Еду к цадику в Любавич —
Он меня там ждет!
А оттуда уж в Хисалвич —
Там второй живет!

Из Хисалвича в Любавич,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно!

Дочек пять, еще три сына
У меня растут...
Есть коза за три алтына —
Все богатство тут!

Из Хисалвича в Любавич —
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно!

У меня изба без крыши —
Есть где ветру дуть...
Ну, а что под полом мыши —
Это как-нибудь!

Из Хисалвича в Любавич,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно!

Ветер свищет, буря злится,
Собираюсь в путь...
Нищета в окно стучится —
Это как-нибудь!

Из Хисалвича в Любавич,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно!

Если точит мысль о хлебе —
Слабоват, знать, ум...
Я ведь еду, еду к ребе —
Если мало — к двум!

Из Хисалвича в Любавич,
Туда и обратно,
Из Любавича в Хисалвич
Разъезжать приятно!

Что вам сказать, мой дорогой друг? Восемнадцать симфоний, семнадцать концертов я охотно отдам за одну ее еврейскую песенку. Или послушали бы вы, например, как она поет арии всех знаменитых канторов мира — Ниси Бельзера, Сироты. И каких, каких только арий известнейших канторов она не исполняет! Она может вам спеть молитву «За грехи наши» либо «Ты помнишь, господи» со всеми тонкостями и канторскими выкрутасами и притом так чудесно, так сладостно, что растаешь от удовольствия. Что говорить, чародейка! А послушали бы вы, как она тараторит по-немецки, по-французски. А если вам угодно по-английски, — с удовольствием! Что и говорить, девушка каких мало! Ну, сами скажите, как не любить такую? Одна только беда: она немножко злючка. Ой, злючка! С ней надо всегда быть начеку, каждое свое слово взвешивать. Не так скажешь, не так взглянешь, — жизни потом не будешь рад! Порох! Мы с женой уж конечно остерегаемся, поддакиваем ей во всем. Ради сына, конечно... Слава богу, что он нашел свое счастье, хотя с другой стороны, если рассудить здраво, он мог достигнуть гораздо большего. Магнаты были бы счастливы, если бы он породнился с ними. Золотом бы меня осыпали. Но пропало! Видно, так суждено. Суженого, как говорят, конем не объедешь. Дай бог, чтобы скорее можно было глядеть и не наглядеться, не нарадоваться на их счастье... Пока еще не о чем говорить, решительно не о чем. Любовь... и больше ничего! Жаль, дорогой друг, что вас тут нет. Будь вы рядом, мы бы уж наговорились вдоволь. День и ночь мы бы с вами сидели вдвоем, и я бы вам рассказывал, рассказывал, без конца бы рассказывал об этой парочке. Это, скажу я вам, целый мир, и в нем свои миры и мирки. Но я вынужден закончить письмо, потому что звонят к обеду, приглашают к столу, а кушать, доложу я вам, на пароходе хочется невероятно как! Аппетит у публики, не сглазить бы, такой, что пока дождешься желанного звонка, два раза перекусишь у себя в каюте. Да, жаль, от души жаль, что вас нет на пароходе. По приезде в Нью-Йорк я, с божьей помощью, напишу вам еще подробнее. Дай

боже прибыть благополучно на место! А пока будьте здоровы и пишите почаще. Письма отправляйте по моему нью-йоркскому адресу, который я помещаю ниже.

Ваш преданный друг

Меер Стельмах.

Главное забыл: один пункт вставил американский гусь в контракт, такой пунктик, что из-за него чуть не расстроилось все дело. А именно? Нет, вы только послушайте, на что способен американец: он потребовал, чтобы ни Гриша, ни Роза без его ведома ни с кем не общались в Америке. То есть, если они хотят кого-нибудь принять, он должен знать, кого именно. Хотят они пойти куда-нибудь, он должен знать, куда. Даже если им будут присылать письма, он должен знать, откуда им пишут. Как вам это понравится? Я, конечно, долго колебался, но в конце концов подписал контракт со всеми пунктами. Однако последний пункт я скрыл от детей, потому что если Роза, не дай бог, узнает о нем, она, конечно, устроит скандал на весь мир. Поэтому прошу вас: об этом никому ни слова! Другому я бы не доверился, но вам — какой может быть разговор?

Меер Стельмах».

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Шолом-Меер Муравчик — своему другу Альберту Щупаку

«Дорогой друг Альберт, я пишу тебе это письмо и с тем сообщаю, что я, слава богу, в Лондоне второй раз уже, а как ты в Одессе, я и пишу тебе в Одессу, чтобы ты знал, Альберт, что дела мои очень плохи, дальше некуда, все идет кувырком, шиворот-навыворот, не везет, хоть разорвись. Я уже и сам жалею и червь меня точит, почему я тогда не поехал с тобой

вместе обратно домой, но теперь уже пропало, потому черт меня попутал. Такая мне, видно, выпала доля, чтобы терпеть и мучиться, вот я и застрял спервоначалу в Вене, а после в Париже, и теперь я в Лондоне, — все ради нашей красотки. Думал, схвачу журавля в небе, а в конце концов схватил простуду и получил кукиш под нос. С того времени, как она приехала из Италии, она так нос задрала, что не подступись. Шутка ли, Роза Спивак! Меня чуть кондрашка не хватил, когда я услыхал ее пенье, дай мне, боже, столько счастья и удач! А поет она, Альберт, так, что ни ты, ни твоя бабушка, ни твоя прабабушка никогда и во сне не слыхивали ничего похожего. А с каким почетом ее всюду встречают, а какие на ней брильянты! А ее выезд! Поглядел бы ты только, ты трижды зарыл бы себя живьем в землю. А кто тебе виноват, что ты обходился с ней, как идиот, а из-за тебя я тоже остался, как рак на мели, чуть с голода не сдох. На мое счастье в Париже есть еврейский театр и директором там Ваксман, препротивный человек, и труппа у него, — дай ему бог такое счастье! Я с трудом заработал несколько грошей и — марш в дорогу! — опять в Лондон. Что же оказывается? Мыльный пузырь! Она уже в Антверпене и Брюсселе, — надо ехать в Антверпен и Брюссель, а нитки все вышли, ехать не на что. Что делать? Я заложил свой чемоданчик в Лондоне у одного зверюги, Кламером его зовут, он содержит там кафе-ресторан. И вот прихожу я за чемоданом — и что же!.. Кламера нет, черт его понес в Америку. А Роза еще вперед уехала в Америку, знаешь с кем? С сынишкой нашего Меера Стельмаха — с его Гришей. Она поет, он играет, а денег у них куры не клюют; столько загребают, что дай нам боже обоим заработать столько за три месяца, сколько им перепадает за один вечер. А для меня это прямо зарез, что Кламера нет, потому в чемоданчике у меня лежат очень важные бумаги, знаешь какие? Письма Розы. Читать-то их я не читал, но смекаю, что Розе они страсть как нужны, потому она пишет, чтобы я непременно раздобыл эти письма, а за деньгами дело не станет. И скажи, пожалуйста,

до чего не везет! На мою беду ее письмо провалялось раньше три месяца у Ваксмана, холера бы его задушила! Я хотел заехать ему в физиономию, набить ему морду, да боялся, что он мне не заплатит заработанных денег. Подумай только, как все летит вверх тормашками. Черт меня занес в Лондон как раз тогда, когда они все разъехались, растаяли, как соль в воде. Теперь спрашивается, что мне делать, у кого просить помощи, к кому мне обратиться, как не к тебе, мой дорогой Альберт, и с тем прошу тебя, выручай, брат, спаси меня от позора и вышли ради бога как можно скорее сюда в Лондон — вот тебе мой адрес — одну сотнягу, чтобы я мог как-нибудь дотащиться до Америки. Там уж я не беспокоюсь, только бы мне добраться до этого шута горохового и отобрать мой чемоданчик с бумагами. Ты же знаешь, я честно заслужил у тебя не то что одну сотнягу, а куда больше. Помни же, Альберт, не будь тем, что хрюкает, и вышли мне непременно как можно скорее эти несколько грошей.

Я тебе до сих пор не докучал просьбами, потому надобности не было, но теперь у меня нужда: надо ехать в Америку. Моя сестра уже давно там. И могу тебя уверить, Альберт, что твои деньги я тебе, с божьей помощью, верну, да еще с большим спасибо в придачу, дай мне боже столько счастья и удач! мне, слава богу, чужих денег не надо, а как будешь мне писать, отпиши обо всем подробно, как там у тебя дела, подходящая ли у тебя труппа, какие пьесы идут у нас в Одессе, и как у вас теперь с разрешением, и как поживает вся остальная братва. Гоцмаха помнишь? Он, слыхать, теперь в Лондоне с собственной труппой. Что ты на это скажешь? Говорят, он тяжело болен, лежит в постели. Я его ненавижу, как благочестивый еврей свинину, но, леший его побери, надо пойти его проведать. И с тем будь здоров! С полным высоким уважением

Шолом Меер-Муравчик».

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Альберт Щупак — Шолом-Мееру Муравчику

«Глубокоуважаемый друг Шолом-Меер!

Все мои дурные сны за прошлую и позапрошлую ночь — на твою голову! Ты что, с ума спятил или мозги у тебя помутились? Что значит, я втяпаю живые деньги в мертвое дело? Сотняги буду тебе посылать! Я только того и ждал. Единственный ты у меня сынок, что ли? Или сотняги у меня в огороде растут? Чтоб мне так иметь тебя своим папашей, как у меня есть сотняги, потому что всякий, кому не лень, норовит выманить у меня денежки. Рвут, тащат, за полы хватают, со всех сторон так пристают, что у меня кости трещат. Я еще не пришел в себя от прежних передряг, — так на вот тебе! С каждым днем все новые и новые напасти. Но ни на кого у меня так сердце не кипит, как на канторскую дочку, из-за нее ты меня втянул в болото, потому что она не только стоила мне кучу денег, чуть меня по миру не пустила, но еще так оскорбила меня тогда в присутствии моего друга Меера Стельмаха, подпаском меня назвала. Пусть бы лучше назвала меня вором, разбойником, бандитом, грабителем с большой дороги, последними бы словами обругала, — меня бы это так не задело, как слово подпасок. Я этого ей никогда в жизни не прощу, даже когда буду лежать на полу ногами к двери. А что ты собираешься в Америку, это дело, и я готов участвовать в расходах, но, конечно, не целой сотнягой, потому что у меня таких денег нет. И посылаю деньги только с уговором: я вкладываю в это письмо ее расписки, которые у меня сохранились, — авось тебе удастся выцарапать у нее немного денег в счет долга, который она мне осталась должна. И ежели она в самом деле столько зарабатывает, сколько ты пишешь, почему ей не вернуть мне убытки, которые она мне причинила тем, что так вдруг взяла и ушла и ищи-свищи? Я уж ей прощаю проценты, я готов, коли на то пошло, простить даже «подпаска». Не такой я человек, сохрани боже, чтобы долго держать злобу в

сердце. А тебе пусть господь поможет и пошлет тебе счастье и удачу, — ты же знаешь, я тебе, сохрани боже, не враг. Там, говорят, золотая страна. И время от времени пиши письма не так, как до сегодня, — то молчал, как покойник, то вдруг «тыц тоби дурень», то есть «вошел Аман» *, что означает по «толкованию мудрецов», «черт его принес»! Почему ты, мошенник, сразу не написал, а ждал до последней минуты? Быть может, немного раньше я, чего доброго, мог выслать целую сотнягу, но теперь не могу, бог мне свидетель, больше полусотни никак не могу, потому что конкуренция страсть какая, а расходы и того больше, и всякий раз подворачивается тебе новая напасть и новая чертовщина. И когда господь тебе поможет, ты, надо надеяться, вернешь мне долг, потому что мне денежки нелегко достаются, один бог мне свидетель, с каким трудом наживается каждая сотня целкачей. Когда ты встретишься с этой самой, напомни ей и бульончик, и конфеты, и шоколад, и отдельные купе в вагонах второго класса, и новые платья, что я ей каждый раз покупал. Она же меня до ниточки обобрала. Счастье мое, что я кое-как добрался до Одессы, на мою старую родину, здесь когда-то у меня дела шли как по маслу, то есть собственно я и теперь бы не жаловался, если б не конкуренция, — три театра в одном городе. Но мой театр лучше всех, потому что у меня собственный хедер, с собственными клакерами, все на жалованье. Одна только беда, что у нас тут три труппы и времена очень тяжелые, а холера гуляет по городу, да еще с чумой на закуску, а «барин» * здесь в Одессе — сущий Аман *, хуже холеры и чумы вкупе. Все же я тут делаю самые лучшие сборы. «Еврейская изюминка», слава богу, не сходит со сцены, а «Хинка-Пинка» тоже товарец хоть куда, да и «Велвеле ест компот» тоже лакомое блюдо, объедение! А разрешений я получаю сколько угодно и, слава богу, я здесь в Одессе пользуюсь почетом и занимаю положение в обществе, выкупил свои брильянты и имею женушку — на зависть всему свету, черт бы его батьку взял! И мог бы уже обзавестись семейным домком, ежели бы не вечные

напасти, которые неотвязно гонятся за мной, преследуют меня по пятам, так что иной раз даже за свою жизнь нельзя быть спокойным, а врагов у меня хоть отбавляй, и всякий раз является кто-нибудь к моей жене, к теперешней то есть, и шепчет ей разные небылицы, разводит турусы на колесах, будто у меня за границей есть полюбовница, канторская дочка, и я будто бы трачу на нее целое состояние, и изволь-ка оправдываться, холера им в бок! Полюбовницу выдумали, этого еще недоставало!

Больше нечего писать, и будь здоров и немедленно отпиши насчет полсотни целкачей, что я тебе посылаю, и объясни мне, как попали к тебе ее бумаги, вправду ли она их потеряла, Роза то есть, или ты их нашел в ящике ее стола под замком? Потому что ты был у нее правая рука, вроде как бы секретарь; не помню я, думаешь, как ты с ней все шептался да шушукался за моей спиной? А все-таки передай ей от меня поклон и Брайнделе-козак, чтоб ей поперхнуться, тоже низко кланяйся от меня, и ежели увидишь Гоцмаха, скажи ему, чтоб черт его батьку взял! С глубокоуважаемым почтением

Директор *Альберт Щупак*».

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Канторша Лея — дочери Розе Спивак

«Моей дорогой, уважаемой, мудрой дочери госпоже Рейзеле, да пошлет ей господь долголетие!

Во-первых, сообщаю тебе, что я, слава богу, здорова, дай бог то же самое услышать от тебя, на радость, веселье и утешение, аминь.

Во-вторых, знай, моя дорогая, милая дочка, что я не хотела огорчать тебя страшной вестью о тяжелом горе, которое обрушилось на нас, как гром с неба, и бог мне свидетель, что я и теперь не писала бы тебе об этом, потому что, покуда ты преуспеваешь в жизни,

не надо тебе в этом мешать. Я сама хорошо сознаю, что как мне ни горько и печально, что я осталась на старости лет одинокой вдовой, — тебе будет в тысячу раз хуже, когда ты узнаешь, что осталась сироткой, бедняжка моя, потеряла отца, которого ты так любила и который в тебе души не чаял. До последней минуты он не переставал шептать твое имя. Все Рейзеле да Рейзеле! Что же делать? На то воля божья. Видно, так суждено. С того дня, как ты нас покинула, он до того был расстроен, так был потрясен горем, точно на него весь мир обрушился, и все ему стало безразлично: ни еда, ни сон его не интересовали. Сколько я ни старалась его успокоить, — случается, мол, не приведи господи, дитя умирает, так ведь это в тысячу раз хуже, потому что когда дитя уезжает, то остается еще надежда, что оно, с божьей помощью, вернется, а когда дитя, упаси господи, умирает, то уж назад его не вернешь, ибо что земля укрыла, то пропало, — но отец и слушать не хотел эти утешения. Я ему приводила в пример нашего богача Рафаловича, — он ведь и говорить никому не разрешает о своем милом сынке, запретил даже упоминать при нем это драгоценное имечко — Лейбл. Честь ему и слава! Что ж, разве его горемычная мать поступила умнее? Она так долго оплакивала сына, так убивалась по нем, что растаяла, как свечка, прости господи. Так я, бывало, уговариваю твоего отца. Но все это были напрасные слова, потому что твой отец — да не зачтется ему это за грех на том свете! — никаких увещеваний, никаких утешений и слышать не хотел. Он — царствие ему небесное! — твердил одно, все повторял притчу из священного писания о бедняке и его отце. У богача Рафаловича, говорил он, много овец, и он может себе позволить вычеркнуть из памяти одну потерянную овцу; а бедняк, у которого есть только одна овечка, один-единственный глаз во лбу, когда вдруг приходят и похищают его дитя, его единственное утешение, зеницу ока его, — как он может это пережить?

Так он говорил и, быть может, был прав, потому что я никогда в жизни не забуду этих ужасных ночей,

когда он — мир праху его — встанет, бывало, среди ночи, тихонько — так, чтобы я не слышала, — заберется за занавеску и целует, целует постель, на которой ты спала, и тихо-тихо плачет, глотает слезы. Я ему говорила: «Исроел, ты грешишь; человек не имеет права так мучить себя. Вот увидишь, говорю, получится, с божьей помощью, от нее добрая весточка». И он — царствие ему небесное! — притворился веселым и старался уверить меня, что он уж почти начинает забывать свое горе. Но разве я не видела, что этот человек сохнет изо дня в день, тает, гаснет, как свеча. Я тебя, упаси боже, не обвиняю, доченька моя, — знаю, что твое сердце тянулось к нему не меньше, чем его сердце к тебе. Я видела это по твоим первым письмам, — они были для него лучше всяких лекарств и целебных настоек, которые прописывал ему врач. А после, когда мы дожили до счастья увидеть тебя собственными глазами, и ты приехала к нам в гости, его ведь не узнать было, он точно из мертвых воскрес. Уж я думала, взошло солнышко, ангелы услаждают мою жизнь, конец моей горькой печали. Но это был только обман, горе мое горемычное! Видно, червь все точил да точил его изнутри, поедом ел, прости господи, все соки из него высосал, так что, когда наступили лучшие времена, у отца уже не хватило сил жить. И то еще счастье, что он хоть немного потешился перед смертью, — ты оказывала ему столько почтения, внимания и ласки, что никто этого и ожидать не мог. «Теперь вам только жить да поживать, реб Исроел», — говорили ему все, кто его ни видал, и завидовали нам и нашему богатству. Завидовали, что у нас есть собственный дом, который ты нам купила и так богато обставила, хоть, по правде говоря, для меня этот дом, как говорится, не по голове ермолка. И когда я подумаю, что я буду делать одна-одинешенька в стольких комнатах, я прямо-таки прихожу в ужас: можно ведь, прости господи, сойти с ума, как старая мать Бени Рафаловича, которая и по сей день живет в доме. Боже, боже, чем дожить до такой, с позволения сказать, старости, лучше уж поступить так, как твой покойный отец. Умер он в два-

дцать второй день месяца аба, а теперь двадцать первый день месяца элула *, так что прошло уже ровно тридцать дней со дня его смерти, и тебе придется справлять траур не семь дней, а всего один час *. Да тебе в твоем положении и невозможно было бы иначе. Ты, впрочем, достаточно угодила покойному отцу своим приездом, — этим ты хоть немного продлила дни его жизни, царствие ему небесное! И знай, моя дорогая дочь, что за два часа до смерти он поминал тебя добрым словом, — да будет он заступником перед престолом всевышнего за тебя, за меня и за весь народ израильский! А так как он — мир праху его — не сподобился у всевышнего радости оставить после себя сына, который читал бы по нем «кадеш», то я подрядила для этого синагогального служку Хаим-Шаю, — помнишь, того самого, которому ты в тот приезд подарила деньги на корову? Это его сынок Наум пишет за меня письмо, я говорю, а он пишет. Так уж, видно, богом было суждено, чтобы его отец ежедневно, утром и вечером, читал «кадеш» по твоем отце, а его сынок писал бы за меня письма. А какие похороны устроили твоему покойному отцу! Не знаю, хоронили ли когда-либо у нас в местечке с таким почетом даже самого крупного богача. И место на кладбище ему отвели самое почетное — между равванами и именитыми богатеями местечка. Он, бедняга, вполне заслужил такие почести. Если господь продлит мне жизнь и я доживу до первой годовщины его смерти, то я ему, с божьей помощью, поставлю надгробный памятник, какого он заслуживает. И прошу тебя, дорогое дитя мое, разреши мне сдать хотя бы полквартиры. Подумай только, что мне делать одной в стольких комнатах! И пиши мне частые и радостные письма, как до сих пор. Твое последнее милое письмо, в котором ты прощаешься с нами перед отъездом в Америку и пишешь папе, чтобы он всячески берег свое здоровье, покуда ты снова приедешь к нам в Голенешти, ему — мир праху его! — не суждено было прочесть, потому что он тогда лежал уже с черепками на глазах. Твое письмо мне прочитали, когда я уже сидела на полу, справляя семидневный траур, а деньги

мне принесли на дом. А больше денег, доченька, мне не посылай. Хватит мне на всю зиму до самой пасхи, потому что, когда я подумаю, что мне, с позволения сказать, нужно, одинокой вдове, то я молю бога только об одном: чтобы он сподобил меня счастья увидеть тебя еще один хоть раз в полном здравии, когда ты, если богу будет угодно, вторично приедешь к нам, а больше мне ничего не нужно. И еще молю я бога о том, чтобы по милости его мне дожить до счастья увидеть тебя под венцом. И будь здорова и крепись, дитятко мое, не очень-то убивайся, не плачь, не слишком горюй об отце, не губи себя, береги свое здоровье. И да пошлет тебе всевышний в скором будущем твоего суженого, и дай мне господи как можно скорее дожить до того дня, когда ты порадуешь сердце твоей матери, о чем я денно и нощно возношу молитвы к престолу всевышнего.

От меня, твоей преданной матери, которая целует тебя тысячу раз.

Лея Спивак».

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Меер Стельмах — своему другу

«Мой милый, дорогой друг!

Ваше любезное дружеское письмо я получил. Вы интересуетесь Америкой, хотите знать, что это за страна; а я, кстати, собирался описать вам во всех подробностях страну Колумба. Но, судя по вашему письму, вы прежде всего хотели бы знать, как я поживаю, что поделывает мой Гриша, как мы все себя чувствуем. Что вам на это ответить, дорогой друг? Всем моим друзьям желаю жить не хуже. Я не в силах описать вам, каким почетом, каким уважением пользуются здесь Гриша и Роза. Во всех городах этой огромной страны от края и до края гремит слава о них. Стоит вам взять в руки газету, как тотчас бро-

сятся вам в глаза эти два имени — Гриша Стельмах и Розалия Спивак. Всюду и везде только и слышишь: Розалия Спивак да Гриша Стельмах. Не всякому выпадает на долю счастье послушать их: кто не записался на билеты по крайней мере за неделю до концерта, тому не видать билетов, как своих ушей. Скажу вам по совести: я не знаю, кто из них пользуется бо́льшим успехом — Роза или Гриша. Нас буквально на части разрывают. Мы получили приглашения из Вашингтона, Филадельфии, из Чикаго и Канады, со всех концов света. О цене даже не заикаются. Берите, мол, сколько хотите, последнюю рубаху снимем, только приезжайте. Больно только, что сливки снимает антрепренер, этот американский гусь, погибель на него. То есть, собственно, злобы у меня против него нет. Наоборот, я от всей души рад за него: он, бедняга, немало издержался, пока доставил сюда всех нас — этакую, не сглазить бы, ораву. Но ему тоже жалеть не приходится, — отцовского наследства, как у нас говорят, он на этом предприятии не потеряет. Заработком он обеспечен по горло. У нас тут был маленький перерыв в работе во время еврейских и новогодних праздников. Вы, верно, думаете, по религиозным соображениям. Ничего подобного! В Америке праздник — концертам не помеха. Здесь каждый ведет себя так, как ему заблагорассудится. В дни Нового года и даже в самый Судный день, день великого поста, одни спешат в синагогу помолиться, а другие — в мастерскую на работу. В Судный день, например, то есть в то самое время, когда одни евреи благоговейно, со слезами на глазах, слушают молитву «Кол-нидрей», другие, наоборот, собираются на особого рода бал, который так и называется «Бал в честь Судного дня». В определенном месте собираются весьма приличные юноши и девушки, молодежь как на подбор, и вызывают на диспут самого судью небесного. Тут за стаканом пива с бутербродом из трефной колбасы * молодежь отчитывает старого еврейского бога за его скверные порядки, за то, что он допускает преследование евреев, гонение на них, погромы. Словом, задают богу такую головомойку, что

он будет помнить до Судного дня следующего года. Свободная страна, что и говорить!

Одним словом, перерыв в концертах был вызван вовсе не праздниками. Была более важная причина: наша дорогая Роза осталась, бедняжка, сиротой. Умер ее отец, состоявший кантором в каком-то местечке. Что ж, умер так умер — «благословен судия праведный» *. Случается со всяким человеком, что у него — не про нас будь сказано! — умирает отец. Но посмотрели бы вы, что творилось с Розой! Прежде всего, она несколько дней подряд отказывалась петь. Вы себе представляете примерно, сколько мы потерпели на этом убытку? Я вам желаю столько заработать, — будьте уверены, я вам не враг. Ведь по контракту мы должны платить вдвое за каждый несостоявшийся концерт. Сколько ее ни упрашивали, как ни умоляли ее, — я, и сын мой, и американский гусь, — она и слышать не хотела. Она только страшно рассердилась и решительно заявила, что если еще раз услышит хоть одно слово об этом, она разорвет контракт, и делай с ней, что хочешь! С трудом упросили ее спустя несколько дней, чтобы она снова выступила в концерте, — не то, хоть удирай из Америки. Зато пела она последний раз так, что стены рыдали и, казалось, земля разверзлась. Я сам, старый дурак, то и дело вытирал слезы. А о Грише уж и говорить нечего. Это вам во-первых. А во-вторых, она вдруг вздумала справлять траур. Да еще как справлять! По всем правилам: скинула с себя обувь и села на пол. «Ради бога, говорю, Розочка, милая, опомнись! Что ты делаешь? Подумай, говорю, среди кого мы живем: кругом аристократы, магнаты, миллиардеры...» Где там! Мои слова пристают к ней, как горох к стене. А много с ней разговаривать тоже нельзя, — она же девушка с норовом, капризная, до того капризная, что господь спаси и помилуй! Другому я бы этого не писал, но вас я считаю человеком, умеющим хранить тайну. Вы моего письма никому, сохрани боже, не покажете. И я скажу вам по секрету: нам достается от нее немало, в жар и холод бросает от нее. Представьте себе, на какой скандал способна эта девушка:

наступили праздники, — она оделась и спешит в синагогу. «Это что?» — спрашиваю. «Хочу, говорит, помолиться за упокой души отца». — «Опомнись, говорю, что ты делаешь! Это же разбой! Хочешь нас зарезать, — вот тебе нож и режь!» А она мне: «Вы разве не ходите по праздникам в синагогу?» — «Злодейка! Что ты сравниваешь себя со мной? Мне, говорю, можно ходить всюду, куда заблагорассудится. Могу, говорю, пойти в синагогу и — простите за сравнение! — в еврейский театр, если мне вздумается. Но ты? На следующий же день, говорю, об этом затрубят во всех газетах». — «Ну и что же? — говорит. — Почему Мельба, Эмбрих, Карузо и им подобные знаменитости не стесняются ходить по праздникам в церковь?..» Ну, как вам понравится такое рассуждение?.. Собственно, если здраво рассудить, она ведь права, совершенно права. Но от этого мне не легче.

Одним словом, мы с трудом добились хотя бы того, чтобы она надела густую вуаль, — ни одна живая душа не должна знать, что Роза Спивак была в синагоге... Что вам долго рассказывать, мой дорогой друг? Натерпелись мы с ней вдосталь, хватит по горло. Теперь она уже чуть успокоилась, но первое время мы думали, что нас кондрашка хватит. А ведь надо еще поддакивать ей, ибо чего не сделаешь ради родного сына?

Теперь, дорогой друг, вам, конечно, хотелось бы, чтобы я описал вам Америку? По всему тому, что я прежде писал, вы можете судить, что это — благословенная страна. Боюсь, как бы не преувеличить, но я бы сказал, что Америка вовсе не Америка, а своего рода Палестина для евреев. Да, евреям, по-моему, грех пенять на Колумба; тут кто хочет работать и у кого есть достаточно сил, чтобы работать, тот худо ли, хорошо ли, но на хлеб заработает. Музыка здесь в особом почете. Я убежден, что если бы вы, скажем, взяли да приехали сюда, вам не пришлось бы раскаяться. Заработком вы были бы обеспечены досыта и чувствовали бы себя здесь в родной среде. Еврейских газет в этой стране столько, что ими хоть

пруд пруди. Для такого любителя родного языка, как я, тут просто рай земной. Могу смело сказать, что я здесь буквально купаюсь в еврейском искусстве, как рыба в воде. Когда наступает вечер, мне трудно решить, в какой бы театр пойти... На будущей неделе в одном из здешних еврейских театров выступает новый гастролер, восходящая звезда, некий Рафалеско из Бухареста, о котором прямо-таки чудеса рассказывают. О нем трубят во все горло.

Одним словом, мой дорогой друг, я лично Америкой очень доволен. Скорее бы только дождаться радости от детей... Пока они все еще тянут канитель. Скажу вам по правде, — другому я бы таких вещей не стал рассказывать, но вы ведь умеете держать язык за зубами, поэтому я говорю с вами откровенно: не нравится мне такая любовь... К чему такая волынка? Либо туда, либо сюда. До каких пор тянуть да оттягивать? Теперь, правда, у нее есть отговорка: она, бедная сиротинушка, в трауре, отец помер. Она хочет, по ее словам, протелеграфировать матери, чтобы та приехала сюда, в Америку. А когда ей взбредет что на ум, она от своего не отступится, хотя бы камни начали падать с неба. А что, если и впрямь приедет к нам канторша из Голенешти? Куда нам с ней деваться? Знать бы мне так горе, как я знаю куда. Одно только утешает меня: авось канторша придет к нам на помощь, и господь, внемля ее молитвам, удостоит нас, наконец, долгожданной радости: разобьем тарелку и поведем детей под венец.

Простите, милый друг, что я посвящаю вас во все наши семейные дела. Знаете, выскажешься перед другом, — легче становится на душе. Вы себе представить не можете, сколько здоровья стоит мне этот роман сына с Розой. Я постарел и поседел. Многие мне советуют не торопить детей, а предоставить дело собственному течению. Уверяют, что я слишком уж горячий, слишком уж преданный отец. Возможно. Но что с собой поделаешь? Такой уж у меня характер. Меня уж не переиначишь.

Будьте здоровы и счастливы! Пишите, собираетесь ли вы и впрямь в Америку. Для меня это, уверяю вас,

было бы величайшим праздником. Было бы перед кем душу излить. Ведь другого такого друга не сыщешь, и не всякому можно доверить то, что я доверяю вам.

Ваш лучший друг

Меер Стельмах.

Главное забыл. Знакомых здесь хоть отбавляй. Но я избегаю их. Даже когда я прихожу в еврейский театр, я вынужден прятаться. Забиваюсь в угол, надвигаю шапку на лоб, чтобы меня не узнали. Что поделаешь? Несчастная профессия!..

Меер Стельмах».

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Рафалеско в раздумье

Покуда наш юный Рафалеско безмятежно плыл по волнам житейского моря, отдаваясь на волю течения, покуда он блуждал в потемках, продвигаясь все дальше и дальше, по неизведанным путям, он никогда не отдавал себе отчета, не спрашивал себя, не задумывался над вопросом: где источник его творческой силы? Как поднялся он на такую высоту? Но вот волна прибила его к берегу — к Америке — и выбросила на остров, именуемый Нью-Йорком. И тут молодой артист чуть ли не впервые в жизни оглянулся на пройденный путь и увидел, какая головокружительная бездна отделяет его первые робкие шаги от тех вершин, на которые он поднялся теперь. Оглянулся и — изумился.

Поразило его не то, что он много прожил, много пережил, много выстрадал и многого достиг. Нет! Источник его изумления был совсем иной. Он сам не понимал, откуда у него взялись силы, энергия и настойчивость для этого длинного тяжкого пути. Кто указал ему дорогу? Кто был руководителем? Кто был его учителем? Какая школа им пройдена? По каким учебникам он учился?

Рафалеско спрашивал себя: кто первый зажег в нем пламень любви к искусству? Кто первый толкнул его на подмостки? Чей факел озарял его путь в долгие темные ночи его духовного одиночества, его бесконечных актерских скитаний?

Вереницей проносятся перед его мысленным взором воскрешенные памятью образы прошлого: сначала мальчуганы, школьные товарищи, озорники, с которыми он в сумерки, в промежуток между предвечерней и вечерней молитвой, тайком от учителя играл в «представления»... Потом Альберт Щупак с его достопамятной труппой в Голенешти... Затем Гоцмах, его первый близкий, задушевный друг... Вслед за ним директор львовского еврейского театра Гецл бен-Гецл, братья Швалб и им подобные, — всё такого рода людишки, у которых, казалось бы, решительно нечему учиться. Единственными светлыми звездочками, блеснувшими на его темном небосклоне, были: суфлер Беня — «человек с образованием», который в известной мере открыл ему глаза; доктор Левиус-Левиафан, львовский меценат, осветивший перед его взором новые миры, но поспешивший скрыться куда глаза глядят, едва лишь Гоцмах заикнулся о деньгах; наконец великий Зоненталь, блеснувший перед ним, как метеор, чтобы сейчас же исчезнуть... И больше ни одной светлой точки, ни одной путеводной звезды.

Самоучкой, без учителя, без учебника, без азбуки, стал Рафалеско тем, что он есть.

Предоставленный самому себе, Лейбл Рафалович вырос в Лео Рафалеско и — если верить тому, что о нем пишут, — стал яркой, блестящей звездой еврейской сцены.

Молодой артист начал присматриваться к другим крупным звездам еврейской сцены в Нью-Йорке, начал допытываться: кто они, эти звезды? Откуда они появились? Кем были раньше? И снова был поражен: он услыхал столько причудливых, порой невероятных историй, столько изумительных биографий, что каждая из них могла бы стать содержанием объемистой и в высшей степени интересной книги...

И тогда загадка его собственной артистической карьеры стала для него яснее и понятнее. Многое, очень многое прояснилось у него в голове. Он узнал, что есть на свете школы, в которых обучаются театральному искусству. Но у евреев таких школ нет. Узнал, что есть на свете меценаты, жертвующие целые состояния на театр и искусство. Но среди евреев такой меценат еще не родился. Нет у нас ни театральной школы, ни меценатов, ни учителей, ни учебников, ни даже азбуки театрального искусства. Нет и самого искусства. Есть театры, есть актеры, есть таланты. Есть гениальные артисты, есть крупные яркие звезды, излучающие блеск свой далеко за пределы еврейской сцены, озаряющие своим сиянием арену мирового искусства.

Нередко случается, что дельцы из других — нееврейских — театров, услышав о появлении на еврейской сцене новой звезды, начинают проявлять к ней повышенный интерес; становятся частыми посетителями еврейского театра, увиваются вокруг новой звезды, умильно улыбаются блестящему актеру и не оставляют его в покое до тех пор, пока им не удается переманить его в свой театр, так что для еврейской сцены сверкающий блеск его звезды гаснет навеки. Слишком велико искушение для еврейского актера попасть на большую сцену, слишком велик соблазн комплиментов такого рода: «Ваше место не здесь. Вас ждет широкое поле деятельности, большая сцена и большая публика...»

Велик и неотразим соблазн попасть на большую сцену, и такому соблазну особенно часто поддаются еврейские актеры. Редко кто из еврейских «звезд» не мечтает о том, чтобы завоевать почетное место на подмостках нееврейской сцены. Но редко кому улыбается счастье, редко кому ценою героических усилий удается вырваться из своего тесного круга на широкий простор мирового искусства.

Наш герой Рафалеско был один из тех немногих счастливцев, который без особых усилий мог бы попасть на сцену одного из крупнейших английских театров в Нью-Йорке и сделать блестящую карьеру.

И если он устоял против соблазна, если он преодолел это искушение, то лишь потому, что в жизни его причудливо переплелись некоторые обстоятельства, которые будут описаны в ближайших главах нашего романа.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Наш герой ходит как неприкаянный

Странствующая актерско-музыкальная труппа «Кламер, Швалб и К°», прогремевшая в Америке «звездой из Буэнос-Айреса» и «ломжинским соловьем», торжественно готовилась к своему последнему и величайшему триумфу — к выступлению «всемирно известной звезды из Бухареста», нового молодого артиста Лео Рафалеско.

Наши старые знакомые — Нисл Швалб, с одной стороны, и мистер Никель, с другой, — делали все возможное, чтобы первый дебют Рафалеско был смертельным ударом для всех остальных театров Нью-Йорка. Две недели подряд кричащие, широковещательные афиши и анонсы в еврейских газетах возвещали трубными звуками, барабанным боем и громом литавр о новой звезде и на все лады прославляли молодого художника, которого «королева Кармен Сильва собственноручно венчала, а великий Зоненталь плакал, как дитя, когда увидел его в роли Акосты». Эта реклама была делом рук нашего комбинатора Нисла Швалба.

А мистер Никель ничего не делал, — он только переходил от столика к столику, заложив руки в карманы, и передавал всем в «кибецарне», что он пригласил к себе в театр на спектакль всех знатнейших «иудеев», как, например, Якова Шифа, Луи Маршала*, Натана Бижура и многих других, а некоторым вдобавок к этому шепнул еще на ухо, что, по его сведениям, в этот вечер прибудут в театр губернатор штата Нью-Йорк и еще несколько высокопоставленных американцев. Но он просил не разглашать этого, потому

что билетов в кассе почти нет. Лицо его при этом сияло, щечки горели, а золотые зубы ярко сверкали. Рокфеллер, Карнеджи, Вандербильд и другие миллиардеры Уолл-стрита вряд ли когда-либо в жизни были так счастливы, как мистер Никель в эти дни.

Зато Нислу Швалбу было не по себе. Его гениальная комбинация, имевшая целью соединить брачными узами его сестру с Рафалеско, до сих пор не дала результатов. Америка — страна бешеных темпов, страна шума, гама, грохота, треска и неуемной деловой суеты. И в этой сутолоке ему, Нислу Швалбу, просто некогда заниматься делами сестры. Все его время целиком поглощают дела «коммуны». Он, правда, пытался было потолковать с Генриеттой всерьез — напрасный труд! У нее на все разговоры один ответ: это, дескать, наша забота, — пусть не беспокоится. Целыми днями ей только и дела, что туалеты да беготня по фотографиям и тому подобные глупости.

Не нравится ему и поведение «парня» (как называл Рафалеско Гольцман). С тех пор как они приехали в Нью-Йорк, он начал вести себя как-то загадочно. Ходит, как лунатик, и по десять раз на день спрашивает, не было ли писем. И какие у него дела с этой комической фигурой в красной ротонде (Брайнделе-козак), которая всегда приезжает «на одну только минутку» и просиживает у Рафалеско или у Генриетты по три часа? Спрашивать у сестры — все равно, что обращаться с вопросами к дверной скобе. Что понимает эта, с позволения сказать, глупая индюшка? Помимо всего прочего, ей так вскружил голову успех в Нью-Йорке и этот блеф с первой премией, якобы полученной ею на парижской выставке красавиц, что с ней уж и говорить невозможно, — не приступись! Чуть что, она разражается потоком ругательств. Брат Изак говорит ему:

— Оставь в покое, Нисл, эту телушку. Вот-вот она станет коровой и подымет тебя на рога.

Изак прав: корова и есть! настоящая корова! Ведь будь у нее хоть капля ума, она бы меньше занималась такими глупостями, как фотографирование в

разных позах вместе с Рафалеско, а приняла бы все меры к тому, чтобы раз-два-три, — и под венец! До каких пор тянуть канитель?

Мистер Кламер тоже настаивает:

— Пеки пироги, пока жарко в печи. Или, как говорят англичане: «Если хочешь дело делать, не зевай, действуй!» Но кто виноват, что вы все идиоты?

Так говорит мистер Кламер. Да он ли один? Все вмешиваются в это дело. Всякий, кому не лень, свой нос сунет. Взять, к примеру, хотя бы жену ломжинского кантора. Приходит в своем новом манто, которое муж купил ей в Нью-Йорке, и каждый раз все тот же вопрос: «Когда же, наконец, родится мессия?» На что она намекает, эта «корова в рыжем парике»?.. Почему она больше всех других кручинится о судьбе Генриетты? И задрала же нос эта канторша с той поры, как ее муж, «ломжинский соловей», оперился, выбился в люди! Сам кантор тоже уже не тот, каким он был в Лондоне. Еще не так давно, когда был всего-навсего скромным «ломжинским кантором» и, живя в лондонском Уайтчепеле, тосковал по калачу, он был тише воды, ниже травы. Он казался таким тихоней, таким маленьким, что хоть под ноготок его посади. А теперь, с того дня как он в Америке и стал «ломжинским соловьем», его прямо не узнать. Вечно ему некогда, хлопот полон рот. Знай стоит с палочкой в руке, в ермолке на голове, и командует своей капеллой: «си-бемоль, фа-минор, эс-дур»! Фельдмаршал, да и только!.. Он с Нислом Швалбом скоро и разговаривать не пожелает, чтоб ему, Швалбу, так владеть всеобщим добром!..

В таких печальных размышлениях проводил время наш гениальный комбинатор в первые недели пребывания в Нью-Йорке, не переставая грызться с братом, сестрой и компаньоном. Но все это, по обыкновению, шло мимо нашего юного героя, Рафалеско, и совершенно не затрагивало его. Как и везде, Рафалеско и здесь, в новой стране, ходил по улицам огромного города, целиком погруженный в свои мысли и грезы, гулял среди людского потока, как в густом лесу, витая в мире мечты и фантазии. Какое ему дело до «ком-

муны» с ее расчетами, дрязгами, спорами, ссорами, постоянными перепалками? Ему ли тревожиться за свой первый дебют в Нью-Йорке, который, несомненно, пройдет с таким же триумфом, как повсюду и всегда до сих пор? Перед кем ему блистать, если на его дебюте не будет той, которую он так долго ждет, чье присутствие для него важнее всего на свете?.. А что ее не будет, он знает наверняка. Надежд никаких! Из всех его золотых сновидений ни одно еще не сбылось до сих пор. Все его надежды на Америку развеялись, как дым... Мадам Черняк напрасно обнадеживала его. Оказывается, за все время пребывания Розы Спивак в Америке мадам Черняк не удостоилась даже чести увидеть ее. Мадам Черняк, правда, ссылалась на то, что она слишком занята в театре на своей новой работе в этом шумном Нью-Йорке. Если бы она имела возможность хоть на один день вырваться к своей приятельнице Розе Спивак, все было бы «олл райт». Вот на будущей неделе у нее, по ее словам, свободный день, и она во что бы то ни стало соберется к Розе. Тогда уж действительно все будет «олл райт».

Так всякий раз являлась к Рафалеско Брайнделе-козак с новыми отговорками, новыми оправданиями и измышлениями, откладывая свидание с Розой со дня на день, обещая, что завтра уж обязательно достанет билет в оперу, где поет Роза Спивак, либо на концерт, где Роза Спивак выступает вместе со знаменитым Гришей Стельмахом. И назавтра, как водится, все обещания оказывались мыльными пузырями: билета ни за какие деньги достать нельзя, хоть положи на стол миллион...

Мадам Черняк до того опротивела Рафалеско, что он не мог спокойно смотреть на ее физиономию. И он отправился сам раздобыть билет на концерт Розы. Оказывается, вчера только она еще выступала в Нью-Йорке, а сегодня ее уже нет, уехала куда-то на гастроли. Когда вернется, неизвестно. «Ты был тряпкой и тряпкой окончишь век свой», — ругает себя самого Рафалеско, готовый загрызть себя живьем. Вокруг молодого артиста суетится вся «коммуна», все назойливо напоминают ему о предстоящем дебюте. Газетные

репортеры представляются ему, хотят его проинтервьюировать. Разные типчики улыбаются ему, делают заманчивые предложения. А тут еще пристает к нему Генриетта, беспрестанно морочит голову своими нарядами и фотографиями. А он сам не свой, ходит как неприкаянный.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Мефистофель в юбке

«Знай, Рейзл, что я — Лейбл, сын Бени Рафаловича, из Голенешти, — ты еще помнишь меня? — знай, что я нынче в Нью-Йорке выступаю в еврейском театре Никеля, и зовут меня теперь Рафалеско...»

Таково, по существу, должно было быть содержание письма, которое наш молодой герой задумал написать мисс Розалии Спивак. Коротко и ясно. О чем ему еще писать?

Так решил Рафалеско, взяв в руки перо. Но едва он сел писать, слова полились сами собой. Это было чуть ли не первое его серьезное письмо за всю жизнь. Мысль забила ключом и разлилась бурным потоком. Он рассказал ей всю историю своей жизни со дня их разлуки, начиная с той волшебной ночи, когда на «Божьей улице» в Голенешти вспыхнул пожар, и до сегодняшнего дня. Обо всем, решительно обо всем написал он ей. Все, что он пережил и перечувствовал на своем артистическом пути, все свои мысли и чувства, надежды и мечты, все свои радости и печали поведал он ей...

Нет, то не было любовное послание! Слово «любовь» ни разу не вырвалось из-под его пера. Слишком буднично, слишком банально прозвучало бы здесь слово «любовь». Слишком святы были те узы, которые соединяли их, слишком тонки были нити, связывавшие их прошлое с настоящим. И если в письме прорывались порой слова, полные задушевной теплоты и нежной ласки, то они были неясны, неопределенны, окутаны дымкой тумана.

Рафалеско говорил о той чудесной летней ночи, когда с неба дождем падали звезды, и просил ее припомнить, что именно она у него спросила о падающих звездах и что он ей ответил: «Звезды не падают, звезды блуждают...» Что было потом, она, надо надеяться, не забыла. И пусть она вспомнит заодно, как она однажды пошла к цыганке — это было в маленьком городишке, не то в Галиции, не то в Буковине — и просила ее погадать на картах. Что наворожила ей тогда цыганка? Не напомнила ли она ей о блуждающих звездах, которые стремятся друг к другу навстречу и никак не могут встретиться?

Рафалеско писал свое письмо иносказательно, уснащая его аллегориями, намеками и многоточиями. В заключение он просил ее не удивляться, что он посылает ей это письмо вместо того, чтобы прийти лично. Он не явился к ней лично по двум причинам. Во-первых, он слыхал, что к ней не так-то легко подступиться: надо раньше всего предстать перед мистером Борманом и сказать, какие такие «бизнесы» у него с мисс Розалией Спайвак. (Слово «бизнесы» он написал в кавычках, трижды подчеркнул и добавил восклицательный знак.) Во-вторых, он дал ей понять самым деликатным образом и с большим количеством многоточий, что он боится помешать кому-либо из «тех господ», которые ее окружают и в настоящее время с таким успехом выступают вместе с ней на сцене.

Наш молодой дипломат вполне сознательно написал слово «господа» во множественном числе, хотя в Нью-Йорке всякий ребенок знал, что вместе с Розалией Спивак выступает на сцене только один человек — Гриша Стельмах...

Гриша Стельмах! Это имя уже давно мелькает перед глазами Рафалеско и не дает ему покоя. «Кто он? Каков он? Что он собой представляет?» Как ни влечет Рафалеско к Рейзл, он все же хотел бы раньше повидать этого Грушу Стельмаха, хотя бы издали посмотреть, каков он собой. Стоит ему услышать это имя, и сердце его пронизывает острая боль, словно его колют иголками. А тут еще мадам Черняк запустила ему в душу змеиное жало, обронив как бы

мимоходом: ей, дескать, доподлинно известно, что Гриша Стельмах и Роза Спивак — жених и невеста, что они не сегодня-завтра повенчаются...

Почему Брайнделе-козак взяла на себя роль Мефистофеля? Вот как это произошло.

Брайнделе-козак вела сложную сеть интриг только из чувства мести. Прежде всего, она хотела отомстить своему кровному врагу Гоцмаху, отобрав у него примадонну и переманив «парня». Поскольку ей это удалось, ее цель, в сущности, была достигнута. Чего же ей еще? Казалось, на этом можно и успокоиться. Обязана ли она, скажите на милость, заботиться о счастье всех людей на свете? Где это сказано, что она должна распинаться за Рафалеско? За Рейзл Спивак? Пускай хоть головой о стенку стукаются! Много ли найдется людей на свете, которые пекутся о мадам Черняк? Если она, сохрани боже, — страшно даже подумать об этом! — потеряет службу, кто ей придет на помощь в этом кипящем котле, которому имя Нью-Йорк? О помощи со стороны мужчин и говорить нечего, будь они трижды прокляты! Холера бы их передушила всех вместе и каждого в отдельности, — да так, чтобы от них следа не осталось!.. Но даже такая девушка, как Роза Спивак, с которой она, мадам Черняк, жила душа в душу, вместе по свету скиталась, вместе томилась в когтях у Щупака, из одной тарелки ела, в одной с ней постели, можно сказать, спала, — даже Роза, видать, отвернулась от нее. Приходит она, мадам Черняк, здесь в Нью-Йорке с визитом к Розе, а ее и на порог не пускают. Она, Брайндл Черняк, написала Розе коротенькую записку: «Розочка! Душенька! Мадам Черняк хочет с тобой повидаться...» Ей даже не ответили. Она еще записочку — опять ни ответа, ни привета.

Приехал в Нью-Йорк Рафалеско, она встретила его как родного, бросилась ему на шею, обнимала, целовала, окружила вниманием и заботой, душу готова была ему отдать, а он еще недоволен, дуется. За что, спросите? Ему бы хотелось, чтобы она, мадам Черняк, на ковре-самолете доставила ему Розу Спивак с Гришей Стельмахом... «Ах, эти мужчины, сгореть бы

им всем на медленном огне! Когда им что приспичит, подавай им это сию же минуту на тарелочке, хотя бы для этого понадобилось, чтобы земля разверзлась и небо раскололось пополам. Погоди немного, мой милый Рафалеско. Дай раньше наговориться всласть. Скажи, как поживает Гоцмах, погибель на него! А как его красотка сестрица, чтоб ей околеть? А старая кляча, ее мамаша? Все еще жива эта ведьма?»

Такими и подобными вопросами осыпает Брайнделе-козак своего юного друга и никак не может понять, почему «парень» дуется. К чему это притворство? Зачем он трагедию перед ней разыгрывает? И чего он так убивается по Розе Спивак?..

Стоит Брайнделе-козак вспомнить это имя, как все в ней начинает кипеть и бурлить от гнева. Какой позор! Какая обида! Ужас! Уму непостижимо! Ее, мадам Черняк, не соизволили принять. Не допустили к себе, не ответили на ее письма. И кто?! Дочь кантора, у которой не так давно была всего-навсего одна пара штопаных чулок. Ну, хорошо, счастье тебе улыбнулось, ты стала знаменитостью. Так что же? Зазнаваться надо? Можно быть богатой, знаменитой, великой, подняться невесть на какую высоту, но это не дает права третировать другого, как собачонку. Чем выше летишь, тем ниже падаешь... Видали мы и таких!.. Вот ведь Генриетта тоже примадонна, тоже знаменитость, о ней тоже все газеты трубят. Когда она появляется на сцене, весь театр ходуном ходит. И все же полюбуйтесь, как она проста, доступна, обходительна и ласкова с ней, с мадам Черняк, — прямо как сестра родная! Оттого и она, мадам Черняк, предана Генриетте, как сестра, знает все ее тайны; каждый день, улучив свободную минуту, забегает к ней на «считанных несколько секунд» и засиживается часами. Нет конца их разговорам. И всегда есть, о чем поговорить, одно удовольствие! Часто они лепечут до тех пор, пока не надвигаются сумерки. Тогда мадам Черняк, ударив себя по толстым ляжкам, хватает красную ротонду, приговаривая: «Ох, горе мне! Беда-то какая! Гром меня поразил. Уже ночь!» И, приплясывая на ходу, Брайнделе-козак бежит по улицам Нью-Йорка, хватает первого

попавшегося извозчика и спешит в свой театр на работу. А в голове копошится и зреет чудесный мефистофельский план: возможно скорее сосватать и повести под венец молодую парочку — Генриетту и Рафалеско. Не будь ее имя Брайндл Черняк, если она не поставит на своем! О, это будет веселая, шумная, знатная свадьба! Газеты будут трубить во все рога, «кибецарня» будет сплетничать и злословить, а она, мадам Черняк, будет играть роль самой близкой сватьи. Чьей? Жениха? Невесты? Нет, обоих!.. И она пустится в пляс, хи-хи-хи, с этим верзилой Нислом Швалбом. А актерская братия как напьется, — пойдет гульба до самого утра. Потом она, мадам Черняк, придет домой и напишет Розе Спивак мефистофельское письмо-поздравление по случаю только что состоявшейся свадьбы... Или нет! Может быть, лучше так... В захватывающих, душераздирающих романах, которые мадам Черняк читает каждый день в газетах, развязка бывает совсем иная. Надо устроить так, чтобы Роза получила приглашение на свадьбу заблаговременно, но опоздала бы и попала как раз в ту минуту, когда жених и невеста уже стоят под венцом. Рафалеско надевает невесте на палец кольцо и произносит: «Ты посвящена мне по закону Моисея и Израиля...» Роза падает в обморок. Поднимается суматоха... В это мгновение вбегает ее жених (молодой Стельмах), и пускает себе пулю в лоб... Чем Гриша Стельмах заслужил такую кару,— не спрашивайте. Когда в сердце человека пылает пламя мести, он не разбирает ни правых, ни виноватых, и кровь льется рекой.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Брайнделе-козак в роли свахи

Это было за несколько дней до первого дебюта в Нью-Йорке новой звезды из Бухареста Лео Рафалеско. Все приготовления уже кончены, все репетиции уже позади. Мистер Никель чуть не каждые две

минуты звонит по телефону из театра «коммуне», что дела идут олл райт, что скоро на спектакль с участием Рафалеско не останется ни одного билета, что билеты хватают из рук, у кассы началась драка, что уже ломают двери и он боится, как бы не разнесли театр... Но на «коммуну» эти потрясающие известия не производили особого впечатления. Все прекрасно знали, что большую половину из того, что говорит Никель, можно без всякого ущерба отбросить, одну треть кинуть на дно моря, а остальное раздарить беднякам...

Из членов «коммуны» в это время были дома братья Швалб, мистер Кламер и ломжинский кантор. (Генриетта с Рафалеско пошли фотографироваться в новой позе.) Настроение у компании было неважное — и не потому, чтобы дела шли нехорошо. Наоборот, перспективы были блестящие, акции «коммуны» изо дня в день повышались. Не хватало только того, что всегда и везде не хватает в любом человеческом обществе: чувства товарищества, солидарности, мира и согласия. Споры между компаньонами не прекращались. Всякий считал себя выше всех и ни во что ставил других. Старший из Швалбов, Нисл, например, хвастал, что вся эта комбинация — дело его рук, и только. Не будь его, Нисла, с его блестящей идеей, — где бы они теперь были? А мистер Кламер утверждал, что если бы не его капитал, они все теперь ходили бы с сумой по домам и побирались бы. Но тут ломжинский кантор немедленно обрубил крылья мистеру Кламеру: кому, мол, нынче нужен его капитал? Можно уже, слава тебе господи, обойтись без его помощи. Во всяком случае он, ломжинский кантор, уж наверняка сам за себя постоит.

Эти слова взорвали всех компаньонов, даже младшего из Швалбов — Изака, который со свойственной ему тонкостью обращения спросил кантора, помнит ли он лондонский Уайтчепель, сырой подвал с огромной печью, которая тосковала по полену дров и никогда в глаза не видала полной кастрюли, кроме суббот и праздников, да и то лишь в тех случаях, когда брату Нислу удавалось собрать для него у добрых людей несколько шиллингов...

Разумеется, этот деликатный намек не мог прийтись по вкусу кантору. Он весьма недвусмысленно напомнил Изаку Швалбу, что его место — в театре под самым куполом и что его дело — хлопать руками, а не трепать языком.

На это Нисл Швалб не постеснялся ответить, — тоже в весьма иносказательной форме: если, мол, наступит время, когда его рукам придется поработать,— а такое время, по-видимому, уже наступило, — тогда несдобровать ни бороде, ни физиономии ломжинского кантора.

Скандал, казалось, был неминуем. Но в этот момент доложили, что пришла какая-то леди.

Все четверо переполошились.

— Леди? К кому? Ко мне?

— Леди спрашивает старшего мистера Швалба.

Нисл Швалб встал, привел в порядок свой туалет, открыл дверь... и чуть не разразился потоком проклятий.

Заметив изумление Швалба, леди Брайнделе-козак (то была она) сделала изящный реверанс и сообщила, что у нее к нему важное дело.

— Дело?

— Дело.

— Секрет?

— Секрет.

Раз речь идет о деле, да еще о секретном, надо пригласить леди в отдельную комнату и выслушать ее,— необходимо узнать, какое у нее к нему дело и что у нее за секрет.

Брайнделе-козак, как водится, начала с длинного предисловия, углубилась во времена давно прошедшие, когда она была еще молодой девушкой и понятия не имела о Щупаке — погибель на него!.. Ей тогда и во сне не снилось, что она очутится когда-нибудь в стране Колумба и займет такую неподходящую должность. То есть она, собственно, не жалуется на судьбу, — она знает, что немало людей ей завидуют и охотно заняли бы ее место. Как-никак у нее есть кой-какие сбережения с прошлых лет. Не такие

уж большие сбережения, но, слава богу, она может прожить век свой без чужой помощи.

Увидя, что почтенная леди пустилась в слишком далекое путешествие, Нисл Швалб извинился, что прерывает ее: его необычайно радует, сказал он, что она может обойтись без чужой помощи. Но дело в том, что он сегодня очень занят, — у них нынче самая жаркая пора — выступление премьера Лео Рафалеско.

— О нем-то я и хочу поговорить, — сказала Брайнделе-козак.

Нисл Швалб заглянул в ее маленькие японские глазки, окинул взором ее потное, красное, круглое, лунообразное лицо и спросил полусерьезно, полушутя:

— На примерку?

— На какую примерку?

— Простите, я хотел сказать, что, например, вы можете мне сообщить о Рафалеско?

— Гм... Что я могу сказать о Рафалеско, хотите знать? Дайте-ка вашу руку.

— Хоть обе...

Брайнделе-козак сначала вытерла платком свое красное вспотевшее лицо, затем придвинула свой стул к стулу собеседника так близко, что на него пахнуло теплом ее тела, запахом мятных капель и туалетного мыла, смешанным с острым ароматом пота и зеленого лука.

Она рассказала, по возможности кратко, что она пришла в качестве свахи, но свахи бескорыстной. Вся ее корысть в том, что она — приятельница Генриетты. Дай ей боже хоть половину того, что она, Брайндл Черняк, ей желает. И если он, Нисл Швалб, хочет, чтобы его сестра Генриетта носила фамилию Рафалеско, то он должен постараться, чтобы это произошло как можно скорее, — не то будет поздно.

Брайнделе-козак отодвинула стул на несколько шагов, еще раз вытерла платком свое потное лунообразное лицо, уставилась на Швалба своими маленькими японскими глазками и, плотно сжав губы, улыбнулась с видом человека, который знает какую-то очень важную тайну, но не может ее открыть...

Как ни бился Нисл Швалб, стараясь выведать эту тайну, как ни божился, повторяя свои излюбленные клятвы, — «как вы видите меня плавающим», «клянусь всем вашим добром» и «подавиться мне этим столом, если я лгу», — Брайнделе-козак была непреклонна. Она закуталась в свою красную ротонду и... «гуд бай»!

— Замок на язычок и — молчок! — сказала она уже на пороге, приложив палец ко рту, и на ее круглом лице расплылась широкая улыбка, обнажившая два ряда здоровых сверкающих белизной зубов. — Помните же, что вам сказано: чем раньше, тем лучше для всех вас и — молчок! Гуд бай!..

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Канторша Лея в Нью-Йорке

Более чем естественно, что такой «любитель еврейского театра», как Меер Стельмах, одним из первых полетел в театр Никеля смотреть и слушать новую «звезду из Бухареста». Удивительным может показаться лишь то, что он отважился взять с собой и «детей» — Гришу и Розу, которых он, как мы знаем, держал в футляре, с которыми боялся появиться на людях, а тем более показаться с ними в еврейском квартале Нью-Йорка. Это, по его теории, могло — чего доброго! — совершенно скомпрометировать обоих знаменитостей. Чтобы объяснить такую непонятную решимость Стельмаха взять с собою детей, нам придется вернуться к героине нашего романа.

Из письма Меера Стельмаха к своему другу мы уже знаем, что Роза задумала выписать в Америку свою мать, оставшуюся вдовой после смерти мужа кантора Исроела. Сказано — сделано. Роза Спивак не из тех, кто любит долго раздумывать. Полетели телеграммы из Нью-Йорка в Голенешти, и поток их не прекращался до тех пор, пока не была получена ответная телеграмма канторши Леи с сообщением,

что она едет. Канторшу Лею, разумеется, эти настойчивые телеграммы дочери не на шутку взволновали и обеспокоили. Не иначе, как с дочерью стряслась беда; может быть, сохрани боже, она даже при смерти. «Не то, зачем бы ей понадобилось так бомбардировать мать телеграммами, — ведь в них за каждое слово приходится платить чуть не по червонцу?» Канторша Лея впоследствии сама призналась дочери, что если бы не страх за ее жизнь, она уж конечно не торопилась бы с приездом:

— Во-первых, чего я тут не видала, в Америке? А во-вторых, что будет с бомбой?

— С какой бомбой?

— С домом богача, что ты мне навязала в Голенешти? Слыханное ли дело? Было бы это в сезон, когда люди меняют квартиры, можно было бы хоть квартиранта достать. Да и то сказать! — у нас в Голенешти мало охотников найдется на такие хоромы.

Так объясняется с дочерью канторша Лея, извергая фонтан слов и заканчивая, по обыкновению, своим излюбленным «слыханное ли дело».

Можно утверждать с полной уверенностью, что Роза Спивак уже раскаялась в своей затее, потому что в тот самый день, когда должна была приехать мать, между Розой и отцом Гриши Стельмаха чуть было не вспыхнул серьезный конфликт. Как человек практический, Стельмах спросил ее, что она собирается делать с матерью. Роза ни слова не ответила. Нет, она только смерила Меера Стельмаха взглядом своих черных цыганских глаз. Но это был такой взгляд, что Стельмах предпочел бы ему самую озлобленную словесную отповедь. Меер Стельмах не любил этого молчаливого взгляда Розы. Это — безмолвие океана перед штормом, это — затишье перед бурей... И он начал оправдываться: он, сохрани боже, ничего дурного и в мыслях не имел. Его прежде всего интересует вопрос о квартире для мамы, а главное — чем бедная мама будет питаться?

Роза поняла.

— Ах, вот вы о чем.

Недолго думая, она подбежала к телефону и потребовала, чтобы ей немедленно был подан автомобиль: ей надо съездить на несколько минут в еврейский квартал — нанять комнату для матери в еврейском доме и обеспечить ее кошерной пищей.

— Сохрани тебя господь! Этого еще не доставало!..

Меер Стельмах встрепенулся и вскочил с места, как человек, ошпаренный кипятком или облитый горячим уксусом. Он долго и настойчиво отговаривал Розу от поездки в еврейский квартал, призвал даже на помощь сына, пока ему не удалось, наконец, уговорить ее остаться дома. Он, Меер Стельмах, сам поедет, куда надо, сам снимет комнату для канторши в приличном доме и уж конечно постарается, чтобы все устроилось к лучшему, — «олл райт», как говорят американцы.

И все было в самом деле олл райт. Но нелегко досталось это Мееру Стельмаху. Натерпелся он, бедняга, от канторши вдоволь. Счастье его, что у него есть близкий друг, перед которым можно излить душу хотя бы на бумаге.

И Меер Стельмах написал другу письмо, как всегда длинное-предлинное, на двенадцати страницах, густо усеянных маленькими, бисерными буквами. Он поведал другу свое горе, рассказал о тех мытарствах, которые выпали на его долю по милости голенештинской канторши. Ему пришлось самому снять для нее комнату и притом непременно у бессарабского еврея, а затем он должен был познакомить ее с ближайшими соседками. После этого надо было купить для канторши две пары подсвечников и притом обязательно медных. Лея клялась счастьем дочери, что, с тех пор как она хозяйка, она творила молитву только над свечами, вставленными в медные подсвечники. Бросай, стало быть, все дела и бегай по всему Истбродвею *, разыскивая медные подсвечники. Меер Стельмах здорово запарился, покуда достал их. Но этим его мытарства не кончились: надо было еще найти для канторши синагогу, где она могла бы молиться по субботам и праздникам. А

когда и синагога была найдена, канторша Лея вдруг спохватилась, что в спешке забыла в Голенешти свой толстый-претолстый молитвенник, оставила его у переплетчика, — изволь отыскивать в Нью-Йорке точно такой же. Ну, а чего стоило обеспечить благочестивую канторшу кошерным питанием, найти для нее подходящий ресторан! В первом же ресторане, куда Меер Стельмах свел канторшу, ей на следующий день предложили какое-то блюдо, которое называется у них «брек-фиш»[1]. Лея заявила, что простую рыбу она будет есть, но «брек-фиш» — ни за что на свете! Ведь кто ее знает, что это за рыба? А вдруг раки? Напрасно ее старались убедить, что ей предлагают вовсе не рыбу и не раков, а мясо; что это вовсе не брек-фиш, а брекфест, что по-английски означает завтрак. Лея настаивала на своем: называйте, мол, как хотите, но нечистой пищи она до сих пор никогда не ела и есть не будет.

Словом, бедный Стельмах намаялся с канторшей немало, и вконец измучился. Но чего не сделает отец ради сына? Во-первых, он, Меер Стельмах, не желает, чтобы Роза появлялась вместе с матерью в центре еврейского квартала, — этого только недоставало! А во-вторых, он надеется, что при содействии канторши Гриша и Роза, с божьей помощью, быть может, в ближайшем будущем повенчаются...

Правда, на первых порах Мееру Стельмаху пришлось с канторшей очень туго. Он чуть не начал харкать кровью, пока добился ее согласия на брак Розы с Гришей. Ну и времена наступили, если он, Меер Стельмах, должен навязываться со своим Гришей, чуть ли не на коленях ползать перед какой-то голенештинской канторшей, чтобы вымолить у нее согласие. Но чего не сделает отец ради сына? Канторша, понимаете ли, заявила раз и навсегда: Гриша безусловно очень порядочный молодой человек, что и говорить! И заработок у него обеспеченный, — кто спорит? Но что с того, раз он, бедняга, что ни говори,

---

[1] Фиш *(нем., еврейск.)* — рыба.

принадлежит к музыкантской братии? Слыханное ли дело?

Бедный Стельмах старался втолковать ей, что его сын имеет такое же отношение к тем музыкантам, которые у них в местечке играют на свадьбах, как он, Меер Стельмах, к раввинскому званию.

— Так он не музыкант? — отвечает Лея. — Чем же он занимается? Священные книги переписывает на пергаменте?

Стельмах старался дать ей понять, что его сын артист. Но она ответила на это: «Пусть хоть тридцать раз артист, но ежели он играет на скрипке, стало быть он музыкант. Правда, он очень порядочный молодой человек, и заработок у него обеспеченный, кто спорит? Но пусть ему господь пошлет суженую под стать, слыханное ли дело? А ее дочери пусть бог пошлет более подходящего жениха, потому что ни отец ее, — царствие ему небесное! — ни ее деды и прадеды никогда не играли на скрипке и не занимались музыкантским ремеслом». Занозистая баба, что и говорить!

Но зато, когда Стельмах добился наконец ее согласия на брак Рейзл с Гришей, она оказалась для него настоящим кладом. Трудно было только уговорить ее, но стоило канторше, после зрелого раздумья и наблюдения за молодым человеком, убедиться, что он — вполне подходящая пара для Рейзл, она принялась обрабатывать дочь со свойственной ей энергией и настойчивостью. Она насела на нее и не давала ни минуты покоя: раз и навсегда надо положить конец, — до каких пор ей гулять в девках? В их семье еще не бывало, чтобы девушка, сохрани господь, засиживалась до седых волос... Если бы он — царствие ему небесное! — был жив, он бы от души радовался ее счастью. Он, без сомнения, сказал бы, что это от бога... Но раз господь его покарал и он — мир праху его! — не дожил до этой радости, то пусть хоть она, мать, покуда ноги носят ее грешное тело, сподобится видеть счастье своей дочери, — слыханное ли дело?..

. . . .

«Одним словом, что тут долго распространяться, мой милый друг? Поистине велик и милостив наш бог, и я каждодневно благодарю его и возношу ему хвалу за то, что он прислал мне эту канторшу, которая покоя не дает своей дочери. И я, надо надеяться, в ближайшем будущем оповещу вас о дне бракосочетания, а может быть, и приглашу вас приехать к нам на свадьбу, — либо в Лондон, либо сюда, в Нью-Йорк. Вы, конечно, останетесь нашим другом и, без сомнения, не откажете нам. Но, боже мой! Как бы скорее дожить до этого счастливого дня, владыко небесный!»

Этими словами закончил Меер Стельмах одно из самых длинных и самых задушевных, можно сказать патетических, писем, написанных им своему лучшему другу.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Поздравляем!

Это подтвержденное веками правило, что добрые вести никогда не приходят тогда, когда их ожидают, а всегда неожиданно.

Меер Стельмах сидел за письменным столом у себя в номере гостиницы и писал письмо домой, к жене. Он жаловался на Америку, заброшенную бог весть как далеко, оторванную от всего мира. Жаловался на шум и гам, на вечную суету и беготню — настоящий базар! Ярмарка! Но больше всего он был недоволен детьми — все тянут да тянут волынку.

«Что мне писать тебе, дорогая жена? Дальше первой страницы у них все еще дело не пошло, — исповедовался Меер Стельмах перед женой. — У них бесконечная канитель, затяжная болезнь, затянувшаяся лю...».

Он хотел, очевидно, написать «любовь», но вдруг кто-то постучался в дверь.

— Ком ин, войдите, — сказал Стельмах по-английски, но с таким ясно выраженным еврейским

акцентом, с таким переливчатым синагогальным напевом, что получилось слово, только отдаленно напоминающее английское «кам ин»[1].

Вошли «дети» (Гриша и Роза), оба в спортивных костюмах, с сияющими лицами и сверкающими глазами.

— Папа, поздравь нас!..

В первую минуту Меер Стельмах остолбенел, и лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он еще никогда не видал своего Гришу в таком счастливом возбуждении. У Розы тоже, — так казалось ему, — никогда еще так не сияло лицо, не блестели глаза, как в это утро. Оба цвели, как весенние цветы. Отец не в состоянии был тронуться с места. Он только переводил взгляд с Гриши на Розу, с Розы на Гришу: «Неужели свершилось?» Его даже в пот бросило. Наконец, глубоко вздохнув и опершись на стул, он едва слышно произнес:

— Вот как! Вас, говорите вы, поздравить можно? Что же вы молчите? И чего это я сижу как истукан? Подойдите-ка ближе, я вас поздравлю.

Счастливый отец вскочил, подбежал к сыну и Розе, бросился им на шею и стал поочередно осыпать поцелуями то Гришу, то Розу, не замечая, что слезы блестят у него на ресницах.

Сын, также очень возбужденный, заметил слезы отца.

— Чего же ты плачешь, папа?

— Что ты! Разве я плачу?— Он стал вытирать свои влажные глаза. — Кто тебе сказал, глупенький, что я плачу?

— Да нет же! Боже сохрани! Кто сказал, что вы плачете? — с усмешкой сказала Роза. — Вы, конечно, не плачете, но слезы у вас льются, льются из глаз, как у мамы моей в Судный день... Что же тогда будет с мамой, когда до нее дойдет эта радостная весть? Гриша! Едем к моей маме!

Отцовское сердце преисполнилось невыразимой радостью, оно млело от избытка счастья.

---

[1] Войдите.

— К маме! к маме! — подхватил Меер Стельмах слова Розы и заметался по комнате, шаря у себя в карманах и сам не зная, чего, собственно, он ищет. От волнения он забыл даже, что надо протелеграфировать в Лондон жене и порадовать ее счастливой вестью. Он уселся вместе с детьми в их автомобиль, и все трое помчались в еврейский квартал к канторше Лее поздравить ее с великой радостью.

Канторша Лея, по обыкновению, сидела за толстым-претолстым молитвенником, углубившись в чтение молитвы, когда к дому, где она жила, с шумом подкатил шикарный автомобиль, с чернокожим лакеем в белых вывороченных наизнанку сапогах.

В Нью-Йорке автомобиль и негр на нем, правда, не такая уж редкость, чтобы вызвать сенсацию. Но здесь, в еврейской части города, это явление не столь частое и весьма занятное для мальчишек. Есть на что поглядеть, о чем поговорить, что погладить рукой. Если бы не сидел за рулем шофер в огромных очках, который в случае чего может хватить по загривку, ребята, вне всякого сомнения, забрались бы в этот чудовищный экипаж, видом своим напоминающий живого зверя на колесах, и совершили бы прогулку по городу — на страх всем жителям еврейского квартала, и знай наших!

Первым выскочил из автомобиля Стельмах-отец. Он хотел раньше всех обрадовать канторшу счастливой вестью и первым поздравить ее. И он ворвался к ней в комнату, как вихрь:

— С добрым утром! Мазлто́в! [1] Знаете, мы с вами уже породнились.

Стельмах был убежден, что при этом известии канторша сразу отложит в сторону молитвенник и бурно проявит свой восторг. Но он жестоко ошибся. Молча указав ему на стул, она стала лицом к стене, чтобы произнести молитву «Восемнадцать благословений»*. Стельмах уселся в сторонке. Детям, приготовившимся торжественно приветствовать мать, тоже пришлось безмолвно дожидаться конца молитвы. Только кончив

---

[1] Мазлтов *(древнееврейск.)* — с добрым счастьем.

молиться и выслушав поздравления, Лея загнула страничку в молитвеннике и обратилась к детям:

— Мазлтов! В добрый час, дети! Дай боже в добрый и счастливый час! Что еще человеку нужно, слыханное ли дело? Раз всевышний дает детей, они должны радовать нас, стариков. Горе лишь тому, кто лежит в сырой земле! Если бы он, царствие ему небесное, был теперь здесь...

И она спрятала лицо в передник.

— Оставьте покойников в покое, сватья! — прервал ее Стельмах, желая вывести канторшу из скорбного настроения. — Поговорим лучше о чем-нибудь более веселом.

Канторша подняла на него раскрасневшееся лицо с заплаканными глазами.

— Более веселом? Кому весело, а кому горько, слыханное ли дело? Кто смеется, а кто плачет. У кого ноет сердце, а кому хочется плясать. Как сказано в новогодней молитве...

Канторша собиралась как следует отчитать своего нового родственника, но тут вмешалась дочь, которая в то утро была в удивительно веселом настроении:

— Мама, оставь новогоднюю молитву до будущего Нового года. А теперь, когда ты дождалась радости увидеть дочь свою невестой, — ведь ты сама меня уговаривала, можно даже сказать, подбила на это, так давай подумаем, как бы получше провести сегодняшний вечер.

— Дитятко мое, о чем тут думать? Надо пригласить людей, написать по форме условия помолвки, отпраздновать помолвку и, как полагается, бить тарелки. Мы ведь евреи, слыханное ли дело?

Как же горько было бедной матери услышать от дочери, что никого приглашать не надо, «условия» писать незачем, бить тарелки тоже ни к чему: у них дело решенное, они объявили себя женихом и невестой, и больше ничего не требуется.

Изумленными глазами глядела богобоязненная мать на прекрасную счастливую парочку и была не совсем довольна. Брак, правда, весьма подходящий,

лучшего — не сглазить бы! — и желать не надо: оба молоды, красивы, богаты, оба на вершине славы. Хвала всевышнему, она не жалуется, не ропщет. Никаких претензий к богу она не имеет. Но все же, почему бы ему, к примеру, не распорядиться так, чтобы все было устроено немного более на еврейский лад, по всем правилам веры и обычаям старины? Разве не было бы благопристойнее, красивее, если бы в комнате теперь находился десяток евреев, настоящих евреев, — таких, как у нее на родине, — с бородами, с покрытыми головами? Если бы среди этого десятка были и раввин, и кантор, и синагогальный служка? Раввин скрепил бы «условия», кантор прочитал бы их вслух, а синагогальный служка швырнул бы на пол первую попавшуюся тарелку, и все собравшиеся хором возгласили бы мазлтов! мазлтов! Что хорошего в том, что невеста и жених стоят, прижавшись друг к другу, рука об руку? Жених без шапки, и даже его отцу, ее свату, шапка, видимо, слишком тяжела, голову давит. Никудышная страна Америка!

Предаваясь этим размышлениям, благочестивая канторша обрушила весь свой гнев на Стельмаха-отца за то, что он тоже сидит без шапки.

— Ну, ладно, уж коли молодежь распущена, тут ничего не поделаешь. Современные люди, как вы говорите, артисты. Но вы-то, вы — человек с бородой, тоже без шапки, слыханное ли дело?

При этих словах все переглянулись: в последнее время борода Меера Стельмаха подверглась в парикмахерской такой бесцеремонной обработке, что от нее остался лишь едва заметный след. И все, кроме канторши, прыснули со смеху. Канторша Лея подняла вверх свои набожные глаза, увидела жалкие остатки бороды на лице своего свата и ничего больше не сказала. Только глубоко вздохнула и, снова развернув толстый молитвенник, начала быстро шептать нараспев:

— «Страж Израиля, сохрани остаток Израиля, и да не погибнет род Израиля, произносящий: «Слушай Израиль!»

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Счастливый день

Счастье, как и несчастье, — такие гости, которые, раз забравшись к кому-нибудь, засиживаются надолго и забывают дорогу обратно. Лишь только улыбнется судьба человеку, удача прет к нему со всех сторон.

Меер Стельмах был одним из тех баловней судьбы, которого счастье, улыбнувшись ему однажды, уже не оставляло своей лаской. Богатство и почести ливнем лились на него с неба, стучались к нему в окна и двери. Одного ему недоставало — счастья вести под венец сына. И вот наконец он дожил и до этого радостного дня.

Если когда-либо жил на земле счастливый отец, то им был в этот день не кто иной, как блаженнейший из всех отцов — Меер Стельмах. Он буквально земли под собой не чувствовал, точно парил в воздухе. Захлебываясь от полноты счастья, он повел Розу и Гришу в самый богатый ювелирный магазин Нью-Йорка, велел показать самые дорогие брильянты и предложил Розе выбрать себе за его счет самое лучшее и самое дорогое — «не жалеть его денег».

Роза снизошла к его просьбе: она, действительно, не пожалела его денег и выбрала все, что было ей по душе.

Меер Стельмах признавался потом, что это был первый случай в его жизни, когда он так расточительно-щедро и с таким легким сердцем швырял деньгами. Казалось, во всем мире нет таких благ, какие он в тот день пожалел бы для Розы. «Душенька, хоть полцарства проси! — восторженно говорил он Розе. — Хоть звездочку с неба!»

После обеда, «когда развеселилось сердце царя от вина»*, Стельмах-отец сидел в комнате сына, развалившись в кресле, с гаванской сигарой во рту. Сын, расхаживая взад и вперед по комнате, импровизировал на своем Страдивариусе. Меер Стельмах подсел к Розе и тихо, таинственным голосом стал ей нашептывать на ухо что-то необычайно приятное.

Сущность увлекательной тайны, которой он делился с Розой, заключалась в следующем: знает ли она, какое приданое имеется за Гришей?

Роза, сидевшая облокотясь на стол и глаз не спускавшая с Гриши и его скрипки, не слышала и слушать не хотела секреты Стельмаха-отца. Всей душой, всеми чувствами и помыслами, была она в том мире, где рождались неземные мелодии, которые великий волшебник Гриша Стельмах так плавно и с такой легкостью извлекал из своего старого Страдивариуса.

Не великолепный, сверкающий огнями концертный зал, не пышные королевские дворцы вдохновляли юного маэстро. Нет, одно-единственное слово, простое, чудесное слово «да», которое Роза только сегодня произнесла, окрылило молодого, но великого волшебника, возбудило все его творческие силы, унесло в мир упоительных звуков, восхитительной музыки, райских песнопений... И вот он на своем Страдивариусе творит чудеса...

Его скрипка не играла, а говорила, говорила на том божественном языке, на котором умеет говорить лишь великий художник и который доступен пониманию лишь такого же вдохновенного художника. Казалось, ангелы реяли в этом мире небесных мелодий, в этом море неземных звуков. Как волны морские, они то круто взмывали вверх, то стремглав падали. Переливаясь на тысячи ладов, эти чудесные звуки посылали привет всему живому. Они пели хвалу и славословили того, кто сотворил этот прекрасный мир, полный красоты, чарующих звуков, упоения и любви... Давно уже Гриша Стельмах так не играл. Нет, никогда в жизни он не играл так, как в то утро. То был праздник его сердца, жизнерадостный, ликующий гимн его души. Благоухающие сады расцветали в его сердце, тысячи птиц щебетали в его садах. А он неумолчно говорил на своем божественном языке, и звуки его песнопений лились все звонче, все сладостнее. Вдохновенный мастер не переставал рассказывать Розе на своей скрипке таинственные сказки, навевая золотые грезы. А Роза, больше, чем кто бы то ни было другой понимавшая этот божественный язык,

вся, всем существом своим, окунулась в мир волшебных сказок и светлых грез. Ей казалось, что вот-вот она умрет, вот-вот душа ее покинет бренное тело и растворится в мире звуков, потонет в бездонном море неземной музыки, небесных мелодий.

Гриша кончил. И Роза, забыв о присутствии Стельмаха-отца, бросилась артисту на шею... В эту минуту она готова была кинуться к его ногам, — до того она была опьянена его игрой. Но, тотчас овладев собой, она подбежала к роялю, подняла крышку, взяла несколько мощных аккордов и запела. То была чистейшая импровизация, без определенной темы, без нот, плод вольного вдохновения... Казалось, не она поет, а звуки сами льются из души, рассыпаясь звонкой, переливчатой трелью. В воздухе реяли умилительные мелодии, чарующие напевы, каких не слышало еще ни одно человеческое ухо, каким не внимал еще ни один концертный зал.

Так поет одинокий соловей в лесу, поет для себя самого, изливая в песне свои сокровенные чувства, глубокую тоску своей осиротелой души... То был изумительный, редкий концерт, концерт-импровизация.

«Сколько тысяч долларов заплатил бы предприимчивый янки за такой концерт?» — размышлял про себя счастливый отец, единственный слушатель этой поразительной импровизации, млевший от восторга и упоенья.

— А знаете, дети, что я вам скажу? — воскликнул полный блаженства Меер Стельмах. — Угадайте, что я сейчас придумал.

— Что вы сейчас придумали? — спросили оба одновременно, повернув к Стельмаху-отцу свои молодые, сияющие лица и устремив на него свои влюбленные, излучавшие счастье глаза.

Счастливый отец ухватился рукой за то место, где некогда была борода, и произнес с молитвенным напевом:

— Коли на то пошло, раз у нас такой добрый и милостивый бог, раз добрый и милостивый бог подарил нам этот долгожданный, счастливый день, а

вечер у нас сегодня все равно свободный, то почему бы нам не отправиться всем вместе в еврейский театр? Я уже как-нибудь договорюсь с американским гусем, чтобы он нас оставил в покое, чтобы сегодня вечером мы были совершенно свободны и предоставлены самим себе. Что вы на это скажете, милые мои голубочки?

Милые голубочки переглянулись и с неподдельной радостью воскликнули:

— Олл райт! В еврейский театр — с наслаждением!

— А из театра, милые мои канареечки, — в еврейский ресторан. Там мы закажем еврейскую рыбу, жаркое по-еврейски и гусиную шейку с начинкой.

— Браво! Браво! — подхватили «милые канареечки», весело смеясь, и начали совещаться, в какой бы театр пойти. В Нью-Йорке не один еврейский театр, а несколько. Где и что сегодня идет?

— Сегодня? Сейчас вам скажу.

Не зря Меер Стельмах — «любитель еврейского языка». Каждый день покупает он все еврейские газеты, выходящие в Нью-Йорке, все вновь вышедшие книги и журналы. Он просто в затруднении, куда девать столько бумаги. Выбросить — жалко, для него ведь каждое еврейское слово — святыня. А возить с собой — надо потратить целое состояние только на оплату за провоз.

И Меер Стельмах сгреб кучу газет, разбросанных у него по всей комнате, отобрал сегодняшние номера, бегло просмотрел их и хлопнул себя по лбу.

— Дети, нам чертовски везет! Сегодня в еврейском театре большой праздник. Сегодня вечером впервые выступает в Никель-театре знаменитый актер из Бухареста, некий Рафалеско. Я, кажись, рассказывал вам о нем. Газеты давно уже трубят во все трубы об этой звезде. Должно быть, большой искусник этот Рафалеско. Пишут о нем прямо чудеса. Вот смотрите: «Румынская королева Кармен Сильва», «великий венский артист Зоненталь», «Поссарт, Ирвинг, Росси»... Словом, в ушах гудит от газетного трезвона: «Рафалеско! Рафалеско!» Дети, нам адски везет!

Так закончил счастливый отец, и все трое тут же разработали программу на весь вечер: сначала в Никель-театр, затем в ресторан Шолома, — там готовят фаршированную рыбу по-румынски и подают настоящую бессарабскую вишневку. Шолом знаменит. Его портрет можно встретить в отделе объявлений любой еврейской газеты. Стоит вам развернуть номер газеты, и вас сразу приветствует Шолом со своим рестораном.

— Итак, раньше в Никель-театр, а потом к Шолому в ресторан? Что вы на это скажете, сорванцы?

Что сказать «сорванцам»? Они, разумеется, заранее на все согласны. «Сорванцы» никогда еще не были в таком приподнятом настроении, как в это утро, никогда еще не видали отца в таком возбужденном состоянии, таким нежным, веселым, оживленным и безмерно счастливым, как сегодня. Оставалось разрешить только последнюю задачу: достать ложу в еврейском театре на троих.

— Фи! Боже спаси и помилуй! — отшатнулся отец. — Все что угодно, но только не это. Ложу на троих? Ни за что! Ложу-то я вам возьму и притом самую дорогую, но только для вас двоих. Сам я устроюсь в партере. Почему, спрашиваете? Очень просто: в еврейском театре, понимаете ли, я должен держаться от вас в стороне, чтобы не испортить вам репутации. Меня кто-нибудь может узнать, но вас-то никто не должен узнать. Черта с два кто-нибудь догадается, кто сидит в ложе! Боже сохрани и помилуй! Ты, Гриша, понимаешь ли, надвинешь свою большую мягкую шляпу на глаза, а ты, Роза, будь любезна надеть свою самую широкополую шляпу так, чтобы, даже близко присмотревшись, можно было увидеть кукиш, а не твои глаза. Тут, понимаешь ли, надо быть начеку, ха-ха-ха! Ежели хоть один человек пронюхает, кто был в ложе, то назавтра все еврейские газеты выйдут с аршинными заголовками: «Величайшие мировые звезды, Гриша Стельмах и Розалия Спайвак, в еврейском театре». Ха-ха-ха! Кто не знает, в чем дело, тот, без сомнения, подумает, что

Гриша Стельмах и Роза Спивак собираются выступать в еврейском театре. Этого еще недоставало, ха-ха-ха!

Весело и радостно начался у нашего счастливого отца этот счастливейший день в его жизни.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Ответный визит

Наш друг-читатель не забыл, конечно, о визите, которым удостоила Нисла Швалба мадам Черняк, она же Брайнделе-козак, и о том предостережении, которое она ему сделала: ежели он желает, чтобы его сестра, Генриетта Швалб, носила имя Рафалеско, он должен постараться, чтобы это было как можно скорее, иначе будет поздно.

У нашего комбинатора, само собою разумеется, крепко засели в голове слова Брайнделе-козак... Нисл Швалб не мог довольствоваться одними туманными намеками. Он хотел знать более подробно и основательно, о чем речь. Он не поленился и в одно прекрасное утро собрался с ответным визитом к «зверюшке» в красной ротонде и с обезьяньей физиономией.

Узнав у сестры, где живет мадам Черняк и когда можно застать ее дома, Нисл долго блуждал по разным улицам и переулкам огромного города и, взобравшись, наконец, на двенадцатый этаж одного из домов в Бруклине, попал в такую дыру, что должен был наклониться как следует, чтобы пролезть в дверь.

— Алло! Здесь живет миссис Черняк?

Миссис Черняк была в легком матине с широкими рукавами и глубоким декольте, в домашних туфлях на босу ногу. Волосы были еще не причесаны. Комната не вполне убрана. Постель не заправлена. В углу стояло мусорное ведро, а на столе — остатки вчерашнего ужина. При виде столь неожиданного

гостя (заметим, кстати, что, с тех пор как Брайнделе-козак попала в Америку, это был первый мужчина, переступивший порог ее квартиры) мадам Черняк сразу как-то растерялась, даже как будто испугалась и не знала, что делать раньше: набросить ли на себя другое платье, прикрыть ли постель, вынести ли мусорное ведро, или убрать со стола остатки вчерашнего ужина. От возбуждения и растерянности Брайнделе-козак забыла даже попросить гостя сесть и сама продолжала стоять, опустив руки и ожидая, что он скажет. Заметив ее замешательство, Нисл Швалб сел, не дожидаясь приглашения, предложил стул и ей и заговорил, стараясь успокоить ее потоком ничего не значащих слов и приятной беседой. Совершенно серьезным тоном заверил он ее, что уже давно собирался познакомиться с ней поближе, а после ее недавнего посещения счел себя обязанным ответить ей визитом. Заодно ему хотелось побеседовать с ней о некоторых семейных делах... Он чувствует, что с ней можно говорить о таких вещах, о которых он перед другими и не заикнулся бы... Он будет говорить совершенно свободно, потому что он джентльмен и человек прямой. При последних словах Нисл Швалб расстегнул пиджак, выпятил свой круглый живот под белой жилеткой, на которой висела большая толстая золотая (а может быть и позолоченная) цепь.

— Можете быть уверены, что все, о чем мы здесь будем говорить, останется между нами, не выйдет за пределы этих четырех стен.

Нисл Швалб указал обеими руками на четыре стены ее комнаты и попутно сделал хозяйке комплимент: как у нее мило, как уютно, как удивительно чисто! Он давно не видал такой чистоты, право слово, как вы видите его плавающим! Но неужто она здесь живет одна-одинешенька?

— Одинокая моя доля, живу, что камень в поле, — ответила в рифму мадам Черняк и глубоко вздохнула, краснея как рак и даже потея от смущения.

— Мы все здесь одиноки, — стараясь попасть ей в тон, заметил Нисл Швалб. — Я тоже один-одинешенек как перст.

Мадам Черняк поняла Швалба по-своему. Она уселась напротив своего гостя, обеими руками привела в порядок волосы, изобразила на своем круглом, лунообразном лице с японскими глазками самую очаровательную наивно-кокетливую улыбку, на какую только была способна, и спросила как бы мимоходом:

— Неужто вы холостяк?

Слово «холостяк» она произнесла по-английски: «синглмен», на что Нисл Швалб ответил тоже английским словом «шур», что должно было означать: «Ну, конечно!» Затем прибавил по-еврейски:

— Еще какой! Из холостяков холостяк!

Узнав таким образом, что ее гость еще не женат, мадам Черняк стала еще приветливее, еще любезнее. Рукава ее матине соскользнули повыше локтей, на ее верхней губе с небольшими черными усиками выступили капельки пота.

— Как же так? — спросила она с дружелюбной, участливой улыбкой, в которой светилось любопытство.

— Да так вот. Вечно дела. Ни днем, ни ночью нет покоя. Чуть утро, надо бежать туда-сюда. Некогда, верите ли, присесть выпить, закусить что-нибудь. О сне и говорить не приходится. Сколько раз случается, что дремлешь на ходу, как вы видите меня плавающим. Поверите ли, иной раз неделями, месяцами ничего не ешь, не пьешь, не спишь, клянусь всем вашим добром!

Мадам Черняк, слушавшая гостя с напряженным вниманием, сочувственно покачала головой, еще ближе придвинулась к Нислу Швалбу и сложила свои полуобнаженные руки на высокой, пышной груди, выпиравшей из-под корсета если не подобно двум газелям, как у Суламифи в «Песни песней», то во всяком случае подобно двум диванным подушечкам.

— Нехорошо так! — упрекала она гостя тоном преданной матери, — очень нехорошо! Нельзя так опускаться. Человек должен когда-нибудь подумать и о себе.

— Как тут станешь думать о себе, когда у тебя такой горб на спине? Я говорю о сестрице примадонне... Ее счастье, что она красива, а ее беда, что она слишком уж красива. А что «слишком», то и лишне. Вот если бы бог помог мне выдать замуж сестру и обеспечить приличной службой брата Изака, я, быть может, начал бы думать и о себе. Уже пора, хотя мне всего лишь... Сколько, вы думаете, мне лет? Угадайте-ка.

Надо ли удивляться, что от таких речей мадам Черняк совершенно размякла, а ее оледеневшее сердце мгновенно растаяло, как масло. Ах, что за мужчина! Какой джентльмен! Никогда нельзя судить о человеке по наружности. Никогда в жизни она бы не подумала, что этот высокий, богатырского сложения джентльмен обладает такой нежной душой. А его лицо? А манера говорить! А улыбка! А как он себя держит!.. Право, все другие мужчины и мизинца его не стоят!..

Брайделе-козак уже давно ни с кем не чувствовала себя так хорошо, так легко и весело, как с этим гостем. Она не помнит, чтобы ей когда-либо приходилось разговаривать с кем-нибудь так свободно и непринужденно, так откровенно, как с этим джентльменом. Она раскрыла перед ним, можно сказать, всю душу, ничего от него не утаила.

Да, Нисл Швалб не пожалел, что взял на себя труд побывать у этой зверюшки с обезьяньим лицом. Его ответный визит буквально глаза ему открыл: он узнал все, что ему нужно. Тайный роман тихони Рафалеско, его унылый, рассеянный вид, увлекательная история с дочерью кантора, играющей теперь такую видную роль в театральном мире, — все стало теперь ясно Нислу Швалбу, ясно как на ладони.

Возвращаясь от Брайнделе-козак, Нисл Швалб, насвистывая веселую песенку, предавался серьезным размышлениям, и в его комбинаторской голове уже зарождалась новая гениальная комбинация.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

На чашке чая у ломжинского кантора

Нисл Швалб не пошел домой. Первым долгом он завернул к своему компаньону и постоянному советнику мистеру Кламеру и вместе с ним отправился к ломжинскому кантору посоветоваться об одном очень важном деле. У него, уверял он мистера Кламера, зародилась в голове совершенно новая комбинация, — речь идет об очень и очень важном деле.

Что за комбинация? Какое такое дело? — на этот вопрос мистер Кламер ни добром, ни угрозами никак не мог добиться вразумительного ответа. Нисл Швалб просил только об одном: запастись терпением. Он почти насильно потащил мистера Кламера к ломжинскому соловью, не переставая, по своему обыкновению, размахивать на ходу руками, тараторить и неумолчно галдеть.

Почти у самого дома, где жил кантор, мистер Кламер вдруг остановился и решительно заявил, что дальше не пойдет. У него, видите ли, такой принцип — не играть в темную или, как говорят англичане, «не люблю покупать поросенка в мешке».

Но разве с Нислом Швалбом сладишь? Говори ему не то что по-английски, а хотя бы по-турецки или по-татарски, ему все — как с гуся вода. Нисл своей богатырской рукой схватил мистера Кламера за локоть и решительно отрезал:

— Ладно! Вы у меня пойдете!

Зайдя в дом, Нисл и мистер Кламер застали ломжинского соловья без шапки и без сюртука, в одном жилете, из-под которого торчали кисточки короткого молитвенного облачения. Кантор дирижировал своим собственным оркестром, разучивая программу нового концерта.

Завидя гостей, вся орава радостно бросилась к Нислу Швалбу. Старшие трясли ему руку, младшие взбирались к нему на плечи и казались муравьями на его богатырской спине. Вначале исполин отнесся к атаке ребятишек весьма благодушно и даже весело

улыбался. Но вдруг стряхнул с себя мелюзгу и строго прикрикнул, обращаясь ко всей ораве:

— Прочь, прочь, сорванцы! Выметайтесь отсюда! Все на улицу! Чтобы от вас ни пуху, ни духу не осталось! Да поворачивайтесь живее! У нас тут дело... Послушайте-ка, кантор, где ваша миссис? Кликните-ка ее сюда. Нам надо устроить конференцию.

Оно, конечно, если бы кто другой позволил себе разговаривать в таком тоне с его детьми, досталось бы ему от ломжинского соловья, будьте уверены. Что за обращение такое — «послушайте-ка, кантор»? Еще пуще досталось бы ему от детей кантора. Они бы ему показали, что значит «выметайтесь отсюда»! Но дяде Нислу (так они его называют) все дозволено. Дядю Нисла любят все от мала до велика, потому что дядя Нисл — славный парень. У дяди Нисла для каждого в любое время найдется доброе слово. Одного потреплет по плечу, другого ущипнет, третьего толкнет в бок. А то и вовсе сбросит пиджак, займет боевую позицию и давай тузить ребятишек по всем правилам боксерского искусства. Дядя Нисл никогда не приходит в гости с пустыми руками: у него всегда есть про запас какое-нибудь лакомство. На сей раз он захватил с собой конфеты, к которым дети кантора питают неодолимое пристрастие. В одно мгновение все конфеты были расхватаны, и комната очистилась от детей. Кантор накинул на себя сюртук, забежал к соседке и вызвал оттуда жену. Затем при закрытых дверях состоялась конференция.

. . . .

Вечером того же дня ломжинский кантор пригласил к себе гостей на «чашку чая». Вряд ли есть надобность объяснять, что означает «чашка чая». Всякий знает, что «чашка чая» — это не только чашка чая, но и ужин. Главное, однако, не в чашке чая и даже не в ужине, — главное в том, что происходит между чаем и ужином. У нас это называется «маленький псалтырь», то есть карточная игра.

Многие полагают, что если бы не было на свете, например, этой занятной штучки, которая называется

картами, или если бы они вдруг, избави боже, исчезли с лица земли, то стало бы невозможным существование человеческого общества. В самом деле, что бы тогда делали люди между чаем и ужином? Хозяин с хозяйкой зевали бы. Гости заснули бы. Люди перестали бы ходить друг к другу в гости, заводить знакомства, поддерживать взаимную связь. И так мало-помалу распалось бы человеческое общество. Пусть проповедники морали разводят какие угодно поучения, но карты — не пустое занятие. На этот счет люди всех стран и народов, можно сказать, сходятся во мнениях. Всюду и везде, даже в самых заброшенных уголках мира, так уж заведено: сойдутся вместе хотя бы два человека, — тотчас же карты на стол, и начинается игра. Разница лишь в том, что в каждой стране имеют свои излюбленные карточные игры и для каждой игры есть свои привычные выражения и словечки. В Старом Свете, например, так уж заведено теперь, что там больше в карты не играют. Конец! Совершенно и окончательно вышла из моды карточная игра. Что же делают там люди, собравшись на чашку чая? «Перекидываются в преферанс», «режутся в очко», «закладывают банк» или «балуются в девятый вал». Здесь, в Новом Свете, точно так же в карты не играют. Ни под каким видом! Помилуй боже! Это — занятие для жуликов, шулеров, профессиональных картежников. Приличные люди, собравшись на чашку чая, кладут на стол те же карты, что и у нас. Но при этом они вовсе не играют в карты, боже сохрани, а «развлекаются в покер» либо «состязаются в пинокль». Это делается отчасти для препровождения времени, но в значительной мере и ради дела, ради «бизнеса»: ведь всякий садится за столик со сладкой надеждой и твердой верой, что в этот вечер он наверняка останется в выигрыше. А там уж как колесо фортуны повернется: либо выиграет, либо прогорит. Как кому повезет.

Теперь, когда нам ясно, что такое «чашка чая», познакомимся с обществом, собравшимся у ломжинского кантора на чашку чая.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Смешанное общество

Трудно определить, к какому классу принадлежали люди, собравшиеся в тот вечер у ломжинского кантора на «чашку чая». Не легко, следовательно, будет и описать это разношерстное общество, как трудно вообще изобразить пеструю американскую публику огромного мирового города Нью-Йорка.

То была смесь разнообразнейших типов, большей частью земляков ломжинского кантора, членов «ломжинского землячества», сборище людей всевозможных профессий и состояний.

На первый взгляд казалось даже, что эти люди никакого отношения друг к другу не имеют. В самом деле: что общего между раввином в котелке, с подогнутыми пейсами, и узкогрудым коробейником, страдающим одышкой?

Какое отношение имеет агент пишущих машин, славный малый со слезящимися глазами, к меламеду, маленькому человечку с изрытым оспою лицом?

Какая существует связь между чахоточным аптекарем со злыми глазами и здоровенным мясником, от которого так и несет сырым мясом?

Или что может быть общего у домовладельца с Бронкс-стрит, черноволосого субъекта с толстым носом картошкой и с басовитым, чуть хрипловатым голосом, — с портным из маленькой мастерской, блистающим золотыми зубами?

А все эти люди, вместе взятые, — какое они имеют отношение, скажите на милость, к кантору, и его жене, и к этому сборищу актеров, актрис, музыкантов и клакеров еврейского театра?

И все же каждый чувствовал себя здесь как дома, как равный среди равных. Каждый был горд сознанием, что он живет в Америке, имеет определенное занятие и «делает жизнь». Никто не дулся на других, никто не чванился, не пыжился, не зазнавался, как это нередко бывает у нас на старой родине, когда люди разных классов и состояний сойдутся вместе на

собрание или на какое-нибудь торжество. Демократический дух американской республики дает себя чувствовать в этой стране на каждом шагу, и наши братья, ежедневно приезжающие сюда со всех концов мира, акклиматизируются и переплавляются в этой плавильной печи так же легко, как люди других наций, необычайно быстро впитывая в себя дух равенства.

Все три парадных комнаты в квартире кантора — гостиная, столовая и спальня — были полны гостей. Одни пили чай, другие курили, третьи играли в шахматы или пинокль, а иные просто беседовали, болтали, тараторили, трещали, как трещетки, громко смеялись. Кто-то рассказывал о проделках домовладельца, изобретающего каждую неделю новые порядки и правила для жильцов. Другой передавал короткую, но презанимательную историю о том, как его хотели исключить из юниона (профессионального союза), попросту выставили его оттуда, но он возбудил против юниона процесс. Третий рассказывал о пожаре, жертвой которого чуть было не сделалась фабрика, где он работает. Четвертый говорил об акциях, спекуляциях и прочих махинациях Уолл-стрита. Что же касается актеров и актрис, то у них были свои интересы: роли, пьесы, звезды, юнион, аншлаги, бенефис. Говорили, как водится, все одновременно. Все чувствовали себя совершенно непринужденно, как у себя дома, всем было необычайно весело. И так как в душном воздухе стоял непрерывный, несмолкаемый шум и гул, в комнатах было накурено, как в кабаке, и жарко, как в бане, то трудно было разглядеть лица отдельных людей, отличить одного от другого.

Из наших старых знакомых, кроме кантора, его жены и многочисленной семейки, особенно выделялся своей представительной наружностью мистер Кламер, в парадном смокинге, с бородой а-ля Герцль, расчесанной на обе стороны а-ля Скобелев. Он сидел в кресле против своего нового партнера мистера Никеля, который на этот раз имел при себе свои золотые часы с золотой цепочкой — «подарок президента Соединенных Штатов Америки». Они разговаривали по-английски и оба в заносчиво-самоуверенном тоне

рассказывали друг другу такие чудеса, подкрепляя их каждый раз честным словом, что посторонний человек, слушая эти небылицы, мог бы пожелать себе столько тысяч долларов, сколько в их рассказах было блефа...

Присутствовали здесь, разумеется, Изак Швалб и Брайнделе-козак. Они стояли возле столика и наблюдали за карточной игрой. Среди игроков, как водится, была и примадонна Генриетта Швалб, сверкающая всеми своими брильянтами. Она тараторила, трещала, смеялась и горячилась больше всех. Ей необыкновенно везло. Перед ней лежала груда долларов. Все женщины ей завидовали, а мужчины, подмигивая друг другу, перебрасывались словечками по ее адресу и обращались с ней весьма фривольно. Один какой-то джентльмен с бритым красным лицом, острым носом и брильянтовым кольцом на пальце, сидевший как раз против Генриетты, позволил себе даже несколько раз многозначительно наступить ей на ногу под столом, хотя этот джентльмен, как нам доподлинно известно, был человек семейный.

В стороне, в кресле-качалке, сидел, покачиваясь, Рафалеско и курил сигару. Его окружила компания актеров с бритыми лицами, — они беспрерывно рассказывали театральные анекдоты, сопровождая каждый анекдот таким громовым хохотом, что стены дрожали. Особенно отличался актер-комик, продувная бестия с таким подвижным лицом и такими вечно смеющимися глазами, что люди прыскали со смеху еще до того, как он начинал свой рассказ. Он и сам смеялся вместе со слушателями, хохотал до упаду, хватаясь руками за бока и извиваясь всем телом.

— Леди и джентльмены! — сладкогласно обратился к гостям ломжинский кантор, успевший за короткий срок так акклиматизироваться в новой стране, что стал пересыпать свою речь чуть ли не наполовину английскими словами. — Леди и джентльмены! К столу, плиз [1]. Сапер [2] уже готов.

Гости не заставили себя долго ждать. Те, что не

---

[1] Плиз *(англ.)* — пожалуйста.
[2] Сапер *(англ.)* — ужин.

были заняты делом за карточным столом, готовы были хоть сию минуту занять места и приняться за ужин. А те, что «забавлялись» в пинокль, торопливо пересчитывали свой капитал и сообщали друг другу, с горящими от возбуждения лицами, кто сколько выиграл или проиграл.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Нисл Швалб — распорядитель

Оказалось, в проигрыше были почти все. Выиграла одна лишь примадонна Генриетта Швалб, которой в тот вечер удивительно везло. Она с таким увлечением, с таким азартом подсчитывала выигрыш, щеки ее так пылали, что она никого и ничего перед собой не видела, кроме долларов, долларов, долларов. Брат Изак и Брайнделе-козак, не отходившие от нее во время игры ни на шаг и жадными глазами следившие за тем, как она то и дело сгребает выигрыш в свой ридикюль, спросили ее, что она собирается делать с таким капиталом. Думает ли она купить автомобиль, брильянты или, может быть, дом на Пятой Авеню? Но Генриетта на эту шутку ничего не ответила. Да и вообще она даже не слышала, что ей говорят. Она оставила без внимания и плоские комплименты своих партнеров, утверждавших, что она играет в карты не хуже, чем поет на сцене...

— Бютифул [1], — с необыкновенным воодушевлением воскликнул бритый джентльмен с красной физиономией и острым носом, в течение всего вечера ни на шаг не отходивший от примадонны. Он глядел на нее маслеными глазками, умильно улыбался и облизывался, как кот. Ему, видимо, очень хотелось сесть рядом с примадонной, которая произвела на него неотразимое впечатление. Но его постигла неудача.

Распорядителем вечера оказался Нисл Швалб, и наш знаменитый комбинатор принялся за исполнение своих обязанностей — усаживание гостей вокруг

[1] Великолепно.

стола. Делал он свое дело со всей присущей ему серьезностью, обнаруживая при этом не меньше изобретательности, чем в любой из своих комбинаций. Он рассадил всех так искусно, что каждая леди очутилась между двумя кавалерами. Жена ломжинского кантора, например, сидела между агентом пишущих машин, славным малым со слезящимися глазами, и мясником, от которого пахло сырым мясом. Актриса с высоким шиньоном очутилась между раввином с загнутыми за уши пейсами и портным, у которого вставные зубы давали знать о себе особым пощелкиванием, когда он ел.

Нельзя сказать, чтобы леди и кавалеры чувствовали себя очень уж хорошо и были в восторге от навязанного им соседства. И в самом деле: какая может быть точка соприкосновения у жены кантора с агентом пишущих машин или с мясником? Что общего могло быть между актрисой и раввином или портным? Зато примадонне выпало счастье сидеть между Рафалеско и братом Изаком Швалбом, и в этом заключался весь смысл рассаживания гостей. Нисл Швалб хотел во что бы то ни стало, чтобы юная парочка, Генриетта и Рафалеско, сидела в этот вечер рядом. Это нужно было, как мы увидим далее, для осуществления задуманной им комбинации.

Совершенно обойденным и крайне недовольным остался джентльмен с красным лицом и острым носом, влюбившийся в примадонну. Как будто назло, ему пришлось ухаживать за мадам Черняк, или Брайнделе-козак, которая потела, как в парильне, и от которой слишком уж несло запахом туалетного мыла и другими острыми ароматами. Он мысленно проклинал ее в душе, желая ей таких бед и напастей, что не приведи господь, но наружно был чрезвычайно вежлив и ухаживал за своей соседкой, как истый джентльмен: придвигал к ней тарелку, подавал хлеб, наливал воду в стакан, справлялся, какое вино она любит... Брайнделе-козак имела полное основание быть довольной этим вечером.

Но оставим на время Брайнделе-козак и вернемся к ее кавалеру — к бритому джентльмену.

Господь, дарующий милость всякой твари земной, сжалился наконец и над ним. За столом не хватило мест для всех, и распорядитель вечера Нисл Швалб предложил публике сдвинуться теснее. В результате этой передвижки джентльмен очутился прямо против примадонны. Его глаза заискрились: он получил теперь полную возможность действовать ногами под столом сколько душе угодно. Правда, ушло немало времени, прежде чем он разыскал ноги примадонны. Он несколько раз натыкался то на ноги Рафалеско, то на медвежьи лапы Изака Швалба. Лишь значительно позднее, увидя улыбку на устах примадонны, он понял, что достиг, наконец, цели, что теперь уже все «олл райт».

Все же злоба закипала в душе джентльмена с красным лицом каждый раз, когда он бросал взгляд на «зеленого юнца», который сидел так близко к красавице. И точно ему назло, примадонна то и дело наклонялась к «зеленому юнцу», шепталась с ним, смеялась, запрокидывая голову и обнажая два ряда чудесных жемчужных зубов. Джентльмен, хлебнувший хмельного и до и после рыбы, необычайно злился и ревновал. Он, очевидно, забыл, что женат, и метал на Рафалеско такие убийственные взгляды, что Генриетта еще пуще смеялась, хохотала до упаду и, казалось, вот-вот лопнет со смеху.

«Хотел бы я знать, чего она так хохочет! И кто этот странный юнец, с которым она не переставая шушукается? Держу пари, что это какой-нибудь зеленорог, молокосос, щенок, остолоп из остолопов!..»

Так думал про себя ревнивый джентльмен, ломая голову над нелегкой загадкой. Ему не пришлось, однако, долго оставаться в неведении: первый же спич разъяснил ему все.

— Леди и джентльмены! — зычным голосом прогремел распорядитель вечера Нисл Швалб. — Обращаю внимание достопочтенных дам и кавалеров, что первый тост произнесет наш друг мистер Кламер. Прошу уважаемого хозяина и его миссис, высокочтимую хозяйку, наполнить бокалы почтенных гостей. Мистер Кламер, ваше слово!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Спич мистера Кламера

Кламер встал, откашлялся, оправил на себе смокинг, галстук и рубаху, разгладил руками бороду а-ля Герцль, вытер шелковым платочком совершенно сухой лоб, толстыми пальцами обеих рук оперся на стол, окинул взором публику, закусив при этом губу, и после длительной паузы начал свой тост.

Наш друг мистер Кламер всегда считал себя «спикером», то есть блестящим оратором. Но за короткий срок своего пребывания в Америке он наслышался стольких прекрасных речей, тостов и спичей, что ему стало уже невтерпеж: он ждал случая показать американцам, что такое подлинное ораторское мастерство. И надо ему отдать справедливость: мистер Кламер действительно обладал даром красноречия. Если говорить начистоту, речь его была богата не столько содержанием, сколько цветистыми фразами. И суть заключалась даже не в самих фразах, а в способе их подачи, в манере говорить. А голос! Мистер Кламер, видите ли, знал тайну, когда голос должен грохотать, как гром, и когда надо спускаться на самую низкую октаву, говорить так, чтобы он звучал едва слышно. А манера держать себя! А руки! В ораторском искусстве, надо вам сказать, руки играют первостепенную роль, не меньшую во всяком случае, чем язык. Необходимо знать, когда и какую руку пустить в ход, когда надо руки поднять и когда опустить, когда надо скрестить их на груди, а когда — сделать широкий жест рукой, когда лучше всего заложить их в карманы брюк, а когда — за жилет. А иной раз после громового словоизвержения следует приветливо поклониться, отступить шага на два и заложить руки за спину, голову чуть-чуть склонить набок и, сделав великолепный жест рукой, выдержать длительную паузу. «Поэнтами» называются в Америке все эти заученные ораторские жесты и позы. И эти поэнты, все это многообразие ораторских приемов мистер Кла-

мер быстро перенял у американских «спикеров» до мельчайших подробностей и научился пользоваться ими в совершенстве.

Жаль, что мы лишены возможности воспроизвести полностью речь мистера Кламера. Это заняло бы слишком много места, потому что его речь, насквозь проникнутая высокопарной риторикой, унизанная блестками красноречия, сотканная из пустых, но звонких фраз, изобиловала афоризмами и изречениями ученых, которые этих изречений никогда не произносили, и английскими пословицами и поговорками, правда, очень остроумными и меткими, исполненными едкой иронии, но имеющими весьма отдаленное отношение к существу речи.

Мы постараемся передать содержание спича мистера Кламера в самых кратких чертах.

— Человеческая жизнь, — так приблизительно начал мистер Кламер свою речь, — может быть, подобно году, разделена на четыре периода: на весну, лето, осень и зиму. Весна, леди и джентльмены, это самое лучшее, самое приятное или, как выражается наш пророк Моисей, самое поэтическое время в человеческой жизни. Весна — это время, когда все растет, все оживает, все возрождается к жизни, когда соловей, по выражению Гейне, чувствует себя «олл райт», когда в юных сердцах молодых людей начинает расцветать любовь. О, любовь! — говорит Вольтер. Кто из нас не пил сладчайший нектар из того бокала, имя которому — любовь? Кто из нас, говорит Толстой, не был когда-то юн, бодр и свеж и после долгих трудов и поисков не находил той, которая должна стать его единственной спутницей на жизненном пути? Что может быть красивее, возвышеннее и священнее того чувства, которое наш бессмертный Шекспир увенчал именем «симпатии»? Еще великие ученые древности, как, например, Сократ, Кант, Диоген, Мефистофель, а равно и наши талмудисты, говорили, что на трех китах зиждится мир: на любви, снова на любви и в третий раз на любви! Без денег, говорит Ибсен, человек еще может быть «олл райт», но без любви наша жизнь

пуста, беспросветна и печальна, как судно без руля, или, по выражению англичан, «как тело без души»...

Леди и джентльмены! Разве вы не чувствуете здесь, за этим столом, присутствия счастливой парочки, которую священные чувства любви и симпатии тайно связали уже давно, еще по ту сторону Атлантики. Да, милостивые государыни и милостивые государи! Еще там, за океаном, в Старом Свете, любовь в их юных сердцах разгорелась адским пламенем. Их роман, леди и джентльмены, созревал, как и все романы, в глубокой тайне. Но, говорит Эмиль Золя, небо и земля дали обет, чтобы не было ничего скрытого под луною, или, как говорят англичане: «шила в мешке не утаишь...»

Леди и джентльмены! Вы знаете мой принцип. Я человек независимый, свободомыслящий, то есть я не из тех, что любят заглядывать в чужие кастрюли, и не в моем характере разоблачать чужие тайны. Чужие дела — не мои дела и меня не касаются, или, как говорят англичане: «когда друзья дерутся, моя хата с краю...»

Леди и джентльмены! Великий поэт Мильтон выразился когда-то так: «Не думайте, что мы так глупы, чтобы считать несправедливым то, что юноша любит девушку, а девушка — юношу». Я повторяю его слова и с особой гордостью сообщаю вам, милостивые государи и милостивые государыни, что я и еще несколько друзей, находящихся здесь, еще во время нашего переезда через океан имели счастье присутствовать при возвышенной сцене, когда священная любовь их была запечатлена, как говорит Байрон, поцелуем и скреплена клятвой свободы, преданности и верности, а их души, как говорит Зангвиль, слились в единый слиток, точно металл в плавильной печи...

Леди и джентльмены! То был первый акт возвышенного романа, сердечной драмы. Это, милостивые государыни и милостивые государи, роман, начало которому было положено еще в Старом Свете. Это драма, последней главе которой суждено закончиться здесь, в счастливой стране доллара, как говорит Теодор Герцль. Здесь, в этой стране, будет сказано по-

следнее слово. Здесь опустится занавес. Здесь, в этой стране, они будут «олл райт», или, как говорит Шиллер, «финита ля комедия»[1].

Леди и джентльмены! Мне доставляет большое удовольствие и большую честь сообщить вам, что оба героя этого романа не только «олл райт», то есть молоды, красивы и свежи, но и одинаково знамениты, известны всему миру, от одного конца света до другого, как великие художники еврейского театра: он — своей игрой, она — пением.

Леди и джентльмены? Надо ли называть их имена? Думаю, что это излишне. Вы их знаете. Вот они сидят рука об руку, как пара голубков. Ее, звезду из Буэнос-Айреса, вы, наверное, все уже слышали, восхищались ею, приветствовали ее. А он, ее избранник, — молодой, но пользующийся уже всемирной известностью артист из Бухареста, которого мы будем иметь удовольствие слушать и которым будем восторгаться не позднее, чем завтра в это же время, на его первом выступлении в знаменитом Никель-театре. Если вы запаслись билетами, — «олл райт». А если не запаслись, то постарайтесь завтра рано утром достать. Не ручаюсь, что вы сможете получить билеты, разве что у перекупщиков.

Леди и джентльмены! Я гляжу на молодую чету, вижу, как лица их пламенеют, и понимаю их состояние в этот момент, когда взоры всех обращены на этих двух юных счастливцев. Пожелаем им, чтобы все у них было «олл райт» на всем их жизненном пути не в меньшей степени, чем было до сих пор! Да здравствует еврейское искусство! Да здравствуют его жрецы! Да здравствуют наши звезды! Да здравствует влюбленная парочка! Я подымаю тост и кончаю словами царя Соломона-мудрого: «Глас жениха и глас невесты!» Ура мистеру Лео Рафалеско! Ура мисс Генриетте Швалб! Уррра!..

— Ура! — прогремели гости и с поднятыми бокалами в руках приветствовали счастливую парочку — Генриетту Швалб и Лео Рафалеско.

---

[1] Комедия окончена *(итал.)*.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Разбитая тарелка

Блестящая речь мистера Кламера, звон бокалов и крики «ура» были лишь официальной частью программы, в соответствии с требованиями моды и этикета. Настоящее веселье началось тогда, когда жена ломжинского кантора, счастливая и гордая тем, что торжество происходит в ее доме, так разгорячилась, вошла в такой азарт, что схватила обеими руками тарелку, подняла ее над головой и с такой силой швырнула на пол, что тарелка разлетелась на мелкие осколки. Затем канторша радостно, словно мать, дождавшаяся, наконец, счастья гулять на свадьбе своей младшей дочери, воскликнула:

— Мазлтов! В добрый час!

— Мазлтов! В добрый час! — подхватили все присутствующие.

Родные бросились к жениху и невесте, осыпая их горячими поцелуями. Раньше всех, конечно, кинулся к сестре и к Рафалеско самый старший из родственников — Нисл Швалб, за ним — брат Изак, мистер Кламер, мистер Никель, кантор, его жена, Брайнделе-козак. А так как поцелуи следовали один за другим не по очереди, а совершенно беспорядочно, как водится в таких случаях, то бритый джентльмен с красной физиономией и острым носом, воспользовавшись общей сумятицей, тоже кинулся целоваться с женихом и с невестой. То есть, откровенно говоря, не столько с женихом, сколько с невестой.

Торжество в квартире ломжинского кантора все более разгоралось. Веселье до того обуяло всех гостей, что их так и подмывало пуститься в пляс.

— Эй, разойдись душа! — воскликнул Нисл и, откупорив еще несколько бутылок, налил каждому по бокалу, не забыв, конечно, и себя. — Эх, гуляй напропалую, ко всем чертям! У меня еще за весь вечер маковой росинки во рту не было, как вы видите меня плавающим. Мистер Кламер и мистер Никель! Выпьем за здоровье Колумба, выдумавшего такую пре-

красную страну, как Америка! Чудесная, золотая страна, дай бог мне столько счастья! Слушайте, кантор! Чего вы сидите, надувшись, как индейский петух? Где ваши свистуны, черт бы их побрал? Почему они не играют что-нибудь веселое? Братец Изак, вытащика из-за стола миссис Черняк и попляши с ней, покажи, на что ты горазд. Леди и джентльмены! Мой брат, поверьте, танцует, как балерина, хоть он и тяжеловат на подъем, клянусь всем вашим добром!..

При этих словах круглое лицо миссис Черняк (Брайнделе-козак) загорелось ярким заревом. А Изак, бывший уже навеселе, встал из-за стола и собирался показать, на что он горазд. Одним словом, в доме ломжинского кантора царило шумное веселье и буйное ликование. Помолвка, можно сказать, удалась на славу.

А счастливая парочка?

Рафалеско с Генриеттой сидели рядом, рука об руку, в самом почетном углу, и лица их сияли, а глаза сверкали, как у настоящих жениха и невесты.

Нисл Швалб имел все основания ликовать. Из всех комбинаций, когда-либо зародившихся в его гениальной голове, комбинация с чашкой чая у ломжинского кантора и с речью мистера Кламера была, без сомнения, одной из самых блестящих. Следует, однако, прибавить, что ему к тому же и повезло. Он начал действовать в момент, когда наш молодой герой блуждал по Нью-Йорку, точно в чаду, весь во власти грез. С одной стороны, шум и гам громадного города, новые люди, необычный жизненный уклад, к которому нелегко привыкнуть свежему человеку. С другой стороны, не знающая меры газетная шумиха, безудержная свистопляска разнузданной рекламы, дикие вымыслы и небылицы, приписываемые ему досужей фантазией, вакханалия славословия и самых неумеренных похвал. И в придачу ко всему — разные «попрыгунчики», увивающиеся вокруг него, делающие ему самые заманчивые предложения, сулящие ему золотые горы, — конечно, под строжайшим секретом: «Стоит только ему, — уверяли Рафалеско юлившие вокруг него дельцы, — бросить еврейский театр и пойти на американо-английскую сцену, как тотчас перед ним

откроется новый мир...» При этом «попрыгунчики» ссылались на примеры знаменитейших ныне английских актеров, подлинных звезд драмы и оперы, которые в начале своей артистической карьеры не выдерживали никакого сравнения с ним, с Рафалеско, были, можно сказать, букашками против слона. Теперь к этим актерам не приступись: «Собственные дома, виллы, автомобили, красивейшие женщины, ха-ха-ха!» И все это, по их словам, приобреталось с головокружительной быстротой, потому что Америка — это вам не Европа! Америка — страна «гари оп» — бешеной скачки.

Легко понять, что все подобные разговоры и комплименты, этот поток похвал и самых заманчивых предложений совершенно вскружили голову нашему юному герою, и его охватило желание как можно скорее дебютировать, чтобы показать, кто он, какая сила в нем таится и на что он способен.

Его взбудораженность усугублялась еще и тем, что он до сих пор не получил ответа на свое задушевное письмо к Розе. Первое за всю его жизнь пространное письмо, обращенное к той, которая была ему дороже всего на свете, образ которой он неизменно лелеял в душе своей как святыню, не встретило ответного отклика.

В нью-йоркских газетах Рафалеско часто встречал имя Розы Спивак и всегда рядом с именем Гриши Стельмаха, который, как тень, неотступно следовал за ней повсюду. Это причиняло молодому Рафалеско острую боль, невыносимые душевные муки.

«Что ж, — думал он про себя. — Пусть она будет счастлива со своим Гришей Стельмахом! Да состарится она с ним в богатстве и почете. Но ответить на письмо она все же могла бы. Неужто она до того возгордилась, так возомнила о себе, что забыла все прошлое? Или не хочет его вспоминать? Хочет выкинуть из своей памяти все, что было, как дурной сон? В таком случае, зачем он так убивается? Не лучше ли и ему забыть ее, забыть навсегда, навеки, как дурной сон?»

Рафалеско был готов забыть в конце концов, ради кого он приехал в эту страну и что, собственно, так

неудержимо тянуло его сюда. Он старался убедить себя, что приехал ради собственной карьеры. И теперь, как и раньше, в лучшие минуты своей жизни, он весь отдался во власть неудержимой фантазии и светлых грез. Ему представилось, что его первая гастроль в Никель-театре прошла с таким блеском, что до второго спектакля даже не дошло: его сейчас же перехватили, переманили или, как выражаются здесь, «похитили» с еврейской сцены, заплатив за него столько отступного, сколько потребовал законтрактовавший его антрепренер. И вот он уже на английской сцене в одном из самых больших театров Нью-Йорка. Имя Рафалеско гремит по всей Америке, и слава о нем доходит до нее, до Розы Спивак, ставшей чересчур высокомерной и слишком уж зазнавшейся. О, тогда он с ней сведет счеты! Он ей покажет, кто из них выше. Он ей выскажет все, что накипело в душе, он будет говорить с ней напрямик, без обиняков, обнажит всю правду; он скажет ей открыто, что она, собственно, недостойна его, что она не заслужила тех долгих бессонных ночей, которые он проводил в мучительной тоске по ней, что он был опьянен, но наконец протрезвился, был глуп, но теперь поумнел, был болен, но ныне выздоровел, окончательно выздоровел...

Вот какие мысли занимали жениха в те минуты, когда он вместе со всеми гостями пил один бокал за другим, смеялся и веселился на собственном празднике, еще очень смутно сознавая, что именно произошло с ним в этот вечер, и недостаточно ясно оценивая смысл и значение разбитой тарелки.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

В Никель-театре

Утром наш герой Рафалеско проснулся с сильной головной болью. Он не успел еще очнуться от угара, оглядеться, прийти в себя после вчерашней вечеринки, как его разбудили и повезли в Никель-театр на

репетицию. Там, сказали ему, будут некоторые звезды из других еврейских театров, желающие с ним познакомиться, а также рецензенты некоторых американо-английских газет.

Рафалеско не помнит, чтобы за все годы своей артистической деятельности у него было когда-либо такое страстное желание покорить публику, как в тот день — день его первого выступления на нью-йоркской сцене. Никогда еще не жаждал он так сильно успеха, рукоплесканий, славы, как в тот вечер, когда он впервые должен был показаться перед американской публикой в переполненном до отказа Никель-театре. Никогда так учащенно не билось его сердце, никогда он в такой степени не чувствовал себя в положении ученика, идущего на серьезный экзамен с твердым намерением сдать его блестяще, с триумфом, как в этот знаменательный для него вечер.

Не удивительно, что остальные интересы отступили в тот день на задний план. Не удивительно, что все его существо было проникнуто одним-единственным желанием: добиться успеха у публики во что бы то ни стало, завоевать ее наверняка. В тот вечер в Лео Рафалеско проснулся артист, истинный артист, полный трепетного волнения и того жаркого огня, который зажигает блеском глаза, будоражит и распаляет кровь и будит творческие силы для создания великого, неповторимо-чудесного.

Пробил долгожданный час. Наступил день великого экзамена для «новой звезды из Бухареста», которому пресса щедро расточала похвалы, поставив его в один ряд с такими знаменитостями, как Ирвинг, Поссарт, Зоненталь, Росси, Шильдкраут и другие.

Большой красивый зрительный зал Никель-театра был переполнен сверху донизу и выглядел нарядно и торжественно. У всех — от директора до последнего билетера — настроение было приподнятое, праздничное. Публика также была радостно возбуждена. Весь спектакль был больше похож на бенефис или вечер чествования артиста, чем на пробное выступление

дебютанта, впервые показавшегося перед такой публикой. А публика была, действительно, исключительная, отборная. Помимо обычных посетителей, наполняющих ежевечерне галерку всех еврейских театров Нью-Йорка, в ложах и в партере Никель-театра можно было видеть в этот вечер много новых людей, среди них немало интеллигентов и даже несколько чистокровных янки, к которым директор Никель проявил особый интерес и подобострастно вертелся и юлил перед ними, самолично указывая им места и самолично поднося программу, хоть это отнюдь не входило в его директорские обязанности.

Никель, само собою разумеется, использовал этот случай для усиленной рекламы своего театра. Он каждому шепнул на ухо под строгим секретом, кто эти высокочтимые посетители, называя при этом самые причудливые, только что сочиненные им имена, хотя многие из публики прекрасно знали, что это всего-навсего два брата, директора одного крупного американо-английского драматического театра.

Нью-йоркские газеты создали такой бум вокруг «новой звезды из Бухареста», что оба знаменитых директора драматического театра не на шутку заинтересовались молодым еврейским артистом: а вдруг — чего доброго! — и в самом деле «звезда»? Если хоть половина из того, что о нем пишут, правда, то стоит переманить его к себе. Зачем евреям Зоненталь, Ирвинг, Поссарт, Шильдкраут или Росси? Евреи ведь и сами не станут отрицать, что они — народ поставщиков, принявших на себя добровольную миссию обогащать весь мир своими знаменитостями, отдавать миру все, что есть у евреев лучшего и прекраснейшего...

Не было, разумеется, недостатка и в репортерах еврейских и английских газет. То были хорошие ребята, ловкачи как на подбор, прожженные бестии с бритыми лицами и живыми глазами, тертые калачи, пишущие на лету, закусывающие на бегу, спящие на ходу с вечным пером в руке.

Среди репортерской братии были и наши знакомые умники из «кибецарни», всем известные общест-

венные воротилы, поэты, публицисты, редакторы газет, политиканы, вооруженные с ног до головы для выступления в поход против «новой звезды». Оно и понятно: ведь если в глазах одних Рафалеско — гений, то в глазах других он обязательно чурбан чурбаном, дубина стоеросовая. Если для одних он — Зоненталь, Ирвинг, Поссарт или Росси, то для других он — «зеленорог», «птичка-невеличка», «Хаим-Янкл», «румынский пастушок», «любопытный паренек» и не больше.

Да, еврейский театральный мир Нью-Йорка забурлил, заклокотал, вспенился.

Друзья и недруги Никель-театра пришли на спектакль с готовыми рецензиями для завтрашних номеров представляемых ими газет.

Когда речь идет о таком из ряда вон выходящем спектакле, редакторы обычно сами берут на себя роли рецензентов. Редактор одной из передовых газет заранее приготовил рецензию, которая начиналась так:

«Уже давно стены Никель-театра не слыхали такой бури аплодисментов. Энтузиазм публики, достигший вчера своего апогея, должен был воочию убедить наших подкупленных звероподобных противников в том, что...»

А другой еще более передовой редактор набросал вот какое начало для завтрашнего номера своей газеты:

«Вчерашний неслыханный провал в Никель-театре послужил хорошим уроком для двуногих ослов, которые из кожи лезут вон, чтобы сделать из мухи слона, и которые готовы за доллар...»

Одним словом, настроение в Никель-театре было приподнятое. Нервы всех были напряжены, глаза устремлены к занавесу, поднятия которого все ждали с минуты на минуту, затаив дыхание. И вот погасили огни. Взвился занавес.

В это мгновение в театр тихо, неслышными шагами вошли трое очень элегантно одетых людей, подкативших в роскошном автомобиле в сопровождении

негра-лакея и направившихся прямо в ложу номер три — самую дорогую ложу Никель-театра.

В числе троих элегантных посетителей театра один был уже пожилой, с солидным брюшком, и двое — молодых: юноша в широкополой шляпе, надвинутой на лоб и закрывавшей его глаза, и с ним под руку молодая дама под густой вуалью. Пожилой человек с брюшком проводил молодую парочку до дверей ложи номер три. Молодые люди вошли в ложу. За дверью остался лакей-негр, державший в руках дамское манто и плед. Пожилой человек с брюшком вернулся назад и длинным узким коридором направился в партер.

И должно же было случиться, что в это самое время по тому же узкому коридору пробегал один из директоров Никель-театра Нисл Швалб, столкнувшийся носом к носу с посетителем. Оба отскочили назад, остановились как вкопанные, секунду смотрели друг другу в глаза, разошлись, снова остановились и опять впились друг в друга глазами. Это продолжалось не долее двух-трех секунд. И, прежде чем они успели хорошенько присмотреться один к другому, оба разошлись в разные стороны. Человек с брюшком направился в партер, а Нисл Швалб на минуту остановился и молвил про себя:

— Неужели это тот самый пустозвон? Думает, что ему удастся меня обмануть?

Он бросился к кассе, отыскал своего компаньона, владельца театра мистера Никеля, и между ними завязался короткий, но весьма выразительный разговор, который мы здесь передаем буквально слово в слово.

— Кто эта парочка в ложе номер три, с негром у дверей?

Мистер Никель не из тех, которые долго думают.

— В ложе номер три? Если не Джейкоб Шиф, то Луи Маршал.

— Если вы не лгун, то вы — идиот!

Мистер Никель заложил обе руки в карманы своих брюк и окинул своего компаньона таким ласковым

взглядом, точно услышал от него самый приятный комплимент.

— А кто бы это мог быть?

— Так вы бы сразу и сказали. Чего же вы голову морочите? Если бы этот пустозвон, который отвел парочку в ложу номер три, не сбил меня с толку своей бородой, я бы сказал, что это не кто иной, как Стельмах!

Мистер Никель буквально оторопел, словно человек, которого только что так встряхнули, что вытряхнули из его головы все мысли.

— Какой пустозвон? Чья борода? И кто этот Стельмах?

— Вот так светлая головушка! Набитая умница! Вы что же, прикидываетесь дурачком или вы действительно осел? А может, вы нездешний? Неужели вы никогда не слыхали имени Гриши Стельмаха?

— Гриша Стельмах?

Мистер Никель подпрыгнул на месте, угостил себя двумя увесистыми пощечинами в обе щеки — сначала в правую, потом в левую — и буркнул в нос по собственному адресу такое крепкое словечко, которого ни одна цензура не пропустила бы. Потом трижды крикнул во весь голос:

— Я идиот, идиот, идиот!

— Вот как! Рад слышать. Я уже давно это говорю.

Мистер Никель пропустил комплимент мимо ушей. Он весь затрепетал от радости.

— Те-те-те! Ежели это Гриша Стельмах, то я уже знаю, кто та красавица, что пришла с ним. Не дожить мне до завтрашнего дня, если я ошибаюсь.

— Аминь! Кто же она!

— Мисс Розалия Спайвак!

— Розалия Спайвак?

Тут уж Нисл Швалб ударил себя кулаком в лоб и, оставив своего компаньона одного в кассе, побежал в партер, чтобы еще раз взглянуть на старого знакомого и убедиться, действительно ли это тот пустозвон, который хочет его обмануть.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Рафалеско творит

Когда тяжелый занавес Никель-театра с шумом взвился, море голов в огромном полутемном зале заколыхалось, и легкий ветерок пронесся над этим морем. С минуту еще в зале стоял глухой гул, обычный в тот момент, когда публика настраивается смотреть спектакль. Но вскоре наступила желанная тишина, та мягкая, пленительная, святая тишина, которая обволакивает артиста со всех сторон, подымает, как на крыльях, и уносит высоко-высоко над морем голов. Та священная тишина, которая затрагивает самые нежные струны человеческой души, извлекает из нее чудеснейшие звуки и дает художнику безраздельное господство над зрителем.

Лео Рафалеско в этот вечер властно царил над публикой Никель-театра.

Для первого дебюта ставили, как всегда, «Уриеля Акосту». Едва Уриель показался на сцене, он сразу стал средоточием, к которому устремились все взоры. Этот обаятельный молодой человек с красивым, благородным бледным лицом, с длинными волосами, с большими страдальческими глазами, с едва пробивающейся светлой бородкой и открытой шеей, всем своим обличьем напоминал пророка.

Всепокоряющей силой своего изумительного огромного дарования молодой артист привлекал неослабное внимание и глубокие симпатии всех зрителей. Уже в самой его манере держать себя, в звучании голоса таилась сила, заставлявшая зрителя сразу полюбить его. Было какое-то особое обаяние в его походке, жесте, в каждом движении его на сцене. Переходы от одного состояния к другому были четки, удивительно естественны и поражали многообразием и богатством красок.

Вот перед вами молодой мыслитель, беседующий с доктором де Сильва таким тоном, каким говорит философ, проникающий вещим умом в высокие небесные сферы:

— Я не хочу сказать, что указываю истинный путь, по которому все должны идти. О, нет! Я знаю только, что мое незнание обязывает меня глубже исследовать, моя слепота — пристальнее вглядываться, моя глухота — внимательнее прислушиваться.

При словах «моя слепота» артист поднес руку к глазам, при словах «моя глухота» — к ушам, точь-в-точь, как еврейский ученый, старающийся проникнуть умом в сокровенные тайны талмуда. При этом лицо его светилось благородством и неотразимой привлекательной силой.

Но вот в разговор вступает жених его возлюбленной — Юдифи. Выражение лица Акосты мгновенно меняется: вы видите перед собой уже не мыслителя, не философа, а влюбленного, который с восторгом, с упоением говорит о любимой девушке, принуждаемой стать женой другого.

— *Она ниспослана мне небом... Она — клад, данный мне богом,* — вдохновенно произносит он.

И с внезапным порывом бросившись к ее жениху Бен-Йохаю, Акоста хватает его за руку и ласково, задушевно просит, умоляет:

— *О, не прикасайтесь к ней той самой рукой, которая считает червонцы... Молиться, благоговейно молиться вы должны на нее.*

А как только входит еврейский трибунал с раввином де Сантосом во главе, чтобы судить Акосту по обвинению в ереси, образ Акосты вновь меняется. Перед нами — мученик-борец, которого набожные люди, ослепленные фанатизмом, оторванные от жизни, собираются предать анафеме, стремясь либо заставить его отречься от своих мыслей, либо жестоко покарать его, упиться местью.

Как выразительны были в эту минуту глаза Рафалеско, как проникновенен их искрометный блеск! А как играло его лицо, поминутно менявшее свое выражение, отражая всю гамму его многообразных переживаний, всю трагедию его жизни, все страдания его сердца, все муки изболевшейся души. И все это — без штампованных приемов, без диких гримас, без вычурного жеста, без патетических выкриков. Он не хва-

тался руками за сердце, не рвал длинных волос своего парика, не ломал рук, не ходил по сцене широкими шагами, не корчил страдальческих гримас.

Зритель не мог не признать, что перед ним — исключительный художник, великий, осененный благодатью свыше, мастер, вдохновенный творец, артист «божьей милостью», который не играет, а творит на сцене, живет полнокровной жизнью. Зритель не мог не признать, что образ Акосты, воплощенный на сцене актером Лео Рафалеско, не был позаимствован у других, не вычитан из книг, а создан им самостоятельно, в результате долгого и упорного труда и напряженных творческих исканий.

В конце первого акта, когда Рафалеско остается на сцене один, он снова перерождается. Перед зрителем уже не затравленный мученик, а закаленный герой, готовый на смертельную борьбу.

— *О Бен-Йохай, ты глубоко ошибаешься! Кто привык бороться за правду, тот не позволит топтать ногами свой золотой венец.*

Рафалеско поднял руку, и всем в зале почудилось, что перед ними человек, действительно увенчанный если не золотым венцом, то венцом страданий и мук. И сердца зрителей забились в унисон с его сердцем. Всем было жаль, что уже опустился занавес, — хотелось не отрывая глаз, все смотреть да смотреть на нежного, благородного, прекрасного Акосту. Публика не переставала неистовствовать: «Рафалеско! Ра-фа-лес-ко-о!» И молодой артист без конца выходил на сцену под несмолкаемый гром рукоплесканий.

Да, Никель-театр давно уже не слыхал таких оглушительных криков, таких бурных оваций, такого взрыва аплодисментов, как в этот вечер. Директор театра и участники «коммуны» «Кламер, Швалб и К°» млели от восторга. А враги, сторонники других театров, собиравшиеся освистать «зеленорога», заядлые критики и скалозубы из «кибецарни», точившие зубы на нововявленного «Поссарта-Барная-Ирвинга-Росси», грызли ногти со злости. Но они все же не теряли надежды:

— Не беда! Вечер долог, — утешали они себя, — а в трагедии Карла Гуцкова целых пять актов.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

В антракте

В антракте между первым и вторым актом в Никель-театре, как и во всяком театре во время бенефиса, было необычайно шумно и оживленно. Всем хотелось поделиться своими впечатлениями по поводу «новой звезды». Имя Рафалеско не сходило с уст. Его произносили всюду: и внизу — в партере и ложах, и на самом верхнем ярусе — на галерке. Каждый рассказывал биографию молодого артиста в том виде, в каком она изложена в получаемой им газете, — лучшее доказательство тесного содружества театра и прессы в Нью-Йорке.

Не во всех газетах, конечно, биография Рафалеско передавалась одинаково, поэтому и в рассказах о нем царил разнобой. Не было также единообразия в оценке его игры. Следует добавить, что далеко не все зрители знали, что за пьеса — «Уриель Акоста» и кто ее автор — Латайнер, Гордин, Либин или профессор Якоби *. Были и такие, которые ожидали, что в следующих актах им будет преподнесена веселая песенка вроде «Мойше». Это в достаточной мере характеризует культурный уровень и театральные вкусы широкой публики... И все же почти все зрители находились под обаянием большого таланта, его покоряющей силы, которую не всякий, быть может, воспринимал разумом, но которую каждый чувствовал сердцем, всем существом своим. И потому почти всякий старался передать другому то, что он чувствовал, торопился поделиться впечатлениями о новой звезде — о Рафалеско.

Лишь один человек из публики сидел в полном одиночестве и не имел возможности поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями, поведать свой восторг, свое восхищение спектаклем. То был наш «любитель еврейского театра» — Меер Стельмах.

Меер Стельмах не только получил за свои деньги полную меру удовольствия, не только восторгался, наслаждался игрой артиста, — он просто упивался,

млел, таял, как воск, был на вершине блаженства. А поделиться своими чувствами, к сожалению, не с кем было. Тогда он решил потихоньку забежать в ложу номер три — во-первых, проведать детей, а во-вторых, услышать их мнение об этом чуде из чудес — о Рафалеско.

Не пройдя и трех шагов, Меер Стельмах внезапно остановился. Навстречу ему шел тот самый богатырь, с которым он встретился в коридоре при входе в театр. Какое знакомое лицо! С веселой улыбкой на устах стоял он против Стельмаха и глядел ему прямо в глаза.

То был Нисл Швалб.

— Здравствуйте, пустозвон! Не узнали? Странно. В Лондоне мы были с вами на короткую ногу. Я даже был у вас в гостях, помните? То есть я стоял на улице у порога ваших дверей, а вы послали сказать, что вас дома нет. Я узнал вас тогда по голосу. Хотел даже тут же на месте устроить вам скандал, как вы видите меня плавающим. Но я подумал: леший его возьми, пускай уж с ним кто-нибудь другой расправится. Если вы не забыли, я приходил к вам не по личному делу, а хлопотать за других, за ломжинского кантора и его семейку. Помните вы эту ораву? Поглядели бы вы на них теперь! Э-ге-ге! Они уже нынче не нуждаются в ваших милостях. Они олл райт. Ну, а вы как поживаете, мой милый зверюшка? Вы меня так сбили с толку вашей бородой, что если бы ваш Гриша с этой Спивак не сидели в ложе номер три, я бы вас ни за что не узнал, клянусь всем вашим добром.

Только чудом можно объяснить, что Меера Стельмаха тут же на месте не хватил удар... Одной встречи с этим субъектом, приветствовавшим его столь изысканной речью, было достаточно, чтобы вся кровь застыла у него в жилах. А тут еще пришлось услышать от него имена Гриши и Розалии Спивак. И откуда он узнал, что они в ложе номер три? Когда он успел об этом проведать? Да и вообще, что общего между ним, Стельмахом, и этим верзилой?

Легко себе представить, сколько проклятий послал он мысленно по адресу своего собеседника. Но ничего

не поделаешь. Раз человек вас останавливает и уверяет, что знаком с вами, то нельзя же быть грубияном и плюнуть ему в лицо. Как бы то ни было, настроение Меера Стельмаха в этот вечер было испорчено вконец. Он уже не мог пойти к детям в ложу и решил отправиться к ним после второго акта. Все второе действие он сидел как на иголках. Если бы Меер Стельмах заглянул к детям в ложу сразу после первого акта, не произошло бы, вероятно, то событие, которое составляет содержание следующей главы, и все приняло бы, пожалуй, совсем другой оборот.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Что произошло в ложе номер три

Ничего особенного в ложе номер три, собственно, не произошло. Там, как мы знаем, сидела знаменитая парочка — Гриша Стельмах и Роза Спивак. Они с напряженным вниманием прослушали первый акт, глаз не сводя с Рафалеско, который произвел на них не меньшее, а может быть, и еще большее впечатление, чем на остальных зрителей. Для них обоих было приятным сюрпризом слушать подлинно талантливого актера, видеть на еврейской сцене поистине восходящую звезду.

Особенное наслаждение доставила игра Рафалеско Розе Спивак. И для нее это было своего рода победой, триумфом. Она ведь и сама некогда имела отношение к еврейскому театру. Она давно уже не испытывала такого полного душевного удовлетворения, как в этот вечер, и была глубоко признательна Стельмаху-отцу за его идею свести их обоих в еврейский театр.

Чем дальше, тем больше росло изумление Розы. Она почти глазам своим не верила. Никогда не представляла она себе, что еврейский театр, который она когда-то видела во всем его убожестве, мог в столь короткий срок подняться до таких вершин, возвы-

ситься до степени подлинного искусства. Трудно было поверить, что среди еврейских актеров, какими она их знала, может вырасти такой гигант, такая исполинская фигура, такой великий художник, как Рафалеско. С величайшим интересом и напряженнейшим вниманием следила она за каждым шагом, за каждым движением артиста, который силой своей правдивой, глубоко вдохновенной игры перенес ее в далекий старый Амстердам с его старыми, далекими от нас интересами. Иллюзия была так велика, что Роза видела себя вместе с Акостой в средневековом мире, делила с ним горе и радости того времени, той эпохи, когда шла ожесточенная борьба между фанатизмом и свободной мыслью, глашатаем которой был Барух Спиноза... * Жаль только, что в соседней ложе, принадлежащей дирекции театра, все время шумели и мешали слушать. Там собралась группа женщин, которые переговаривались шепотом, точно в синагоге во время богослужения, когда язык чешется и страсть как хочется посудачить, но потихонечку, так, чтобы не помешать кантору.

Эти женщины, видимо, имели отношение к Никель-театру и к «коммуне» «Кламер, Швалб и К°», так как среди них находилась наша старая знакомая — жена ломжинского кантора, а с нею — несколько немолодых, но расфуфыренных дам с морщинистыми, покрытыми густым слоем пудры лицами, — не то актрисы, не то актерские жены. Что за серьезные разговоры были у них и почему они не могли отложить свою беседу на другое время, — трудно сказать. Всегда так: когда человек вынужден молчать, ему, как назло, хочется поговорить. Такова сила искушения.

Шепот немолодых дам был бы еще терпим. Но вот в середине первого акта в директорскую ложу с шумом ворвалась какая-то причудливая красавица в такой широченной шляпе, что под ней, казалось, могла бы поместиться вся женская компания, сидевшая в ложе. С приходом красавицы там поднялся невообразимый галдеж.

Роза готова была разорвать на куски эту беспокойную красавицу в чудовищно большой шляпе. Что

за странная женщина такая? Не знает ни минуты покоя! Точно назло, нелегкая занесла ее сюда. Ей не сиделось на месте. Рот у нее не закрывался ни на один миг. Она шушукалась и шепталась то с одной, то с другой соседкой, тихонько хихикала, вся извивалась, откидывала рукав, выставляя напоказ все свои браслеты с брильянтами, а заодно уж и красивые белые руки. Роза несколько раз переглянулась со своим кавалером, и во взглядах их можно было прочесть: «Что за странная птица такая?»

Даже тогда, когда первый акт кончился и зал задрожал от бурного взрыва аплодисментов и неистовых криков «Рафалеско!» — эта «странная птица» не прерывала своей трескотни. Она громко, раскатисто хохотала, беспрерывно жестикулировала и вела себя так, что Розу охватило желание потребовать, чтобы ее вывели из театра.

Когда Рафалеско в третий раз стали вызывать на сцену и он вежливо начал раскланиваться с публикой, под гром рукоплесканий, Роза заметила, что красавица показала ему язык, а сидевшая в директорской ложе рядом с ней пожилая женщина разразилась громким смехом. Это до глубины души возмутило Розу. Она не вытерпела и обратилась к красавице в шляпе на еврейском языке:

— Неужели вам не понравился этот артист?

— Какой артист? Рафалеско? ха-ха-ха? Да ведь он же мой жених, ха-ха-ха!

Эти слова были сказаны с такой наивной простотой и сопровождались таким невинным смехом, что Роза вдруг почувствовала расположение к этой «птице». Она придвинулась ближе к незнакомке.

— Ваш жених, вот как? Вы тоже актриса?

Незнакомка перестала смеяться.

— Актриса ли я? Я — примадонна. Мое имя — Генриетта Швалб.

— Очень приятно.

Роза не назвала своего имени, но придвинулась еще ближе к примадонне, так что они сидели почти лицом к лицу; их отделяла лишь тонкая перегородка между ложами. Они могли поэтому разговаривать

совершенно свободно, без всякого опасения, что их могут подслушать.

— Я бы хотела знать, — приветливо сказала Роза, — правда ли то, что пишут о Лео Рафалеско из Бухареста?.. Будто королева Кармен Сильва...

— Ничего подобного! Сплошные враки! — с громким смехом прервала ее Генриетта, — во-первых, он вовсе не из Бухареста, а из Голенешти.

— Голенешти?..

Слово это вырвалось у Розы, как крик сердца. Она ухватила Генриетту за пухлую обнаженную холодную руку. Но, сразу спохватившись и овладев собой, сделала вид, будто рассматривает браслеты собеседницы.

— У вас так много драгоценностей... Ваш браслет мне нравится.

— Это подарок моего жениха.

— Как, говорите вы, называется этот город? — с напускной небрежностью спросила Роза, не переставая разглядывать браслет Генриетты.

— Город? Ха-ха-ха! Местечко в Бессарабии... Какое-то Голенешти... там едят мамалыгу, ха-ха-ха!

Но интимная беседа двух примадонн поневоле была прервана. Внезапно погасли огни, взвился занавес, и начался второй акт.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Публика с ума сошла

Где были ее глаза? Как могла она сразу, с первой минуты, с первого же слова, с первого же взгляда не узнать его?

Роза заглянула в программу и прочла «Уриель Акоста — Лео Рафалеско».

— Ну, конечно, Лео...

— Что Лео?

Вопрос был задан Гришей, который сразу заметил, что с Розой внезапно произошла какая-то перемена.

В течение всего первого акта она сидела возле него, придвинувшись вплотную, и ее рука была в его руке. Теперь, во втором акте, Розы как будто и вовсе не было в ложе. Она перегнулась почти всем корпусом и, не отрываясь, смотрела в бинокль на сцену.

Перед глазами — несколько декоративных деревьев, изображающих сад. Между деревьями виднеется несколько фигур, но среди них нет того, кого Роза ищет глазами... Ей кажется, что эти движущиеся фигуры — из того же материала, что и деревья. Декоративные фигуры, расхаживающие по сцене манекены, говорящие истуканы. Какой-то элегантно одетый старик читает какую-то бумагу. Говорит плаксиво, будто не своим голосом. Возле него стоит слуга в старомодной ливрее, с косичкой на затылке. Эти деревянные фигуры ведут о чем-то разговор, но о чем именно, — до нее не доходит.

Затем на сцене появляется какая-то девушка, нескладно загримированная, с плохо подведенными бровями. У нее непропорционально большие красные руки. Кто эта девушка? Что она тут делает? Коверкая еврейскую речь на немецкий лад, она называет старика «фатер» (отец). Беседа их представляется Розе какой-то никчемной, глупой, ненужной. Она говорит об амстердамской бирже, о Рубенсе, о Ван-Дейке, о Моисее, Сократе и Христе, об искусстве, о религии. И слово религия она тоже произносит по-немецки — «религион». Глупые, ненужные речи! Слуга ушел. Слава богу, одним манекеном на сцене меньше. Вот и старика уже нет. Девушка осталась одна. Она мечется по сцене без смысла и без цели. Закатывая к небу плохо подведенные глаза, она прижимает красные руки к фальшивому бюсту и высокопарно произносит: *«Оковы малодушия гнетут мое сердце»*. Глупые, ненужные слова!

Но вот и он, Уриель Акоста!..

Роза чувствует, что у нее дух захватывает, лихорадочно пульсирует кровь, а сердце вот-вот разорвется, выскочит из груди. Тик-тик-так, тик-тик-так. С минуту ей кажется, что Уриель Акоста глядит в ее ложу, прямо на нее. Она чувствует, что лицо ее горит

адским пламенем. Нет, ей это только показалось. Померещилось.

Тихо и спокойно говорит Уриель со своей возлюбленной Юдифь. В голосе — чарующая мягкость, движения благородны, пластичны, полны изящества. Все взвешено и размерено. Ни одного бесцельного движения, ни одного лишнего нюанса. Публика вслушивается в каждое его слово, словно он один на сцене. Вдруг голос его повышается. Какая-то особая сила чувствуется в его словах. С необычайной нежностью и любовью берет он свою возлюбленную Юдифь за руку:

— *Моя дорогая Юдифь, в последний раз прощай!*

Как прекрасны, как изумительно прекрасны его глаза! Сколько искреннего, неподдельного чувства, сколько мучительной любви светится в них. Неужели он уже уходит со сцены? Нет, появляется тот же старик в сопровождении каких-то субъектов, и Уриель остается с ними. Слава богу, что он остался. Роза впивается в него глазами. Но вот Юдифь берет его под руку, и они медленно уходят. Издали слышатся звуки музыки.

С глубоким вздохом Роза опускает бинокль. Молодой маэстро, сидящий рядом с ней, заглядывает ей в глаза. Он хочет знать, что с ней. Хочет спросить, почему она вздыхает? Роза его не видит. Она никого не видит. Она вся ушла в себя, спустилась в бездну собственной души... «Неужели это он? Тот, кого она так долго ждала? Тот, кого она лелеяла в своих мечтах, кто так часто виделся ей во сне? Или, быть может, то, что она видит сейчас, тоже сон, грезы... Нет, это не сон!»

За ее спиной какое-то шушуканье. Опять в соседней ложе распустила язык красавица, назвавшая себя примадонной и невестой Рафалеско. Возможно ли? Она его спросит. Непременно спросит. Сегодня же. Где она его увидит? Здесь, в театре, за кулисами. Как только кончится второй акт, она пойдет за кулисы и попросит вызвать гастролера Лео Рафалеско. Как назвать себя? Кто его спрашивает? Одна леди хочет его видеть. Без имени, просто леди... Все будут таращить

на нее глаза: кто эта леди, которая спрашивает Рафалеско. Но какое ей дело до них?

Об одном лишь забыла Роза: что она здесь не одна, что с ней в ложе еще кто-то, что рядом с ней сидит Гриша Стельмах. Бедный Гриша Стельмах! О нем-то она и забыла, совершенно забыла. Забыла, кто он ей. Забыла, что произошло между ними сегодня утром. Забыла даже, что есть на свете человек по имени Гриша Стельмах. Бедный, бедный Гриша Стельмах!

Внезапно на сцене протрубил рог. Роза встрепенулась, будто очнувшись от сна. Сцена наполнилась людьми. Все говорят, говорят, но их разговоры кажутся ей глупыми, решительно ненужными. Но где же Акоста? Ах, вот он! До чего же он изменился! Совсем другой человек. Что-то новое, необычайно мощное слышится в его голосе.

Роза, не отрывая бинокля от глаз, жадно ловит каждое слово из длинного монолога Акосты. Не все в его речи ей одинаково понятно. Но каждое его слово полно для нее особого смысла. И ее не столько чаруют самые слова, сколько голос. *Его* голос. Как могла забыть она *его* голос? Сколько раз за годы скитаний она с закрытыми глазами слушала этот голос!

— *Я хочу терпеть и страдать наравне со всеми. Ваше отлучение не имеет силы, — я остаюсь евреем!* — с гордостью закончил Акоста свой монолог.

И весь театр разразился неистовыми аплодисментами. То был бурный взрыв восторга молодых зрителей, захлестнутых горячей волной национальных чувств. Эти молодые люди как бы перекликались со своими заокеанскими братьями, гонимыми, испытывающими невыразимые страдания, и казалось, своими бурными рукоплесканиями выражали готовность *«терпеть и страдать наравне со всеми»*. Вслед за молодежью стала бешено аплодировать и остальная публика, среди которой было немало зрителей, более или менее разбирающихся в том, что такое подлинное искусство. Все чувствовали, что перед ними художник изумительной глубины и силы, настоящий творец, великий артист, выносящий на своих плечах всю труппу,

умеющий держать в своих руках всю публику, околдовавший своими чарами всех зрителей.

«Да, это звезда! — единогласно решили все, присутствовавшие на спектакле. — Это поистине восходящая звезда на горизонте еврейского театра...»

Давно уже закончился второй акт, а аплодисменты все еще не стихали. Долго еще сотрясали воздух громовые, неистовые возгласы и крики: «Рафалеско! Браво, Рафалеско!»

Нашлись такие, которые пытались успокоить толпу. «Тише, тише!» — кричали они.

Тщетно! Вместо «браво, Рафалеско!» раздалось мощное, раскатистое «ура, Рафалеско!»

— Публика с ума спятила! — послышался чей-то возглас из партера.

И это было верно: публика и впрямь сошла с ума.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Мистер Никель тоже ораторствует

В Америке произносят речи все кому не лень, — все от мала до велика. Все решительно, кроме разве немых от рождения.

В Америке произносят речь на любом торжестве и при каждом удобном случае: на помолвке, на свадьбе, на именинах, на праздновании религиозного совершеннолетия, на новоселье, при разводе, на похоронах, по случаю всевозможных бедствий и радостей. Все-все в Америке дает повод для спича, а уж о собраниях, митингах, лекциях, вечерах, банкетах, приемах гостей, концертах и театральных премьерах и говорить не приходится, — здесь сам бог велел произносить речи.

Когда в театр приезжает гастролер, «звезда», в антрактах в его честь произносится со сцены спич. Обычно это делает либо сам гость, либо кто-нибудь из актеров, обладающих здоровой глоткой и умеющий говорить витиевато, в приподнятом тоне. А иной

раз сам менеджер, то есть хозяин театра, считает своим долгом самолично оповестить высокочтимую публику о том, что ей, по его разумению, надлежит знать.

На этот раз после второго акта, когда публика уже изнемогала от бешеных рукоплесканий и оглушительных криков «ура, Рафалеско!», а Рафалеско уже обессилел от бесчисленных выходов и бесконечных поклонов перед обезумевшей нью-йоркской публикой, занавес еще раз поднялся, но вместо Рафалеско появилась всем знакомая живая, подвижная фигура мистера Никеля.

Одет он был весьма просто, как и полагается хозяину у себя в доме: обычный рабочий костюм, короткий пиджак, руки в карманах, на устах улыбка, знакомая, не сходящая с лица улыбка, создавшая мистеру Никелю репутацию «славного парня».

— Леди и джентльмены! — начал мистер Никель свой экспромт. — Прежде всего я считаю своим приятным долгом выразить сердечную благодарность высокочтимой публике за то, что она удостоила своим посещением мой театр. Меня ничуть не удивляет, что все спектакли моего театра собирают всегда полный зал, в то время как в других театрах Нью-Йорка столько свободных мест, что можно без труда прокатиться по залу в автомобиле. Я не хочу, сохрани боже, злословить по адресу моих конкурентов, но правды не скроешь: уважаемая публика любит мой театр больше всех других, — возможно, потому, что я делаю все от меня зависящее, чтобы пойти навстречу требованиям и запросам публики. Я не жалею денег и не останавливаюсь ни перед какими затратами, как бы велики они ни были. И теперь мне тоже удалось — разумеется, ценою огромных затрат — пригласить из Бухареста нашего уважаемого гостя на несколько считанных гастролей. Это — король актеров. Это — всемирно-известный драматический артист Лео Рафалеско из Бухареста, который не имеет равного себе ни здесь, ни по ту сторону океана... Мне приятно видеть, что высокочтимая публика оценила его по достоинству, и я заверяю, что и в дальнейшем не остановлюсь ни перед какими затратами, как бы огромны они ни

были, чтобы возможно дольше удержать здесь гениального гастролера, дать воможность видеть его тем сотням и тысячам людей, которые с болью в сердце должны были уйти сегодня домой, потому что, как вы сами видите, здесь буквально яблоку негде упасть.

Леди и джентльмены! Выражая свою самую глубокую благодарность высокочтимой публике, я не могу удержаться, чтобы не выразить особую признательность тем наиболее уважаемым гостям, которые почтили сегодня мой театр своим присутствием. Мне доставляет особенную радость сообщить вам, что среди уважаемых гостей, почтивших своим высоким присутствием мой театр, находится и несколько таких, которые до сих пор вообще никогда не посещали еврейского театра в Нью-Йорке, за исключением моего театра. В их числе имеются двое почтивших нас своим присутствием, которые и сами являются великими артистами и имена которых пользуются заслуженной славой и в Старом и в Новом Свете, — в Европе и в Америке. Они находятся, леди и джентльмены, здесь вот, в левой ложе. Я уверен, что здесь нет человека, который не слыхал бы имен *Гриши Стельмаха и мисс Розалии Спайвак,* как нет человека, который не слыхал бы имен Вашингтона и Эдисона . . . . .

. . . .

Окончания речи мистера Никеля никто уже не слышал и не мог расслышать, даже он сам. Публика, и без того взбудораженная, пришла в еще большее возбуждение, услыхав, что в зале находятся Гриша Стельмах и Розалия Спивак, имена которых в последние дни не сходили со страниц газет... Вся публика партера поднялась, как один человек, и устроила нашим знаменитостям такую бурную, такую пламенную овацию, что у Гриши Стельмаха и Розы Спивак не оставалось иного выхода, как только подняться и убежать из театра, точно они тут подверглись самым тяжким оскорблениям. К этому их почти принудил Стельмах-отец, с трудом пробравшийся к их ложе. Он что-то шепнул обоим на ухо и вместе с негром-лакеем проводил их под непрекращающиеся аплодисменты публики к автомобилю. Усевшись с ними вместе в

машину, он всю дорогу, не переставая, осыпал проклятиями еврейский Нью-Йорк за то, что он устроил артистам такие торжественные проводы и оказал им чуть ли не царские почести. . . . .
. . . .

Рафалеско не дослушал до конца блестящую речь мистера Никеля. Едва только директор начал благодарить уважаемых гостей, почтивших театр «своим высоким присутствием», Рафалеско потерял терпение и ушел к себе в уборную подготовиться к третьему акту.

— Что там за шум? — спросил он у парикмахера, который в поту вбежал к нему в уборную из партера.

— Сумасброды! В полном смысле слова сумасброды! — воскликнул парикмахер, свободомыслящий молодой человек, социалист, не пропускавший ни одной лекции в Клинтон-зале, если он в это время не был занят в театре. — Дикари без всяких признаков цивилизации! Нашему директору, мистеру Никелю, вздумалось произнести речь по поводу сегодняшнего вечера. Говорил бы он хоть пристойно, как полагается директору, было бы еще с полбеды. Так нет же! На то он, между нами говоря, хозяин, буржуй, чтобы подлизываться к капиталистам, к важным посетителям и их аристократическим артистам, которые, дескать, «почтили нас своим присутствием» и спустились с самой Пятой Авеню в наш убогий квартал. Подумаешь, эка важность! Будь здесь Карл Маркс, он похоронил бы себя живьем.

— А кто эти знаменитые артисты с Пятой Авеню? — поинтересовался Рафалеско, глядя в зеркало и принимая позу, наиболее подходящую для его трагической встречи в третьем акте с семьей и со слепой матерью.

— Кто они? Он — скрипач, на скрипке играет, а она — певица, примадонна. Его зовут Гриша Стельмах, а ее — Розалия Спайвак, или Роза Спивак.

Если бы парикмахер-социалист обжег его горячими щипцами или нечаянно порезал ему горло острой бритвой, Рафалеско не рванулся бы так с места, как он рванулся при последних словах парикмахера. С минуту он стоял в замешательстве, бледный как

смерть. Затем сбросил парик, сорвал бороду и бросился к двери. Парикмахер решил, что молодой маэстро внезапно сошел с ума... В эту минуту кто-то постучался в дверь, и, не дожидаясь обычного «кам ин» (войдите), в уборную Рафалеско с хохотом, шумом и треском ворвалась примадонна — Генриетта Швалб.

— Ха-ха-ха! Комедия с нашими аристократическими коллегами! Убежали от нас, как от чумы! Настоящий водевиль, ха-ха-ха!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Еще одна встреча

В то время как распаленная до последнего накала публика Никель-театра гремела и неистовствовала в зале, приветствуя бурными аплодисментами сперва Лео Рафалеско, а потом Гришу Стельмаха и Розу Спивак, в вестибюле театра разыгралась следующая сцена.

Наш элегантный мистер Кламер стоял в вестибюле у дверей, прислушиваясь к речи мистера Никеля. Закрыв один глаз, он вобрал в рот часть своей бороды а-ля Герцль и всем своим видом показывал, что спич мистера Никеля ему не по душе. Он не понимал, как этот неотесанный человек, не имеющий понятия ни об истории, ни об искусстве, ни о Шекспире, берет на себя смелость произносить речи перед столь многочисленной публикой. Если бы его, мистера Кламера, выпустили на сцену, тогда все было бы олл райт. Он произнес бы такую речь, что небу стало жарко, или, как говорят англичане, «было бы и чисто и речисто».

— А, здравствуйте, мой дорогой пискунчик! Как поживаете? Я вас ищу днем с огнем. Для вас-то я и приехал сюда, дай мне бог столько счастья и удач.

Перед мистером Кламером стоял маленький человечек с плутоватыми глазками, в новом с иголочки костюме, в причудливо больших лакированных штиблетах, в рубахе с очень широкими манжетами, которые

то и дело сползали на кисти рук. Человек все время тщетно пытался водворить их на место, вследствие чего его руки не знали ни минуты покоя. Говорил он хрипловатым голосом, быстро-быстро, не переводя дыхания и не дожидаясь, пока ему ответят.

— Скажите, мой дорогой англичанин в клетчатых штанах, как вам живется в этой стране? Как ваше здоровье? Как дела? Что вы на меня смотрите такими глазами, точно жених натощак? Не узнали? А ну-ка, вспомните. Я — Муравчик, Шолом-Меер Муравчик. Жил у вас в Лондоне, в вашей гостинице. Бедствовал там немало, хлебнул-таки горя, — да не повторится это больше никогда! Приходилось одолжаться у вас, занимать по нескольку шиллингов, под заклад конечно. Как говорит пословица: «Заклад в кармане — мир и покой в доме». Теперь я приехал уплатить вам долг и взять обратно заклад. «Деньги на ларь — и получай товар». Я, знаете, не люблю носиться с опухолью на затылке. Кстати, мне очень нужны мои бумаги.

— Какие бумаги?

Мистер Кламер, по-видимому, не узнал его и понятия не имел, кто стоит перед ним. Субъект с плутоватыми глазками рассмеялся своим хриплым смешком, не переставая воевать с манжетами.

— Поглядите-ка, люди добрые, как этот человек дурака ломает! Забыли, что ли? Маленький саквояжик, с этаким брюшком, полный разных бумаг, очень важных бумаг. Для вас они, может быть, не имеют ценности, но для меня они — целое состояние. Вот попробуйте-ка предложить мне за них тысячу долларов, — право, не возьму. Дай мне боже столько счастья и удач.

— Вот как? А не ошиблись ли вы? Не попали ли вы не в ту дверь?

Продолжая смеяться, Муравчик вновь затараторил:

— Хорошенькое дело! Я, надо вам сказать, никогда не ошибался. Я всегда попадаю куда надо и если хотите знать, то я еще никогда не давал оплеухи тому, кому не следует. Хотите доказательства?.. Пожа-

луйста: вас зовут мистер Кламер. Вы живете в самом центре Уайтчепеля, ваша гостиница носит священное имя «Кафе Националь». Теперь вам ясно, что я не ошибаюсь? А если вам и этого мало, вот вам еще одна примета: саквояжик с бумагами вы взяли из моих рук, отнесли наверх и заперли в гардероб. Что вы теперь скажете, господин рогатый верблюд, то бишь мистер Кламер?

Мистер Кламер, по-видимому, начал припоминать, что у него и впрямь был какой-то саквояж с бумагами. Но куда все это девалось, хоть убей, не помнит. Забыл. И мистер Кламер решил притвориться, будто знать ничего не знает.

— Понятия не имею ни о каком саквояжике, знать не знаю ни о каких бумагах и не морочьте мне голову вашими глупостями, потому что стоит мне свистнуть, — и вас как миленького вышвырнут из театра прямо на улицу.

— Вот как? Свистнете? А ну, попробуйте-ка! Свистните! Почему же вы не свистите?

С этими словами наш старый знакомый Шолом-Меер Муравчик стал придвигаться к мистеру Кламеру все ближе и ближе, пока расстояние между ними не сократилось настолько, что великолепная борода мистера Кламера, казалось, вот-вот очутится в цепких пальцах Шолом-Меера. Кто знает, чем бы это кончилось, если бы на отчаянный крик мистера Кламера не прибежал Нисл Швалб (где это видано, чтобы какой-нибудь скандал обошелся без его участия?). С ним вместе сбежались билетеры и служители театра. Они принялись за новый костюм Муравчика и за его шляпу — и пошла потеха! . . . .
. . . .

Читатель глубоко ошибается, если полагает, что Шолом-Меер Муравчик приехал в Нью-Йорк исключительно для того, чтобы вцепиться в пышную бороду мистера Кламера и чтобы ему за это намяли бока и вконец испортили шляпу. Приехал он в Нью-Йорк, собственно говоря, не только ради своих бумаг и ради своих дел с Розой Спивак. У него было одно весьма щекотливое поручение к молодому герою нашего

романа, к знаменитой восходящей звезде Лео Рафалеско. Это было такого рода поручение, что, едва услышав, в чем дело, наш герой...

Но к чему забегать вперед? Вернемся лучше на некоторое время в Лондон и расскажем, по возможности коротко, что там произошло с нашим Муравчиком.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Лиха беда не приходит одна

Из письма Шолом-Меера Муравчика из Лондона своему другу Альберту Щупаку в Одессу мы уже знаем, что Шолом-Меер собирался проведать своего бывшего коллегу — директора Гольцмана.

Но Лондон не из тех городов, где легко найдешь, кого ищешь. Отправляясь на поиски, надо запастись терпением и проявить много настойчивости. К тому же Шолом-Меер в это время, как он сам выражался, «оказался на бобах». Та небольшая сумма, которую он привез с собою из Парижа, быстро разошлась, а друг Щупак не очень-то торопился с присылкой «целковиков», которые просил у него Муравчик. Так он откладывал свой визит к Гольцману со дня на день. Наконец в один из тех тусклых туманных дней, какие часто выпадают в мрачном Лондоне, Муравчик после долгих поисков с большим трудом добрался до одного из заброшенных уголков Уайтчепеля на улице Бруклин, убогого и жалкого уголка, — под стать Вильне или Бердичеву.

Он вошел в большой двор с двумя входами, справа и слева. Оба входа с их темными скользкими лестницами казались ему черной раскрытой пастью, готовой проглотить всякого, кто войдет сюда. Густой запах жареного на гусином сале лука и жареной на подсолнечном масле рыбы, пенье, крики и галдеж детворы, перекрестная бабья ругань на всех диалектах, сопровождаемая «добрыми пожеланиями» вроде: «Сломать бы тебе шею, размалеванная харя!», «Подавись,

ненасытная глотка!», «Чтоб тебе на костылях ходить, девка бесстыжая» и тому подобные «благословения» — все свидетельствовало о том, что здесь живут свои люди, как говорится — «наш брат».

Муравчик шел наугад, вслепую, надеясь хоть когонибудь да встретить. Но так как ему не встретилось ни живой души, он подымался все выше и выше по скользким ступеням лестницы, пока не добрался почти до последнего этажа. Он стал бы взбираться еще выше, но натолкнулся, наконец, на какое-то существо, похожее на ведьму. То была высокая сухопарая старуха с широкими костлявыми плечами и таким чудовищным лицом, что к ночи лучше не встречаться с этаким страшилищем. Ведьмообразное существо несло в руках большую связку дров и пыхтело, как кузнечный мех.

— Тетенька, — обратился к старухе Муравчик. — Не знаете, где здесь живет директор еврейского театра, носящий священное имя Гоцмах, виноват, Гольцман?

Та, которую Муравчик назвал тетенькой, остановилась, пристально взглянула на него, стараясь разглядеть в темноте, что за человек перед ней, и со вздохом произнесла:

— Пойдемте, я вам покажу.

Взобравшись еще на несколько ступенек, они очутились в каком-то жилье из двух комнатушек с кухней, — квартира весьма неприглядная для директора театра, хотя бы и еврейского. В кухне старуха бросила на пол охапку дров, выпрямилась и стала осматривать пришедшего своими старыми заплаканными глазами.

— Кого, стало быть, вам надо?

— Стало быть, его самого мне надо, директора Гоцмаха, виноват, Гольцмана. Скажите ему, пожалуйста, что старый приятель пришел его проведать, хочет повидаться с ним.

— Повидаться? — старуха подняла руки и тотчас опустила их. — С ним повидаться трудновато. Он уже далеко...

— Уехал?

Старуха вновь подняла руки, опустила их, затем наклонилась к пришедшему «старому приятелю», потому что была двумя головами выше его, и крикнула ему прямо в ухо, словно бы перед ней был глухой:

— Царствие ему небесное!

Шолом-Меер Муравчик отскочил назад и заломил руки.

— Умер? Гоцмах, виноват, Гольцман, умер? Что вы говорите?

— Что я говорю? Горе мое горькое говорит! Это же мой сын. Мой единствен...

Старуха была не в силах договорить до конца. Она опустилась на стоявшую у двери кухонную табуретку, закрыла свое сморщенное лицо старым рваным передником, и ее широкие костлявые плечи подернулись судорогой.

Слово «умер» — очень скверное слово и обладает, по-видимому, зловещей силой. У Шолом-Меера руки и ноги отнялись, и он забыл в эту минуту, что покойный, в сущности, был его закоренелым врагом. Ему, наоборот, показалось, что он потерял лучшего друга, очень близкого, закадычного, можно сказать, друга. Шутка ли, он и Гольцман!

Переждав несколько мгновений, Шолом-Меер Муравчик сел на вторую кухонную табуретку, пододвинулся ближе к старухе и заговорил:

— Так вы, значит, его мать? Мать моего друга? Представьте себе, мой друг частенько рассказывал мне о своей матери. Ваше имя почти не сходило у него с языка. «Дожить бы мне так до радости увидеть свою маму», — это была у него самая святая клятва. Вы не знаете, какой у вас был преданный сын! И какой человек, скажу я вам! Добрейшей души человек! А какой это был хороший товарищ! Мало сказать хороший, — чудеснейший товарищ! Последним куском хлеба готов был поделиться с другом. А уж со мной и подавно: как говорится, одна душа и одно тело, дай мне боже столько счастья и удач!

Шолом-Меер Муравчик не скупился на похвалы, представляя старой матери своего покойного друга

как образец совершенства. И ему самому казалось, что все, что он рассказывает, — сущая правда.

Для старой матери эти слова, естественно, были целительным бальзамом, приложенным к зияющей ране. Нашелся, благодарение богу, хоть один друг у ее сына, умершего в одиночестве, вдали от родного дома, угасшего, как свеча, в мрачном и пустынном Лондоне — провалиться бы ему сквозь землю, подобно Содому и Гоморре! * Если бы не этот проклятый туманный Лондон, ее сын еще кашлял бы да кашлял бог весть сколько лет...

Сидя в кухне, бедная Сора-Броха поведала «старому приятелю» сына свое тяжкое, неизбывное горе. Рассказала, как ее сын кашлял и харкал кровью, как она делала все возможное, чтобы его спасти, сколько денег это стоило, — шутка ли, родной сын! Да еще такой сын! Рассказала, как он умер и как она не хотела верить этому, потому что — как может умереть ее сын, ее родной сын? Передала во всех подробностях, как его потом забрали и увезли. И похоронили его не так, как положено у нас, с соблюдением установленных обрядов и предписаний религии. Где там! Приехало несколько чертей в черных цилиндрах, положили его на высокий черный фургон, схватили и помчались на кладбище, не дав ей, матери, даже наплакаться вволю... Торопились так, точно их лихорадка трясла, — чтоб их всех в один день лихорадка скосила, владыко небесный!

— Куа! Куа! Куа! — вдруг донесся из соседней комнатки странный писк, похожий на мяуканье котенка или на вой маленькой собачонки.

Муравчик обернулся и взглянул на старуху. Та сразу замолкла. Она поднялась, смущенная и растерянная, не зная, куда деваться, затем опустила голову и остановилась в полном замешательстве.

Шолом-Меер, который был не столь богат годами, сколько опытом, сразу смекнул, что это за писк, и, повернувшись к старухе, спросил своим хриплым голосом:

— Младенчик?

Не получив ответа, он задал второй вопрос:

— Чей младенчик?

Не получив и на этот раз ответа и видя растерянное лицо старухи, он счел нужным больше не вдаваться в подробности, не расспрашивать. Он произнес просто так, как будто без всякой задней мысли:

— Лиха беда не приходит одна.

— Да, лиха беда не приходит одна! — повторила старуха и снова подсела к гостю, другу своего сына. — Вы это хорошо сказали, ей-богу. И вправду, лиха беда. Ой, какая беда! . . . .

. . . .

Казалось бы, что особенного в этих нескольких словах «лиха беда не приходит одна»? Но они были сказаны так кстати и с такой предельной искренностью, что сразу завоевали Шолом-Мееру доверие старухи. Он нашел ключ к ее сердцу, уста ее раскрылись, и она рассказала другу своего сына всю правду, поведала ему то, что должны были знать только они двое, — она и ее дочь Златка, а кроме них — один лишь господь.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Шолом-Меер Муравчик в роли друга

Человек никогда не может знать, кто ему друг, а кто — враг. Жаль, что директор Гольцман не может встать из гроба и увидеть, как его смертельный враг Шолом-Меер заботится о его старухе матери Сора-Брохе и о его сестричке Златке. Он бы глазам своим не поверил! Он был бы поражен, узнав, что тот самый Шолом-Меер, при одном виде которого у него от злобы все нутро переворачивалось, едет теперь с его матерью и сестрой на одном пароходе в Америку, окружает их нежнейшей заботой, то и дело забегает

к ним в каюту второго класса справиться, не надо ли им чего.

Но ни Сора-Брохе, ни ее дочери Златке решительно ничего не нужно. Они ничего не хотят, ничего не требуют, ничего не просят. Обе сидят над маленьким закутанным в пеленки существом, утопающим в подушках. И существо это, точно куколка, глядит на божий мир голубыми, как небо, и ясными, как утренняя заря, глазенками. Ротик — как у птенчика, личико задумчиво, словно у этого маленького человечка уже свои собственные мысли и заботы. Ах, какое это счастье, что они пустились в путь как раз в такое время, когда океан спокоен и безмятежен, как субботний отдых в родном местечке. Слава тебе, владыко небесный! Не столько за себя благодарят господа старуха и ее дочь, сколько за это маленькое, невинное, ничего не понимающее божье созданьице. Они слыхали, что маленькие дети страдают от морской болезни не меньше, чем взрослые. Младенец только выразить свои страдания не умеет, — немое существо, птенчик...

Удивительно, как изменилась психика обеих женщин! Впрочем, перелом в душевном состоянии Златки легко понять — на то она мать. Корчась в родовых муках, видя перед глазами смерть и мысленно прощаясь с жизнью, она, едва услышав первый крик новорожденного младенца, тотчас попросила показать его ей. И как только взглянула на свое дитя, в ее душе пробудилось чувство беспредельной жалости к этому крохотному существу. Она сразу забыла все свои боли и муки. Куда девалось чувство стыда, которое раньше чуть не привело ее к гибели? Прежде ей казалось, что она не переживет позора... Не так давно мечтала она о том, как хорошо бы попасть под кеб или омнибус в этом грохочущем аду, которому имя Лондон, и раз навсегда избавиться от жуткого кошмара, окутавшего ее со всех сторон густым туманом страха. Теперь все ее чувства, все помыслы обращены в одну сторону — сосредоточились на одной-единственной мысли, на одном-единственном чувстве: она стала матерью.

Кто поистине достоин изумления, так это — старая Сора-Броха. Для нее позор дочери и впрямь был ударом грома в ясный день. Казалось, десятки каменных зданий обрушились на нее, сотни пушек пальнули ей прямо в сердце.

Это случилось как раз в то время, когда Сора-Броха с дочерью сидели на полу, справляя семидневный траур по дорогому сыну и брату. Их глаза давно уже высохли. Источник слез давно иссяк. Странная пустота наполняла их сердца, страшная тоска и безнадежное отчаяние овладели ими.

— Сегодня шестой день, — обратилась мать к Златке. — Послезавтра, с божьей помощью, поднимемся. Что мы будем делать? Куда пойдем? К кому обратимся?

Старуха готова была снова расплакаться, как вдруг дочь бросилась ей на шею, стала осыпать поцелуями и, страшно покраснев, вдруг схватилась обеими руками за живот и не своим голосом закричала:

— Мама! спаси! погибаю!

— Бог с тобой, дочка! Гром меня порази! Что с тобой? Что случилось?

Дочь ломала руки, поминутно хваталась за живот, колотила себя по голове, до крови царапала себе тело, и, не переставая, кричала:

— Ма-ма! Погибаю!

Случилось чудо. А может быть, в старухе просто заговорил инстинкт женщины и матери: старая Сора-Броха накинула на себя рваный бурнус и, забыв всякий стыд, забыв все на свете, побежала к соседке, а от нее к другой, узнавать, где живет акушерка. И после мучительно проведенной ночи, во время которой ее дочь, зеница ока ее, металась между жизнью и смертью, уже на рассвете господь осчастливил старуху внучкой. . . . .

. . . .

Измученная, бледная, исхудалая, лежала Златка в постели. Черные волосы разметались на белой подушке. Острый носик еще больше заострился. Глаза, блуждая, тянулись туда, к противоположному краю

кровати, где у ее ног шевелилось закутанное в простыню живое существо. Она с жадным любопытством прислушивалась к тому, как это существо дышит, хлюпает носиком, попискивает, тихо мяукает, будто котенок.

Как прекрасна была юная роженица в постели! Лицо детское, ручки маленькие, груди упругие, стыдливые. И вся она пышет здоровьем, кровь с молоком! Всем своим видом она как будто жалуется и просит, умоляет: «Люди добрые, пожалейте меня! Мне нет еще и восемнадцати лет!..»

Совершенно иной вид имела Сора-Броха. Старуха засучила рукава до широких костлявых локтей, обнаружив при этом набухшие жилы на длинных сухощавых руках, заложила платок за уши и, подоткнув передник, принесла тяжелое деревянное корыто, в котором стирают белье, разогрела воду, чтобы выкупать дитя, и не переставала метать громы и молнии на Лондон и его обитателей:

— Ну и город, чтоб ему провалиться сквозь землю! Двор — чтоб ему сгореть! Соседи — чтоб им ни дна ни покрышки! Столько людей — и нельзя найти корыто, простое деревянное корыто...

Словом, старуха так вошла в роль бабушки, словно давно к этому готовилась, точно знала наперед, что должно произойти... Конечно, горе ее велико, а позор еще больше, что и говорить. Если бы перед ней разверзлась могила, она бросилась бы в нее живьем без колебаний. Но что поделаешь? Не станет же она в такую минуту попрекать и пилить дочь, которая только что спаслась от смертельной опасности. Пусть только господь поможет Златке подняться с постели, — уж она за нее возьмется, выскажет ей все, что накипело в груди, задаст ей трепку как следует. «Скажи-ка, дочь моя, как, и что, и где, и... от кого? Горе горькое нам обеим! Что мы теперь станем делать? Куда пойдем? К кому обратимся?»

Но все это она скажет потом, не сейчас. Сейчас дочь нуждается в самом внимательном уходе, надо окружить ее заботой, два раза в день готовить

бульон... Не шутка ведь — роженица, да еще первые роды!.. Горькая беда ее матери!.. А дитя? Чем оно виновато? Невинное существо. Живое созданьице. Жалко его. Вздумал бы младенец сам распрощаться с нашим грешным миром, это, конечно, было бы весьма разумно с его стороны. Но задушить его — ни за что! Ошпарить кипятком — боже сохрани! Мы ведь люди, а не звери какие. Хорошо еще, что родилась девочка, а не мальчик: не надо справлять обряд обрезания, меньше будет стыда. И, как назло, здоровая девчурка, не сглазить бы! И красотка — загляденье! Все соседки говорят, что они давно такого ребенка не видали. В кого она пошла?

— В кого? В отца, — отвечает Сора-Броха. — Красавец парень, портной, в Америке он...

Сора-Броха чувствует, что ее старое лицо горит от стыда. Столько лет прожила на свете и ни разу с ее уст не сорвалась ложь. И вот на старости лет стала лгуньей, стыд и позор ее седым волосам! Проклятие на головы ее врагов! Погибель на всех них, заодно с *ним!*

Кого старуха подразумевала под словом «ним», нетрудно догадаться... Любопытное дело! Златка уже давно оправилась от болезни, встала с постели, ходит по комнате, а Сора-Броха все еще не торопится задать своей дочери трепку... Да оно и ни к чему. Во-первых, младенец — совсем еще птенчик; надо девочку искупать, — что понимает в этом Златка? Сама, с позволения сказать, дитя, несмышленыш. А во-вторых, этот хриплый бездельник, старый друг ее сына, повадился к ним в дом, по два раза в день захаживает и предлагает Сора-Брохе такой план, выполнение которого должно избавить и ее и дочку от стыда и положить конец их бедствиям. Лично для себя он никаких выгод не ищет. Наоборот, он делает это только ради нее и из уважения к памяти покойного сына, который был его лучшим другом, единственным другом... «Пошли мне боже столько счастья и удач!» — всегда заканчивает он.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Душа-человек

Возможно, что вначале Муравчик и в самом деле никаких личных выгод не преследовал. Кто не любит совать свой нос в чужую тарелку, разнюхивать, чем там пахнет, давать ближнему советы? Но нос Шолом-Меера обладает слишком тонким обонянием. То, чего другой не разузнает за две недели и даже за месяц, наш Муравчик разнюхает за один день. Какая-то магическая сила таится в этом человеке: с первого знакомства он сразу сблизится с вами, станет своим человеком, другом, искренним приятелем, и вы ему доверитесь, как родному, расскажете всю свою подноготную. Не только старая Сора-Броха, но даже стыдливая, застенчивая Златка ловила каждое его слово, прислушивалась к его хриплому голосу, к его речам, которые целительным бальзамом вливались в сердца обеих женщин.

— Что мне с вами делать, тетенька, ежели вы — женщина старого мира, а ваша дочка — сущая овечка? Вы меня спросите, и я вам скажу точно, в чем тут дело. Для меня здесь все ясно как на ладони. Я эту публику, понимаете ли, знаю насквозь. Я ведь и сам, как-никак, актер. Насколько я помню этого паренька еще из Голенешти, — я как-то смутно, будто сквозь сон, припоминаю его, — он недурной парень, клянусь богом. Ведь только что он уехал в Америку. Выскочил из упряжки и забыл даже сказать «до свидания». Как говорят у нас — «дальше очи, легче сердцу». Но в Америке есть закон: ежели парень выкинет такой номер, за который его следует погладить по головке (при этих словах Муравчик бросил взгляд на младенца, лежавшего у Златки на руках, и Златка, покраснев, как маков цвет, опустила глаза), то с ним долго не церемонятся: «Раз-два-три, пара колец, под венец, и делу конец». А если, не приведи господь, он заерепенится, то там на такой случай имеются такие теремки *, которые называются у них «Кункель-Мункель», или

«Синг-синг». Я это хорошо знаю, хоть там и не бывал, и только теперь собираюсь туда. У меня там, понимаете ли, очень важное дело к одной знаменитой певице, к примадонне, и если дело выгорит, я буду как сыр в масле кататься, — будут у меня груды золота, у них это называется долларами. А доллары, надо вам сказать, чудесная монета. За один доллар у нас дают не более не менее, как два целковика. Что же, стало быть, я хотел вам сказать? Да, вот что: если ехать, то нам надо ехать вместе, потому что когда я поговорю с этим молодцом, это будет «сказано — сделано», или, как говорится в библии: «И рече господь Моисею таковы словеса...» Я, понимаете ли, не люблю в бирюльки играть. А с актерами и подавно разговор короткий. У меня, будьте уверены, он пойдет в упряжку. Почему, вы думаете, я это делаю? Уверяю вас, только из жалости. Мне жаль вашу дочку, и я хочу, чтобы ее ребеночек — ах, что за чудесный ребеночек! — имел отца. Больше я ничего не хочу, дай мне боже столько счастья и удач!

Шолом-Меер не ограничивался одним только словесным сочувствием. Такой уж у него характер: если он кому-нибудь предан, то всей душой, всем телом. Он не мог спокойно глядеть, как старуха сама таскает ведро с помоями или носит наверх охапку дров.

— Давайте, я вам покажу, как надо таскать дрова так, чтобы казалось, что это не дрова, а пух.

Или:

— Не так берутся за помойное ведро. Его надо брать вот так...

Не мог также наш Шолом-Меер равнодушно наблюдать, как Златка день и ночь мотается с «младенчиком». У него самого, правда, никогда не было своего «младенчика» — бог миловал. Но у него есть сестра, хоть бедная, зато такая плодовитая, что господь спаси и помилуй. Она придерживается моды, которая называется «цвайкиндерсистем» [1] —

---

[1] «Цвайкиндерсистем» *(нем.)* — система, при которой, согласно теории Мальтуса, рекомендуется иметь не более двух детей.

каждый год рожает по паре близнецов. Потому он в таких делах собаку съел. Он даже знает, что надо делать, чтобы ребенок перестал кричать.

И, не долго думая, он хватает у Златки из рук ребенка, который как раз в эту минуту разревелся во весь голос, и начинает обеими руками подбрасывать его вверх и вниз, то вправо, то влево, до тех пор, пока «младенчик» и в самом деле не замолкает. Но у Златки от страха, от тревоги за ребенка сердце чуть не выскакивает из груди.

Родному брату Златка за всю свою жизнь не рассказала и сотой доли того, что она поведала Муравчику. Она ему открыла такие тайны, каких не поверяла даже матери.

Было это однажды утром, когда Сора-Броха ушла на рынок закупить кой-какую провизию на обед, а Златка осталась с Муравчиком одна, с глазу на глаз. Она была в каком-то странном возбуждении.

— У меня к вам просьба, — с дрожью в голосе начала она и тотчас раскаялась, что затеяла этот разговор. Но раз начала, — пропало, ничего не поделаешь.

— Что за просьба, кошечка? В огонь и в воду!

Дрожащими руками Златка вынула из-за пазухи желтый платочек, в котором было что-то завернуто. Это «что-то» передал ей брат за час до смерти и едва внятным шепотом наказал ей «беречь как зеницу ока и никому, даже матери, не показывать. Залетная птица не должна знать об этом!..» После этого Гольцман закашлялся и уж больше не вымолвил ни слова... Началась агония.

Отдав сверток своему новому другу, Златка почувствовала, что камень свалился у нее с плеч.

— Я отдаю вам, — сказала она, — этот сверток, в нем все наше достояние. Доверяю вам свою душу. Возьмите этот сверток и делайте с ним все, что хотите, но только привезите меня к *нему,* как обещали...

Больше бедная Златка не могла говорить. Буря поднялась в ее душе, слезы душили ее. Шолом-Меер

Муравчик был так растроган, что даже не поинтересовался, что находится в свертке, и ловко, как фокусник, опустил его в карман. К тому же в эту минуту вошла старуха, и ему не оставалось ничего другого, как только пожать Златке руку и успокоить на прощанье:

— Можете быть уверены, душенька, не будь мое имя Муравчик!

На следующий день Муравчик пришел свежевыбритый и с ног до головы одетый во все новое, сшитое по последней моде, точно жених к венцу...

— Послушайте, тетенька, — сказал он с важностью. — Дело, видите ли, вот в чем. Мои дела, слава богу, идут гораздо лучше, чем я ожидал. Прет со всех сторон удача за удачей. Да вот неожиданность: меня вызывают в Америку. Если вы хотите забыть все страдания и найти утешение на старости, то не тяните волынку и не откладывайте в долгий ящик: возьмите, как говорится, котомку на плечи, посох в руки, то есть, я хочу сказать, дочку с «младенчиком», и — с правой ноги, шагом марш! Я полечу за шифскартами, за пароходными билетами то есть. А насчет денег не тревожьтесь. Бог даст, рассчитаемся...

Сора-Броха переглянулась с дочерью: откуда такая благодать божья? С виду как будто шут гороховый, нестоящий человечек, а какую обузу на себя берет! И, по-видимому от избытка чувств, две круглые, как горошинки, слезинки блеснули в ее глазах и потекли по старому, сморщенному, пергаментному лицу. Она собиралась было поблагодарить друга своего сына, рассыпаться в похвалах и пожелать ему столько благ, сколько он по справедливости заслуживает. Но Муравчик и слышать не хотел о благодарности. Заткнув уши обеими руками, он бросился к двери:

— Ладно уж! ладно! ладно! до свидания! Бегу за шифскартами. А вы готовьтесь в путь-дорогу. Завтра едем. До свидания!

— Что скажешь? Душа-человек! — сказала старуха дочери, воздев руки к небу и снова опустив их.

Она так и застыла посреди комнаты в этой позе.

— Душа-человек! — согласилась Златка.

И обе женщины начали собираться в дорогу.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Провал Рафалеско

Мы оставили нашего молодого героя Рафалеско в антракте между вторым и третьим действием лицом к лицу с примадонной Генриеттой Швалб, которая с громким хохотом ворвалась в его уборную в тот момент, когда он только что узнал от парикмахера, что в театре присутствует Роза Спивак.

— Комедия с нашими аристократическими коллегами! Комедия, водевиль да и только, ха-ха-ха! Знаешь, они ведь улепетнули, ха-ха-ха!

— Кто улепетнул?

Генриетта развязно провела ладонью по его носу и сказала:

— Ах ты, зеленый крыжовник! Не знаешь, что ли, какие у нас были высокопоставленные гости? Гриша Стельмах и Роза Спивак... Они сидели в ложе номер три рядом с директорской. Мы с ней познакомились. Ей очень понравились мои браслеты. Я сказала, что это твой подарок. Она расспрашивала, откуда ты.

— Что же ты ответила?

— Что мне было ответить? Я сказала, что ты из Бухареста, ха-ха-ха! Румынская королева, ха-ха-ха! Право, можно было помереть со смеху. Но особенно забавно было глядеть, как они из театра улепетывали... Кто этого не видал, тот ничего забавнее в жизни не видал, ха-ха-ха!

Рафалеско стал вытирать холодный пот, выступивший у него на лбу, и, собрав всю силу самообладания, с показным равнодушием спросил:

— Зачем же им собственно понадобилось бежать?

— Видать, не понравилось им у нас, ха-ха-ха! Такие уж аристократы, шутка ли! Я все время наблюдала за ними: когда ты играл, эта парочка беспрерывно смеялась, ха-ха-ха!

В злополучном романе нашего героя и примадонны Генриетты Швалб бывали различные моменты. Временами он ее ненавидел за ее глупость, и ему было противно глядеть на нее. Временами он прощал ей ее глупость, терпел ее капризы, держался с ней по-товарищески. Но в эту минуту она была ему до того омерзительна, до того ненавистна, что он готов был броситься на нее, схватить ее за горло или заткнуть ей рот платком и задушить, как Отелло Дездемону у Шекспира. Вся кровь в нем бушевала. В висках стучали десятки молотков, перед глазами мелькали разноцветные круги. Щекотало в носу. Он тихо скрежетал зубами. Зверь, дикий разъяренный зверь проснулся в нем... Нужно было огромное усилие воли, надо было быть поистине героем, чтобы сохранить наружное спокойствие в эти тяжелые для него минуты.

А Генриетта давно уж не была в таком прекрасном настроении, как в этот вечер. Она бросилась на стул Рафалеско, стоявший перед зеркалом, запрокинула голову и, любуясь в зеркале своими белыми жемчужными зубками, рассмеялась так, что парикмахер подумал:

«Мало было одного сумасшедшего, — так извольте вам еще одну психопатку».

— Нет! — снова и снова повторяла Генриетта. — Надо было видеть, как эта парочка вышла под ручку из ложи, марш-марш по всему коридору и, как стрела, прямо на улицу, к автомобилю. А публика: «Браво, Стельмах!» Чистая комедия, ха-ха-ха! Настоящий водевиль!

— Скорей! Гари оп! Начался уже третий акт! — крикнул высокий джентльмен, просовывая голову в дверь уборной. То был помощник режиссера в Никель-театре, человек с птичьим лицом, без ма-

лейшего признака бровей поверх красных глаз. На нем лежала обязанность наблюдать за тем, чтобы актеры вовремя выходили на сцену.

Услышав слово «гари оп», наша примадонна поднялась, освободив стул Рафалеско; тот снова сел и начал гримироваться, низко опустив голову. Парикмахер тем временем принялся за работу со всей серьезностью художника, знающего, что ему надлежит делать. Он быстро надел Рафалеско на голову парик, наклеил ему маленькую бородку, провел карандашом черту-другую, и Уриель Акоста снова был готов выступить перед публикой, которая после открытия занавеса успела уже более или менее успокоиться и с нетерпением ждала выхода гастролера, новой восходящей звезды, Лео Рафалеско из Бухареста.

Но вместо восходящей звезды из Бухареста, вместо симпатичного Уриеля Акосты, на сцене сидел за письменным столом весьма непривлекательный Менаше. Он томил публику нудным монотонным разговором о книгах, цифрах и счетах.

«Долго ли еще будет мозолить глаза этот старый чурбан?» — думала публика, нетерпеливо поглядывая на двери в ожидании, когда же, наконец, появится Акоста.

Вот открылась дверь... Но вместо Уриеля вошла Юдифь. Между ней и ее отцом Менашей завязался томительно-долгий, нескончаемый разговор. «Кончится это когда-нибудь или нет?» Слава богу, кончилось. Вот появился слуга:

— Доктор Сильва пришел.

— К черту Сильву! — тихо прошипел кто-то в публике. — Провались он сквозь землю ваш доктор Сильва! Уриеля Акосту подавайте сюда! Вот мучители! Пока подадут варенье на стол, наглотаешься воды до тошноты. Ах, вот и он, долгожданный!

Уриель Акоста вошел и остановился у дверей, скрестив руки на груди. Трепет прошел по всему залу. Наступила мертвая тишина, — муха пролетит, и то услышишь. Все насторожились в ожидании новых

слов, новых необычайных движений. Но Рафалеско, блуждая глазами по всему театру, едва слышно произнес:

— Это я, де Сильва...

— Громче! Немножко громче!

— Громче! Немного громче! — раздался одиночный крик с галерки.

Его тотчас же подхватил многоголосый гул:

— Громче! Громче!

Но Рафалеско снова едва слышно прошептал:

«Может ли преданный проклятию предстать пред святым защитником чистых душ?»

— Громче! Громче! — закричала уже вся галерка.

— Тише! Молчать! успокойтесь, замолчите! — кричали им из партера.

Шум нарастал. Непривыкший к такому приему, Рафалеско поднял глаза кверху. Он не понимал, что означали эти крики. Ему казалось, что он говорит достаточно громко. Растерявшись, он забыл, на чем остановился. Еще раньше, чем де Сильва кончил свой монолог, в котором он объясняет Акосте, что ему делать у раввина Бен-Акибы, Уриель заговорил.

«Отказаться?! Это слово мне совершенно чуждо!..»

Он вдруг умолк, потому что актер, игравший де Сильву, человек с тяжеловесной поступью и толстыми губами, посмотрел на него устрашающим взглядом и тихо шепнул:

— Ради бога, чего вы забегаете вперед?

И продолжал вслух:

«Я только что прихожу с заседания судилища, Акоста. Их сердца уже значительно смягчились...»

Акоста ответил:

«Я это хорошо знаю. Давно я ищу свою дорогу. Но какое это имеет отношение одно к другому?»

— Здорово, кума, — на рынке была! — раздался веселый возглас с галерки, и весь театр оживился. По залу прокатился смех, подобный отдаленному грому, доносящемуся из леса. Смех перекатывался

из одного конца зала в другой. Бедный Рафалеско, не привыкший прибегать к помощи суфлера, бросился к суфлерской будке и увидел, что суфлер делает какие-то странные гримасы, жестикулирует, кивает ему глазами. Но Рафалеско не мог понять, чего хочет от него суфлер.

Рафалеско и сам чувствовал, что сбивается, путает роль, что почва под ним колеблется. Он едва держался на ногах, и ему казалось, что он сейчас упадет. Тогда он пустился напролом, как человек, который в припадке отчаяния решился на все: «Черт с ним, хуже худшего уж не будет!» И он ни с того ни с сего обратился к де Сильве:

«Насколько я понимаю, мне с вами не о чем разговаривать...»

— Вот именно! — раздался тот же голос с галерки.

Оглушительный взрыв хохота прокатился по всему залу. Никто уже не слышал ни доктора де Сильвы, ни монолога Акосты, который, оставшись один, с гордостью говорит, что «покаяться он не может и головы своей пред раввинами он не склонит». Публика не переставала смеяться даже тогда, когда вошла слепая мать Акосты со своими двумя сыновьями. Не спасла положения и Юдифь, которая именно в этой сцене начала входить в роль.

Не помогло и то, что свой монолог в третьем акте Рафалеско кончил с огромным подъемом. Было уже поздно. Играй он теперь как бог, все равно спасти положение уже было нельзя. Пропало! Публика была взбудоражена, раздражена, возмущена своим кумиром, которому только что поклонялась. Свист, крики, шум, негодующие возгласы становились все громче, все яростнее, все ожесточеннее.

Враги мистера Никеля и его противники из «кибецарни» были правы, когда говорили, что до конца вечера еще далеко и что трагедия «Уриель Акоста» состоит из пяти актов. Их жажда мести была вполне удовлетворена. Провал «восходящей звезды» превзошел все их ожидания.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Муравчик за кулисами

Последнюю сцену последнего действия Рафалеско все же провел мастерски. В нем снова пробудился великий артист. С невыразимой силой, с непревзойденным энтузиазмом, как бы пробужденный от сна, он схватился за голову и огласил театральный зал львиным рыком:

«Довольно! Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте меня! Я иду!.. Я бегу!»

И стремглав бросился за кулисы. Он почувствовал, что пол заходил у него под ногами, декорации закружились перед ним, и он упал на руки первого встречного — какого-то незнакомого человека низенького роста в помятой шляпе, с плутоватыми глазами. Заметив, что Акоста падает, этот человечек подбежал к нему, подхватил под руки и, обращаясь ко всем, кто в эту минуту был за кулисами, крикнул хриплым голосом:

— Что вы стоите, как истуканы? Во́ды! скорее воды!

Несколько минут спустя Рафалеско лежал у себя в уборной, растянувшись на кушетке, совершенно успокоенный, а возле него на табуретке сидел Шолом-Меер Муравчик (это был он).

Как попал сюда Муравчик? Читатель, конечно, помнит сцену, разыгравшуюся в вестибюле Никель-театра между Муравчиком и мистером Кламером. Расправившись с бородой мистера Кламера и изведав всю силу здоровенных кулаков Нисла Швалба, Муравчик ловко вывернулся из лап Нисла и из рук билетеров, клакеров и прочих театральных служителей, прибежавших на помощь Кламеру. Шолом-Меер Муравчик мог считать себя счастливым, что не попал в руки нью-йоркских полисменов. В Америке, правда, очень либеральная конституция, но все же полезнее для здоровья держаться подальше от полиции.

— Черт меня дернул сцепиться с этим клопом! (О, если бы мистер Кламер слышал, каким прозви-

щем его наградили!) Ненавижу его бороду, как благочестивый еврей свинину. Глядеть на него спокойно не могу!

Так резюмировал про себя Муравчик эту сцену и, по возможности приведя в порядок свою пострадавшую в бою физиономию, начал пробираться задним ходом за кулисы. Там он примостился между декорациями так удобно, что видел все, что творится на сцене, сам оставаясь незамеченным. Он во все глаза глядел на сцену, ища взором среди актеров того, кто был ему нужен.

— Кто из них Рафалеско? — обратился он шепотом к одному из служителей, на обязанности которого лежало подымать и опускать занавес. Это был голубоглазый человек с необычайно меланхолическим лицом и с таким озабоченным видом, точно весь мир навалился ему на плечи.

— Вон тот, с длинными волосами и в белом воротничке, который играет Уриеля Акосту.

— Набитый умница! У них у всех длинные волосы и белые воротнички.

Меланхолического вида парень уставился на Муравчика своими голубыми глазами.

— Я не виноват, что вы дубина. По-вашему, «у всех солдат без различья одно и то же обличье»? Для вас, что Менаше, что Уриель Акоста, — все едино?

— Вот так умница, клянусь богом, светлая головушка! Мне сдается, вы совершенно правы. Погодите, я уже знаю кто из них настоящий Уриель Акоста.

Тихо, полушепотом, беседуя в таком миролюбивом тоне со своим новым другом, приобретенным за кулисами театра, среди нагромождения декораций, Муравчик подмигнул ему плутоватым глазом и спросил:

— Не найдется ли у вас, милейший, папироски?

— Зеленорог! Откуда вы свалились? Хотите, чтобы вам раскрошили череп и сбросили со всех лестниц? Здесь, возле декораций, хотите вы курить?

— Тсс... Ну и ладно! Нет, и не надо. Что вы взбеленились, точно вам кафтан изодрали?..

Шолом-Меер Муравчик пощекотал соседа под мышкой и попросил быть настолько любезным и чуточку подвинуться, чтобы он, Шолом-Меер, мог усесться с ним на один стул.

— Понимаете ли, — начал объяснять он, — выстоять на ногах целый акт я не в силах. Я, видите ли, сегодня еще ничего не ел, — не потому, разумеется, что у меня пост или, сохрани боже, не на что пообедать. Всем моим друзьям желаю быть не в худшем положении, чем я. Но я просто сегодня занят по уши. Хлопот полон рот.

— «Бизи», как говорят у нас, — промолвил меланхолический сосед и начал расспрашивать: какие такие «бизнесы» у него в Нью-Йорке, когда и на каком пароходе приехал он из Европы и как прошло путешествие?

Шолом-Меер тут же насочинил такие «бизнесы», какие ему никогда и во сне не снились. Так они тихо-мирно проговорили весь последний акт и до того увлеклись разговором, что меланхолический человек чуть было не забыл опустить занавес, а это привело бы к новому скандалу: вся публика увидела бы, как Уриель Акоста упал кому-то на руки.

Вот при каких обстоятельствах произошла встреча Муравчика с Рафалеско.

Едва придя в себя, Рафалеско обратился к человеку, так ловко подхватившему его:

— Ваше лицо мне что-то очень знакомо.

— Удивительное дело! Сколько раз мы встречались с вами в Голенешти!

— В Голенешти?

Этого было достаточно, чтобы наш юный герой забыл про свой ужасный провал и попросил всех других выйти из его уборной.

Оставшись с Муравчиком наедине, Рафалеско забросал его вопросами: кто он и что он, откуда приехал, что он тут делает?

— Кто я? Тоже бондарь, — актер, стало быть, еврейского театра. Откуда я приехал? Из Лондона. Что я здесь делаю? Ищу вчерашний день. Мой друг и приятель, видите ли, тоже еврейский актер, умирая,

за час до своей кончины взял с меня слово: так как у него, видите ли, есть сестренка, наливное яблочко, кровь с молоком, и так как с ней крутил любовь какой-то парень, тоже актер, и так как в результате этой любви — не про нас будь сказано! — случилось нечто такое, чему лучше бы не случаться, а именно: девица, с божьей помощью, ровно через девять месяцев родила «младенчика», а парень этот, то есть отец «младенчика», заблаговременно дал тягу в Америку, — то умирающий взял с меня слово и заставил поклясться перед богом, сидящим наверху и видящим все людские подлости, которые совершаются внизу, что я увезу его сестренку вместе с «младенчиком» в Нью-Йорк и покоя не дам этому молодцу, пока он не обвенчается с нею по законам Моисея и Израиля. И мне ничего другого не оставалось, как дать ему слово и поклясться самыми страшными клятвами, что я исполню его волю. Ну, скажите сами, разве это не похоже на роман, один из тех романов, что печатаются в книжках?

Возможно, что наш герой что-то предчувствовал, а может быть, в нем заговорило простое любопытство и желание подробно ознакомиться с этим занимательным романом. Он спросил своего незнакомого знакомца:

— Нельзя ли узнать, как звали вашего друга, поручившего вам такое деликатное дело?

— Почему бы и нет? С величайшим удовольствием. Звали его, моего друга то есть, Гоцмах, но настоящая фамилия его была Гольцман.

Рафалеско вскочил с места бледный как смерть.

— Гольцман?! Бернард Гольцман, говорите вы, уже...

— Умер, царствие ему небесное. А его сестрицу зовут Златка. Она здесь со мною в Нью-Йорке. Ей, правда, очень хотелось пойти со мной в театр и послушать вас, но она не могла оставить «младенчика». Молодая мать и такая преданная! Кто может оценить величие материнской души? Вы, может быть, хотите знать, кто этот молодец, отец «младенчика»? — спросил Муравчик, пронизывая Рафалеско острым

взглядом. — Он родом из самого Бухареста, то есть он так же из Бухареста, как я из Иерусалима... Бог с вами, что вы так побледнели? Вы дрожите? Поверьте мне на слово, ничего дурного с вами не случится, сохрани боже... Вы еще не знаете, что я за человек. Я — Шолом-Меер Муравчик. Все, что я делаю, я делаю для вашей же пользы и из уважения к памяти моего покойного друга, мир праху его. Дай мне боже столько счастья и удач...

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Еще одна комбинация лопнула

Кому-кому, а Нислу Швалбу с его вечными комбинациями провал Рафалеско был на руку. Он мог взяться теперь за осуществление своего плана с большей надеждой на успех, чем раньше, потому что побитая собака всегда становится послушнее, а человек, павший духом, делается мягче воска, и с ним можно делать все, что угодно.

Так решил наш комбинатор Нисл Швалб и принялся за дело на другой же день после знаменитого спектакля, когда Рафалеско привезли домой, разбитого и подавленного неудачей.

К своему великому изумлению, Нисл застал у Рафалеско того самого маленького человечка с плутоватыми глазами, которого он накануне вечером в вестибюле театра насилу оторвал от бороды мистера Кламера.

— Вы еще живы? — весело, по своему обыкновению, обратился к нему Нисл Швалб. — Я вижу, вы растете везде, где вас не сеют.

— А вы как думали? — таким же веселым тоном ответил Муравчик. — Счастье ваше окаянное, что вас вчера было много, а я один. Не то ваш милейший джентльмен из лондонского Уайтчепеля не вышел бы цел и невредим из моих рук. Без бороды он у меня во всяком случае остался бы. Душу бы я из него вы-

мотал, а бумаги мои он бы мне вернул. Положим, он мне их и так отдаст, можете быть уверены. Это говорит вам Шолом-Меер Муравчик.

— Вот как?! Муравчик? Знакомая фамилия. Из каких, собственно, Муравчиков вы будете?

Швалб пододвинулся ближе к новому знакомому и протянул ему свою пухлую, мягкую богатырскую руку. Муравчик ответил своим обычным хриплым голосом:

— Из каких Муравчиков, спрашиваете? Из настоящих Муравчиков, тех самых, которые никогда в жизни никому не должны были ни гроша по той простой причине, что никто им денег взаймы не давал, а если и давал, то пиши пропало, — как те затрещины, которыми вы меня вчера угостили. Верьте мне на слово, я уж давно не получал таких оплеух, дай мне боже столько счастья и удач! Но одно другого не касается. Ваше лицо мне нравится гораздо больше, чем ваши руки. Ну и ручищи же у вас, чтоб им отсохнуть! Даю вам честное слово, что, когда у меня будет время, я постараюсь познакомиться с вами поближе. Но теперь я занят, «бизи», как говорят у вас. Мне надо уходить. Будьте здоровы и счастливы. Передайте привет и шлите письма.

Шолом-Меер встряхнул неимоверно большую, мягкую, пухлую руку Нисла Швалба. Тот ответил самым дружелюбным тоном:

— Вы не можете себе представить, до чего я рад новому знакомству, клянусь всем вашим добром.

— Это я видел еще вчера. И не столько глазами видел, сколько боками почувствовал, дай мне боже столько счастья и удач! — ответил Муравчик комплиментом на комплимент, стоя уже на пороге.

Рафалеско проводил гостя из комнаты и несколько минут шептался с ним за дверью. Когда он вернулся, Нисл Швалб спросил:

— Кто он, этот шут гороховый с шельмовскими глазами? С виду его можно принять за карманника, конокрада или за торговца живым товаром.

Не дождавшись ответа, Нисл Швалб опять обратился к Рафалеско, на этот раз серьезно. Он заговорил

таким тоном, каким старший брат разговаривает с младшим:

— Я бы такого шута горохового, как этот хриплый субъект, гнал в шею! Я бы таких прощелыг, таких прохвостов на порог к себе не пускал... Одним словом, мой миленький Рафалеско, провались он сквозь землю! Поговорим лучше о нашем деле.

Так приступил Нисл Швалб к осуществлению тонко задуманной им комбинации, шагая, по своему обыкновению, взад и вперед по комнате.

— Я пришел, прежде всего, поговорить с тобой по душам. Не надо так расстраиваться и падать духом. С кем не бывает? Ну, случился провал, потерпел неудачу.

— И еще какой провал! Какая неудача! — ответил Рафалеско и тоже начал шагать взад и вперед по комнате. — Провал провалу рознь. С тех пор как я живу, с той поры, как я на сцене, не было такого случая, чтобы я нуждался в помощи суфлера. Нет, это был исключительный, небывалый провал!

— Ну, до провала еще далеко. С божьей помощью, послезавтра, ко второму спектаклю, мы поправим дело. А пока что за эти два свободных дня надо бы нам покончить с нашими семейными делами. Раз-два-три, и конец! На какой день ты думаешь назначить свадьбу?

— Какую свадьбу?

— Что значит — какую свадьбу?

Оба перестали расхаживать по комнате и, остановившись один против другого, обменялись такими взглядами, как будто встретились впервые в жизни.

— Ты шутишь? — пытаясь изобразить на лице улыбку, спросил Нисл. Но улыбка не получилась.

— Я шучу? — ответил Рафалеско. — Это ты шутишь. Вы все сговорились шутить надо мной.

— Мы все сговорились шутить над тобой?

— Все, все! Ты, твой браток, сестра-примадонна. Разве не шуткой был тост мистера Кламера у ломжинского кантора? Да, что это было? Не шутка? Не анекдот? Мерзкий, банальный анекдот! Ты что же

думаешь, Швалб? Напали на мальчика, на простачка, и будете вести его на веревочке? Бог осчастливил вас сестрой, красивой коровой, которую вы сами называете «девкой», «поленом», «чурбаном» и никак не можете избавиться от нее, — вот вы и решили окрутить меня с вашей сестрицей, похоронить меня живьем! Покорнейше вас благодарю! Ищите другого идиота...

При этих словах Рафалеско поклонился своему другу Швалбу так изысканно-вежливо, так почтительно и грациозно, а весь свой монолог он провел так мастерски, с таким исключительным обаянием, что будь это на сцене, его наградили бы бешеными рукоплесканиями. Но так как дело происходило не на сцене, а в жизни, да еще касалось вопроса, в котором Нисл Швалб и вся его семья были кровно заинтересованы, то можно себе представить, как выглядел в эти минуты наш комбинатор. Он побледнел, потом побагровел, потом посинел. На его толстой, красной бычьей шее резко обозначилась жила, которая начала быстро пульсировать и вздуваться, как у быка через минуту после убоя. Казалось, глаза его вот-вот выскочат из орбит, точно у живой рыбы, когда ее держат животом вниз и соскребывают чешую. Рыба, надо полагать, думает в такие минуты: «Скребите, скребите! посмотрим, что дальше будет». От сильного раздражения и страшного потрясения Нисл Швалб грузно опустился на стул и с трудом перевел дыхание. У него пересохло в горле, и голос его изменился. Обратившись к Рафалеско, он произнес несколько пониженным тоном:

— Ответь мне, дорогой мой, на один вопрос: ты знаешь, что означают слова «брич оф промис»?[1]

Рафалеско остановился против Швалба, заложив руки за спину. Он был возбужден не менее, чем его друг, но владел собой и держался спокойно.

— А именно? Что означают слова «брич оф промис»?

---

[1] Нарушение обещания *(англ.)*.

— Это означает, что если молодой человек при свидетелях дает слово девушке жениться на ней и потом показывает ей кукиш, то его погладят по головке и потом заставят жениться.

Рафалеско вплотную подошел к Нислу Швалбу.

— Когда это я давал слово вашей сестре? Не в тот ли вечер у ломжинского соловья, когда вы меня напоили кислым шампанским и все, один за другим, полезли ко мне целоваться, так что не то что Брайнделе-козак, но даже ломжинская канторша обнимала и чмокала меня? Ха-ха-ха!

Этот смех был для Нисла Швалба горше всех выслушанных от Рафалеско упреков. Неужто вся комбинация лопнула? Так тонко и основательно сработано и вдруг — трах! Нисл не мог усидеть на месте. Привскочив, он положил свои тяжеловесные руки на плечи Рафалеско и заговорил, по своему обыкновению быстро-быстро, не переводя дыхания:

— Рафалеско, миленький! У нас с тобой здесь, в Америке, будет пренеприятное судебное дело. Америка, знаешь, такая страна, которая шуточек не любит. У нас есть свидетели, глупенький, которые под присягой покажут на суде, что сами видели, как ты держал девицу в объятиях и целовал ее... Это было на пароходе, помнишь? Или ты уже забыл? И еще найдутся свидетели, у которых ты покупал браслеты и тому подобные вещички моей сестренке и надевал их ей на руку на глазах у всех. Они подтвердят это на суде. Послушай меня, глупенький! Поверь, я тебе друг и приятель. Кончим дело по-хорошему, не то хуже будет, клянусь всем твоим добром! Ты мне скажешь спасибо, дитятко мое. А не то, — подавиться тебе этим столом!

С этими словами Нисл Швалб вышел.

— Подавитесь вы все сами! — с язвительной усмешкой крикнул Рафалеско вслед Нислу Швалбу, когда тот был уже за дверью.

Оставшись один, Рафалеско прошелся несколько раз по комнате, потом сел у окна, закурил сигару и, заложив ногу на ногу, впал в глубокое раздумье.

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Кающийся грешник

Рафалеско было о чем подумать. Тяжелые тучи сгустились над его головой. Все беды сразу обрушились на него. Особенно тяжело переживал он вчерашний провал в Никель-театре. Строго говоря, это был не такой уж страшный провал, судя по тому, что вчера же вечером в антрактах и после спектакля вокруг него вертелись разного рода дельцы, представители американско-английского театра, и шептали ему на ухо, что все будет «олл райт». Это означало, что он не должен связываться ни с каким театром, пока не придет к нему некое лицо и не предложит ему такие условия, какие ни один еврейский театр не в состоянии предложить.

Это лицо не заставило себя долго ждать и явилось на следующий день рано утром.

То был свежий на вид, гладко выбритый, надушенный англичанин с совершенно голым черепом, золотыми зубами и необычайно длинными ногтями. Вместе с англичанином пришел еще какой-то человек, репортер крупной английской газеты, прожженный парень с улыбающимся лицом и румяными щеками, владеющий чуть ли не всеми языками, включая и еврейский. Судя по имени, которым назвал себя, отрекомендовавшись, улыбающийся репортер, — *Арчибальд Буеруэльс* — и по превосходному английскому произношению, его можно было принять за прирожденного американца, за стопроцентного янки. Но верхняя часть носа, черный блеск волос и особенно глаза (о, эти еврейские глаза!) без слов говорили: «Какой ты, с позволения сказать, Арчибальд? Какой там Буеруэльс? Сказал бы просто, что тебя зовут Арчик, сын Береля, — и баста!»

Оба джентльмена, войдя в комнату Рафалеско, сели, подтянули брюки на коленях, обнаружив широкие носки своих удобных американских ботинок, и сразу приступили к делу. Человек с голым черепом заговорил так, словно у него только что вырвали два

коренных зуба и вложили вату. Улыбающийся Арчибальд Буеруэльс переводил его слова на еврейский язык. Сущность беседы сводилась к тому, что Рафалеско было предложено немедленно перейти на английскую сцену. Первое время он может играть свои роли на еврейском языке, пока не овладеет в совершенстве английским. Условия были предложены такие, что у Рафалеско голова закружилась. Тем не менее у нашего героя хватило такта и здравого смысла не обнаружить своего волнения. Он выслушал заманчивые предложения весьма хладнокровно и попросил двадцать четыре часа на размышления...

— Олл райт, — прошипел джентльмен с голым черепом, собираясь уходить. А репортер с улыбающимся лицом обратился к Рафалеско по-еврейски:

— Смотрите же, не упускайте случая, — это жирный кусок! Гуд бай.

Это был, так сказать, номер первый. Второй причиной глубоких размышлений Рафалеско была Роза Спивак.

Что привело ее в Никель-театр как раз в вечер его дебюта? Была ли это простая случайность, или Роза следила за еврейскими газетами и знала, что это его, Рафалеско, бенефис? Если так, то отчего же она сбежала после второго акта? И правду ли рассказала Генриетта, будто Роза, сидя в ложе со своим аристократическим кавалером, Гришей Стельмахом, переглядывалась с ним и смеялась, в то время как он, Рафалеско, выступал в такой серьезной трагической роли? Правда, он вчера был слабоват в этой роли. Но над чем тут смеяться? Да еще в первых двух актах, которые как будто прошли с огромным успехом? Ах, чего бы он не отдал сейчас, чтобы получить ответ на мучившие его вопросы! Будь это в другое время, он не знал бы ни отдыха, ни покоя, пока не пробил бы себе дорогу к той, к которой он стремился уже столько лет, ради которой, собственно, и приехал сюда. Но теперь... после визита Муравчика.

Шолом-Меер Муравчик с его деликатным поручением и ошеломляющим известием о Гольцмане и его

сестре был третьей причиной мучительных раздумий Рафалеско.

Смерть бывшего товарища и лучшего друга — Гольцмана, с которым он бежал из родного дома и провел, можно сказать, лучшие годы своей юности, произвела на Рафалеско потрясающее впечатление. Он был почти в таком же отчаянии, как в ту минуту, когда услыхал от кассира «Сосн-Весимхе» роковую весть о смерти матери, с той лишь разницей, что кончина матери вызвала у него только слезы, жалость и отчасти раскаяние, тогда как смерть его несчастного друга навела его на мысль, что он поступил с Гольцманом, как человек без сердца, без чести, без совести, если хотите, — как убийца. Как мог он так легкомысленно, с таким холодным равнодушием, оставить больного друга, над которым — он это хорошо помнит — уже витала смерть.

И невольно перед нашим молодым артистом предстает то утро, когда он пришел проститься с другом. И снова воскресают в его памяти печальные видения, преследовавшие его на пароходе по пути в Нью-Йорк.

И еще многое другое вспоминается нашему молодому герою, в то время как он в раздумье сидит у окна, вспоминается и такое, от чего дрожь пробегает по телу и о чем он хотел бы забыть, но не может.

Но самое тягостное, самое мучительное для него — воспоминание о Златке... Со Златкой — он это хорошо помнит — он даже не попрощался перед отъездом. Он был тогда счастлив, что не застал ее дома. Он просто-напросто бежал от нее. Бежал, как вор, спасающийся, как бы его не поймали с поличным... Никогда ни один молодой человек не обошелся еще так бесчеловечно с девушкой, как он с бедной невинной Златкой... Что подумала она, когда узнала от больного брата, что он, Рафалеско, ее идеал, ее божество, удрал от них в Америку? Бедняжка, что она должна была вытерпеть, как она исстрадалась за это время! Какое мнение создалось у нее о нем тогда и что она думает о нем теперь? Есть ли на свете справедливая кара за его легкомысленное злодеяние? Вот она, его кара: он должен вырвать из сердца все свои

детские грезы, глупые фантазии, должен забыть, что была когда-то на свете Роза, и сейчас же, немедленно, без минуты колебания, вернуть бедной Златке утраченное счастье, прийти к бедной девушке, пасть к ее ногам, целовать ей руки и сказать ей: «Златка, я твой, твой навеки!»

Да, так он и поступит! Наверняка! Он бы сделал это еще сегодня утром, да Муравчик его отговорил. Муравчик дал ему понять, что в таких случаях нельзя действовать скоропалительно. «Златка, — сказал он, — простая и честная девушка (хоть у нее и есть «младенчик», ха-ха-ха!). Романов она никогда не читала. И если вдруг, ни с того ни с сего, заявится молодой человек, бухнется ей в ноги и начнет вопить: «Грешен, каюсь, винюсь!» — она, чего доброго, со страху в обморок упадет. Тогда прибежит мамаша — не надо забывать, что у нее имеется еще старая мать по имени Сора-Броха! — и расправится с ним, с Рафалеско, по-своему, подымет такой гвалт и благословит его таким приветствием, что он запомнит его на всю жизнь. Нет, лучше уж он, Шолом-Меер Муравчик, сам отправится к ним, к этим женщинам, и исподволь подготовит их. Незачем, конечно, рассказывать им, что человек из-за них мучается раскаянием. Женщины не любят мягкотелых мужчин, готовых по всякому поводу нюни разводить, лить потоки жалостливых слез, распускать разные антимонии, философию с капустой, петрушку с мылом. Фи, женщина любит, чтобы мужчина был мужчиной... Он, Муравчик, в этих делах, можно сказать, собаку съел. У него нет столько волос на голове, сколько женщин он перевидал на своем веку. Дай ему боже столько счастья и удач!»

Так, по своему обыкновению, закончил Шолом-Меер Муравчик, этот чиновник особых поручений во всех затруднительных случаях, и отправился выполнять свою миссию. Не удивительно, что наш юный друг, вновь превратившийся в кающегося грешника, выпроводил с позором своего второго друга Нисла Швалба.

Оставшись один на один со своими печальными мыслями, Рафалеско сидел у окна с сигарой во рту

и глядел на улицу. Прошло несколько минут. Вдруг он заметил, что к гостинице, в которой он жил, подкатил роскошный автомобиль. Из него выскочил негр и направился к двери гостиницы.

«Было бы любопытно, — как бы невзначай пронеслось в голове у Рафалеско, — если бы оказалось, что этот человек имеет отношение ко мне».

Так и есть. Не прошло и минуты, как послышался стук в дверь.

— Кам ин! (войдите!)

Вошел негр. Он привез письмо, которое должен вручить мистеру Рафалеско лично, в собственные руки.

— Я — Рафалеско.

Дрожащими руками наш герой взял у негра красивый, запечатанный надушенным сургучом конверт, осторожно вскрыл его и прежде всего взглянул на подпись. Сердце его так забилось, что он был принужден опуститься в кресло.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Письмо

«Мой дорогой, моя блуждающая звезда!

Самая изобретательная фантазия не в состоянии так дико запутать положение и привести к такому причудливому, такому невероятному сплетению обстоятельств, какие создал слепой случай.

Но я еще слишком взволнована переживаниями последних двенадцати часов и чувствую, что не в состоянии высказать и сотой доли того, что хотела бы сказать тебе лично.

Вкратце сообщаю, что только слепая фортуна привела меня вчера вечером в Никель-театр на твой бенефис. Если сердце мое не разорвалось на части, когда я узнала, что Уриель Акоста — это ты, значит, мое сердце из стали. В оцепенении просидела я весь второй акт. К сожалению, только второй акт, потому что вдруг произошел совершенно неожиданный скан-

дал. Нас узнали в ложе, раскрыли наше инкогнито самым безобразным образом, и меня заставили бежать из театра, хотя бог мне свидетель, что я рвалась назад, чтобы еще раз посмотреть на тебя, еще раз услышать твой голос, который не переставал звучать в ушах моих все годы наших скитаний по свету.

Но погоди, это еще не все. Придя домой, я застала у себя на столе кучу писем, из которых многие, судя по почтовому штемпелю, прибыли уже давно, но не были мне переданы своевременно из-за цензуры, которую позволил себе, без моего ведома и согласия, учредить над моей перепиской мой менеджер, хоть он и чистокровный англичанин и джентльмен. Кончилось тем, что сегодня утром я вызвала его и без долгих разговоров, без всяких околичностей, коротко и ясно заявила, что с сегодняшнего утра считаю себя свободной от ангажемента... Он может обращаться в суд, требовать неустойку — это его дело.

Но не в этом суть. Главное то, что в куче писем было и твое письмо. Я читала и перечитывала его несчетное число раз, и в моей душе заклокотал ад. Целуя каждую букву твоего дорогого письма, я обливала его слезами. Почему вдруг слезы? — спросишь ты. Это я оплакивала наше невозвратное детство, нашу счастливую юность, нашу раннюю любовь, которая теперь, быть может, будет жарче и пламеннее, чем тогда, но никогда уже — чего греха таить? — не будет так кристально чиста, так небесно-возвышенна, так детски-наивна, как тогда, в нашем маленьком, бедном, незабываемом Голенешти.

Ах, Голенешти! Ты спрашиваешь в своем письме, помню ли я, что мне сказала старая гадалка в маленьком местечке в Галиции. Но каким образом ты узнал об этом? Ты, надо думать, расспрашивал обо мне так же, как я о тебе. Почему же ты, злой человек, так отчаялся найти меня, что позволил другой, тоже примадонне, быть может более красивой, чем я, но гораздо более глупой, хвастать перед всеми, что ты — ее избранник? Но, ах, что я говорю! Как смею упрекать тебя, когда я сама силою самых разнообразных,

необычайно запутанных обстоятельств была вынуждена надеть на себя золотые цепи?.. Но не будем говорить о цепях, которые мы вольны в любую минуту разорвать и сбросить с себя, — *стоит нам только захотеть*... Условимся лучше, где бы нам сегодня встретиться. Внизу ты прочтешь адрес. Между четырьмя и пятью ты найдешь меня там, если будешь хорошо искать. Мы будем там одни и сможем наговориться вволю, — у нас ведь есть о чем поговорить. Будь же там сегодня между четырьмя и пятью и ищи меня. Я приказываю тебе быть. Нет, неправда! К чему скрывать? Не приказываю, а прошу тебя, умоляю, изнываю по тебе, падаю к твоим стопам и целую тебя, целую. Слышишь? Целую тебя!

Рейзл».

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Снова Брайнделе-козак

Шолом-Меер Муравчик явился к своему новому другу Рафалеско точно в назначенный час, но не застал его дома. На столе лежала записка, оставленная, очевидно, для него. Он прочитал ее.

«Дорогой Муравчик! Я уезжаю из Нью-Йорка на несколько часов. Когда возвращусь, не знаю. Нашу поездку отложим до другого раза. Прошу вас извиниться за меня — вы знаете перед кем и знаете как. Вашей услуги я никогда не забуду.

Ваш *Л. Рафалеско*».

— Все дурные сны, что приснились мне этой ночью, и прошлой ночью, и во все ночи моей жизни, на суше и на море, — да падут на головы моих врагов! Актер остается актером, будь он из самой что ни на есть порядочной семьи. Человек договаривается точно о часе, человек горит, пылает, чуть не умирает, — и вдруг...

Муравчик сделал полный оборот назад и хотел

было плюнуть и уйти, как вдруг послышался стук в дверь: тук-тук.

Муравчик обрадовался: верно, он...

— Войдите.

Снова: тук-тук. «Нет, видать, не он». После повторного «войдите» послышалось в третий раз: тук-тук. Тут уж Муравчик вышел из себя.

— Головой об стенку! — крикнул он.

Дверь тихо отворилась, и вошла... Брайнделе-козак.

Если бы вместо Брайнделе-козак вошел, например, сам Гоцмах с того света, наш Муравчик не был бы более изумлен, чем в эту минуту. Он все же нашел в себе достаточно силы, чтобы сразу взять себя в руки. Спустя полминуты это был прежний, никогда не теряющийся, никогда не унывающий, неизменно веселый, жизнерадостный Муравчик. С исключительной приветливостью, с дружески протянутой рукой и громким хриплым смешком он приветствовал Брайнделе-козак:

— А, здравствуйте! Откуда бог привел? Вот уж подлинно с неба свалились, из яйца вылупились! Этакая гостья! Как поживаете, Брайнделе — тьфу, простите — мадам Черняк?

Но у мадам Черняк не нашлось ни единого слова в ответ. Она остановилась у дверей в своей красной ротонде, точно парализованная, и была не в силах двинуться с места.

И в этом нет ничего удивительного: если Муравчик знал хотя бы понаслышке, что Брайнделе-козак обретается где-то в Америке, то ей и во сне не снилось, что она может встретиться здесь, в Нью-Йорке, со своим бывшим смертельным врагом Шолом-Меером Муравчиком. И еще где? У Рафалеско. И когда? В тот самый момент, когда она, мадам Черняк, пришла спасти человека от грозящей ему большой беды.

От своего нового приятеля Нисла Швалба Брайнделе-козак узнала ужасную новость: Рафалеско наотрез отказывается от брака с примадонной Генриеттой Швалб, и ее братец Нисл Швалб уже отправился к

адвокату, — он собирается подать на Рафалеско жалобу в суд за нарушение данного обещания («брич оф промис»). Не говоря уже о том, что ломжинский кантор, его жена, мистер Кламер и другие готовы показать под присягой, что видели примадонну в объятьях Рафалеско еще на пароходе во время переезда через океан, Нисл может чуть не пол-Нью-Йорка, в том числе и ее, мадам Черняк, поставить в свидетели, что состоялась официальная помолвка по всем установленным правилам: с шампанским, поцелуями и битьем тарелки... Словом, Нисл Швалб клянется самыми страшными клятвами, что подымет такой скандал, какого еще не видал Нью-Йорк со дня открытия Америки Колумбом. Ну, как же она, мадам Черняк, может до этого допустить? Во-первых, жаль Рафалеско. Молодой артист, восходящая звезда, едва распускающийся цветок, — ведь он рискует в самом начале испортить себе карьеру. Во-вторых, у мадам Черняк были и свои личные соображения.

Читатель не забыл, конечно, что с приездом знаменитой коммуны «Кламер, Швалб и К⁰» в Нью-Йорк в жизни мадам Черняк началась новая полоса, открылась новая глава под названием «Нисл Швалб». Нисл Швалб был ее последней надежной, последней станцией на ее долгом скитальческом пути, единственной звездой, еще мерцавшей на ее темном небосклоне... Она готова была поэтому на всякие жертвы ради него. Как говорится, в огонь и в воду.

Бедная Брайнделе-козак!.. Ее любовь к Нислу Швалбу была так же горяча, — а возможно, еще горячее, — чем первая девичья любовь...

И право же, в этом нет ничего предосудительного: давно пора и ей, мадам Черняк, зажить, как все люди, доплыть до тихой пристани, свить себе свое постоянное гнездышко; полно ей копить да копить доллары, вечно странствовать по свету, не имея нигде своего угла и пристанища.

Не удивительно поэтому, что Брайнделе-козак была готова на любые жертвы во имя своего нового кумира — Нисла Швалба. Он передал ей содержание своего утреннего разговора с Рафалеско и рассказал

о посещении Никель-театра Розой Спивак, явившейся на вчерашний спектакль в сопровождении Гриши Стельмаха. Брайнделе-козак мигом смекнула, в чем дело, сразу взвесила все обстоятельства и сделала свои выводы: во-первых, Роза Спивак, надо полагать, появилась в Никель-театре не случайно, — нет сомнения, что она пришла на спектакль ради Рафалеско. Во-вторых, отсюда ясно, что они заранее списались и между ними была договоренность, что она придет на его дебют. В-третьих, спрашивается: для чего же в таком случае была нужна вся комедия у ломжинского соловья с битьем тарелки, поздравлениями и поцелуями? Очевидно, для отвода глаз. А коли так, надо забежать к этому молодцу хотя бы на минутку. Ей бы только в глаза ему взглянуть, — больше ей ничего не надо. А уж мимоходом она постарается расположить его к себе сладкими речами, вкрасться к нему в доверие. Может быть, при помощи Рафалеско она, мадам Черняк, найдет доступ к своей бывшей приятельнице Розе, к которой ее упорно не пускают и которая даже на письма ей не отвечает. О, если бы только ей, мадам Черняк, удалось переговорить с Розой, — она уж сумела бы повернуть колесо фортуны в желательном ей направлении. «Парень» обвенчается с Генриеттой Швалб, а затем... О, затем все будет прекрасно, «олл райт», как говорят в этой стране.

С такими радужными видами на будущее мадам Черняк, расфуфыренная и напудренная, вошла в комнату Рафалеско и неожиданно столкнулась там со своим злейшим врагом Шолом-Меером Муравчиком.

Последний, заметив, что с Брайнделе-козак случилось то же, что некогда с женой Лота, проникся к ней состраданием и поспешил на помощь:

— Что и говорить, вы очень поправились, не сглазить бы, в этой стране. Вы, право, ни чуточки не изменились. Наоборот, вы даже помолодели, намного помолодели. Если бы не ваша красная ротонда, я бы вас ни за что не узнал, дай мне боже столько счастья и удач!

Мадам Черняк, не привыкшая к таким комплиментам из уст «вероломных мужчин», растаяла, как

масло на солнце. Ее круглое лунообразное лицо сразу изменилось, раскраснелось, покрылось испариной. В эту минуту она готова была простить Муравчику все прошлое, забыть все обиды, нанесенные ей этим хриплым бездельником, все муки, причиненные ей когда-то этим флигель-адъютантом Щупака, и даже маленький должок, который остался за ним. Все-все готова была она забыть в эту минуту. Она распахнула красную ротонду, придвинулась к Муравчику, стул к стулу, и между ними завязался оживленный разговор, который мы передаем с почти стенографической точностью.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Разговор по душам

Вот тот разговор, который произошел между Брайнделе-козак и Шолом-Меером Муравчиком.

Брайнделе-козак. Кого-кого, но вас я уж никак не думала встретить здесь.

Муравчик. Значит, вам на меня наплевать, а я-то думал о вас днем и ночью, во сне и наяву.

Брайнделе-козак. Чтоб вам так жить на свете!

Муравчик. Аминь, и вам того же!

Брайнделе-козак. Вы остались таким же пройдохой, как были. Скажите лучше, где теперь этот аферист, ваш хозяин, чтоб ему сгореть на медленном огне?

Муравчик. Кто? Щупак? В Одессе, чтоб его там холера задушила среди зимы!

Брайнделе-козак. Вы, верно, хотели сказать — чума?

Муравчик. Спорить не буду. По мне, пусть его кондрашка хватит среди бела дня, только бы это не затянулось, сохрани боже, до сильных морозов. А вы, что тут делаете, душечка? Тоже по делу к нашему Рафалеско?

Брайнделе-козак. А то к кому же? Одно только меня удивляет: он в это время всегда бывает дома.

Муравчик. Больше того. Он условился со мной встретиться точно в это время, даже часы наши мы сверили... Как вы живете, кошечка?

Брайнделе-козак. Плохо ли, хорошо ли, на жизнь хватает. Ну, а вы?

Муравчик. По-старому. Суетишься, бегаешь, волнуешься, а едва-едва хватает на воду к каше... Скажите, душечка, о чем это я хотел вас спросить? Да, так что, собственно, вы делаете у этого молодца? У вас есть к нему дело?

Брайнделе-козак. Какие там у нас дела? Вы давно в Нью-Йорке?

Муравчик. Судя по затрещинам, которыми меня здесь угостили, можно подумать, что я сюда приехал в один день с Колумбом. Скажите, душа моя, какие такие дела, например, у вас могут быть с моим шалопаем?

Брайнделе-козак. С каких это пор он стал вашим?

Муравчик. С каких пор? Ха-ха-ха! Представьте себе, я знавал его еще тогда, когда он был всего на одну голову выше кошки.

Брайнделе-козак. Все может быть. Ежели так, то вы, надо думать, имеете на него кой-какое влияние.

Муравчик. Ха-ха-ха! Имею ли я на него влияние?

Брайнделе-козак. Отчего же вы не постараетесь, чтобы скорее была свадьба?

Муравчик. До свадьбы еще далеко, миленькая.

Брайнделе-козак. Вот как? За чем же, собственно, дело стало?

Муравчик. Остановка за одним вот таким малюсеньким существом.

Брайнделе-козак. О каком существе вы говорите?

Муравчик. Я говорю о «младенчике».

Брайнделе-козак. Какой «младенчик»?

Муравчик. Вот как? Вы спрашиваете, какой

«младенчик»? Стало быть, вы знаете об этом не больше покойника. Так чего же вы морочите мне голову?

Брайнделе-козак. Не беспокойтесь, я хорошо знаю, о чем говорю. Я говорю о примадонне, а вы морочите мне голову с вашим «младенчиком».

Муравчик. Во-первых, «младенчик» вовсе не мой. А во-вторых, о какой такой примадонне вы говорите?

Брайнделе-козак. А вы о какой примадонне говорите? Я знаю двух примадонн.

Муравчик. Откуда у вас взялись две примадонны?

Брайнделе-козак. Раз вы спрашиваете, откуда взялись две примадонны, стало быть, вы сами понятия не имеете, о чем тут речь.

Муравчик. Знаете что? Подавитесь вы вашими примадоннами!

Брайнделе-козак. Ваша очередь раньше,— вы старше.

Муравчик. Положим, это еще вопрос, кто из нас старше. Я только вижу, что сегодня с вами каши не сваришь. Вы стали еще большей злюкой, чем были.

Брайнделе-козак. А вы были прохвостом и останетесь прохвостом.

Муравчик. А вам с вашим лицом больше пристало бы торговать на виленском рынке, в переулке Гитка-Тойбы.

Брайнделе-козак. А вам только и пристало, что разъезжать с таким негодяем, как Щупак, и возиться с его женами.

Муравчик. Знать бы вам так про свои усы, как я знаю что-нибудь о Щупаке и его женах!

Брайнделе-козак. А кто же, как не вы со Щупаком, заманили дочь кантора и увезли из Голенешти?

Муравчик. Откуда вы знаете про Голенешти? Откуда вы знаете про дочь кантора?

Брайнделе-козак. Ага, теперь вы видите, что я знаю чуточку больше вашего?

Муравчик. Знаете что? Зачем нам ссориться в Америке? Америка — страна мира и согласия. Да-

вайте условимся: я вам расскажу про «младенчика», даю вам честное слово, а вы расскажете мне о примадоннах. Согласны?

Брайнделе-козак. Дайте вашу руку.

Муравчик. Вот вам моя рука.

Брайнделе-козак. Поклянитесь.

Муравчик. Дай мне бог столько...

Брайнделе-козак. Чего столько?

Муравчик. Столько счастья и удач.

Брайнделе-козак. А если нет?

Муравчик. То пусть я превращусь в подошву!

Брайнделе-козак. Ерунда!

Муравчик. Пусть на меня обрушится казарма.

Брайнделе-козак. Чепуха!

Муравчик. Пусть Колумб придет с того света и задушит меня!

Брайнделе-козак. Это не клятва.

Муравчик. Тьфу! Меня даже в пот бросило.

Кончилось тем, что Брайнделе-козак понемногу, исподволь, рассказала Муравчику все, что она знала о Рафалеско и двух примадоннах — Генриетте Швалб и Розе Спивак.

А когда дошла очередь до Муравчика и его «младенчика», Брайнделе-козак увидела, что он виляет и лжет напропалую. Она поднялась, багровая, потная, и, закутавшись в ротонду, разразилась таким смехом, что, казалось, тысячи дьяволов хохочут...

Муравчик даже испугался.

— Что с вами? Припадок?

— Ха-ха-ха! — заливалась мадам Черняк. — Все, что я вам рассказала, чепуха, ерунда, вздор, чушь несусветная, враки, галиматья, прошлогодний снег и больше ничего, ха-ха-ха!

Шолом-Меер состроил такую мину, точно он до глубины души возмущен тем, что мадам Черняк так бессовестно его околпачила. А про себя думал: «Рассказывай сказки своей бабушке!»

На этом задушевная беседа кончилась. Они расстались: Муравчик — очень довольный встречей с мадам Черняк, от которой он получил все нужные ему сведения; она — полная гнева и ярости на хриплого

пройдоху, чтоб ему околеть, и на себя самое за то, что она снова позволила одурачить себя этим «вероломным мужчинам» — холера бы побрала их всех, за исключением одного!

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

В ресторане Шолома

То, что Брайнделе-козак выболтала Муравчику о «парне» (Рафалеско), о его отношениях с примадонной Генриеттой Швалб и особенно о его романе с красоткой (Розой Спивак), было для него поразительной новостью, открытием исключительной важности. Шолом Меер точно прозрел. Ему стало ясно многое из того, что раньше казалось непонятным, загадочным. Он вспомнил, как Роза некогда металась, волновалась, беспрестанно спрашивала его о Гоцмахе. Так стало быть не Гоцмах ее интересовал, а тот «паренек», который примелькался ему еще там, в проклятом Голенешти.

«Ай да Роза! — мысленно говорил сам с собой Муравчик. — А еще дочь кантора! Ах, Шолом-Меер, Шолом-Меер! Растянуть бы тебя посреди Нью-Йорка и всыпать пятьдесят горяченьких, — ты их вполне заслужил! Как мог ты упустить такой случай и не поживиться ни у жениха, ни у невесты? А когда счастливый случай дал тебе в руки пачку писем Розы, ты не нашел ничего умнее, как заложить их за несколько шиллингов у этого лондонского красавчика, чтоб ему околеть посреди Нью-Йорка! Негодяй! Разорил меня, по миру пустил. Будь у меня эти письма, они бы меня озолотили. А теперь мне нельзя и на глаза ей показываться, — она ведь считает меня лгуном и надувалой».

Муравчик на минуту задумался. Потом, точно очнувшись, продолжал беседовать сам с собой.

«Положим, столько болячек Щупаку в Одессе и мистеру Кламеру в Нью-Йорке, сколько денег, с божьей помощью, я наживу на этой истории. Коли ты,

Шолом-Меер, и на этот раз дашь маху, то тебе не дела делать, а солому жевать, дай мне боже столько здоровья и удач!»

Внезапно его осенила новая идея, в голове созрел новый, столь блестящий план, что он готов был сам себя одобрительно потрепать по щеке.

«Муравчик! У тебя чертовски умная башка!..»

Между тем приближалась обеденная пора, и Муравчик вышел поискать еврейскую столовую. Вскоре он попал в знаменитый ресторан Шолома, того самого, который изо дня в день помещает свой портрет в газетах, сопровождая его такого рода рекламой:

«Не забывайте вашего друга Шолома, у которого вы каждый день найдете лучшие румынские блюда, кошерные, вкусные, свежие и т. д.».

Ресторан Шолома был почти переполнен, когда Муравчик вошел туда. Чуть не все столики были заняты деловыми людьми, привыкшими дорожить каждой минутой. Они закусывали на скорую руку, второпях, «гари оп», с той же поспешностью, с какой все делается в Америке. Муравчик стал искать свободный столик, за которым он мог бы пообедать один и остаться наедине со своими думами и новыми замыслами.

Не успел он оглянуться, как возле него появился, будто из-под земли вырос, рыжий, бритый наподобие актера, расторопный джентльмен с белой салфеткой в руке. Быстро, с ловкостью фокусника, выхватил он из своего кармана автоматическое перо и записную книжку, окинул гостя взглядом своих черных, как уголь, глаз и слегка наклонил голову, как бы желая сказать: «Мистер, заказывайте обед, но только живее, без канители. Сами небось видите, сколько у нас тут посетителей. Гари оп!»

Но на нашего Шолом-Меера Муравчика рыжий джентльмен с белой салфеткой не произвел ни малейшего впечатления. Муравчик спокойно уселся за столик и снял новую шляпу, помятую вчера этим верзилой Нислом Швалбом, «лапищи бы у него отсохли!» Затем вынул из бокового кармана маленькую сложенную вдвое гребенку и, расчесывая волосы спереди

на затылок, стал заказывать обед, изобретая собственное меню, подсказанное ему разыгравшимся аппетитом.

— Хорошо наперченный гуляш из пупков, печенки и крылышек — номер один. Бульон с солидным куском курицы — номер два. Вертуты с дробленой лапшой — номер три. Морковный «цимес» с фаршированной шейкой — номер четыре. Рюмочку коньяку «финь-шампань», к ней тертую редьку на гусином сале да добрую кружку пива — номер пять. И — айда с правой ноги, живей, скорей, быстрей, единым духом, лети пухом и нелегкая тебя понеси, налево, кругом, шагом марш!

Последние слова Муравчик, по своему обыкновению, произнес скороговоркой, не переводя дыхания, со свойственной ему живостью.

Рыжий джентльмен с белой салфеткой записал все перечисленные блюда с быстротой, какой позавидовал бы любой стенограф. Затем окинул взглядом все записанное и спросил гостя:

— Виноват, что собственно означает «вертуты»?

Муравчик уставился на рыжего джентльмена своими плутоватыми глазами и полусерьезно, полушутливо произнес:

— «Вертуты» не знаешь? Ну, «густыш». И этого не знаешь? Какой же ты после этого ресторанный лакей? Почему бы тебе лучше не чистить сапог на улице или подметать...

Муравчик не кончил, потому что рыжий джентльмен с белой салфеткой устремил на него свои пылающие, как уголь, глаза, подошел к нему вплотную и заговорил на американско-еврейском диалекте, то есть чуть ли не наполовину вставляя в речь английские слова:

— Мистер, придержите язык! Я вам не лакей, а «вейтер» (кельнер) в еврейском ресторане. Я член юниона. Я...

К счастью, на крик прибежал сам ресторатор Шолом и уладил конфликт, — не то одному из них не сдобровать бы.

Но аппетит Муравчика ни в какой мере не пострадал от этой маленькой перепалки. Наоборот, Мурав-

чик с наслаждением уплетал заказанные им блюда. А в голове между тем вырисовывались подробности задуманного им плана.

«То, что наш соловушка (Рафалеско) так влюблен в эту красотку (Розу Спивак), совсем для меня не плохо. Наоборот, это будет мне даже в высшей степени на руку. Надо только постараться, чтобы дело у них, сохрани боже, не расклеилось. Я, собственно, против них ничего не имею. Пусть живут и старятся в богатстве и почете. Но что тогда будет со Златкой? То же, что со всеми девицами, которые, поскользнувшись, поверили на честное слово и отдали приданое до свадьбы. Жаль ее, конечно, очень и очень жаль. Но что поделаешь? Поплачет, поплачет и перестанет. Я, разумеется, не оставлю ее в беде. Я не Щупак, у меня не стая жен, как у него, у меня и одной нет... И мне, пожалуй, пора бы уже иметь свой угол, найти пристанище, где бы голову приклонить. До каких пор скитаться по свету, работать на разных идолов. Да к тому же Златка очень милая девушка. Тихая, честная, божья коровка, слишком уж пала она духом, бедняжка. Взять такую в жены — значит, сделать доброе дело. Есть ли «младенчик», нет ли «младенчика», для меня это значения не имеет. Была бы девушка честная. А у меня-то ей будет хорошо, дай мне боже столько счастья и удач! Я не стану попрекать ее прошлыми грехами. Нужды она тоже знать не будет. Я не Щупак, чтоб ему околеть! Разумеется, *они* — я имею в виду и *его* и *ее* — должны будут нас поддерживать... Ничего, не разорятся, на их век хватит: оба здорово зарабатывают, особенно она, говорят, лопатами золото загребает. Должен же он войти в мое положение: я как-никак беру ее нищей, с ребенком. Мало того: со старой мамашей в придачу... Думаю, он не будет долго артачиться, он наверняка согласится, ведь он теперь в моих руках... Пусть только попробует отнекиваться, вилять хвостом, я ему преподнесу к венцу подарочек — «младенчика»...»

— Господин Лапшин, получайте!

Последнее относилось, конечно, к рыжему джентльмену с белой салфеткой. Но так как между ними

только что разыгрался инцидент, тот сделал вид, будто не слышит, и, пренебрегая чаевыми, попросил самого хозяина рассчитаться с «Зеленорогом».

Расплатившись за обед и оставив на столе несколько центов кельнеру на чай, Муравчик встал со стула, с видом сытого буржуа погладил свой плотно набитый живот и, закурив сигару, вышел своей приплясывающей походкой прогуляться по Нью-Йорку.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Под землей

Рафалеско так торопился на свидание с Розой, что перед уходом забыл даже посмотреть на часы. Уже на улице, перечитывая в десятый раз милое, дорогое письмо, которое он знал уже чуть не наизусть, и снова увидев в конце письма цифры «между четырьмя и пятью», он посмотрел на часы и сообразил, что у него еще хватит времени, чтобы зайти в парикмахерскую побриться, а оттуда забежать в фешенебельное кафе перекусить, утолить голод. Стрелки часов двигались лениво и сонно. Никогда еще время не тянулось так тягуче и медленно, как теперь. Он шел, не торопясь, маленькими шагами. Почти у каждого столба останавливался и читал трехаршинные афиши с исполинскими буквами, напечатанными жирным шрифтом, кричащие рекламы с ярко размалеванными портретами и самыми невероятными физиономиями, — такого рода рекламы можно встретить в Нью-Йорке на каждом шагу. Незаметно он опустился в подземный мир, который именуется в Америке «собвей» («подземка»), или метрополитен, и который соединяет под землей все улицы Нью-Йорка. «Собвей» — это особый город со своими улицами, новый мир, созданный из железа и электричества. Туда не проникает ни единый луч солнца, и все же там светло и оживленно круглые сутки. Там не знают ночи. В любое время вы можете видеть там людей, подымающихся вверх и

опускающихся вниз, живущих в мире неугомонной суеты, вечно куда-то спешащих, вечно занятых делом, стремительно мчащихся куда-то, — гари оп! У всякого своя дорога, свои «бизнесы», свои дела. Там, под землей, почти та же жизнь, то же движение, та же беготня, та же суета, тот же бешеный шум, что и на улицах полного неуемной суеты Нью-Йорка.

Спустившись по лестнице в это подземное царство, вы чувствуете, что попали в какой-то иной мир. Железо и электричество, будто стальными тисками, сжимают все ваше существо, ваше «я», и вам чудится, что вы внемлете тайнам бездны. Невольно в голову приходят мысли, которые в другом месте казались бы вам далекими и чуждыми. Невольно вы задумываетесь о тех извечных таинственных силах, что над нами и под нами. Но долго предаваться размышлениям здесь не приходится. Издали доносится шум, вой и рев неведомого зверя, который с бешеной скоростью мчится откуда-то из глубокой тьмы. Вот он вырвался из мрачных глубин и предстал перед вами — исполинский железный зверь с чудовищными электрическими глазами. Вот он змеей извивается перед вами, скользя по блестящим рельсам. Как черти, выскакивают кондуктора и громко выкрикивают название станции. Слышится стук открываемых дверей. Выбегают сотни, а может быть, и тысячи людей, и им на смену вскакивают в вагоны новые тысячи. Один поток сменяется другим. И все это проделывается тихо, спокойно, без шума и давки. Полминуты, не больше, — и поезд мчится дальше. Некогда — гари оп!

В людском потоке, устремившемся в вагоны, был и наш молодой герой Рафалеско. Он стоял уже одной ногой в вагоне, но внезапно перед его глазами, среди высыпавших из вагона пассажиров, мелькнула знакомая фигура — маленький человечек в помятой шляпе. Как будто Муравчик? Муравчик сделал шаг назад и остановился.

Он не менее Рафалеско был ошеломлен нежданной встречей. Муравчик не думал и не гадал, что столкнется лицом к лицу с молодым артистом сейчас

же после того, как получил о нем от Брайнделе-козак совершенно новые и притом необычайно ценные для себя сведения.

Еще сидя в ресторане у Шолома, он разработал в голове тонкий план, рассчитанный на то, чтобы как можно выгоднее для себя использовать совершенно необычную, причудливую ситуацию, в какой очутился его новый друг Рафалеско со своими тремя невестами: примадонной Генриеттой Швалб, Розой Спивак и Златкой Гольцман.

«Что касается первых двух невест, — решил Муравчик, — то с ними все ясно как на ладони. Судя по рассказу Брайнделе-козак, Рафалеско, с божьей помощью, скоро даст примадонне Швалб чистую отставку, — на кой шут она ему? Надо же быть круглым идиотом и ослом с горы Синайской, чтобы променять такое золотое яблочко, как всемирно известная Роза Спивак, на какую-то львовскую девку, примадонну еврейского театра. Правда, у них была официальная помолвка. Ну и что же? Насолите ему на хвост и подавайте жалобу в небесную канцелярию. Актер, да к тому еще еврейский, в таких случаях не очень-то пугается угроз. Мало ли на свете актеров, у которых не то что три невесты, а три жены: *моя, твоя и общая...* Так-то оно так... Но ему-то, Муравчику, какая от этого корысть? Ровно никакой! Остается невеста номер три: Златка с «младенчиком»... Вот в этом и вся загвоздка. Здесь-то и надо, как говорится, кость обсосать... Не будь же, Шолом-Меер, ослом с горы Синайской. Если ты проворонишь эту наживу-поживу, которую сам бог сует тебе в руки здесь, в Нью-Йорке, то грош тебе цена, — солому тебе жевать, а не дела делать!..»

Так размышлял про себя Муравчик, неожиданно встретившись с Рафалеско под землей. Но, скрыв глубоко в душе охватившую его радость, Муравчик изобразил на лице совершеннейшее равнодушие и с наивной простотой обратился к Рафалеско:

— Коли уж такая птица, как вы, ездит под землей, то что же сказать нам, простым смертным, голодранцам?

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Ай да Америка!

В противоположность Муравчику, старавшемуся скрыть свою радость под личиной равнодушия, Рафалеско, наоборот, открыто и чистосердечно выразил свой восторг по случаю неожиданной встречи со своим новым знакомым.

— Алло! Хау ду ю ду? Здравствуйте! — радостно приветствовал он Муравчика на американский манер, протягивая ему руку. — Хорошо, что мы встретились. Вы не можете себе представить, как это кстати. Как нельзя более кстати! Вы мне очень нужны.

— Что ж, я готов. Пожалуйста, с нашим удовольствием, — нарочито холодным, равнодушным тоном ответил Муравчик. — Куда же мы, так сказать, пойдем, например?

— Никуда, — ответил Рафалеско, ища глазами место, где бы присесть. — Вот скамейка. Сядем и потолкуем.

— Здесь, под землей?

— Да, здесь.

— Что ж, ежели вам любо, то и мне мило.

Они опустились на ближайшую скамейку, и вскоре между ними завязалась оживленная беседа. Говорил, собственно, один Рафалеско, а Шолом-Меер Муравчик внимательно слушал его, не сводя с него глаз.

Какая-то непонятная сила таится в этом Муравчике. Ни с кем вы так быстро и так легко не подружитесь, как с Муравчиком. А подружившись, вы доверитесь ему во всем, как самому близкому и родному человеку, поведаете ему свои сокровенные тайны. Во всяком случае, Рафалеско был с ним откровенней и чистосердечней, чем с родным братом. У Муравчика есть еще одно весьма ценное достоинство: он понимает вас с полуслова. Долго объяснять ему нет нужды, слова излишни. Он глядит на вас в упор своими шельмовскими глазами и читает в вашем

сердце, как в открытой книге. Удовольствие, прямо-таки наслаждение разговаривать с таким человеком!

— Мне пальца в рот не клади, — монотонно прожужжал Муравчик прямо в ухо Рафалеско своим хоть и хрипловатым, но четким и ясным голосом. — Поверьте, я уже разобрался в этом деле во всех его подробностях. Коли хотите, я вам сам расскажу все, как по печатному. Спаси и помилуй нас боже от дурного глаза, но случается с нашим братом, впутаешься в историю, — человек грешен. Девушка — соблазнительная штучка. Иной раз ты и сам не виноват, лукавый попутал. Поди будь пророком и угадай, что дело кончится «младенчиком», и держись потом, как говорится, с этакой бомбой! А в сущности, этот брак — дело неподходящее ни для вас, ни для нее, он вас обоих не устраивает. Думаете, она сама этого не понимает? Прекрасно понимает, лучше всех нас, дай мне боже столько счастья и удач!

У Рафалеско точно камень с сердца свалился. Он почувствовал, что все его робкие объяснения, длинные предисловия и самооправдания совершенно излишни. Муравчик не только не пытался возражать, не только не заступился за честь бедной Златки, но наоборот, сам же подтвердил, что Златка, в сущности, не так уж добивается брака с ним. Чтобы еще больше успокоить нашего героя, Муравчик прибавил:

— Откуда, думаете, я сейчас иду? Прямо от нее. Хотел передать ей ваше предложение. Только начал, а она как разревется! «Разве, говорит, я ему ровня? Он, — говорит она, — теперь большим человеком стал. Каково-то мне будет постоянно сознавать, что я ему насильно навязалась, что он женился на мне поневоле?» Вы слышите?

Рафалеско был чрезвычайно растроган.

— В самом деле?

— А что же? Стану я выдумывать на вербе груши?

— Нет, я не об этом. Она так именно и сказала? Это ее подлинные слова?

— Дай мне боже столько счастья и удач! Вы не

знаете, что это за чистая душа. Я бы ее не променял на восемнадцать примадонн.

У Рафалеско на глазах выступили слезы, но он пытался скрыть их от зоркого взгляда собеседника. А его новый друг и приятель Муравчик продолжал:

— Словом, я вижу, девушка говорит толково, как разумный человек, — я и подумал: авось она и права. Я и говорю: послушай, душа моя, говорю, дело, видишь ли, вот в чем: молодой человек, говорю, только ради тебя идет на это, ради тебя и твоего маленького. Но раз, говорю, ты и сама не так уж настаиваешь, что ж, твоя добрая воля, будь по-твоему. Неволить тебя, говорю, никто не станет и силком, говорю, тебя под венец никто не потащит. А как же «младенчик»? Об этом, говорю, не беспокойся. Не забывай, говорю, что он — не человек с улицы, не безродный какой, не нищий; он, не сглазить бы, человек со средствами и, надо надеяться, обеспечит тебя как следует, — и тебя и дитя, говорю, не оставит. И даже твоя мать, говорю, не будет нуждаться в чужой помощи... Тем более, говорю, что ты здесь не одна: я ведь, говорю, тоже еще не умер. Я, говорю, был с тобой и останусь с тобой. Кто, говорю, привез тебя сюда, как не Муравчик? Кто, говорю, записал тебя на свое имя, когда мы высаживались на берег, как не Муравчик? Вообрази, говорю, что ты моя жена, а я твой муж. Плохо ли? А если дойдет до венчания, то и в Америке найдутся четыре древка и балдахин. Шолом-Меер, говорю, отбарабанит, как полагается: «Ты посвящена мне по закону Моисея и Израиля» — и дело с концом! Я и сам, поверьте, не так уж далек от этой мысли. Во-первых, жаль бедную сиротку. Во-вторых, Златка — честная душа, кроткая голубица. Спрашивается: а как быть с пискленком? Что ж, над нами бог... Да и вы, надо надеяться, не забудете...

— Забыть! — вскричал Рафалеско, схватив Муравчика за руку. Если бы ему не было стыдно перед самим собой, он бросился бы в объятия своего нового друга. — Я могу даже выдать обязательство, если хотите...

— К чему обязательство? Вы просто подпишете

парочку векселей — и дело с концом. На мое имя подпишите, сегодня же вечером. Я забегу к вам и принесу все, что требуется. А теперь вы, верно, куда-нибудь торопитесь?

Рафалеско был так увлечен беседой, что не заметил даже сколько раз стальная змея с электрическими глазами промчалась мимо, выбрасывая потоки людей и поглощая новые. Стрелка часов медленно приближалась к трем. Через час надо быть там. Слово «там» обожгло ему сердце. Он дружески распростился с Муравчиком, вскочил в один из длинных вагонов, и спустя полминуты его поглотила подземная мгла.

«Шолом-Меер, — ты олл райт! Молодчина! — сказал сам себе Муравчик и стал поджидать следующего поезда. — Что за чудесная страна Америка! Ай да Америка!»

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Среди зверей

Место, которое выбрала Роза Спивак для свидания с Рафалеско, был зоологический сад. Зимою в нем значительно меньше посетителей, чем летом, и потому здесь можно спокойно гулять, не рискуя встретить никого, кроме зверей в клетках.

Несмотря на некоторые задержки, отнявшие немало времени, Рафалеско все же прибыл на условленное место задолго до назначенного часа. За всю свою молодую жизнь, за все годы скитаний он, без сомнения, не пережил и не перечувствовал так много, как за эти полтора часа, которые он провел среди зверей, гуляя по парку и переходя от одной клетки к другой. Приближалась роковая минута, наступления которой он так долго и трепетно ждал в продолжение многих лет, — этого одного было достаточно, чтобы сердце его билось, как молоток, и чтобы весь он трясся, как осиновый лист. К тому же мозг его терзали дикие, чудовищные мысли, унылые, черные думы, одна другой мрачней.

«Кто знает, — думалось ему, — придет ли она?

А если и придет, то кто знает, с чем? В какой мере она связана «золотыми цепями», о которых упоминает в своем письме? Кто знает, какая сцена могла разыграться между нею и Гришей Стельмахом в самую последнюю минуту?»

Все, что есть в жизни печального, грустного и сумрачного, рисовалось его воображению и, казалось, подстерегало его. И как он ни старался овладеть собой, успокоиться, рассеять черные думы, — ему это не удавалось. Он чувствовал, что наступает самый важный момент в его жизни, решающий момент... Невольно мысль его вернулась к позорной сделке, которую он только что заключил с Муравчиком, самолично продав ему чистую, невинную, как голубицу, Златку, передав ее из рук в руки, как вещь, как подневольное существо, как рабыню. И кому? Человеку, которого он знать не знает и ведать не ведает. А ведь только сегодня утром он готов был бежать к бедной Златке, пасть к ее ногам, поклясться, что он принадлежит ей, только ей, навсегда, на веки вечные! И чудится ему, будто кто-то шепчет ему на ухо:

— Каин! Каин! Каин!

Рафалеско углубляется все дальше в аллеи зоологического сада, в мир зверей. Он хотел бы убежать от самого себя, но это невозможно. Хотел бы вычеркнуть, стереть все свое прошлое, но не может... Ясно и отчетливо встает оно перед его взором, со всеми большими и малыми преступлениями, со всеми его актерскими устремлениями и исканиями. И как в открытой книге, он читает итог, который сам себе подвел: как человек он преступник. Каин! Каин!.. Как актер он мелок и ничтожен, окружен маленькими людишками, сверху донизу окутан сетью лживой рекламы и блефа... Много воды еще утечет, много жертв будет принесено, много алтарей разбито, а он все еще будет стоять по эту сторону двери, не смея войти в храм, куда с детских лет рвется его молодая, но уже исстрадавшаяся душа...

Тсс... кто-то идет!.. Рафалеско чувствует, что сердце его остановилось, зрачки расширились, глаза стали круглыми, большими-большими и, кажется,

сейчас выскочат из орбит... Ужели она? Не может быть!.. Он вглядывается пристальней. Навстречу ему идет женщина среднего роста, ослепительной красоты... Шагает легко, плавно, грациозно, едва касаясь земли. Неужели она?..

Да, она!..

. . . .

В жизни не бывает такого случая, чтобы человек встретил в другом именно то, чего ждал, и нашел в нем то, что искал. И Рафалеско встретил не ту, что грезилась ему в мечтах. Перед ним была не та Рейзл, которую рисовала ему фантазия. Он увидал совсем-совсем другую девушку. Она оказалась и старше на вид, и значительно выше ростом, чем он представлял себе. Словом, совершенно не та, не та, не та! Слишком серьезной, слишком строгой и холодной показалась она ему в первую минуту... Только глаза были те же — сверкающие, черные, цыганские глаза.

И Рафалеско оказался не таким, каким представляла его себе Роза. Не тот Лейбл, сын богача, образ которого сохранился в ее памяти с того дня, когда он обучался в хедере у ее отца, а совсем-совсем иной. Не изменились только глаза, его добрые, нежные голубые глаза. С минуту они стояли друг против друга неподвижно, как оцепенелые, и не могли произнести ни слова. Казалось, каждый видит на лице другого отпечаток прошлого, всего того прошлого, что соединяет их, и хочет прочесть на лице другого повесть о его юности, прошедшей так безотрадно, на чужбине, в бесконечных скитаниях. Но все это длилось не более минуты. На лице Розы блеснула улыбка, первая улыбка. Рафалеско почувствовал, что сердце его трепетно забилось, и его неудержимо потянуло к ней.

День давно погас. Солнце закатилось. На небе зажглись звезды. Выплыла луна... Наши юные герои, Лейбл Рафалович и Рейзл Спивак, все еще сидели и говорили, говорили. Они вспоминали Голенешти, еврейский театр, «Божью улицу», пожар, блуждающие звезды...

Эпилог

Письма

1

Меер Стельмах — своему другу

«Так-то, брат! Не спрашивайте, почему и как. Так уж, видно, создан белый свет. Ничего не попишешь. Но если уж расходиться, то разошлись бы хоть по-настоящему, — и делу конец! Бывает, брак расстраивается, — что поделаешь? Так нет же! Брак расстроился, а друзьями остались. Да еще какими друзьями! Друзья друзьям рознь. Письма шлют друг другу каждую неделю. И не с одной только Розой переписывается мой сын, но и с ним, с ее земляком, с этим Рафалеско. С тех пор как Гриша и Рафалеско познакомились, между ними завязалась такая дружба, — водой не разольешь. Душа в душу живут. А уж до чего уважают друг друга, как высоко ценят, — и не говорите! Словом, «любовь», ничего не попишешь! Ну, что скажете? Все это бы еще с полбеды. Как говорят у нас: тебе любо, — и мне мило-дорого. Но ведь срам-то какой! Стыдно людям на глаза показаться. А кто виноват, как не я сам? Когда б меня тогда не угораздило повести их в еврейский театр на бенефис Рафалеско, ничего подобного не случилось бы... И в довершение всех бед надо еще набрать полон рот воды и — ни гу-гу! Пикнуть не смей! Послушали бы вы, какие сплетни ползут кругом. Поговаривают, например, будто у Розы с этим молодцом Рафалеско — давнишний роман, и тянется он якобы бог весть сколько лет, чуть ли не с детства. Не сегодня-завтра у них, слышно, свадьба будет... Рассказываю об этом Грише, — он только смеется. «Ерунда! — говорит. — Роза никогда не выйдет за Рафалеско! Слышишь?

Никогда!» Изволь-ка разобраться в этакой кутерьме. А тут, что ни день, доходят до меня новые сплетни и небылицы. Поверите, и слушать тошно. И без того на сердце кошки скребут, а тут приходят к тебе люди и сыплют соль на свежие раны... Когда будете мне писать, пишите по лондонскому адресу, как до сих пор. Извините, что я морочу вам голову. Выскажешь, знаете ли, другу все, что на душе, и кажется, будто легче стало.

Ваш растерянный и ошеломленный друг, озлобленный на весь мир,

Меер Стельмах».

2

Шолом-Меер Муравчик — Альберту Щупаку

«...Вот тебе пятьдесят целкачей, и наплевать мне на тебя с высокого этажа. Я теперь, слава тебе господи, в состоянии и сам одолжить тебе пятьдесят целкачей, если ты нуждаешься в деньгах. И с тем сообщаю, что твоя канторская дочка с ума спятила, с жиру бесится и обеспечила себя сразу двумя женихами, а теперь и сама в толк не возьмет, с кем раньше идти под венец. Послушайся она моего совета, она бы вышла за обоих сразу, потому этот Стельмах набит деньгами, а второй жених, я тебе уже писал, это паренек из Голенешти по фамилии Рафалович, который теперь называется священным именем Рафалеско, очень высоко летает, потому что американцы переманили его к себе в английский театр и осыпают червонцами с головы до ног. И еще сообщаю, что у меня покуда никакого дела нет, я подыскиваю себе театр, то есть не театр, а театрик для водевилей, и если бы за сходную цену подвернулся такой театрик, я бы его снял и стал бы делать хорошие дела, хотя еврейский театр в Америке, скажу тебе откровенно, в последнее время чуточку испортился, потому начали выписывать из Берлина лучших немецких актеров и платят им, сколько влезет, черт бы побрал Колумба с его Америкой! Но пока суд да дело, я надеюсь, можно еще иметь успех в Америке с твоими песен-

ками, а потому я пишу тебе, Альберт, если хочешь, плюнь на свои дела в России и приезжай сюда, будем работать за компанию, а не хочешь, — пропади ты пропадом, хоть живым сквозь землю провались! С полным высоким уважением

Шолом-Меер Муравчик.

Главное забыл. Только что узнал такую новость, что как услышишь, лопнешь на месте. Ты только послушай, что может случиться. Помнишь ведь нашего Гоцмаха, — я тебе уже писал о нем из Лондона, — так вот, задумал он, этот Гоцмах, и взял да ножки протянул, — ни пуху ему, ни пера! — и оставил сестрицу, Златкой зовут. Настоящая куколка, скажу тебе, хоть и с маленьким изъянчиком. Я, знаешь ли, очень на нее рассчитывал, чуть-чуть не стали мы с ней женихом и невестой, и вдруг на вот тебе такая история: она, рассказывают, выходит замуж совсем за другого. Угадай, за кого? Будь ты хоть о десяти головах, никогда не отгадаешь, дудки, брат! Как раз за этого молодчину Рафалеско, чтоб ему сгинуть! И кто, думаешь, очень уж распинается за нее, за сестрицу Гоцмаха? Все она, эта самая Рейзл, твоя канторская дочка, настоящая сумасбродка, дай мне боже столько счастья и удач. Ну, разве можно было ожидать такого удара? Ну, сам скажи, разве тебе не лучше было бы похоронить себя живьем в землю на девять локтей в глубину, подобно библейскому Кораху, как от души желает тебе с полным высоким уважением

Шолом-Меер Муравчик».

3

Брайнделе-козак — Генриетте Швалб

«...И напишите мне, душенька, подробно обо всем, как вам там живется на новом месте, в Йоганесбурге. Надеюсь, у вас все олл райт, потому что у вас, не

сглазить бы, всего вдоволь, — чего вам не хватает? Все говорят, что он — крупный миллионер и накупил вам столько алмазов и брильянтов, что один Рокфеллер мог бы себе позволить такую роскошь. Не можете себе представить, как меня все это радует, потому что никто так не может вам сочувствовать, как я. Не знаю я, что ли, сколько вы, бедненькая, натерпелись от своих братьев? Даже в последние годы, когда вы стали уже прилично зарабатывать и были человеком обеспеченным, они вам немало крови испортили, один своею грубостью, а другой — своими тонкими уколами. Я не хочу отзываться о них дурно — они вам, как-никак, братья. Но, право, они не стоят вашего мизинца. Мне нет надобности льстить вам, а хулить их я тоже не хочу. Но, поверьте, я бы их обоих не взяла в обмен на один ваш ноготок. А о вашем Нисле с его сладенькими речами и вечными клятвами и говорить не хочется. Бог бы с ним так рассчитался, как честно и добропорядочно он поступил со мной. И всем мужчинам, владыко небесный, пошли такую долю, какую они заслуживают, а его, господи, покарай в первую очередь. Да он, собственно, если хотите, уже получил по заслугам. Слыхала я, что ваш братец, Нисл то есть, очень бедствует, до того нуждается, что не приведи господь. За что только он не брался после того как «коммуна» распалась, какие только комбинации не выдумывал! И все у него пошло кувырком. Теперь у него новая комбинация. Бог весть откуда откопал он человечка, у которого имеется картонная модель древнего храма Соломонова. И вот уж он расклеивает по всему Нью-Йорку афиши, и, разумеется, прогорит на этом деле совершенно так же, как на всех своих комбинациях. Господь бог уж с ним расплатится и за вас, и за меня, и за весь народ израильский. Ваш брат Изак по сравнению с ним — золото, хоть он тоже хорош, нелегкая его возьми. Низкая душонка! Послушать, что он говорит о вас, так, ей-богу, уши вянут. Он говорит, например, что вы себя продали за деньги, что ваш муж торгует... я даже не хочу повторять его слова. И все из-за чего? Из-за этих презренных долларов. Я бы вам посоветовала:

пошлите ему несколько долларов и заткните ему глотку. Тут ведь, знаете, никто не поможет, хоть ложись да помирай. Кто на него обратит внимание? «Ломжинский соловей»? Черта с два! Или, может, она, рыжая канторша? Чтоб ей так жить на свете! Она уже скинула с головы свой рыжий парик и теперь стала настоящая миссис. Шутка ли, ее дети, говорят, лопатами золото загребают. Эта Америка, скажу я вам, — что лихорадка: схватит кого и уж не выпустит. Кто бы мог подумать, что ломжинский кантор, приехавший сюда с целой оравой голодных ртов, так быстро пойдет в гору, что его здесь прямо-таки озолотят. А совести у него, у этого кантора, не больше, чем у разбойника с большой дороги. Вашим братьям не выклянчить у него и полцента, хоть в ноги ему кланяйся. Чего вам больше? Мистер Кламер, который так издержался на эту семейку, пока привез ее в Америку, с трудом достал деньги на обратный проезд в Лондон. И знаете, кто одолжил ему деньги на дорогу? Будь вы семи пядей во лбу, не угадаете. Представьте себе, бездельник Муравчик, тот самый, что свел эту милую парочку — вашего бывшего жениха с той певицей, которая нынче до того нос задрала, что сам черт ей не брат. С первым женихом, со Стельмахом, она, слава тебе господи, уже разошлась, да еще с каким скандалом! Стельмах-отец, говорят, хотел с ней даже судиться, но сын не допустил. Все мои беды на их головы! Насколько это так и есть, не знаю. Так люди рассказывают. За что купила, за то и продаю. У их изголовья я не стояла... Ну, а с другим, с вашим то есть, она уже тоже успела разделаться и, как говорят, на веки вечные. По слухам, у них был очень крупный разговор. И знаете, из-за кого? Из-за Златки, сестрицы Гольцмана. Откровенно говоря, я тоже к этому делу руку приложила. Я написала Розе письмо и открыла ей всю правду, рассказала все, что мне удалось выведать у этого афериста Муравчика насчет романа Рафалеско с сестрицей Гольцмана. И хоть я не удостоилась чести быть принятой ею, мне все же известно, какая после этого каша заварилась... Я узнала, например, что Роза самолично посетила сестрицу Гольц-

мана Златку и налюбоваться не могла на «святого младенца», которого Златка прижила с Рафалеско...

Затем мне стало известно, что Рафалеско вступил в труппу одного из крупнейших английских театров Нью-Йорка, но мистер Никель, заключивший с ним контракт на целый сезон, потребовал такую неустойку, что хоть в денежных делах Рафалеско понимает не более, чем я в брильянтах, его чуть не хватил удар. Но тут опять выплыла Роза и заявила, что всю неустойку берет на себя. Насколько оно так и есть, не ручаюсь. За что купила, за то и продаю. У их изголовья я не стояла...

Но вы не должны им завидовать, душенька: вам настолько лучше, чем всем им, что плевать вам на них. Вы, слава богу, и богаче их, и драгоценностей у вас больше, чем у этой певицы, и наряды у вас не в пример элегантнее, чем у нее. А тосковать вам по сцене тоже нет смысла. Это, простите меня, очень глупо с вашей стороны, что вы так тоскуете по театру. Живите в богатстве, роскоши и почете, наслаждайтесь жизнью вовсю, словом, не отказывайте себе ни в чем и не забывайте, душенька, вашей семьи, ваших братьев то есть, хоть они у вас этого не заслужили, а у меня и подавно, чтобы я хлопотала за них. Но бог с ними! Коли так уж сложилось, то лучше вам не допустить, чтобы они вынуждены были обратиться за помощью к другим. И не забывайте, душенька, вашу подругу, преданную вам душой и телом. Черкните иной раз письмецо. А если вам здесь что-нибудь понадобится, я охотно выполню ваше поручение. И если там у вас найдется для меня подходящая работа, напишите, и я приеду к вам в Йоганесбург, хоть это и очень далекое путешествие, чуть ли не на край света. Поверьте, мне уже надоела страна Колумба с ее людишками, и особенно приелись мне наши актеры, — чтоб их моровая язва передушила всех в один день, да так, чтоб от них ни следа, ни синь пороха не осталось. Аминь, аминь, аминь!

Шлю вам тысячи поцелуев. Бесконечно преданная вам

Брайндл Черняк».

4

Канторша Лея — своей дочери

«Ты пишешь, дитя мое, что собираешься в гости ко мне в Голенешти. Знай же, моя дорогая доченька, что я жду не дождусь твоего приезда. Не то я бы уж давно продала дом. К чему мне, одинокому человеку, такой огромный дом, столько, не сглазить бы, комнат? Но если ты думаешь, что есть кому продать дом, то очень ошибаешься. Кому в Голенешти нужна этакая громадина со столькими, не сглазить бы, комнатами? Местечко, с позволения сказать, бедное, убогое, одни нищие, бедняк на бедняке, ни у кого нет и гроша за душой. У кого было хоть немного денег, тот давно уехал в Америку. Одна только надежда на зятя виноторговца Генеха. Новоиспеченный богач в Голенешти. Ему очень хочется купить дом, но он и виду не желает показать, что его интересует наш дом, боится выдать себя, чтобы я, сохрани боже, не запросила слишком дорого. А я тоже стараюсь и вида не показать, что собираюсь продать дом, чтобы у него не было охоты купить по дешевке. А пока что — дело на месте, ни туда, ни сюда. С нетерпением жду твоего приезда, дорогая доченька. И надеюсь, что ты порадуешь меня приличным женихом, — таким, какой тебе подобает, а не как тот, с позволения сказать, музыкант, — прости господи меня, грешную! Я, собственно, ничего против него не имею, боже избавь. Но дочери кантора Исроела он не пара, не ровня. Да пошлет ему господь суженую где-нибудь в другом месте, а тебе, надеюсь, он уж простит, что ты нарушила данное слово, хоть у нас это считается тяжким грехом.

А что ты пишешь насчет нашего Лейбла, сына богача Рафаловича, что он счастлив и знаменит, то меня это очень и очень радует, потому что остальным его братьям и сестрам ужасно не повезло. Развалилась вся семья. Всех детей рассеяло, развеяло по всему свету, и никто не знает, где кто живет и что с ним сталось. Один Аншл показывается кой-когда. Заходит, просит поддержать, и я ему помогаю, чем могу. Но дырявый мешок разве наполнишь? И по-

мимо всего, он, должно быть, большой транжира, не умеет, видно, попридержать копейку. А вид у него, — поглядеть страшно! Всем врагам моим желаю такой доли. Подумать только, что пережила бы бедная Бейлка, — царствие ей небесное! — если бы она встала из гроба и посмотрела, что сталось с ее домом, с ее детьми, с мужем. Боже, на кого он стал похож! Совсем помешался, бедняга, валяется где-то не то в богадельне при синагоге, не то в больнице и ждет не дождется приезда милого зятюшки «Сосн-Весимхе», который изредка навещает тестя и всякий раз привозит фунтик чаю да головку сахару. Господи милосердный, до чего же дожил Беня Рафалович, — кассир стал его зятем и кормильцем. Временами он, «Сосн-Весимхе», заглядывает ко мне, сидит с утра до поздней ночи и все говорит, говорит, говорит, — слушать тошно, прости господи меня, грешную!

А их старая слепая бабушка, — поглядела бы ты на нее, — страх берет! А поди ж ты, все еще живет! Видно, владыка небесный просто забыл про нее. Подумать только, кого бог прибирает к себе, а кто остается жить. Как сказано в новогодней молитве: *«Кому суждено жить, а кому — покоиться в земле».* Разве не было бы в тысячу раз справедливее, если бы остался в живых твой отец, мир праху его, и жил бы здесь со мною вместе, чтобы мне не околачиваться одной-одинешеньке в стольких, не сглазить бы, комнатах. Но разве с богом поспоришь? Чего больше? Взять, скажем, музыканта Ехиела, — помнишь его? Совсем еще молодой человек. И что же! Лишь на прошлой неделе взял да и помер. Не так давно скончался и виноторговец Генех. Но того хоть не так жалко, — как-никак, человек уже старый, и к тому же богатый. Поглядела бы ты, какие похороны ему устроили! Точно бы скончался святой праведник. А спроси, за что, за какие такие услуги? Если, скажем, отцу твоему — царствие ему небесное! — устроили почетные похороны, — это вполне понятно. Но виноторговец Генех... что он за шишка такая? За что ему такая честь? Ежели он был богачом, так и после смерти к нему подлизываться надо? Но бог с ними, со всеми этими

почестями! Я не завистница, а злословить, сохрани господь, тоже не хочу. Он, бедняга, оставил вдову и четверых детей, — правда, с изрядным капитальцем, с доходным делом, но сироты сиротами остаются. Отца у них уже не будет. Что земля прикрыла, то пропало. Стукнули лопатой, — и прости-прощай! Гораздо хуже бедной вдове музыканта, она осталась совсем на мели. Нечем день прожить. И вот собирают для нее вспомоществование. Я тоже дала, сколько могла, но сборщики еще поморщились, говорят, — мало. «Вы, — говорят они, — теперь у нас богачка, не сглазить бы. У вас, — говорят они, — такая дочь, не сглазить бы, и живете вы, не сглазить бы, в таком огромном доме, не сглазить бы, со столькими комнатами...» Поди расскажи им, что все это мне невтерпеж, — и дом с его громадными комнатами, и весь этот тарарам. Помог бы мне только всевышний, чтобы ты скорее уж приехала в добром здравии — дожить бы мне, господи, скорее до этого дня! — мы бы уж с тобой вместе порешили, что делать с домом. К чему мне этакая громадина? Что мне делать одной-одинешеньке в стольких, не сглазить бы, комнатах?

Думаешь, я одна так говорю? Все у нас так говорят. И все ждут не дождутся твоего приезда. Все Голенешти. Даже вдова Неха с ее милыми сестрицами (все еще не вышли замуж, — так им и надо!), даже она, когда встречается со мной, всегда спрашивает: «Скажите, милая Леенька, дай вам бог здоровья, когда же приедет, наконец, ваша Рейзл?» Бесстыжие глаза! Забыла уж, видать, как она меня осрамила в тот день, — да не повторится он никогда! — когда ты исчезла и меня таскали к приставу, да сотрется имя его с лица земли! (Он уж тоже давно отправился на тот свет, — туда ему и дорога!) И будь здорова, дитя мое, и пиши мне, правда ли, что ты опять собираешься в Америку. Мне эта твоя поездка не по душе. Страна, правда, сама по себе неплохая, и люди там тоже как люди, ничего дурного о них не скажешь. Но язык их мне ужасно не нравится. Если курица у них «чикен», кухня — «кичен», а резник — «реверент», то

куда годится такая жизнь? Но приезжай, с божьей помощью, пораньше в Голенешти. Там уж мы поговорим обо всем подробно. А пока что все голенештинские шлют тебе привет, и Наум, сынок Хаим-Шаи, тот самый, что пишет это письмо, кланяется тебе особо.

Твоя мать, которая денно и нощно молит бога о тебе,

Лея Спивак».

5

Роза Спивак — Марчелле Эмбрих

«Мамочка!

Как видите, я опять в Европе. Блуждающие звезды, которые, как вы хорошо знаете, долго-долго неслись навстречу друг другу и никак не могли сойтись, наконец-то встретились. Но только *встретились* — не более. Сойтись по-настоящему, слиться воедино — этого никогда не будет, *никогда!* Кто в этом виноват, — я или он? Сама не знаю. Скорее всего, оба. Оба мы за свою короткую, очень уж короткую жизнь совершили немало ошибок...

Поздно, слишком поздно встретились *блуждающие звезды!* Да, мамочка, нет, видно, счастья на земле, есть только стремление к нему, погоня за счастьем. Но само по себе счастье — сон, мечта! Любви тоже нет, — есть только наше представление о ней, идеал, созданный нашим воображением. Да, любовь — это только сновидение.

Ах, мамочка, *слишком поздно встретились блуждающие звезды!* И вот я снова одна, вновь мечусь по белу свету в чаду успехов и славы, опять, как прежде, веду кочевой образ жизни цыганки. И долго-долго, по-видимому, суждено мне еще вести этот *кочующий образ жизни...*

Пишите мне, пожалуйста, мамочка, но только ради бога, не утешайте меня, не скорбите о моей доле и не пытайтесь уговорить меня стать иной, перемениться. Такою я была доныне и такою останусь навсегда.

Ваша взбалмошная кочующая цыганка

Роза».

ПРИМЕЧАНИЯ

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Роман Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» — третий роман его трилогии о народных талантах, написан им в 1909—1911 годах. Первая часть романа «Актеры» впервые печаталась в еврейской ежедневной газете «Ди найе велт» («Новый мир»), Варшава, 1909—1910 годы. Вторая часть романа «Скитальцы» впервые печаталась в еврейской ежедневной газете «Дер момент», Варшава, 1910—1911 годы.

В своем письме в редакцию газеты «Ди найе велт» от 10 сентября 1909 года Шолом-Алейхем пишет:

«...Я сам почувствовал необходимость закончить свою трилогию третьим романом, после «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», как я когда-то обещал... Тогда я говорил, что мой третий «герой» будет уж не музыкант и не кантор, а более высокого рода, более тонкая душа — артист или художник.

Естественно, что за эти двадцать два года обстоятельства сильно изменились. Выросли также новые идеи. Прибавились новые боги. Народились новые типы. Одним словом, я не сожалею о том, что мой третий роман немного опоздал. Было бы хорошо, если бы я сейчас занимался писанием тех первых двух романов, они бы по-другому выглядели. Отсюда видно, что мой теперешний, то есть третий, роман совсем иначе сконструирован по сравнению с теми двумя... По своему содержанию он поневоле — захватывающая история, *роман,* полный поэзии, но также и жизни, действием и, само собой понятно, галереей типов и картин — довольно юмористичен, а иначе я уж и писать не умею, даже если

бы я захотел стать «плакальщицей». Помимо того, в этом произведении отражена жизнь определенного круга в России, как и в Америке. Лестница, скажем, этого здания стоит ногами в нашей стране, а вершиной упирается в Америку, — а там и происходит развязка...»

Часть первая

АКТЕРЫ

Стр. 7. *Кантор* — человек, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогальной литургии.

Стр. 8. *«Кому от огня...»* — слова из молитвы, где говорится, кому и какая смерть предназначена небесным судом.

«Хоральный» кантор. — В больших городах имелись, так называемые, «хоральные» синагоги, в которых пение кантора сопровождалось хором певчих.

Стр. 9. *Хедер* — еврейская религиозная начальная школа.

Стр. 12. *«Кадеш»* — по закону еврейской религии в течение одиннадцати месяцев после смерти родителя сыновья должны ежедневно после каждой литургии в синагоге читать славословие («кадеш») богу в честь умершего.

Стр. 14. *Меламед* — учитель еврейской религиозной школы.

Стр. 19. *«Мойше»* — унизительная кличка массового зрителя на «жаргоне» актеров еврейских бродячих театров того времени (завезено из Америки).

...хедером... — в данном случае подразумевается «труппой».

Стр. 20. *...не заикнутся о марках...* — Имеется в виду особый контракт между антрепренером и актерами, согласно которому актеры получают в соответствии со своим амплуа не жалованье, а определенное количество «марок» на право получения пропорциональной доли от сбора.

Стр. 28. *Ребе* — титул ученого; в данном случае имеется в виду меламед, учитель.

Стр. 30. *Еврейско-немецкий театр.* — В 1883 году царским правительством в России было запрещено играть в театре на еврейском языке. В обход этого закона еврейские театры стали называться «еврейско-немецкими», а актерам приходилось вставлять в свою речь много немецких слов (современный народный еврейский язык принадлежит к группе германских языков, но отличается от немецкого своим произношением и грамматикой).

Стр. 34. *«Божья улица»* — так в некоторых еврейских местечках называли улицу, на которой проживали представители еврейского клира — раввин, кантор и др.

Талескотн — четырехугольное полотнище, в основном, из белой тонкой шерсти с черными или синими полосами по краям и кистями по углам; в центре полотнища — круглый вырез, чтобы можно было продеть голову. Религиозные евреи носили талескотн постоянно, под верхней одеждой.

Стр. 41. *«Куне-Лемель»* — пьеса А. Гольдфадена (1840—1908), поэта и драматурга, основателя современного еврейского театра.

Стр. 57. *«Великий, сильный и страшный»* — фраза из библии; эпитеты бога.

Стр. 58. *...«Шмендрика», «Цингитанга», «Куне-Лемеля»...* — герои из пьес А. Гольдфадена.

«Скрипка Давида» — пьеса И. Латайнера, автора многочисленных бульварных мелодрам, оперетток и водевилей.

«Бар-Кохба» — здесь: историческая оперетта А. Гольдфадена.

Стр. 63. *«За грехи наши»* — молитва из праздничной литургии.

Стр. 70. *...уже достигшего совершеннолетия...* — Имеется в виду религиозное совершеннолетие у евреев, когда мальчику исполняется тринадцать лет.

Стр. 73. *...подобно праотцу Иакову... Или подобно царю Давиду...* — библейские легенды.

Стр. 84. *«Горячие пирожки»* — куплеты из оперетты Гольдфадена «Колдунья».

Стр. 87. *«Капцнзон и Хунгерман»* — пьеса Гольдфадена.

Стр. 101. *Ханука* — еврейский религиозный полупраздник (примерно, в ноябре-декабре).

...украдет у него мацу из-под подушки. — Пасха у евреев — «праздник свободы» (по библейской легенде — освобождение из египетского рабства). Во время вечерней пасхальной трапезы, которая продолжается несколько часов, так как при этом читаются молитвы и длинное сказание о чудесном избавлении от рабства, глава семьи сидит на специальном сиденье, обложенном подушками (сидит по-господски — символ избавления от рабства). В начале трапезы глава семьи прячет под подушкой кусок мацы (пресный пасхальный коржик), предназначенный для съедения в конце трапезы. Для того чтобы дети не уснули во время трапезы, практиковалась такая инсценировка: кто-либо из детей должен

был украсть этот кусок мацы и вернуть его, когда он потребуется; за это дети получали орехи.

Пятидесятница — еврейский религиозный праздник — пятидесятый день со второго дня пасхи.

Кущи — осенний еврейский религиозный праздник (9 дней).

Стр. 109. *Цимес* — еврейское сладкое блюдо.

Стр. 113. *Вел его на заклание* — библейская легенда об Аврааме и Исааке.

Стр. 130. *«Да возвеличится и освятится»* — начальные слова славословия «кадеш».

Стр. 143. *«Колдунья»* — оперетта А. Гольдфадена.

Стр. 150. *«Хинке-Пинке»* — название бездарнейшей пошлой оперетты.

Стр. 155. *Пуримшпилеры* — актеры-любители, представлявшие в праздник «пурим» инсценировку сюжета библейской книги «Эсфирь».

Пурим — весенний еврейский религиозный полупраздник (за месяц до пасхи), установленный в память чудесного избавления от козней злого Амана, описанного в библейской книге «Эсфирь».

Стр. 161. *...Иосифом и женой Потифара...* — Библейская легенда об Иосифе-прекрасном, который будучи продан в рабство, служил у египетского вельможи Потифара. Жена Потифара стала преследовать своей страстью Иосифа, но он отверг ее любовь.

Стр. 166. *Левиафан* (по-еврейски: левиосн) — легендарная рыба исполинского размера. Маленького доктора по фамилии Левиус, прозвали Левиафаном по созвучию его фамилии со словом «левиосн».

Стр. 175. *...кошерную колбасу...* — то есть колбасу, приготовленную согласно предписаниям еврейской религии.

Стр. 180. *Марчелла Эмбрих.* — Вероятно, речь идет об известной певице Марчелле Зембрих, сценическое имя Марцелины Коханской (1858—1935), колоратурное сопрано.

Стр. 192. *Корея...* — По библейской легенде, Корей, двоюродный брат пророка Моисея, восстал против Моисея, и поэтому земля его поглотила.

Стр. 201. *...как на одиннадцатую казнь египетскую...* — то есть как на совершенно лишнее. По библейской легенде «казней египетских» было всего десять.

Стр. 210. *«Хава», «В пятницу вечерком»* — пошлые песенки.

Стр. 226. *...«отрока нет»...* — библейская фраза,

Стр. 232. *...четыре древка — и под балдахин.* — Венчание по еврейскому религиозному обряду совершается под балдахином о четырех древках.

Стр. 242. *Заехал в «Кишинев»?* — В еврейском произношении: Кешенев, то есть в карман (по-еврейски: кешене).

Стр. 261. *Цадик* (праведник) или *ребе* (ученый) — святой, духовный руководитель «хасидов» (приверженцев религиозно-мистического течения «хасидизма»).

Часть вторая

СКИТАЛЬЦЫ

Стр. 273. *Сионисты* — приверженцы еврейского буржуазного реакционно-националистического течения, стремившегося к образованию еврейского государства в Палестине.

Герцль (1860—1904) — основатель, идеолог и вождь сионистской организации.

Территориалисты — приверженцы еврейского реакционно-националистического течения, стремившегося к образованию еврейского государства на любой территории, а не обязательно в Палестине. *Зангвиль* (1864—1926) — идеолог территориалистов.

Стр. 284. *Патти* Аделина (1843—1919) — известная итальянская оперная певица, колоратурное сопрано.

Стр. 293. *...поди кричи: я — Соломон-мудрый!* — это означает: «никто тебе не поверит». Данное выражение происходит от позднейшей еврейской легенды о библейском царе Соломоне (Мудром), где рассказывается, что царь Соломон был заброшен в чужую страну и его утверждению: «Я царь Соломон», — никто не верил.

Стр. 302. *Франц-Иосиф* — австрийский император с 1848 по по 1916 год.

Стр. 306. *Жена Лота* — библейский персонаж. По библейской легенде «жена Лота» за ослушание наказу бога превратилась в соляной столб.

Стр. 314. *Адлер* Яков — старейший еврейский актер.

Сара Бернар (1844—1923) — известная французская актриса.

Стр. 321. *...женщиной в рыжем парике...* — Согласно предписаниям еврейской религии, замужние женщины не должны показывать посторонним мужчинам свои волосы и ходить с непокрытой головой, поэтому многие женщины носили парики.

Стр. 325. *...до пришествия мессии.* — Это выражение в устах еврейских народных масс означает то же самое, что русское выражение «до второго пришествия», то есть неизвестно когда или никогда.

Стр. 327. *Шифскарта* — билет на право проезда на океанском пароходе.

Стр. 366. *Скобелев М. Д. (1843—1882)* — выдающийся генерал русской армии.

Стр. 383. *Под фанфары и трубные звуки.* — В праздники «Новый год» и «Судный день» во время синагогальной литургии трубят в бараний рог по специальному ритуалу. Вообще данное библейское выражение означает «с большим шумом».

Стр. 384. *...накануне еврейского Нового года...* — первого дня месяца «тишрей» (сентябрь-октябрь) еврейского религиозного календаря. 10-го числа этого же месяца праздник (пост) «Судный день», а 15-го — праздник «кущи».

Стр. 389. *...рифмует с другим словом...* — по-русски оно рифмовалось бы со словом «Европа».

...великого исторического имени — подразумевается имя легендарного библейского пророка Моисея (по-еврейски — Мойше).

Стр. 394. *Шиф* — известный американский банкир.

Стр. 399. *«Кол-нидрей»* — молитва, читаемая в начале вечерней литургии (кануна) «Судного дня»; известна своим грустным торжественным напевом.

Егупец — вымышленное название большого города в России в произведениях Шолом-Алейхема; по местонахождению и описанию соответствует Киеву.

...библейскому Аврааму... — Талмудическая легенда рисует патриарха Авраама чрезвычайно гостеприимным человеком.

Стр. 406. *«Кибец»* — древнееврейское слово «кибец», означает — сборище.

Стр. 412. *Рузвельт* Теодор (Теди) — президент США в 1901—1909 годах.

Стр. 413. *Пятая Авеню* — улица богатых магазинов и оживленной торговли в Нью-Йорке.

Стр. 438. *Хисалвич* — местечко в Могилевской губернии (в дореволюционной России).

Любавич — местечко в Могилевской губернии (в дореволюционной России); резиденция известного дома цадиков Шнеерсонов.

Стр. 445. ...*«вошел Аман»...* — фраза из библейской книги «Эсфирь».

Стр. 445. ...*«барин»...* — вероятно, градоначальник (высший чиновник в Одессе при царизме).

...*сущий Аман...* — библейский персонаж, ненавистник евреев.

Стр. 449. *Аб, элул* — названия месяцев еврейского религиозного календаря.

...*а всего один час.* — По еврейской религиозной традиции ближайшие родственники покойника (дети, родители, брат, сестра, муж, жена) должны справлять траур (целый ряд запретов и предписаний) в течение семи дней. Но если они узнали о смерти родственника после тридцати дней со дня его кончины, они обязаны справлять траур только в течение одного часа (основной, внешний вид траура — это сидение на полу без обуви).

Стр. 451. *Трефная колбаса* — колбаса из мяса, запрещенного к употреблению предписаниями еврейской религии.

Стр. 452. *«Благословен судия праведный»* — благословение богу, произносимое религиозными евреями, когда они узнают о чьей-либо смерти.

Стр. 458. *Маршал* — известный американский юрист.

Стр. 472. *Истбродвей* — улица в части Нью-Йорка, населенной евреями.

Стр. 477. *Молитва «Восемнадцать благословений»* — произносится стоя неподвижно лицом к восточной стене.

Стр. 480. ...*«когда развеселилось сердце царя от вина»...* — фраза из библейской книги «Эсфирь». В данном случае: «при хорошем настроении».

Стр. 514. *Гордин* Яков (1853—1909) — еврейский драматург.

Либин (псевдоним Израиля Гурвица) — еврейский писатель-новеллист и драматург.

Профессор Якоби Георг (1840—1906) — музыковед и дирижер.

Стр. 517. *Спиноза* Бенедикт *(Барух)* (1632—1677) — великий голландский философ-материалист и атеист, крупнейший мыслитель нового времени, еврей по национальности, который раввинами был предан анафеме за вольнодумство.

Стр. 533. ...*подобно Содому и Гоморре!* — Имеются в виду два города, которые, по библейской легенде, были разрушены огненным дождем и землетрясением за грехи жителей.

Стр. 539. *Теремки* — подразумеваются: тюрьмы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

АКТЕРЫ

Часть вторая

СКИТАЛЬЦЫ

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собр. соч., т. 2

Редактор *Ю. Светланов.*
Художеств. редактор *Г. Кудрявцев.*
Технич. редактор *Г. Каунина.*
Корректоры *А. Шлейфер* и *Г. Сурис*

Сдано в набор 26/I 1959 г. Подписано к печати 13/III 1959 г. Бумага $84\times108^1/_{32}$ — 19 печ. л. = 31,16 усл. печ. л. 29,09 уч.-изд. л. Тираж 225 000. Заказ № 732. Цена 11 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Ленинград, Гатчинская, 26.


11р.


ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ
2